



Ф.Д.КРЮКОВ



Ф.Д.КРЮКОВ

Рассказы  
Публицистика



Ф.Д. КРЮКОВ

---

Рассказы  
Публицистика

МОСКВА  
"СОВЕТСКАЯ  
РОССИЯ"  
1990

P1  
K85

Составление, вступительная статья и примечания  
Ф. Г. Бирюкова

Художник А. К. Мешков

К  $\frac{4702010101-209}{M-105(03)90}$  инф. 90

ISBN 5-268-01132-4

© Издательство «Советская Россия», 1990 г.



## БЫТОПИСАТЕЛЬ НАРОДНОЙ ЖИЗНИ

Писатель Федор Дмитриевич Крюков не известен современному поколению. А между тем это был оригинальный художник со своим взглядом на эпоху, народ, природу, культуру. По мастерству он стоял рядом со своим предшественником Глебом Успенским и современниками Владимиром Короленко, Александром Серафимовичем, Иваном Бунинным.

«Крюков — писатель настоящий, без вывертов, без громкого поведения, но со своей собственной нотой, и первый дал настоящий колорит Дона», — писал В. Короленко в 1913 году<sup>1</sup>.

Вывертов и случаев громкого поведения в то время было предостаточно. Здесь Короленко подразумевались, несомненно, футуристы, модернисты, сбрасывавшие «с корабля современности» классическую традицию. Крюков же в меру таланта утверждал ее. Тем он и был дорог Короленко.

М. Горький назвал имя Крюкова в ряду тех, у кого следует учиться, «как надо писать правду»<sup>2</sup>.

А еще раньше, в сентябре 1909 года, он напишет Крюкову с острова Капри: «Рассказ Ваш прочитал. В общем — он мне кажется удачным, как и все напечатанное Вами до сей поры в «Русском богатстве»... Коли не ошибаюсь да коли Вы отнесетесь к самому себе построже — тогда мы с Вами поздравим Русскую литературу еще с одним новым талантливым работником»<sup>3</sup>.

Горький имел в виду рассказ «Зыбь», который был им тогда же включен в 27-й сборник товарищества «Знание». Но оценка распространялась и на другие произведения: в «Русском богатстве» были напечатаны «Казачка», «На тихом Дону», «Из дневника учителя Васюхина», «В родных местах», «Станичники», «Шаг на месте», «Жажда», «Мечты», «Товарищи».

Об уровне политической актуальности произведений Крюкова дореволюционного периода можно судить по такому примечательному факту: в 1913 году, определяя настроение трудовой деревни и ее путь в будущее, Владимир Ильич Ленин привлек в качестве доказательного материала рассказ писателя «Без огня». Цитируя автора, он подтверждал свой вывод о

<sup>1</sup> Короленко В. Избранные письма. — Т. III. — М.: ГИХЛ, 1936. — С. 228.

<sup>2</sup> Горький М. Собр. соч.: В. 30 т. — Т. 24. — М.: ГИХЛ, 1953. — С. 132.

<sup>3</sup> Цит. по: Коммунистический путь (газ. — г. Серафимович, Волгоградская обл.) — 1938. — 9 сент.

том, что крестьянству «суждено крупное историческое действие, которое при сколько-нибудь благоприятной обстановке соотствующих явлений имеет все шансы быть победоносным»<sup>1</sup>.

Писатель, следовательно, сумел подметить и отразить очень существенные стороны жизни общества.

Ф. Д. Крюков плодотворно трудился как художник четверть века. Срок сравнительно небольшой. Но создал он за это время так много, что собрание сочинений составит при самом строгом отборе несколько томов. Тем не менее еще в 1914 году рецензент журнала «Северные записки» справедливо сетовал:

«О Ф. Крюкове нельзя писать без некоторого чувства обиды за этого талантливого художника, до сих пор, к сожалению, мало известного широким кругам русских читателей... Ф. Крюкова узнали только немногие, но зато те, которые узнали, давно уже оценили писателя за его нежную, родственную любовь к природе и людям, за простоту стиля, за его изобразительный дар, за меткий живописный язык... Он пишет только о том, что знает, и никогда не впадает при этом в то «сочинительство» дурного тона, которое ошибочно принимается некоторыми людьми за подлинное художественное творчество»<sup>2</sup>.

Настало время, когда писатель Ф. Д. Крюков должен быть возвращен из долгого забвения, а его лучшие произведения должны стать весомым обогащением русской литературы.

\* \* \*

Федор Дмитриевич Крюков родился 2 (14) февраля 1870 года в станице Глазуновской (бывшая Область Войска Донского, теперь — Волгоградская область). Отец — казак, землероб, урядник, долгое время был атаманом в родной станице. Мать — донская дворянка.

Первоначальное образование — станичное приходское училище. Затем — с 1880 по 1888 год — Усть-Медведицкая гимназия. Окончил ее с серебряной медалью.

Годы детства, отрочества и юности Крюкова прошли в местах, которые он назовет потом в своих очерках, прямо так и озаглавит их: «В сугробах», «В углу» — районе пустынном, бездорожном. В весеннее и осеннее время даже главная станица бывала отрезанной от мира широко разлившимися реками, непроходимой грязью. Зимой надо было пробираться туда по снежным заносам. И все-таки лучше родных мест Крюков ничего не знал. Реки Медведица и Дон, балки, буераки, полынные степи стали той милой средой, куда он всегда стремился, где бы ни жил и ни ездил. Писал: «Я родился в трудовой среде, непосредственно знакомой с плугом, бороной, косой, вилами, граблями, дегтем, навозом. Вырос в постоянном общении с лошадьми, волами, овцами, среди соломы, сена, зерна и черноземной пыли».

<sup>1</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч.— Т. 22.— С. 365.

<sup>2</sup> Северные записки.— 1914.— Авг.— сент.— С. 249—250.

Несмотря на «черный» ежедневный труд, казаки умели сохранить добродушие, веселость, бодрость, чистоплотность. «Невольно приплы мне на память чистые горницы моего родного края с перинами и подушками, горой лежащими на крашеной кровати, покрытой пестро-ярким штучным одеялом, картинка на стенах, цветы на окнах...» — заметит он в очерке «Мельком».

В детстве зачитывался лубочными сказаниями о брынских и муромских лесах, о легендарных героях, купцах касимовских, монахах-отшельниках. И в то же время овладевала всем его существом привязанность к обычным реалиям — каждому холмику, деревцу, кургану. Позднее в трудные дни тоски он умел ободрять себя и других: «Ну, не робейте. Земля — наша, облака — божьи». И это — «паше» и «божье», как и современное и древнее, соединилось потом в его художественном сознании.

Он отдавался земному, писал: «Перед нами широкая низменность Медведицы, с мелкими, корявыми голыми рошицами в синей дымке, с кривыми, сверкающими полосками озер и реки, с зеркальными болотцами в зеленой роще лугов, с мутными плешаками песков, с разбросанными у горы хуторами и с нашей станицей в центре.

Направо и налево буланые жнивья, черные квадраты пашни и веселая первая зелень на скатах...»<sup>1</sup>

Его герои, уезжая из Глазуновской, не раз оглядывались на курени, голубые ставни на белых стенах, журавцы колодцев в белом небе с ветками садов над ними.

С таким чувством привязанности к своему краю, к земле, труду, простым людям едет он в Петербург, поступает в Историко-филологический институт, чтоб стать потом учителем гимназии. Там он долго не расставался с красными лампасами, проводил свободное время в казацких частях, пел донские песни.

Он готовил себя к служению народу в духе идей Некрасова, Толстого. Окончив институт в 1892 году, вернулся в родную станицу. Но с филологическим дипломом там нечего было делать. Ему представилось, что лучшим местом, которое сближает с людьми и удовлетворит его порыв к любви и самопожертвованию, может быть духовная служба.

Примером для него был Филипп Петрович Горбаневский. Служил он переем в Глазуновской с начала 90-х годов. Тогда случались постоянные неурожаи. Народ бедствовал. Бился в нужде и отец Филиппа. Но «он пошел к бедноте и мелкоте, труднее всего переживавшей надвигающуюся нужду. Знакомился, расспрашивал, беседовал, утешал, кое-где умудрялся даже помогать из личных грошей».

Это не был чиновник в рясе. Он брал у студента Крюкова литературу, которую тот привозил из столицы, в том числе сочинения Л. Толстого, начавшего бунтовать против царя, господ, церкви. Архиверей, прослышав об умонастроении и действиях отца Филиппа, перевел его за вольнодумство и просветительский пыл в бедный хохладцкий приход слободы Степановки.

---

<sup>1</sup> Земля // Русские ведомости. — 1912. — Апр. — № 76.

Оттуда отец Филипп поехал в Московскую духовную академию. Но наука открыла ему лишь дебри догматики, апологетики, гомилетики, патристики и духовного искания не утолила... Федор Дмитриевич вспоминал: «Тоскует душа в этой каменной пустыне, — писал он мне в то время. — Хотелось бы назад, к своим хижинам и казакам, — легче дышать там»<sup>1</sup>.

Отец Филипп погибнет потом на восточном фронте, куда пошел добровольно. Это был скромный, мягкий, сердечный человек, по натуре «чуждый вражды и крови».

Крюков поехал с дипломом к донскому архиепископу Макарию в Новочеркасск. Перед спокойным старичком в скромном монашеском подряснике стоял безусый мощный юноша в тужурке, просился на службу. Благодушный и словоохотливый Владыко усомнился в его призвании к духовному сану, посоветовал ему идти в гимназию: «Не хочешь в учителя, подавайся в артиллерию: парень крепкий, плечи у тебя здоровые, орудия ворочать можешь — казаку самое подходящее дело...

Каюсь, ушел я от архиерея теми же легкомысленно весомыми ногами, какими и пришел, не огорчившись отказом», — рассказывал Крюков<sup>2</sup>.

В сентябре 1893 года он поступает на службу в Орловские гимназии — мужскую и женскую. Сначала — воспитателем пансиона. Прослужил в должности семь лет, с августа 1900 года был назначен сверхштатным учителем истории и географии.

Он напишет о своем настроении этого времени:

«Что за жизнь! Позади — длинный ряд дней, до тошноты похожих один на другой. Ничего яркого, захватывающего, поднимающего дух, даже просто занимательного ничего не было! Пыльная, серая, однообразная дорога по одноцветной, мутной, немой пустыни. Впереди... впереди вырисовывалась та же безотрадная картина: однообразные дни без радости, одинокие ночи с бессильными думами. Та же гимназия с испорченным воздухом, корпус, пансион... Невыносимое, пестрое, одуряющее галдение в тесных классах и коридорах, убожество духа, лицемерие и тупость в учительских... Все на свете меняется, но тут, в этой духоте, жизнь как будто окаменела навеки в своих однообразных казарменных формах...

О, незаметная трагедия учительской жизни! Мелкая, жалкая, возбуждающая смех и нестерпимый зуд поучений о высоком призвании...»<sup>3</sup>

С 1892 года Ф. Д. Крюков начал печатать очерки. Не обошел он и положения в учебных заведениях. Орловские педагоги узнавали в картинах из школьной жизни себя. Автор почувствовал, как и герой его очерка «Новые дни» учитель Карев — образ во многом автобиографический, — «косые взгляды, молчаливое озлобление, душный воздух, пропитанный ненавистью и соглядатайством...».

<sup>1</sup> О пастыре добром (памяти о Филиппе Горбаневском) // Русские записки. — 1915. — № 6. — С. 307, 309.

<sup>2</sup> Там же. — С. 308.

<sup>3</sup> Ф. Д. Крюков. Новые дни (из школьной хроники) // Русское богатство. — 1907. — № 10. — С. 99, 115, 117.

Карев поддерживал гимназистов, которые читали «Коммунистический манифест», «Эрфуртскую программу», проповеди Толстого. Он возненавидел «полицейскую школу», где «начальство преследует и систематически убивает всякое проявление живой мысли»<sup>1</sup>.

Крюкова преследовали в Орле и как литератора. В. Короленко советовал молодому прозаику выступать под псевдонимом, что Крюков отчасти и делал, печатаясь под фамилиями — А. Березницев, И. Гордеев.

«С лета 1905 года, — вспоминал он, — я за одно литературное прегрешение был переведен распоряжением попечителя Московского округа из Орловской гимназии в учителя Нижегородского реального училища»<sup>2</sup>.

Двенадцать лет провел Крюков в Орле. Когда уезжал, почувствовал: прошли лучшие годы в милом и скучном городе.

В Нижегородском училище дослужился он до чина статского советника, получил орден Станислава. Но свое призвание видел в другом — активной гражданской деятельности. В 1905 году раздавал в Глазуновской нелегальную литературу, ругал царя, составил демократического содержания прокламацию нижегородских граждан.

И вот открылось перед ним — как он полагал — широкое поприще: в начале марта 1906 года ему доставили в Нижний Новгород казенный пакет с печатью Глазуновского станичного правления: его извещали, что он избран уполномоченным в окружное Усть-Медведицкое собрание по выборам членов Государственной думы. В гимназии предоставили месячный отпуск. Он прошел выборы и в округе, и в Области Войска Донского — Новочеркасске.

«Первый момент — после нашего избрания, по-особому сильный, торжественно трогательный, необыкновенный — первые народные избранники! — как будто спаял всех близостью осуществления лучших надежд и упований. В приветственных речах говорилось о свободе, о праве, о восстановлении старой забытой славы и достоинства... Много хорошего...» — вспоминал он через десять лет<sup>3</sup>.

Когда Крюков приехал домой после избрания в Думу, его брат, студент-лесник, посадил в палисаднике по этому случаю дубовый желудь, чтоб выросло в память народного представительства вечное дерево как памятник свободы.

Крюков ехал в Петербург, вез в Думу указы-требования народа.

«Я люблю Россию — всю, в целом, великую, несуразную, богатую противоречиями, непостижимую. «Могучую и бессильную...» Я болел ее болью, радовался ее редкими радостями, гордился гордостью, горел ее жгучим стыдом», — писал он там же. Страдал стыдом за казачество, «зипунных рыцарей», которых гнали на усмирение восставшего народа в города и села.

Дума открылась 27 апреля (10 мая) 1906 года в Таврическом дворце.

<sup>1</sup> Русское богатство.—1907.—№ 11.— С. 85; № 12.— С. 27.

<sup>2</sup> Крюков Ф. Д. Первые выборы//Русские записки.—1916.—№ 4.— С. 160.

<sup>3</sup> Крюков Ф. Д. Первые выборы.— С. 180.



Крюков выступал от фракции трудовиков, состояла она из крестьян и близких к ним интеллигентов. Они требовали отмены сословных и национальных ограничений, отстаивали неприкосновенность личности, свободу совести и собраний, демократические формы самоуправления, справедливое разрешение аграрного вопроса на принципах уравнительного распределения земли, протестовали против репрессий и особенно смертной казни, использования казачьих войск для разгона демонстраций и усмирения бунтов.

В Думе был зачитан запрос о казаках. Донцы привезли и зачитали «приговор» одной из станиц, в котором, между прочим, говорилось: «Мы не желаем, чтобы дети наши и братья несли на себе обязанности внутренней охранной службы, так как считаем эту службу противоречащей чести и доброму имени казачества. Теперь, когда мы узнали, что на требования Государственной Думы дать русскому народу свободу и землю правительство ответило отказом, для нас стало ясным, где наши друзья и где враги. Крестьяне и рабочие, требующие от правительства земли и воли, есть наши друзья и братья. Правительство же, которое не желает удовлетворить этих справедливых и законных требований всего русского народа, мы не считаем правительством народным... Само собою разумеется, что оставаться долее на службе у такого правительства не позволяет наша честь и совесть. Служить такому правительству — значит служить интересам помещиков-землевладельцев и богачей, притесняющих трудящийся русский народ, крестьян и рабочих и выжимающих из него последние соки»<sup>1</sup>.

Станица не была названа. Стояло 73 подписи казаков.

13 июня на 26-м заседании Думы протестующее, гневное, требовательное слово произнес Ф. Крюков. Это была речь борца за демократию, порядок в стране. Против него выступили три бывших станичных атамана — Васильев, Куркин, Севостьянов. Завязалась острая борьба среди земляков в самой Думе. Если Крюков закончил речь под бурные аплодисменты, то возражения его оппонентов вызвали раздраженные возгласы, хохот, шум. Крюков выступил еще раз и ответил атаманам-«нагаечникам».

В. И. Ленин отмечал: «Крестьяне-народники в обеих первых Думах — огонь, страсть. Они полны стремления к непосредственному и решительному действию»<sup>2</sup>.

Крюков в числе других депутатов подписывает ряд запросов министру внутренних дел: на каком основании содержится в тюрьме четыре месяца учитель Хорольского уезда Полтавской губернии Герасим Батва и продолжают увольнения со службы учителей и фельдшеров; об уголовных преследованиях железнодорожных служащих за октябрьскую забастовку.

В таганрогской тюрьме много месяцев томились без предъявленных обвинений пять человек. Объявили голодовку. Двое находились в тяжелом состоянии. Крюков поддерживает запрос и по этому случаю.

<sup>1</sup> Государственная Дума: Стенографические отчеты.—1906.— Т. II.— С. 963.

<sup>2</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч.— Т. 22.— С. 365.

Дума, где кипели народные страсти, высочайшим повелением была распущена. После Крюков пронырчески заметит: желудю, который посадил его брат, не суждено было произрасти. «Забралась в палисадник пестрая Хаврошка, нашкодила в цветнике и выковырнула тупым рылом своим нежный росток нашего дубочка. Погиб памятник»<sup>1</sup>.

9 июля около 200 депутатов собрались в Выборге в гостинице «Бельведер» на экстренное совещание, где было выработано воззвание «Народу от народных представителей». В нем говорилось:

«Граждане всей России! Указом 8 июля Государственная Дума распущена. Когда вы выбирали нас своими представителями, вы поручили нам добиваться земли и воли. Исполняя ваше поручение и наш долг, мы составляли законы для обеспечения народу свободы, мы требовали удаления безответственных министерств, которые, безнаказанно нарушая законы, подавляли свободу; но прежде всего мы желали издать закон о наделении землею трудящегося крестьянства путем обращения на этот предмет землю казенных, удельных, кабинетских, монастырских, церковных и принудительного отчуждения земель частнособственнических. Правительство признало такой закон недопустимым, а когда Дума еще раз настойчиво подтвердила свое решение о принудительном отчуждении, был объявлен роспуск народных представителей...

Граждане! Стойте крепко за поправные права народного представительства, стойте за Государственную Думу...»<sup>2</sup>

Воззвание подписали 166 перводумцев, в их числе «отставной статский советник Ф. Д. Крюков, 36 лет».

Оно распространялось во многих местах, попало и на Дов, например — в станицу Нижнечирскую, о чем доносило в то время жандармское управление Департаменту полиции.

За агитационные выступления в Усть-Медведицкой Крюкову — вместе с будущим командармом Второй Конной Филиппом Кузьмичом Мироновым и студентом Скачковым — было запрещено проживание в пределах Области Войска Донского. Казаки Глазуновской отправляли прошение войсковому наказному атаману о снятии позорного запрета.

По делу о выборгском воззвании началось следствие. Готовился суд. Но Крюков продолжал политическую деятельность. Вместе с А. В. Пешехоновым, Н. Ф. Анненским, В. А. Мякотинным, С. Я. Елпатьевским — товарищами по журналу «Русское богатство» — становится создателем Трудовой народно-социалистической партии (энесы). Их цель — защита трудового крестьянства.

В связи с организацией Трудовой народно-социалистической партии против Крюкова было возбуждено еще одно дело, которое грозило каторгой. Он писал тогда своему другу: «Я знаю, что я все перенесу — и многолетнюю каторгу, и вечное поселение где-нибудь в Сибирской тайге, но

<sup>1</sup> Крюков Ф. Д. Первые выборы. — С. 180.

<sup>2</sup> Речь. — 1906. — 13 дек.

знаю, что я не вынесу только одного — это тоски по своим родным местам. Донские песчаные бугры и Глазуновская с своими лесами и Медведицей протянут так, что не хватает меня и на два года»<sup>1</sup>.

Между тем следствие по делу о воззвании закончилось. 12 декабря 1907 года начался суд, 19-го было вынесено решение: заключить всех на три месяца в тюрьму, лишиться избирательных прав. Так Федор Крюков попадает в петербургскую тюрьму — Кресты.

Выйдя на свободу, живет в Петербурге. Работает библиотекарем в Горном институте, дает частные уроки. Прежнее место в Нижнем Новгороде он потерял.

Наезжал в Глазуновскую, чтоб помочь по хозяйству двум своим незамужним сестрам. Сохранялся там и его собственный казачий надел пахотной и луговой земли. Охотничьи трудился на земле, в саду, на косовице.

Он пишет А. С. Серафимовичу из Глазуновской 14 августа 1913 года: «...путешествовал по окрестным ярмаркам, хотел купить лошадей для мотыбы — у меня ведь есть посев, — лошадей не купил («приступу нет — дорогие»), устал и теперь сижу среди хлебного изобилия, не знаю, что делать, как перебавить его в закрома... И вот единственная в своем роде картина: обилие, избыток, богатство задавили почти обладателей, — люди выбились из силы (не только люди — скот), ворочая этот тяжкий груз, почернели, отошались, изморились, изболелись от чрезмерного физического напряжения. Веза скрипят и день и ночь, спят люди на ходу или на тряских арбах... Перестали праздновать праздники (даже «годовые»). Нет пьяных: некогда гулять... Быть среди этой жизни интересно и радостно, и мне сейчас никуда не хочется. Единственный раз в жизни я вижу картину такого изобилия и такого труда»<sup>2</sup>.

После 1906 года Крюков становится профессиональным литератором. Он связал свою судьбу с журналом В. Короленко «Русское богатство», обрел здесь единомышленников и свою трибуну как прозаик и публицист.

В 1912 году, когда ушел из жизни поэт, революционер-народоволец Петр Филиппович Якубович, Крюков был взят на его место редактором по отделу художественной литературы (наряду с В. Короленко и А. Горнфельдом). Крюков становится помощником Короленко, который, видя, насколько тяжело было на первых порах новому редактору, ободрял его в письмах 1913 года:

«Вообще с редакционным делом не робейте, — обыкнете».

«Не унывайте, Федор Дмитриевич. Поначалу-то оно трудненько, да и после работа не ахтивеселая. Но привычка все-таки великое дело», «Терпи, казак, будучи одним из атаманов «Русского богатства»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Крюков Ф. Д. Родимый край: Сборник, посвященный двадцатипятилетию литературной деятельности Ф. Д. Крюкова. — Усть-Медведица (Донская обл.), 1918. — С. 33.

<sup>2</sup> Цит. по: Волга. — 1988. — № 2. — С. 162.

<sup>3</sup> Короленко В. Избранные письма. — Т. II. — С. 213, 226.

Укреплялись его связи с земляком А. С. Серафимовичем. 24 апреля 1912 года Крюков пишет из Петербурга Серафимовичу, что 19 мая намерен отправиться в путешествие по маршруту: Рыбинск—Волга—Царицын—Серебряково—Глазуновская, чтобы до половины августа ездить по местам «русских» губерний, поглядеть жизнь «русских», то есть не принадлежащих к казакам. Это было хождение в народ по примеру Короленко, написавшего после своих путешествий — «Река играет», «По Ветлуге и Керженцу», «В пустынных местах», «В облачный день» и другие рассказы и очерки.

Вернувшись из поездки по Волге, Крюков печатает обширный очерк «Меж крутых берегов (Путевые впечатления)».

Он едет в Донецк, к шахтерам, спускается в шахту — и пишет «Среди углекопов (первые впечатления)». Плывет по Волге — и появляется очерк «В нижнем течении».

Совершает путешествие из Петербурга в Орел, оттуда водным путем до Калуги, чтоб «взглянуть хоть одним оком на коренную русскую деревню и, насколько сил окажется возможным, познакомиться с его современным общественным настроением и хозяйственным бытом»<sup>1</sup>.

Во время первой мировой войны Крюков побывал на фронте в составе санитарного отряда Государственной Думы на турецком участке и в Галиции в качестве корреспондента, писал очерки и рассказы о страшной трагедии человечества.

Он воспринял как вполне естественное событие 28 февраля 1917 года. У Серафимовича были все основания для радостного поздравления друга «с чудесным праздником. Дожили-таки мы с Вами», — писал он 9 марта из Москвы в Петербург<sup>2</sup>.

В марте 1917 года в Петрограде был созван Общеказачий съезд, избран Совет Союза казачьих войск. В него вошел и Крюков, но практических дел не вел и вскоре уехал в родные места. В апреле собрался Войсковой съезд в Новочеркасске. Крюков был делегатом от Глазуновской. Выступал с речью.

Ф. Крюков, как и Г. Плеханов, В. Короленко, П. Кропоткин, Е. Чириков, стоял за продолжение войны, считая ее для России оборонительной. Надо полагать, что он с сочувствием воспринял пафос манифестации, устроенной после Общеказачьего съезда в Петербурге: казаки на лошадях, с пиками, украшенными красными флажками, с лозунгами на знаменах — «Война до победного конца», «За свободу Родины в крови немецкой выкупаем коней своих», «Всколыхнулся тихий Дон», «Да здравствует свободный народ», «Да здравствует республика»<sup>3</sup>.

Революционная Россия — считал Крюков — может погибнуть, если не остановить милитаристскую Германию, которая вторгается в пределы

---

<sup>1</sup> Крюков Ф. Д. Мельком (Впечатления проезжего) // Русское богатство. — 1914. — № 7. — С. 279.

<sup>2</sup> Цит. по: Волга. — 1988. — № 2. — С. 167.

<sup>3</sup> Вольный Дон. — 1917. — 8 апр.

страны. Национальная задача — отражение мощного натиска. Вина за состояние фронта лежит на самодержавии. Временное правительство отстаивает единую, неделимую, республиканскую Россию. Для ее спасения надо оставить в стороне все внутренние неурядицы, все групповое, личное, вносящее рознь, мешающее прочному единству. Таков был смысл его рассуждений в очерках и статьях этого времени.

Второй вопрос — казачий. В течение двухсот лет свободные сыны Дона напоминают орлов со связанными крыльями. Ущемление их прав началось уже в царствование Михаила Федоровича, а со времени Петра Первого войсковые атаманы стали назначаться по воле царя. И только теперь разгорается заря свободы и счастья. Только теперь можно возратить казачьи вольности былого времени, демократический уклад, восстановить равенство всех перед землей, перед обязанностями, равенство в правах.

Все это возможно лишь на основе областного самоуправления, воссоздания Круга — казачьего Вече. Выборы должны быть тайными, прямыми, всеобщими. Это будет Донская Областная Дума с законодательной палатой, избираемой всем населением.

Казачи имеют исторические заслуги перед страной как сила объединения. Они защищали Московскую Русь от набегов степных варваров. В течение нескольких веков были на передних позициях. Подарили России Сибирь, первыми строили города на диком Амуре, стояли стражами на гребнях Кавказа. И теперь, в 1917 году, они должны оставаться оплотом государственности.

У Крюкова был в какой-то мере романтический взгляд на казачество. Поскольку-де оно не знало крепостнических порядков, то в большей мере сохранило дух свободолюбия, независимости, ощущение государственного долга, чем русские крестьяне, жившие под гнетом бояр, дворян, помещиков, купцов и чиновников. Казачество представляет собой мобильную и надежную вооруженную силу, стоящую вне политики. Вот почему он считал, что казак должен занимать особое положение в обществе.

Самая большая опасность для Дона и других казачьих регионов, а следовательно, и для всей страны, считал Крюков, — в установке некоторых политиков на расказачивание. Еще при царизме публицисты из «Нового времени» высказывали мысль о том, что казачество как особое военное сословие изжило себя и в этой роли обществу бесполезно.

Казачи настороженно присматривались, как отнесется к ним Временное правительство. Положение складывалось довольно благополучно.

Военное ведомство в марте 1917 года отменило распоряжения царского времени о предоставлении войсковым наказным атаманам права налагать на казака административные взыскания. Была обещана скорейшая отмена и других правоограничений, реорганизация местного управления на демократических принципах.

В Воззвании от Донского исполнительного комитета к «гражданам казачкам и крестьянам» было высказано заверение: «У трудового населения, в том числе и у казаков, не может быть отобрано ни пяди земли. Земля



казачья полита потом казака-землероба, вместе с крестьянином питающего великую Матушку Русь»<sup>1</sup>.

Это должно было соответствовать политическому стремлению писателя. Однако настроение у Крюкова после Февраля становилось все более тревожным. Он писал:

«Все чувствуют, несомненно, надвигающуюся катастрофу... Самый серый, заскорузлый обыватель уже ошущю дошел до ответственного сознания связи своего угла с тем далеким, отвлеченным и туманным целым, что именуется отечеством. Прозрев, увидел развал, почувствовал скорбь, негодование, страх за грядущую судьбу. Оторопел, подавленный и бессильный. И стоит растерянно, как брошенная равнодушным хозяином верная дворняга на оторвавшейся льдине, гонимой по волнам завывающей бурей.

Что-то надо самим делать — всем это ясно. Но как? с чего начать? за что ухватиться? куда кинуться? — Никто не знает»<sup>2</sup>.

Как наблюдатель фронта и тыла он убеждался: нет патриотического порыва ни там, ни здесь. Распространились карьеризм, торгашество, спекуляция, взятки, мешочничество. Особенно опасными становились анархизм, властолюбие, самозванство, грабеж, насилие над личностью. Родовые пятна самодержавного строя еще больше стали проявляться в ходе разорительной войны и разложения фронта.

Его паническое настроение передают письма к А. Горнфельду с Дона:

«Тревога моя за Россию, начавшаяся в Питере, не улеглась. На гребне волны почти всюду оказывается хулиган, бывший стражник, уголовный, подпольный, адвокатишка. Они ориентируются быстрее, чем добропорядочные граждане, захватывают власть, обманывают, арестовывают, сводят личные счеты»<sup>3</sup>.

Не было твердой надежды на казачий Круг. В апреле он пишет тому же адресату:

«Завтра начнется казачий съезд — кстати сказать, совершенно сумбурный, бесплодный и бесплодный. Я заеду отсюда в Глазуновскую на несколько дней и затем — в Питер. Не знаю, кого из товарищей застану там. Хотя мне и угрожают здесь оставить меня на какие-нибудь ампула, но у меня пропала охота к начальствованию в данный момент, да и чувствую, что соскучился по литературе. Материалом переполнен до чрезвычайности.

Попробую засесть»<sup>4</sup>.

Но он снова в гуще взбудораженного, митингующего, кочующего по дорогам страны народа. Ездит по России. Приходилось и на буферах вагонов, и в кочегарках, в теплушках. Научился проникать в вагоны через окно, когда невозможно было войти через дверь. Сидел на станциях, лежал на

<sup>1</sup> Донские областные ведомости. — 1917. — 22 марта.

<sup>2</sup> Крюков Ф. Д. Мельком. — С. 290—291.

<sup>3</sup> Цит. по: Коммунистический путь. — 1988. — № 89. — 28 июля.

<sup>4</sup> ЦГАЛИ, ф. 155, ед. хр. 678; Моложавенко Вл. // Молот. — 1965. — № 189. — 13 авг.

платформах вместе с мужиками и бабами, добывавшими хлеб. Приходилось спать в реквизируемых учреждениях на тюках бумаг.

«Каких только схваток и столкновений я не видел, каких споров и суждений не слышал! Были ослепительно блестящие планы перестройки всего мира; были робкие вздохи о том, чтобы сохранить то, что есть, не ломать старенькое, а осторожноенько, с рассмотрением, бережно починить его; были буйные озорно гогочущие призывы «взять» и были степенные, но твердые разводы в тех смыслах, что взять — не шутка, а вот как распределить без обиды, без греха?

Как бы промежду себя ножами не перерезаться»<sup>1</sup>.

«Ослепительно блестящие планы перестройки всего мира» ему казались фантастическими, потому что он был реалистом, хорошо знавшим жизнь в глубинной России. Ему ближе были те, кто не хотел ломать старое, а предлагал осторожно приспособить его к новому.

Политическая программа Крюкова — это программа «Русского богатства», взгляды Короленко, изложенные в статьях о мировой войне и в письмах к А. Луначарскому.

Не сошелся он и с большевиками. В частности, Брестский договор, по которому границы на западе страны передвигались до территориальных пределов XVII века, он воспринял как предательство.

Несогласен был и с тем, что большевики сделали опорой в деревне, станицах, хуторах бедноту, иногородних. Он протестовал против притеснения середняков, интеллигенции, крепких, но трудолюбивых хозяев, которых нередко подводили под категорию «буржуев». Он не прощал гонения на церковь, духовенство. Считал неправильным огульное обвинение старого офицества, служилых людей в контрреволюционности.

В июле 1918 года, когда красногвардейцы вошли в Глазуновскую, ему лично, как «буржую», пришлось уйти в поле с подростками — сыном и племянником. Поймали, привели в станицу, посадили как арестанта в дом станичного правления атамана, затем повезли в революционный центр на Дону — Михайловку. К счастью, там он встретился с Ф. К. Мироновым, в то время заведующим военным отделом ревкома. Это спасло от расправы. Дом его был за это время разграблен, сад вырублен.

Бесследно это не проходило. гнев накапливался. И Крюков все больше склонялся к тому, что красные несут казакам разорение, отбирают права, проводят колонизацию.

В августе 1918 года в Новочеркасске собирается Большой Круг. Крюков был снова представителем от Глазуновской. Его избирают секретарем Круга. Теперь он должен был ставить свою подпись под некоторыми воззваниями, распоряжениями Донского правительства.

Но и в это время близости к белогвардейскому лагерю он был противником планов сепаратистов, стремившихся отделить Дон от России. Когда Войсковой Круг учредил донской герб — олень, пронзенный стрелой, и свой

---

<sup>1</sup> К р ю к о в в Ф. Д. Новым строем//Русские ведомости.— 1917.— 30 июня.

флаг — васильково-золотисто-алый, Крюкова радовало это как сына родимого Дона, но как гражданина России опечалило. Он писал:

«Звучит гордо это — «собственный флаг», но обязательно почувствовалось тут же, что сироты мы и «бескваспики», голыши у разваленной печки, холодной и ободранной, и нечем обогреть нам иззябшее сердце...

Нет России, но да здравствует великая Россия... Почему кажется сейчас, что все в ней было такое чудесное и славное, какого нет ни в одной стране на свете? И почему так тепло было около ее патриархальной печки с лежанкой и так сиротливо холодно теперь, под собственным флагом?..

Олень, стрелой пронзенный, еще бежит. Но долго ли?»<sup>1</sup>

Тяжелыми для казачества и всей страны стали последствия осуществляемой в эти годы от имени большевиков авантюристической политики «расказачивания». Не зная народную среду, не разбираясь в социальном составе населения, рьяные администраторы из советских органов считали все казачество страны железной гвардией царя, сословным монолитом, контрреволюционной силой. Соответственно разрабатывались директивы для армии. Так, в феврале 1919 года, когда произошел перелом в настроении казаков и основная часть отошла от Краснова, переходила на сторону Советов, ждала Красную Армию с надеждой, что она принесет мир и защитит от местной контрреволюции, — «Известия народного комиссариата по военным делам» выступили с большой статьей «Борьба с Доном». Она печаталась с продолжением в четырех номерах, имела директивное значение. «Разъясняла», кто такие казаки в прошлом и теперь, как надлежит к ним относиться.

Статья очень показательна как троцкистская программа искоренения казачества. В статье из истории донцов исключалось все передовое, патриотическое, доблестное, что восхищало еще Пушкина, Гоголя, Толстого.

Вот к чему сводились выводы той статьи:

«Дон выступил против нас, против русского революционного народа, выступил в своей прежней исторической роли разбойника, душителя всяких свободных начинаний в России...

Казачество для России всегда играло роль палача, усмирителя и прислужника императорского дома... Казачество так и называлось бессменным караулом династии».

Со времени Николая I «казаки становятся для русского народа скорпионами и пиявками...

По своей боевой подготовке казачество не отличалось способностью к полевым боевым действиям. Казаки по своей природе ленивы и веряшливы, предрасположены к разгулу, к лени и ничегонеделанью. Такими были как казачьи офицеры, так равно и рядовое казачество...

При своей храбрости казак, как малоинтеллигентный человек, лгун, и доверять ему нельзя... Казаки в своей массе хуже, чем обыкновенная солдатская масса, когда она потеряла воинскую дисциплину...

---

<sup>1</sup> Крюков Ф. Д. Войсковой Круг и Россия // Донская волна. — 1918. — № 16. — 30 сент.

Казак сам по себе субъект нечистоплотный и неопрятный... Казачья масса еще настолько некультурна, что при исследовании психологических сторон этой массы приходится заметить сходство между психологией казачества и психологией некоторых представителей зоологического мира...

Стомиллионный русский пролетариат не имеет никакого нравственного права применить к Дону великодушие.

Старое казачество должно быть сожжено в пламени социальной революции»<sup>1</sup>.

Таково идейное обоснование той акции, которую проводили троцкисты на Дону.

Статья в газете военного наркомата служила комментарием к секретному циркулярному письму Оргбюро ЦК РКП(б) от 24 января 1919 года, которое рассылалось с напутствием Я. Свердлова строго придерживаться указаний циркуляра. Предписывалось физическое уничтожение всех верхов казачества, всех состоявших в красновской армии, всех бывших атаманов, офицеров и служивых людей.

Так началась массовая расправа над населением. Сподручные Троцкого расстреливали в станицах и хуторах кого попало, не щадя стариков, женщин, молодых девушек. Об этом с тревогой сообщали в Москву честные советские работники, командиры и комиссары, возмущенные дикой вакханалией. Но нередко дело кончалось тем, что сами они попадали в волчьи ямы, приготовленные троцкистскими заправилками для несогласных. Такая участь постигла Ф. К. Миронова, Б. М. Думенко и многих других.

К чему все это привело? К дискредитации идей Советской власти, восстанию казаков против репрессий и прочих беззаконий, переходу их на сторону Деникина, к развалу Южного фронта.

Комиссар Особого экспедиционного корпуса В. Трифонов докладывал: «На Юге творились и творятся величайшие безобразия и преступления, о которых надо во все горло кричать на площадях... Южный фронт — это детище Троцкого и является плотью от плоти этого... бездарнейшего организатора»<sup>2</sup>.

Ф. Д. Крюков, ставший с апреля 1919 года редактором «Донских ведомостей», печатал обличительные материалы против массового террора, опубликовал немало раскаленных статей — своих и чужих, воззвания казаков, свидетельства с мест о том, как проходил фронт. Опубликовал он и текст циркулярного письма. К сожалению, многочисленные факты, приведенные в газете, оказывались действительными. Вот почему Крюков считал: «Ведь поставлено на карту все: бытие родного края, судьба казачества, целостность родных и близких нам людей, семей наших, собственная жизнь, все трудовое достояние наше, скудное, скромное, малое, но нашим трудо-

<sup>1</sup> Известия Народного комиссариата по военным делам. — 1919. — 2, 4, 6, 8 февр.

<sup>2</sup> Т р и ф о н о в Ю. Отблески костра. — М., 1966. — С. 151—152.

вым потом облитое, ибо все мы кость от кости своего трудового народа»<sup>1</sup>.

Крюков находил резкие слова обличения: рассказывание он называл «диким торжищем красного угара», а тех, кто бездумно шел за Троцким, Сырцовым, Френкелем, Ходоровским, Колегаевым, считал «холопами», «смердами», он призывал к повстанческому движению, созданию дружин для спасения Области.

Крюков осуждал не только «леваков» из советских органов власти, но и белогвардейцев. Крюков вел борьбу на два фронта. Он печатает в «Донских ведомостях» от 13 ноября 1919 года заметку о положении дел у белогвардейских мятежников, в которой отмечены грабежи, спекуляции, узкоклассовая агитация и пропаганда, корысть и трусость, общий упадок производительной энергии, лень, страсть к наслаждениям.

Беда, а не вина Крюкова и многих других казаков, заблудившихся в той сложной обстановке, что они не смогли увидеть честных народных революционеров, которые шли под красным знаменем на Дон, чтоб помочь ему приблизиться к общерусской демократии. Это был единственный для них выход — союз с подлинными борцами за свободу.

Трагедия донцов и всех прочих казаков отражена в «Тихом Доне» М. Шолохова. «Стравили людей», — делает вывод Григорий Мелехов, имея в виду и заправил контрреволюции, и троцкистов — вдохновителей истребления казачества.

Поддерживая повстанческое движение, Крюков сам, однако, в боях не участвовал. Он присутствовал иногда на фронте как журналист. Под ним однажды подбили коня, всадник упал, получил контузию. За год до смерти Крюков отказался от звания секретаря Круга.

В 1920 году, отступая вместе с остатками деникинской армии через Кубань к Новороссийску, Ф. Крюков заболел сынным тифом и умер в станции Новокорсунской 20 февраля. Похоронен писатель близ ограды монастыря. В некрологе было сказано:

«Певец Дона и казачества, глубоко знавший душу донского казачества, его быт, его радости и горести, любивший его славное былое, скорбевший о его тяжелой жизни в предреволюционную эпоху, ушел из жизни вдали от родимой земли. В его казачьих рассказах навсегда сохранится облик донского казачества, аромат далеких степей и, добавим мы, аромат его мягкой любящей души. Громадна потеря Дона! Велика скорбь и русской всероссийской литературы. И страшно становится при мысли о могилах, могилах без конца»<sup>2</sup>.

«Очень жалею об этом человеке, — отозвался на смерть Ф. Крюкова В. Королевко. — Отличный был человек и даровитый писатель»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Донские ведомости. — 1919. — № 290. — 21 дек. (3 янв.).

<sup>2</sup> Утро Юга (Екатеринодар). — 1920. — № 44. — 25 февр.

<sup>3</sup> Письмо С. Д. Протопопову из Полтавы 25 августа 1920 года // К о р о л е в к о В. Избранные письма. — Т. III. — С. 530.



Крюкова называли Глебом Успенским Дона. Действительно, он самый большой до М. А. Шолохова бытописатель этого края. Но ему доступны были и жизненные темы общероссийского масштаба.

В ранних произведениях Крюкова проявилось романтическое увлечение прошлым, историей казачества на Руси, где он открывал для себя естественные натуры — сильных и красивых людей, обладавших тонким восприятием степной, богатейшей в те времена флоры и фауны, воспетой Н. Гоголем. Седые курганы в тонком голубом тумане, травы с цветами, цепкой и тягучей повитью, ковыль, пырей, чернобыль, желтый дрок, червонца, белоголов. Бегают волки. Летают перепела, жаворонки, стрепета, кобчики, коршуны, белые луны. При виде всего этого хотелось «и смеяться, и петь — петь волчью и захватывающую, чарующую, как степь, песню».

В произведениях Крюкова разворачивался красочный мир, старины, естественного окружения, формирующего характеры эпического склада.

У Крюкова очень рано сложилась историческая концепция: народ должен быть способным постоять за себя. Таким был в прошлом Дон — воинственный край вольволюбивых рыцарей, надежда страждущих, опора нации в борьбе с деспотизмом.

Но не исторические сюжеты определили дальнейший путь художника. Идя следом за Глебом Успенским и Владимиром Короленко, он стал мастером бытовых картин с натуры. Это были рассказы и очерки о людях простого звания со своими биографиями, нуждами, голосами, портретами.

В 1896 году появляется его «Казачка», при этом в лучшем столичном литературном, научном и публицистическом журнале — «Русском богатстве».

С этого времени Крюков становится видным художником, живущим вместе со своим народом единой жизнью и способным просто и образно рассказать о его быте, складе мышления, чувствах. Он поведет читателя по улицам станиц и хуторов, покажет казацкие сходки, отправку молодых на службу, кулачные бои, принимавшие у казаков вид азартного спортивного состязания, артельную ловлю рыбы на Медведице, свадьбы, выборы атаманов и членов Государственной Думы, долю матерей, страдающих по своим сыновьям, жалмерок с их запутанной судьбой, участь интеллигенции, окруженной средой отсталых, неграмотных людей, тюремный быт, религиозные искания, суеверия, существование обездоленных казаков и иногородних.

Такие его рассказы и очерки, как «Клад», «На тихом Дону», «Из дневника учителя Васюхина», «В родных местах», «Жажда», «Мечты», «Мать», «Счастье», «Офицерша», «О, Нелид» и многие другие, стали глубоким исследованием той жизни, где рядом с общими чертами проявились сложившиеся в течение столетий особенные черты.

Крюков не идеализирует казачий быт, он видит и жестокость нравов, и темноту, и шаткость нравственности, но все это оказывается на втором месте. На первом — трудолюбие, общительность, здоровая сила народной

души, оптимизм, любовь к отчему краю и домашнему очагу, к земле, отзывчивость и человечность.

В ряде произведений он выходил за пределы Области Войска Донского — таких, как «К источнику исцеления», «Сеть мирская», «Новые дни», «Неопалимая Купина», «Мельком», «Угловые жильцы», «Войны — черноризцы» и других.<sup>1</sup>

Крюков стал летописцем главных исторических событий первых двух десятилетий нашего века — революции 1905 года, кануна 1914 года, мировой войны, Февральских и Октябрьских дней.

«Шаг на месте», «Шквал», «У окна», «Полчаса», «В камере № 380», «Счастье», «Будни», «Без огня» и другие переносят нас в обстановку 1905 года.

Возмущение народа самодержавным строем, бунты, стачки, уличные манифестации Крюков считал делом справедливым, праведным. Интеллигенции удалось в 1905 году сказать свое слово. Вот как рассуждает об этом герой рассказа «Шаг на месте»:

«Какие статьи в газетах! — восторженно восклицал Арсений. — Читаешь — дух радуется! Любая статья — прокламация: так и жжет!.. Но казаки, мужики, хохлы, простой народ... даже они от этих статей до того загораются, что это самое самодержавие вдребезги готовы превратить»<sup>1</sup>.

Перенесший тюремное заключение, Крюков рассказал о том, как души свободную политическую мысль, сажали в холодные и темные камеры лучших представителей народа.

Сам Крюков мужал в суровой борьбе, не сдавался и в пору жесточайших расправ.

В 1909 году публикует рассказ «Шквал». В нем — надежда на народ, который способен «двинуть вперед всю многообразную жизнь, огромную и величественную». Писатель надеялся: «О, сверкнет когда-нибудь молния, ударит гром, явится повитый огнем дождь, и развернется сила, которая таится здесь, могучим вихрем разорвет все путы, раздробит оковы и изумит мир своей величавой мощью...»

Но Крюков опасался: в этом вихре может разгореться страсть взаимного уничтожения, когда брат восстает на брата, сын на отца, сосед на соседа. «Злоба и смута пошла такая, что задохнется в ней деревня, непременно задохнется», — рассуждает отец Михаил в рассказе «Без огня».

Сам Крюков, как видим, не исключал возможности нового мощного вихря, но он все же полагал, что Россия потеряла шансы на историческую перемену, когда была разогнана первая Государственная Дума. Вспоминал об этом постоянно. Был потрясен неразумным поведением императора.

Мировая война. В его дневнике есть пронзительная запись о том, как провожали родные, близкие, в их числе и сам Федор Дмитриевич, на мокрой пустынной платформе станции Себряково глазуновских казаков на фронт:

«Труба, труба! Звенит труба. И раздается плачущая, тихая, воющая

<sup>1</sup> Русское богатство. — 1907. — № 5. — С. 59.

нотка. Причитают, а детишки голосом плачут... «Да родимый ты мой Степушка-а...» «Да родимый ты мой батюшка! И когда я тебя увижу?»

Мальчик в серой, гимназического образца шинельке бежит, причитает, и вдруг челюсти мои сжимает судорога и в глазах волна слез...

Ах, какая толпа, какая бессмыслица...

«Крику — аж кожа отстает», — говорит суходонец. Иная обхватит пятерых в кучу, другая — четверых — плачут. «И когда это замирение будет? Бьют, бьют их, а все конца не видать...»

Песня, плач, кучками идут остатки бабьей армии. Пошли глазуновцы! И замирает песня в степи.

Господи, оглянись!»

Дневниковые зарисовки с натуры войдут в очерки «Около войны».

Во всех фронтовых произведениях Крюкова звучит эта тревожная и скорбная мысль гуманиста: «Господи, оглянись!»

Писатель, наперекор ура-патриотической пропаганде, представлял фронтовые будни так: апатия — у солдат, ирония и озлобленность — у офицеров.

В Галиции его возмутит разор, которому подверглась фронтовая полоса. «Испит», «усе зруйновано», нынче «придут австрийцы — плохо, завтра русские — тоже не гладко... Страшно! Боже мой, как страшно!» — жалуется местный учитель.

А между тем все простые люди тянутся к единению, братству.

Есть у Крюкова изумительный очерк «Зося». Русские солдаты помогли девочке из польского местечка Звянич во время ее болезни. И вот она привязалась к ним, «стала совсем военным человеком». Когда русские уходили, она бежала следом, чтоб догнать, проститься, но уже опоздала:

«— Пап доктор,— кричала Зося, проваливаясь в снег, плакала слезами сердитого озлобления»<sup>1</sup>.

Февральские события 1917 года Крюков отразил в очерке «Обвал» как начало новой эпохи. Он был тогда в Петрограде, на улицах, в толпах. Рад был видеть, как бунтовали полки, солдаты и казаки. Звенели пули, но как крик лебеда звучала торжественная музыка. От радости, — пишет Крюков, — «дыхание перехватывало: неужели? Неужели — начало великого, долгожданного, лишь в мечтах рисовавшегося в безвестной дали».

Великолепен бурный освободительный поток. Но он поднял и мусор — оголтелый гам разрушителей, громил винных погребов, барских особняков, поджигателей. «Ах, как было много вопиюще ненужного, обидного, бесцельного, душу переворачивающего торжествующим хамством...»

Поэтому для многих честных людей, кто ждал революционных перемен, полной радости не было. Ее омрачали обыски, угрозы, аресты, бесчинства. «Удручало оголенное озорство, культ мальчишеского своевольтва и безответственности, самочинная диктатура анонимов». Сил, которые могли бы обуздать стихию, Крюков не видел. И лишь в церкви успокаивал себя,

<sup>1</sup> Группа В. Силуэты // Русские записки. — 1916. — № 12. — С. 172, 182.

когда указывал Неведомому Промыслителю на струнья и язвы родной земли (очерки «Новое»).

Крюков пишет в тех очерках, что ему было тяжело видеть утрату единого понимания жизни, единого языка.

После Октябрьской революции этот «разлом» в народе, по убеждению Крюкова, стал еще заметнее. Он пишет очерк «В углу». Рассказывает о том, как в Михайловке жулики, воры, шибай, торгаши, скупщики, извозчики, спекулянты, всякий преступный сброд набросились на винный склад как буржуазное имущество, взяли его штурмом. Было организовано разграбление и истребление буржуев, офицерской «касты». Не щадили и тех, кто вышел из самой демократической среды — семей малоимущих, мозолистых.

Все это стало очень серьезной причиной несогласия Крюкова с новой властью. Приходится лишь сожалеть, что такой чуткий к переменам сын Родины и донского края, гражданин, талант, нужный народной революции, оказался на трагическом распутье. Ведь это ему принадлежат слова: «Родимый край... Как ласка матери, как нежный зов ее над колыбелью, теплом и радостью трепещет в сердце волшебный звук знакомых слов...»<sup>1</sup>

\* \* \*

В последние годы жизни Ф. Крюков перешел главным образом на журналистику, хотя мастер образного эмоционального языка чувствовался во всем.

Есть свидетельства, будто Крюков писал роман. Но вряд ли это было возможно, прежде всего по причине большой занятости: много печатался в периодике, был постоянно в разъездах, редактировал газету и официальные документы Войскового Круга. Да к тому же роман требует сюжета. А Крюкову это давалось с трудом. Известно, что он хотел в 1913 году писать пьесу, но не мог придумать сюжета. Просил Серафимовича помочь, предлагал написать пьесу вместе. Для Крюкова пьеса была бы замыслом более реальным, потому что он умел строить диалоги, отлично владел разговорной речью.

У него преобладает проза бессюжетная. Не говоря уж об очерках, даже в рассказах сюжетные линии заметно ослаблены. Они держатся на достоверном бытописании, живых подвижных сценах народной жизни, воспринятой нежным, любящим сердцем художника, на местном колорите, образности языка, акварельном рисунке пейзажей.

Природа таланта Крюкова была такой же, как у Г. Успенского и Короленко. Читая их, убеждаешься: сюжет не всегда обязателен. Панорамное изображение складывается из отдельных эскизов, которыми становятся очерки, рассказы, миниатюры.

Между тем слухи о романе Ф. Крюкова оказались живучи. С некоторых пор распространяется версия, будто «Тихий Дон» написан Крюковым, а не М. А. Шолоховым. Такое несообразное подозрение возникло, на наш взгляд,

---

<sup>1</sup> Крюков Ф. Д. Край родной//Донская волна.—1918.—№ 12.—26 авг.

в связи с общностью исторического, этнографического, бытового, фольклорного и словарного материала, которое естественно возникало у писателей-донцов Крюкова и Шолохова. В этот ряд встает и творчество А. Серафимовича. Между прочим, Серафимович, отлично знавший все, с чем выступали Крюков и Шолохов, писал П. Е. Безруких в 1929 году — пору фабрикация первой версии о плагиате:

«Читали ли Вы Шолохова «Тихий Дон»? Чудная вещь. Успех громадный. Шолохов еще мальчуган — лет 25—26. Талант огромный, яркий, с своим лицом. Нашлись завистники — стали кричать, что он у кого-то украл рукопись. Эта подлая клеветническая сиплетня поползла буквально по всему Союзу. Вот ведь псы! Я и товарищи поместили в «Правде» письмо, что это — подлая клевета, ну поджали хвосты»<sup>1</sup>.

Версии последних лет сводятся к двум вариантам.

Первый идет от некоего Д\*, автора рукописи «Стремя «Тихого Дона» (загадки романа)», изданной в 70-е годы в Париже с предисловием и послесловием А. Солженицына. Итоговый вывод из выкладок такой: автор — Крюков, Шолохов — «соавтор», неумело придавший чужому материалу иное идеологическое направление. Эта версия блистательно провалилась. Достаточно одного факта: действие романа захватывает еще два года — до 1922-го — уже после смерти Крюкова. Как это могло произойти? Правда, Солженицын не исключает предположения, что «был, жил никогда публично не проявленный, оставшийся всем неизвестный, в Гражданскую войну расцветший и вслед за ней погибший еще один донской литературный гений: 1920—22 годы были годами сильнейшего уничтожения воевавших по ту сторону».

Кто же он, тот самый, что «был, жил»? Любой другой, только не М. А. Шолохов. Так создается миф.

Эту версию активно поддерживает Р. А. Медведев, автор книги «Куда течет «Тихий Дон»?» (Париж, 1975), переизданной в Англии под названием «Загадки творческой биографии Михаила Шолохова» (Кембридж, 1977). Домыслы Роя Медведева опровергли Г. Ермолаев (Принстон, США) и норвежский ученый-славист Гейро Хетсо. Но, судя по его последней статье в «Вопросах литературы», Рой Медведев не отказался от ложной версии<sup>2</sup>.

Вторая версия родилась в наши дни. Доцент кафедры теории журналистики Ростовского университета М. Мезенцев опубликовал статью «Судьба архива Ф. Д. Крюкова»<sup>3</sup>. Автор пишет:

«Сегодня нам не стоит шептаться в кулак. В эпоху гласности нет необходимости отделяться глубокомысленным молчанием. Уже в 1928 году получили хождение слухи, что при написании романа «Тихий Дон» М. А. Шо-

<sup>1</sup> С е р а ф и м о в и ч А. С. Собр. соч.: В 7 т. Т. 7.— М.: ГИХЛ, 1959.— С. 550.

<sup>2</sup> Вопросы литературы.— 1989.— № 8.— С. 148—222.

<sup>3</sup> Коммунистический путь (г. Серафимович).— 1988.— 9, 13, 16, 23 сент.



лохов использовал рукописи Ф. Д. Крюкова...» И теперь «некоторые ученые совершенно недвусмысленно утверждают, что Шолохов пользовался результатами творческого труда Ф. Д. Крюкова... Мысль очевидна и бесспорна».

Для доказательства «очевидного и бесспорного» автор привел ряд «наиболее характерных» текстуальных якобы совпадений. Вот примеры:

«Тихий Дон»: «На площади у церковной ограды кучился народ... В кругу махал руками седенький старичок» (Т. II. С. 19).

«Около войны» у Крюкова: «На площади у ограды базар... большой круг беседующих... В центре площади... бородатый старик» (Русские записки. 1914. № 2. С. 256).

Второй пример:

«Тихий Дон»: «В декабре Григория с сидельцем вызвали в Вешенскую в станичное правление. Получил сто рублей на копя и извещение, что на второй день рождества выезжать в слободу Мальково на сборный пункт» (Т. II. С. 218).

«Галуны» Крюкова: «Перед выходом в полк получил сторублевое пособие на коня...» (Русские ведомости. 1910. 28 марта).

«Ратник» его же: «Позвали Костика в станичное правление и объявили: 9 сентября быть на сборном пункте в слободе Михайловской» (Русские записки. 1915. № 11. С. 165).

Перечень совпадений продолжается. И автор не задумывается над тем, что народ в станицах и селах действительно собирался в важных случаях на главной площади около церкви и слушал стариков. Пособие и сборные пункты существовали в реальности. М. Мезенцев проводит мысль о том, что без подсказки Шолохов, родившийся в этих местах, не мог якобы этого знать.

Если у Д\*, Солженицына и Р. Медведева сложилось мнение, что Шолохов заимствовал текст, копируя многие сотни страниц сплошняком, то у Мезенцева речь идет об отдельных фразах и словах. Но так ведь можно доказать, что курганы, балки, ерики, полянь, вербы, стрелета, коршуны тоже перекочевали к Шолохову от Крюкова.

При этом поразительна эстетическая глухота авторов версий. Несмотря на высокий уровень Крюкова как психолога в рассказах «Казачка», «Мечты», «В камере № 380», «Мать», «Без огня», «Сеть мирская», «Офицерша» и других, он несомненно и очевидно уступает в этом автору «Тихого Дона». И читатель может теперь убедиться сам. И как стилист Шолохов стоит вне сравнения. У Крюкова невозможны образы такой экспрессии:

«Эшелоны... Эшелоны... Эшелоны — несчетно! По артериям страны, по железным путям к западной границе гонит взбаламученная Россия серо-пшенильную кровь» (об августе 1914 года).

Не найдем и такой сгущенной образности: «Раскачивался бледный ствол ясеня, окутанный белым кипящим вихрем мечущейся листвы».

Или начало «Поднятой целины»:

«В конце января, овсянине первой оттепели, хорошо пахнут вишневые сады».

У Шолохова своя интонация. Своя фраза. Свой стиль. Ни в чьей помощи он не нуждался<sup>1</sup>.

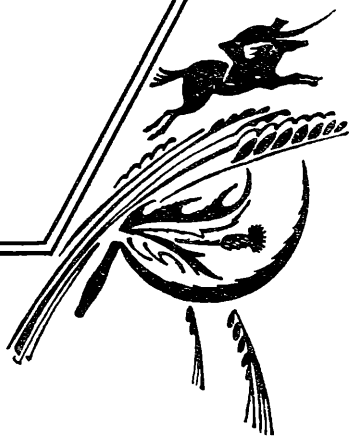
Сказанное не принижает Крюкова. У него тоже броская своя индивидуальность. Он возвращается ныне к нам как большой русский писатель-реалист, заметно преумножающий представление об истории, народе, радостном и трагическом на его пути.

*Ф. Бирюков*

---

<sup>1</sup> Ленинградская телепрограмма «Пятое колесо» организовала в 1990 году серию передач, посвященных «разоблачению» М. Шолохова. Зритель мог убедиться, какие нелепые доводы приводили «специалисты» — В. Правдок, А. Заяц, Э. Томашевская. Передачи приурочены к 85-летию писателя. Об этом подробнее в моей статье «Зоя Борисовна свидетельствует...» («Литературная Россия», 1990, № 30 от 27 июля).

# Рассказы







## КАЗАЧКА

(Из станичного быта)

I

В маленькой комнатке с низким потолком, с потемневшими, старинного письма, деревянными иконами в переднем углу, с оружием и дешевыми олеографиями по стенам находилось два лица: студент в старом, форменном сюртуке и молодая казачка. Студент стоял на коленях среди комнаты перед большим раскрытым чемоданом и вынимал из него книги, разные свертки и — больше всего — кипы литографированных лекций и исписанной бумаги. Русые волосы его, подстриженные в кружок и слегка вьющиеся, в беспорядке падали ему на лоб; он беспрестанно поправлял их, то встряхивая головой, то откидывая рукой назад. Молодая собеседница его, которая сидела на сундуке, около двери, с несколько недоумевающим любопытством посматривала на эти груды книг и лекций, разложенных на полу вокруг чемодана.

— Тут тебе гостинцев, не унесешь за один раз, пожалуй, — сказал ей студент.

Она вскинула на его свои карие, блестящие глаза и улыбнулась весело и недоверчиво. Смуглое лицо ее, продолговатое, южного типа, с тонким прямым носом, с тонкими черными бровями и глазами, опущенными длинными темными ресницами, было особенно красиво своей улыбкой: что-то вызывающее, смелое и влекущее к себе было в ней, в этой улыбке, и легкое смущение овладевало студентом каждый раз, когда продолговатые глаза его собеседницы, весело прищурившись, останавливались на нем, а на губах ее играла эта странная усмешка.

— Прежде всего — вот, — продолжал студент, с комической торжественностью извлекая из глубины чемодана один из свертков.

И он развернул перед ней два небольших платка: один шелковый, бледно-голубой, другой — шерстяной, тоже голубой, с яркими цветами на углах.

Студент (его звали Василием Даниловичем Ермаковым) приехал два дня назад из Петербурга на каникулы и привез, между прочим, письма и посылки от своих станичников, казаков атаманского полка, к их родственникам. Два дня пришлось ему раздавать эти письма и посылки, пить водку, беседовать со стариками, утешать старух, разливавшихся в слезах по своим родимым сынкам, несмотря на его уверения, что все они живы и здоровы и все благополучно, слава Богу. Но что было всего труднее, это удовлетворить расспросы казачьих жен — односумок<sup>1</sup>, приходивших отдельно от стариков и старух и расспрашивавших о своих мужьях с такими непредвиденными подробностями, на которые растерявшийся студент или ничего не мог сказать, или, отчаявшись, немилосердно врал. Теперь он разговаривал тоже с одною из таких односумок: это была жена его приятеля, казака Петра Нечаева, — Наталья. Она пришла после всех, уж под вечер второго дня.

— Это тебе, — сказал студент, подавая ей шелковый платок, — а этот матери передай.

— Ну, спаси его Христос, — проговорила она, взявши платки и окидывая их опытным оценивающим взглядом.

— А деньжонки-то, верно, еще держатся, не все пропил? — заметила она с улыбкой.

— Да он и не пьет, — возразил студент.

Она недоверчиво покачала головой и сказала:

— Как же! Так я и поверила... Все они там пьют, а после говорят, что там, дескать, сторона холодная: ежели не пить — пропадешь.

Студент, продолжая рыться в чемодане, очевидно, плохо вслушивался в то, что она говорила, и ничего не возразил.

— Да это не беда, — прибавила Наталья, помолчавши с минуту, — а вот лишь бы... Это я дюже не люблю!

Студент поднял голову и рассмеялся. Она произнесла щекотливый вопрос спокойно, без малейшей тени конфузливости и затруднения, как вещь самую обычную, а он между тем несколько смутился и покраснел.

— Вот и письмо, наконец, — проговорил он поспешно, подавая ей большой и толстый конверт, — написал чего-то много...

— Письмо-то я после прочитаю, — спокойно и неторопливо сказала она, — а ты мне расскажи на словах... Живое письмо лучше.

<sup>1</sup> Односумами называют друг друга казаки, служившие в одном полку и, следовательно, имевшие общие сумы: жены их называют друг друга односумками. — *Здесь и далее примеч. автора.*

— Да я что же на словах могу сказать? — заговорил студент, вставая с места и покоряясь необходимости повторить в двадцатый раз одно и то же, что он говорил всем односумкам об их мужьях в эти два дня.

— Жив и здоров, конь тоже здравствует, служба идет ничего себе, хорошо, скучает немного по родине... по жене, главным образом, — засмеявшись, прибавил он.

— Как же! — весело усмехнулась она. — Нет, ты расскажи, Василий Данилович, мне по правде, не скрывай...

И она повторила прежний вопрос.

Он опять взглянул не без смущения на ее красивое, несколько загорелое лицо. Карие глаза ее глядели на него весело и наивно.

— Об этом я ничего не могу сказать: не знаю, — уклончиво ответил он, — только, кажется, он не из таких, чтобы...

Веселый взгляд ее карих глаз перешел в недоверчиво-насмешливый и тонко-лукавый. «Знаю я вашего брата!» — как будто говорила она, хитро улыбнувшись.

— Да ты правду говори! — с деланной строгостью воскликнула Наталья.

— Я правду и говорю...

— Ну, а из себя как он стал: худой? гладкий?

— Да ничего себе, молодцом!

— Кормят их хорошо? Как их жизнь-то там протекает? Ты мне все расскажи!

— Все, что знаю, расскажу, — покорно отвечал засыпанный этими быстрыми вопросами студент. — Я у него раз ночевал в казармах, видел, как они там живут... ничего, не скучно. И он ко мне приходил с товарищами. Играли песни, вспоминали про вас, пиво пили...

Он остановился, придумывая, что бы еще сказать Наталье об ее муже. Все это, почти в одних и тех выражениях, он говорил уже несколько раз другим односумкам, и все они глядели на него так же вот, как и она, не сводя глаз, с жадным любопытством, и слушали эти общие, почти ничего не говорящие фразы с величайшим интересом.

— Не хворает он там? — помогла она ему вопросом, видя его затруднение.

— Говорю — здоров. Отчего же там хворать?

— А вот вы-то какой худой стали... — заметила она со вздохом сожаления. — Прежде покрасней были, полнолюкие...

Он ничего не сказал на это.

— Ну, а мне ничего Петро не наказывал? не говорил? — понижая голос, с какою-то таинственностью, тихо и осторожно спросила Наталья.

Студент несколько замялся, задумался и не тотчас ответил. После некоторого колебания, поглядывая в сторону и избегая ее пытливого взгляда, он нерешительно заговорил:

— Особенно, как будто, ничего... Только,— буду уж говорить откровенно (он начал нервно пощипывать чуть пробивший пушок своей бородки),— толковал он о каком-то неприятном письме, о каких-то слухах... Даже плакал один раз — пьяный. Одним словом, просил меня разузнать тут как-нибудь стороной... об тебе, собственно...

Он окончательно смутился, спутался, покраснел и замолчал...

— Я так и знала,— заговорила она спокойно и равнодушно.— Напрасно он только собирает эти глупости!.. Писала ведь я ему, чтобы плюнул в глаза тому человеку, кто набрехал про все про это! Знаю ведь я, от кого это ползет, и письмо знаю, кто писал... Говорить противно даже про такую низкость, а он верит...

Лицо ее приняло строгое, молчаливо суровое выражение. Гордая печаль придавала ему особенную красоту грусти, и студент украдкой долго любовался ею.

— Я тоже его разубеждал, — начал он, оправляясь от своего смущения, — и он сам почти не верит... Но иной раз сомнения мучат, червяк какой-то гложет, особенно когда подвыпьет.

— Глупость все это одна! — сердито нахмурившись, заговорила она. — Так и напиши ему мои слова. Он писал мне в письме, угроживал... Да я и не побоюсь — он сам знает, что я не из таких, чтобы испужаться. А захочу сделать чего, сделаю и скажу прямо... Не побоюсь!

Она сделала рукой красивый, решительный жест и сердито отвернулась. Ее молодому собеседнику все в ней казалось необыкновенно красивым, оригинальным и привлекательным; он тайком любовался ею и глядел на нее, хотя больше украдкой, с несколько робким, но жадным любопытством молодости. Что-то смелое, решительное, вызывающее было в ее сверкнувших на минуту глазах... Она сама, видимо, сознавала свою красоту, и быстрый взгляд ее карих, блестящих глаз, который она исподлобья кинула на студента, самодовольно и хитро улыбнулся...

Они долго молчали. В окна смотрели уже первые сумерки, голубое небо начало бледнеть; отблеск зари заиграл на краях длинной одинокой тучки алыми, лиловыми и золотистыми цветами; с улицы доносились смешанные, оживленные звуки весеннего вечера.

— Ну, прощай, односум, — сказала Наталья, вставая (она



говорила студенту сначала «вы», а потом перешла незаметно на «ты»). Извиняй, если надоела. А все-таки еще повижу тебя, порасспрошу кой об чем. Благодарю!

— Ну за что,— сказал студент.— Я бы и сейчас рассказал побольше, да не припомню: как-то все перепуталось, смешалось... Столько нового перед глазами, оглядеться не успел... Заходи как-нибудь, поговорим. Я буду очень рад.

— Я и других односуток приведу...

— Пожалуйста! Я буду рад.

— Мы все как-то стесняемся тебя,— улыбаясь и показывая свои ровные белые зубы, сказала она,— ты ученый, а мы простые, Бог знает, как заговорить... Либо чем не потрафишь... Ведь мы все спроста...

Но насмешливо-веселый взгляд ее, перед которым ее собеседник чувствовал какую-то странную неловкость, говорил совсем другое...

— А я, может быть, сам больше вашего стесняюсь,— сказал студент, засмеявшись, и сам немного покраснел от своего признания.

— Как хорошо у нас на родине, право!— прибавил он, смотря в окно, через густую зелень ясеней и кленов, росших в палисаднике, на бледно-голубое небо.

— Хорошо?— переспросила она — ей, видимо, еще хотелось несколько продлить беседу.— А там, в Петербурге-то, ужели хуже?

— Хуже.

— Хуже?— недоверчиво повторила она.— В городе-то? Там, гляди, нарядов этих? Мамзели небось в шляпках?

Он рассмеялся и, встретившись глазами с веселым и наивным взглядом ее красивых, продолговатых глаз, уже смелее и дольше посмотрел на нее.

— Ты к нам на улицу приходи когда в праздник,— сказала она, слегка понижая голос:— песни поиграем... На улице-то развязней, свободней, а тут все как стеснительно: то старики твои, то кто посторонний. Приходи!

— Хорошо, приду.

— Ну, прощай! Благодарю за гостинцы, за все!

Она подала ему руку и вышла легкой, щеголеватой походкой. Он проводил ее до крыльца и долго смотрел ей вслед, любясь ее стройной, высокой, сильной фигурой. Она шла быстро, слегка и в такт ходьбе помахивая одной рукой. Белый платок ее долго мелькал в легком сумраке весеннего вечера и затем скрылся из глаз за одним углом длинной улицы... Станица со своими белыми домиками, с зеленью садииков постепенно окутывалась туманом сумерек. Ласкаю-

щая свежесть, смешанная с слабым запахом грушевого цвета и какой-то душистой травы, приятно щекотала лицо и проникла в грудь живительными струями... Слышался близко где-то женский голос и шепот, гурьба ребятишек выбежала вдруг с пронзительным и звонким криком из-за угла, поднимая пыль по мягкой дороге, и, словно по команде, разом села в кружок на самом перекрестке; потом все с дружным криком «ура» снялись с места и опять скрылись за углом, как стая воробьев. Жалобно и часто в соседнем переулке мычал потерявшийся теленок, и звуки его голоса резко будили неподвижный воздух. В лавочке пиликали на гармонике.

— Как хорошо! — подумал студент, глядя радостным взором в высокое небо.

## II

Наступил Троицын день. Станица загуляла. Яркие, пестрые наряды казачек, белые, красные, голубые фуражки казаков, белые кителя, «тужурки», рубахи самых разнообразных цветов — все это, точно огромный цветник, пестрело по улицам под сверкающим, горячим солнцем, пело, ругалось, орало, смеялось и безостановочно двигалось целый день — до вечера. Дома не сиделось, тянуло на улицу, в лес, в зеленую степь, на простор...

Садились солнце.

Мягкий, нежно-голубой цвет чистого неба ласкал глаз своей прозрачной глубиной. Длинные сплошные тени потянулись через всю улицу. Красноватый свет последних, прощальных лучей солнца весело заиграл на крестах церкви и на стороне ее, обращенной к закату. Стекла длинных, переплетенных железом, церковных окон блестели и горели расплавленным золотом. В воздухе стоял веселый непрерывный шум. В разных местах станицы слышались песни, где-то трубач наигрывал сигналы. С крайней улицы — к степи, — так называемой «русской» (где жили иногородние, носившие общее название «русских») доносился особенно громкий, дружный, многоголосый гам.

Там шел кулачный бой.

Студент Ермаков, стоявший некоторое время в нерешительности среди улицы, пошел туда.

Эти праздники были традиционным временем кулачных боев. Станица исстари делилась на две части (по течению реки): «верховую» и «низовую», и обыватели этих частей сходились на благородный турнир почти все, начиная с детишек и кончая стариками.

Толпы ребятишек и девочек обгоняли Ермакова, направляясь поспешно и озабоченно туда же, куда и он шел. Молодые казаки, которые попадались ему, одеты были уже не по-праздничному, а в старых поддевках, подпоясанных кушаками, в чириках, в бумажных перчатках. Очевидно было, что праздничный костюм предусмотрительно переменялся перед сражением на расхожий. Лишь казачки, которые встречались с Ермаковым, были нарядны так же, как и днем.

Шум и говор становились явственнее по мере приближения к «русской» улице. Что-то молодое, удалое и беспечное было в этом шуме, слившемся из детского крика и визга, из девичьего звонкого смеха и песен, из смутного гула разговаривающих и кричащих одновременно голосов. Громкая, веселая или тягучая песня иногда вырывалась из него, точно вспыхивала, и мягко разливалась в чутком воздухе. Иногда взрыв крика, дикого, дружного и неистового, покрывал вдруг все, и топот, звуки гулких ударов оглашали улицу.

Какое-то странное волнение охватывало Ермакова при этих звуках, и, как на охоте, трепетно и часто стучало его сердце.

Повернувши за угол большого сада с старыми высокими грушами и яблонями, уже отцветшими, Ермаков вышел на самую «русскую» улицу и увидел пеструю многолюдную толпу, в которой одни кричали или пели, другие бегали и дрались, третьи смеялись, шептались... Трудно было сразу в этой шумной тесноте определить, куда идти, что смотреть, кого слушать.

С краю, в самых безопасных местах, бегали маленькие ребятишки, гоняясь друг за другом: они пронзительно свистали каким-то особенным посвистом, иногда ныряли в толпу взрослых и исчезали в ней без следа, шмыгая под ногами, толкая с разбегу больших и получая за это шлепки... Несколько стариков в дубленых тулупах, накинутых на плечи, сидели на бревнах и на завалинках и разговаривали, с невозмутимым равнодушием поглядывая на двигавшуюся перед ними молодежь. Ермаков, проходя мимо них, слышал, как один старик говорил внушительно, с расстановкой, дребезжащим голосом, точно сердился на кого:

— То ты теперь-то свинку или баранчика зарежешь да поешь мяса, а как железная-то дорога пройдет, так все туда перетаскаешь, и все-таки ничего не будет... Голодный будешь сидеть!

Ермаков прошел сначала туда, где было всего шумнее и оживленнее: в самом центре улицы дрались молодые каза-

чата — одна партия на другую, «верховые» на «низовых». Здесь публика была самая многолюдная.

— Ну, ну, ребята! смелей, смелей! та-ак, так, так, та-ак! так, так! бей, бей, бей! бе-е-ей, ребятунки, бей! — слышались голоса взрослых, бородатых казаков, за которыми малолетних бойцов почти не было видно. Лишь пыль подымалась над ними столбом и долго стояла в воздухе.

Старый, огромный казак, по имени Трофимыч, в накинутаой дубленой шубе, в смятой фуражке, выпцветшей и промасленной, похожей на блин, усердствовал больше всех, словно честь его зависела от успеха или неуспеха его партии. Он руководил «низовыми», которые довольно-таки часто подавались назад под натиском «верховых».

— Стой, стой, ребята! не бегай! — кричал он на всю улицу своим оглушительным голосом, размахивая руками, пригибаясь вперед и припрыгивая, точно собираясь лететь, — когда «низовые», не выдержав неприятельского натиска, обращались в дружное бегство.

— Стой! стой! куда вы, собачьи дети? не бежи! к-куда?!

Но «низовые», несмотря на его неистовые крики, несмотря на изумительно усердные одобрения и поощрения других зрителей, бежали, падали, садились, повергая в глубокое отчаяние своего старого руководителя.

— Ах, вы, поганцы, поганцы! — с отчаянием в голосе кричал старик.

— Ах, вы, дьяволы паршивые, а! Хрипка, в рот тебя убить! — с ожесточением хлопнувши фуражку об землю, обращался старик к одному из бойцов, плотному шестнадцатилетнему казачонку с обветренным лицом, одетому в старый отцовский китель. — Кидайся прямо! не робей! смело! в морду прямо бей! Ну, ну, ну, ну! дружней, дружней! вот, вот, вот! бей, наша! бе-ей, бей, бей, бей!.. а-а-та, тата-а!..

Хрипка, после минутного колебания, кидался с видом отчаянной решимости и самоотвержения в самый центр наседавших неприятелей. Шапка тотчас же слетала у него с головы далеко в сторону, но и противоборец его немедленно распростирался во прахе. Пример Хрипки заражал всех его товарищей — «низовых», и вдруг, точно хлынувший внезапно дождь, они стремительно кидались на своих временных врагов с озлобленными и отчаянными лицами, били их по «мордам», по «бокам», «по чем попало», сами получали удары, падали, опять вскакивали, кричали и ругались, как взрослые, громко и крепко и, наконец, после отчаянных усилий, достигали того, что неприятель показывал тыл.

Но и со стороны «верховых» не дремали поощрители и

руководители. Точно так же и там, окружив малышей плотной, непроницаемой стеной, за которую нельзя было выбиться, бородачи-старики кричали, толкали их насильно вперед, исподтишка помогали им, подставляя ноги «низовым», наседавшим особенно рьяно. И свалка росла. Было шумно, весело, пыльно... Маленькие бойцы кружились, прыгали, бегали с захватывающей дух быстротой и, казалось, не чувствовали усталости.

Ермаков остановился около хоровода, у плетня и стал слушать песни. Густая толпа молодых казачек и казаков столпилась вокруг самого хоровода. Через головы чуть лишь видны были платки и фуражки певиц и певцов.

Хороводная песня была тягучая и несколько тоскливая. Но и в самой грусти ее, в ее переливах, с особым щегольством и разнообразием исполняемых подголоском, слышалось что-то молодое, зовущее, манящее, — слышалось красивое чувство, которое требовало себе широкой, вольной жизни, беспечной радости и веселья.

Уж ты, батюшка-свет, светел месяц!  
Просвети ты, месяц, нам всю ночьеньку!  
Поиграем мы со ребятами,  
С молодыми все да с хорошими...

Сначала Ермакову казалось несколько неловким стоять одному: он думал, что все на него смотрят. Но мимо него проходили толпы девчат и казачат, не обращая на него ни малейшего внимания. Его бесцеремонно толкали, изредка кто-нибудь мельком взглядывал на него и, не узнавая в сумеречном свете, проходил мимо. Лишь одна бойкая, любопытная девочка с большими глазами, заглянув ему близко в лицо и остановившись на минуту как раз против него, с очевидным недоумением вслух сказала:

— То ли атаманец, то ли юнкарь какой?..

Ермаков был в белом кителе и летней студенческой фуражке.

Он улыбнулся и погрозил ей пальцем, и она убежала, но скоро потом опять прошла мимо него с своей подругой, упорно и с любопытством всматриваясь в его лицо. Вдруг им обоим стало чрезвычайно весело: они разом фыркнули от смеха и убежали прочь, потонувши в многолюдной толпе.

Стемнело совсем. Стали драться взрослые казаки. Хоровод разошелся, и вся почти улица отошла под арену борьбы. Ермаков очутился как-то неприметно в густой толпе; его толкали, теснили, наступали ему на ноги! он сам толкал,

пробираясь поближе к месту сражения, и с удовольствием чувствовал себя равноправным членом этой улицы.

— Односум, никак ты? — раздался около него знакомый голос.

Он оглянулся и увидел свою односумку Наталью: она была в черной короткой кофточке из «нанбоку» и в новом шелковом, бледно-голубом платке, подарке мужа. В сумерках, в этой молодой толпе, лицо ее, казавшееся бледным в темноте, опять сразу поразило его своей новой и странной красотой.

— А! — воскликнул радостно Ермаков, протягивая ей руку.

— Мое почтение, — проговорила Наталья, подойдя к нему почти вплоть и потом толкнувшись об него, притиснутая двигавшейся толпой, причем Ермаков почувствовал запах простых духов. — На улицу нашу пришли посмотреть?

— Да.

— Ну, а в Питере-то у вас бывают улицы такие? Или ты не ходишь там?

Она говорила ему то «ты», то «вы».

— Нет, ходил, — отвечал Ермаков, — бывают и там «улицы», только не такие.

— Что же, лучше али хуже?

— По-моему — хуже.

— Ну?! — с искренним удивлением воскликнула Наталья. — Народу-то небось там больше? Бабы, девки нарядные небось?

— Народу больше, а веселья настоящего нет...

— А у нас вот весело! И не шла бы домой с улицы... Я люблю это!

Улыбающиеся глаза ее близко светились перед Ермаковым и приводили его в невольное, легкое смущение.

— Ну, а как же, односум, например, мадамы там разные? — продолжала она расспрашивать снова, отвлекшись лишь на минутку в сторону кулачного боя.

— Есть и мадамы... — ответил он, не совсем понимая ее вопрос.

— Небось нарядные? в шляпках, под зонтиками?

— Непременно...

— К такой небось и подойти-то страшно? Смелости не хватит сказать: «Позвольте, мол, мадам фу-фу, познакомиться»... Как это мой муж там с ними орудует, любопытно бы взглянуть!.. А он на это слаб...

Они оба рассмеялись.

Немного погодя она рассказывала уже Ермакову о нескольких случаях неверности своего мужа — откровенно,

просто, весело... Толпа колыхалась, толкала их. Иногда Наталья была к нему близко-близко, почти прижималась: он чувствовал теплоту ее тела, запах ее духов и с удовольствием прикасался к шелковисто-гладкой поверхности ее кофточка. Ему казалось, что какая-то невольная близость возникает и растет между ними; в груди у него загоралось пока безымянное, неясное и радостное, молодое чувство: кровь закипала; трепетно и часто билось сердце...

### III

— Все на всех!— слышались вызывающие крики «верховых» и «низовых» одновременно.

— Зачина-ать!— вышедши на середину улицы между плотными стенами бойцов, закричал молодой казаченок в голубой фуражке, по фамилии Озерков, один из бойцов будущего, подающий пока большие надежды.

Он громко хлопнул ладонями, расставил широко ноги, ставши боком к неприятелям, и крикнул опять:

— Зачина-а-ать! дай бойца!

Вся небольшая, стройная фигурка его была воплощением удачи, ловкости и проворства.

Из «верховых» выступил вперед неторопливо и несколько неуклюже молодой казак с кудрявой бородой и крикнул хриповатым голосом:

— Давай!

— Ну-ка, Левон, давни!!— послышались вслед ему поощрительные крики. Левон,— малый плотный, широкоплечий и сутуловатый,— тоже расставил широко ноги и принял вызывающе-воинственный вид.

Озерков в два прыжка очутился около него, изогнулся вдруг почти до земли, крикнул, гикнул, что было мочи, и ударил Леона в грудь. В то же время Леон тяжело взмахнул кулаком и зацепил по плечу своего противника, но не совсем удачно: вскользь и слабо, потому что Озерков быстро и легко, как резиновый мяч, успел отпрыгнуть назад. Леон погнался было за ним с легкостью, несколько неожиданной для него, в сопровождении еще двух-трех бойцов, но в это время из «низовых» вдруг выскочил высокий, безусый казак в атаманской фуражке, статный красавец, и — одним ударом «смыл» разбежавшегося Леона, точно он и на ногах не стоял. Громкий крик обеих сторон приветствовал этот удар, а красавец-боец выпрыгнул на середину, к самой линии «верховых», громко хлопнул в ладоши и крикнул:

— Ну-ка пошел!

Ермаков, стоя в толпе рядом с своей односумкой, не успел еще полюбоваться на его статную, красивую фигуру, как огромный казак из «верховых», Ефим Бугор, стремительно и быстро, с развевающейся широкой бородой, с гиком выскочил вперед и сшиб молодого атаманца. Это было сделано быстро, почти неожиданно. Молодой боец чуть было не опрокинулся навзничь, почти присел, сделавши назад несколько произвольных, быстрых шагов, но удержался и кинулся вперед с крепким ругательством. Бугор скоро его подмял под себя и почти беспрепятственно ворвался в центр неприятелей, а за ним стремительной лавой — и другие «верховые» бойцы. Несколько минут раздавались среди неистового шума и крика глухие, частые удары, затем «низовые» дрогнули и побежали. Это было не беспорядочное бегство, а правильное, хотя и очень быстрое отступление. Иногда они останавливались стеной на несколько секунд и выдерживали атаки нападающих. Бугор прыгал, как лев, — с развевающейся гривой, с громким, торжествующим, удалым криком.

— Нефед! кинься, пожалуйста! стань! ей-Богу, стань! — убедительно просил приземистый рыжий казак из «низовых» рябого огромного казака, стоявшего у плетня, недалеко от Ермакова, в толпе женщин.

— Нефедка! ты чего же глядишь? — подошедши к нему, быстро заговорил старик Трофимыч, которого видел Ермаков в качестве руководителя ребятишек.

— А ну-ка ушибут? — пробасил глухо Нефед, видимо взволнованный. — Их вон какая сила!

— У нас есть кому поддержать! — торопливо и ободряющим тоном говорил Трофимыч, понижая голос до шепота. — Там вон за углом стоят Семен Мишаткин, Лазарь, Фоломка... Поддержат, брат!

— Да, кабы поддержали, — нерешительно говорил Нефед, снимая свою форменную теплушку.

— Эх, подлеца Бугра надо бы ссадить! — огорченным голосом повторял рыжий казак. — Ты против него маецию поддержи, а энтих-то молодые наши казаки сшибут, не то что... Ну скорей!

— Ох, ушибут они нас! чует мое сердце — ушибут! — колебался еще Нефед, передавая свою теплушку и фуражку на хранение какой-то казачке и оставшись в одной рубашке.

Трофимыч молча сбросил свой тулуп и фуражку, обнажив свою лысую голову, и они все трое, пригнувшись под плетнем, проворно пошли к «низовым», которых угнали уже довольно далеко.

Через несколько минут до Ермакова донесся новый взрыв



неистового крика, и вдруг стук, гам, звуки ударов, которые до этого удалялись, стали быстро приближаться к нему. Вскоре показались быстро несущиеся толпы ребятишек и тех из взрослых, которые не принимали деятельного участия в битве и лишь бегали да кричали. Непосредственно за ними, в облаках пыли, пронеслись самые бойцы — «верховые», а за ними «низовые». Огромный Ефим Бугор быстрее ветра неся в самом центре, но его настигали и били сзади. Ермаков заметил особенно того молодого казака, которого в начале схватки спшиб Бугор: он положительно наседа на Бугра, убегавшего без оглядки и словно не чувствовавшего ударов. Раз только Бугор попробовал остановиться, гикнул, сцепился с кем-то, но его тотчас же схватили человек шесть, и гулкие удары по его спине и бокам огласили улицу. Несколько «верховых» бойцов кинулись ему на выручку, но сила была на стороне «низовых»: массой нахлынули они на эту горсть и погнались дальше. Бугор все-таки успел вырваться. Длинные волосы его развевались по ветру, как львиная грива, и вся фигура его, огромная, стройная, красивая своей силой, напоминала царственное животное.

На следующем перекрестке «низовые» остановили свое преследование и стали отступать. После неистового крика оживленный, торопливый говор поражал сравнительной тишиной. Усталые бойцы, тяжело дыша, без фуражек, некоторые с засученными рукавами и разорванными рубахами, шли назад, делясь друг с другом впечатлениями. Хвалили большей частью противников или товарищей по бою, о себе лично никто не упоминал: это было не принято и считалось признаком дурного тона...

— Ну, дядя Трофимыч, благодарю! ты меня выручил, — говорил рыжий казак старику Трофимычу, который был уже опять в своем дубленом тулупе. — Кабы не ты, ну наклали бы они мне по первое число!

— И ты Бугра славно огрел... у, хорошо! — одобрительно воскликнул Трофимыч.

— Ну да и он, проклятый, цапнул меня вот в это место! Как, все равно, колобашка какая сидит тут теперь...

— Я бегу и думаю: ну, пропал! — торопливо и громко говорил молодой атаманец в разорванной рубахе, озлобленный противник Бугра. — Глядь, Нефедушка наш... Стой, наши!

С полчаса шли оживленные разговоры. Казачата выступали опять далеко за линию и вызывали бойцов от «верховых».

— Зачинать! — неся громкий вызов с одной стороны.

— Зачинать! — отвечали с другой.

Несколько раз так перекликались, но близко друг к другу не подходили; видно было, что у уставших бойцов пропала охота продолжать сражение. И поздно уже было.

— По домам! — крикнул кто-то в лагере «низовых».

— По домам! — подхватили звонко ребятишки, пронзительно свистя, визжа и крича.

— «Как я шел-прошел из неволюшки», — начал читать звонкий баритон в толпе казаков.

— «С чужедальней я со сторонюшки», — подхватили один за другим несколько голосов, и песня помаленьку занялась, полилась и заполнила воздух. Зазвенели женские голоса. Ребятишки продолжали свистеть, гикать, кричать, но их крик не нарушал гармонии громкой песни и тонул в ней слабым диссонансом.

Толпа колыхнулась и тихо двинулась за песенниками, разговаривая, смеясь и толкаясь. Смешавшись с этой толпой, пошел и Ермаков вместе с своей односумкой. Кругом него молодые казаки бесцеремонно заигрывали с казачками: обнимались, шептались с ними, толкались, иногда схвативши попереки и подняв их на руках, делали вид, что хотят унести их из толпы; казачки отбивались, визжали, громко били ладонями по широким спинам своих кавалеров и все-таки, видимо, ничего не имели против их слишком вольных любезностей. Раза два тот самый молодой атаманец, которым Ермаков любовался во время кулачного боя, проходя мимо, дернул за руку и его односумку. «Да ну тебя! холера!» — вырывая руку, оба раза со смехом крикнула ему Наталья. Ермакову стало вдруг грустно в этой шумной, веселой, беззаботной толпе... Он почувствовал себя здесь чужим, неумелым и ненужным. Он с завистью смотрел на казаков, на их непринужденное, вольное, грубоватое обращение с этими молодыми, красивыми женщинами, близость которых возбуждала в нем самом смутное и сладкое волнение... Он чувствовал постоянное прикосновение плеча своей односумки, запах ее духов, шелест платья, с удовольствием слушал ее голос, мягкий и тихий, несколько таинственный, словно она старалась сказать что-нибудь по секрету. И неясный трепет замирания проникал иногда в его сердце... Но в то же время он ясно сознавал, что не мог бы, при всем своем желании, делать, как они, эта окружающая его молодежь, что он был бы смешон и неуклюж, решившись на такое свободное, непринужденное обращение... Он не знал даже, о чем теперь заговорить с своей односумкой, и молчал. Изредка Наталья быстро взглядывала на него вбок, и ему казалось, что взгляд ее блеснул насмешливой, вызывающей веселостью.

— Завидую я тебе, односум!— говорила она.

— Почему?— спросил Ермаков.

— Да так! свободный ты человек: куда захочешь — пойдешь, запрету нет, своя воля...

— Некуда идти-то,— сказал он, слегка вздохнувши, и, немного помолчав, прибавил:

— А я тебе, наоборот, завидую...

— Да в чем?

— А в том, что ты вот здесь не чужая, своя, а я как иностранец... Я родину потерял!— с глубокой грустью вдруг прибавил он.

— Ну, не горюй!— не совсем понимая его, но сочувствуя, сказала она.— Поживешь, обвыкнешь, всем станешь свой, родненький...

И затем, наклонившись к нему близко-близко и шаловливо-ласково заглядывая ему в глаза, тихонько прибавила:

— Небось такую сударку подцепишь...

У него на мгновение захватило дух от этой неожиданной, смелой близости; сердце громко и часто забилося, знойно вспыхнула кровь... Он едва удержался, чтобы не обнять ее, а она засмеялась тихим, неслышным смехом и отвернулась...

— Однако дом ваш вот,— продолжала она уже обыкновенным своим голосом,— а мне вон в эту сторону надо идти. Жалко улицу бросать, а нечего делать... Прощай! И так знаю, что свекровь будет ругать: злая да ненавистная!

Ермаков пожал ее протянутую руку и, после сильного колебания, тихо и смущенно спросил:

— Разве уж проводить?..

Голос его стал вдруг неровен и почти замирал от волнения.

— Нет, не надо,— шепотом отвечала Наталья, и от этого шепота его вдруг охватила нервная дрожь.

— Боюсь...— продолжала она, пристально глядя на него.— Народ тут у нас такой хитрый... узнают!..

Но блестящий, вызывающий взгляд ее глаз смеялся и неотразимо манил к себе.

— Если бы я свободная была,— с красивой грустью прибавила она и вздохнула. Потом лукаво улыбнулась, видя, что он упорно, хотя и робко, смотрит на нее исподлобья влюбленными глазами, и тихо прибавила, не глядя на него:

— После, может быть, как-нибудь поговорим... А теперь прощай!..

И она побежала легкой и быстрой побегом вслед за небольшой толпой, которая отделилась и пошла переулком на другую улицу. Ермаков видел, как она на бегу отпра-

вила свой платок и скоро смешалась с толпой, из которой слышался громкий говор и смех.

Он остался один среди улицы.

Неясные чувства, как волны, охватили его и погрузили в свою туманную глуть. Что-то радостное и грустное вместе, неясное, неопределенное, смутное, но молодое и светлое занималось у него в груди... Он улыбался, глядя в небо, усеянное звездами, и хотел плакать, сам не зная о чем...

Станица уже спала. Типшину ее нарушали лишь удалявшиеся звуки песни и говора толпы. Песня, доносившаяся издали, казалась задумчивее и стройнее; звуки смягчались в нежном, молодом воздухе весны, расплывались кругом и тихо замирали в неизвестной дали.

Ермаков вслушивался в песню, различал отдельные голоса и переносился мыслью туда, к этим певцам, в тесно сбившуюся толпу с ее беззаботным смехом, говором, толкотнею, свистом и возбуждающим шепотом. Он искренно завидовал им... И грустно ему было, что он стал чужд им всем и стоит теперь одиноко, глядя в глубокий, неясный сумрак звездного неба...

Но эта грусть была легка и сладостна... Смутная надежда на какое-то грядущее, неведомое счастье подымалась в его груди; чей-то красивый, очаровательный образ мелькал в воображении и манил к себе; в таинственной, душистой мгле почти чей-то робкий шепот слышался ему...

Он долго стоял, размягченный, задумчивый, глядя на роящиеся и мерцающие в бездонной глубине неба звезды, думая об этом небе и о своей жизни, о туманном, далеком городе, об односумке и о родине...

#### IV

Время шло. Неторопливо убежал день за днем, и незаметно прошел целый месяц. Ермаков помаленьку весь погрузился в станичную жизнь с ее заботами, радостями и горем. Он приобрел значительную популярность среди своих станичников «по юридической части» — как мастер писать прошения и давать советы. Клиентов у него было очень много. С иными он не отказывался «разделить время» за бутылкой вина, умел послушать откровенные излияния подвыпившего собеседника, который принимался пространно рассказывать ему о своих семейных невзгодах; любил старинные казачьи песни, нередко и сам подтягивал в пьяной, разгулявшейся компании; аккуратно бывал на всех станичных сборах, в станичном суде и в станичном правлении (отец его был ата-

маном). И внешний вид стал у него совсем почти казачий: волосы обстриг в кружок, фуражку надевал набекрень, носил короткий китель, широкие шаровары и высокие сапоги; в довершение всего — загорел, «как арап». Много стариков и молодых казаков стали ему большими приятелями и нередко даже твердили ему: «Желательно бы нам поглядеть вас в аполетах». К немалому своему удивлению и удовольствию, Ермаков чувствовал теперь себя в станице своим человеком и искренно радовался этому.

Поделили луга; наступил покос; кончились веселые игры — «веснянки». Свою односумку Наталью Ермаков мог видеть лишь изредка, больше по праздникам. Короткие, почти мимолетные встречи, веселые, свободные и фамильярные разговоры мимоходом, с недомолвками или неясными намеками, имели в глазах его необыкновенную привлекательность и сделали свое дело: он, как влюбленный, почти постоянно стал думать и мечтать о своей односумке. Красивая, стройная фигура ее, против его воли, часто всплывала перед его мысленным взором и манила к себе своей неведомой ему, оригинальной, очаровательной прелестью... И сладкая грусть, смутное, тревожное ожидание чего-то неизвестного, но заманчивого и увлекательного, томили его по временам, в часы одиночества и бездействия.

Как-то в будни он зашел от скуки в станичное правление. Безлюдно и тихо было там (летом, в рабочее время, дела сосредоточиваются исключительно по праздникам). В «судейской» комнате, на длинных скамьях, в углу, спал старик Семеныч, соединявший летом в своей особе и полицейского, и огнещика, и старосту, т. е. старшего сторожа правления, в заведовании которого находились: архив, лампы, углерод для истребления сусликов и прочий инвентарь. В канцелярии атамана дремал у денежного сундука часовой. Из комнаты писарей доносился тихий, ленивый говор.

— Она была родом из прусских полячек, — слышался голос, — хорошая девчонка была, беленькая, нежная, ласковая такая... Что ж ты думаешь? ведь я чуть на ней не женился!.. Люцией звали...

Ермаков по голосу узнал рассказчика, военного писаря Антона Курносова, и вошел в «писарскую» комнату. В ней находилось только два лица: военный писарь Курносов и «гражданский» писарь Артем Сыроватый, бывший когда-то товарищем Ермакова по гимназии, но «убоявшийся бездны премудрости». Это были люди молодые, веселые, не дураки выпить и любители прекрасного пола, хотя были оба женаты и имели уже детей.

Ермаков поздоровался с ними и присел к столу; взявши последний номер местной газеты.

— О чем вы рассказывали?— спросил он у Курносова, видя, что тот не решается продолжать прерванный разговор.

— Да про девчонку про одну, — ухмыляясь, ответил Курносов и, несколько смутившись, устремил вдруг внимательный взор на один из списков, лежавших перед ним на столе.

— Как он в Польше проникал на счет бабьего полу, — прибавил Артем Сыроватый, крутя папиросу. — Заразительный человек насчет любви этот Антон!

— Ну и ты, брат, тоже... теплый малый, — возразил не без самодовольства «заразительный человек».

— Я-то ничего! Я помаду да монпаса не покупаю...

— Бреши, брат, больше! Все равно, заборы осаживаешь...

Артем Сыроватый залился вдруг хрипящим смехом и закрутил головой. Курносов обиделся и, низко наклонившись, начал усердно выводить фамилии в арматурных списках.

Приятели часто пикировались друг с другом от скуки, но это не нарушало их добрых отношений.

Наступила пауза. Было слышно только, как мухи с однообразным жужжанием бились на окне. Сквозь дыру трехцветного национального флага, которым было завешено окно, бил горячий сноп солнечных лучей и ярким пятном играл на пыльном, темном полу. Было томительно и скучно.

— Что новенького у вас?— спросил Ермаков, прерывая молчание.

— Новенького?— подхватил Сыроватый, по лицу которого было видно, что он готов опять прыснуть со смеху. — Новенького ждем; пока все старое... Впрочем, есть: говорят, одной жалмерке<sup>1</sup> ворота вымазали дегтем!

— Какой же?

— Нечаевой Наталье... Хорошая жалмерка!

Ермаков вдруг смутился, сам не зная отчего, и погрузился на некоторое время в газету. Образ его красавицы односумки, такой гордой и, как ему казалось, недосыгаемой, и вдруг ворота, вымазанные дегтем, — это так не мирилось одно с другим в его душе, так было неожиданно, странно и маловероятно, что он не знал, что подумать...

— Деготь, конечно, материал дешевый, — продолжал Сыроватый, принимая вдруг рассудительный и серьезный тон, — лей, сколько влезет. Только поганый обычай у нас, считаю я:

---

<sup>1</sup> Жалмерками называются казачки, мужья которых находятся в полках, в отлучке.

как побранились бабы между собой или заметили за какой провинку, сейчас ворота мазать... А напрасно!

— Да, народ ныне скандальный стал, — прибавил Курнос, отрываясь от своих списков, — ну, однако...

— Нет, в самом деле, — возразил Сыроватый, — разве Наталья роскошной жизни баба?

— А ты думаешь, она за все три года так и держится?

Сыроватый пристально посмотрел на своего приятеля сбоку и, поколебленный его полным убеждения тоном, спросил недоверчиво:

— На кого же говорят?

— На кого — это вопрос особый... Спроси вон атаманца Стрелкова — на часах вон он стоит.

— Неужели он? — понижая голос до шепота и широко раскрывая глаза и рот от удивления, спросил Сыроватый.

Курнос, вместо ответа, громко крикнул:

— Стрелков!

— Чего изволите, господа писаря? — отозвался ленивый голос из атаманской канцелярии.

— Шагай сюда!

— Чего изволите? — остановившись в дверях, сказал Стрелков.

Ермаков с особенным вниманием осмотрел его молодецкую фигуру. Загорелое, смуглое лицо казака с тонкими красивыми чертами, с черными наивными глазами глядело открыто и добродушно; сдвинутая на затылок голубая фуражка, из-под которой выбивались кудрявые, густые волосы, придавали ему оттенок беспечности, лени и вместе самой горячей удалы. Неуклюже спитая, широкая гимнастическая рубаха из грубой парусины, перехваченная черным ремнем, не портила его стройной фигуры с высокой грудью и лежала красивыми складками. Ермаков вспомнил, что он любовался этим атаманцем в кулачком бою на Троицын день.

— Стрелков, говори, как на духу, — начал Антон Курнос, изображая собою некоторым образом начальство, — кто у Натальи Нечаевой ворота мазал?

Стрелков удивленно поднял брови, потом широко улыбнулся, показав свои ровные, белые зубы, и весело ответил:

— Не могу знать!

— Брешешь!

— Никак нет, не брешу...

— Побожись детьми!

— Хоть под присягу сейчас, истинное слово — не знаю!

— Да ведь ты к ней ходил?

— Никак нет... Это вы напрасно!

— Толкуй!

— Ей-Богу, напрасно! Говорить все можно, а грешить нельзя... Я бы запереться не стал, ежели бы что было. Чего не было, того не было, и похвалиться нечем...

— А помнишь, на Егория-то мы с тобой шли?

Стрелков несколько смутился.

— Ну что же такое?— обращаясь больше к Ермакову и Сыроватому, начал он оправдываться.— По пьяному делу... Шли мы, действительно, с ним ночью, и вздумалось мне шибнуть комком земли к ним на двор (она иной раз на дворе спит, в арбе). Ну и шибнул... Попал — точно — в арбу, да только в ту пору не она там спала-то, а свекор ее со своей старухой. Как шумнет! Ну, мы с Антоном Тимофеевичем тут, действительно, летели!.. где — на лошади, машина бы и то, думаю, не догнала!

— А смелый малый этот Антон!— сказал Сыроватый, искоса поглядывая на своего коллегу. «Смелый малый» лишь сердито повел носом в сторону остряка, но ничего не возразил.

— Крутиться-то я крутился около ней,— продолжал неторопливо Стрелков, помолчавши с минуту,— это греха нечего таить... да не выходило дело!

— А славная бабенка!— с восхищенным видом тонкого знатока отозвался Сыроватый.

— Баба, действительно, куда!— согласился Стрелков.— У нас супротив нее немного найдется...

— Да неужели же она за все три года так-таки и держалась? Ни в жизнь не поверю!— воскликнул Антон Курносос голосом, полным глубочайшего сомнения и недоверия.

Стрелков пожал плечами. Не отвергая законности сомнения, он, однако, сказал тоном защиты:

— Не могу знать! Только народ-то у нас какой? Язычник! Ежели кого не оговорят, не они и будут! Брешут, как собаки! Есть охотники такие: мужу расписали про нее разные неподобные, а он оттоль письмами ее бандирует. В семье через это расстройство... Тут свекровь донимает: такая поганая старушонка, что беда!..

Из судейской комнаты донеслись звуки шагов. Стрелков вдруг быстро повернулся, проворно поправил пашку и отбежал на свое место, к денежному сундуку. Писаря принялись старательно за свои списки. Водворилась полная тишина. Вошел атаман в свою канцелярию и, погремевши многочисленными ключами, бывшими у него в кармане, запер шкафы. Ермакову из комнаты писарей слышно было, как он перекидывался короткими фразами с Стрелковым.



— Ну что, братец, как дела?— спрашивал атаман.

— Ничего, вашбродь!— бойко, по-военному, отвечал Стрелков.

— Жарко?

— Так точно, вашбродь!

— Ты обедал?

— Никак нет, вашбродь! Ишшо рано...

Ермаков ушел домой. Не весело ему было. Горькие сомнения, против его воли, заползли и в его душу, и потускнел в его воображении очаровательный образ красивой односумки... Мелкое, ревнивое чувство досады внушало ему разные дурные мысли о Наталье. Он испустил даже вздох сожаления об ее «обманутом» муже... Но потом, слегка успокоившись и беспристрастно взвесив все обстоятельства, он и над самим собою горьким смехом посмеялся...

V

— А я с горем к тебе, односум...

С такими словами обратилась к Ермакову Наталья спустя недели три после разговора, слышанного им в станичном правлении.

Был праздничный, жаркий, скучный день. Стояла самая горячая рабочая пора. Станица опустела, почти все население ее перекочевало в степь, в поля. Безлюдно и тихо было на улицах. На загорелых лицах редких прохожих лежало глубокое утомление. Скучно... Изредка лишь пьяный мужичок, поставивший весь свой заработок ребром, для развлечения малочисленной праздной публики проковыляет по улице, рассуждая руками и гаркая по временам отрывки какой-то непонятной песни. Промчится верхом казак «с бумагами»; чиновник проедет на тройке с колокольчиками. И затем все снова погружается в тишину и вялый сон... Зной недвижно висит над истомленной землей; синее, яркое небо играет своею глубокой лазурью... И тишина мертвая кругом...

— С каким же горем?— спросил Ермаков у своей односумки, когда она села около него на крыльце, закрытом тенью ясеня и дикого винограда.

Он за все это время ни разу не встречал Наталью, и резкая перемена в ней бросилась ему в глаза. На лице ее, загоревшем и слегка осунувшемся, обозначилась какая-то горькая складка глубокой грусти и сердечной боли. Усталое выражение какого-то тупого равнодушия и полного безучастия

ко всему сменило прежнюю веселую, задорную живость и насмешливую кокетливость...

— Вот на-ка, почитай! — доставши из кармана сложенные втрое несколько листов почтовой бумаги, тихо, почти шепотом сказала она.

— От мужа? — спросил Ермаков.

— Да читай, там увидишь, — с нервным нетерпением проговорила она. — От кого же, как не от мужа? Не от друга же!..

Он искоса, быстро взглянул на нее и встретил ее почти враждебный взгляд из-под сердито нахмурившихся бровей.

— Прочитаем, — неторопливо и с комической важностью произнес он, развертывая листки, исписанные крупным и довольно красивым почерком.

— «Дорогие мои родители, батюня Никита Степанович, а равно мамуня Марина Петровна! — начал Ермаков вполголоса и с расстановкой. — С получением от вас приятного письмеца, которое было пущено 5-го июня и из которого я увидел ваше полное здравие и благополучие, — я благодарю Господа за сохранение вашей жизни и, припадая к стопам ног ваших, прошу я на себя вашего родительского прощения и благословения, которое будет существовать по гроб моей жизни во веки нерушимо. Я, по милости Господа Бога, нахожусь жив и совершенно здоров и во всем благополучен. Затем, милые родители, примите от меня по низкому и усердному поклону. Премногомилрой сестрице Ольгуне низкий поклон посылаю и заочно целую 1000 раз. Безумной моей супруге — огонь неугасимый! Слышу я, дорогие мои родители, дурные вести об ней, доходят до меня письма, от которых стыдно мне глядеть на белый свет, и товарищи надо мной смеются. Как я уже ей писал раз несколько и ничего не действует, то теперь вам напишу про свое неудовольствие, хотите — обижайтесь, хотите — нет, и прошу вас, дорогие родители, прочитать со вниманием главу 8-ю...»

Дальше крупно и отчетливо выведено было: «Глава 8-я».

— Почему же восьмая? а где предыдущие семь глав? — спросил, остановившись на минутку, Ермаков, но, не получив ответа и сам не придя ни к каким удовлетворительным результатам, приступил к чтению «восьмой главы».

«Дорогие мои родители, батюня и мамуня! — так началась «восьмая глава». — Рос у вас в саду молодой купырик, на который сердце ваше радовалось; через несколько лет понравился вам в чужом саду другой купырик, и вы купили его, так как рассчитывали, что он будет приносить вам плоды... Но прошло еще несколько лет, и родной ваш купы-

рик, с которого вы надеялись снимать плоды, невольно у вас отобрали — самый источник вашей жизни... И не хотелось вам отдавать его этому садовнику, — в чужую сторону, на царскую службу, — но он брал не на долгое время, только на три года с лишним; когда у вас брали вашу дорогую садовинку, горько было вам отдавать ее, но делать нечего, так что сердца ваши обливались кровью... И взяли ту садовинку невольно и посадили в глушь старых деревьев; когда была она у вас, то расцветала, но теперь не только не расцветает, но едва листья пускает... А то дерево купленное, которое у вас осталось, то вы за ней ухаживаете, и она у вас расцветает, но плода очень мало приносит, потому что соседи снимают... Не надо бы так хорошо за тем деревом ухаживать, простору ему давать, а надо бы пересадить его в глушь старых деревьев, чтобы оно не могло расцветать. Это я вино садовников, то есть вас, а то собственно через это дерево и скорбит то дерево, которое отобрали у вас. А собственно почему? Потому что, когда вырывали отобранное дерево, то корни остались там, и оно из них вытягивает сок; и еще летят листья, так что падают — который на голову, который — на сердце, который — на глаза; который падает на голову, то голова болит, который — на сердце, то сердце ноет, который — на глаза, то не вижу света белаго! Так прошу вас сделать иначе: пересадить ее в глушь старых деревьев, чтобы они заглушили ее, потому что для вас будет легче и для этого дерева: сейчас оно на хорошем месте и хорошо расцветает, а когда назад отдадут ваше дерево занужденное и вы посадите возле этого дерева, то тогда я сделаю так, что совсем оно может засохнуть и не будет приносить вам плода... Цвети, цвет, пока морозу нет, но мороз придет — и цвет опадет! Подлинно расписываюсь казак Петр Нечаев».

Прочитавши письмо, Ермаков не знал, что сказать. Наталья не глядела на него, но он чувствовал, что она ждет услышать от него что-нибудь по поводу прочитанного: за этим она и пришла, конечно... Он медленно сложил письмо так, как оно было раньше сложено, старательно разгладил смятые листки на коленке, вздохнул и сочувственно произнес:

— Да-а...

Потом, сообразивши, что такое выражение сочувствия не особенно ценно, он смутился и торопливо спросил:

— Давно прислал?

— Да с неделю будет, — заговорила Наталья каким-то сдавленным голосом. — Отец прочел и положил в святцы. Спрашиваю: чего пишет? — а он мне: поди ты к черту, такая-сякая! И все это время прятал в святцы в сундук, да уж нынче

как-то забыл на столе. Я вынула и прочла. Назад не положила, все одно — отвечать.

Она нахмурилась, отвернулась, сморщила глаза, как будто от яркого света, но непослушные, с трудом сдерживаемые слезинки чуть заметно заблестели на них.

В усталом, казавшемся равнодушным и спокойным, тоне ее медленной речи слышалась горькая и безнадежная тоска. Ермаков видел, что она не столько испугана, сколько глубоко оскорблена и озлоблена этим письмом, и ему жалко стало ее. Но он не знал, чем ее успокоить и утешить.

— Опять, вероятно, кто-нибудь написал, — уныло проговорил он после долгого безмолвия.

— Не иначе, — подтвердила она. — Да я знаю, кто это старается! Он ко мне подкатывал, рябой дьявол, да я утерла его хорошенько... Вот он теперь, по ненависти, и норовит не тем, так другим допечь...

Она злобно вдруг сжала зубы, и правая щека ее нервно задрожала.

— Кабы захотела, одно слово бы сказала — и всему конец! — глухим и осиплым голосом заговорила она. — Ну не буду с низкоостью с такой связываться... тьфу! Пускай он верит, пускай грозит... небось не загрозит! Дурное видели, хорошее увидим, нет ли — Бог знает, а как чему быть, так и быть! Одной смерти не миновать стать...

Она низко наклонила вперед голову, и долго сдерживаемые, горячие слезы — слезы горькой обиды и озлобления — вдруг быстро и дружно закапали на ее белый, вышитый передник. Ермаков совсем растерялся и положительно не знал, что делать, что сказать ей в утешение.

— Я напишу ему, чтобы не верил этим пустякам, — начал он, наконец, — меня он послушает, наверно: мы приятели с ним были...

Она ничего на это не сказала, лишь махнула рукой, не поднимая головы.

— А сокрушаться особенно нечего из-за таких пустяков, — продолжал он уже бодрее и увереннее. — Напишу и — дело в шляпе! ничего не будет...

— Не надо! черт с ним, пускай думает!.. — проговорила она сквозь слезы.

— Зачем же? Ведь ему и самому тоже было бы легче, если бы он уверен был, что все это неправда... Я знаю: он рад будет, когда получит мое письмо...

— Да ты заверишь? — спросила она с разгоревшимися вдруг глазами и странным, грубым, почти озлобленным голосом.

— Что «заверишь»? — не понимая, спросил Ермаков.  
— Ты заверишь, что за мной нет этого... ничего такого?

Он посмотрел на нее удивленными глазами. Когда он понял, что хотела она сказать, сердце его как-то болезненно сжалось. Ему вдруг и досадно на нее стало, и горько, и еще больше жалко ее: очевидно было, что не легкое бремя лежит на ее совести и мучит ее.

— Отчего же не заверить? — сказал он, наконец, спокойно и просто, делая вид, что ничего не понимает.

— Эх ты, односум! — сказала она, усмехнувшись горькой и снисходительной усмешкой, и потом грустно прибавила: — Хорошая совесть у тебя, простая...

Она отерла слезы концом передника и глубоко задумалась.

— Ну, ежели хочешь, пиши, — заговорила она после продолжительного молчания. — А то и брось... Я не затем пришла, чтобы просить об этом, а так... дюже уж горе за сердце взяло! Думаю: пойду хоть поговорю с кем-нибудь, авось полегче станет... Вот к тебе и пришла...

Она остановилась, глядя на него дружелюбно и доверчиво, как ребенок.

— Вот и спасибо, — сказал он весело и с небольшим смущением.

— И-я, милый мой односум, голубчик! — воскликнула она вдруг с страстным порывом, схватив его за руку обеими руками и заплакавши опять. — Только не смейся надо мной, а ты мне всех родней стал... Ты меня жалеешь... Журить-бранить есть кому, а пожалеть никто не пожалеет...

Что-то глубоко-трогательное и жалостное было в ее склоненной, плачущей фигуре. Ермаков почувствовал, как громко застучало и заныло сладкой болью его сердце.

— Напишу, напишу, голубушка! — говорил он нежно, отеческим тоном, с любовью глядя на нее. — Это все пустое, перемелется — мука будет... головы тебе он не снесет во всяком случае.

— Пускай голову снесет: мне все равно! — проговорила она с отчаянием.

— Ну, нет!

— Я ему виновата, — заговорила она торопливо и сквозь слезы, не поднимая головы, — да он сам причинен всему, он довел... Как начал собирать все эти неподобные да письмами оттуда попрекать, да грозить... А сам-то какой был? Горе взяло меня, сердце закипело! Коль так, и пускай будет так!..

— Все это дело поправимое, — успокоительно проговорил Ермаков, хотя в душе плохо верил своим словам.

— Голову снесет? — продолжала она с увлечением, словно упиваясь своим отчаянием. — Пускай! Лучше, не будет измываться надо мной... Сердце истосковалось! Иной раз так заломит, заболит, что тошно на белый свет глядеть... Плачешь, плачешь...

— Напрасно... Наплакаться всегда успеем! «Не горюй, не тоскуй, моя раздушечка»... Знаешь песню-то? — стараясь быть развязным, утешал ее Ермаков.

— То песня, — с грустной улыбкой промолвила Наталья, — а тут — другая... День при дне ругают да попрекают свекор с свекровью, из дому грозят выгнать... Ишь, не покоряюсь им, дескать, дюже роскошно будто веду сама себя... А там муж письмами притешает... Хоть топись! Такая уж, видно, доля моя бесталанная!.. Вон односумки мои, подруги — им житье! гуляют себе — горя мало! «Лишь бы, — говорят, — не промахнуться, не родить, а то все поплывет под воду»... Ей-Богу, зависть берет, глядя на них; а я... эх!..

Она махнула безнадежно рукой и отвернулась. Но слезы уже смыли ее тоску, облегчили бремя. Через минуту она точно встряхнулась, качнула задорно головой и, весело блеснув глазами, заговорила:

— Так не тужить, говоришь?

— Не тужить, — подтвердил Ермаков, улыбаясь широко и ободрительно.

Прежняя односумка опять была перед ним с своей загадочной улыбкой, с веселым, манящим взглядом карих глаз.

— Ну, так-так! — уже совсем весело воскликнула она и насмешливо прибавила: — Теперь горе по боку, буду гулять! Осенью муж придет, плеть принесет, тогда уж не до гульбы...

Она посидела с Ермаковым еще немного, спокойно разговаривая уже не о себе, а о самых обыденных вещах. Наконец, встала и сказала, вздохнувши:

— Ну спасибо, односумчик мой миленький! Все-таки утешил, разговорил мало-мальски... А не быть мне на воскресенье, чует мое сердце! Ну, да все равно... Прощай...

Он проводил ее глазами, пока она скрылась за углом, и задумался. Мысли беспокойные и смутные бродили в его голове; он не сумел бы высказать их словами... Вспомнил он почему-то свое детство, то золотое время, когда он вместе с Натальей бегал по улицам, играл в кони и... дрался; уже

будучи во втором отделении приходского училища, он был поставлен на колени за то, что навел ей углем усы и брови... Как будто все это и недавно было...

## VI

Лунная ночь была мечтательно безмолвна и красива. Сонная улица тянулась и терялась в тонком, золотистом тумане. Белые стены хат на лунной стороне казались мраморными и смутно синели в черной тени. Небо, светлое, глубокое, с редкими и неяркими звездами, широко раскинулось и обняло землю своей неясной синевою, на которой отчетливо вырисовывались купы неподвижных верб и тополей.

Ермаков любил ходить по станице в такие ночи. Шагая по улицам из конца в конец, в своем белом кителе и белой фуражке, в этом таинственном, серебристом свете луны он был похож издали на привидение. Не колыхнет ветерок, ни один лист не дрогнет. Нога неслышно ступает по мягкой, пыльной дороге или плавно шуршит по траве с круглыми листочками, обильно растущей на всех станичных улицах. Раскрытые окошки хат блестят жидким блеском на лунном свете.

Одиноким чувствовал себя Ермаков среди этого сонного безмолвия и... грустил, глядя на ясное небо, на кроткие звезды... Он подходил к садам, откуда струился свежий, сыроватый воздух, где все было молчаливо и черно; сосредоточенно и жадно вслушивался в эту тишину, стараясь уловить какие-нибудь звуки ночи и... одиноко мечтал без конца. Куда не уносился он в своих мечтах!

На соседней улице послышался стук ночных караульщиков или «обходчиков». В рабочее время в обходе бывают только старики да старухи. Ермаков любил иногда побеседовать с каким-нибудь дряхлым кавказским героем или со старухой, державшей в своей памяти подробную историю станицы за последнее столетие, не раз, может быть, самолично сражавшейся с метелкой или кочергой в руках против ветеринаров, являвшихся истреблять зараженный чумой скот, против землемеров, «резавших» лес, против атаманов, особенно усердно взыскивавших земские деньги, и т. п.

Заслышав стук, Ермаков повернул по его направлению. Вдруг до слуха его донеслись тихие, нежные, робкие звуки песни, и он остановился от неожиданности, жадно и изумленно вслушиваясь в них. Пели два женских голоса — контральто и сопрано — неизвестную ему песню:

Уж вы, куры мои, кочечочки!  
Не кричите рано с вечера,  
Не будите милого дружка...

Мотив песни был не богатый, как большая часть мотивов казачьих песен, а ровный и грустный, но в таинственной, прислушивающейся тишине ночи, в этом серебристом блеске лунного света, негромкие, несколько однообразные звуки песни звенели нежной грустью, увлекательной и задумчивой, и манили к себе с какой-то неотразимой силой, и заставляли дрожать самые сокровенные струны сердца...

Певицы пели не спеша, лениво, с большими паузами; запевало каждый раз контральто, а сопрано было на «подголосках». Наконец, одна особенно грустная, щемящая нота, долго звеневшая в воздухе, упала, и песня замерла окончательно.

«Не Наталья ли это?» — подумал Ермаков, определяя на глазок расстояние до певиц.

Он знал, что она жила на этой улице, и часто ходил здесь ночью, хотя ни разу не встречал и не видел ее за последнее время: она была почти постоянно в поле. Держась в тени, он не спеша пошел к певицам. Ему очень хотелось встретиться теперь со своей односумкой; обаяние ее, которое он раньше испытал, все еще не потеряло своей силы; он по-прежнему изредка грустил и вздыхал о ней, теряясь в ревнивых предположениях о том счастливце, которого обнимали ее сильные руки и горячо целовали красивые своей горькой усмешкой уста.

Но непонятное смущение невольно овладевало им. Он уже намеревался остановиться, как вдруг, недалеко от него, старушечий грубый голос окликнул его:

— Кто идет?

Ермаков даже вздрогнул от неожиданности, и вглядевшись, увидел небольшую, закутанную в теплый платок фигурку, сидевшую в тени, около сваленных на улице бревен. Фигурка сидела, не шевелясь, и ее можно было принять за пень.

— Кто идет? — повторила она свой оклик.

— Казак, — ответил Ермаков обычным в таких случаях способом.

— Почему так поздно? — сердито продолжала опрос неподвижная фигурка.

— По своим делам.

— Какие дела по ночам? Спать надо! Кабы на мне не обязанность, я бы теперь второй сон видела...

Когда Ермаков подошел ближе к старухе и стал всматри-



ваться в ее сморщенное лицо с крупными чертами, она, узнавши его, добродушно рассмеялась и воскликнула:

— А я подумала, из портных кто: они тут часто шлындают с русской улицы... Вы уж извиняйте меня, старуху: по случаю ночи не угадала...

— Ты чья, бабушка?— спросил Ермаков.

— Савелия Микуличева, пастухова жена. Вряд вы его знаете.

Располагая поболтать с ней, Ермаков сел на бревнах около нее, довольный встречей, и спросил:

— Ты с кем в обходе?

— А с Наташкой,— отвечала старуха.

— С какой?

— Да вот, с соседкой своей, Нечаевой! Она зараз побегла домой: «напиться»,— говорит, да застряла чего-то...

— Это вы с ней сейчас песни пели?— быстро спросил Ермаков, с особенным интересом всматриваясь в старуху.

— А гораздо слышно?— с удивлением воскликнула она.— Ах ты, Господи!.. Я-то, я-то на старости лет в Спасовку записывать вздумала!.. Это все она меня, будь она неладна... «Давай да давай сыграем, скуку разгоним, никто не услышит». Вот старая дура!..

— А хорошо пели!— с искренним восхищением отзывался Ермаков.

— Да!— недоверчиво и укоризненно подхватила старуха.— Играли хорошо, а замолчали еще лучше... Мне-то, старухе, уж вовсе не пристало в пост песни распевать... Все через нее: скучно, дескать, ей... Думаю: и вправду тоскует чего-то баба, нудится...

— Отчего же?— спросил Ермаков, видя, что она как будто не договорила и остановилась.

— А кто ж ее знает! Может — напущено, а может — так сердце болит об чем...

— Как «напущено»?

— Как напущают тоску-то?— с некоторым пренебрежением к простоте и неведению своего собеседника воскликнула старуха.— Есть такие знатники-злодеи, чтобы им на том свете в огне неуголимом гореть!.. Исхудала наша баба, а по замечанию, не с чего больше, как с тоски... Скорбь такая бывает...

Старуха глубоко вздохнула, покряхтела и покачала сокрушенно головой.

— А то бывает и так,— продолжала она после минутного молчания,— промашку сделает ихняя сестра жалмерка... Не удержится, забалуется, заведет дружка, а там

глядь — вот и прибавка... А уж это последнее дело: и перед людьми срамота на весь век, и муж истеранит до конца... Вот она и скорбь.

— Вот оно, вот, — подумал Ермаков, мысли которого склонялись больше в сторону последнего предположения.

— Замечаю я, — снова заговорила словоохотливая старуха. — Стала ходить она к Сизоворонке, а энта ведь знахарка!.. Лечится, должно быть... муж ведь вот скоро придет из полка... А грех это, смертный грех! Все про железные капли меня тут расспрашивала да про семибратскую кровь... Жалко бабу: хорошая баба!..

В соседнем дворе стукнула калитка. Через минуту Наталья в темной кофточке и в белом платке медленно подошла к ним.

— Это ты с кем, Артемьевна? — спросила она, наклоняясь в сторону Ермакова и пристально всматриваясь в его лицо.

— Это вы, односум? — воскликнула она с некоторым удивлением, но с видимым удовольствием. — Как это вы к нам сюда попали, на нашу улицу?..

— Песни услышал и пришел, — сказал Ермаков, внимательно присматриваясь к ней. — Как вы хорошо пели!

— Да неужели у вас там слышно?

— Я думаю, по всей станице слышно... — пошутил он.

— Ну, как же! — воскликнула она, недоверчиво улыбаясь.

— И меня-то во грех ввела, — заговорила старуха, — чтоб тебя болячка задавила!

— Да давай еще, тетушка, сыграем, — с живостью и подкупающей веселостью обратилась к ней Наталья, — охота пришла такая, всю бы ночь прогуляла, песни играла, голосу бы не сводила!

— Ну тебя! — сердито крикнула старуха, — Играй сама, а я спать пойду... Тебе не болячку делать-то, а я за день умаялась...

— Ну, тетушка, миленькая! а я-то разве не устала? сама с поля нынче приехала... В ножки поклонюсь, тетушка!.. — горячо и смешливо уговаривала Наталья, стоя перед старухой и тормоша ее за рукава ее старой кофты на вате.

— Да ну тебя! — отмахивалась старуха сердито и шутивно. Наконец, она встала и, слегка прихрамывая и кряхтя, пошла домой.

— В Спасовку-то люди Богу молятся, а я песни буду играть, — ворчала она уже в своих воротах.

— Эх, а сыграла бы еще песенку! — воскликнула с увлечением Наталья.

— Ты нынче весела, — заметил осторожно Ермаков, — это хорошо.

— Весела? — переспросила она, усмехнувшись. — Да, разошлась... Не к добру, зная...

И, точно грусть сразу охватила ее, она вздохнула и приоткрыла, устремив в неясную даль сосредоточенный, задумчивый взгляд.

— Эх, кабы нашелся такой человек, чтобы распорол мою грудь да заглянул, что там есть! — воскликнула она вдруг после продолжительного молчания, с безнадежной тоской в голосе. — Да нет, верно, такого человека не найдется: никому надобности нет...

Ермаков был изумлен таким неожиданным переходом.

— А я не понимаю сейчас этого, — заговорил он после короткой паузы. — Так хорошо теперь кругом, жить так хочется, радоваться, любить... Зачем горевать? о чем тосковать? — восклицал он с ораторскими жестами, не без удовольствия слушая самого себя.

— И то, не от чего, — с печальной улыбкой сказала Наталья, — а сердце болит...

— Да отчего ему болеть-то? — с наивным недоумением спросил Ермаков.

— Есть, стало быть, причина... Эх, односумчик ты мой, чудачок этакий! — глубоко вздохнувши, прибавила Наталья. — Славный ты человек, простой, откровенной души, а нашего дела не знаешь и не поймешь... А все-таки, — понизив вдруг голос и с ласковой, кокетливой улыбкой заглядывая ему в глаза, сказала она, — ни с кем так-то не люблю разговаривать, как с тобой, ни к кому у меня такого откровения нет. Ученый ты человек, не гордый...

— Какой я ученый! — возразил в смущении Ермаков, с мучительным недоумением всматриваясь в ее бледное при лунном свете лицо и в прекрасные глаза, светившиеся теперь глубокой грустью. Загадкой стала для него эта красивая односумка.

— А что я у вас спрошу, односум? — заговорила она, после долгого молчания, тихим и таинственным голосом. — Бывают ведьмы на свете или нет?

— Не думаю, — засмеявшись, ответил Ермаков.

— Я тоже не верю!.. Вот есть тут у нас старуха соседка, Сизоворонка под названием, — на нее говорят, что ведьма она... Зря болтают, так думаю. А что знает она, это верно! Колдунья!

— Неужели? — улыбнулся Ермаков.

— Верно! Увидала меня раз и говорит: «Чего сохнешь?»

приди, полечу... Откройся, легче будет...» Что же? Ходила ведь я! Всю мне жизнь мою рассказала... «Через сердце, говорит, свое непокорное ты пропадешь».

— И лечила?

— Питье какое-то дала, — с неохотою и не тотчас ответила на этот вопрос Наталья. — Мутит с него, голова болит, а легче нет...

— Ерунда все это! — с горячим и глубоким убеждением сказал Ермаков.

— Нет, верно! — так же горячо и убежденно возразила Наталья. — Все истинно! Я знаю, за что пропадаю: за свою гордость и пропадаю... Все такие же, как я, да ничего, горя мало: перенесли, покорились... А я не могу покориться... Перенести не могу, ежели кто попрекнет мне или посмеется, или страмить станет! Муж бить будет, это куда ни шло — переносно, а ежели кто со стороны ширнет в глаза, легче помереть!

Она вдруг смолкла, точно голос у нее разом оборвался. Ермаков не прерывал молчания. Невеселые думы бродили и в его голове. Он не понимал всей тяжести ее мучений и терзаний, но чувствовал к ней глубокую жалость, несмотря на некоторую ревнивую досаду, которую никак не мог выкинуть из сердца. Он спрашивал самого себя: совесть ли ее упрекает так, что она не хочет скрыть своей супружеской неверности (самого обыкновенного явления в казачьей среде), или потому она так и сокрушается, что нельзя уже скрыть проступка и предположения старухи об ее беременности справедливы? Но вопросы эти так и остались для него открытыми.

— А за чем гналась? — печально, унылым голосом заговорила снова Наталья. — И глупа же, неразумная я была!.. думала счастьеце найти, сердце потешить!.. Слова не с кем было сказать... все ночи одна посижу, все думушки одна передумаю... Вот и налетела!.. Вашему брату что? сорвал да удрал... Да еще славу проложит, подлец! А нашей сестре — слезы... наплачешься, нарыдаешься... Ну, да теперь тужить нечего, — встряхнувши решительно головой, сказала она. — Кутнула раз, и рога в землю! Двум смертям не бывать, одной — не миновать! Так, что ли, односум? — задорно улыбаясь и близко наклонясь к нему, воскликнула она. — Лучше не думать! Пусть будет, что будет, а будет, что Бог даст... Придут служивые через месяц, и мой муженек на машине прилетит... Выйду на степь, встречу, в ножки ему поклонюсь... Либо уж скажу ему все, пускай из пистоля застрелит... пропадай ты, жизнь! Чтобы сразу! а?.. А то ле-

тось Рудин, казак, пришел из полка, а жена тяжелая... Да полусмерти засек плетью, и никто не заступился!.. Да толку-то! Не все ли одно? Эх, жалко, тетка Артемьевна ушла: еще бы песню сыграли! Учила раз она меня старинной песне:

Кто бы из вострой сабли ржавчину вывел,  
Кто бы из мово сердечушка кручинушку вынул...

Ну, и наплакалась же я в ту пору... А она хорошо песни играет!.. Ты не задремал?

— Нет,— тихо отозвался Ермаков, хранявший все время глубокое молчание.

— Ну, посидим еще. Я все равно не усну скоро... за ночь-то каких мыслей не передумаешь! Сколько слез прольешь... Да и сны какие-то все страшные снятся: то в пропасть черную-черную летишь — и дна нет, ух, аж сердце замирает!.. то цыгане с ножами приснятся, резать кидаются... Иной раз просто совсем без ума станешь... И наяву-то все какая-то ала<sup>1</sup> в глаза лезет...

— Нервы! — мрачно буркнул Ермаков.

Своей грустной повестью Наталья привела его в окончательное уныние. Он угрюмо молчал, не зная, о чем говорить, хотя тайный голос внутри его сильно бунтовал против всех доводов, которые навевали на него грусть.

Когда Наталья начала вдруг, без всякого видимого повода, говорить о загробной жизни, расспрашивая, правда ли, что там жгут грешников в огне неутолимом, он, наконец, заговорил с комическим озлоблением:

— Ерунда все это!

— А слышал, чего поп в церкви говорил? — возразила она с недоверием.

Ермаков махнул рукой.

— Все это чепуха — муки вечные на том свете! — сердито заговорил он. — Муки вечные для многих — здесь, на земле, в этой прекрасной жизни, которая, думаю, не для терзаний всевозможных создана, а для радости, для счастья... Мы сами себе иногда создаем муки, вместо того чтобы брать от жизни, не задумываясь, все светлое и радостное, что она дает... Иных людей другие терзают, а иные сами себя терзают... Зачем? Разве это нужно кому? Это — жизнь?!

Он говорил с жаром, отчаянно жестикулируя и размахивая руками. Все, что он говорил, казалось ему несомненным и истинным, и он даже сам несколько удивился, как это раньше ему никогда так ясно и отчетливо не представ-

---

<sup>1</sup> А л а л а́ — чепуха.

лялось все, что он теперь высказывал... Точно вдохновение осенило его в эту чудную ночь. Наталья плохо понимала его горячую речь, но чувствовала и угадывала ее смысл! не находя ей сильных возражений, она помаленьку подчинялась ей, и как будто легче стало у ней на измученной душе... Лицо ее, казавшееся таким красиво-бледным при лунном свете, глубокие, темные, грустные глаза, внимательно и с наивной доверчивостью устремленные на увлекшегося оратора, самая близость ее, о которой он так часто и безнадежно мечтал, действовали на него возбуждающим образом. Взволнованный, охваченный весь каким-то неясным, сладким и трепетным увлечением, он продолжал говорить о непреодолимой жажде, всеми испытанной, всех увлекавшей жажде жизни, любви, наслаждений; утешал ее, убеждал не особенно мучиться и терзаться совестью за увлечения, так как это не смертный, а самый обыкновенный, простительный грех... Говоря о любви, он хотел было высказать ей и свои собственные чувства, но некоторая робость и сознание неуместности останавливали его. Устремивши глаза в высоту, в глубокий сумрак неба, где горели неяркие, но ласково мигающие звезды, он пел соловьем и остановился только тогда, когда услышал вдруг около себя тихое, неясное всхлипывание. Он оглянулся с удивлением. Наталья, закрывши лицо концом своего белого платка, тихо плакала и вздрагивала плечами.

— О чем же? — с недоумением спросил растерявшийся оратор.

Она не отвечала и продолжала всхлипывать.

Он долго смотрел на нее растерянно, смущенно, молча. Мысли стали путаться у него, лицо горело, и сердце часто и громко стучало... Наконец, он близко нагнулся к Наталье и обнял ее... Она не уклонилась и не отталкивала его, но все еще продолжала плакать...

## VII

Торжественный трезвон только что смолк на станичной колокольне. Это был мастерской, отчетливый, веселый трезвон, исполненный руками художника по этой части купеческого сына Петра Пихаева. На этот раз он особенно постарался для праздника Успения Пресвятой Богородицы. Под его волшебной рукой маленькие колокольчики просто смеялись серебристым, дробным смехом; большие чуть не выговаривали что-то благочестивое, глубоко-серьезное, но не лишенное ликования и жизнерадостности. Народ

толпами шел в церковь. Солнце только что поднялось над вербами. Веселые теплые лучи заиграли на соломенных крышах и заблестели на листьях высоких груш и тополей. Тонкий сизый туман еще вился над станицей, пахло кизячным дымом. Тени были длинные и прохладны. Весело начинался день...

Ермаков, только что вставший и умывшийся, чувствуя бодрость во всем теле, крепость в мускулах и потребность двигаться, работать, с особенным удовольствием черпал воду из колодца для лошадей. С мокрыми волосами, без фуражки, в серой блузе, он напевал и насвистывал веселые молитвы, подчиняясь безотчетному чувству радости и молодости. Пробуя развившиеся и окрепшие за лето мускулы, он поднимал на вытянутой руке ведро с водой, затем делал всевозможные приемы на «турнике», которым служила толстая, далеко вытянутая, сухая ветка старой груши, готовился было уже выполнить с разбегу «гоп на воздухе», как вдруг сзади его раздался голос:

— Здравия желаю, Василий Данилыч!

Ермаков оглянулся и увидел в воротах сада полицейского казака Гаврилу с большой медалью на груди.

— Мое почтение, Гаврила, — весело отозвался Ермаков, не замечая его встревоженного вида.

— Папаша дома будут али в церкви? — спросил Гаврила, дышавший тяжело и устало.

— В церкви. А что? Ты бежал как будто? — спросил в свою очередь Ермаков, обращая внимание на встревоженное его лицо.

— Так точно. Происшествие случилось.

— Какое? драка или кража?

Ермаков спрашивал довольно равнодушно и спокойно, привыкши постоянно слышать о подобных мелких происшествиях в станице.

— Нечаева Никиты сноха удушилась... — сказал Гаврила.

— Да ну?! — воскликнул, вдруг бледнея, Ермаков.

— Так точно.

— Наталья? Не может быть! почему? с чего?

Гаврила недоумевающе пожал плечами.

— Господь ее знает, — сказал он своим ровным, глухим, замогильным голосом. — Сейчас с петли сняли. Помощник атамана пошел составлять протокол, папаше вашему велели доложить...

Всевозможные мысли вихрем понеслись в изумленной голове Ермакова. Вопрос возникал за вопросом быстро, стремительно, и ни на один не нашлось ответа.

Это «происшествие» было так неожиданно и дико, так ни с чем несообразно, ненужно, так поразительно и ужасно!

— Никиты-то Степаныча самого дома нет,— продолжал Гаврила тоном в высшей степени равнодушным:— Уехал со старухой на ярмарку. Удивила баба, нечего сказать! Никто от нее не думал. Такая хорошая, молодецкая женщина, красивая... Ведь, сказывают, коров сама прогоняла, как к утрени звонили, а через какой-нибудь час с петли сняли! Теплая еще была, говорят... Кабы на этот случай кто кровь мог пустить, может быть, и опользовали бы... а то народ-то все несообразный случился... Так в церкви, говорите, папаша-то?— поспешно спросил он деловым тоном.— Пойду доложу. Счастливо оставаться!

Ермаков оделся и отправился туда, на место «происшествия». Недавней бодрости его как не бывало... Ноги как-то вяло двигались, и сознание какой-то беспомощности проникало все существо, точно чем-то тяжелым и огромным придавили его. Маленьким, слабым и бессильным почувствовал он себя теперь. Сердце сжалось и заняло тупой, неосмысленной болью, но ни слез, ни сожалений не нашел он в себе...

Около дома и в воротах Никиты Нечаева, с улицы, столпилась гурьба босоногих ребятишек, которых выгнали, очевидно, со двора. На дворе около кухни толпились взрослые... В центре этой толпы, за небольшим столиком, на некрашеном табурете, восседал помощник станичного атамана, старый урядник с длинными усами, и рядом с ним писарь Артем Сыроватый.

— Так ты чего же, старая ведьма, не смотрела за ней?— допрашивал помощник атамана маленькую, сморщенную, согнутую старушонку, стоявшую перед ним с таким угнетенным видом, точно она была уже приговорена к смерти.

Старушонка эта, как оказалось, ночевала в минувшую ночь у Нечаевых вместе с Натальей. Это была та самая знахарка Сизоворонка, про которую Наталья недавно еще рассказывала Ермакову.

— Да кабы знать, кормилец ты мой!— говорила она дрожащим, испуганным голосом, обнаруживая два желтых зуба.— А то кто же от нее думал этого? Я разбудила ее: «Вставай, говорю, Наташка, коров прогоняй», а сама пошла по дому, у меня своя какая ни есть домашность... И ведь ничего-то, ничего этакое неприметно было! Вставала, коров прогоняла, печь затопила... Ах, ты, Господи, Господи, Царь Небесный!..— вдруг залилась она разбитым, дребезжащим голосом.



— Ну, ну, ну!— крикнул помощник атамана и грозно зашевелил усами.— Завыла! Дальше говори!..

Старуха тотчас же примолкла и проворно стерла свои красноватые глазки краем холстинной занавески.

— Да чего дальше-то?— слезливым голосом продолжала она.— От утрени уж народ стал идтить, а я вспомнила, что рубаху блошную тут забыла. Пошла за рубахой.. вот она, вот рубаха-то!..

Старуха показала из-под занавески какой-то холстинный сверток...

— Да ну тебя к черту, не показывай!— с брезгливым видом крикнул помощник атамана.— Не видал я рубах, что ль!..

— Пошла я за рубахой-то,— продолжала старуха, быстро спрятавши сверток опять под занавеску,— в курень вхожу — никого нет. Кликнула — никто не отзывается... Ну, в кухне, должно быть,— думаю... Вышла из куреня-то, гляжу: телята спущены с базу, а нет никого, и кухня топится... Глянула я, кормильцы вы мои, в амбарчик-то; зачем он, думаю, растрорен? а она... висит... моя голубушка...

Сморщенное, коричневое лицо старухи перекошилось и сморщилось еще больше; она готова была опять залиться неудержимыми слезами, но помощник атамана снова зашевелил усами, и она продолжала еще более слезливым тоном:

— Ноги у меня подкосились, с места не сойду... Кой-как за ворота выползла; идут казаки, а я слова не выговорю, кричу, руками махаю: «Какая уж беда-то, какая уж беда-то!» Прибегли они, сняли ее, любушку, с петли, теплая ипшо была... Ах, Мати Божия, Царица ты моя Небесная! Да чего она, любушка, задумала-то! Да как это она могла принять на себя! О-о-ой-ой-оой-оо-ой!

Старуха уж не в состоянии была удержаться от слез, несмотря на грозный вид начальства, и вдруг залилась, сокрушенно качая головой.

— Ну, завыла, ведьма!— уже значительно мягче сказал помощник атамана.— Говори, кто снимал ее?

Ермаков протеснился через толпу, состоявшую больше из женщин, к амбару и глянул в его раскрытую дверь. На полу лежал труп Натальи. Тяжелое, гнетущее было зрелище. Молодая, недавно еще полная жизни и обаятельной красоты, она лежала теперь неподвижной, бездыханной, чуждой всего, что ее окружало. Лицо ее слегка потемнело, но не обезобразилось страшной смертью. Белый лоб резко отделялся своей нежной белизной от нижней, загоревшей и смуглой части лица. Чья-то заботливая рука закрыла ей глаза, руки

сложила на высокой груди и расплела ее роскошные косы. Выражение какого-то удивления и вместе глубокого покоя легло на лицо. Босые загорелые ноги были вытянуты. Красота ее тела, форм, лица теперь поражала еще больше и вызывала во всех глубокую жалость...

Раздирающие душу вопли послышались вдруг сзади Ермакова, и старая казачка, быстро протеснившись через толпу, упала над трупом... «Мать», — пронеслось по толпе.

Ермаков ушел.

— И чего удумала, Наташка, Наташка! — послышался сзади его знакомый грубоватый, исполненный скорби голос. — И кто от тебя, моя болезная, этого думал-гадал? Ни кому не сказала, никого не спросила...

Ермаков оглянулся. Маленькая старушонка, та самая, которую он видел с неделю назад, когда она была в ночном обходе вместе с Натальей, глядела на него скорбными, заплаканными глазами. Горькое недоумение выразалось на ее лице.

— Не думамши, не гадамши! — заговорила она, подходя к Ермакову и сокрушенно покачивая головой. — Измучилась, знать, моя сердечная... Все дни томилась, ягодка! Надясь, в праздник, казаки гуляли ночью, раза три проходили тут, по нашей улице с песнями. Такого-то хорошо играли! Она сидит, моя ягодка, под окном, пригорюнилась, и мне сна нет, глядя на нее. Подошла к ней, разговорить хотела ее, а она и того хуже! всплакнула... «Иди, — говорит, — тетка, спать, и я ляжу». — Пошла я спать, не усну никак! Опять кто-то песню проиграл на улице — один... «Кабы можно иметь сизы крылышки, возвился бы, полетел...» Приподнялась я к окну — дюже славно, шельмец, играл он ее, просто — говорил... Зашел он насупротив их куреня и играет: «На том месте опустился бы, где раздушечка моя живет, сел бы, сел бы к своей сударушке я на правое плечо, поглядел бы, посмотрел в ее белое лицо...» Слышу, хлопнуло окошко (стариков-то тоже дома не было, к дочери в гости ездили) — она одна была. Зараз он к окну... долго говорили... Слышу, напоследок она говорит: «И не думай, грози — не грози, проси — не проси, не будет по-твоему!..» И опять через малое время пошел он, песню заиграл. «Замечали злые люди, что хорошую люблю...» Так и понеслась по станице, как он ее голосом-то своим повел. Узнала я казака-то: Стрелков, атаманец молодой. Похвалила я в ту пору ее: «Молодец, думаю, Натанька! до слабости себя не допустила. А то свяжись, мол, с ними, они доведут до дела...» Ан вот какое дело подстигло... И как это она, глупуша, не побоялась, не устрашилась! Чего она и думала? Мужа боялась? Да он, глядишь, не зверь...

Ну, где побил бы, а где бы и пожалел... Жизнь не радость, да и в смерти нет находки...

А день сиял веселый, яркий. Горячие лучи солнца начинали уже томить, тень манила к себе. Небо, чистое, нежно-голубое, высокое, безмятежно сияло своей лазурью, раскинувшись далеко-далеко. Веселые, пестрые, нарядные толпы шли от обедни. Свет Божий был так хорош, а безмолвная, вечная темнота могилы казалась Ермакову такой ужасной, что он чувствовал, при одной мысли об ней, как холодела в нем кровь и трепетно замирало сердце...



## ИЗ ДНЕВНИКА УЧИТЕЛЯ ВАСЮХИНА

*(Картинки станичной жизни)*

19 августа я принял X-ское приходское училище. Прием состоял в том, что отец законоучитель передал мне ключи от шкафов с книгами и сказал при этом, что не знает, все ли книги по народной и училищной библиотекам целы, так как мой предшественник в марте умер, а временно замещавший его помощник ничего не принимал и не сдавал.

— Ну, желаю вам всего благого,— сказал батюшка в заключение.— Кстати сказать, предместитель ваш умер от чахотки. Так что, если вы человек мнительный, то не мешало бы хоть стены побелить заново: все-таки дезинфекция в некотором смысле... Оно на душе-то поспокойнее... А впрочем, все Господь...

В училище все оказалось в порядке. Сторож Никитич, горбатый старик, лицом и фигурой напомилавший Эзопа, толково рассказал мне все, что мне надо было узнать, и принес огромную кипу газет и бумаг, оставшихся после покойного моего предшественника, Алексея Егоровича Васюхина. Часть этих бумаг, по словам Никитича, была уже употреблена в дело, т. е. на цигарки, с разрешения Арсения Васильевича (временного заместителя), который, впрочем, их не просматривал.

— Вот проглядите — может, что нужное есть,— говорил Никитич, плепнувши всю кипу на пол у стола.— Алексей Егорыч, покойничек, писать был большой любитель! Бывало, сидит ночь и все пишет... А потом — глядишь — рвать или жечь начнет. Сколько бумаги перевел!

Я просмотрел. Большая часть этих рукописей оказалась выписками из журнальных статей и отчасти из отдельных сочинений. Видно было, что человек не переставал учиться и шел к просвещению ошупью, пользуясь случайным материалом, главным образом, журнальным и газетным.

Только одна тетрадь,— подержанная, растрепанная, без переплета и, по-видимому, без начала,— остановила мое внимание дольше других. Это был дневник, который я про-

чел за один присест и беру смелость предложить благосклонному вниманию читателей...

9 мая 19... г.

Сейчас вернулся с улицы. Никогда я не чувствовал себя таким одиноким и чужим для всех, как в нынешний чудный вечер. Мимо меня сновали толпы молодежи; в воздухе — свежем, почти влажном и чутком — звенели песни; женские голоса издали звучали так мягко, и нежно, и грустно. Детский смех и визг, шум и гам вспыхивали и по временам покрывали своими бурлящими, кипучими волнами плавно переливавшуюся мелодию песни. Сквозь них пробивалась вдруг яркая, смеющаяся трель гармоник; она вырывалась откуда-то из-за угла или с самого конца улицы, закутанной серебристым туманом лунного света... И все это сливалось в воздухе в чудную симфонию весенней, молодой, беззаботной жизни...

Было что-то странно возбуждающее, беспокойное, непонятно-влекущее — всюду, во всем: и в этом мягком воздухе, и в высоком смутно-синем небе с редкими алмазными звездочками, и в этом запахе сирени, тополей, кизяка и какой-то душистой травы, и в заливистой трели лягушек, покрывающей страстные соловьиные трели, и во всех этих наполняющих воздух неуловимых звуках, запахах, красках, тенях, и в волшебном лунном свете.

Я ходил по улицам станицы, смотрел на толпы молодых людей, ребятишек, на стариков и старух, сидевших на бревнах или завалинках. И так как я был один между этими оживленными группами с их беззаботным весельем, то мне было скучно, завидно, тоскливо и тяжело. Мне казалось, что никому из этих людей нет никакого дела ни до моей одинокой тоски, ни до моих дум и волнений, в которых, однако, их интересы занимают такое видное место.

Я остановился около училища. Один... Группы девчат проходили мимо меня; молодые казаки догоняли их, смешивались с ними, толкались, смеялись, перешептывались. Иногда раздавался визг, барахтанье, звонкий шлепок в спину, хохот, крепкое словцо... Иногда близко около меня пробегала молодая парочка. Женские юбки мягко захватывали меня по ногам; я встречал лукавый, смеющийся взгляд, даже чувствовал запах каких-то дешевеньких духов. Кровь вспыхивала во мне, и сердце начинало стучать часто и громко... и хотелось бы мне побежать туда, за ними, смешаться с этой беззаботной молодой толпой, обниматься, шептаться, получать хотя бы звонкие шлепки и не думать ни о чем...

Но ведь я... «культурный» человек. Разве это не показалось бы удивительным всем и каждому, не исключая и этой самой толпы? Да, может быть, и мне самому было бы стыдно после встретиться с знакомыми? Воображаю, какие улыбки были бы у некоторых местных дам и барышень!..

Как бы то ни было, а в данную минуту я чувствую только безнадежную тоску и полное одиночество. Меня не интересует ни предстоящий экзамен моих учеников в комиссии, ни награда в 60 рублей, которую столь великодушно обещал мне инспектор, ни мои детища: народная библиотека и народные чтения, которым я посвятил весь свой досуг...

Все это представляется мне теперь прахом и суетой. Это не дает ощущения счастья, а они вон веселятся так мило и беззаботно, поют, играют, бьются на кулачки, визжат, свистят, хохочут, шепчутся, обнимаются... и им хорошо!

И какая странная ночь... волшебная, раздражающая... Серебристый, таинственный лунный свет расписал все фантастическими узорами; душистый воздух весь наполнен какими-то шорохами, неуловимыми звуками, несущимися от каждой тени, каждого куста, чудными, непонятными, но близкими сердцу... А бледные серебряные звездочки с их кроткой, сочувственной лаской трепетного мерцания... Какая красота во всем! Даже крытые соломой казацкие курени с своими побеленными стенами под блеском месяца кажутся мраморными дворцами... И какая грусть на сердце...

*26 мая*

Вчера приехал с экзамена. Сошло хорошо: мои мальцы лицом в грязь не ударили. Правду сказать, ребята довольно способные и прилежные. Был предводитель дворянства, был инспектор. Я получил 60 руб. награды. Сумма немалая, если принять в соображение, что из моего жалованья я выделяю 120 рублей отцу на хозяйство.

Послезавтра еду в свой родной хутор — Есаулов, «на родительские хлебы», отдохнуть, на целых три месяца... Выдержу ли?

*20 июня*

Четвертая неделя, как я в Есауловом хуторе. Скучно, жарко, безлюдно... Хутор степной, маленький. — дворов тридцать. Кругом степь, побуревшая уже от солнца. Народ весь в поле. Зелени почти никакой. Купаться негде. Пруд весь покрыт зеленой грязью, гусиным пометом и пухом; тень только под сараями. Садики очень жалкие, заморенные: почва солонцеватая, бедная влагой; колодцы глубоки,

поливать трудно. Чего здесь много, так это — навозу и приготовленных из него кизяков. Квадратные кирпичики-кизяки, сложенные в невысокие пирамидки, наполняют все дворы и даже кривые улочки хуторка, поросшие колючкой и дуропьяном с белыми цветами. Очень также много мух.

Старички мои, конечно, рады были моему приезду. Отец считает меня, по-видимому, за человека необыкновенной учености и первое время по приезде всегда говорит мне «вы» и все как-то конфузится. Мать — нездоровая, бледная, прекрасная — обыкновенно плачет и пичкает меня съестным. Сестра — семнадцатилетняя девушка, красивая, здоровая, рабочая (учить ее не на что было) — меня дичится. За нее предполагают взять в дом зятя. Отцу одному с работником трудно вести хозяйство.

— Кабы послал Господь хорошего человека, — со вздохом говорит мать. Сестра при этом молчит и краснеет.

Хозяйство у моего отца, по-здешнему, порядочное: три пары волов, четыре лошади, три коровы с телятами, мелкого скота — не знаю сколько. Нужды нет, но нет и денег. Богатство заключается в скоте и хлебе — ценность мало подвижная, мало удобная и весьма переменчивая.

Милая моя матушка потчует меня всевозможными яствами — по преимуществу из сметаны и масла (блинцы всех видов и сортов, лапшевники, вареники и т. п.), и порой политично разговаривает о деликатной материи:

— Алешенька! а что бы тебе жениться-то?

— Все никак не соберусь, маманюшка.

— Вон у Сидора, говорят, дочь — хорошая девка, одабривают дюже. «Ветряк, говорит, в приданое отдам, если хороший человек попадется». Там сколько платьев этих у ней понашито, шляпки с перьями да с лентами...

Я отмалчиваюсь.

По праздникам хутор несколько оживляется. Народ приезжает с полей. Молодежь собирается кучкой около маленькой лавочки, в которой торгует всевозможными товарами отставной солдат. Играют в орлянку, в карты, поют песни, беседуют, иногда бранятся. Поют здесь недурно.

Я люблю слушать наши казацкие песни, люблю и сам петь те из них, которые знаю. Одно время я собирал и записывал их. Напев их несколько однообразен и уныл, но характерен, оригинален и замечательно гармонирует с нашей монотонной степью и странной казацкой жизнью. Что-то близкое сердцу, непонятно грустное слышится мне всегда в переливах этих песен, воспевающих широкую шлях-дороженьку, мать-дубравушку, речку лазоревую, орлов сизокрылых, тоску на

чужбине. Когда я слышу их, то всегда не утерплю, чтобы не подойти к кругу.

Лавочник, человек довольно общительный и цивилизованный (он служил в музыкантской команде и, по его собственным словам, играл «разные европейские марши и солы»), считает своим долгом занимать меня беседой о разных материях.

— Посмотреть вышли на наши обстоятельства?— спросил он в первый раз, как я появился в праздничный день около его лавочки.

— Да, посмотреть.

— Что же, посмотрите. Только мало у нас чего касательно к любопытству вашему... Так, живем в навозе! А между прочим...

Он слегка наклонился и сказал конфиденциальным тоном:

— Может быть, вам девчонку или бабенку какую-нибудь требуется?

Я смутился от неожиданного вопроса, а он ухмыльнулся и продолжал тоном ободряющим и отчасти покровительственным:

— Ваше дело молодое... Это — ничего. А тут есть... и даже с удовольствием с вами время разделили бы. Из себя вы — не плохой, совесть у вас мягкая, простая... Ежели угодно, я сию минуту расстарался бы... Славные бабочки есть... жалмерки...

— Нет, нет! Не надо, пожалуйста!— сказал я своему любезному собеседнику и ушел, оставив в нем о себе мнение, вероятно, не высокое.

После этого мне было как-то неловко выходить к лавочке по праздничным дням.

Нет, скучно в Есаулове. Завтра уезжаю в станицу, к училищу.

Мать огорчена.

— Нет мне счастья на белом свете,— говорит она со слезами.— Приехал на часочек и опять отъезжает... Другие матери всегда при детях живут...

Отец не показывает виду, что огорчен; побеседовал со мной в последний раз об астрономии и о паровых плугах (старик любит-таки помечтать кое о чем) и сказал:

— Тебе, в самом деле, скучно с нами... Тут жара, тут муха. А мать — ты уж ее извини — она какой человек? Муха в чашку к тебе попадет, она ее пальцем выковыривает, чем бы ложкой...

— Ты уж хорош!— сказала мать.

Славные старички...



27 июня

Снова я в своем училище, читаю газеты, которых за мое отсутствие накопилась целая куча. Когда читаешь — не приходит в голову мысль об одиночестве своего существования. Тесный мир как будто раздвигается. Чувствую себя в обществе людей, тоже, может быть, не весело живущих, но бодрых, красноречивых, умных, смелых, не слагающих оружия в борьбе жизни. И желание трудиться, отозваться на их призыв, пожать им руки — охватывает меня всякий раз, и я бодрее и пристальней присматриваюсь к жизни, окружающей меня, и обширные, иногда просто фантастические планы зарождаются в голове и не дают мне спать...

По будням в станице безлюдно. Выйдешь за ворота, глянешь направо, глянешь налево — вдоль по длинной улице, замыкаемой с обеих сторон сизыми рощами верб, — пустыня! Разгуливают свиньи, теленок, две-три курицы... Вдали ребенок без рубашки кричит благим матом и стучится в закрытые ворота. Горячий ветерок пахнет иногда с востока, и все опять тихо, сонно, мертво... В воздухе как будто застыло чуть слышное, едва улавливаемое жужжание без начала и без конца, то басистое, серьезное, заботливое, то тонкое легкомысленное, раздражающее, то жалобное и плачущее...

Хороши вечера и ночи — лунные, ясные, тихие, немного душевные... Выйдешь ли на улицу: с одной стороны озаренные лунным блеском мраморные, блестящие стеклами окон маленькие дворцы, с другой — тоже маленькие заколдованные замки с синеватыми темными стенами и раскрытыми бойницами-окнами. Неровные зубцы верховых рощ, окружающих станицу, под блеском месяца кажутся покрытыми серым шелком. Тени черны и таинственны, воздух чуток. Каждый звук, каждый порох отчетливо слышен. Сядешь в саду на скамейке. На песчаной дорожке — причудливые мелкие узоры. Тихо шелестят листочки молодых топольков; звенящий стрекот кузнечиков безбрежно разлит во все стороны; над вишнями гудят жуки, комар деловито поет над самым ухом. Из-за церкви, от поповского дома доносится брэнчанье рояля: молодая попадья играет что-то грустное и приятное... Томление и грусть охватывают сердце...

28 июня

Кажется, маленькое знакомство...

Вчера ночью я скитался по улицам станицы. Обыкновенно я занимаюсь этим в сообществе станичного атамана или станичных писарей, но на сей раз я был один. Было скучно.

Эти лунные ночи как-то особенно напоминают об одиночестве. Хотел было уже повернуть домой — смотрю, на углу нашего переулочка стоит... женщина. Я не волокита. В женском обществе я, вообще, конфузлив, неловок, неуклюж и, вероятно, смешон. Часто я искренне презирал себя за свою робость и неумелость, потому что я люблю... очень люблю женщин: они вносят в суровый и скучный тон жизни что-то нежное, светлое, смягчающее и бодрое. Откровенно сознаюсь; всегда от души завидовал людям, умеющим делать жизнь веселой и интересной, общительным, находчивым и остроумным — хотя бы только в обществе женщин...

Теперь меня охватило желание женского общества, женского разговора, болтовни, смеха и, может быть... ласки. Набравшись смелости, я сказал, поравнявшись с молодой казачкой:

— Здравствуйте.

— Здравствуйте,— ответил молодой голос, и я тотчас узнал его.

Это была Катя Медведева, девушка из довольно зажиточной казачьей семьи, моя соседка, хотя не совсем близкая. Я был знаком с ее отцом — один раз «гулял» в компании с ним у нашего атамана, был и у него в доме, но дочку его и вообще младших членов семьи не видел. Катю я встречал только на улицах, нередко окруженной целой свитой молодых казаков. Она пользовалась в станице репутацией одной из самых интересных девиц, и около ее имени создалось уже немало сплетен. Девочка очень миленькая...

— Гуляете?— спросил я, чтобы сказать что-нибудь, потому что чувствовал, как глупо выходит стоять молча.

— Нет. Так, стою...

— Может быть, пройдемся?— с трудом выговорил я, словно давился, и почувствовал, как голос мой прерывался от робости.

— Нет, я разувши. После когда-нибудь.

— А после можно?

— Отчего же... можно...— Она сказала это так просто и мило, что я невольно подумал: «Какая прелесть!»— и мне не хотелось уходить от нее. Но вдруг стукнула калитка у ближнего двора, и сердитый женский голос прокричал:

— Катюшка! Ты будешь нонче почевать или нет?

— Фу, как строго!— сказала моя собеседница и засмеялась. И когда я хотел было податься за угол, чтобы не навлечь на нее подозрения, она сказала:

— Нет, ничего! Это — сноха наша. Хотите семячек?

Я взял от нее горсть подсолнухов.

— Вы садитесь,— сказала она и села на завалинку,— что вам стоять? Вы и так большие выросли...

Я присел, но беседа у нас не клеилась. Она пощелкивала семечки и вбок с любопытством поглядывала на меня. Я не знал, о чем заговорить, и чувствовал себя мучительно и глупо.

— Вот вечер скоро будет вон в том доме.— сказала она.— Погуляем. Мою подругу замуж отдают.

— Так...

— Придете смотреть?

— Приду.

— Приходите. Весело будет... Ну, прощайте, все-таки надо домой, а то ругать будут...

Она встала, встряхнула скорлупу с своего фартука и поглядела на меня с чуть заметной веселой, приятельской улыбкой; потом,— видимо, после некоторого колебания,— подала мне свою руку, маленькую, сухую, с тонкими грубоватыми пальцами, очевидно, хорошо знакомыми с черной работой,— и побежала легкой, неслышной побегкой домой. Я сидел еще некоторое время на завалинке и думал об этой девочке. Ее худощавое и бледное при лунном свете личико, веселая улыбка, мелкие зубы, блестящий, веселый взор — долго не давали мне уснуть. Было жарко и душно...

Я сам родился и вырос в простой казачьей семье. Отец мой пашет землю. Когда я был поздоровее, я помогал ему летом в полевых работах — теперь не могу. Я знаю казачий быт; я люблю народ свой, среди которого я вырос и которому служу, мечтаю об его счастье, скорблю о нем сердцем; я — сын народа, смело могу это сказать... И, тем не менее, я неизменно и постоянно чувствую, что что-то отрезало меня от моего народа, что на меня он смотрит уже не как на своего, со мной говорят не просто и не откровенно и я не могу подойти близко, как мои сверстники по годам, молодые казаки, к нашим милым казачкам... А между тем, как я их люблю! Они веселы, смелы, остроумны, намеренно-грубоваты и вместе с тем умеют быть нежными и неуловимо-привлекательными... Что-то есть в них такое, что я не встречал ни в одной из знакомых мне культурных женщин, — что-то свободное, смелое, увлекательно-разгульное, сообщающее жизни беспечную радость и красоту воли...

*5 июля*

Всю эту неделю по вечерам я выходил за ворота, присаживался на лавочке возле палисадника и начинал невольно смотреть на следующий перекресток, по направлению

того самого угла, где я беседовал с Катей. В ясные ночи по переулку все до ступи видно отчетливо, даже полет ночной птицы. Иногда казалось мне, что на белой стене углового дома, под окном, вырисовывается силуэт — легкий, неуловимый, как тень. Он быстро и неслышно начинал двигаться по направлению к церковной ограде, потом под оградой к училищу... Ближе, ближе... Сердце у меня начинало стучать. Но вдруг силуэт как-то быстро тает, и вот уже нет его, и одна усталость чувствуется на сердце...

Катю я видел вчера. Она с подругами шла по нашей улице — все нарядные, но-праздничному одетые. Навстречу им шли два молодых казака. Они остановили их и стали разговаривать. Рассказывали, вероятно, что-нибудь веселое, потому что девицы все смеялись, закрываясь платочками, и отворачивались. Один из казаков, высокий, смуглый, курчавый, в фуражке набекрень, — вероятно, отчаянный сердцеед, — обращал преимущественное внимание на Катю. Я видел, как он угощал ее подсолнухами, трогал за плечо, усиленно жестикулировал правой рукой и, вообще, держал себя как очень короткий знакомый. Мне было и досадно, и завидно смотреть на это...

*6 июля*

Какая была странная, чудная ночь... И сейчас, сквозь дымку неясных блаженных ощущений, которые еще не улеглись в моей душе, я вспоминаю сонную станицу, окутанную серебристой мглой лунного сияния, «девичник» с звонкими песнями, танцами под гармонику, с перебранкой молодежи, засматривающей в окна, и, наконец, церковную службу раскольников в одном из домов, в конце улицы...

Как все это странно, ново, интересно!.. Впрочем, попробую рассказать «по порядку».

Когда я потушил лампу и сел у раскрытого окна, охваченный впечатлениями только что прочитанной новой книжки журнала, — звонкие, залихватые женские голоса, хлынувшие вдруг веселым ливнем из-за церковной ограды, сразу перенесли меня в свой мир... Сквозь беззаботное веселье в них пробивалась и звенящая нота грусти, но громче всего и увлекательнее звучала в них жажда жизни, жажда любви и радости. Эти звуки дразнили сердце и неудержимо манили куда-то на вольный простор, на безбрежный разгул...

Я вышел на улицу и пошел туда, откуда неслись эти звуки. Была вечеринка, или «девичник», в том самом доме, о котором говорила мне раньше Катя. В раскрытые окна были

видны тесные ряды ярко одетых девиц. В дверях и в окнах с улицы торчали головы любопытных — преимущественно баб и ребятишек. На дворе и на улице стояли круги молодых казаков. Было очень оживленно и шумно. Ребятишки гонялись друг за другом, залезали на плетень палисадника и в самый полисадник, дергали в окна сидевших в комнате девчат, дразнили их... Из окон плескали на них водой из кружки, бранились, осыпали скорлупой подсолнухов. Потом, когда раздавалась бойкая трель гармоники, все девицы, одна за другой вскакивали с мест, и среди изумительной тесноты и, вероятно, духоты начинался бойкий танец с хлопаньем в ладоши, с бойкими вскриками, с поощрительными замечаниями с улицы и из дверей.

Я простоял около получаса и потом пошел по улице, удаляясь от этой толпы. Я думал о ней, о себе и о том, что все-таки не захотел бы, вероятно, стать таким же, как каждый из ее членов, как ни завидно мне глядеть на их беззаботное веселье, на их бодрый труд, на их простую, естественную жизнь, свободную от разъедающих сомнений и размышлений. Есть что-то драгоценное и в этих сомнениях, и в этом беспокойстве духа, и в этих исканиях смысла жизни...

И я без зависти и без особого сожаления удалялся от незамысловатого веселья молодой толпы, которая издали казалась более привлекательной и интересной, чем вблизи.

Вдруг унылый, однообразный, как пустыня, суровый напев поразил мой слух. Отрешение от жизни, угрюмо-покорное, безрадостное до отчаяния, слышалось в нем, и душа сжималась безнадежным холодом, способным убить всякую радость жизни...

Этот напев тянулся несмолкаемо и бесконечно. Он царил над станицей, когда песни девчат замолкли и пиликала едва слышная гармоника. Его не смущал молодой смех и визг, доносившиеся с улицы шумной струей, когда зрители-ребятишки начинали держать себя слишком бесчинно.

Это было раскольничье всеобщее бдение. Невольно под эти звуки сердце охватывала неясная тревога и томление...

Я долго стоял, очарованный этой странной обстановкой. Веселые песни послышались явственнее: девчата вышли из душевой комнаты и отправились гулять по станице. Вот они направляются сюда. Ближе, ближе... Повернули направо. Вот их шумная толпа, в которой теперь были уже и молодые казаки, прошла в переулок.

Родимый мой батюшка! Что думаешь обо мне?  
Думаю-подумаю отдать Машу в монастырь... —

разобрал я слова песни, в напеве которой молодая грусть и неудовлетворенная жажда жизни звенели так трогательно-скорбно, нежно и подкупающе.

Я завернул тоже в переулок, вслед за звонкой песней, с мыслью о Кате: в этом потоке молодых голосов звенит, вероятно, и ее голос.

— Добрый вечер! — вдруг услышал я сзади.

Я вздрогнул от неожиданности. Это была она, Катя.

— Я вас видела в окно, — сказала она, улыбаясь и подходя ко мне ближе.

— Неужели? Откуда? А я вас все время ждал, — сказал я ей, — но не думал, что увижу.

— Ждали? Зачем?

— Я не знаю, зачем, но я все хотел... очень хотел увидеть вас... Пройдемся немножко?

— Да как же... Ведь девчата далеко ушли... Еще заметят...

— Ну — ничего! На минутку...

Мы сели на лавочке у какого-то палисадника. Я поглядел на свою собеседницу — она так близко была теперь ко мне, как никогда прежде. Цветок в волосах, какой-то блестящий пояс, кружева на груди и вокруг тонкой шеи — все мне показалось в ней так прелестно и мило.

— Говорите, зачем вы меня ждали? — спросила она, и то бессознательное кокетство, которое присуще всем женщинам, как бы ни были они различны по рождению, воспитанию и положению, засветилось в ее глазах, глядевших на меня вбок и слегка исподлобья.

Вместо ответа я молча обнял ее и поцеловал.

— Вот как! — воскликнула она и засмеялась, блеснув своими мелкими зубами.

Я крепче охватил ее руками и потянул к себе. Она не сопротивлялась и спрятала лицо у меня на груди.

— Будешь любить меня? Будешь? Да? — спрашивал я ее шепотом, сжимая в своих руках ее тонкий, гибкий стан.

Она молчала и не подымала лица от моей груди, и, когда я нагибался, белокурые ее волосы щекотали мое лицо.

— Мне чего вас любить, я и так вас люблю... — сказала она, наконец, и, обвив руками мою шею, прижалась к плечу...

Стало рассветать. По дворам зашевелились бабы, начали доить коров. Песни девчат слабо доносились издали.

— Пора домой, — сказала Катя, — теперь девки хватятся, куда, мол, делась, — чего им говорить? Прощайте...

— Нет, до свидания.

— Ну, до свидания!

— Когда?

— Как-нибудь на днях. Выйду на угол, замечайте...

Я пришел домой, словно опьяненный, и все улыбался глупой, блаженной улыбкой. Я не ложился еще спать и не лягу... Конечно, все это глупо, может быть. Может быть, и не совсем хорошо? Но... не хочется думать... Хочется только жить...

19 июля

Теперь мы встречаемся часто. По вечерам я выхожу за ворота, сажусь на лавочку и жду. Вот какая-то тень вырастает на углу. Я иду ей навстречу. Из-под большого черного шерстяного платка выглядывает сухощавое миленькое личико и беззвучно смеется. Мы идем в наш училищный сад, садимся на скамейке, болтаем, т. е. она болтает, смеется, пугается всякого шороха и тут же, когда страх прошел, начинает без всякого опасения напевать песенку. Голосок у нее тоненький, как звон серебряного колокольчика.

Я люблю держать на коленях эту худенькую, изящную певунью, люблю чувствовать вокруг своей шеи ее руку, люблю ее серебристый голосок, смех, пенье... Иногда все переговорено... Ей скучно. Молчим. Она охватит меня руками и задремлет. Я сижу... Оно и не совсем удобно и весело сидеть так, но мне нравится смотреть на ее бледное лицо с закрытыми глазами и вздрагивающими изредка губами. Есть в ней что-то нервное и, кажется, несколько болезненное. Во сне она внезапно и сильно вздрагивает, потом просыпается и еще крепче хватается за мою шею...

— Сейчас скамейка под нами обломилась... Во сне... Я как полечу!.. — говорит она испуганно.

Потом она опять усаживается поудобней на моих коленях и снова начинает дремать.

— Вам не больно? — спрашивает она иногда и тут же прибавляет: — Да все равно, вы не признаетесь, а я — все равно — не слезу... Буду спать! Как час пробьет, разбудите: домой пойду.

Она приходила ко мне часов в одиннадцать. Из дома уходила тайком, через окно... Оригинальное и занимательное существо. В ней много удали и поэзии: ее воззрения на жизнь просты, ясны и смелы. И, несмотря на кривые толки о ней по станице, она только странная, своеобразная, но безукоризненная и гордая девушка...

— У вас, Катя, много поклонников? — спросил я однажды.

— А что?

— По праздникам за вами всегда толпа...

— О, они за мной, как собаки, все бегают! — сказала она с довольной улыбкой.

— Вам это нравится?

— Да... Я люблю кавалеров сроду.

— А не хорошо говорят об этом на станице...

— Это старушонки-то? Язычницы там разные?.. А о ком они хорошо скажут! Ведьмы! Всех оговорят, никого не оставят... Только из кавалеров уж никто мною не похвалится... Они так потому за мной и бегают, что я ни с кем из них особенно не ватажусь... Все мне равны.

— Разве вам никто из них не нравится?

— Ну их! Щиплются, проклятые, да как медведи: поймает — мять начнет... Что хорошего! А Климка — так раз укусил меня за плечо... «Я, — говорят, — любя»... Хороша любовь: неделю целую плечо болело!

— А знают они, что вы со мной видите?

— Н-ну!.. Разве вы им сказали?

Она посмотрела на меня широко раскрытыми глазами.

— Нет, — успокоил я ее.

— Тут бы было! Климка раз увидел, что я с Тимофеем поздно сидела, так он и то говорит: «Меня как громом вдарило! Целый день ходил как оглушенный!..» Если бы узнали, что я к вам прихожу, так и вовсе бы. Они ведь вас не знают, какой вы есть человек, а я знаю. К ним я не пошла бы так вот, как к вам, — поверить им нельзя...

— А мне можно?

— Вам можно.

Она обхватила руками мою шею и, близко заглядывая мне в глаза, заговорила шепотом:

— Вас по глазам видать, что не насмеетесь и не обидите... Я как взгляну вам в глаза, так все хочется смеяться!..

И она засмеялась, сверкая глазами... В ней точно сидит прехорошенький, задорный чертенок... Когда она принимается порывисто целовать мои глаза, приговаривая разные нежные названия, я погружаюсь в какой-то чудный туман; кровь вспыхивает, голова кружится, и мучительно-сладкая, блаженная боль схватывает мое сердце... Я забываю обо всем... И мне хочется этой ласки без конца, и хочется защитить ее от чего-то...

Вчера она мне сказала как-то особенно просто:

— За меня сваты приезжали. С Фролова с хутора. Говорят, богато живут. Отец с матерью все уговаривают меня.

— Ну и что же?



— Ничего. Сказала: из станицы никуда не пойду. Они говорят: «Ну и за Климкой тебе не быть, за голышом». Я говорю: «И не желаю»...

— А Климка разве сватался? — спросил я с удивлением.

— О-о! Об Святой еще присылал сватов. Отказали.

— Он вам нравится?

— Нет. Только из всех ребят он лучше. Сила, как у быка: подхватит меня, как перышко! А когда на кулачках выйдет драться, так уж никогда не побежит, хоть сколько человек на него насядут... Я люблю таких. Простой совести. Песни как играет! С ним так бы и играла: легко, не устанешь... Только — бедный: гол как сокол! И по старой вере... Да он в нашу веру перешел бы, кабы меня отдали за него.

— Мне будет грустно, когда вы выйдете замуж, Катя, — сказал я.

Она недоверчиво улыбнулась и сказала:

— Неправда ваша!

— Ей-богу, правда! И теперь вот грустно, когда услышал о сватах.

— Вот если в станице замуж выйду, тогда будем видеться. Уж я мужа обману!

Она засмеялась и спрятала свое лицо у меня на груди.

— Небось вы подумали: «Вот, мол, какая!..» Да, я — нехорошая! Только вас люблю... право! А вы как хотите обо мне думайте...

Она запела вполголоса:

Садится солнце за горою,  
Стоит казачка у ворот...

Когда она поет, я люблю смотреть в высокое небо, на безмолвные хороводы звезд, на Млечный Путь и уноситься в неясных, туманных грезах далеко-далеко. Я редко вслушиваюсь в слова ее песен, но звуки их ласкают мое сердце своей нежной грустью: они так вкрадчиво вьются, дрожат, замирая, и манят куда-то в неведомую даль, они обещают что-то прекрасное и таинственное, и сладкие слезы закипают на сердце...

27 июля

Вчера опять была Катя. Я целую неделю не виделся с ней и скучал. Она сказала, что нельзя было ей выйти: два дня была в поле, а после ее возили на Фролов хутор — «место смотреть», т. е. познакомиться с домом и хозяйством своего жениха. Сваты опять приезжали. Отец с матерью очень хо-

тят устроить эту партию: жених из богатой семьи, торгует скотом, — следовательно, Кате не придется работать тяжелую сельскохозяйственную работу, — а так как и Катин отец «перекидывается» скотом вдобавок к своим сельскохозяйственным занятиям, то ему и приятно породниться с компаньоном, которого он встречает почти на всех станичных ярмарках.

Катя собрала где-то сведения о женихе весьма неутешительного свойства: он — вдовец; первую жену, как говорили соседи, преждевременно проводил в могилу, забил.

— Смертным боем, говорят, бил... Так, просто забил и забил... — говорила уныло Катя.

— Ну, что же? Пойдешь за него? — спросил я.

— Нет.

— А как же... родители-то?

— Отец сказал: «Убью, как собаку, если из моей воли выйдешь». Хотел бечевою меня бить, да я убежала. А мать? Она — добрая, только тоже все больше на отцову сторону тянет. «Нужды, — говорит, — не увидишь, работать не будешь»... А я ей говорю: «Скорей утоплюсь ай удушусь, чем за этого жениха иттить»...

Мне стало грустно. А когда Катя сказала, что недолго нам видеться (свадьба предположена тотчас после Покровской ярмарки), и заплакала, прижавшись ко мне лицом, мне стало так грустно, глядя на нее, что я едва сам удержался от слез и ничего не мог сказать ей в утешение.

*22 сентября*

Пошла моя машина в ход. Звонки, уроки, перемены, шум, гам, возня, ссоры, драки, разбирательства, облака пыли в классах, звонкие голосишки читающих «буканье» новичков... Скоро две недели, а все еще мое войско не дисциплинировано, как следует. Особенно новобранцы. Иной сидит-сидит, а потом вдруг встанет и пойдет к двери.

— Ты куда?

— Домой.

— Нельзя. Сядь на место!

— Я есть хочу-у...

Некоторых первое время не приучишь называть меня по имени и отчеству, а не «дяденькой». Другим приходится вытирать носы. Для третьих не существует права собственности, особенно на съестное и на игрушки. У всех положительно развита склонность к единоборству и набегам на огороды, на свиней, кур, собак и проч. Было несколько жалоб. Пришлось горячиться, кричать, наказывать. Те-

перь — слава Богу — дело как будто несколько сладилось. Ребятенки, по большей части, способные...

С Катей вижусь, но редко. Ее дела тоже неважны. Отец уже постегал ее раза два за супротивные речи. Она стала совсем худенькая и нервная. Теперь за ней очень следят: работы закончились, все дома.

Наши свидания уже не носят того беззаботного и милого характера, как прежде: Катя не поет, не щебечет, только любит молча сидеть у меня на коленях, охватив мою шею руками и закрывши глаза.

Я стараюсь развлечь ее, чем могу, но без особого успеха. Теперь я уже болтаю, а она слушает, и по ее лицу я не могу решить, вслушивается ли она в мои речи или бродит мыслями где-то совсем в другом месте.

Раз я сказал ей:

— Пошла бы ты за меня замуж?

Я ей говорю то «вы», то «ты»; она мне всегда «вы», как я ни просил ее говорить мне «ты».

Она усмехнулась и, отрицательно покачав головой, сказала:

— Н... нет.

— Почему?

— Потому что... дело не подойдет! Я вас так люблю, и вы меня так любите, а тогда не будете... Я на улице люблю ходить, песни люблю играть, бегать, драться, кусаться (я — кусачая! хотите — укушу?), а тогда буду учительша, и люди скажут: «Вот учительша, а дура — на улице песни играет»... И вам со мной будет скучно...

— Нет, Катя, не будет. Теперь ведь не скучно!

— Ну, теперь — так, для разгулки времени...

— Мне будет скучно, когда ты замуж выйдешь и я не буду уж с тобой видеться, как теперь. Я все равно как сирота здесь, один — и никого вокруг меня...

Мне стало так грустно, что хотелось плакать. Она долго молчала.

— Я тогда буду избирать время к вам приходить. Мужа как-нибудь обману, — засмеявшись, сказала она. — За книжками буду приходить. Я книжки люблю... Особенно — в каких песни, стишки... Какие на вас есть стишки, какие на меня, какие на обоих на нас... Я списываю.

— Какие же такие, например?

— Какие? — переспросила она и задумалась. — Да разные! Не скажу, а то вы смеяться будете, — прибавила она потом.

— С какой стати?

— Нет, я не смею... Не скажу!..

Вчера мы виделись с ней только несколько минут.

*1 октября*

Был на ярмарке — сегодня открылась и продолжится целую неделю. Шумно, пьяно, бестолково, но оживленно и живописно. Нарядные толпы движутся непрерывным потоком взад и вперед, теснятся около каруселей с жалкой музыкой, собираются в круги и с пьяными, нестройными песнями распивают водку, глазают у балаганов и в балаганах, на конной площади — всюду, всюду... Крики, брань, говор, смех, свист ребятишек, пиликанье гармоник, песни — все кажется полным здоровья, кипучей жизни и беспечности.

— Это — не ситец, это — перкаль, могу вас заверить! — доносится из одного балагана убедительный голос. — Давайте удивим Европу, отрежем на занавеску...

— По двенадцати не дам! — возражает ожесточенный голос старухи.

— Э, шилом моря не нагреешь! Извольте по одиннадцати!

— Ты обрати внимание, ставичник, на доброту! — дребезжит еще более убедительный голос в соседнем балагане. — Сорт — два нуля. То есть первый сорт, а этот на два сорта выше его...

Большие толпы стоят и около ярко раскрашенных лубочных картин и книжонок. Седой старик приобретает «государей и властителей всего света», мальчуган за три копейки покупает песенник «Маргарита», старушка за пятак уносит «Николая Угодника». Рыжебородый торговец с приятной улыбкой показывает подходящим к нему «барышням» картину «Эх, ты сад, ты мой сад», на которой изображен бравый солдат и босоногая девица...

Около картин встретил я и Катю. Мы успели перекинуться в толпе несколькими словами. Сегодня она обещала прийти в последний раз: ее просватали; завтра — «вечер»; свадьба — после ярмарки, когда жених закончит свои торговые операции со скотом.

---

Сегодня она ушла от меня.

Это было самое грустное из всех наших свиданий. Катя заплакала только раз, немного, слезами озлобления и отчаяния, когда рассказывала, сколько ей пришлось перенести бою из-за этого жениха.

— Ну, все равно: не поддамся! — сказала она с решительным видом.

— Как же ты не поддашься? Теперь уж поздно, завтра «вечер», — возразил я.

— Хоть сто вечеров, а я не пойду за него! Я с ними устаню такую штуку!.. Лучше в петлю головой, чем в эту семью иттить...

Признаюсь, мне в этих трагических заявлениях, в этом отчаянном тоне послышалось что-то напускное и фальшивое... И мне стало тяжело и неприятно.

— Что же ты думаешь сделать? — спросил я.

— Что? Убегу куда-нибудь, скроюсь! Пускай догоняют! Небось беглянку потом не возьмет... Одно: матерю жалко... Она слез и так пролила через меня конца-краю нет...

— Глупости, Катя, — сказал я, — некуда тебе убежать...

Она помолчала и, после долгой паузы, проговорила решительным и озлобленным тоном:

— Я найду место!

— Нет, я шучу, — снова заговорила она другим, более спокойным тоном. — Придумала я одну штуку; удастся — мое счастье, а не удастся — прямо попу скажу: не хочу за этого... Пускай отец убьет...

Под конец она все-таки развеселилась, а мне было грустно. Она старалась, может быть, утешить меня, цела, целовалась, кусалась, плакала, смеялась и болтала без умолку.

— Н-ну, как сердце болит, как вздумает про эту проклятую свадьбу! Лучше не думать... правда?

— Правда.

— Ну, давайте кутнем в последний раз, да и закаемся!.. Говорите мне что-нибудь... хорошенькое! Скажите, как вы меня жалеете... О жизни мне говорите... все, все!..

И вот она уже ушла. Я сказал: «Больше не увидимся». А она уверяет, что увидимся.

— Если только живую оставят, — прибавила она весело и беззаботно. Пошла и даже запела, не опасаясь, что ее могут слышать посторонние.

Я стоял долго, прислушиваясь к ее легким; торопливым шагам. Звуки ее негромкого пения мягко и скорбно отзывались в моем сердце. И я чувствовал, что вместе с этими удаляющимися звуками уходит моя короткая радость, что-то легкое, милое, родное, моя молодость, моя жажда жизни, мои неясные грезы о счастье... Уходят безвозвратно...

Я привык все-таки жить надеждами и мечтами, потому что моя жизнь и та, которая меня окружает, — жизнь в достаточной мере скучная, мелкая и бедная радостями. И теперь я задаю себе вопрос: что же ждет меня впереди? Однообразная служба начального учителя, со всеми ее раздраже-

ниями, терзаниями, страхами и сознанием ничтожности достигаемых результатов?..

Ребячий шум, звонки, пение — вот круг, в который я заключен волею судеб. Этого мало для сердца... Я не знаю, люблю ли я их или не люблю — этих мазаных, шумливых, драчливых моих учеников. Я не знаю, люблю ли я теперь свое дело, так как не верю уже в него прежнюю пылкой верой неопытности и самонадеянности. Оно мне прежде рисовалось подвигом увлекательным, полным борьбы, глубокого интереса и в конечном результате торжествующим. Мечтая на учебной скамье о своей будущей деятельности, я воображал себя не иначе, как героем этой жизни, — правда, скромным, но героем, обращающим на себя внимание и враждебное, и сочувственное. Это были смешные мечты, но в них было много света, радости, бодрости и любви к жизни. Опыт охладил мое воображение. Он произвел это даже не постепенно, а сразу, без всякой деликатности. Он смахнул их, мои мечты, равнодушно и грубо, как поблекшие лепестки цветов...

Я увидел сразу, что жизнь, которая течет кругом меня, не подходит ни для подвига, ни для борьбы в тех размерах и в том виде, как я воображал. Это — слишком «обыкновенная», простая и, вместе с тем, мудреная и трудно уловимая в своей сокровенной сущности жизнь. Вопрос о хлебе насущном первенствует в ней над всеми другими вопросами, является центром, около которого упорно и не всегда успешно сосредоточиваются наиболее серьезные и беспокойные мысли обывателя. И так как это вопрос вековой, то и мысли, вызываемые им, — мысли старые, однообразные, скучные, сурово тяготеющие над беззаботными радостями жизни, — придали этой жизни колорит тусклый и невеселый...

И моя жизнь стала такою же скучной, монотонной, трудовой жизнью, как и та, которую я видел кругом. Я пробовал все-таки копошиться. Не довольствуясь одной «мелкой» аудиторией, я взялся за взрослую. Не без мытарств, просяб, ухищрений и лести станичным властям, клиру и всем видным обывателям станицы добился я приобретения волшебного фонаря и устройства народных чтений. Не мало усилий было положено на то, чтобы открыть народную библиотеку и читальню. И пока я копошился, употреблял усилия, изворачивался, хлопотал — было интересно и казалось, что если мои усилия увенчаются успехом, то выйдет что-то очень значительное, оживляющее, даже, может быть, замечательное.

Помню, как в первый раз, когда получен был фонарь и разнеслась по станице с быстротою молнии весть, что «вол-

шебник приехал», — ломилась в училище и взрослая, и малая публика. Какая была давка и толкотня, какой интерес на всех лицах... Этот интерес я принимал в простоте души за жажду света, знания. Но потом я не мог обманывать себя: это был интерес к новинке, к диковинке. Положим, аудитория моя всегда полна. Иногда она бывает полна до такой степени, что полиция (чтения происходят теперь в станичном правлении) выталкивает, по собственной инициативе, часть публики — так называемых «сопляков» — за дверь. Но, тем не менее, я уже не могу вернуться к прежним иллюзиям. Картины, действительно, производят некоторый эффект, но к тому, что читается, большинство относится с поразительным равнодушием. Особенно это заметно, когда, за недостатком картин и подходящего материала для чтения, приходится повторять уже то, что было прочитано. В самом разгаре чтения «Песни о купце Калашникове» вдруг раздается, например, голос:

— Это кто же, Алексей Егорыч, воитель, что ль, какой?

— Да ведь я же говорил: это — царь Иван Васильевич Грозный.

— Фу-у, братцы мои! Ну и правда, что Грозный: его и взор доказывает, что грозен был, упокойничек...

— И, должно быть, сильный человек был, как по корпусу-то видать, — вступает в беседу другой голос.

— А-а-ха. Боже мой! — слышится сквозь аппетитный зевок третий, уже сонный и безучастный голос. — Говорила баба мне: «Давай отужинаем, Васильич, тогда пойдешь»... Не послушал, да и тужу: и думал, эта музья скоро живет, а она часов до десяти не кончится...

В таком и ином роде разговоры ведутся во время чтения среди пожилой, «серьезной» публики. Молодежь, кажется, интересуется еще меньше; она прячется по темным углам обширной «майданной» комнаты станичного правления; слышно оттуда щелканье семечек, перешептывание и сдержанный смех. Иногда там вдруг завизжит кто-нибудь. Вмешивается для водворения порядка полиция и производит еще больший беспорядок: кто-то некоторое время пыхтит и возится, кого-то выталкивают за дверь, откуда доносится протестующий голос:

— Вы не имеете права толкаться! А то я и сам...

— А ты веди себя правильно, без проталмаций, — возражает голос полицейского Кирея.

— А ты не толкайся, вот что! В голове недостает; так руками махаешь!

— Нам на то факты даны, чтобы порядок блюсть...

Аудитория в это время, разумеется, всецело поглощена этой полемикой. Слышатся поощрительные замечания из публики:

— Дай ему хорошенько по шее!

— Ишь, подлец, звякает там! Нар-родец!..

— Нет, утер бы ему нос-то хорошенько, он бы скоро замолчал!.. Всякая, к примеру, тварь...

Даже по окончании этого «оживленного обмена мыслей» внимание слушателей не скоро сосредоточивается на читаемом.

Что касается библиотеки, то и ее роль в жизни здешнего обывателя чересчур скромна. Читают «помаленьку», и читают или исключительно только молодежь, зеленая молодежь, бывшие ученики, или самоучки. Исключения так редки, что лишь подтверждают первое положение. Впрочем, как-то хочется верить, что им, этим исключениям, принадлежит будущее: и в теперешнем своем виде они дают большое утешение и надежду...

Между прочим, приходил ко мне за книгами тот самый Климка, который известен мне как неудачный претендент на руку Кати. Это — рослый, сильный молодой казак, с красивым, слегка тронутым оспой, смуглым лицом. Он робко вступил в комнату, помолился широким, раскольничьим крестом на икону и сказал:

— Здравия желаю, Алексей Егорыч! К вашей милости.

— Что скажете?

Он подал мне свернутый полулист серой бумаги и, смущенно улыбувшись, произнес:

— Вот...

Я взял листок и стал читать. На нем крупным и сравнительно не плохим почерком написано было буквально следующее:

«Милостивый Государь!  
Алексей Егоревич.

«Прошу вас не аставтья моей просьбы, дайтя книжек для чтения мне так как у меня Ахота есть читать книги. Да всетаки, я думаю воспользоватся каторое поступить в пользу маей жизни. Книжек Вы знайтя каких что бы я мог понять Газетков Номеров 10-ть. Да книжек Штук несколько, я их соблюду. И представлю в полном виде.

«Извесной Вам Климент Скачков».

— Это вы писали? — спросил я, прочитавши эту оригинальную просьбу.

— Так точно.



— Вы бы лучше на словах...

— Можно и на словах. Но только, как я грамоте знаю, то дай, думаю, напишу бумагу — все как будто поприличнее...

Я предоставил ему самому выбрать себе книги, и он долго путешествовал по полкам шкафов. Мы разговорились. Незаметно и осторожно я навел разговор на Катю. Климка отозвался об ней чрезвычайно равнодушно, как мне показалось.

— Балованная девчонка,— сказал он тоном добродушного презрения.

— Зато — хорошенькая... правда?

— Да, на личико-то она — ничего... Ну, нашему брату, рабочему человеку, не подходяща: дюже жидка... скудна... Притом же я по старой вере. Хотел было в вашу церкву перейти — отец взволдырял, с кулаками к морде лезет... Так вот и хожу пока без предела.

Он приходил ко мне после этого не один раз и брал читать газеты. В книгах он почему-то разочаровался, но к газетам относился почтительно и говорил, что даже отец его «старомур» — и тот глубоко заинтересовался политикой. И чем больше я узнавал этого добродушного, сильного и беспечного сына природы, тем больше завидовал ему: так в нем все было ясно, спокойно и ровно, так все дышало здоровьем, своеобразной красотой, мужеством и бодростью жизни. Он был, казалось мне, богаче, счастливее меня: он обладал тем, что я невозвратно утратил...

*3 октября*

Ко мне нередко заходят казаки и казачки за советами юридического свойства. Я плохой юрисконсульт и всегда заявляю об этом своим просителям. Но они не верят и, показывая на два шкафа с книгами, говорят:

— У тебя, гляди, все законы есть... Опречь тебя кто же тут может? Саша Серый — лишь языком набрешет, а по бумаге — ни к чему... Никита Курдяк — старый стал, плохо видит... Против тебя некому.

И, скрепя сердце, приходится писать всевозможные прошения, заявления, условия, завещания и проч. В последнее время я даже обзавелся десятым томом и «Положением об общественном управлении в казачьих войсках», так что могу теперь по праву занять первое место среди станичных юристов. Без похвальбы скажу, что и популярность моя выросла непомерно. Редкий праздник проходит без того, чтобы я не принял около десятка клиентов...

Сегодня после обеда пришел ко мне старик в синем су-

конном халате, в широчайших шароварах с лампасами и в чихченах. Он производил впечатление старого, крепкого, почтенного дерева, и было приятно видеть это благообразное лицо с черными красивыми глазами и с широкой, расчесанной бородой, в которой седина стала уже заглушать черные волосы.

Он долго молился на икону, шепча что-то губами. По тому, как он крестился, я заключил, что это раскольник.

— Добраго здравия,— сказал он, слегка поклонившись одним корпусом, степенно и с достоинством.

— Здравствуйте.

— К вашей милости имею надобность.

— Какую?

— А вот потрудитесь послушать.

Мы сели друг против друга — он у стены на сундуке, а я у окна. Он, не спеша, завернул на колени полы своего старинного халата и начал:

— Дело вот какое, Егорьевич. Сын есть у меня — Климка, парень молодой, в самом соку, холостой. Ну, это бы беды еще немного — холостой... доброго нет, ну и охулить нельзя... А вот беда: пьянствует он у меня, стало быть, все эти дни, всю ярмонку пропьянствовал. Дня не прошло, чтобы он с кем-нибудь не подрался; кого-нибудь не оскорбил... Здоровый, с... сын, как бык! Выпьет и лезет на каждого, придирается. Жалобы стали до меня доходить, стали люди меня совестить: что, мол, не уймешь?

А как его унять? Вперед, помоложе был — боялся, а как на майское утро сходил, утвердился в силах, — ничего не поделаешь с ним! Вперед, бывало, вдарю — с ног спибу, а теперь, как ни изловчусь, дам-дам, пятно сделаю, а падать не падает!.. То ли я силы растерял? Ведь старое тело — как трухлявое дерево, а молодое — как дуб... Ну вот, я говорю ему: «Климка! гляди, парень! цветов в поле много, все не порвешь, а то кабы я и не охлыснул!..» А он мне на это такое слово выразил, что стыдно сказать... — «Ах ты, — говорю, — такой-сякой, с... сын! Это ты отцу так смеешь говорить!» — «Я, — говорит, — через тебя пропасть должен... Ты меня в церковную веру не пускаешь, и я сам себя должен через это потерять! Изъявляю, — говорит, — добровольное желание в полк без очереди... Через это, собственно!..» Ну, тут я не вытерпел: прискорбно стало моему сердцу... Схватил его за русые кудри и начал водить.

Старик приостановился и посмотрел на меня ясным взглядом. Мне казалось, что он ждал от меня одобрения по поводу своих отечески-энергичных действий, но я ничего не сказал.

— Начал водить,— повторил он, поглаживая бороду.— Водил-водил... А он как крутнись — и полетел я вверх тор-машками... Ах ты, с... сын! Мать выскочила с рогачом — и вдарить не успела: вырвал у ней рогач... Вскочил я тут на резвые ноги, ка-ак разверну, да ка-ак дам ему в это место...

Старик потрогал широкой пятерней свое левое ухо.

— И не покачнулся! — с изумлением и сожалением воскликнул он.— Я только было в другой раз наловчился, он ка-ак сунет меня в бок, вот под это место,— я как и на ногах не стоял!.. Ведь и зараз,— верите или нет,— как колбешка какая сидит тут...

Он привстал с сундука и, отвернув полу халата, пощупал свой левый бок. На груди его, поверх розовой рубахи, за-качался большой потемневший медный крест на красном гайтане.

— Вот из-за этого собственно и пришел к вам, Егорьевич. Не оставьте моей просьбы, напишите жалобу... Надо же его, подлеца, прекратить как-нибудь...

— Как же вы рассчитываете «прекратить» его? — спросил я.

— Да уж как-нибудь надо... Кабы старинные права, я бы знал, как прекратить: позвал бы на сбор да при стариках отзвонил бы палкой — вот и суд... А ноне порядки-то какие!.. К атаману пошел: «Подайвай,— говорит,— в суд, это мне не подlezит...» Не подlezит! Кого же оно касается, скажите на милость?

— А вы были уже у атамана?

— Был.

— Что же он?

— «Не касается»,— говорит. «В суд,— говорит,— обращайся, коли есть свидетели: суд за это по головке не погладит»... А я от рода жизни ни с кем не судился. Я говорю: «Вы позовите его, вашбродь, в правление, пускай он нам со старухой в ноги поклоняется, прощения попросит — все сердцу нашему сноснее...» — «Ну что же,— говорит,— это, пожалуй, можно: в тягулевку суток на двое тоже можно посадить, а только ты напиши заявление...» Так сделайте милость, Егорьевич, не оставьте моей просьбы...

— А вы знаете, зачем он в православную церковь перейти хочет? — спросил я.

— Да, зна-а-ю... Девка тут есть одна... у Михайлы Медведева... показала ему дюже, ну и того... хребтится ему...

— По-моему, не следовало бы препятствовать ему. Ведь все равно опять не поладите, хотя и в тюрьме он посидит.

Старик посмотрел на меня молча и пристально, и во

взгляде его светилась уже печальная строгость. Он вздохнул, и этот вздох говорил: «И ты того же поля, молодой за молодого»...

— Непочетчик отцу-матери, вот что прискорбно, — проговорил старик сурово, не глядя на меня. — Не будет ему счастья на белом свете!.. Один он у меня остался сын, и я, стало быть, и его лишиться должен?

— Зачем же лишаться? Будете вместе жить.

— Вместе?! Это что же — из разных чашек-ложек есть? Не годится! Нет, милый мой Егорьевич, речь твоя — не туда она гнет. Я и сам голову ломал над этим — тоже ведь небось своо дитя жаль... Он давно уж проговаривает, что «пусти, мол»... Нет, не так... не подходит дело...

Он вздохнул и хлопнул себя по колену рукой.

— Правду тебе сказать, — заговорил он, понизив голос, — я бы и не препятствовал, да старуха у меня дюже строга на этот счет... Слышать не хочет!.. А я — я сам служил, я смешивался со всякими верами и на это гляжу слободно: везде люди и над ними один Бог, такой же, как и надо мной... И у нас есть семьи разных сектов, едят врозь и — ничего себе... живут!.. А вот моя старуха... не того...

— Можно, я думаю, уломать и старуху?

— Э!.. Уломать?..

Мой собеседник махнул рукой и ничего не сказал больше. Потом, после долгой паузы, привстал с места, поклонился и заговорил:

— Так сделай милость, напиши просьбицу-то... Пускай он поклоняется нам со старухой при стариках, прощенья попросит... Почтить надо...

Пришлось-таки удовлетворить его желание.

*5 октября*

Сегодня утром Никитич, подавая самовар, поразил меня целым рядом сенсационных новостей.

— Ну, яр-монка! — воскликнул он с несвойственным ему оживлением.

— А что? — спросил я.

— Перебесился народ!..

И видя, что я смотрю на него вопросительно, ожидая разъяснений, он начал неторопливо и с явным удовольствием:

— Первое дело: наш сосед Антоныч жену убил...

— До смерти?

— Хоть не до смерти, а половина головы без волос осталась... Второе: Климка, наш читатель (Никитич абонен-

тов библиотеки называет читателями), вчера удивлял тоже... потеха!.. Напился пьяней грязи и к попу пришел. «Желаю,— говорит,— перемазаться в вашу веру». Народу за ним ихняго,— по старой вере,— страсть!.. Шумят, играют, свистят, ребятишки котятами в него шибают... Просто — смех один! пья-ный... без шапки...

Никитич захрипел от смеха и покрутил головой.

— Теперь третья новость: Катерина бежала... Медведева.

— Как «бежала»? — воскликнул я в изумлении.

— Так. С купцом, говорят, скрылась, с тарханом с каким-то... Отец поскакал догонять.

— Не может быть!

— Чего «не может быть»? Я сам Михайлу видал: верхом поскакал давеча — чуть свет. «Куда?» — спрашиваю. Махнул рукой, ничего не сказал. Бежала! Ночь-то ее по всей станице искали: всю родню обошли и подруг — нигде не оказалось... А с вечера выдали ее — с купцом с каким-то стояла, с тарханом.

Я был изумлен этой новостью, которую Никитич так коварно приберег к концу. Мне трудно поверить и сейчас в возможность этого факта — чтобы Катя убежала с каким-то первым встречным, не желая выйти замуж за нелюбимого человека. Не такова она, я уверен. Но то, что она скрылась, не подлежит сомнению. Не более часу назад встретил я на улице Климку: мрачен, как туча. Спрашиваю: «Как дела?»

— Идут.

Ответ был холодный, не располагавший к продолжению разговора, но я все-таки спросил шутливо беззаботным тоном:

— Что же это вы невест-то плохо бережете?

Он хмыкнул, надвинул фуражку на глаза и процедил сквозь зубы:

— Одной шалавой меньше...

Потом, увидав полицейского Кирея, быстро повернулся и пошел ему навстречу. На ходу, обернувшись ко мне, он крикнул с злобным смехом:

— Не тужите, Алексей Егорыч, не пропадет! Пригоят по этапу!..

*6 октября*

Вчера вечером казаки, — Климка с товарищами, с участием полицейского Кирея, — изувечили какого-то торговца, заподозренного ими в том, что он укрывает у себя Катю. Разделали, кажется, «под орех». Мне случилось зайти сегод-

ня к атаману насчет отчисления обычной суммы для выписки учебников — и тут я был свидетелем следствия, которое производил по делу об этих увечиях станичный атаман.

— Я вас, с... сынов, всех под суд отдам! Это — блюстители порядка (так и этак).. а?! — кричал внушительным басом атаман, перед которым стоял один только полицейский Кирей, огромный, красный, смущенный, с вытаращенными глазами, высматривавший довольно смешно и жалко.

— Ваше благородие! — виновато хрипел Кирей. — Дозвольте вам объяснить — он у нас человека задавил... Вам со стороны люди подтвердят. Федор-писарь, Федор Иваныч, — он при этом деле был...

— Кто — он?

— Этот самый кошкодер... То есть кошатник...

— За это его и убивать? Да кто вам, с... сынам, дал такие права?! А? людей убивать?! а?.. ах, вы...

— Никак нет, вашбродь. Мы его не били... Но только он с нами когда грубо поступать стал и обругивать... то есть, он нас так обкладал неподобными словами, что страшно слушать было!.. Тут, действительно, в горячке Климка его вдарил... А я в этом кошатнике не виноват, вашбродь!..

— Я у вас найду виноватого! я найду! Все, с... сыны, в Сибирь пойдете... Чем он вам виноват? Чем?! у-у-у... так увечить человека? а?.. за что вы его изувечили? а?! за что?! я тебя спрашиваю, морда!! а?!!

Атаман, стиснув зубы, тряс своим внушительным кулаком под носом у Кирея. Кирей слегка, очень почтительно и как бы виновато, пожал плечами, не отводя рук от швов, и покорно склонил на бок голову.

— Вашбродь! дозволейте вам доложить: мы его не увечили. Я так и говорил ребятам: «Кулаками бейте, а ногами не смей... Чтобы расколу кости никакого не могло быть»... Предупредил я, вашбродь! Конечно, в горячке тут не усмотрели, вышла ошибка — два зуба ему вышибли... Климка, собственно, подлец... Ну, тут... он ведь как ругался-то, вашбродь! Никакой возможности терпеть не было...

В выпученных глазах и в склоненной на бок голове Кирея появилось выражение оскорбленного и покорного недоумения.

— Кабы не в ошибке дело, вашбродь! — продолжал он тоном извинения, сделавши краткую паузу. — Главное, Климка в сердцах здорово бил, — человек он при силе, мономент

просто, — ну он, действительно, и старался... «Отдай, — говорит, — девку!..»

— У-у, м-мерзавцы!.. ффа!!.

— Так точно, вашбродь! Он полагал: купец виноват, а купец в девке не виноват оказался: она в погребу сидела...

— Вот видите! (Атаман сначала обратился в мою сторону, как бы приглашая меня в свидетели, а потом энергически ткнул перстом в сторону Кирея). А вы... а-ах, вы...

— Так точно, вашбродь... В ошибке дело вышло — со-знаю, вашбродь... Через них, можно сказать, и я мог оказаться перед вашим благородием мерзавцем, а я за канфуз для себя всегда считал... Так точно, вашбродь... Я понимаю, к чему я обязан... И прочее... Вчера объявилась... Продиктованная девка! Он, вашбродь, свою линию гнул, Климка: в воскресенье, значит, запой будет... Говорят, Катку за него согласился отдать Михайла. «После такой страмоты, — говорит, — кто ее возьмет? Пускай идет за этого черта!» В церковную веру перемазывается Климка... Рад с... сын! Сейчас, при радости, с купцом ходил мириться... Вы, вашбродь, не сумлевайтесь, мы покончим дело без суда. Нам самим, вашбродь, канфуз на себя наложить не желательно. Мы сроду ни с кем не судились и не желаем даже... Вот теперьча Климка этого купца спиртом растер и внутрь ему спирту дал. Купец говорит: «Воздыхание в грудях стало будто полегче»... Только вот в деньгах не сойдемся: он просит пять рублей за два зуба и ведро водки — это уж вон в какую цифру хлыщет! А мы с своей стороны согласны деньгами два целковых и полведра водки...

Устал ли атаман выражать свой гнев или дальнейшие сообщения доблестного представителя станичной полиции действовали на него умиротворяющим образом, но он, сохраняя суровый, негодующий вид, внимал все-таки довольно спокойно своему сотруднику по охранению порядка. И Кирей, точно чувствуя под ногами более твердую почву, продолжал свое повествование уже с чисто эпическим спокойствием, которым, пожалуй, можно было бы даже полюбоваться, если бы не эта... святая простота...

Возвращаясь от атамана, я встретил Климку. На лице — счастливое, глупое и торжественное выражение; в руках — узелок, по-видимому, с пряниками и орехами. Увидев меня, он широко улыбнулся и раскланялся. Что за сила, в самом деле, и какая красота в этом могучем теле, в этом добродушном, смуглом лице с пробивающейся бородкой!

— Как дела? — спросил я у него.

— Ничего, слава богу! В вашу веру перехожу...

— Что же, милости просим. Почему так?

- Да собираюсь жениться...
- Дело не плохое. В добрый час!
- Нижайще благодарим!
- А не секрет — на ком?

Улыбка его расплылась во всю ширину лица, и, не глядя на меня, он ответил:

— Гляди, небось слышали? У Медведевых беру... Катерину...

— Вот как! А я слышал, что ее по этапу должны были прислать?..

Он придвинулся ко мне так близко, что я мог слышать от него запах водки, и, понижая голос почти до шепота, сказал:

— Да ведь она дома скрывалась! С снохой своей оне все это оборудовали. Два дня в погребу высидела! — воскликнул он громко, с искренним торжеством, и потом опять зашептал: — Туда ей сноха и есть носила... Жених приехал постелю братъ — ее нет... Скандал!..

Климка комически зажмурил глаза, поднял брови, вздернул плечами и как-то особенно изогнулся. Видно было, что он находится в чрезвычайно взвинченном состоянии.

— Начал он Михайлу страмотить. «В суд,— говорит,— подам за бесчестье! ста рублями со мной не разделаешься за такое дело!».. И Михайла осерчал. «Ты,— говорит,— не в правах меня при всем народе конфузить... Долой с моего двора!» Прогнал!..

Он произнес последнее слово тонким, ликующим голосом и визгливо засмеялся, качаясь всем корпусом.

— Прогнал...— повторил он с удовольствием.— Ну, в обеды вчера прогнал, а она сейчас же из погреба вылезла, Катерина... Хват-девка? а?.. Молодчина!.. Отец за бечеву, она — утекать... Ну, тут мать вступилась, не дали ему бить... Вечером приходит ко мне брат ее, Сашка,— он мне друг, близжающий... «Идите,— говорит,— к нам...» Я сейчас отцу в копыта: «Не лиши, дрожайший родитель»... и прочее... Ну, старик поломался-поломался и согласился. Мать долго-таки кричала... два раза костью даже огрела, ну, тоже сдавалась... И вот, значит, сегодня «стклянку» распиваем...

Он глядел на меня счастливыми, смеющимися глазами, и мне даже завидно стало видеть его добродушное, немножко пьяное, сияющее лицо.

— А ты зачем это людей бьешь? — спросил я.

— В ошибке дело вышло... Ночным бытом не разобрали. Да мы ничего, помиримся!

Тот же эпический спокойный тон, что и у Кирея.



Был инспектор. Подготовкой новичков остался доволен. Проверял библиотеку. Отыскал книги, не допущенные каталогом министерства, и придрался. Я показал ему им же данное разрешение, и он несколько даже изумился.

— Гм... это по недосмотру,— сказал он, строго посмотревши сначала на меня, а потом на книги.

После минутного размышления он все-таки прибавил:

— Вы бы их куда-нибудь в уголок, что ль... подальше. А то как бы батя не донес. И вообще, молодой человек, я вам советую: поосторожней с этим...

При ревизиях библиотеки мне приходится переживать и тревожные, и веселые минуты. Кажется, всякий ревизирующий уверен, что непременно он разыщет крамолу среди этих благонамеренных, серьезных и молчаливых рядов книг, тесно сжавших друг друга, а в иных местах братски похилившихся друг на дружку...

В прошлом году проверял библиотеку наш полицейский заседатель, Касьян Иванович Пташкин, титулярный советник. Благодушный человек. Сначала взялся за дело ретиво, а потом видит — книг много (у нас в библиотеке уже более тысячи томов), а проверка туго подвигается вперед — стал действовать наскоком. Выхватил брошюрку в красной обложке: «Тмин и его разведение».

— Это что за «тмин» такой? — подозрительно и строго спрашивает он у меня.

— Растение такое.

— Гм... рас-те-ние?..

Он прищурил левый глаз, поднял правую бровь и искося посмотрел на книжечку, которая выглядела так нарядно, весело и даже легкомысленно.

— Растение... «Тмин... и его... разведение»... Не слышал. Шестой десяток существую на белом свете — не слышал.

— Может быть, водку тминную пили когда-нибудь? — сказал я, пытаясь вывести из подозрения злополучную брошюрку.

— Нет, не пил такой,— сухо возразил Касьян Иванович.— Разные пивал водки, а такой даже не слышал, Бог с ней!.. А вот скажите: в каталоге значится это «разведение»-то?

— Ей-богу, не знаю. Не справлялся. Книжка по сельскому хозяйству...

— Тэ-эк-с! Значит, нет? Уж я знаю... Так вы, голубчик, вот что: разведение это бросьте! Это нам не по климату... да-с! куда-нибудь подальше... А то разведения-то эти, бывают,

и нехорошо кончаются. И вам влетит, да и мне за недосмотр тоже... да-с! Вы-то холостой человек, а у меня пять дочерей, голубчик мой. Так-то-с...

Инспектор наш, бывший предводитель духовной семинарии, вообще тяжел, груб, как кутейник, деспотичен, но... в конце концов, все-таки прямой и нелицеприятный человек. Дело свое знает недурно. Этого не отрицают даже люди, к нему весьма не расположенные, — как, например, наш батюшка, который был его учеником по семинарии. С ним инспектор обошелся на этот раз довольно сурово.

— У вас дети язычники, — сказал он. — Молиться не умеют...

Батюшка ничего на это не возразил. Он не мог, разумеется, оправдываться тем, что был занят всю осень хозяйственной ревизией своего прихода, что казаки иронически называют «молотьбой». На уроки Закона Божия он вздумал было присылать вместо себя регента церковного хора, совершенно невежественного человека, но я запротестовал, и поэтому большая часть уроков так и осталась незамещенной...

Я просил инспектора дать мне помощника и сослался на нездоровье. Инспектор посмотрел на меня внимательно и сказал с соболезнованием в голосе:

— Постараюсь непременно.

*11 ноября*

Сегодня была Катина свадьба. Я пошел было в церковь посмотреть, но за толпой ничего не было видно, и я вернулся. Скучно...

Вообще, жизнь стала еще более тусклая, серая, безрадостная! Хорошее было время, когда я работал и когда хотелось работать, без усталости, с радостью и влечением... Теперь не могу: надорвался ли, или уж судьба моя такая... Как я завидую теперь всему здоровому, веселому, жизнерадостному — всему тому, что для меня уже стало почти недоступно... Завидую и своему новому помощнику, Арсению, певцу, анекдотисту, кумиру местных барышень, вносящему всюду заразительное веселье, смех, оживление. Он и выпить не дурак, и всем доволен, и не знает никаких душевных терзаний. К обязанностям своим он относится исправно, но и без увлечения; здоровья, во всяком случае, он не теряет. Большинство из нас, учителей, таковы, и это хорошо: они делают дело ровно, без порывов, и приходится как раз по плечу нашей будничной жизни.

Пошли им Бог успеха и счастья! Светом слабым и мерцаю-

щим светят они, но в сумерках убогой и тусклой народной жизни и этот свет дорог...

*16 декабря*

За эти дни я почти забыл о своем дневнике. Был болен; теперь мне лучше.

Вчера встретил Катю. Как она похорошела, и как мы обрадовались друг другу... Она говорит, что у меня лицо стало, «как у угодника на иконе», — такой я худой, и такие грустные у меня глаза... Я смотрел на ее румяное с морозу личико, на мелкие блестящие инея на воротнике ее шубки, и мне было так сладко и жутко, и так хотелось ее обнять. Я не расспрашивал ее, как ей живется... Она обещала зайти как-нибудь и поболтать, когда Арсения не будет дома.

Мы прошлись немного. Длинные синеватые тени ложились от домов — солнце садилось. Голубой и розовый дымок поднимался из труб. Кресты церкви ярко горели. Снег хрустел под ногами. Светло и прозрачно было кругом. Какая кроткая, невыразимая красота на всем... Мы подошли к училищу. Катя оглянулась кругом, — никого нет, — схватила меня руками за голову и поцеловала крепко и горячо. У меня закружилась голова, и я почувствовал, что воздуха мало... А она уже побежала от меня легко и быстро, как бегала девушкой...

Как хорошо! Как красива жизнь... Как хочется хоть капельку личного счастья...

*14 января*

Плохо начался для меня Новый год... На святках ездил к старикам, в Есаулово, и, должно быть, простыл дорогой. Капляю. Голова кружится и просто разбилась от кашля. Глаза болят — ни читать, ни писать... Плохо...

*16 февраля*

Кажется, начало конца... И хотя я ясно сознаю это по временам, — как сейчас вот, например, — но почему-то это мало волнует меня... Ни страшно, ни жалко, а так... как-то безразлично.

По временам даже в эти душные, мучительно-жаркие и сиротливо-безмолвные ночи мне думалось: как хорошо — «умереть-уснуть»... Покой, глубокий и вечный, холодный покой... Передо мной вставало наше кладбище: серые кресты; холмики, покрытые сизым полыньком и скудной, спаленной солнцем травой... Тихо и безмолвно кругом... Смиряется и робеет сердце, окованное этой властной, угнетающей тиши-

ной. Молчит в стороне станица с своими гумнами, молчит и степь с длинными холмами, серыми и бурыми, изборожденными оврагами. Гаснет заря. Ночь спускается надо мной, тихая и безмолвно холодная... Как покойно и страшно... Где-то далеко или высоко раздается плачущий и причитающий женский голос. Какая невыразимая тоска стонет в нем, как надрывает он сердце... Как хочется туда, где звенит этот милый, родной и близкий мне голос. Как алый луч зари, он осветил темный фон жизни, песнь которой сурова, безрадостна, бесконечна и страшна, как пустыня, неумолима, как смерть; она звучит однообразными басами, унылыми, с монотонными переливами, с старческой дрожью и дребезжанием... Изредка на ней сверкнут искорками, прольются живым весенним дождем звонкие, жизнерадостные песни девчат, смех детей, яркое, здоровое, счастливое веселье молодости... Сверкнут, осветят ее на миг и утонут в темной, однообразной, сурово-печальной песне жизненных забот и горя...

И было так отрадно, когда молодая жизнь врывается ко мне шумными, беспорядочными волнами. Звонкие голоса, крик, смех, беготня доносились в смягченных звуках до меня, когда Арсений распускал ребят на перемену. Я слышал, как Никитич кричал:

— Воду не разливать, землееды! Вот скажу Арсению Васильичу, чтобы он вам все уши пооболтал!..

И мне так хотелось туда, к ребятам, посмотреть их славные лица, их стриженные и включенные головенки, погладить их, поговорить... И так жизнь, отзвуки которой долетали до меня и от которой я был оторван болезнью, казалась мне необычайно привлекательной и интересной...

*28 февраля*

Вчера была Катя. Она все такая же, какую знал я ее девочкой, — веселая щебетуха... Что-то много рассказывала она мне... И в первый раз она говорила со мной на «ты». Она теребила меня, смеялась, пела, целовала и кусала мои руки...

— Ты вставай скорей... поправляйся, — говорила она, — а то я сердчать буду!.. Придет весна, загудут опять комарики, сады зацветут... И будем мы с тобой сидеть под вишней и на звездочки глядеть будем... Я буду каждый вечер приходить к тебе, лишь поправляйся, дорогой мой...

— А муж-то?

— О-о... Я его, как медведя, на веревке вожу! Он такой смиренный... Да он и в лагери уйдет, на майское... на два месяца: он артиллерист... Если я захочу, все по-моему будет...

Только ты лишь будь такой же, какой был вперед... Ты... свет мой тихий, ясный мой соколик...

Я смотрел на нее, и... в душе моей занималась музыка, чудная, нежная, сладостно-грустная, как прощальный поцелуй любимой женщины. Она росла, ширилась, трепетала в сердце, поднималась к горлу и излилась, наконец, теплыми, тихими слезами... Катя притихла, потом расплакалась и ушла... О чем же она заплакала? И вообще — какая она странная. И какая странная была наша любовь...

Сегодня я попросил Арсения привести ко мне третье отделение. Я хотел поговорить с ними, чтобы постарались хорошенько подготовиться к экзамену и не ударили бы в грязь лицом. Мысленно я заготовил им целую речь. Но... не сказал почти ничего.

Они столпились в дверях — мазаные, заветренные, милые мои мальчуганы. Глазенки их — черные, серые, голубые, ясные такие, смотрели на меня с выражением радости и жалости, некоторого испуга и изумления. А я был в валенках и теплой поддевке, такой худой, желтый и смешной, каким они никогда меня не видели... Впереди стоял Карташов, хорошенький, растрепанный и оживленный; должно быть, перед этим успел уже с кем-нибудь повозиться.

— Ну, как дела, ребяташи? — спросил я.

— Ничего, слава богу! — послышался дружный ответ. И разом смолкли, опять глядят на меня широко раскрытыми глазами.

«Что же... еще бы им сказать?» — думал я, глядя в прелестные глазки Карташова и чувствуя тихую, умиленную радость, поднимающуюся к горлу и глазам. Мне хотелось и засмеяться, и заплакать...

— Хорошо учитесь? — спросил я.

— Хорошо... Ничего... Не дуже... — послышались смешанные голоса.

— Надо постараться, экзамен не за горами... Постараться надо. Хорошенько...

Молчат.

— Может быть, мне не придется самому быть на экзамене: лечиться уеду, — так вот Арсений Васильевич вас повезет...

И вдруг сердце мое сжалось от невыразимой боли и жалости к самому себе и к ним... И я сказал совсем неожиданно:

— Может быть, не придется нам больше и увидеться... Так вот, ребята... в Священном писании сказано: «Будьте мудры, как змии, и кротки, как голуби»... Так и вы...

Слезы подступили у меня к горлу, и, как я ни старался их удержать, они горячими ручьями потекли по щекам, и я не мог больше говорить... Прелестные глаза Карташова, с наверхнувшимися слезами, всколыхнулись и на мгновение мелькнули передо мной, ушывая в окно; закачался Тарас Арбузов; кто-то забунел в голос за дверью и затем над самым моим ухом... Больше ничего я не видел и уж не помню, как их увел Арсений.

Вот я все мечтал о личном счастье, роптал, что жизнь безрадостна, однообразна и неинтересна. Нет! Лучше и интереснее жизни ничего нет на свете, какая бы она ни была — скорбная ли или веселая, трудная ли или привольная...

И как хочется мне теперь жить, быть здоровым, работать, учить и самому учиться...

А на дворе уже весна. Сегодня долго светило ко мне в окно солнце. Лучи его играли на полу, на стенах, на бумаге, разбросанной на столе, и на разноцветных флаконах с лекарствами... И как стало светло и бодро на душе! Опять она зазвучала радостным гимном свету, теплу, приволью и жизни... Сейчас в окно вижу голубое небо и белые круглые облачка, похожие на лебедей... Весна, весна... За спиной у меня точно вырастают крылья... Лишь взмахнуть ими, и полетишь в это голубое, бездонное, ослепительно-яркое пространство, в котором так чисто и привольно... Чувствую, как трепетно бьется мое сердце...

---

На этом обрывается дневник моего предшественника.



## К ИСТОЧНИКУ ИСЦЕЛЕНИЙ

(Рассказ)

I

В вагоне было тесно. Особенный запах — смешанный, густой запах соседнего отхожего места, едкой махорки, грязных и вспотевших людей, скверной дорожной еды — обдал новых пассажиров той же неприязненностью, с какой встретили их пассажиры, уже сидевшие здесь. Они укрепляли свои позиции узлами и сумками, ставили на незанятых местах какой-нибудь чайник, клали хлеб, селедку в бумаге, а сами становились в проходе у окон на наблюдательных пунктах.

Новых пассажиров было двое: высокий бородатый человек в сером помятом, мало ношенном пиджаке, с Георгием в петлице, и мальчик лет четырнадцать — на костылях.

— Тут занято, — раздавался сердитый голос всякий раз, как высокий человек останавливался с своими сумками и узлом возле какой-нибудь лавки.

— Занято? — робко переспрашивал новый пассажир.

— Да. Сейчас человек вышел, придет...

И они шли дальше, останавливаясь в недоумении и нерешительности перед лавками, на которых, растянувшись, спали или притворялись спящими счастливые обладатели наиболее удобных мест...

Большой человек, деликатный и робкий, несмотря на свое внушительное, почти атлетическое сложение, стал уже падать духом, как в вагон поспешно и шумно влезли новые пассажиры с огромными узлами и мешками, с котомками, косями, забинтованными в тряпицы, и с новым — своим собственным — «русским духом». Они тотчас затеяли ссору из-за мест с теми самыми пассажирами, которые за минуту перед этим представлялись спавшими крепчайшим сном, а теперь вдруг обнаружили неожиданную и самую острую бдительность. Тогда и большой человек приободрился и решительно направился к лавке, на которой лежала на разостланном царусиновом тюфячке полная, красивая женщина, а против нее, на другой лавке, помещался небольшого роста

сухенький священник, рядом с толстой старухой купеческого вида.

— Здесь сидят, — внушительно сказал батюшка, делая величественно указующий жест правой рукой.

— Что ж делать, батюшка, — сказал мягким, извиняющимся голосом большой пассажир, — и нам надо сесть. У меня вон парнишка... хромой.

Батюшка подумал несколько мгновений, потом встал с своего места и пересел на противоположную лавку, на самый конец ее.

— Ну, садитесь, — сказал он примирительно, повторяя свой прежний величественный жест. — Подбери-ка ноги-то... я тут, с краю...

Красивая попадья слегка подогнула ноги, а новый пассажир начал размещать свои сумки и узел рядом с толстой старухой.

— Ты, Егор, либо того... на полу лег бы, что ли?.. Постелю тебе дипломат... а?.. — сказал он мальчику.

— Зачем на пол? — живо возразил батюшка. — А вон туда, на полку. Самое место для него! Ты сумки-то под лавку, а его туда... вот-вот... так! подсаживай... сажай!.. Прекрасно, прекра-с-но... ну, вот!..

Через минуту малец с своими костыликами был на полке и не без торжества оглядывал оттуда слабо освещенную половину вагона с дрожащими огнями и большими шевелящимися тенями, а в открытое окно видел звезды над самым горизонтом. До него доносился ровным шелестом вялый говор вагона, суетливый топот людских ног на станции и торопливое громыхание тачек.

— Далече едете? — спрашивал батюшка его отца.

— Пока до Поворина. А там пересадка...

— Это и мы тоже. А там куда?

— Там на Балашов.

— Попутчики... А там?

— А там — на Пензу.

— Да вы... не к о. Серафиму едете? — спросил батюшка, пытливо всматриваясь в своего собеседника.

— Так точно. Туда.

— А-а, так это же мы на всю дорогу попутчики!

— Стало быть, и вы?..

И оба собеседника, как бы обрадовавшись этому открытию, закивали друг другу головами...

— Вы же сами отколь? — спросил батюшка.

— Да я вот тут, верстах в сорока, живу в слободе.

— Так. А занимаетесь чем?



— Я — столяр. Также и землей занимаемся.

— А сами из казаков или из русских?

— Из русских.

— А крестик где получили?

— За Дунаем.

— Это хорошо. Так к о. Серафиму поклониться едете?

Благое дело, благое дело... Мать, ты мне ногами рясу не по-пачкай. Сняла бы туфли-то пока... Да. Как раз к открытию приедем. Государь будет. Войска разные... Чудесное торжество... А это малец-то твой?

— Мой.

Слышно было, как большой человек вздохнул.

— Один остался... последыш. Всех похоронил... Вот везу, не будет ли милость Господня, — сказал он не совсем уверенно. — Обезножил. На одну ногу никак не наступает.

— Ммм... так, так... А с чего? От природы или повредил?

— Да доктора признали, будучи зашиб. В бедре, говорят, у него кость гниет. Выбил как-нибудь, дескать... А я так считаю — от простуды. Птичек ловил с ребятами да простудился. Полежал, верно, на снежку, его и того... Две зимы прохворал. Желваки выступали у него по всему телу — такие иной раз — по кулаку!.. Теперь шишки-то пропали, а на ногу не наступает...

— Так, так, — сказал батюшка и, подумав, прибавил: — Баловство-то иной раз... оно вот и не в пользу... Так-то, мать! Ты вот своих не уймаешь, а гляди, кабы... — обратился он к попадье.

Попадья ничего не сказала. Егорушка сверху посмотрел на ее полное, белое, красивое лицо. Глаза ее, ласково улыбаясь, встретились с его глазами, и он решил, что она понимает, как хорошо ловить синичек в ясный день с легким морозцем, когда тени от деревьев сини, как небо, и по сухому и мягкому снегу прыгают бесчисленные бриллиантовые искорки. Она понимает... А батюшка этого никогда не постигнет.

Кто-то на станции ударил три раза в колокол. Кто-то сейчас же зажурчал в свистульку. Стальной «жеребец» с тремя глазами коротко заржал. Опять прожурчала свистулька, и затем лязгнули какие-то железные сковороды, вагон вздрогнул, недовольно, как казалось Егорушке, по-стариковски, скрипнул, но сейчас же спохватился и, скрывая недовольство, засмеялся дребезжащим смехом: прр... фпр... прр... фпр... Маленькая станция с ее огоньками тихо поплыла назад в теплый сумрак летней ночи. Отец Егорушки, снявши картуз, стал часто креститься, а за компанию с ним осенил себя крестом два раза и батюшка — неторопливо

и истово. Между тем в это время мимо вагона быстро пробежала водокачка, а за нею какие-то маленькие домики с светящимися окошками. Потом за окнами стало темно, и лишь мигали звезды над краем земли. А вагон теперь уже сам бежал с дребезжающим стуком и приговаривал: ох-хо-хо... ох-хо-хо... так-так... так-так...

Огоньки дрожали в трех фонариках. Дрожали и ползали по стенам уродливые тени. Говор в вагоне стал громче. Голоса то вспыхивали разом, одновременно, толклись и перебивали друг друга, то разбивались порознь и текли ровно и неторопливо под однообразный стук колес. Лежа на полке, Егору трудно было разбирать, о чем говорят. Но если подвинуться к краю и свесить голову, то можно было слышать батюшку — на одной стороне — и старика в жилетке и розовой рубаше, сидевшего по другую сторону на лавке.

— Есть два благодатных средства от пьянства, — говорил батюшка, обращаясь к толстой старой купчихе с красным лицом (он, очевидно, продолжал раньше начатый разговор), — два средства... Первое: пить каждый день святую воду и служить молебны круглый год. А еще есть благодатное средство: служить панихида по царице Дарии...

— Дарье? — почтительно переспросил отец Егора, желая, должно быть, выказать свое внимание к словам батюшки.

— Да. По царице Дарии, — с особенной отчетливостью повторил батюшка. — Из истории нам известны две царицы Дарии. Одна была четвертая жена Ивана Грозного, другая грузинская царица, умершая в 1805, кажется, году. Не знаю, по какой из них, но служитя панихида. Многие получают исцеление... Совсем даже бросают пить.

Из-за спины отца, с другой лавки, доносился до Егора ровный и неспешный стариковский голос. Должно быть, он рассказывал что-нибудь интересное, потому что около него было больше слушателей, чем около батюшки: они стояли даже в проходе и выглядывали через перегородку из другого купе. Их лица трудно было рассмотреть, но в позах, наклонившихся в одну сторону, в согнутых, черных шеях, в неподвижных затылках, в потных лысых или мохнатых головах — сквозило пристальное внимание.

— У вас тут мало слышать про нарезку, не говорят... А у нас все ждали: вот-вот к Петрову дню выйдет... Ан вот заглохло что-то...

— Мне у Троицы монахи сказывали: пойдешь в Рассею, дед, говори, чтобы ожидали. Верно!.. Так и назначали: к Петрову дню, говорят, выйдет... Ан вот нет!

— А как Турция? Не довелось вам слышать? — снова

послышался голос с полу, когда стих одновременный говор.

— Турция? — повторил старик и на мгновение задумался, как бы наводя справку по этому предмету в обширном архиве своей памяти.— Да ведь ее на три части хотели делить, а наш царь не дал своего согласия. «Я,— говорит,— один ее заберу, а всех турок по своему народу разведу, чтобы и муж жену не видал... чтобы никакого совету промежду них не могло быть»...

— А агличанка? — возразил скептический голос из прохода.

— Агличанка? — живо и весело возразил старик.— Да ведь ее самой-то уж нет!

— А гляди, кто-нибудь да на ее месте сидит... аль нет?

— Это зять-то, што ль, ее? — с презрением воскликнул дед.— Он чего сделает? Ведь он у нас в Петербурхе живет...

Он сделал короткую паузу и продолжал опять вдохновенно:

— Д-да, кабы Турцию-то нам забрать, так нарезка-то уж без всяких тех... без проволоочки была бы... Там земли — пространство!.. А то у нас расчисление делали, так даже народу умножилось... си-ла народу!.. Тогда вот ревизию производили, годов тридцать назад: сколько у нашего царя есть народу и сколько земли на каждого? И насчитали двести миллионов двести тыщ...

— Ф-фу ты, Боже мой! — вздохнул кто-то с изумлением и не без гордости.

— Да. А сичас вот ревизию производили, в 97-м, насчитали ишшо шестьдесят миллионов шестьдесят тыщ... «Откеда же они взялись?» — царь спрашивает. Господа сенаторы и енаралы говорят: «А разродились». — «А что земля за это время разродилась аль нет?» — «Земля все та же да одна...» — «То-то и есть,— говорит.— Они к этим пришли, эти шестьдесят миллионов, да всю землю на себе в лаптях унесли... А рассчитайте,— говорит,— сколько земли на душу приходится?» Рассчитали, сколько земли на душу приходится: восемь десятин на великого князя, царского сына-наследника, восемь десятин на енарала, восемь десятин на попа... всем равно — и крестьянину!.. И ежели родит енаральская жена сына — не пиши его енаральским сыном, а пиши в казенные крестьяне! И ежели родит попадья сына — не пиши его в семинаристы, а пиши в казенные крестьяне! Тогда всем земли хватит!.. А господа говорят: «У нас чины-ордена, хресты святые Анны — не лишай нас чинов-орденов, оставь нам их!» — «Как же,— говорит,— я вам оставляю их? Иде же я вам земли возьму? Хотите, чтобы я оставил

чины-ордена, выселяйтесь в Зеленый Клин, там вам и земля...» — «Да мы чего же там будем делать без черни?» — «Стройте фабрики и заводы...» — «Фабрики и заводы без черни тоже не пойдут...» Не хотят выселяться...

А поезд громко и весело лязгал, уносясь в темноту безлунной ночи, которая частыми звездами заглядывала в окна вагона и лила в них струю свежей степной прохлады, с тонким запахом поспевших хлебов и свежей соломы.

Егор вытянул голову книзу и глядел на это неизвестное, беспредельное пространство, молчаливое и сосредоточенно-серьезное. Искры сыпались из паровоза и разбегались в разные стороны. Снизу выскакивал яркий свет, метался по сторонам, лизал придорожную траву, прыгал, дрожал и отрывался, пропадая в молчаливой степи. Он кидался крылатым змеем на встречные кусты, телеграфные столбы, будки, — и они, попавши в него, испуганно прыгали, крутились, как обожженные, и плясали какой-то смешной танец. Затем быстро исчезали в темноте.

## II

В два часа ночи приехали в Поворино.

В третьем классе вокзала были забиты двери: шел ремонт. В первом — все диваны и стулья были заняты спящими. Егор с отцом остались на платформе. Они с удобством поместились на тачке. Поглядывая в небо, начинавшее бледнеть, Егор слышал голос батюшки, бунтовавшего в первом классе:

— Что ж такое, что дамское отделение? Во-первых, я — священник, а во-вторых, кроме моей жены, там никого нет.

Воздух был почти теплый. Легкая примесь вокзальной вони плавала в нем, и носился тихий говор каких-то переселенцев, возвращавшихся из Сибири, да густое храпение кубанских казаков-богомольцев. Прошел раза два по платформе величественный жандарм, перегнал кого-то с одного места на другое — для порядка — и ушел, громко звеня шпорами. Потом пришел поезд с пустыми красными вагонами, немного постоял и ушел, гремя, стуча, лязгая, словно ему нравилось мешать спать лежавшим на платформе людям.

Егор так и не заснул. И отец не спал: он сидел на тачке и дремал. Занималась заря. Вышел сторож в синей, засаленной блузе и в валенках и зазвонил в небольшой колокол, висевший у дверей. Хохол, спавший около дверей, испуганно вскочил на ноги.

— Кто-то подшутил, — сказал он сонным голосом, с недоумением оглядываясь кругом.

— А что? — спросил отец Егора.

— Да над самым ухом звону дал...

Пришел еще поезд — товаро-пассажирский. Отец Егора засуетился было, хотел садиться, но предварительно обратился к жандарму. Жандарм сначала отвернулся и зевнул, но потом, оглянувшись на вопрошавшего, заметил знак отличия на его груди и стал любезнее.

— Вам по какому классу? — спросил он.

— По третьему.

— Это товаро-пассажирский. Видите — все четвертого класса вагоны. А вы садитесь на почтовый.

— А не знаете, когда почтовый будет?

— Никогда так не спрашивайте: «не знаете»... Конечно, знаю. В девять часов придет.

И жандарм величественно ушел с платформы.

Пришлось дожидаться почтового поезда. Возшло солнце. Зашевелился на платформе и в вокзале народ, загремели чайниками, посудой. Вышел на платформу батюшка с книгой, и около него собралась толпа. Он сидел на лавочке без шляпы, на самом прищепе, и что-то читал вслух. Старый кубанец в черкеске, в грубых черевичках и толстых белых чулках стоял без шапки, ближе всех, высокий, тонкий и не совсем складный. На его рябом болезненно-бледном лице с мелкими чертами и с редкой бородой выражалось благоговение непонимающего, но верующего человека. Позади его стоял небольшой и неуклюжий подросток с бельмом на глазу и тупо дремал. Хохлы-переселенцы глядели прямо в рот чтецу. Умиленно подперши щеки руками, стояли женщины и сокрушенно вздыхали... Каялись ли они в каких грехах или вспоминали что-нибудь грустное?.. Станционные рабочие в синих блузах подходили к толпе, останавливались на минутку и, посмотревши с любопытством на слушателей и чтеца, уходили прочь. А батюшка своим звонким, немного сиплым голосом читал с увлечением одну назидательную историю за другой. Они были все очень похожи одна на другую. Егор подошел и прослушал, как крестьяне одной деревни вышли с крестным ходом против «червя» и как после этого налетели грачи и поклевали его.

Приходила два раза матушка и звала о. Михаила пить чай. Он отвечал: «Сейчас, мать», — и продолжал читать. Во второй раз матушка долго-долго стояла, ожидая о. Михаила и прислушиваясь к его уже уставшему, иногда спотыкавшемуся голосу. Потом, не дождавшись, пошла, несколько раздосадованная, и сказала:

— Это уж крайности...

Отец Егора тоже постоял, послушал и вздохнул.

— Пойдем, чадушка, чай пить, — сказал он голосом со-знающего свою греховность человека.

Они отошли и сели в нескольких шагах. Был слышен лишь голос о. Михаила, но слова доходили неразборчиво. По спинам людей, стоявших в толпе, припекаемой солнцем, видно было желание уловить и понять смысл читаемого, и какие-то грустные и неясные мысли бродили, видимо, в этих обнаженных и покрытых головах и объединяли толпу.

— О-о-о, Господи Иисусе Христе... — вздохнул кто-то громко и тяжело позади Егора, за тачкой.

Он оглянулся. Слепой казак с окладистой бородой, красавец, в папахе и башлыке, сидел в короткой тени, падавшей от дверей залы первого класса. Неподвижный, безмолвный, могуче сложенный, стройно перехваченный поясом с светлыми металлическими бляхами, он смотрел перед собой вниз своими темными очами, и какая-то тяжелая, неотвязная, глубокая дума застыла на его красивом, безнадежно-грустном лице. Подросток-кубанец, уставши слушать неутомимого о. Михаила, подошел к нему и сел рядом.

— Ван, ты? — спросил слепой казак.

— Я.

— Де був?

— А на базаре.

— Хорош базар?

— Ни. Базару всего один воз, а станица — шесть чи семь хат... Священника слышал? — прибавил Ван помолчав. — Читает... Все, говорит, помрем, грешные.

— Помрем — заховают, — сказал равнодушно слепой казак. — Как Бог... С Богом драться, что ль, будешь? С Богом драться не будешь... Как говорится — знаешь? — вынче жив, а завтра что Бог даст...

В 9 часов 45 минут поехали дальше и часа через три снова пересаживались — в Балашове. Было жарко. Богомольцы метались по платформе, ища кипятку, а их гоняли из третьего класса в четвертый, а где был четвертый — никто не знал. Поезд стоял тут два часа, и в вагонах была невероятная теснота. О. Михаил, около которого держались Егор с отцом, бунтовал, грозил жалобной книгой, усовещевал и добился все-таки того, что ему для матушки очистили одну длинную лавку, а на другой занял место он сам и Егор с отцом. Потом пришел и сел с самого края какой-то небольшой, грязный старичок, вроде юродивого, босой, в подряснике

и подштанниках, с длинными волосами, с добрым испуганным лицом.

Но вошел кондуктор и весело крикнул:

— Ну, отче, под эту лавку!..

И старичок в подряснике вместе с своей котомкой беспрекословно пополз под ту лавку, на которой сидел Егор.

— А вы — в отхожее! — сказал кондуктор в соседнем купе, и несколько человек пошли по его указанию.

И хоть ехать тесно было, но интересно. О. Михаил не переставал рассуждать, поучать, повествовать. Егор ходил за ним на своих костыликах всюду. Теперь он симпатизировал ему даже больше, чем матушке, хотя последняя и давала ему какие-то вкусные белые, сдобные сухарики и поила чаем. Но Егору всегда было досадно, когда матушка останавливала ораторский пыл о. Михаила, якобы из опасения, что он может прозевать поезд, — а о. Михаил почти на всех больших станциях выступал с своей назидательной книжечкой «Друг народа» и собирал около себя толпу. Иногда даже жандармы, — хотя очень деликатно, — вмешивались и убедительно просили чтеца и его слушателей не мешать движению на платформе.

И в вагоне неугомонный о. Михаил не мог сидеть молча. Он не в силах был удержать своего проповеднического пыла и всегда находил слушателей, которых можно было наставить и просветить.

— Священное Писание, — говорил он поучительным тоном, — должно читать совсем иначе, чем обыкновенно читают, и каждый раз будешь узнавать все новое. Да. Я про себя скажу. Учился в гимназии, — наукам светским, — и не плохо учился... Даже стихи мог сочинять... Но при этом имел пристрастие к Св. Писанию и пел каждый день по кафизме, и читал по несколько глав из Евангелия... И удалялся в уединенные места — пил из родничка холодную воду, пел... тогда у меня сформировался недурной баритон. И стало посещать меня во времена умиленное настроение... Как бы вам сказать? Восторг перед Богом, ясность такая... радость о всех ранах, болезнях, о благах и красоте мироздания Господня... Сердце, бывало, так и ширится, так и жаждет возлюбить всех и вся... каждое живое существо... каждую козявочку и былинку... И падал я без чувств, и било меня всего в конвульсиях... Но это было блаженное состояние... И слышался мне как бы голос, — откуда, как, — не знаю... Это был необычайный голос... чудный... без звуков, а проникал все существо. Что говорил, как, какими словами, — этого пере-

дать я никогда бы не мог... Но одно я понимал: звал он меня ко Господу — служить ему единому... Обращался я к священникам за советом, двух прозорливцев спрашивал: один — слепец, а другой — болящий. Посоветовали мне они в духовные учиться. Прозорливец-болящий сказал: «Ты будешь пострижен на Афоне в монахи. Но все-таки ты женись и иди в священники...»

Егор вдруг почувствовал, что между его свесившихся ног вылезает что-то из-под лавки. Он глянул. Зелено-седая голова старика в подряснике шевелилась, как какое-то невиданное чудище, а за нею с усилием выползало и все старое тело. Было и страшно, и смешно смотреть.

— Старым костям-то трошки и больно, — сказал старик, усаживаясь на полу между лавок, — все позатекло...

— Повременил бы, дедушка. Контроль еще не прошел, — сказал отец Егора.

— Ничего, милый... Я тогда как-нибудь... успею авось... Мне даже желательно послушать... Любопытен я на это... Вот вы, батюшка, говорите: на Афоне... Я там был. И на старом, и на новом... На старом — вот где истинное благочестие!..

— Да, дедушка, это верно, — согласился о. Михаил...

— Я и в Русалиме был, — продолжал старик. — Хорош и Русалим, конечно, там стопы Господни, а мы, грешные, по ним ходим... Но дико там нашему брату: турок, арап, греки... Дюже жадны, греки-то... А на старом Афоне — тут святость дюже хорошая...

— Что же, батюшка, рассчитываете — так и будет насчет монастыря? — спросил отец Егора, возвращаясь к прерванному рассказу о. Михаила.

— Верю, — сказал о. Михаил, — твердо верю. Мне более по душе где-нибудь в монастыре священствовать: люблю служить... алтарь, тихое пение, сосредоточенную молитву... так бы служил, не переставая... А для мирян это не всегда того... подходяще... Но люблю я и мирян: народ добрый, мягкий. Дети наипаче.

Матушка вздохнула и сказала:

— Ты бы узнал, отец, на какой станции кипяточку-то можно набрать.

— Ну-ну, спрошу, спрошу, — сказал о. Михаил, неохотно выходя из своего приподнятого настроения.

— У меня в приходе, — прибавил он после значительной паузы, — есть также некоторые прозорливцы... сподобились различных видений... Одному мужику во время водосвятия голубь три раза садился на голову...



Старичок в подряснике нетерпеливо завозился... Лицо его странно сморщилось, точно он хотел засмеяться или заплакать.

— Вот вы, батюшка, верно сказали: мужичку благодать Господня послана... Господь выбирает себе не из богатых да сильных, а самого что ни есть простеющего звания...

— Справедливо, дед, справедливо, — вздохнул о. Михаил.

— Вот я слышал: одна старуха из Арзамаса заблудилась в пещерах киевских... Три года ходила! Через три года в старом Русалиме вышла. Как уж ее Господь сподобил... Через три-то года, — продолжал старик, оглядываясь кругом, — вошли, стало быть, монахи в пещеру, идут со свечами, вот и она на свечки идет. Передний и говорит: «Стой, остановись, кто ты такой?» — Она остановилась. «Сотвори молитву». Сотворила молитву. «Сотвори другую!» Сотворила. «Ну, стой тут, на месте!» Вышли они из пещеры, сказали старшим монахам. Старшие монахи сказали архимандриту. Архимандрит архиерею доложил... Вошли в пещеру — потом вывели ее на воздух. За три года мохом покрылась, позеленела вся. Воздухом венуло на нее — она враз и кончилась... Да. Так любезничали дюже узнать, чем она питалась? Потрошили. Разрезали нутренность, живот, кишки. Одна земля в кишках...

Старичок посмотрел, сколько мог, вверх, на своих слушателей и повозился на месте, желая сесть поудобнее.

— Ну, хоронили-то ее дюже хорошо! — закончил он радостно. — Так хоронили... Сколько архиереев было... Дюже хороший похорон был по ней...

— Ваши билеты, господа, приготовьте! — раздался в конце вагона громкий голос кондуктора.

Старичок невероятно быстро юркнул под лавку, не договорив о похоронах.

Когда прошел контроль, он снова вылез из-под лавки, сел на полу и скоро завладел вниманием большинства пассажиров, сидевших по соседству. Словоохотлив и красноречив был о. Михаил, но старик-странник был еще красноречивее, и рассказ его лился неудержимым потоком.

— В Киеве я шесть раз был, — повествовал он. — Пение дюже хорошее! Все — партесное... «Господи помилуй» запоют, так аж душу пронзят... У Сергия Троицы три раза был. Два раза в новом Русалиме. Ну, лучше нет — у Сергия Троицы. Там одно панукадило, — мериканец представил, — теперь стоит этих трех монастырей. Золота на ней!.. Как свет зажгут — такая светлость! Дюже ха-рошая светлость-то...

— А в Сарове был? — полюбозытствовал о. Михаил.

— У о. Серафима? Четыре раза был. Там такой порядок: вот вас пять человек, сложитесь промежду собой по четвертаку, обеденку отслужите. После обедни пойдешь к кресту. «Батюшка, благословите к о. Серафиму приложиться»... Так-то вот будут царские врата (старик распланировал руками), а так-то вот гроб его... в пещерах. Тепленький лежит! И ручки, и ножки... голову лишь не видать, а то весь тепленький. И Сергей Троица лежит, на щечках у него — румянец, а сам — аж горячий весь...

Вы вот в Пензе будете — загляньте в губернию. Хорошо поправилась она за последние года!.. Там, коль поймете усердие, к о. Акеантию... под престолом лежит. Тоже чудеса являл: слепого одного с глазами сделал, хромого с ногами. Во сне губернатору являлся и говорит: «Вы, — говорит, — если хотите, чтоб я явился, уничтожьте скверу от собора». А сквера — это, стало быть, сады разведены, а в садах музыка всякая, лавки торгуют, статуи стоят и прочее, стало быть. «Уничтожьте, — говорит, — скверу, я вам явлюсь»... Ну, а нони ишло с боку, от Московской, развели сады. От этого самого — прежде о. Акеантий теплый был, а теперь гроб потемнел и плесень уже пошла. Стало быть, ушел оттуда... А то мог бы явиться вполне...

### III

В полночь приехали к какому-то большому городу. Сказали: Пенза. Много огоньков рассыпалось внизу и вверху — зеленых, белых и золотисто-красных. Одни двигались, исчезали и вновь появлялись; другие моргали и дрожали на одном месте, иногда тоже прятались и снова выныривали...

Егор никак не предполагал, что их поезд привез такую массу народа. Широкая асфальтовая платформа сразу покрылась мешками, узлами, котомками, сумками, корзинками... Вагоны точно вдруг прорвались и высыпали из себя эти кишашие, двигающиеся толпы, эти груды всевозможной рухляди.

— Держись, Егорушка! за меня держись! — говорил отец. — Гляди, не отставай, а то аминь... пропадешь ни за грош!..

Они попали в людской поток, который неудержимо нес их вперед, к вокзалу. Но там давно уже все было битком набито. Егор с отцом наткнулись на какую-то тачку около цветника, положили на нее узел и сумки и присели,

с удовольствием дыша свежим ночным воздухом после духоты вагона и с удовольствием поглядывая на давку в дверях вокзала. Два жандарма, чистые, величаво-спокойные, огромные, водворяли порядок. От времени до времени густая толпа богомольцев, подталкиваемая легонько сзади их кулаками, перекатывалась с одного конца платформы на другой короткими, быстрыми шажками.

А кругом шелестел смутный говор многих голосов. Около тачки, которую заняли Егор с отцом, уже образовались баррикады из мешков и узлов. Подходили, устанавливались и садились люди — робкие и растерянные, в темноте казавшиеся подозрительными и опасными.

— Откуда? — спросил отец Егора стоявшего поблизости низенького старичка в длинной свите и в шляпе-котелке.

— Полтавски.

— Сядайте туточки.

Старик присел рядом с кучкой женщин самых разнообразных возрастов, которые весело болтали между собой по-украински и пересмеивались. Они ехали из Ставропольской губернии.

Из больших окон вокзала падал яркий свет, и копошащиеся кучки богомольцев на их фоне казались черными и странными. Где-то там, в противоположной стороне, громяхая, передвигались в черной тьме длинные цепи вагонов, выли свистки, лязгало железо. И было странно, чуждо и сиротливо. Хотелось бы увидеть кого-нибудь своего, поговорить, улечься поудобнее да соснуть...

— Билеты были до Лукьянова городу, — заговорил вдруг старичок в длинной свите, быстро и оживленно поглядывая своими проворными и наивными глазками на стоявших и сидевших вокруг тачки людей. — У Саранську пустыню не дал мне кассир. «Нету, — говорит, — у нас билетов у Саранську пустыню. Бери до Лукьянова». Узял до Лукьянова. По 11 рублей по 37 копиек платил за каждый от Прилукив. А тут, как замитусився народ, я их и обронив. Перед этим контроль пошел, я показывал... при свидетелях дело було.

— Потерял, стало быть? — спросил голос из темноты.

— Д-да... Мабуть, так...

— Может, он взял их? — спросил новый голос.

— Кто?

— А контроль...

— Ни. Назад отдав, — грустно сказал старичок.

— А кабы взял, то он бы и отвечал.

— Ни. Я вам говорю, опять у руку мне отдав. А тут, как

усе зашпешили, я их и обронив. В вагоне обронив, нигде бильш...

— Что ж вы теперь думаете? — спрашивал голос из темноты и как бы откуда-то снизу, из узлов и мешков.

— Да теперь вот домой хотим ворочаться. Старуха вон заболела, плачет: домой, говорит, вернемся...

— Ну, тут уж недалеко... Это враг не допускает...

— Уж доедешь, — сказала ободряющим тоном пиджачная пара торгового вида. — Деньги-то есть?

— Да деньги есть доехать. По 2 рубля 64 копейки надо доплачивать. Доехать можно... Вот назад-то... Да и старуха заболела...

— А ты все-таки не вертайся! — голосом увещания возразил купец. — Это, действительно, враг тебя... того...

Ночь была темная. Какие-то странные лапчатые звери ползли в небесной высоте и съедали одну за другой яркие звездочки, кротко глядевшие вниз на эту серую, грязную, усталую и смирную толпу.

Они исчезали одна за другой, и Егору было так жалко их... Потом они совсем скрылись, и пошел дождик.

Сперва робко и крадучись упали на лицо Егора две-три маленьких капельки. Он поднял лицо и ждал их еще, но, должно быть, они раздумали и скрылись... Потом, когда он устал их ждать и задремал, они налетели опять и закапали чаще. Было похоже, что они снова перестанут. Нет. Они смелее и чаще забрызгали в лицо и сделали его мокрым. Приходилось накрываться или уходить.

— Оце й дождик!.. — сказал голос в притихшей и дремавшей груди человеческих тел, заваливших платформу.

— Как будто... Господь-кормилец посылает... того... дождю... — подтвердил смиренно другой отсыревший богомолец.

— Не размякнем! — послышался около тачки чей-то ободряющий голос.

— Небось не глыняни, — присоединился еще кто-то.

Прошло еще минут десять. Мелкий дождик сыпался, не останавливаясь. Где-то уже зазвенели струйки, стекая с крыши вокзала. Все намокло. Толпа зашевелилась — надо было спасать свои сухари и пожитки. И вот, как муравьи, поползли все под крышу. Сначала они сгрудились перед залой третьего класса, но, убедившись, что туда нет никакой возможности влезть, двинулись на первый класс. Сонный жандарм, не желавший мокнуть на дожде, отступил и занял боевую позицию внутри, в самом зале первого класса, имея в резерве усталого буфетчика с баками на темном,

злом, лакейски-высокомерном лице. Толпа втиснулась в коридор и распахнула двери в зал. Публика почище, которая уже заняла в зале места своими узлами, глядела враждебно и с негодованием на эту темную, грязную массу намокших людей, которые на мгновение остановились, озадаченные ярким светом, блеском граненого хрусталя, зелеными веерами поддельных пальм и вазой с разнообразными бутылками.

— Ку-у-да? Эт-тэ куда? — послышался голос грозного жандарма.

Когда жандарм молчал или, не возвышая голоса, делал свои распоряжения, его величественно-важная фигура производила впечатление чего-то, действительно, внушительного, непогрешимо-властного и непререкаемого. Но когда он закричал, голос у него неожиданно оказался жидким, совсем не величественным, телячьим, — и все обаяние устрашающей власти исчезло... Этот голос слабо плеснул над волнами других голосов, жужжащих и несущихся из темноты, хлопающей и шелестящей дождем. Что-то стихийное напирало оттуда и подавало вперед первые ряды толпы, как они ни упирались, озадаченные ярким светом и непривычно для них обстановкой зала. Короткими, мелкими шажками они шли, шли прямо на жандарма, на буфетчика, на роскошный стол, на толстую, благообразную монахиню, на усатого отставного офицера, на какую-то барышню в шляпке...

Жандарм с решительным видом уперся кулаками в живот того торговца, который разговаривал с хохлом, потерявшим билеты. Это был толстый, солидный человек в пиджаке и в сапогах бутылками.

— Назад! — кричал жандарм, багровея от усилия и все-таки отодвигаясь под напором толпы, которая выносила вперед и толстого торговца, и старуху с сумками за плечами, и немую крестьянку, и двух мужичков в серых армяках.

— Ты сверх своей обязанности не смеешь поступать! — кричал, в свою очередь, пиджак, осторожно стараясь освободить себя от рук жандарма. — У меня в Саратове собственный дом!.. Имеешь ли ты права за грудки хватать? Эх-ка!..

И он наезжал все ближе и ближе на жандарма. А жандарм, выбившись из сил, бросил тяжелого купца и рванул вдруг за котомку старуху. Испуганно охнув, она полетела мимо него под стол. Но, должно быть, не ушиблась, потому что тотчас же сбросила свои сумки с плеч и расположилась там, по-видимому, не без удобства. За ней прошмыгнули

два мужичка, потом немая крестьянка, а потом прорвался поток, унесший на противоположный конец зала жандарма, забивший в угол буфетчика, затопивший телами и узлами все: и пол, и диваны, и стулья, и все пространство под столами, и окна, и уборные, и ватерклозеты. И все-таки в проходе, в коридорах и под дождем остались стоять толпы, сбившиеся, как овцы, в плотную массу, мокрые и безропотные...

Отец держал Егора на руках, когда толпа вынесла их в зал. Им посчастливилось: о. Михаил, сидевший с матушкой в уголке у окна, увидел их и взял под свое покровительство; они расположились около них на полу, под круглым столиком. Было тесно и неудобно, но все-таки лучше, чем под дождем. Егора посадили после того на окно, и он тотчас же уснул.

Он проснулся оттого, что нога затекла от неудобного положения и больно ныла. В окно глядел голубой рассвет. На столе лежала лохматая голова о. Михаила; матушка, подложив к уху маленькую подушечку-«думку», спала, склонившись головой на спинку стула. Тяжелый, всепобеждающий сон сковал всех, и странно было видеть теперь, при брезжущем свете утра и жидком свете висячей лапы у буфета, эти уставшие, большею частью старые и уродливые тела.

Люди спали в самых разнообразных положениях: ничком на полу, сидя за столами и у стен, стоя — опершись на костыли; валялись в дверях и в проходе, заложенные узлами; ложились головами на чужие ноги, а иногда чьи-нибудь неуклюжие сапоги бесцеремонно наваливались на голову сокрушенного всемогущим сном соседа.

Воздух в зале был нагретый и испорченный. Егору очень хотелось выйти, но нельзя было перелезть через спящих. Он осторожно приотворил окно и с жадностью стал вдыхать сырой, свежий воздух хмурого утра. За окном, в неясном сумеречном свете, виднелись фигуры в старых, грязных тряпках, запыленные, поношенные, дряблые. Дождя уже не было, но виднелись лужи на платформе. Слышно было, как молились вслух иные из богомольцев, обратившись в ту сторону, где сквозь облака просвечивал румянец зари.

— Чистую душу... грешную... помилуй меня, грешную... — доносились до Егора слова молитвы, то замирающей и угасающей, то вновь вздыхающей и несущейся туда, вверх, в неведомое пространство.

Молилась старая хохлушка, стоявшая у самого окна. Долго крестилась она и кланялась, долго шевелились ее потрескавшиеся от ветра губы — они то шептали, то вслух

говорили однообразно-певучие слова ее собственной молитвы:

— Святой угодничек божий Никола... Стопочка... помилуй меня грешную... Преподобный Иоанн Кронштадтский, молись за нас, грешных... Заступница усердная... помилуй мою душу грешную...

Под этот певучий, молящий голос Егор опять заснул, обвеваемый ароматной прохладой наружного воздуха.

Когда его разбудил отец, было уже шумно, ярко кругом. Солнце стояло высоко, луж на платформе не было, в зале было почти пусто. Богомольцы разбрелись в разные стороны, ходили в город, пили чай на высушенной платформе, спали в тени. Матушка дала Егору кружку чаю. За окном, на платформе, в центре толпы старух, калек, болящих ораторствовал о. Михаил. Он говорил, должно быть, о «благодатных» средствах исцеления от разных недугов, а толпа жадно, с поглощающим вниманием слушала его.

Егор поскорее допил чай и побежал туда же. О. Михаил для чего-то заносил звания, имена и фамилии болящих в свою записную книжку, а толпа все густела вокруг него.

— Помяните и меня, батюшка, в своих святых молитвах — Назария! — настойчиво раздавался звонкий тенор сзади Егора.

— Звание? — деловым тоном спрашивает о. Михаил.

— Я — городской... Городовым в Москве служил... Да зашиблен лошадыми, так в грудях у меня стеснение... воздух не держится... Даже иной раз говорить не говорю, а прежде громаднейший голос был...

О. Михаил писал и писал, долго писал. Что он записывал, окружавшая его толпа не знала, но вид записной книжки, вид серьезного, глубоко озабоченного о. Михаила внушал мысль о чем-то чрезмерно важном, необычном, таинственном.

— А вот тут есть женщина, батюшка, — заговорил опять бывший московский городской, — женщина... муж у ней поврежден умом, просит его записать...

— Где она? — спросил о. Михаил.

— На платформе. В Москву везет.

— А почему же не к о. Серафиму? — с изумлением воскликнул батюшка.

— Кто же ее знает... Билет, говорит, ей на Москву даден...

— Что ж такое! Тут не далеко свернуть в сторону. Где она?

И о. Михаил проворно направился в ту сторону платформы, куда повел его бывший городской. Толпа повалила за ними. Егор тоже не отставал.

И когда он на своих костылях с усилием протискался в середину толпы, окружившей сумасшедшего, его жену и о. Михаила, он прежде всего увидел стоявшего почтительно, без шапки, молодого человека в пальто по колени, подпоясанного синим поясом, за концы которого сзади держал другой молодой человек в пиджаке. О. Михаил стоял перед полной, молодой, безбровой женщиной с очень круглыми формами.

Батюшка красноречиво убеждал свернуть с дороги к о. Серафиму, а женщина, держа свои пухлые руки на животе, говорила, что провожатый ей дан только до Казани. Ее муж глядел на о. Михаила недоумевающими, кроткими, детскими глазами, и в его круглом, наивном, молодом лице, с усами и короткой щетиной небритой бороды, в его стриженной голове и в том смирном внимании, с которым он глядел в рот о. Михаилу, усиливаясь, может быть, понять его речь, — было много детского, беспомощного и трогательного.

— С чего же повредился? — спросил о. Михаил.

— А Бог его знает. Крушение поезда было. С тех самых пор попортился.

— А зачем же это вы его связали?

— Да боимся, кабы не выскочил. Раз в окно чуть не вылез. А то на паровоз лезет: «Я, — говорит, — машинист»...

О. Михаил покачал с сожалением головой и, помолчав, сказал:

— Мой душевный совет вам: повезите к о. Серафиму!

И толпа, которая пристально и жалостливо рассматривала этого человека, — толпа этих старух, болящих, калек, людей, угнетенных каким-нибудь несчастьем или скорбью, тоже повторяла слова о. Михаила, веря в возможность чуда, надеясь на всемогущество нового заступника, чая воскресения умерших преданий о невозможном, которое было когда-то возможно...

#### IV

В полдень подали поезд. Богомольцы, расположившиеся в ожидании его по всей платформе с своими узлами и котомками, кинулись в вагоны, давя друг друга, застревая в дверях, ссорясь, крича, захватывая места. Кричали и толкались жандармы, кричали какие-то железнодорожные начальники, кричали кондуктора и сторожа... В воздухе, на-



гретом и тяжелом, стоял гвалт, и становилось страшно.

В этой сутолоке Егору пришлось понести чувствительную потерю: о. Михаил, переговорив по секрету с «обером», решил сесть во второй класс, и Егору уже никогда больше не пришлось его видеть. Он с отцом пошел вперед, безнадежно поглядывая на вагоны, уже битком набитые пассажирами. Около одного вагона стояли кондуктора. Отец заглянул в окно и несмело сказал:

— А тут ведь никого нет?..

— Служебное отделение,— строго сказал один кондуктор.

— Да пускай садятся,— прибавил другой.— Садитесь, кавалер.

И Егор с отцом очутились в пустом отделении вагона, в котором было только одно существенное неудобство: удушливо пахло клозетом. Но едва они успели расположиться, заняв сразу две лавки, как дверь отворилась и в нее испытующе заглянул кудрявый человек в картузе, с русой бородкой.

— Слободно? — спросил он мягким голосом, заискивающе глядя своими блестящими, маленькими глазками на Егора.

— Служебное отделение,— строго сказал отец.

— А мы на полку?..

И, видя, что возражений нет, он проворно вошел, а за ним последовал еще коротенький старичок с квадратным лицом.

— Сидя-а-йте! — сказал кудрявый человек, засуетившись, и радостно засмеялся.

Он тотчас же забрался на полку и разостлал там свой суконный халат. Старичок смирихонько присел в углу, стараясь занять своей особой как можно меньше места. И оба, видимо, были довольны. Кудрявый человек, восторженно поглядывая сверху своими блестящими глазками, не выдержал восхищения и рассмеялся горошком. Этот смех заразил старика, Егора и его отца. И они все дружно смеялись и поглядывали, как толпы метались по платформе и шли куда-то все вперед и вперед, мимо их вагона.

Но вот через несколько минут опять отворяются двери, и в них заглядывает черная борода.

— А здесь занято,— быстро говорит кудрявый хохол сверху.

— Занято? — недоверчиво и уныло переспрашивает борода.

— Да. Тут вон начальники сидят... Вон мундер лежит... аполеты вот... видите...

Но пока происходило это объяснение, из-за черной бороды

вылезло, одна за другой, около полдюжины баб. Они вторглись дружно и безапелляционно и сейчас же наполнили маленькое отделение своими узлами, котомками, чайниками. И оказалось их уже не полдюжины, а целый десяток.

— Дамська дальше,— пробовал было соврать кудрявый хохол, лицо которого из веселого постепенно вытянулось в тревожное и недоумевающее...

— Да мы бы и в дамской,— застрекотали бабы,— да человек у нас... его не пускают.

— Да его хочь и к нам!

— Да у него ж жена да дочь...

— Эк беда... не скиснут без него.

— Ни... он говорит: голодный буде...

— Эк!..— досадливо крикнул кудрявый хохол и слез с полки, чтобы занять свою долю места и на лавке.

И снова духота, теснота, вонь...

Тронулся поезд. Пробежал сначала город с церквями, с мелкой панорамой домов, разбросанных по скату нагорного речного берега, с лесопильными заводами; сверкнула узкая, загрязненная речка, прогремел мост, потянулось какое-то длиннейшее село с деревянными домиками, без труб, без пристроек, почти без окон... Потом пошли огороды, побежали рошцы, перелески, поля сжатые и не сжатые, маленькие станции с долгими остановками, с толкотней около кадок с водой, около крестьянок, продающих яйца, малину, яблоки и орехи. Девчонки лезли к окнам вагонов с своими товарами, наперерыв кричали, протягивали тарелки. Иногда жандарм — должно быть, от скуки,— гнал их, давал пинка, вышибал из рук деревянную чашку с яблоками,— яблоки рассыпались и катились по платформе,— но проворная девчонка быстро подбирала их и снова уже протягивала чашку по направлению смотревших в окна пассажиров, а жандарм зевал...

Так ехали до вечера. Вечером пересаживались в Рузаевке. Тут обокрали толстую монахиню, и она без конца охала и плакала. Ночью еще пересаживались на станции Тимирязево, и там опять обнаружена была кража у двух пассажиров. Отец Егора вздыхал и осторожно ощупывал правый бок жилета, где у него были запиты деньги.

Егору пришлось теперь спать сидя, в самом неудобном положении. Ныла нога, болел бок и левая половина головы. Он часто просыпался и глядел в окно, ожидая, что поезд вот-вот добежит до следующей станции, и тогда — конец их пути.

Но поезд все бежал и бежал. В окно видны были синие

тучки, зарумяненные зарей, высокое и бледное голубое небо, свежий, точно отмытый, березовый лесок, фигуры солдатиков в белых рубахах и накинутых на плечи шинелях, мужички с костылями, в армяках и лаптях, с какими-то бляхами на груди. Мужички стояли неподвижно на одинаковых дистанциях. Казалось, они боялись повернуть головы в сторону поезда и смотрели, не моргая, вперед, в ту сторону, куда он шел. А мимо них гарцевали на конях по скошенным полям урядники, похожие на генералов, как их рисуют на картинках. Мелькали кое-где белые палатки, а возле — маленький огонек с задумчивым солдатиком, вспоминающим родину и, может быть, понос где-нибудь там, далеко, в родных местах.

На станциях уже не было ни народу, ни девочек с малиной или яблоками. Кучкой стояли крупные, щеголеватые жандармы, а в сторонке — господин в красной фуражке, начальник станции. На каждой станции из поезда выходил старый жандармский полковник и, сделавши озабоченное лицо, о чем-то подолгу толковал с начальниками в красных фуражках. По усталым лицам этих людей видно было, что старик говорит для формы, перебирает совершеннейшие пустяки, которые и без него предусмотрены. Молодцеватые унтера величественно и сурово взирали на какого-нибудь смиренного богомольца, торопливо набиравшего в чайник воды из зеленой станционной кадки. На их лицах как будто было написано:

«И к чему такая мразь землю обременяет в такой важный момент?..»

Когда подполковник проходил мимо них, они вытягивались до последней физической возможности, затаивали дыхание и «ели» его глазами.

— Ну как, братец? У тебя все благополучно? — кивал небрежно старик в сторону кого-нибудь из них.

— Гав-гав! — быстро и громко отвечал унтер, и глаза его преданно глотали начальника.

V

Около восьми часов утра поезд остановился на станции Шатки.

Большая часть богомольцев высадились здесь; даже те, у кого был билет до Арзамаса. Так сделал и Егоров отец, потому что ходили упорные слухи о дороговизне подвод в Арзамасе и о том, что от Шаток путь короче.

После духоты вагона было особенно приятно подышать

утренним воздухом на травке около маленького вокзала, закусить и выпить чаю. Множество отпряженных телег стояло за вокзалом. Мужики с кнутами в руках шли раз-вернутым фронтом на богомольцев.

— Ехать? — спросил тощий старичок отца Егора.

— Да.

— Вас сколько?

— Да вот двое с парнишкой.

— Двоим дорого будет. Человека три-четыре...

Сидевшие рядом на травке двое богомольцев — старый хохол из Таврической губернии и молодой человек в пид-жаке из Екатеринославской — поднялись и приняли участие в торге.

— А довезешь четырех-то? — спросил молодой, которого старик называл Алешей.

— Х-хе! — воскликнул ухарски дед, обнаруживая жел-тые, поредевшие зубы. — Ч-че-ты-рех!.. Десять довезу! Теле-га крепкая и лошадь — ничего... твердая лошадка...

— А за сколько повезешь?

— К Понитаевке аль до Сарова?

— До Сарова.

— До Сарова шесть рубликов...

— Тю-у!.. Ска-зал!..

Молодой екатеринославский богомолец, сам человек, по-видимому, прикосновенный к торговле, умевший и любив-ший «ладиться», сейчас же забрал в свои руки торг за подводу.

— Господа-а! да вы как считаете? А сколько тут верстов по-вашему? — восклицал возница.

— А сколько? — задорным тоном сказал Алексей.

— Тут до Понитаевки считается двадцать. Извольте до Понитаевки за полтора довезу, пожалуйста...

— А от Понитаевки?

— Чаво от Понитаевки?

— Верст... чаво?

— Да там боле... с тридцать будет... а то и все сорок клади... а може — и с пятьдесят...

— А ты тут хочешь полтора содрать? Эка какой простяк!..

— Господа-а! да вы как считаете...

— Нет, ты-то как?..

Торговались очень долго. Молодой богомолец учитывал старика в верстах, сбил его под конец с толку на смех слуша-телям, вошел в азарт и назвал «беззубым» с прибавлением пряного словца.

— Да ты чего?.. Эка ты, парень... к чему ты такие

слова? Молодой вьюнош и того... ты еще зелен, братец, — смущенно говорил старик, несколько растерявшись под стремительным натиском Алексея.

В конце концов сошлись на четырех рублях. Тележка оказалась маленькая, старая и дрянная, но лошадь сносная. Все четыре пассажира взобрались все-таки на телегу с твердой решимостью ехать, а старик пошел сбоку. Но было неудобно сидеть — тесно, и скоро с телеги слезли все взрослые пассажиры, остался один лишь Егор. И он бы слез с удовольствием, потому что телега была очень тряская; передок ее был выше задка, и сидеть с вытянутыми ногами было мучительно. Он примостился кое-как на узлах и не без любопытства поглядывал кругом и слушал старика-возницу, который оказался болтливым и довольно занимательным человеком.

Широко и благодушно расстилались холмистые поля с синюющими вдали перелесками, с копнами озимого жита, с жнищами, согнувшимися в высокой ржи, с топкими овсами, чечевицей и гречихой, с деревеньками и церквями. Частые, белеющие там и сям церковки придавали веселый, оживленный вид населенности, однообразие этих похожих друг на друга холмов.

Деревеньки были особенные, не похожие на те, которые знал Егор. Маленькие темные, покрытые старым тесом, домики походили на амбары. На широкую улицу вылезали какие-то погреба. Тут же были расчищены токи, а около них сложены небольшие кучки снопов. Молотили бабы, медленно взмахивая цепами. Для Егора такая молотба была невиданным никогда зрелищем.

— Что же кушать будут, коли такая работа? — пренебрежительно говорил екатеринославец Алексей.

— Дывлюсь: никакого садика, никакой фрухты не видать, — говорил старик, херсонский хохол, которого звали Симонычем. — Как они живут, эти люди?..

Но люди жили, плодились и множились. Кучи ребятишек, белоголовых, стриженных в кружок, окружали телегу и с пронзительным криком речных чаек бежали за ней.

— Кинь! кинь! — кричали они и дружной стаей налетали на брошенный им с телеги кусок булки или ситного хлеба и опять бежали, не глядя себе под ноги и спотыкаясь в глубоких колеях дороги.

И все здесь смотрело как-то особенно смиренно, кротко, робко: и запыленные фигуры, плетущиеся по дороге, и добродушно-болтливый старик-возница, и этот тощий хлебец, и синеватые балки с жидким леском, и белевшие вдали церков-

ки. Было странно, что эти многочисленные толпы народа, тянувшегося гуськом по всей дороге и усеявшего все завалины в деревнях, ничуть не оживляли этого тихого, смиренно-грустного пейзажа. Они шли не спеша, размеренным, экономным шагом, серьезные, молчаливые, и равнодушным, усталым взглядом смотрели на проезжающих. На всех лицах застыло общее деревянное выражение бледной, неясной скучной думы. Взор жадно искал среди них молодого, красивого, бодрого лица и — не находил...

К полудню старик возница нагнал богомольческий поезд, стоявший в мордовском селе Кордевиле, и предложил своим пассажирам, по примеру прочих богомольцев, выпить чаю, пока он покормит гнедка. Пили чай в грязной и душной мордовской избе с небеленой печью. Чай был какой-то мутный, самовар — давно не чищенный, зеленый, а хозяин — косноязычный, разбитый параличом мордвин, все время говоривший что-то, чего нельзя было разобрать. За самовар взяли только две копейки.

Потом поехали дальше, вслед за целым рядом телег с богомольцами. Сзади тоже шуршали телеги, и длинный поезд поднимал целые облака пыли. Пыль густо покрывала траву по обе стороны дороги, обувь пешеходов и пассажиров, их одежду и лица. Егору казалось, что она как встала, так и не садилась, и летела на него и спереди, и сзади, и ощущение ее в носу, во рту, за рубахой причиняло неприятное беспокойство — хуже, чем беспощадная тряска телеги. Он завидовал тем пассажирам, которые, соскочивши с телег, плетущихся шагом, шли себе в отдалении от дороги, избавившись от этой беспощадной пыли.

С ближайшей телеги, ехавшей впереди, доносился иногда глухой, надрывающий душу крик, завывание мучительной боли. Егор привставал несколько раз, но ничего не рассмотрел, кроме спины женщины, нагнувшейся над тем самым отрывисто взывавшим существом.

— Девка, — сказал ему разговорчивый возница, — годов семнадцати, а на вид — лет шесть, больше не дашь... Попортилась. Это мой мнук их везет. Васька... Маленькую, говорит, лошади ушибли. А это мать ее сидит вон... Чижало ей, любушке...

И когда страдающий болезненный вой долетал до Егора, ему казалось, что кто-то резко сдавливал ему сердце. И было больно, было жалко и это несчастное, изуродованное муками существо, и эту наклонившуюся женщину-мать, которая много лет слышит этот мучительный крик боли, много бессонных и страшных ночей провела, глядя в очи темной,

беспросветной скорби, погруженная в бездну бессильных страданий.

Село солнце. Когда последние, красноватые лучи его погасли на курившихся облаках пыли, стало вдруг очень свежо, даже холодно, захотелось деревни, почлега. И когда наступила ночь — впереди, в мгlistом ее тумане, представлялись все хаты, церковь, но не было ни хат, ни церкви, тряслись и скрипели телеги, скатывались куда-то вниз и медленно всползали затем вверх. Над головой мелькали звезды. Иногда влажная свежесть проползала по лицу. Егор улегся. Отец прикрыл его чем-то теплым, но телега ужасно трясла, прыгала, стучалась обо что-то, кряхтела и скрипела, и, лежа, Егору казалось, что она вот-вот развалится. От тряски разбалчивалась голова, и Егор опять поднимался и садился и чувствовал холод и пыль, плавающую в воздухе, и все ждал, что скоро въедут или в деревню, или в монастырь. Деревня теперь представлялась ему чем-то ласковым, теплым и уютным, и он жадно всматривался вперед.

Вон какая-то темная масса вырисовывается на смутно-белом горизонте. Должно быть, лес? Ведь под монастырем, говорят, лес? Сейчас въедут в него, а там и монастырь. Тоже хорошо: можно отдохнуть, согреться и уснуть... Но лес оказывается кустарником, а за ним опять темное поле, и мутный горизонт над ним и звезды.

Вон огоньки моргают, два — с правой стороны, один — с левой. Этот ближе к дороге, те — далеко в стороне. И когда поезд богомольческих телег проезжает мимо левого стогняка, Егор видит освещенную им телегу и головы лошадей, а около самого костра двух человек с белокурыми, задумчивыми лицами. Кто эти люди? О чем они думают?..

Теперь уже и старик не болтает, и его пассажиры реже сходят с телеги, чтобы идти вдоль дороги. Должно быть, дремлет и им. Они оделись потеплее и сидят, свесив с телеги ноги. Алексей все крикает. Потом, как-то странно изогнувшись, он упирается головой в спину ямщика и начинает как будто всхрапывать.

В одном месте телега, неистово гремя, быстро скатилась куда-то вниз, с грохотом склонилась налево, в сторону черной стены кустарника, наткнулась на что-то, испуганно крякнула, закричала, словно от боли, и остановилась. Все вскочили...

— Ось! — трагически воскликнул старик возница.

— А? Погодите... я сейчас... — диким голосом, спросонья, говорил Алексей, суетясь около телеги.

Отец Егора хладнокровно осмотрел телегу и спокойно сказал:

— Пенек. Подавай назад лошадь! Ты, старик!

Старик взял гнедка под уздцы и, усиливаясь, подвинул его назад, говорил ласково:

— Тпру, золотой... тпру... осадил назад... зад, милый, зад...

Но гнедко стоял себе равнодушно, понутив голову, несмотря на эти уговоры и невзирая на то, что над телегой пыжились Алексей и херсонский хохол Симоныч, старавшиеся сдвинуть ее назад. Тогда отец Егора зашел сзади, легко приподнял задок телеги и пересадил ее через пень.

— Трогай! — сказал он, садясь на телегу.

И снова она покатилась, а за нею и хвост поезда, остановленного этим инцидентом.

Вот и деревня. Поезд катит по широкой, уснувшей улице, домишки которой кажутся совершенно одинаковыми по обеим сторонам, потом по плотине над прудом, потом останавливается около какой-то освещенной лавочки. Должно быть, это чайная или постоялый двор; она битком набита: видны в раскрытую настежь дверь распоясавшиеся люди с блюдечками в руках, слышен смешанный гул голосов, а кругом, на улице, целая флотилия отпряженных телег. Явное дело, останавливаться — не миновать, что и делает новый богомольческий поезд.

— Егор, пойдём... чайку... — сказал отец.

— Не-ет...

— Не хошь? Ну, как знаешь. Полежи тут, покарауль. Тебе тепло?

— Ничего.

Они ушли, кроме ямщика. Старик сначала предложил своему гнедку овса, но гнедко задумчиво постоял с торбой на месте и не стал есть.

— Вот ишшо... ка-кой, — недовольно говорил дед, — пра-а. Ну, на сена!

Гнедко нагнулся к сену и стал жевать.

— Выгодная лошадь, — сказал какой-то незнакомец, стоявший неподалеку, — овса не ест....

Гнедко потянулся к траве... Он подергивал телегу, телега покачивалась и поскрипывала, и Егор, лежа на ней, ждал, что вот-вот она опрокинется. Но лежать было хорошо, тряска не было, пыль улеглась. Вверху раскинулось высокое, темное небо с звездами. Они были прекрасны, чисты и непонятны, будили смутные мысли и воспоминания о родине, о матери. Тихий говор людских голосов плавал, шуршал и сыпался кругом, за телегой, впереди и позади. Где-то, в стороне, слышалась громкая болтовня и смех молодых голосов —



мужских и женских. Прошла гурьба парней через площадь. На плотине они запели:

Ничего мне так на свете не надо...

Голоса были громкие и нестройные, но когда певцы удалялись, звуки становились стройнее, мягче, красивее, и что-то подкупающее, родственно-милое и неизменно грустное было в этих вздохах и однообразных жалобах, в вихристых и кудрявых затыжках подголоска.

И тихая ночь задумчиво-безмолвно стояла над этим краем, разбуженным необычным наплывом странных гостей, смирным, серым и скучным краем черного труда, робких мыслей и тупого, равнодушного терпения... И звезды моргали с неба ласково и как будто знаменательно, говоря всем одно и то же и предоставляя каждому понимать их по-своему...

Егор заснул. Сквозь сон он слышал, как пришел сначала дед-возница и, гремя дугой, стал запрягать гнедка. Потом подошел отец с старым хохлом...

— Чего? Ай ехать? — спросил кто-то далеким, но знакомым голосом, должно быть, Алексей.

— Ехать. Запрягают, — сказал голос ближе.

И Егор смутно слышал, как везде суетились, покрикивали на лошадей, запрягали. Потом телега заколыхалась, громынула, потянулась куда-то, и Егор забылся... Ему казалось, что под ним гудели мельничные колеса и трясся пол... и что-то бурлило, кипело и плескалось...

Когда он поднял голову — при тусклом свете первого утра разглядел большую глинистую поляну, изборожденную колеями. Было холодно. Только один раз потянула теплая струя нагретого воздуха, Бог весть откуда взявшаяся среди сыроватой и остро-холодной мглы утра. Неожиданная и непонятная, она на мгновение согрела всех озябших и примолкших людей, удивила и так же быстро исчезла, как и пришла. Точно вздохнул кто-то ласковый и добрый.

Впереди, на фоне белой зари, вставал лес. Люди шли впереди и по сторонам дороги, молча, не разговаривая между собой, погруженные в неясные, дремотные грезы, и лес ждал их, темный и молчаливый. И когда поезд скрипящих телег, извиваясь и курясь пылью, въехал в опушку осин, елей, берез и молодых сосен, то вместе с неподвижным и резким холодом их окутал молчаливый мрак, как будто они опустились в погреб.

И было тяжело и жутко это молчание величественной, строгой, угрюмой толпы великанов, которые в глубине вытеснили совсем зеленую, веселую листву берез и ольхи и стоя-

ли прямые, стройные, высокие, почти без веток, с небольшими зелеными шапками там, вверху, под смутно просвечивавшим сводом неба. Колеса вязли в песке и уже не шуршали, а слабо поскрипывали и чуть слышно шищели. И пыль как будто улеглась — ее не было видно в лесу. Не было звуков, а их так хотелось... Какая-то одинокая птица где-то там, в высоте, издавала монотонный, тихо скрипящий звук, точно чертила ногтем по шершавой коре этих великанов.

Ехали медленно и долго, увязая в песке. Стало светлее. Должно быть, взошло солнце: вершины сосен сзади ярко зарделись, и клочки неба стали особенно нежны и ярки своей синевой, а темная зелень сосен вкраплялась в них отчетливо и резко. Вот поляна. Сверкнула речка. Над ней кучка палаток донского казачьего полка. Вдали засияли главы монастырских церквей.

— Ряда была, золотые, до мостика, — напомнил дед-возница. — А то тут есть Городок, так до Городка другая цена. Там верст шесть по песку...

— Вези до первой остановки, прибавлю гривенник, — сказал Алексей тоном щедрого человека.

Старик тронул вожжами и проехал еще ольховую рощицу, за которой открылось более десятка бараков. Тут было многое множество телег и народа. Озябшие, не выспавшиеся, сердитые люди неприязненно посмотрели на новых богомольцев, которые заглядывали в широко раскрытые пасти плохо сколоченных дощатых бараков и везде встречали сплошную массу лежавших и сидевших человеческих тел, спертый воздух, сор объедков и грязь.

— Тут некуда! — слышал Егор из глубины каждой полутемной пасти.

— Да нас вот трое... только... — говорил Алексей, выступавший везде парламентом.

— Вы в Городок лучше... А тут вару не хватает, не то что... Теснота...

— А холод... — послышался другой голос, в котором, действительно, звучала судорожная дрожь. — Рази можно? Голая земля. Там, по крайности, помощено...

— Вот в Дивеевом — там хорошо: нары... А тут кипятку нет — чаю напиток, — вот какой порядок... Один куб на сколько народу...

— Вы в Городок идите. В Городке — там местов сколько угодно. Совсем есть пустые бараки...

В этих, по виду доброжелательных, советах звучала фальшь и коварство, но было несомненно одно, что здесь, в местных десяти бараках, все было заполнено битком,

и волей-неволей пришлось уходить дальше, за монастырь.

— Ну, пойдемте,— обратился Алексей к своим спутникам.— Все равно монастырь посмотреть надо.

Они взвалили на себя узлы (у Алексея даже целая корзина была привешена сбоку) и пошли.

## VI

Ноги вязли в песке, и Егор едва поспевал за отцом и его спутниками. Они обгоняли толпы стариков и старух, медленно тянувшихся к монастырю. Он казался очень близко. Было видно, как на фоне его белых стен шли люди по какому-то карнизу, устроенному над старыми деревянными сараями и избами, ютившимися под самым монастырем. Но потом дорога вильнула в сторону, в лес, и монастырь спрятался. Вынырнул он не скоро, и тогда карниз оказался насыпью, и волны народа катили по ней беспрерывно в обитель и обратно.

— Ну, куда же пойдем? — спросил Алексей.

Старый хохол Симоныч, который собирался говеть, сказал:

— Узнать надо, где митрополит служит. Это что за народ?

У паперти небольшой церкви, которая стояла внизу, сгрудилась и топталась на месте огромная, тесная толпа. Два околоточных надзирателя, несколько городских и урядников, энергично жестикулируя кулаками и палашами, сдерживали ее натиск. Над головами в разных местах поднимались руки с какими-то узелками — они точно зывали к небу о милосердии. И видно было, как эти узелки проползали по головам ближе к дверям и затем, колыхнувшись несколько раз то вперед, то назад, попадали все-таки в церковные двери и исчезали в них.

— Это — позвольте узнать — митрополит тут служит или что? — спросил Алексей у одного из зрителей, сидевших рядами на ступеньках широкой каменной лестницы, которая вела вниз, по направлению к церкви.

— Нет, это которые говеют. Миру — сила! Каждому желательно, а места нет... Так вот порядок такой и сделали: коль говеешь — иди в церкву, носи просвиры, а коли так ежели, то под окном становись и хочь лоб разбей... То есть сколько влезет — молись, а внутрь — запрещено: подушиться народ может... страсть сколько миру!.. Никак невозможно...

Наши богомольцы постояли в раздумье и пошли дальше.

— Да-да... вот какой порядок... — говорил Алексей неве-

село.— А вы, дидусю, митрополита? Х-хе-хе... навряд ли придется... Нашему брату и в рай очереди долго ждать...

— Ну... куда же теперь? — сказал отец Егора.

Алексей, который взял на себя роль руководителя, остановился и задумался.

— Чи церква осматривать, чи до Городка ходить,— сказал он, обращаясь к своим спутникам.

— Оно бы не мешало того... помолиться...— сказал дед.

— А вещи?

— Вещи... да... вещи к месту определить надо...

— Так ходим до Городка... Выпьем чаю, вещи положим назад...

И они пошли дальше, усталые, голодные и потерявшие бодрость в этом чуждом людском потоке, наполнявшем воздух своим смутным, смешанным, разноголосым говором. В этой темной и запыленной массе, двигавшейся по разным направлениям, тихо и почти благоговейно шевелившейся под окнами церквей, выделялись белыми пятнами величественные городовые, привезенные из Петербурга, солдаты-гренадеры и урядники. Все это был чисто и щеголевато одетый, по сравнению с толпой, народ, и на их лицах застыло великолепное выражение власти, распорядительности и величия.

— Не останавливаться! Проходи, проходи! Тут нельзя, не садись! Дальше!— осаживая и разрезая толпу, говорили великолепные городовые, с знаками трезвости на груди, властным голосом, голосом хозяев и господ положения, и толпа беспрекословно теснилась и перекатывалась на другую сторону, откуда ее опять гнали дальше, дальше...

Наши богомольцы зашли по пути в две-три церкви, в которых службы не было и входы никто не охранял, и направились из монастыря по дороге в Городок. Узкая дорога вилась по лесу среди огромных, величественных, прекрасных сосен. Вереницы богомольцев и богомолков с котомками за плечами, с усталыми и серьезными лицами, подняли белую пыль, которая остановилась и как будто застыла в воздухе, как фимиами, среди огромных зеленых колонн. Солнечные лучи, прорезывая этот белый, прозрачный полог, построили белые стены, колокольни, воздушные причудливые здания,— и в полудремоте усталости Егор ждал, что вот-вот грянет великолепный, торжественный трезвон с этих стройных, колеблющихся колоколен, а из-за стен, раздвигающихся перед ними, полетят стройное, тихое, торжественное пение...

Но стены отодвигались все дальше и заходили назад; колокольни молчали. Ноги с трудом работали, увязая в

песке и спотыкаясь об огромные, лохматые корни сосен; клонил сон.

— Далече, дяденька? — спрашивал Алексей у встречных.

— Версты две.

— Ого! — восклицал с сокрушением Алексей и, сомневаясь, тотчас же обращался к другому встречному:

— Долго еще?

— Версты четыре...

— Фу-у, ты...

Да, должно быть, не близко, судя по усталым, суровым лицам этих малоразговорчивых людей, которые тянулись бесконечной цепью из недр этого безмолвного, величественного бора. Люди с болячками на лицах, люди с тонкими, странно изогнутыми, точно соломенными ногами, люди в странных белых, из домотканого сукна, одеждах, с навитыми на голове копнами из тряпья, люди монашеского образа, постные, худые, морщинистые, злые женские лица — все было пестро, странно, интересно и ново...

Вот, наконец, мелькнули какие-то постройки. Вон и площадь за речкой, а над ней бараки из нового тесу. Замелькали вывески: «Чайная», «Закуски и чай», «Самовары» и т. д. Народ кишел, как муравьи, толпился около речки, выползал из барачков, торчал в открытых балаганах чайных и закусочных, группами беседовал на площади.

Наши богомольцы обошли длинный ряд барачков, но везде было полно, нечисто, неудобно.

— Нет было бы нам там остаться, в энтих, — сказал отец Егора.

— Послушали эту старушонку... черта! — сердито говорил Алексей. — Отсюда переть в монастырь — язык высунешь... Господин урядник, где бы нам поместиться?

Урядник окинул величаво-презрительным взглядом вопрошавшего и сказал тоном сановника:

— Выбирай барак, какой побольше, да и ложись враспяжку... Можешь даже вполне быть спокоен, как летом в саях...

Они пошли дальше. Наконец, около часовни два крайних барака оказались совсем пустыми.

— Вот оно! — воскликнул с радостью Алексей. — Зря я старуху ругал... она правду... Ложись, господа! ха... Давайте соснем сперва, а тогда чаю... Слав-но! ха-ха-ха...

— Да надо бы в церковь, — нерешительно возразил Симоныч.

— Ну, дидусю, успеете... Сидайте вот...

И Алексей упал на солому, потянулся и почти тотчас же заснул.

В бараке был полумрак и прохлада. Сквозь щели падали на солому лучи солнца и золотили ее нежной, новой позолотой. Тихо было и хорошо. Все тело ныло от усталости. Кажется, век бы так пролежал, ни о чем не думая, бессознательно глядя на эти щели и полоски золотого света. Сна не было.

Вошел урядник, белобрысый, худой, с длинным носом и весь какой-то длинный и нелепый, а голос у него был почти женский.

— Придется, ребята, потревожить вашу старость: тут для епутаций,— сказал он.

— Да мы тоже депутаты,— сказал отец Егора усталым до отчаяния голосом.

— Хе-хе... не похоже... Епутаты — это больше от татар, от мордвы... старшины... Вон в бабий барак, может, пойдете?

— Мы тут немножко отдохнем... тогда уйдем...

— Н-ну... отдыхайте.

Симоныч принес половину ситного хлеба и звал пить чай. Он спешил в церковь. Алексея едва растолкали и пошли в какой-то балаган, под названием «Народная чайная». Балаган был открытый, столики — из неоструганного теса. Везде виднелся сор, грязь. Приходили запыленные люди, снимали с себя верхнюю одежду и тут же вытряхивали. Пыль неслась и садилась в чай. И чай был мутный, невкусный. Солнце припекало Егору самый затылок, болела голова, и продолжал сильно клонить сон.

Но спать было некогда. Все — и его отец, и старый хохол, и Алексей — спешили напиться чаю и идти опять в монастырь, к какой-нибудь службе. Решено было забраковать Городок, как главную квартиру, а из монастыря пройти в те бараки, куда приехали утром; оттуда было много ближе к монастырю.

Пошли. Усталые ноги плохо служили Егору. Песок казался глуже и путь длиннее. Алексей опять шел впереди, сучил ногами, и похоже было, как будто он топтался на одном месте. Но Егор все-таки не мог догнать его на своих костылях. Теперь уже Алексей не спрашивал, много ли осталось, но и молчать не мог. Он нагнал какого-то сердитого черного человека, осведомился у него, откуда он и давно ли тут живет. Оказалось — пятый день.

— Что же, чудеса были, дяденька?

— А как же! Сколько человек оправдалось,— сказал черный человек.— Вчера восемнадцать исцелений было...

— А вы сами видели? — осторожно осведомился Алексей.

— Видел! — иронически воскликнул черный человек. — Чай, записывают!.. Как какой исцелился — его, чай, не отпускают!.. Тут и все святые места, и где его разбойники били, и клоч волос, одежда — все цело...

— Цело?! — воскликнул Алексей с неопределенным выражением легковесного скептика. — Неужели не истлело?

— И-и, ми-лый! да разве святая вещь может истлеть?

— А ведь тело-то, пипут вон... истлело?..

— Как истлело! Не-ет... Святые не тлеют. Ишь какую ему Господь Бог послал славу на земле: сколько народу... из разных земель... из-за границы есть... от разных народов...

— А как же в ведомостях было?..

— В ведомостях?! Х-ха... Жалко, говею я, а то бы я тебе, милый, сказал слово... В ведомостях!.. Х-м!.. Кой-чего много печатают ноне в ведомостях!..

Совсем усталые, они вошли в монастырь. Встречный поток иногда совсем затоплял их и прижимал куда-нибудь к стене. В конце концов Алексей и хохол отбились и потерялись в живом людском море. Егор остался с отцом. Они остановились около могилы святого, в толпе людей, которые стояли под окнами церкви и молились. Тихое, стройное пение иногда выплывало в окна и звучало среди беспрестанного людского движения и говора чем-то далеким, безмятежным, отрешенным от суеты земли. Кто-то грустный и кающийся смиренно вздыхал, горько плакал и тихо, покорно умолял... И звуки скорби и плача были гармоничны, красивы и трогательны своей чистотой и необычайной музыкой. А шум людской суеты, какие-то болезненные, истерические вопли, долетавшие иногда со стороны, стоны, окрики и крупный разговор казались тогда нестройными, дикими и досадными.

Иногда новые звуки врезывались в смутно переливавшийся говор толпы. Тяжелый, мерный, правильно чередующийся такт издали напоминал звук большого сита, сортирующего зерно, затем вырастал, раздвигал другие звуки и постепенно заполнял воздух. Стройные, слегка зыблющиеся ряды гренадер в белых рубахах щеголевато проходили мимо, дружно, в такт шлепая ногами о камни мостовой. Камни звонко откликались на этот дружный, одновременный удар многих ног, тесные монастырские стены отдавали глухой отзвук. Толпа глядела молча или с редкими, беглыми замечаниями, провожая глазами колонну. Колыхавшийся шум ее шагов, удаляясь, сперва рос и ширился, потом становился глуше и замирал где-то там, за воротами.

Солнце уже свернуло с полудня, когда Егор с отцом вышли снова из монастыря. Было жарко. У Егора болела голова. Они остановились около лавочки с картинками и купили две маленьких иконки о. Серафима. Тут они встретили Алексея и оба обрадовались ему чрезвычайно, точно родному. Вспотевшее и запыленное лицо его тоже засияло радостной улыбкой.

— Откуда? — спросил отец.

— У источника святого был. Вот где миру!

— А теперь?

— Теперь туда, в эти бараки. Думаю — в эти. Городок — ну его к Богу!.. Надо места добиться, а то надоело таскать все на себе... Просто — плечи как отрезало. А вы?

— Да мы сами не знаем.

— В церквах были?

— Помолились у одной.

— Святые места видали?

— Могилку... осмотрели.

— А келью?

— Келью — нет. А где она?

— Эх вы, народы! — воскликнул Алексей с сожалением и покачал головой: — Ну, вот что, давайте ваши сумки — донесу и к месту определю — там...

Алексей махнул рукой в пространство.

— А вы сейчас прямым трактом — к святому источнику. Не мешает выпить святой водицы... исцелиться...

Отец Егора с готовностью передал свою ношу Алексею.

— Ну, с Богом! — напутствовал он их, показывая дорогу. — Егорушка, бодрым шагом! По-кавалерийски! Смотри у меня, чтобы назад без костылей! Святому отдай костылики... Ну, дай Господи...

Он еще что-то говорил им вслед, но за народом уже не было слышно. Они спустились с насыпи и пошли по новой, пыльной, хорошо устроенной дороге с свежесбранными глинистыми берегами, над узенькой зеленой речкой. Толпы народа шли туда и обратно и по дороге, и по лесным тропам, выходящим вверху, над яром. Здесь было царство больных, калек, нищих, людей, просящих подавания, взывающих к щедротам мира сего. Все они выкрикали, громогласно пели, читали что-то, и под ярким, палящим солнцем, в пыли, среди этого суетливого, поспешного и сосредоточенно-серьезного движения, это скопление нищеты, грязи, физической уродливости производило такое впечатление, как будто



здесь нарочно собралось все, что есть самого ненормального, гадкого, отвратительно-зловонного, нечистого, возбуждающего содрогание ужасными болезнями и несчастьем... И здоровый человек, как бы он ни был удручен нуждой, заботами и горем, невольно останавливался перед этой бездной непонятого несчастья и, взглядевшись, чувствовал себя богачом и счастливецом...

Звуки говора и выкриканий были здесь свободнее, громче, чем в монастыре, и разнообразнее. Вот лохматый человек с бельмом на глазу, сбывшись, поет диким голосом какой-то тропарь и держит перед собой руку ковшом... Вот, поджав тонкие, голые выше колен ноги, громогласно читает псалтырь какой-то растерзанный, почти голый человек с болячками на лице, с облезшей головой и бородой. Загорелая, с обветренным лицом молодая женщина симулирует сумасшедшую: она сидит на коленях в тени куста и то смеется дробным смехом, то бормочет, то крутит головой и вдруг роняет ее себе в колени с искусством акробата.

Около нее останавливаются прохожие, глядят с недоумением. Вырастает толпа. Какая-то старуха участливо спрашивает:

— Ты чего?

Но женщина молчит, уткнувшись лицом в ладони. Молчит и стоящая вокруг нее толпа. Что-то загадочное, исполненное таинственного ужаса, медленно подымается из-за спин и объемлет всех темным облаком неизвестности.

— Ты откель? — спрашивает робкий голос.

Глубокое молчание. Дикое пение тропаря вырастает вдруг над толпой, быстро и нелепо проносится в сторону, затем падает.

— Больна, что ль?

— Голова... голова моя, — бормочет женщина тихо, почти невнятно, — болит голова... я не хочу... хлебушки нет... есть нечего...

И она опять быстро роняет лицо в ладони.

Ей подают медные, темные монетки и отходят в недоумении. Таинственный ужас перед невнятным, бессмысленным бормотанием еще сквозит на лицах. А женщина быстро и ловко прячет деньги в карман и опять бормочет, смеется, крутит головой и роняет ее в колени...

Егор медленно и тяжело идет за отцом дальше. Кружится голова, томит жажда, кровь стучит в висках. Пение доносится издали, стройное, согласное, красивое, хотя несколько однообразное. Повторяющийся мотив вьется и плещет в горячем,

пыльном, душном воздухе, и жалобно-покорные, безнадежно молящие и монотонные, как пустыня, звуки то плывут навстречу, приближаются и вырастают, — хорошо спевшиеся голоса сплетаются, льются вместе и развиваются, — то отступают вдаль, тихие, полусонные, замирающие... Вот и они, сами певцы. Их пять человек: две женщины и трое кудластых мужиков без шапок. Все трое слепы, один — хромой, два — убогих. У всех деревянная чашечка в руках и огромные сумки грубого рядна через плечо.

— И-о-он мо-лит-ся Бо-гу сы-ы-ы сле-за-э-э-ми... — ровным басом ведет фланговый слепец, согнув шею и вытянувши вперед кудластую, непокрытую голову.

— И-о-он вя-ли-кие по-кло-э-ны ис-пра-вля-а-е... — мягкими тенорами грустно говорят два других слепца, крутя в такт головами и глядя перед собой темными, невидящими счами. Женские голоса, не произнося слов, присоединяются то разом, то поочередно, и звуки тогда свиваются в красивую гирлянду и изумляют слушателей своим сурово-аскетическим рассказом, напоминая о бренности жизни, о краткости и быстротечности счастья, об ином, неведомом мире, чреватом муками и ответственностью, о безнадежном однообразии вечности...

Слушатели останавливаются, охотно бросают деньги в чашечки слепцов. Какая-то тощая старушка умиленно и скорбно качает головой, всплескивает руками на своей тощей груди и затем поспешно вывязывает из платочка медную монету. Проезжает верхом урядник с воинственным видом. Взглянув на толпу и на слепцов, он делает вдруг строгое лицо и кричит:

— Ну, вы, купцы, купцы... Будет! Опять торг завели...

— Да что ж мы... чем помешали? — говорит, остановившись, фланговый слепец.

— Будет — сказано! Кончено!.. Чтобы никак!.. — строго повторил урядник и, погрозив очами несколько мгновений, удалился.

— Черт... помешали ему... — говорит слепец и, переждав, пока урядник, по его расчету, отъехал, он запел опять.

— Пойдем, чадушко, а то припоздимся, — сказал отец Егору, и они двинулись дальше.

Два раза они останавливались около колодцев и пили воду из общего ковша. Приходилось долго ждать очереди, потому что люди не только пили, но и мочили себе головы, а вода с них стекала в колодец. Вода была свежая, чистая, прозрачная, и на дне колодца виднелись медные монеты, которые бросали туда богомольцы.

Вот опять толпа. И опять отец с Егором подошли взглянуть, не чудо ли. Они все время ждали чуда, страстно мечтали о нем, хотели увидеть исцеленных, хотели верить и верили верою робких, колеблющихся людей... Первый же осязательный факт раздул бы эту веру в яркий пламень, и они искали чуда, искали исцеленных с тревогой и жадной алчностью и обделенных судьбой людей.

В центре толпы видно было иеромонаха, беседующего с тощей, вороватого вида женщиной с полуобнаженной грудью. Егор с отцом протискались поближе. Около женщины стояла тележка, а в тележке лежало странное, полуживое существо — дряблое, полустгнившее, грязное тело, в грязных кумачных лохмотьях. Вместо лица у этого человеческого подобия была одна сплошная глубокая язва. Узкий загаженный лоб, почти голый череп и подбородок, на котором торчали кустики грязных, пыльных волос... В промежутке между лбом и подбородком, в черном широком отверстии, болтался язык.

Звякали монетки, падая в деревянную чашку, стоявшую в тележке. При этом звуке рука человека, не подававшего признаков жизни, конвульсивно двигалась, сжав в кучку пальцы, язык бормотал что-то невнятное, непохожее, на человеческие звуки, и это невнятное бормотание било в сердце нестерпимыми ударами жалости и отвращения...

— Давно он так? — спрашивал иеромонах у женщины, выбиравшей из чашечки деньги, когда их накапливалось там много.

Она запахнула свою тощую, плохо прикрытую платком грудь и сказала:

— Попортился-то? Годов одиннадцать.

— Он тебе родственник, что ль?

— Нет, милый... сосед. Сосед он мне. Из одной деревни мы. И этот вон тоже из нашей деревни.

Рядом, в другой тележке, лежало неподвижно, не подавая признаков жизни, еще маленькое существо, сгорбившееся, все покрытое струпами и гнойными язвами от головы до ног.

Женщина приподняла грязную тряпицу, которой прикрыто было от мух лицо этого человека, достигшего «предела скорби». При виде гнойных болячек по всему лицу и белых наростов на редких волосах Егор почувствовал внезапную тошноту и задрожал вдруг мелкой дрожью. Иеромонах сокрушенно покачал головой, а толпа разом тяжело вздохнула.

— Пойдем,— сказал Егор отцу, безмолвно смотревшему на этих несчастных.

И уходя, они слышали, как женщина с распахнутой грудью говорила иеромонаху:

— Сорок один год... женатый...

У Егора кружилась голова и мутно было в глазах. Жилки на висках бились сильнее, и в ушах звенело и шуршало что-то бесформенное и беспредельное... Пот лился ручьями, попадал в глаза; соленая влага резко раздражала их и вызывала слезы.

— Батюня! я устал... давай сядем где-нибудь, — сказал Егор, готовясь захныкать.

— Некогда сидеть, чадушко, — возразил отец. — Иди-ка я тебя понесу...

Он взял Егора на руки и понес. Но Егор чувствовал, что отцу тяжело — он и без того утомился духотой, зноем и долгим хождением. Пот лил с него ручьями. Не только рубаха, но и пиджак на спине были мокры. А раскаленное солнце беспощадно жгло своими прямыми лучами и землю, и лес, и людей. Тени были коротки и душны, и пыль, поднявшаяся и остановившаяся в знойном воздухе, казалось, еще больше накаляла его... Толпы теснились у колодцев, тянулись руками к ковшам, жадно хватались за них, расплескивали воду, наливали ее в чайники, в бутылки, пили, мочили головы, умывались, бросали грязные, темные монеты в колодцы, молились на иконы, поставленные около них, истово крестясь и впиваясь в них неподвижным взором... Много скорбных молений возносилось тут к небу...

Опять какие-то странные звуки стали доноситься издали. Кто-то стонал и причитал, звонко, настойчиво, неотступно причитал... Эхо векового соснового бора, близко подошедшего к речке с обеих сторон, отражало и усиливало этот ритмический стон. Сквозь ровный и мерный поток этих причитаний, плывших поверх людского говора и смутного шума движущейся толпы, прорывался по временам громкий и дикий вскрик, и эхо, повторяя его, придавало ему неистово-дикие, удивительные оттенки, точно это кричал человек, моливший в последние минуты жизни о спасении...

Вот они ближе, эти громкие вскрики, это звонкое причитание.

Впереди, в одной рубахе — когда-то красной, а теперь от грязи оранжевой, — полз человек с маленькой клинообразной головой и с провалившимся носом. Голые сухие ноги его были уродливо сплетены между собою, и он подвигался вперед при помощи рук, как бы двигался на полозьях. За ним шел слепой человек с острыми чертами лица, белокурый, со свесив-

шимися на лоб волосами. Позади два мальчугана везли трехколесную тележку, в которой, прикрытый рогожами, лежал пожилой безногий человек, весь кишевший паразитами, лежал неподвижно, с закрытыми глазами, без признаков жизни.

Слепец, обливаясь потом, причитал звонким, приятным голосом:

От-цы на-ши, ма-а-те-ри...  
До-бры-е пи-та-а-те-ли...  
По-а-ма-ги-те, ба-тьюш-ки...  
По-а-ма-ги-те, ма-а-туш-ки...  
За свои-и гы-лаз-ки, о-чи...  
За сло-и вы руч-ки, по-о-ж-ки...

В его певучем, мягком речитативе слышались вздохи, всхлипывания... В иных местах как будто кто-то рыдал в бесконечной скорби, о которой с таким чувством и умением рассказывал этот слепец людям здоровым, счастливым своим здоровьем, возможностью свободно двигаться, работать, видеть белый свет и весь прекрасный божий мир... Слова были неярки, обычны, но в звуках этих причитаний было что-то могущественное и глубоко потрясающее, была жгучая тоска вечной темноты и безвыходного унижения, вечная, неутолимая скорбь отчаяния, вечного голода, нищеты, грязи, унижений, волчьей жадности, злобы и зависти...

А мы горь-ки-е ка-ле-ки...  
Мы не-счаст-ны-е ка-а-ле-ки...  
За-ро-ди-лись мы сты-рра-да-ти...  
С мо-ло-дых ле-тов блу-жда-ти...  
У-у-ми-ли-тесь вы-э на нас...

И среди этого складного, гармонического речитатива вдруг раздавался режущий ухо, дикий вскрик охрипшего и осипшего горла:

— По-а-дай-те, православные христиане! За упокой ваших родителей... всех сродников... — кричал ползущий на руках калека, и эхо отражало и усиливало этот крик, и в нем звучала не просьба, а настоятельное требование внимания к несчастью и горю обездоленных людей.

— По-дай-те, православные хри-сти-я-ни-и... сиротам безрод-ны-им!.. — гнусавыми и пронзительными голосами кричали вслед за первым калекой мальчуганы, катившие тележку, в которой лежало неподвижное, безногое существо. И эхо, повторяя этот крик, плакало голосом, полным страдания.

И здоровые люди, загорелые, бедные, нуждающиеся, у которых было свое горе, свои печали, останавливались, подавали монетки, крестились и уходили прочь, качая головами с сокрушенной мыслью о человеческом страдании, об его ужасе и гнетущей тяжести, об его неведомом таинственном смысле, сжимающем сердце страхом. Женщины плакали.

Вдали показалась часовня. Плотно сбившаяся толпа людей на расстоянии не менее четверти версты, телеги и тележки с больными, полицейские и солдатские патрули, две длиннейших вереницы богомольцев, стоявших без штанов и без подштанников, в одних рубахах, в ожидании очереди войти в купальню, — все это смешалось, двигалось, толкалось и угнетало теснотой, грубостью, грязью, неистовым стремлением вперед, вперед и вперед — туда, где горели свечи, очень много свечей, где одновременно бормотали что-то духовные лица и откуда по временам доносилось дьячковское козлогласное торопливое пение... Но другие звуки, пестрые, шумные, необычайные, заглушали и пение, и бормотание служителей молебнов и панихид. Из купальни — из женского отделения, главным образом — доносились неистовые визги; в толпе мычали и хохотали идиоты, вырываясь из рук провожатых; слышался детский плач. Бранились за очередь люди, стоявшие в одних рубахах; слышалась и брань обиженных, получивших толчки от полицейских: они, усталые, измученные, изнывающие от жары, озлобленные, наводили порядок только упрощенным способом — толчками и бранью...

Егор с отцом тоже стали в очередь. Долго пришлось стоять под этим ужасным палящим солнцем, в духоте и в пыли, слушая жужжание и крики людей, усталое и жалкое пение дьячков, созерцая дурачков, вырывавшихся из рук провожатых, изможденных больных, с страдальческим недоумением смотревших на это людское море, жаждущее помощи, облегчения и исцеления. Эти глаза безнадежно больных людей!.. Их не забыть никогда. Вон несут одного: голые ноги — как спицы... руки бессильно болтаются... голова качается на тонкой шее... черная бородка резко выделяется на восковом лице... И прекрасные, исполненные страдания, мольбы, жалостной покорности и робкой, но жадной надежды, глаза глядят с немым вопросом перед собой...

Ближе шепот воды и глухой плеск. Видна уже дверь купальни, куда входят и выходят богомольцы. Около желоба на лесенке стоит монах и наблюдает за происходящим внутри. Толпы любопытных заглядывают и в трещины, и в двери; тут же и женщины, заглядывающие во внутренность купаль-

ни и что-то оживленно рассказывающие. Детские и женские визги из женского отделения, лающие крики «бесноватых» раздаются тут еще звонче и оглушительнее.

Егор рассмотрел только большое количество голых тел, когда отец ввел его в купальню. Вода шумно бежала из желоба, сырая прохлада приятно охватила его вспотевшее тело, и по липкому грязному полу он, хромя, пошел под этот белый дождь, под которым крестились, ахали, плескались и стонали голые люди.

— Перекрестись, чадушка! Перекрестись! С молитовкой, с молитовкой, чадушка... Проси Боженьку, отца небесного, — говорил отец со слезами на глазах, сам голый и могуче сложенный.

Егор крестился и мысленно просил Бога, о котором всегда много и упорно думал, сделать его резвым и дать возможность снова драться на кулачках, ловить силками птичек, лазить по деревьям и скакать верхом на Киргизке.

Он хотел сначала подставить лишь голову, но отец легонько подвинул его вперед, и он попал под дождь всем телом. Холодные, как лед, острые струйки накрыли его и обожгли. Он ахнул и едва удержался, чтобы не взвизгнуть. Дыхание на мгновение перехватило какой-то волной, поднявшейся от сердца к горлу. Тело сначала загорелось, потом задрожало и покрылось мелкими пупырышками; потом стало хорошо.

— Буде! — сказал он, стуча зубами.

— Сотвори молитовку, чадушка... С молитовкой, — повторял отец, крестясь и становясь сам под желоб.

Оба они дрожали, одеваясь. Отец пытливо поглядывал на Егора и говорил:

— Рубахи-то белой не догадались взять... Ну как, чадушка, ножка-то?

— Ничего. Голова... стало лучше... — сказал Егор.

— Кабы Господь, отец небесный, ножечку-то... Кабы милость его неизреченная... Один ты у меня и остался... один-разъединный... Госноди! Оглянись на нашу немочь...

Они вышли из купальни, перешли мостик и сели на противоположном берегу речки отдохнуть. Весь берег был усеян отдыхающим народом; тут была тень и меньше пыли. Духота уже не чувствовалась после купанья, и было легче. Сразу потянуло в сон. В глазах пестрел противоположный берег. Входили люди, выходили назад мокрые, но неизцеленные, такие же калеки и идиоты. Кругом стоял говор. Говорили о чудесах.

Егор прилег головой к отцу на колени. Он уже не дрожал; рубаха высохла. Только голова была еще мокрая.

— Спать хочется, — сказал Егор.

— Отдохни, матушка, отдохни...

Сначала Егору виднелся весь противоположный берег. Потом он заколыхался и отодвинулся дальше. Перед глазами остался один мальчишка, лет шестнадцати, с надломленным носом и с красной болячкой на всей правой половине лица. Он сидел на берегу без портов, мычал, и слюни текли у него длинными нитями. Иногда он делал попытки проползти вперед, к воде, но мужик, сидевший спиной к Егору, хватал его за рубаху и удерживал на месте. Потом и мужик, и мальчишка заволоклись постепенно шумящим водяным пологом. Мелькнуло синее, сверкающее небо и зеленые облака сосен на нем. Потом все потухло, и осталась степь, звезды и шуршащая вдали телега...

### VIII

Когда отец разбудил Егора, солнца не было видно за деревьями. Тени протянулись через всю речку. Сосны противоположного берега еще грелись в солнечных лучах, но свежесть уже чувствовалась в воздухе.

Егор потянулся. Спать очень хотелось, опять болела голова, и в теле чувствовалось что-то вязкое и обессиляющее, лишающее бодрости. Но надо было идти.

Противоположный берег все кишел народом, и с трудом можно было пройти через ряды людей, ожидавших очереди в купальню. Егор с отцом пошли назад, к монастырю.

— Камень тут где-то, говорят, — сказал отец, — на каком он молился тыщу дней и тыщу ночей. Ну, это уж, верно, до завтра. А теперь пойдём-ка Алексея искать.

И они шли очень долго, хотя уже нигде не останавливались. Прошли монастырь, не заходя в него и направляясь к баракам, около которых останавливались в первый раз утром. Дорога показалась ужасно длинной. Опять у Егора разболелась голова и одолевала какая-то судорожная зевота. По временам дрожь пробегала по телу, потом становилось жарко, и чувствовалась сухость во рту. Хотелось пить... чего-нибудь кисленького и холодного, холодного...

Алексея они долго искали по баракам и не нашли. Наконец, он сам наткнулся на них — шел с чайником от берега речки, у которого кипел огромный куб с водой.

— Были? — крикнул он, бодрый и жизнерадостный, должно быть, выспавшийся. — Ну, теперь чайку. Я хотел было в бараке в одном, — нашел местечко, — но потом ушел: дюже



гребостно... Народ какой-то... всякий... и гнилой, и всякий... Лучше нет — вот тут, в лесу, на песочке. Тут много православных. Славно так... на вольном воздухе.

Он повел их через поляну, и за телегами, на опушке леса, они нашли свои узлы и временную квартиру. Кругом был народ. Спустился вечер. Пахло смолистым сосновым запахом, смешанным с густым запахом человеческих экскрементов и лошадиной мочи. Над речкой кое-где уже зажглись огоньки. Люди сидели и копошились около них.

— Да, — говорил Алексей, заваривая чай. — Святые-то дела явно совершаются. Говорят, слепая одна — девка годов восемнадцати — умылась святой водицей и прозрела. Глядит на солнышко, а глаза у ней-то мутные были, а то светлеют... Миру, говорят, около нее... Сколько денег ей накидали!..

Отец Егора вздохнул и сказал с глубокой грустью:

— Вот нам не довелось... Не сподобил Господь грешных... А хорошо бы своими глазами-то...

— Мне тоже не пришлось. В одном бараке тут мальчик исцеленный есть, говорят. Ногами не владел ничуть, а как трижды искупали его у источника, стал, говорят, ходить...

— Трижды? — переспросил отец Егора, слушавший с жадным вниманием.

— Трижды. Так говорили, — сказал Алексей. — Мне тоже желательно было взглянуть... Ходил, искал его... Ну, разве тут добьешься толку? Кто туда махнет рукой, кто — туда...

— Не нашли?

— Не нашел, нет.

Отец Егора судорожно вздохнул. Еще одной надеждой меньше стало. А Егор остался равнодушен: его знобило, болела голова и немножко тошнило. Слова Алексея летели как-то мимо, и некоторые он скорее видел, чем слышал, а другие проскакивали незаметными.

— Ну, Егорushка, чайку! Чайку, милой! — сказал Алексей, и голос его принял оттенок нежного участия, и Егор увидел и слова, и Алексея, который наливал крепкий чай из чайника в кружку.

Чай показался Егору невкусен. Он не допил своей кружки и отдал отцу.

— Ты чего же, брат? — спросил отец.

— Не хочу, — отрывистым, ослабевшим голосом проговорил Егор.

— Э, милый, так отощась, — сказал Алексей с веселым упрёком.

— Не хочу,— повторил Егор, пряча в карманы руки, чтобы согреть их.— Я озяб...

— Петрович, оденьте-ка его, а то в самом деле сыро... А то выпил бы, милый?.. а?

Опять нежно-ласковые, подкупающие ноты зазвучали в молодом голосе Алексея.

— Вот дед наш скоро подойдет от вечерни, дед... Он нам что-нибудь расскажет... Петрович, вы постелите-ка ему... У меня в узлу вон подушка и полушубочек... Постелите, а то он-таки и того... устал... пускай отдохнет... Ох-хо-хо... Народу тут больного — страсть!..

Когда отец разостлал между корявыми, толстыми корнями, вшившимися в песок, свой чесаный зипун и положил розовую старую подушку Алексея и его полушубок, свернутый вверх шерстью, Егор сейчас же лег, засунул зябнувшие руки в рукава и весь сжался. Тело его вдруг быстро задрожало, в суставах появилась зудящая и щекочущая боль, а в голове застучал деревянным молотком монах в черном шлыке, которого он видел за монастырскими стенами около старых деревянных кадок. Лицо у этого монаха было серьезное, деловое, мужицкое, и монашеская одежда вовсе не подходила к его слишком земному выражению.

Потом стало теплее, захотелось потянуться. Слюнявый дурачок, мальчишка в красной рубахе с голыми ногами, вылез из-за толстой сосны, замычал и засмеялся.

— Дурак... поганый,— хотел крикнуть Егор, но мальчишка вдруг страдальческим голосом запел:

О-а-тцы на-ши... ма-а-те-ри...  
До-бры-е пи-та-а-те-ли...

Потом пришел высокий слепец с кривой шеей и сказал своим глухим басом:

— И лучше нет, как кто на Господа Бога уповаает... Лучше всяких лекарств...

— Это верно,— сказал очень знакомый голос, и кто-то вздохнул над самым ухом Егора.

Егор открыл глаза. Над ним наклонился отец и глядел на него пристально и тревожно. Шагах в пяти горел огонь. Около него сидели Алексей, дед и еще два каких-то незнакомых старика. У одного лицо было медно-красное от загара, глаза почти закрыты, а белые брови приподняты, словно он был чем-то навеки изумлен. Другой как будто был похож на того странника в монашеской одежде, который ехал под лавкой вагона.

— Ну как, чадушка? — спросил отец Егора.

- Ничего.
- Согрелся?
- Да.
- Может, поел бы чего? Бурсачика ай яичка?
- Не-ет... Так — хорошо...
- Ну, лежи, мой славный, лежи. Одеть? Я одену.

Отец прикрыл его какой-то одеждой, пахнувшей сосновыми стружками, и отошел к огоньку. Егор закрыл глаза, но спать не мог. Опять открыл. Огоньки виднелись кругом: у края леса, над речкой и на поляне, и около них неподвижно сидели или слабо шевелились люди. И было приятно смотреть на это мигающее, живое золото на черной эмали ночи. Что-то объединяющее, согревающее и уютное было в этих дрожащих и прыгающих язычках пламени, и задумчивые, усталые лица людей казались теперь новыми, интересными, необыкновенными...

Тихий, колеблющийся, пестрый, разноязычный говор плывал в неподвижном воздухе. От телег доносилась растянутая мордовская речь, сбоку — быстрая, сухая, прыгающая речь цыган, и в темноте чудился загорелый, смугло-бронзовый, крепкий народ в пестрой одежде с блестящими погремучками. Мягкий малороссийский язык и короткий смех переплетался с волжскими наречиями, и все эти смешанные звуки шуршали, сыпались, прыгали и плавали вокруг головы, в которой тихо стучал молотком монах в черном шлыке. И было все так странно, необычно, ново, все казалось фантастическим, точно сказочный мир, в котором огни горят, котлы кипят... И вспомнилась Егору далекая родина, мать... милая маманя... и сердце сжалось от грусти и непонятного страха...

Что-то рассказывал дед Симоныч. Его подстриженная седая борода шевелилась и прыгала, а слова мягко шуршали, вылетая, поднимались вверх и падали, немножко странные и не всегда знакомые.

— Ей доктор дул трубкой у ноздри. Казал: «Коли у голову подует, поправишься; а коли у сердце стукне, усе равно — не будешь слышать». Так ни: у сердце вдарило...

— Не верю я этим дохтурам, — сказал старик с красным лицом. — Все от Господа — и жизнь и смерть... И нищая братия, и богачи, и царие земстии — все в равном достоинстве. Ведь Господь, отец небесный, он святым апостолам велел написать, и они написали: «Жить будешь на белом свете да помнить отца небесного, и на свете будешь жить долготен, никто тебя не укусит... А коль укусит, зубы поломает...»

Вероятно, сердитый был старик: говорил он тоном суро-

вым, точно кто обидел его, и голос у него был толстый и лающий.

Что-то еще говорил дед, вспоминая давние времена. Потом рассказывал странник с длинными волосами какую-то длинную историю о толстом монахе, продававшем свечи и скопившем себе капиталец в сорок тысяч. Под этот рассказ Егор задремал. Снились ему пестрые толпы народа, проходившие над ним или сбоку — с смутным говором — и не замечавшие его. Обессиленный, он лежал в каком-то бурьяне, чувствовал горячее дыхание солнца, рой мух, которые жужжали и вились над головой, — у него было теперь несколько голов, и в каждой без усталости, упорно стучал мужик в черном монашеском шлыке. Хотелось пить, хотелось прохладной тени и тишины. Он кричал, но сам не слышал своего голоса, — жужжащие толпы слепых, хромых, бесноватых шли, шли и шли как раз над ним, а мужик в монашеском шлыке продолжал упорно бить молотком в кадку... Прополз к речке, двигая ноги вперед, слюнявый мальчишка-дурачок и стал пить, припавши к воде лицом. Как противно было Егору пить из одной реки с этим поганым мальчишкой, но он не мог бороться с жаждой и пополз, также двигая вперед ноги... И проснулся.

— Это не божьи люди, — говорил голос странника с длинными волосами, и Егор бесповоротно решил, что это должен быть тот самый старичок, который ехал с ними в вагоне. — Теперь почти на третью часть народ сатане служит. «Двум царям, — говорит, — служим на белом свете, да два духа над ними...» Умножилось такого народу — страсть! «Бога нет, — говорят. Хм... нет Бога... Хотели против них огонь открывать, а царь говорит: «Чего против них огонь открывать? Какие они воины? Сколько православных из-за них погубишь... как разберешь? Они наши же, русские... Я их найду чем наказать: как Бога нет — нет им и матушки сырой земли! Сажайте их в Суздаль, в каменные мешки!..»

— В мешки? — сказал сонный голос Алексея у самого уха Егора.

— В каменные мешки... да. А каменные мешки — это, стало быть, в Суздале... шесть мешков. Вот это, стало быть, стена, а это — другая, а это ишло стена... А тут дверь и над дверьми слега. И три зарубки. И как на первую зарубку поднял, так дверь к этой стене прижмет. А как на вторую зарубку — так эти стены сомкнутся, и все кости захрустят... У-у, трудная смерть!.. Со мной солдат один ходил. «Трудней этой смерти, — говорит, — и нет никакой. Что это за смерть — расстреляют или повесят? Закроют ему глаза, он

и не видит: пуля летит... она его враз! Или скамейку примут, он и — готов... А тут — мука...» Два миллиона их туда... Вот смерть...

— Мати Божия говорит,— пробурчал старик недовольным голосом:— кто на свет родился, христианство принял, моим словам не дерзал, кого — хучь што — избавлю муки вечной, огня горячего, воды кипучей...

Никто не возразил. Тихо было. От телег донеслось два раза фыркание лошади. Огонек догорел. Чуть краснели два уголька в золе. Рядом с Егором лежал кто-то, уткнувшись лицом в шерсть полушубка,— должно быть, Алексей. Странник с длинными волосами сидел, как и раньше, спиной к Егору, а недалеко от него лежало три тела поближе к огню. Погасли огоньки и на поляне, и над рекой. Вверху звездочки, сквозь густое кружево сосновых веток, мигали и звали к себе. А лес стоял огромный, неподвижный, немой и угрюмый. Он давил своим безмолвием, и тоскливо вспоминало сердце о звуках просторной жизни, о разноголосом звоне степеней, о движении и шуме трудовых людей, об их радостях и заботах, страстях и борьбе...

Какие люди скрывались здесь? И неужели их не угнетало вековое молчание этих великанов, которые сами тянулись к свету и рвались на простор? Неужели сердце их не тосковало, вспоминая грешные и милые песни жизни? Неужели звезды, жмурившиеся своими золотыми ресницами в неясной и бурной глубине прозрачного неба, ничего не говорили им о просторе и жизни степеней, не напоминали об ее милых музыкальных жителях, неумоимо игравших в траве?..

И заплакал Егор от тоски, вспомнив милую, далекую родину, прекрасную родную степь... Сначала тихо и дружно полились слезы, потом подступили рыдания, и он вслух выговорил: «Маманя!..» Проснулся отец и, оглянувшись быстро и с недоумением кругом, спросил тревожно:

— Ты чего, чадушка?

— Голова,— прошептал сквозь слезы Егор.

Отец сел и, еще не проснувшись окончательно, сказал:

— Захворал? Ишь, горе наше... Дрянь дело...

— Дай пить.

Странник с длинными волосами перегнулся через два лежавшие у потухшего огня тела и достал чайник. Егор жадно потянул крепкий, с металлическим вкусом, холодный чай и упал на подушку. Он дышал тяжело, а в голове стучал молотком монах, и странник стал пилить доски в ушах. Было жарко и хотелось раздеться, но отец укутал его

и сидел над ним, молчаливый, усталый и встревоженный, пока он не уснул.

Он проснулся, когда было уже светло. Не было деда Симоньча и странника: они ушли к заутрени. Алексей готовил утреннюю трапезу: нарезал ситного хлеба, достал мягкие сливы и яйца, выложил сахар. Чайник уже стоял на разостланной сумке. Отец, должно быть, только что умылся и стоял теперь лицом к монастырю, молился. В некотором отдалении сидел старик с медно-красным лицом. За плечами у него была котомка, и постромки ее перекрещивались на его груди.

— Ну что, милый? Проснулся? — ласково сказал Алексей, заметив, что Егор глядит глазами.

Егор слабо улыбнулся ему. Отец кончил молиться и сказал:

— Вставай, чадушка. Чайку... Пройшла головка?

— Болит, — сказал Егор, поднимаясь и чувствуя зябкую слабость во всем теле.

— Вот беда: захворал парнишка, — сказал отец, обращаясь к Алексею.

— С глазу, — сказал угрюмо старик.

— Ничего. Вот к святым местам сходите, приложите, все пройдет, — сказал Алексей с уверенностью. — Теперь уже недолго... девятнадцатого... послезавтра.

— Да-а, девятнадцатого! — возразил старик, и опять в его голосе слышалась обида. — Так тебя и пустят. Гляди, хромых, слепых... какие с провожатыми калеки... А ты до 22-го жди. На ранней обедне вчера вычитывали: 19-го военные, старшины и чины, а чернь с 22-го...

— Толкуй там! А афишка-то... Сказано: 18-го ночь и 19-го.

— Не надеюсь я. Я уж тут две недели живу... вот... весь проелся...

— Две недели! — воскликнул с добродушной иронией Алексей. — Без ума-то хорошо жить... хочь бы и год... А шел бы по деревням, все чего-нибудь и дали бы...

— Дали бы... Теперь в деревнях по четыре копейки за ночное берут... Миру-то вон сколько!..

Напились чаю. Егор опять не обнаружил никакого аппетита и не допил кружки с чаем, как ни упрашивали его отец и Алексей. Чай казался кислым, а яйцо он еле прожевал.

— Батюня, дай старику... — прошептал Егор отцу, ложась на подушку. Ему было жаль этого старого и, верно, голодного человека, который сидел теперь спиной к ним, не глядя

на их еду, но в самой позе его чувствовалось, что неотступная и жгучая мысль у этого человека одна: дадут ли ему поесть или нет?..

— Старичку? Ну, ну... мы его покормим... покормим, чадушка, — мягко заговорил отец. — Ты покель полежи. Алеша, дадим старичку кружечку... Он — человек странный...

Алексей, не спеша, допил свою кружку, молча съел помятые сливы. Одну, почти совсем негодную, он долго молча осматривал и отложил в сторону. Потом достал небольшой кусок сахара и остаток несколько заветренного ситного хлеба.

— Можно и старичку, — сказал он, наконец, тоном высокого покровительства. — Ну-ка, дедушка, подвигайся.

Дед крикнул, обернулся, сделав сначала лицо как бы не понимающего человека, потом расцвел улыбкой, обнаруживая три желтых зуба, и сказал:

— Вот спаси Христос... Горяченького-то я давно... не того...

Он подсел с трудом, согнув свои колени, и с торопливостью давно не евшего человека принялся за чай и хлеб.

— А много годков, дедушка? — спросил отец Егора, внимательно глядя на то, как старик с усилием прожевывал размоченную корку ситного хлеба.

— Мне-то?

— Да.

— Без году девяносто.

Алексей посвистал.

— А на вид ты еще ничего... молодец, — сказал он, поглядывая на согнутые в дугу плечи старика.

— Хе-хе... Нет, золотой, плохо... подшибает старость...

Старик с трудом прожевал и остановился отдохнуть.

— Глазами туп стал, и ноги не того... — сказал он, вздыхая от усталости. — Годов двадцать, а может, и поболее хожу вот... Мне и то вот господа говорили: «Чего ты, дедушка, ходишь? По-настоящему, тебе пенсиен должен идтить». Я и говорю: «Да вы дайте мне его, пенсиен-то. Я бы нанял себе фатерку за пятьдесят копеек, поселился бы, где церковка есть, сходил бы к обедне-утрене... А то мне ходить... без году девяносто... Где-нибудь в чистом поле... без покаяния... и душу отдашь так-то...»

И он снова принялся мочить хлеб в кружке крепкого чая... Борода его проворно прыгала, когда он жевал; на лице было сосредоточенное, почти угрюмое выражение, а на худой шее и около ушей шевелились и работали все кости...

Через полчаса пошли в монастырь. Вещи Алексей пристроил на хранение какой-то больной женщине, лежавшей неподалеку на тюфяке. Идти теперь было очень тяжело. Егору казалось, что он несет на себе несоизмеримую тяжесть. Он задыхался и останавливался, задерживая отца. Пот лил с него, но было холодно, болела голова, билось сердце, бились жилки на висках, тошнило, и в глазах иногда качалась и проползала речка с зеленой водой и тростником.

Опять отец взял его на руки и понес. Было еще не жарко, и он нес легко, изредка испуская долгий вздох. В монастыре по-прежнему было многолюдно, пестро и шумно. Под руководством Алексея обошли все святые места. Прикладывались вслед за другими к запечатанным дверям церкви, у которой были завешаны окна. Посмотрели на искривленную и изуродованную женщину, поги которой свились почти в клубок; ее тоже принесли к этим запечатанным дверям приложиться. Она корчилась и что-то невнятно бормотала странным, подвывающим голосом, и толпа смотрела на нее с изумлением ужаса и глубокого сострадания.

— Завтра победишь у нас, милая, — говорила, утешая ее, какая-то богомолка. — О. Серафим вылечит. Вчера вылечил одну. Да и не одну... Двести девять исцелений уже было...

Потом подводили бледных, с измученными лицами женщин. Они истерически рыдали, конвульсивно бились в руках провожатых, выкрикали и визжали. Что-то говорил или читал монах над ними. Толпа кругом росла, безмолвная и пораженная этими воплями, в которых звучали невысказанные, тайные муки, долгое острое страдание и отчаянная скорбь темной, безрадостной жизни...

— Теперь келью глядеть, — сказал Алексей и повел их в новую большую церковь, только что отстроенную. Внутри ее бабы в калошах мыли пол. Самой кельи видеть было нельзя — не пускали. На часовенке, которая закрывала ее, был изображен старик в длинной белой рубахе и в лаптях. Он сурово смотрел на баб, мывших пол, и на богомольцев, подававших монаху свечи. Носился тяжелый запах огарков, сырости и грязных человеческих тел.

Пришли солдаты и городовые, очистили церковь от богомольцев и стали перед входом в две шеренги. Кто-то ожидался. Толпа надвигалась и протиснула Егора с отцом к деревянной решетке, в тень, падавшую от церкви. В тени было прохладнее и дышалось легче. Небольшой человек с белокурой, взъерошенной бородкой и с острым лицом, оказавшийся рядом с Егором, говорил учительным тоном, ни к кому не обращаясь:



— Вот. Он его прославил, Господь... Сколько миру!.. Угодны Господу были дела его, а он о мирском не хлопотал... Он прославил, чтобы мы понимали... да. А мы все о мирском. Все рововим, чтобы побольше... Об мирском не хлопочи! Бог знает, чего кому надо. А ты отдавай всегда хоть малейшую (он показал на палец) частичку Богу. Много свечей не носи, а понеси одну, маленькую, а что лишнее — дай бедному, нищему, просящему. И Бог тебе воздаст... Ты и знать не будешь как, а он тебе даст: и в воде, и в припеке будет у тебя прибавка... Главное — в чистоте сердца... Богатый — он много несет, а как ишло это Господь примет — мы не знаем... да. Тоже и начальство: брюхаты больно стали... Господь доберется и до них!

Он снял картуз, поскреб взъерошенную голову и, оглянувшись вокруг себя, присел на ступеньку входа.

— Я говорю по слову Божию... Другие прочие от чрева своего, а я по слову Божию говорю... — сказал он.

— Ну, ты!.. Пошел отсюда! — крикнул на него стоявший рядом солдат.

— А я тебе что? — вызывающим тоном, вполуборот глядя назад, сказал взъерошенный оратор.

Солдат сердито покосился на его взъерошенную фигуру.

— Тебя, брат, поставили, ты и стой на своем месте, — продолжала эта фигура. — А я не боюсь никого... не-е-т! Я Госнода моего...

Он сделал движение по лбу правой рукой, некое подобие креста.

— Одного Госнода! — произнес решительно он и, потрянув головой, стал совсем похож на ерша.

— Разговорился тут... Рассказчик! — иронически и злобно сказал солдат.

— Я, брат, не побоюсь! Я сам знаю свое место. А тебя поставили, ты и стой... С места даже тронуться не моги! — не без иронии прибавил оратор, продолжая сидеть на ступеньке.

— Горячих захотел? — сказал солдат угрожающим тоном.

— Я знаю Госнода моего...

И опять взъерошенный человечек сделал десницей жест по лбу, и во всей фигуре его была видна непреклонная решимость упереться на месте. Солдат сначала посмотрел на него с грозным недоумением, потом надвинулся. Понеслись звуки возни. Толпа заколыхалась. Опять Егора с отцом приперли к решетке, сдавили, потом вытеснили из тени на солнцепек. У Егора скоро закружилась голова, и он упал.

Очнулся он уже за монастырем, в каком-то чулане с земляным полом; рядом, вероятно, была конюшня, потому что оттуда доносились фырканы и топот лошадей и пахло конским навозом. На концах широкой лавки, на которой лежал Егор, сидели отец и Алексей.

— Пить, — сказал Егор и не узнал своего голоса.

У отца был растерянный вид. Озабоченность была и на лице Алексея.

— Мой совет: опять к святому источнику... — говорил Алексей вполголоса. — Авось Господь оглянется.

Отец вздохнул, потом заплакал. О чем он заплакал? Поколебалась ли вера его, которую он бережно лелеял в душе? «Просите, и дастся вам!..» Он ли не просил?.. Он верил в эти ободряющие слова и просил, просил всегда страстно, горячо, со слезами, неотступно просил милости... У него уже умирали дети... Егор оставался последний... И было что-то непонятное и страшное в мысли о полном бесилии перед таинственными, непонятными предначертаниями...

— Ну, так чего же время терять? Идем! — сказал Алексей. — Бодро, кавалерийским шагом... а?.. Ты как, милый? — обратился Алексей к Егору с своей особенной, привлекательной лаской. — Ничего? Вот к святому источнику опять ходим, искупаемся. Там есть чистая половина, для господ... Мы в нее... попросим... там — ничего, пускают...

И снова Егор увидел вчерашнюю дорогу, нищих, больных, слепых, хромых и уродов. Опять в знойной пыли жужжала и быстро двигалась перед ним живым потоком толпа. Но больная, утомленная голова его, лежавшая на плече отца, не могла уже наблюдать. Он безучастно смотрел на этот движущийся и шелестящий людской поток и только одного хотел: скорей бы домой, к матери... И самое большое и желанное чудо было бы, если бы он мог очутиться сейчас дома, в тени, и съесть пирожок с вишней — вкуснее он ничего не едал в этой чужой стороне.

Алексеем удалось выговорить разрешение искупать Егора на «господской» половине купальни. Но купать его не стали, а лишь помочили голову. Потом отдыхали в лесу. Егор метался в жару и часто просил пить. В бреду он звал мать. Отец сидел над ним, беспомощный и убитый горем. По совету Алексея, он отслужил у часовни молебен о здравии болящего отрока Георгия, поставил несколько свечей, долго молился Богу. Когда он возвратился к Егору, то Алексей сказал решительным тоном:

— Нет, Петрович, везите-ка его до дому... А там что Гос-

подь даст. А то плох хлопец стал... Горячий, как огонь...

— Я и то думаю так...— сказал отец, и они снова поочередно понесли Егора назад.

Егор смутно помнил, как его принесли к тому месту, где они ночевали, как его клали на большую телегу, устланную соломой. Кучером была высокая баба в сарафане или в рубахе — в странном мордовском костюме. Алексей заботливо укрывал какими-то одеждами, мочил голову святой водой, потом мазал каким-то маслом и что-то говорил ему, но что — он не понимал, хотя и отвечал иногда, повторяя его слова. После Егор часто вспоминал о своем кратковременном друге и скучал, а тут ему было все равно.

День уже погасал, когда телега выехала из лесу на Арзамасскую дорогу. Ехали шагом. Тихо качало. Пыль относил ветерок в сторону. По бокам дороги везде шли, стояли, сидели и лежали люди.

Тихая качка усыпила Егора. Раза два ночью он просыпался. И странные, уродливые видения вставали перед ним и пугали его. Он плакал. Но когда отец, утешая его, напоминал, что они едут домой, он радостно засыпал снова.



## ВСТРЕЧА

Мы снова встретились.

Не так давно мы восседали с ним рядом на депутатских креслах. Это — в первый месяц существования нашего парламента, когда еще не было размещения по партиям, а была группировка областная. Сели тогда вместе и мы, восемь представителей донского казачества: священник, два учителя, юрист и четыре урядника. Он был в числе этих четырех урядников. Урядником предстал он передо мной и сейчас, но уже урядником, совмещавшим в себе, так сказать, два естества: чин (унтер-офицерский) и служебные полномочия (полицейского урядника). На нем красовался полицейский значок, а официально, в станице, числился он исправляющим должность помощника полицейского пристава. Все урядники Донской области не без зависти говорили о нем:

— Далеко шагнул!..

Встретились мы тепло и радушно, как старые товарищи: широко улыбались, приветливо кивали головами и долго молча жали друг другу руки. Не знаю, от полноты ли чувств мы молчали или оттого, что не о чем нам было говорить. Дороги наши разошлись еще там, в Думе. А теперь, в зале суда, мы фигурировали, можно сказать, на противоположных полюсах. Я, вместе с одним казачьим офицером, сидел на скамье подсудимых. Он, мой недавний сотоварищ по Государственной Думе, имел сесть направо, на скамью праведников, где с чувством собственного достоинства поместился его ближайший начальник, полицейский пристав. И должны они были свидетельствовать на нас и обвинять нас в устройстве митинга, в произнесении речей преступного содержания, в возбуждении умов и во всех смертных грехах.

Вероятно, поэтому рукопожатие наше хотя и было длительно, но совершалось в безмолвии. Я находил это вполне естественным. Но он, по-видимому, был другого мнения и намеревался что-то сказать. И все-таки пауза тянулась скандально-долго. Многочисленная публика, явившаяся на первый в станице «политический» процесс и смотревшая на

нас, как на недавних героев, начала уже хихикать. Мы это слышали и оба испытывали некоторую неловкость.

— Ну, как поживаете?— спросил он, наконец.

— Как видите.

Я показал в сторону скамьи подсудимых. Он постарался сделать грустное лицо и выразил соболезнование:

— Да, нашему брату теперь не того...

— Ну, вашему-то брату еще ничего, а вот нашему, действительно, не того...

Он выпустил мою руку, но не отошел. С несколько комическим видом сокрушенного скорбью друга он упорно продолжал стоять передо мной. Сесть на скамью подсудимых, на которой я сидел, для него было, очевидно, не совсем удобно, и он прислонился плечом к стене. Потом, слегка нагнувшись в мою сторону и принявши вид заговорщика, сообщил вполголоса:

— Но и мое дело — хуже требовать некуда... Эта Дума, — будь она неладна! — она мне долго будет в памяти. До Думы я человеком был, а теперь стал так... кто его знает чем... пролетарием каким-то...

— Да что вы?!— искренно изумился я.

И с особенным любопытством и вниманием окинул я взором своего старого сотоварища, наивно предполагая обнаружить какие-либо внешние признаки принадлежности его к пролетариату.

— Ей-богу, не брешу!— сказал он искреннейшим тоном и перекрестился в доказательство. — Разорили кругом, долга разорили... То есть окончательно, в разор, как говорится... Двух лошадей увели, пару быков угнали, домашность всю растащили... Все, все до клочка растащили!

— Но кто же? Кто?— остановил я его торопливую речь вопросом.

— Любезные сограждане... станичники... Эти самые — как их?— сознательные, как говорится...

— За что же?

— За Государственную Думу.

— Не может быть?!

— Однава дыхнуть!— внушительно и с достоинством проговорил он.

— Не понимаю...

Он поглядел на меня долгим, затуманенным взором и качнул головой. Этот жест упрекал меня за мой скептицизм.

— Этого мало... Сколько несчастий за это время на мою голову свалилось: отец помер, мать заболела, четыре месяца пролежала, старший сын помер. Жене с остальными детьми

пришлось уехать из станицы. Все бросила и уехала в Царицын.

— Почему же?

— Так же самое: грозили. Вся станица... да что станица! И другие станицы грозили... А чем она виновата, что муж в Думу попал?

— Вина небольшая.

— Да то-то...

Он пожал в недоумении плечами и, приложив руку к сердцу, продолжал еще более пониженным голосом:

— Чистосердечно вам скажу: я и сам ехать не хотел. Я являлся тогда к наказному атаману. «Ваше сиятельство! Я, говорю, не желаю... У меня пять человек детей, а там вон, говорят, взрыв готовят революционеры... По этому случаю я не могу в Думе соответствовать: дети сиротами останутся, невинные души...» Так нет! Уговорил. «Нам,— говорит,— такие-то представители и дороги. Как можно! Вы — истинный сын тихого Дона. На вас мы вполне полагаемся, и надеюсь, вы оправдаете наши ожидания». — «Постараюсь,— говорю,— ваше сиятельство». — «А вот,— говорит,— насчет ваших сомнений, то даю вам отпуск на три месяца. Там посмотрите: не понравится — назад приедете». Я и поверил. А опосля слышу, зык идет: Думу разгонят... Пишу сейчас же прошение к окружному: восстановить меня в должности станичного атамана. И — ни одной строчки в ответ!..

— Не восстановили?

— Нет.

— А как же Васильев?

— Васильев... для него особый закон: он и революционером в Думе погрозил, и хорунжия получил, и атаманское жалованье огребает. Он и во время Думы двойное жалованье загребал: за Думу и атаманское. Ему от начальства особое уважение...

— Заслужил, вероятно?

— Заслуги-то у нас равные, как вы сами знаете.

Я не мог не согласиться с этим утверждением. Собеседник мой был совершенно прав. Тем менее понятно было для меня неодинаковое отношение начальства к тождественным заслугам подчиненных, не обманувших надежд, на них возлагаемых.

— Но почему же вас в хорунжие не произвели?

Он развел в недоумении руками.

— Вот подите же. Взгляд начальства такой...

Мы помолчали. Осуждать начальство вслух как-то неудобно, и мы наказали его демонстративным молчанием.

— Обижен я, Ф. Д., до конца обижен, — скорбно сморщившись и еще ниже наклоняясь ко мне, почти шепотом заговорил он снова.

Букет казенной винной лавки, которым он обдал меня при этом, давал основание предполагать, что горькая обида уже врачуется известным русским средством.

— Вижу я, нет правды и в начальстве. Я думал, революционеры для своей выгоды ругают начальство, а вот сам вижу: нет правды! Куркин, например, в хорунжие произведен, а за что? Чем он против меня достойнее?

— Затруднительно сказать.

— Ну этого, по крайней мере, два раза уже били, — громко, радостным тоном прибавил он.

— Кто?

— Все те же любезные станичники.

Мой собеседник неожиданно повеселел.

— Неужели даже били? За что же? — спросил я с нескрываемым изумлением.

— Темень! Гармилы, сукины сыны!.. За то же, за что и меня обвиняют. Ведь что выдумали? Будто я билет свой продавал! И будто мундир свой давал надевать за деньги жиду. И жид, дескать, в моем мундире выходил говорить...

— Откуда они это взяли?

— А черт их знает! Из прокламаций, я думаю. Прокламации теперь рассылают станичным правлениям и попам. Дескать, Дума жидовская была, жиды кажному члену по пятьдесят тысяч дали, чтобы говорили в их пользу.

— Но прокламации этого сорта едва ли вас имели в виду...

— Да разве наша пихра поймет? Начальство, конечно, в этом случае понимает правильно. И в приговорах, например, оно нас одобряет... А вот они... их же выборные приговоры подписывают, они же нам и грозят... Наш генерал и разъяснял, и настаивал — ничего не действует! Тупо. Пока всего две станицы написали. Из восемнадцати — две... Страм сказать! В прочих округах дружной. Даже государь император положил: «Весьма похвально»...

Он отвернул полу чекмена и из кармана шаровар с лампасами, в которых казацы урядники так похожи на генералов, достал небольшую кипу бумажек. Порывшись в них, он вынул литографированный листок и подал мне.

— В этом вас не поименовывают, — сказал он, — а в других прочих не того... не хвалят... Что ж делать? Промашку вы дали. Не следовало тогда трогать этот казачий вопрос. Все равно ничего доброго не вышло. Мы сказали: «Пускай будет, как есть. На то есть воля начальства. Какие же мы

граждане, если начальству подчиняться не будем? Вот нас за это и одобряют все господа...»

Я просмотрел поданный мне моим собеседником листок. Это была копия одного из тех приговоров, которые всякими способами добывались у станиц окружным начальством с целью ввести в заблуждение другое, более важное начальство, обеспокоенное брожением среди казачьего населения. Целый ряд подобных приговоров изрекал нам анафему, — мне и трем моим товарищам, — за то, что мы внесли в Государственную Думу запрос о законности нынешней доблестной службы казаков внутри империи. И, несмотря на эту анафему, нас, крамольников, ждали всюду по станицам, нас окружали тысячи простых людей, просили говорить о Думе, слушали с трепетно жадным вниманием каждое наше слово и, в конце концов, предлагали защиту на случай ареста, предлагали сами, по собственной инициативе.

В тех же приговорах велеречиво, былинным слогом, восхвалялись доблести моего собеседника и его трех товарищей за их «истинно казачий» дух и вернопреданные начальству заявления в Думе. И вот, не без удивления узнаю теперь: казачий дух, торжественное выражение официальной признательности и... «уже два раза били»... Я, конечно, знал, и не только я — все знали, что никто из тех лиц, кто заставлял писать подобные приговоры, кто любезно предлагал готовые черновики, кто подписывал их, — никто из них ни в грош не ставил подлинное их содержание. Но кому-то они нужны были. Кто-то основывал на них свои виды и соображения, конечным завершением которых, вероятно, была отметка: «Весьма похвально» и соединенные с нею реальные выгоды. И потому сообразительные генералы — из тех, которые, подобно щедринскому майору Прыщу, «в сражениях не бывали, но в парадах закалены даже сверх пропорции», — из кожи лезли, стараясь об умножении подобных приговоров. В том листке, который я держал в руках, значилось буквально следующее:

«Окружной Атаман Усть-Медведицкого округа станичным атаманам Усть-Медведицкого округа.

Перекопской станичный Атаман от 6-го сего Сентября за № 2072 представил приговор станичного сбора от 27 Августа сего года за № 177 с выражением верноподданнических чувств Его Императорскому Величеству по случаю роспуска Государственной Думы следующего содержания: 1906 года Августа 27 дня. Области Войска Донского станичный сбор Перекопской станицы Усть-Медведицкого округа в составе председателя сбора Станичного Атамана урядника Смертки-



на и явившихся на этот сбор, из общего числа 120 должностных лиц станичного и хуторского управлений и выборных общественных представителей, имеющих право участвовать на станичном сборе, наличные 82 членов, выслушав сего числа Высочайший манифест от 9 Июля с. г. о роспуске членов Государственной Думы, вследствие уклонения их от путей, предначертанных Его Величеством, для обновления народной жизни и став на путь неправильный, возбудивший народные страсти, отчего пошли еще большие неурядицы, разбой, грабежи, убийства и всякого рода насилия, подвергнувшие наше отечество разорению и гибели. Такой ненормальный поступок народных представителей удивил всех истинных сынов России глубокой скорбью, поразил сердце возлюбленного Монарха, пограл все намеченные им великие преобразования в дорогом отечестве. Многие, позабыв Божеские человеческие законы, дали полный простор своей дикой воле, стремятся все исторически веками сложившееся разрушить и истребить; смотря на таковой поступок отщепенцев земли Русской, душа содрогается и сердце обливается кровью. Великий Государь, твое сердце глубоко поражено необузданной дикой волей тех отщепенцев земли Русской. Верь, Государь, что скорбью твоей скорбят все истинные сыны отечества. Мы, сыны тихого Дона, верные слуги тебе, престолу и отечеству, также до глубины души возмущены их поступком; нас называют: крамольниками, опричниками, черносотенцами, погромщиками и т. п.; но нас, верных твоих слуг, не смущает изрыгаемая на нас клевета, а более укрепляет в нас любовь и верность Тебе, твоему престолу и родине. Мы, слабые телом, но мощные духом, говорим тебе, Государь, устами исторических спасителей земли Русской. Великий Государь, отец многомиллионного народа! верь, что на Святой Руси много есть еще верных сынов твоих, которые, сплотившись, сумеют подавить крамолу, водворить мир и спокойствие в родном отечестве. Крамольники и отщепенцы земли Русской! да будет вам ведомо, что вашей адской затеи скоро настанет конец и воли должное возмездие, на Святой Руси есть еще Илия Муромец и другие богатыри; они сумеют разрушить ваш адский план, водворить мир и спокойствие. Настоящий приговор наш поручаем станичному правлению представить Окружному Атаману и просить повергнуть к священным стопам Его Императорского Величества наши верноподданнические чувства, беспредельную любовь и преданность Его Императорскому Величеству, престолу и дорогой России.

Находя сочувствие станичного сбора, выраженное в при-

говоре за № 177 достойным внимания, предлагаю приговор этот прочитать на полных станичных и хutorских сборах. От души благодарю Перекопскую станицу за казачий дух и твердую преданность нашу обожаемому Царю-батюшке. Подписали: генерал-майор Широков, секретарь Сухов».

— Что же, неплохо,— сказал я, отдавая листок назад своему собеседнику.

Он вздохнул. Не согласиться со мной в этом пункте было неудобно, но и подтверждать высокие качества этого документа, в бесполезности которого он — так же, как и я — не сомневался, представлялось ему излишним.

— Есть и лучше,— уныло проговорил он и опять вздохнул.

— Остается благодарить начальство, а вы осуждали...

— Да! благодарить! — с горькой иронией повторил он. — Будь я теперь, например, станичным атаманом — так ведь это что же такое? Главнокомандующий — и только! Жалованья одного — девятьсот. А там того-сего... вы, конечно, знаете наш быт. Опять — в своем доме живу, за квартиру не платить, за дрова — тоже. Воды в Дону сколько угодно... А тут вот и за воду плачу...

— Но я читал в местных газетах, что войсковой атаман принял в вас особое участие.

— Что войсковой атаман! Идти надо к атаманыше, а не к атаману... Войсковой атаман лишь в убытки ввел.

— Но писали, что вам было предоставлено какое-то важное место — не помню... Еще прибавляли, что вы, как нижний чин, не имели прав государственной службы, но во внимание к особым заслугам и прочее...

Он махнул рукой и криво усмехнулся.

— Да, действительно, был такой факт, брехать не стану...

Оглянувшись с некоторым опасением в сторону своего начальника, он осторожно присел рядом со мной, на скамью подсудимых, очень близко, так что я уже все время чувствовал букет казенной винной лавки. Говорил он теперь совсем секретно, шепотом, но по временам некоторые фразы или отдельные слова произносил неожиданно вслух и очень громко.

— Потому что я явился к наказному атаману и говорю: «Ваше сиятельство! послали вы меня в Думу и сделали из хозяина пролетарием... хуже бы, да некуда!..» Рассказываю подробно, как увели у меня двух лошадей, пару быков, все имущество растащили. «Ну, хорошо,— говорит,— я об вас позабочусь». Послал за правителем канцелярии. «Нет ли у вас вакансии?» — «Найти можно,— говорит,—

помощника делопроизводителя, например». — «Вот надо бывшего нашего представителя устроить». — «Хорошо. А как насчет прав?» — «Это ничего, — наказный говорит, — он подержит экзамент. Можете экзамент подержать?» — «Не могу знать, — говорю, — ваше сиятельство. Я кончил курс в приходском с похвальным листом». — «И отлично. А я попрошу, — говорит, — в юнкарском поекзаментовать вас. Там народ свой. Останьтесь на недельку, подготовьтесь, и тогда...» Остался я на неделю, нанял репетитора. Сладились за две красных, ежели выдержу; двенадцать целковых, ежели не выдержу. Сидел он со мной часов по пяти в день, твердил мне и геометрию, и географию... Всю голову мне разломило! Никогда такой муки не видал, ей-богу!..

Он громко произнес последние слова и протяжно вздохнул. Заметно было, что воспоминания его еще слишком свежи и недостаточно объективированы.

— Прихожу я на экзамент. Начальник училища сидит, учителя. «Не робейте, — говорит, — урядник. Вы — сын тихого Дона». — «Так точно, — говорю, — ваше высокоблагородие. Постараюсь...» Стали спрашивать: «Ну скажите, как называется эта линия, которая... как бишь он ее? вот забыл!.. — «по какой центра бьет на окружность»... кажется, да... Подумал-подумал я: дай бог памяти! Напомнил: «Катет, ваше высокоблагородие!» — «Нет». «Ежели не катет, то епотенуза», — думаю. «Епотенуза, ваше высокоблагородие!» — «Ну, что вы!» — «Виноват, — говорю, — запаятовал сейчас...» — «Ну, это ладно. По арифметике, что ль, спросите его, Иван Игнатъич. Арифметику хорошо знаете?» — «Все четыре действия учил», — говорю. «Отлично. Так по всем четверем его»... А учитель говорит: «На дроби разве? Для будущего производителя это нелишнее». — «Что же, пожалуй. Как вы насчет дробей? Вы — человек военный, а дробь — это хотя и не вполне военная вещь, но касательство имеет к оружию». — «Так точно», — говорю, а сам себе думаю: «Пропал! ни в дробях, ни в картечи, как говорится, ни в зуб...» Репетитор бился-бился со мной два дня, так и бросил, время было коротко, больше на геометрию наседали. Учитель задает: «Приведение дробей к одному знаменателю». Набрался я смелости и трахнул: «Это, ваше высокоблагородие, по программе не полагается!» — «Как не полагается?» — «Так точно. Я по программе даже не видел». — «Вы не дочитали программы. Ну да ладно. По географии его... что-нибудь полегче». А учитель смеется и говорит: «Зачем полегче! Я ему самый трудный вопрос: какими горами Европа отделяется от Азии?» — «Алтайскими, ваше высокоблагоро-

дие!» — «Что вы!» — «У меня в книжке так, ваше высокоблагородие». — «Не может быть. По какой книжке вы готовились?» — «По географии». — «Да... но чья она?» — «Моя собственная». — «Нет, автор кто? Составитель, значит?» — «Элементарный курс, — говорю, — так... зелененькая крышка».

Рассказчик мой остановился и, нагнувшись к колену, быстро высморкался при помощи двух пальцев. Потом достал платок, утерся и слегка задумался. Вспомнив что-то веселое, может быть — свои неудачи, он замотал головой и рассмеялся.

— Поговорили они между собой, посмеялись. Начальник спрашивает: «А как у него русское сочинение?» Учитель подает. Посмотрели, опять смеются. «Что же вы, — говорят, — скуповато описание сделали?» Вижу я: веселые они все, не серчают, не обругивают абы как... Ну, думаю, дело в шляпе. Пропустят, ежели буду гнуть чего-нибудь, притворюсь дураком. Это, бывало, в полку господ офицеры уважают... «Я, — говорю, — не сочинитель, ваше высокоблагородие». — «А кто же вы?» — «Был, — говорю, — станичным атаманом, а теперь, благодаря Думе, пролетарий. Четверо детей, мать-старуха, жена...»

— Виноват, — любопытствовал я, — а какая тема была дана?

— Как-с?

— Какое сочинение-то требовалось?

— Описать Черкасск. Я и написал себе немного. Черкасск, мол, город большой, здания отличаются приличной архитектурой, как, например, памятник Ермаку и атаману Платову. «Что же это за описание?» — учитель говорит (такой востренький из себя). «Помилуйте, — говорю, — ваше высокоблагородие! Ведь я неделю назад приехал и город осмотреть даже не успел: все уроки твердил». — «Ну, — говорит, — посмотрите его недельки три-четыре, тогда приходите опять. А сейчас слабовато»...

— Не пропустили? — спросил я, когда рассказчик снова сделал паузу.

— Нет... — уныло проговорил он. — А что им стоило? И на что мне эти центры и епотенузы?..

— Разумеется.

Он помолчал с минуту, погрузившись в грустное раздумье, потом продолжал:

— Опять пошел к наказному. «Ваше сиятельство! У меня жена и дети. Я не хотел в Думу, вы послали». — «Ну хорошо, — говорит, — я вас зачислю пока. А потом вы все-таки

подготовьтесь и выдержите экзамен». Обрадовался я. 87 рублей жалованья... город... детей учить можно... Поехал домой. Спешу, все продаю; какая вещь стоила 50 рублей, продаю за 25. Одним словом, все распродал. Однако сам продаю, а у самого сердце что-то болит. Думаю: подведут они меня. Жена говорит: «Дай для верности телеграмму». Даю телеграмму: «За мной ли место?» Отвечают: «За вами». Распродал я все, приезжаю с семьей в Черкасск, являюсь в канцелярию. Мне говорят: «У нас и вакансии такой нет, на какую вы приехали». — «Как нет? Мне его сиятельство...» — «Не знаем. Сходите к его сиятельству». Пошел к наказному. Докладываю: «Ваше сиятельство! вы меня окончательно разорили! Был я человек, а теперь стал пролетарий, и больше ничего. Что мне остается делать? У меня четверо детей, мать-старушка, жена...» — «Как же это так вышло? Гм... жаль, жаль... Ну погодите: может быть, найдем что-нибудь подходящее». Послал за полицеймейстером — нет ли у него вакансии? «Есть, — говорит, — вакансия старшего городского в третьей части. Жалованья 25 рублей». — «Не желаете ли?» — «Наказной мне говорит. Я докладываю: «Ваше сиятельство! Где же мне в городе с семьей прожить на 25 рублей?» — «Я вам своих 25 буду приплачивать». — «Покорнейше благодарю, ваше сиятельство!» — Куда же денешься? Стал старшим городским. Но тут вскоре, дней через пяток, сюда назначили. Здешнего помощника уволили, якобы по болезни, а он и не думал болеть. За недостаточное усердие при усмирении бунтов в Михайловке... А меня вот при-слали.

— Что же, довольны? — спросил я.

— Да кормлюсь с семьей. Пятьдесят целковых в месяц.

— А население здесь как к вам относится?

— Ничего. Пока не обижают. Получил вот штуку одну... портретик...

Он опять запустил руку в карман и извлек прежнюю кипу бумажек. В ней он быстро разыскал серый разорванный конверт. В конверте был вложен листок с карикатурой, изображавшей моего собеседника в полицейской форме. Карикатура была, правду сказать, довольно удачная. Он делал стойку перед начальством — одна рука по швам, другая с фуражкой на молитву. На груди — полицейская медаль. На оборотной стороне написано было: «Дураков малюют, подлецов бьют! помни Государственную Думу! ходи да оглядывайся!»

Я сочувственно вздохнул, рассматривая карикатуру, и покачал головой в знак неодобрения действиям, явно кло-

нящимся к тому, чтобы уронить авторитет свыше поставленной власти.

— И еще подписано: «Отдай». Хочет показать, что я взятки, что ль, беру? — тыкая пальцем в то место, где стояла размашистая подпись художника, сказал укоризненным и обиженным тоном мой старый сотоварищ.

Я всмотрелся в подпись. Значилось: Quidam. Но для человека, незнакомого с латинской абecedой, могло показаться и «Отдай»...

— Нет, это не «отдай», это — quidam, — успокоил я моего собеседника, — латинское слово. Значит: некто. Художник, изображавший эту карикатуру, так подписался.

— Чего же я у него взял?

— Он ничего не требует. Quidam — некто. Псевдоним художника.

— Как вы сказали?

— Псевдоним. Вымышленная фамилия.

— Вымышленная? Гм-м... жаль! А за такие дела да если бы под своей фамилией я бы ему ребра посчитал!..

Тут беседа наша оборвалась: было открыто заседание суда. Мой собеседник торопливо, на цыпочках, перебежал на другую сторону и сел рядом с своим начальником. Я остался на скамье подсудимых.



## ОТРАДА

Пришел Соболь. Голос его под окном:

— Пожалуйте вставать, барин. Пора. Звонят... Надо хоть к обедне, чтобы честь честью... По крайней мере, у всенощной не были, хоть к обедне...

Не открывая окна, отзываюсь:

— Сию минуту, Соболь!

— Ничего не составляет, мы обождем, — предупредительным тоном отвечает за окном голос Соболя.

Соболь — местный чичероне. Господа, отдыхающие от городской жизни в здешнем уголке, пользуются его разнообразными услугами. Я вчера условился с ним вместе идти на престольный праздник в «мужицкую» Отраду. Дачи расположены на территории господской Отрады, а мужицкая — за бором, верстах в трех. Дач всего четыре. Поэтому господ в Отраде немного, но, как всегда бывает в несколько тесном месте, где сначала познакомятся, а потом раззнакомятся, есть глухая рознь. Соболь играет роль отчасти как бы некоего цемента, отчасти осведомительного бюро. Всем он одинаково нужен и не нужен. С искусством опытного дипломата распределяет он между господами свои услуги и, разумеется, без промедления всех обложил соответствующей данью.

Выхожу на террасу. Ахаю от удивления: неужели солнце? Так редко оно здесь в этом году... Так свыкся глаз с водянисто-седой, дрожащей, шелестящей сеткой, которая ежедневно выливает на грязную землю пенужские слезы неба. Нежная лазурь, жаркое солнце, зеленые кружевные тени в бору забыты, как милые детские грезы...

И вот неожиданно — голубой клочок над бором. Теплый свет трепещущих лучей ткет и играет на мягко закругленных вершинах леса, на мокрой зелени клеверного поля. Почерневшие копка клевера горят бриллиантами, и незнакомой красотой изумляет издали сквозистая колоннада сосен. У жидкой, коричнево-черной дороги кокетливо сверкает беломраморный ствол березки, а ободранный пенёк ветлы, на повороте

в усадьбу, на самой опушке, похож теперь на празднично одетого мужичка: чистая белая рубаша, полосатые штаны, на плечи накинул новую черно-бурую сермягу, — стоит светлый и радостный. Весело подмигивает: праздник, мол... покурим, выспимся... Стоит и слушает плывущий из-за леса звон колокола, мягко певучий и медленно тающий. Стоит, поглядывает в бездонную глубь неба и шлет ему приятельскую, ясную улыбку...

Вот и Соболев — во всей своей живописной красоте, босой, без шапки, та же рубаша и те же порты, кажется, за все лето ни разу не сменявшиеся. Лицо — не упывающее, приятное особой славянской ласковой мягкостью: конечно, курнос, пышная, нечесаная шевелюра, светлая бородка, в серых глазах искорка лукаво-добродушного комизма. Ростом невелик, сложен непрочно, узкогруд. Чувствуется что-то артистическое в узких, небольших руках, черных и не рабочих. Гармонист и балалаечник, но инструменты давно пропил.

— А шапка? — спрашиваю я.

Вероятно, в вопросе моем есть нечто, смущающее Соболева. Преданный, исполненный всяческой готовности взгляд, каким он меня встретил, как-то сразу застилается, уходит в сторону, смущенно шмыгает по полу террасы.

— Видите, какое вышло дело, барин... Сейчас я вам объясню...

— Не купил?

— Потому что вчерашнего дня торговли настоящей не было... Подторжье у нас называется... Самый торжок он нынче живет, с обедни.

— Но деньги-то... деньги целы? Ведь ты полтину на картуз выпросил!..

— Видите, какое дело вышло... Заложился я с одним тут об одном сапоге...

— Пропил, значит, — говорю я беззащитно, со спокойной ясностью отчаяния и падаю духом. Не потому, что жалко полтины, которую выпросил Соболев на шапку, а потому, что обидно «свалить дурака», ибо Соболев в двадцатый раз подпрыгивает мою веру в российский человека, в твердость его слова, обещаний, клятв, крестного знамения и призывания Бога в свидетели.

— А божился... — говорю я подавляюще обличительным тоном. — Где же у тебя Бог? Не был и нет его у тебя!

— Как нет?.. У Соболева Бог есть...

С особой, шутовской серьезностью, которой он привык потешать господ, Соболев проворно вывернул потемневший медный крест из-за пазухи.



— Вот вам... крест животворящий... И на нем написано даже: да воскреснет Бог и да разыдутся враги его... Вот... Он постукал пальцем по кресту и победоносно-ясным взглядом поглядел на меня.

— Подлец ты, Соболь. Больше я тебе ни в чем не верю. Лгун. Потерянный человек!..

Соболь с некоторым сокрушением склоняет взлохмаченную голову и покорно разводит руками.

— Что ж поделаете, такое дело вышло...— начинает он оправдываться несколько менее уверенным тоном.— Заложился с Иван Васильевым об одном сапоге. Говорится: спорь, сколько хошь, а не закладывайся. Проспорил ведь, еж твою семнадцать рукавиц!.. Он говорит: «Вот починку починил, выпить охота, да заказчик нейдет». Я говорю: «И не придет!» — «Должен придти!»... — «Не придет!» — «Давай об чем заложимся, что придет!» — «Давай! хошь на двадцать копеек?» — «Ладно,— говорит.— Только как у меня денег нет, я сапог заложу, что он явится...» Заложились. Хлоп, а он на лошаде явился к вечеру, еж твою семнадцать рукавиц! Заказчик эстот... Так и пропили: моих 20 копеек, потом Иван Васильева двадцать... А после, как хватили ерша, опять мои тридцать копеек пошли...

Дело в том, что вопрос о шапке Соболя уже две недели является предметом горячего обсуждения, споров, клятвенных обещаний, кредитных операций и роковых сцеплений обстоятельств, отвлекающих займы к нежелательному употреблению. Старый картуз Соболя попал на дно речное. И при обстоятельствах, в сущности, нелепых.

Г. Бензема, один из дачников, представитель торгового дома «Стерилизатор», был страстный охотник в душе и имел «ирландского» сеттера Кайзера, собаку необычайно благородных кровей и необычайных качеств, по его словам. Ружья у г. Бенземана не было, потому что нежная супруга его, опасаясь несчастья от неосторожного обращения с огнестрельным оружием, не разрешала держать в доме даже мотекристо. Не выходя из супружеского подчинения, г. Бензема вооружался обыкновенной тростью и в сопровождении Кайзера бродил целыми днями по берегу реки, по бору, по болотам. И, конечно, Соболь, изучивший весь бор, как свои карманы, в совершенстве знавший жизнь птиц и зверей, чувствовавший трав прозябанье, первое время неизменно сопутствовал г. Бенземану, вел с ним бесконечные охотничьи разговоры, делал компетентные указания и был горячо предан — до тех пор, впрочем, пока не прекратилась выдача авансов.

Соболь обыкновенно поступал так со всеми по очереди: сначала «охаживает», выказывает самую искреннюю, подкупающую преданность, потом выпрашивает двугривенные под грибы, под малину, под капусту; потом, когда сумма наделанных долгов принимает безнадежные размеры, вдруг исчезает. Это значит, перенес симпатии еще на кого-нибудь, охаживает другого. Но когда, по его соображениям, его долговые обязательства должны были быть преданы забвению, он снова появлялся с открыто преданным лицом. Выслушивал со скорбной покорностью упреки в измене, винился или слабо оправдывался и затем опять предлагал услуги, которые на этот раз должны были быть неизменно верными чуть не до гробовой доски. Так и кружил все лето.

Охаживая г. Бенземана, Соболь завоевал особое расположение самодовольного немца тем, что выражал неумеренное восхищение перед Кайзером. Собака была самая обыкновенная, даже глуповатая. Ирландское происхождение ее было подвержено сильному сомнению. Дядя Саша, управляющий, не лишенный остроумия, когда был в легком подпитии, уверял, что ирландская кровь в Кайзере есть ли, нет ли, а «дворянская» — несомненно есть, судя по равнодушию его к курам. И прозвал его куроцапом.

Г. Бенземан любил демонстрировать перед юной отрадской публикой высокую дрессировку Кайзера: снимет калошу, размахнется и бросит в траву; Кайзер побежит, разыщет и принесет. Дело обыкновенное. Но присутствовавший в числе зрителей Соболь неизменно ахал, крутил головой, чмокал языком — словом, восторгался на разные лады. Г. Бенземан с гордостью смотрел тогда на публику и трепал Кайзера по шее.

— А что, они картуз, ежели я зашибну, подадут? — спросил как-то раз Соболь.

— О, да!.. Конечно... Хоть с самой середины реки...

— Н-ну? Вроде как вутку?!

— О, да! Конечно...

Желая доставить г. Бенземану случай лишний раз испытать удовольствие заслуженного торжества и нисколько не сомневаясь, что Кайзер оправдает надежды, Соболь с особой готовностью сдернул свой пегий, выцветший картуз, размахнулся и запустил им в реку.

— Кайзер, пиль!

Г. Бенземан торжественно показал тростью на лениво перевертывавшийся в глинисто-красной, мутной от дождей воде картуз, сразу почерневший, надувшийся и принявший

щегольской вид. Кайзер вопросительно поглядел на трость и повилял хвостом.

— Кайзер!.. — строго повторил г. Бенземан.

Кайзер затанцевал на месте, радостно и доверчиво повизжал. Картуз тем временем медленно, словно нехотя, нырнул под воду.

Соболь поскреб затылок и мягко, льстиво, прикрывая тщательно рабью иронию, сказал:

— Умнеющая собачка, барин! Лишь не говорит... Потому что вода холодная — она не хуже нас с вами понимает: купаться, дескать, из-за мужицкого картуза — не кад-рель...

Но г. Бенземан, рассердившийся всерьез, ударил Кайзера тростью, потом ногой: так обиден был ему конфуз перед хохочущей на берегу мелкотой, которая потешалась не над Кайзером, — поведение его признавалось вполне резонным, — а над комически опечаленным Сободем, оставшимся без картуза.

— Что стоит эта шляпа? — мрачно спросил Соболя г. Бенземан. Лицо его было красно, а в отрывистом тоне слышалось сдержанное негодование не только на Кайзера, но и на Соболя.

Соболь политично ответил:

— Оставьте без внимания, барин. Теперь время дозво-лительное — на кой она мне ляд, шляпа!

— Сколько тебе стоит твоя шляпа, я спрашиваю? — еще строже повторил г. Бенземан.

А Соболь, как бы не замечая этой раздраженной настойчивости, с заложенными назад руками умильно и дружески кивал головой Кайзеру и льстиво цел:

— Они понимают, что вещь мужицкая, бесполезная, — потому и постеснялись. А собачка образованная вполне...

Г. Бенземан бросил ему полтинник. Потом строгим, настойчивым голосом подозвал к себе Кайзера, взял его за ошейник и двумя ударами трости взыскал с него гражданские издержки.

Соболь, изливаясь в благодарностях, полтинник взял, но и на другой, и на третий день, и во все остальное время ходил все-таки без шапки.

И затем поочередно, в обычном порядке, и на дачах, и в усадьбе появлялась осторожно, вкрадчиво, неслышно, как тень, его босоногая, взлохмаченная фигура, выжидательно топчась где-нибудь на кухне, вела долгие, льстивые, подкупающие беседы с кухарками и, наконец, с лукавой робостью проскальзывала к террасе, в поле господского зрения.

— Рыжичков, барыня, принес. Как, значит, за мной ваших чистых денег там 60 копеек...

— Ну, хорошо, хорошо... Сколько же тебе за них?

— Сколько уж положите, барыня,— воля ваша... Я на вас, как на Бога, надеюсь. Помилуйте, да разе мы...

— Ну ладно: пусть 40 копеек?

— Извольте, барыня. Слушаю-с. Покорнейше благодарим... Только я буду просить вас, барыня: дайте копеек хоть 20. Хотел шапку купить...

— Знаем мы эту шапку: пропьешь!..

— Помилуйте, барыня! Шапку надо... Без шапки, как без жены,— сирота сиротой. Нет, не пропью, вот вам истинный Господь! Разе я... Мы понимаем...

— Какая же шапка за 20 копеек?

— Форменная будет шапка! Даже, одно слово,— кивер...

Но шапка, как заколдованная, Соболю не давалась.

Вот и сейчас стоим мы друг против друга. Молчим. Но молчание это должно говорить больше, чем целый фонтан негодующих слов. И, мне кажется, Соболю это чувствует. Неловко переступает с ноги на ногу, растерянно шмыгает взглядом по клеверному полю, избегая моего молчаливо обличающего взора, покашливает, беспокойно потрагивает бороду, пяткой одной ноги скребет щиколку другой. Видимо, подавлен. Так я думаю. И, против воли, в глубине негодующего сердца пробиваются первые ростки смягчения.

— Денек-то румян нонче,— умиленным голосом прерывает неожиданно Соболю красноречивое и тягостное молчание.— Только вы, барин, калошки наденьте,— заботливо прибавляет он.

— Почему это?

— А так что с этой стороны, за бором, замоложавело во как... Отцоль не видать, а к речке выйдем — там сами поглядите. Пошлет опять Господь дождю нам, грешным...

Вздыхаю, но подчиняюсь. В туманно-гадательной области предсказаний погоды Соболю врет не больше любого патентованного метеоролога.

Отправляемся.

Еще плавает туман по мягко закругленным курчавым шапкам леса, ползет зелеными разорванными тенями по траве, цепляется за сквозистые, выкинувшиеся на простор ветви. И тихо, тихо так, и певуче плывет и зыблется звон колокола из-за бора. Как будто дым кадильный стоит в лесу, и радостно играет под лучом мшистая зелень, и тихо качаются кружевные тени за бегающими пятнами теплого света в сквозной, бесконечной галерее из стройных воцано-

желтых колонн. И вот-вот, — чудится, — в этой торжественной тишине загремит дивная хвала живущему веку, сольется с колышущимися волнами колокольного звона и, могучая, благодарно ликующая, подымется в бездонную лазурь неба...

Но молчит этот тихий, этот милый уголок, пленительно-кроткий, привлекающий сердце своей чисто русской, неяркой красотой. Привык он молчать, и мало певучих звуков у него. Кудахчет где-то курица. Торопливо-испуганно прокаркала два раза ворона. Мельница или поезд шумит вдали, ровно и однообразно...

Называется имение, разумеется, Отрадой. И, как на всех отрадах, на нем лежит печать тихого умирания и запущенности. Скорбная элегия заброшенных оранжерей с зияющими безглазыми рамами, почерневших и похилившихся служб, разрушенных кирпичных столбов, остатков монументальной ограды, когда-то отделявшей барскую усадьбу от остального мира... Живописная первобытность и глушь буйных зарослей сирени и крапив в одичавшем саду... Горечь воспоминаний... Веяние безнадежной грусти... Долги, долги, долги... Безвыходный круг хитро и прочно сотканной картины, из которой выпутаться уже немислимо. Какие-то темные личности реют над имением, присматриваются, прислушиваются, принохиваются... И все в Отраде, начиная с 13-летнего Егорки, который ездит за почтой, и кончая самой владелицей, доброй, рыхлой, слабонервной баронессой Гринберг, знают все, что имение не нынче-завтра перейдет во владение темного дельца, ростовщика, какого-то частного поверенного. И всем смутно, жутко. Безмолвная и гордая печаль притаилась в каждом уголке милой Отрады...

Не даром резко, так издевательски свистел выросший на самом рубеже ее, на крутом берегу реки, токарный завод купца второй гильдии Самуила Ильича Анштандика. Нелепое, тупое, приземистое сооружение с черной железной трубой, похожей на огромный гвоздь, прищипливший к земле эту распластавшуюся казарму.

Но теперь и он досвистался. Смолк. Остановил работу. А купец Анштандик мыкается по сторонам, мечется в поисках кредита, не показывается месяцами домой, чтобы не слышать воплей своей истерической супруги, страдающей неврастенией.

Опустел завод. Еще торчит вверх черная, длинная труба его, еще озирает она с высоты всю Отраду, бор, реку и деревушки за бором, и черные квадраты пашен, и два кругобокых кургана на горизонте, и синие облачка перелесков в тонком

тумане. Но уже нет в ней прежней подавляющей важности, высокомерно-делецкой насмешки над угасающей Отрадой. Что-то унылое сроднило их, сблизило, примирило — единая пезадача в жизни и неизбежный единый конец.

И она, старая барыня с белыми буклями и восковым лицом, грустно пробегая мысленным взором цветистый ряд былых увлечений и шалостей, смотрит на него, нового друга: темен, низок, мрачен, как солдат в старой, намокшей, забрызганной грязью шинели с тупым лицом, бестолково отбивающий «шаг на месте». Офицер кричит ему:

— Подбородок подбери!.. Грудь разверни!..

А у него смешно и жалко торчат лопатки, повисла из носа крупная капля, и раскисшие от грязи сапоги с заплатой на голенище, еле поднимаясь, не в такт топчутся на одном месте. А ноги, как согнулись в коленках, так и заостенели...

Во всей Отраде не унывал и не падал духом только один дядя Саша, управляющий, бывший драгунский офицер. Великолепные седые усы с подусниками, светло-серые, почти белые глаза навьикат, рейтузы, лакированные сапоги... Но и его несокрушимая жизнерадостность, — мы все знали, — поддерживалась искусственно. Ровно через день Егорка, ездивший за почтой, привозил вместе с корреспонденцией и четвертную бутылку водки. Иногда подымал ее из телеги, барабанил по ней пальцами. Бутылка издавала нежный звон, а Егорка хвастливо восклицал:

— Вот она... гусыня-то...

— Дяде Саше?

— А то кому же...

Баронесса, несмотря на свою нерусскую фамилию, состояла членом союза русского народа. Все отрадские мужики, не исключая и школьников, были вписаны ею в союз. Даже Соболев.

— Барышня поначалу сумлевалась, — с веселой усмешкой рассказывает она. — «Очень ты, — говорит, — на агитатора похож». — «Какой я, — говорю, — агитатор, барыня! Я — землелашец...» Добреющая барыня, дай Бог здоровья: дала крестик и 30 копеек чистых денег!..

Но, несмотря на то, что отрадские и соседние боровские мужики были все союзниками, пользовались безвозмездным правом собирания грибов и малины в помещичьем бору и почти безвозбранно приворовывали лес, отношение их к господской Отраде носило несомненные признаки воюющей стороны. На имении лежал столь единодушный бойкот, что даже в середине августа стояла еще не сжатая рожь, прекраснейший овес полег и был притоптан помещичьим же ста-

дом, неубранные копны клевера под дождем почернели и превратились в навоз.

Причина бойкота была самая простая: дядя Саша не любил расплачиваться за работу. Нанимая, обещал всегда очень хорошую цену, не торговался, а когда наступало время расплаты, прятался. Если же спрятаться нельзя было, то говорил спокойно, твердо и ясно:

— Ни копя в конторе нет... Откуда же я вам возьму? Потерпите, за нами не пропадет...

Терпели. Ничего не выходило. И после двух-трех опытов условия работы в Отраде стали известны далеко окрест, и охотников на хорошие цены уже не находилось.

А урожай был прекрасный. И было больно глядеть на погибший клевер, на высокую, потемневшую, перепутавшуюся и полегшую рожь, подопревавшую снизу, на растасканные и раскиданные по полю сиротливые снопы, поливаемые дождем. Даже Соболев укоризненно качал головой.

— Вика-то... вика-то... Господи-батюшка! добра-то пропало: на пятьсот, ей-бо, на пятьсот, не меньше, одного сена...

Пропало бесцельно, обидно, ненужно, бесполезно, возбуждая горечь, досаду, бесплодные сожаления. А свободных рабочих рук, голодных ртов, нужды кругом было сколько угодно. И вот, никому не доставшись, ушел же в землю самый подлинный капитал...

— Кто к нему пойдет, к черту! — ровным, почти приятельским тоном говорит Соболев об управляющем. — У меня и то за ним село рупь двенадцать копеек чистых денег... Шесть упряжек проработал за так. Пожалуйте расчет, Лексан Кирилыч. «Какой тебе расчет? Ты хлеба сколько пожрал!» — «Помилуйте, — говорю, — теперь нет такого закону, чтобы из брюха работать. Я одной одежи на вашей работе сколько износил! Сами же говорили: три четвертака на день». — «Пошел вон, болван!» — «Как хотите, Лексан Кирилыч, ежели не уплатите, я на вас бойкот наложу! ей-бо, наложу!..» Осерчал, к морде полез. Ну, что с им поделаешь? За это за самое вот она и пропадает, ржица-то магушка...

Я прикинул в уме, сколько в Отраде нас, бездельных людей, с газетными листами в руках топчущих ее дорожки? Не мало: кроме самой баронессы, да сына ее, готовящегося, по-видимому, к артистическому поприщу, — у него недурной голос, — да дяди Саши, да прежнего управляющего, какого-то не окончившего курс студента (ему хоть и отказали, но деться некуда, выехать не с чем, и добрая баронесса предоставила ему с женой и детьми старый флигель), — три семьи дачников, семья Анштанчиков... С десяток зрелых

мужей, десятка полтора изнывающих от скуки жен и девиц, десятка два подростков... Что, если бы так себе, от скуки, от нечего делать, взять по серпу да выйти вот на это волнистое, прелестное поле, уходящее вдаль, к лесу, в дымку синего утреннего тумана? Что, если бы на бойкот подлеца Соболя ответить этим всесокрушающим локаутом?..

Фантазия моя начинает играть, рисует ряды копен, издали похожие на вереницы согнувшихся старух богомолков; г. Бен-земана, подающего снопы на воз; баронессу с граблями в руках; Берточку Аштандик на возу; дядю Сашу, бережно обнявшего «гусыню», чтобы подкрепиться с трудов...

Но нет, нет... Обреченная Отрада этого не увидит. И Соболю не оробеет перед таким локаутом. И будущему артисту не придется носить мозоли на выхоленных руках... Прошлой ночью он пел на балконе. Был ли так чуток и звонок сырой воздух под звездным небом, — облака к ночи ушли на покой, — звучное ли эхо, отвечавшее из темного бора, украсило волшебной-неожиданной красотой ликующий мотив эпиталамы из «Нерона», но голос казался удивительным, могучим, гибким; красивый, яркий поток его разлился над Отрадой от края до края земли, наполнил лес, поле, небо, и где-то далеко за рекой, дрожа, замирали его радостно-нарядные, высокие волны...

Грустная, угасающая Отрада, всегда немножко обвеянная мечтательной тишиной беззвучной думы, и эти громкие, красивые, торжествующие звуки... Непролазные дороги, босоногие, грязные бабы с большими животами, и красивый цветок артистического дарования... Не странно ли?..

...Вышли к реке. Идем крутым берегом. Приходится с тревогой посматривать на небо. Наползают с запада серые, рыхлые облачка. По матовому зеркалу реки дрожит мелкая серебряная зыбь. Когда налетит ветерок, чеканенный узор серебра растянется, как резина, вширь, покрывает всю речку. Когда стихнет, в зыбком, зубчатом зеркале, вздрагивая, колыхнется узкая изумрудная полоска другого берега, за ней коричнево-черная пашня с красно-пегими пятнами двух бабьих фигур, почерневшая избушка за пашней и возле нее понурая лошадка, похожая на клочок желтой речной пены, — дремлет, опустив голову и устало помахивая хвостом. И в неподвижных белых облаках край низенького неба, молчаливого и грустного, а под ним две старые-старые могилы, два кургана с крутыми боками, — не такие, как в южных степях, — и черные зубцы растрепанных, кучерявых сосенок на них. И кроткая тишина над всем, таинственные чары вековой немоты и бездонного смирения... О,



нежная, покоряющая грусть и безглагольная красота родной земли!..

Вошли в бор. Облака все бегут, бегут. Наползут на солнце, закутают его, — и сразу станет кругом смутно-зелено, душная сырость липко обнимет со всех сторон. Выглянет солнышко — вдруг усмехнется все светло и радостно, блеснут серебром, загорятся длинными, колкими лучами лужи по дороге, заиграет мшистая зелень под соснами, и черные, толстые линейки протянутся от деревьев через просеку.

Но вон там, впереди, уже закурилась влажная пыль, как сквозь сито просеянная. Бежит навстречу нам. Налетает...  
Дождь...

Крепимся. Не сдаемся, идем. Начинают хлюпать калоши, бегут ручки с плаща...

— Давайте, барин, переждем, — говорит, наконец, Сობоль. — Что нам в самом деле? Аль не успеем?.. А вот тут, под сосной, первый сорт! Это — набежной: пройдет, Бог даст... Вот окладной когда сыпнет, ну энтот имеет свою приятность...

Остановились под сосной. Слушаем ровный, шипящий шум, который заливаает все робкие звуки бора, — бор вообще молчалив. Широким потоком льется монотонный шорох с величаво-медлительной важностью, деловито и серьезно. Иногда усилится, словно заспешит. Струя потока набежит вспухшей волной, перекатится около нас, где-то за спиной, умчится дальше, и слышно, как задрожали там четкой дрожью березы и осины. Голоса их звучнее, задорнее, веселее, чем сердитое, глухое шипение и скрип сосен. Ушел вглубь, загудел кто-то большой и озорной. И вслед за ним трепетным шелестом, спеша и сбиваясь, разом понеслись вдогонку звуки сбоку, рассыпались вширь и бесконечным ремнем потянулись в переливчатом шипении и шуршании.

— Для молотьбы, конечно, дождь этот не способен, — говорит Сობоль, склонный вообще к серьезным беседам хозяйственного свойства. — А что ежели насчет садов, то сделайте ваше одолжение. Тепло. Рост идет сейчас самый правильный — я знаю. Я ведь садовником был, барин...

— Вот как?

— Как же. Девять лет жил в питомнике у Якова Кондратьича Кисельрынка, на Лабораторной соше. Сделайте такое одолжение! Кабы не папаша, я бы человеком был теперь...

— Почему же папаша?

— А так что потребовал у деревню. «Ты, — говорит, — кормить нас с матерью должен». Сделайте такое одолжение, я

из Питера могу... «Ну, в Питере-то тебя не достанешь: отломишься совсем, гляди на тебя из-под шапки, — а ты у деревне поживи. Займись, — говорит. — Сад ежели, то и сад разводи: вот она, усадьба-то, пустая стоит». — Извольте, сделайте ваше одолжение... Сорок яблонь одних было у меня, барин, — все колированные!..

Он поднял палец в пространство и гордо посмотрел на меня.

— Четырнадцать штук титовки... Апорту было с десяток... Скрыжапель, боровинка... крыжовнику кустов пятнадцать... Виктория-шпанка... Да, все было!..

Качнул головой. Замолк на минутку. Ушел в воспоминание.

— Четыре года бился, в дело производил. А на пятый год папаша взял да и продал домишко совсем с усадьбой, под гребло, за две сотельных... извольте радоваться! Услыхал я, так и заголосил... Сею же минутой прикатил из Питера — по зимам я у Кисельрынка живал. «Что ты наделал, папенька?» — «А что ж, — говорит, — ты в Питере в камашах щеголяешь, а мы с старухой разумши-раздевши будем?» Да-с... удумал аккуратно старичок, нечего сказать. Мамаша сейчас в сырой земле уж лежит... А я вот, — извольте видеть, — с того самого дела пошел и пошел... Так и пошел в ход...

Засмеялся Соболев, закрутил головой, точно в самом деле весело было. Потом вздохнул. Помолчали.

— А отец твой где же теперь?

— А папаша теперь гусей стережет у Аксенова. Преклонных лет старичок. Плох. А приткнуться некуда: я вот ослаб, сестра в Питер уехавши...

— Сестра есть?

— Как же, есть! У Петербурхе. Вобщем сказать — проститутка, — прибавил Соболев деловым голосом, — но также и торговлишкой перекидывается... Фрухтой разной: порченная которая, она же дешевая, — лимоны, апельсины, семечки, коврижки... Порядочные господа, понятно, не возьмут, а чернородье покупает.

Соболев деловито поскреб голову, вздохнул и не совсем уверенным тоном прибавил:

— Вот собираюсь все к ней, да ведь к ней явись при одеже, а так-то придти — прогонит... Онамеднись Милушкин, стражник наш, привез поклон от ей. «Был, — говорит, — в гостях у Марьи, попочевал с ней. Ничего, мамзель, — говорит, — обходительная. Дал ей пятиалтынный, она мне даже на сдачу апельсин дала...» Смеется...

Соболь усмехнулся было, но потом вдруг вспомнил что-то и, точно желая обрадовать меня, воскликнул:

— Свадьба ведь завтра у него!

— У кого?

— Да у Милушкина! Как же... У Пушихи дочь берет, триста придачи! Вечер должен быть!..

Соболь все усиливал радостный тон, развертывая передо мной блестящую цепь удивительных сообщений, и глядел на меня сияющими глазами.

— Скупая она черт, Пушиха, — с некоторым опасением добавил он. — Пожалуй, вечер-то не ефетный сделает. А вот у Котлярова свадьба была, так — прямо сказать, — городская свадьба! Водки было!.. Заграничное разное!..

Он восторженно покрутил головой.

— Кильки были! — восхищенным голосом прибавил он и качнул сверху вниз головой наивно-хвастливым жестом: вот как, мол!

Потолковали немножко о свадьбе Милушкина, о предстоящем вечере. А дождь все сыпал да сыпал. Вспомнили еще две-три свадьбы, о которых Соболь рассказывал с таким увлечением и с такими подробностями, как будто сам пировал на них. Меня даже сомнение взяло.

— Откуда ты знаешь-то?

— Ф-фу, Боже мой! Соболь все знает, что ни спросите. Вы не глядите, что сейчас я — профессор кислых шей, сочинитель ваксы, — родня у меня есть капиталистая... Аксентий Иваныча в посаде знаете?

— Нет, не знаю.

— Слыхали, может?

— И не слыхал.

— Дядя мне троюродный. Денег у него — как грязи! У него за Ванюковым восемь рублей чистых денег да двенадцать рублей у Петербурх в ланбарт свезено... Поняли, я сказал: двенадцать рублей? Двенадцать т-тыщ!..

Опять Соболь с ласковой снисходительностью покивал мне сверху вниз короткими, мелкими кивками головы, как бы усугубляя этим подавляющий смысл изумительных цифр. Помолчали. Ухо привыкло уже к широкой реке шипящих звуков, и из глубины бора стали долетать до нас голоса скрытой живой жизни. Звонкий ребячий крик прозвенит вдруг и протяжно ударится о красные, голые стволы сосен. Резко и зыбко рассечет воздух короткий свист. Крик цапли далеким медным лязгом шлепнется где-то в высоте... Родятся звуки вблизи, робкие и одинокие, и сейчас же умирают. Какие-то маленькие пташки — меньше воробушков и светлее

их — тускло и бледно чертят своим чиликаньем немолчный шелест бора. Да где-нибудь над болотцем суетливо просвистит маленький куличок. Робкая, скудная живая жизнь старого, хмурого бора...

Но вот новые звуки... То прозвенят, то пропадут. Еще не постигнешь их настоорожившимся слухом, но уже чувствуется в дробящихся извпавах их несложная гармония, что-то поющее, повторяющее один мотив глубокими, протяжными вздохами.

Песня?.. Редко поют в молчаливом бору — суровое молчание его не рождает звуков в душе...

— Поют будто? — говорю я Соболю.

Он повернул голову, прислушался и равнодушно заметил:

— Так, девчонки какие-нибудь. Ишь, каторжные! До обедни уже глотку дерут! — укоризненно покачал он головой.

Вот и они, певички, в сетке мелкого дождя, среди высоких зеленых стен, босоногие, намокшие, веселые. Их две. Завидели нас, смолкли. Идут мимо, косятся в нашу сторону с наивным любопытством, и вот-вот задрожит смех в плутоватых, быстрых взглядах, которыми они обмениваются между собой, обозрев наши серьезные мокрые фигуры.

— А-а, фиялочки! фиялочки! — развязно приветствует их Соболю и как-то особенно забавно и неуловимо подпрыгивает обеими ногами сразу. — Что же замолчали? Пожалуйте в гости!..

Смеются. Отходят немножко, но останавливаются. Значит, не прочь от знакомства. В руках у них объемистые узлы — с платьем, должно быть.

— Да вы пожалуйста ближе! Чего зря там мокнуть? — увещающим тоном говорит Соболю и сам становится в сторону, ближе к дождю, готовый для гостей пожертвовать сухим местом.

Нерешительно подходят. Становятся под сосной рядом с нами. Весело скалят белые зубы. Издали казались юными подростками, вблизи — выросли и потеряли девический облик. У одной большой живот беременной женщины, черные рабочие руки с толстыми, набухшими пальцами, веснушчатое, некрасивое лицо. Косицы красных волос смокли и потемнели от дождя. На толстой шее, яркая белизна которой резко отделяется от бурого загара лица, чуть держится спустившийся с головы небольшой платок. Другая более изящна на вид. Тоже босая, но облик не рабочий, хрупкий, городской; тонкие, чуть-чуть загорелые руки, красивые голубые глаза, взгляд которых охотно цепляется за взгляд, ждет и не уклоняется.

— К литургии?— галантно осведомляется Соболь.

— На ярмарку!— отвечает весело рыжая.

— А Богу помолиться ежели? Праздник позволяет к литургии сходить, первым делом помолиться,— назидательным тоном возражает Соболь.

— А зачем нам молиться? Нас и так Бог боится!..

Весело засмеялись обе удачной рифме. Соболь с комически-торжественной укоризной погрозил пальцем и неодобрительно пощелкал языком.

— Не иначе, как посадские,— заключил он вслух.— Прямо сказать — японского закона люди.. От деревенских этого не отразится..

— Да мы и не деревенские,— с оттенком задетого достоинства сказала подруга рыжей, стоявшая ближе ко мне.

— Небось из Питера?

— Из Питера.

— Очень приятно.. А у деревню зачем?

— Зачем? Маму проведать!

— Ишь ты... к-какая!..

Разговор погас. Чувствовалась стеснительность в молчании, но не о чем было говорить. И у всех нас был такой вид, как будто мы сосредоточенно вслушивались в шелест дождя.

— У деревне свежего воздуха ежели набраться, это действительно,— сказал рассудительным тоном Соболь,— а только в Питере аккуратнее и не в пример занятнее.

— Понятное дело,— согласилась моя соседка.— Тут что? Шляпы нельзя надеть: дождь, грязь, некуда показаться. А в Питере, по крайней мере, кафе, рестораны, музыка...

— Ишь ты!— весело подмигнул мне Соболь.— Знают!.. А ты при каком же месте в Питере?— снова обратился он к моей соседке.

— А вам на что?

— Ф-фу, чудное дело! В общем итоге антирес!..

— Я с инженером с одним живу,— немного помолчав, просто сказала наша собеседница и вкось поглядела на меня долгим, изучающим взглядом.

— Пожилкой человек,— прибавила она тем самым равнодушно-деловым тоном, каким говорил Соболь о своей сестре.

— Что ж, это ничего,— серьезно и одобрительно сказал Соболь,— это ежели кто с головой, то и капиталец может сколотить. Алевтину Спиридонову не знаете, барышня?

— Какую это? Нет, не знаю.

— Наша отрадская. Тоже в Питере. Сперва у грахва жила. А после грахва в ключницы в заведение попала. А сейчас

от себя уж дело имеет: держит четырех девочек. Наш деревенский Вавил Романов в извозчиках там — ему одному четыре рубля чистых денег на день, чтобы лишь стоял с лошадей возле квартиры — поехать куда потребуется или девочек на Невский отвезть. «Иной гость, — говорит, — попадетя, рублей полтора за ночь оставит...» Доход хороший имеют, да-с... Так не знаете, барышня?

— Не знаю.

— Отрадская, самый наш корень! — с наивной гордостью повторил Соболев. — В церкву нашу образ святителя Миколая Чудотворца летось пожертвовала. Агромаднейшая икона!.. С о. Никандром за ручку... Чай у него пила... Такая полнокровная, белая — с попадией не разберешь... Да где попадье! Просто барыня, как есть барыня! Кто не знает ежели, так целый день без шапки простоят перед ней...

Стал стихать бор. Дождик еще сыпал, кое-где разорвались облачка, и свет заиграл в тонких водяных нитях, по мокрой зелени, по лужам. Стало веселей.

— Пойдем, Пимка, — сказала моя голубоглазая соседка, — а то и переодеться не успеем.

— А вы с ярманки как же? одни? — понизив голос до таинственности и дружески скашивая на собеседниц глаза, осведомился Соболев. — В случае чего, мы того... мы бы и проводили...

— Не нуждаемся, — сказала Пимка, пренебрежительно взглянув на моего приятеля.

Отопли. Залились долгим смехом, изгибаясь, шатаясь и толкая друг дружку. Потом запели:

Трансваль, Трансваль, страна родная...

Голоса у них были высокие, визгливые. Мотив песни — избитый, но слова о любви к родине, о борьбе за свободу были красивы и трогательны. Уже издали, когда нельзя было слышать слов, Пимка закричала что-то и махнула рукой к себе. Соболев насторожился, как боевой конь при звуках знакомого сигнала.

— Эка шельмы! зовут... Либо уж подите, барин!..

— Почему же я? Может быть, тебя это?

— Ну, где уж там! Кабы я для них человек был, а то — бульвартный сапог, и больше ничего... А мамзельки ничего, веселые... И разговор какой у них образованный, вежливый...

Опять визгливо крикнула Пимка и махнула рукой. Видно было, как, наклонившись друг к другу, обе подруги содрогались и качались от смеха. В самом деле, весело. Подвинулись мы с Соболевом ближе, но в самый последний момент мой

приятель деликатно отодвинулся назад, на приличествующее расстояние.

— Господин, вы бы нам на пару пива дали, — с серьезным, несколько секретным видом обратилась ко мне рыжая Пимка, а подруга ее смотрела прищуренным, изучающим взглядом.

— Мы бы за ваше здоровье у Вапукова выпили...

Дал.

— А с ярманки, если хотите, можно вместе... Только этого купца, — Пимка мигнула бровью в сторону Соболя и фыркнула, — купца этого не надо... Вы, конечно, водочки приготовите... На ярманке увидимся! Ну, счастливо вам споткнуться, нос не разбить!..

...Беседа наша с Сободем, после этой встречи, приняла несколько игривое направление. До самой Отрады он рассказывал не очень достоверные истории своих прежних побед, когда он еще не упал на дно босяцкого существования.

— Выйдешь, бывало, так же вот на праздник, — хвастал он явно и беззастенчиво уже у ворот церковной ограды, заглушаемый пестрым народным говором, криками нищих, завываниями торговцев. — Вышел, глянул — баб, девок, как грязи!.. Да какие бабы: кровь с молоком! Не то, что эти питерские... Подхожу к одной — муж у ей, знаю, в солдатах, в артиллерии: «Поделись, — говорю, — Настя...» Ну, конечно, я из Питера: при деньгах, в одежде, все честь честью. «Поделиться-то, — говорит, — что ж не поделиться, можно, — говорит, — да поделись и ты...» Пошел, взял ей фунт щоколату хорошего, орехов, два целковых чистых денег дал. Ну, братец ты мой, и баба была: прямо — дыня!..

Гражданин с кирпично-красной щетиной давно не бритой бороды ловко оттеснил Соболя в самых воротах.

— Ваше благородие, не откажите во имя человеколюбия и гуманности...

Вслед за ним подвинулся высокий мужик, с желтыми спущенными на лоб, до самых глаз, волосами. Разбойничий облик, озабоченно шмыгающий взгляд опытного стрелка, правая рука втянута внутрь рукава, заученно-торопливый дикий голос:

— Подайте, ваше благородие, православные христиане, угодные благодетели, Христа ради, убогому! Больше питаться нечем! Ваше благородие, подайте по несчастному положению!..

На минутку останавливаюсь перед цветной коллекцией нищеты, уродства, скорби и грязи, шпалерами расположившейся от ворот до паперти. Слепцы, дряхлые старушонки,

идиоты, калеки, дети с сумками больше их самих... Пестрые, лающие голоса, перекрикивающие, перебивающие друг друга, протянутые руки, буханье лбами прямо в грязь, цепкие взгляды, в которых светится и тоска ожидания, и страх остаться позади, и желание кинуться в драку за пощадку.

Помни-ви, Господи, родителей..  
Батюшку родного!.. Матушку родную!..  
Б-батюшку крестного... Матушку крестную!..  
Братьев-сестров... друзей-приятелей...

Звонким, ожесточенно-усердным голосом причитает слепой старец библейского облика, захлебываясь, спеша, стараясь перекричать конкурентов. Широкими и частыми взмахами крестится на каждого проходящего и библейской бородой подметает мокрые плиты ступенек.

— Младые младенцы... красные девицы...

Сироты вдовушки, бесприютные голубушки...

— Энтот вон, какой подходил-то к вам, рыжий-то, самый ихний Шмуль, хозяин то ись... — сообщил Соболев, заметив мой минутный интерес к нищим. — С двумя бабами живет! — с некоторой завистью в голосе прибавил он: — А тою вон девчонку видите, у паперти? побирушку?

— Вижу.

— И с ей живет...

— Ну, что ты? Сколько же ей лет? Не больше двенадцати, думаю?

— Надо быть, больше, — с некоторым колебанием сказал Соболев и уверенно добавил: — Живет! Эти робятенки от него ходят. И немая эта старушонка тоже... Порховские, я их знаю...

Он кивнул головой в сторону странного, отталкивающего-безобразного существа, похожего на обезьяну и нетопыря, — клубок тряпок, копошащийся и ползающий на коленях в грязи. В круглых, испуганных глазах, освещающих желто-землистое лицо, тупая животная боль и голод, и жадное, трясущееся ожидание при виде проходящего мимо человека. Беззубый рот, раскрываясь черной воронкой, глотает воздух и выталкивает сдавленно-воющие, лающие стоны. Дрожит, тянется и судорожно хватает пустоту уродливо скрюченная рука, иногда силится подняться ко лбу, чтобы перекреститься, что ли...

Потрясающая скорбью, невольным ужасом, отвращением, мрачная песнь этого человеческого уродства, смрада, безоб-



разного разрушения и страдания властно, победительно приковывает к себе внимание, невольно останавливает, тисками сжимает сердце... И даже люди, привыкшие к зрелищу всяческой нищеты, сами с головы до пят облеченные в красноречивые доспехи пужды и грязной бедности, не в силах, по-видимому, равнодушно пройти мимо, не могут не выразить своего участия, скудного мерой, но трогательного неожиданностью и искренностью.

Мужик в сермяге и огромных сапогах, вымазанных дегтем, взял в руки эмалированную кружку, стоявшую перед старухой, долго рылся в ее медяках, разыскал копейку и, звякнув своей семиткой, широко перекрестился и пошел в церковь. Подошла баба, вынула яйцо из-за пазухи и положила в сумку, висевшую на боку у этого жалкого человека-неопыря. Предупредительно сказала:

— Сырое!..

Старуха с подпрыгивающей походкой, в старых, бурых штиблетах с чужой ноги, лопушистых, с разорванными резинками, в кружку бросила медную монету и в руку сунула зеленое яблоко.

— Поминай Дарью! Вот яблочко тебе... Дарью поминай.

Звучала в этих словах наивная вера, что бессмысленное, страдальческое бормотание этого убожества, калечества, грязь и последняя ступень обделенности доходчивее и доступнее Ветхому днями.

— Вы, барин, теперь в церкву пожалуйте, — дает мне руководящие указания мой чичероне, — чтобы все честь честью. Певчие тут у нас... соборное служение... святость отличная, все честь честью... Пожалуйте... А это дворянство и после обедни тут будет... увидите еще, — пренебрежительно кивая на нищих, прибавляет он.

Идем в церковь. Но в притворе Соболь вдруг вспоминает, что у него нет шапки.

— Вы, барин, дайте уж мне сорок-то копеечек... Неловко, в сам деле, без шапки-то... А я вам чего только захотите: рыжичков хотите, то и рыжичков принесу... Капустки, то и капустки могу...

— Да вы чего сумлеваетесь? — еще не дождавшись возражений с моей стороны, но уже предчувствуя их, громким, убеждающим шепотом гипнотизирует он меня. — Ей-бо, вот вам святая церковь... великое дело — церковь! — шапку беспременно надо... Да сейчас и вина-то негде достать... А с обедни выйдете, я у ворот вас буду ждать, и, по крайней мере, при картузе, в приятном виде... Ну, вот... Покорнейше благодарим!..

...Церковка — тесная, низкая, словно придавленная — типичный русский «храм воздыханий, храм печали». Торжественность соборного служения, убогое убранство люстры, певчие, голосившие старательно, но вразброд и достаточно дико, немножко испортили трогательный деревенский облик, как портит городской костюм фигуру крестьянской девушки. Но чувствовался все-таки явственный запах земли в этой тесноте, неудобстве, в спертom воздухе — тот особый кислый, но милый русский дух, который обильно струится от трудовых армяков, лаптей, онучей, сарафанов, даже от городских жакетов и пиджаков, попавших в деревню. На старых, изборожденных причудливыми морщинами лицах — немножко деревянное, немножко дремотное выражение скучливого созерцания знакомой обстановки. У молодежи — празднично-деловой вид. Покашливают, всхлипывают носами. Изредка быстро, машинально начинают креститься, точно по команде, вслед за о. Никандром, когда он с заученным пафосом вдруг воздвигнет вверх свой сладостный тенор, воссылая моления о царствующем доме, о святейшем синоде и священномонахах.

Если иной богомолец, втиснувшись в дверь и желая непременно пробраться поближе к Богу, ожесточенно начинает работать плечами, задом, локтями и головой — всех, видимо, развлекает его самоотверженное предприятие. Начинается своеобразный спорт. Те, кто стоит по пути этого похода, не только не сторонятся, но заметно напряживаются и надуваются, чтобы помериться устойчивостью ног с усердным прихожанином. Вот стиснули его, подали назад, и он лишь бессильно сучит плечами. Но вот, наконец, он сам поймал момент, уперся, пригнулся, двинул, растолкал... И, багровый, торжествующий, добрался-таки к самому клиросу, стал впереди. Смоченная квасом голова его почти заслонила благообразный лик Николы Чудотворца, застывшего в недоуменно-благословляющей позе перед этой серой, тесно сжатой, странно верящей толпой, усердно лобзающей кудрявые, сусально-золотые завитки его широкого кюта.

Крестятся, вздыхают, шепчут: «Го-осподи!..» Просят о чем-то не словами, а шумными вздохами, покорным взглядом, сокрушенным качанием головы... Может быть, жалуются? каются? Ведь так много говорят им об их грехах... Поди, разгадай эту темную душу без речей, с одними лишь вздохами и сокрушением...

И лишь один о. Никандр поддерживает празднично-бодрственное настроение, возглашая с умилением:

— «Се изобильно исполнил еси веселия и радости сердца

наша, оправдал над нами царствовать возлюбленного Тобою раба твоего благочестивейшего»...

Хорошо. Трогательно. Но все как будто чего-то не хватает сердцу... Тишины ли, звонкой пустоты и сумерек, свежающих с усталой души суету сует и томление духа, или особого настроения, умирительного и светлого, — не знаю. И широкая, византийского стиля, рама Мирликийского чудотворца навевает все-таки грешные мысли о щедрой жертвовательнице Алевтине Спиридоновне...

Тянет снова на воздух, к смрадному гвалту нищеты и убожества, к спутанному причитанию, выкрикам, немым стонам и переплетающемуся речитативу заученных прошений во имя братского сострадания. Тягостно сердцу, мучительно, душно, но кроется непонятная власть в этой мрачной песне горя и бездонного страдания.

На-де-ли-те слепенькому... наделите убоженькому...  
Не ради мово прошения, ради Христова утешения...

Бьются в стены церкви, в степы ограды эти молящие причитания, поднимаются над смутным жужжанием и говором в ограде и за оградой, смутной скорбью тревожат сердце...

За ваше здоровьице Богу помолюся...  
Родителей помяну... братьев-сестров...  
На огне горящие, в лесу заблудящие...  
Тюремные заключенные, в чужий земля заведенные...

Вслушиваюсь в монотонный ритм этого набора православных бедствий, в эту скудную, горькую поэзию, и вспоминаю родной юг, его музыкальность, его своеобразную красоту в этой области народного творчества. Тут суше, грубее. Слабая попытка гармонизации слышится лишь в двух детских голосах, речитативом поющих заученные причитания:

Ты родитель, ты наш батюшка...  
Хри-и-ста ра-а-ди...  
Сударыня ты, наша матушка...  
Хри-и-ста ра-а-ди...

Голоса слабенькие. Однообразно звенящий напев их тихо вливается в этот неистовый гвалт, скрашивает его трогательно-нежной поэзией детской жалобы и покоряет сердце представлением о беспомощности, сиротстве, отсутствии тепла и ласки...

Скорым поженкам подойдите...  
Хри-и-ста ра-а-ди...

Белым рученькам поднесите...  
Хри-и-ста ра-а-ди...

Но нет все-таки той торжественно-важной, строгой, сокрушенно-трепетной, плавно качающейся певучести, которая так берет в плен безрадостным очарованием своим, так размягчает сердце тихой и смутной печалью... Медленно шагают они тихой улицей станицы, слепые и убогие хохлики в холстинных портах... Только что пробежало облачко, уронило несколько крупных капель, прибило пыль. Парит. Сверкает горячее небо вверху, перовные, извилистые тени притаились в сизых вербах, замыкающих улицу... Оспищими, разбитыми, но выразительной дрожью говорящими голосами выталкивают певцы вздох в начале каждого стиха и тихое, вопрошающее угасание в конце. И жалуются печальные, надрывающие душу однообразной горечью звуки, сурово напоминают о том, что изменит веселье и радость, замрет свеча жизни и раскроется одинокая могила... И замерли, прислушавшись, белые стены хаток под тусклым золотом соломенных крыш, застыли у плетней, на зеленых ковриках подорожника и копеечника, красные пятна ребятишек с пальцами во рту, пригорюнились сокрушенно вздыхающие бабы...

... Соболев все-таки обманул: за оградой его не оказалось. Я как-то сразу почувствовал себя одиноким и беспомощным в мужицкой Отраде: никого знакомых, чужое все кругом. Голод давал себя чувствовать, праздничное настроение иссякло. Купил фунт баранок, начал есть: вкус иловатой глины. Поставил. Пропустил крестный ход. Потом пошел в том направлении, откуда вместе с дымком доносился резковатый запах горелого постного масла, и к огромному своему удовольствию открыл целый ряд ярмарочных рестораций, палаток-кухмистерских, изготовлявших оладьи. Оладьи оказались ничего себе. Чай мутноват, но по походному времени тоже сносен.

Через четверть часа шумная толпа заполнила в этих палатках все длинные столы из неоструганных досок, на живую руку сколоченные скамьи, на которых надо было сидеть спокойно и чинно — иначе был риск запозиться или опрокинуться назад. Зашумела, завозилась, закрутилась бесшабашная жизнь ярмарки. Вот и первая трель гармоники... У гармониста белые, как лен, волосы, тонкая, кривая шея, впалые щеки и дорогие лакированные сапоги. Вот он тронул лады, пробежал по ним небрежно быстрым аллюром — пестрыми, мгновенными цветочками всныхнули и промчались над мутным, безбрежным галдением толпы певуче-смеющиеся

ся звуки... Остановился, склонил голову на бок, призадумался... И вдруг широким размахом рванул инструмент, и ярким снопом разноцветных огней взметнулся задорный мотив частушки...

Ах-х, и на горе стоит аптека...  
Любовь сушит человека... —

лихо задрезжал в углу нашего балагана тонкий голосок подвыпившего шершавого мужичонки.

Разлилась среди палаток толпа, как широкая лужа посреди деревни, и держалась в одних берегах, не отливая и не уменьшаясь. Мелкой, неровной зыбью шло пестрое движение внутри нее, слышался шелест ног, струился пестрый, нестройный говор, прорезываемый звучными ругательствами — без злобы и без надобности. Непостижимо быстро появилось много людей с бледными, землистыми лицами, с открытыми ртами, с бессмысленно выпученными, остановившимися, остеклевшими глазами. Таинственно-издевательская сила швыряла их из стороны в сторону, натыкала на все встречные предметы, гнула к земле, пока, наконец, победная головушка не попала с размаху под телегу, к копытам флегматичного сивки, в укромное местечко, где моментально и засыпала беспробудным сном.

Широкая шеренга парней в пиджаках, в лакированных сапогах, с неистово ревущей гармоникой нахлынет вдруг лавиной на какого-нибудь такого ослабшего человека; чье-нибудь изобретательное колено ловко поддаст, куда следует, и горемыка летит стремглав в сторону гуляющих девиц с зонтиками, в кисейных шарфах. Убийственно-степенные, серьезные, почти мрачные барышни вдруг взвизгивают, кидаются в сторону, хохочут. Лед сломан. Найден, наконец, переход от взаимного изучения издали, от нерешительного переглядывания к основательному знакомству: галантные кавалеры спешат на выручку... Переплетаются встречные и поперечные струи движения, мешаются ревущие волны гармоник, однообразные частушки воспевают пружестокую любовь. И так целый день... Для чужого, сиротливо одинокого в толпе человека утомительно-шумно, однообразно, дико, а для них как будто занимательно, весело, может быть, памятно на целый год.

Вот, наконец, и Соболев. Дружески обнял какого-то приятеля в клеенчатом картузе, съехавшем козырьком набок. Обоих неровными, судорожными толчками кидает то вперед, то назад. По опущенным векам, по складкам умильной улыбки, застывшей на пунцовом, с провалившимся но-

сом лице приятеля Соболя, видно было, что он ослаб. Но сам Соболя еще преисполнен жизнедеятельности. Мимо прошла компания с гармоникой. Он лихо подхватил мотив частушки, крутил головой, встряхивал волосами, выкидывал короткую дробь босыми ногами, вид имел такой ухарский, задорный, обещающий, как будто говорил: показал бы колено, да не хочу!..

— Вы не глядите, что я плохо одет, так у меня и дома ничего нет! — кричал он. — У меня дома — масса!.. Отец-подлец жизнь мою заел! Верно, Вася?

Приятель Соболя, бессмысленно выталкивавший вперед свои согнутые колени, дружески погрозил пальцем бродячей собаке на трех ногах, смотревшей на него внимательным, ожидающим взглядом, и обратился было к ней с какой-то невнятной речью. Вдруг, как буря, палетела на него из толпы тощая баба с кривым березовым костылем в руке.

— Ты зачем трешну взял, сукин сын? — негодующим голосом закричала она сквозь стиснутые зубы. — Зачем взял, говори!

Даже Соболя был слегка озадачен этим внезапным натиском, и в то время, как его приятель невнятно, полусонно бормотал что-то в свое оправдание, он мягко убеждающим голосом опытного дипломата обратился к бабе:

— Маланья Антоновна, зачем такую панораму? и при такой публике?

— Брешешь, сукин сын! — не обращая внимания на Соболя, кричала баба со слезами злобы и отчаяния в голосе. — Ты из тринадцати куда трешну дел?! Убью!..

Она подняла костыль над головой и грозно потрясла им. Соболя благоразумно покинул своего друга и стал в числе зрителей. Тесным кольцом окружила шумная, улюлюкавшая толпа это драматическое представление и с замирающим нетерпением ждала развязки.

— Наживать мы вместе наживали... т-твою душу! — яростно размахивая костылем, кричала баба. — Убью! до-о смерти убью!..

Костыль, наконец, опустился и два раза звонко шлепнул по клепчатому картузу. Дружным, восхищенным галдением приветствовали зрители эти первые звуки боя:

— Вот молодец-баба!

— Ты зачем корову продал?! убью-у!..

Новые звуки ударов по гуттаперчевому картузу, мягко чмокающие, точно лобзающие, заставили приятеля Соболя выйти из оцепенелого состояния и под дружный, веселый гвалт толпы начать отступление.

— Я с тобой жить не буду, черт гнилой! пьяница! Все смеются... Соболю — на что последний человек — и тот оскалится... Убью-у!..

Колесом покатились толкущиеся звуки голосов, смеха, топота ног. Звонкое чмоканье костыля раздалось еще раза три. Потом что-то произошло. Закружилась толпа, затоптала на одном месте. Послышался тонкий воющий голос бабы:

— Ой, убил, убил!

И рассыпались лавиной голоса восторженно хохочущей толпы, сразу передавшей свое сочувствие неожиданному победителю.

— Караул!.. Убил, убил!.. У контору пойду!..

Воюющие звуки неслись назад, к старому месту битвы, а за ними катилась волна пестрого гулкого галдения, смеха, восклицаний, улюлюканья. Теперь уже баба была отступающей стороной, а приятель Соболя, в пылу схватки потерявший свой картуз, победоносно размахивая кулаками, неся вслед за ней, сопровождаемый шевелящейся и поощрительно кричащей стеной зрителей.

— Убил, сукин сын! убил! барину заявлю!.. — голосила баба.

Она проворно пронеслась вперед, мимо меня. Нетвердый ногами преследователь ее значительно отстал и, видимо, выбился из сил. Наконец, он остановился и, грозя кулаком в направлении неприятеля, с трудом прохрипел:

— Ну, помни!.. штык тебе в ребра!..

В ответ на это со стороны неприятеля, тоже остановившего отступление, полетел березовый суковатый костыль, но никому не причинил беспокойства.

Через час вся ярмарка опять всколыхнулась и сбилась в тесную, бестолковую кучу вокруг подлинной праздничной драмы. Пожилой мужик из Молочкова проиграл в орлянку все свои деньги (что-то около четырех рублей) и даже новые сапоги. Но сапоги ему стало жалко, и он, схвативши их, пустился бежать. Счастливый партнер погнался за ним, вступил в драку и в результате упал с распоротым животом.

Трепещущей черной сеткой вились грачи и галки в длинных, красных лучах закатывающегося солнца, когда я уходил из мужицкой Отрады. Из-за верхушек бора тянулись тонкие, пунцовые нити, и черное кружево деревьев резко, отчетливо рисовалось на алом фоне. Пестрый гомон остался позади, и лишь изредка догонит поднявшийся вал залиистой гармонике да бранчливо-резкий женский крик. Впереди, от господской Отрады неся певуче-звонкий детский крик, меланхолическое мычание телят, хлопанье бича и собачий

лай — обычные звуки умирающего дня. Далекий и задумчиво грустен был низкий, сизо-зарумяненный горизонт с длинными синими тучками, с маленькой церковкой, выглядывавшей из-за деревьев, с новым тесом домиков у станции, с черной линией телеграфных столбов, уходивших вдаль.

Еще лето, а уже чувствовалось дыхание осени в этом влажном вечернем холоде, осенние краски глядели с черных, свежевзрытых молчаливых пашен, осенняя элегия звучала в низком небе и тихой сумеречной печали умирающего дня...

Как будто и веселы, и пьяны, и пестры были звуки оставленной позади жизни, а носился какой-то темный призрак неотвратимой обреченности над ней, призрак угасающей Отрады, мужицкой и господской... И было грустно так, и жалостью сжималось сердце: милая, бездельная, доживающая Отрада!..





## ПОЛЧАСА

В камере — полумрак, но нет прохлады, душно. В спертом воздухе чувствуется дыхание параша. Тянет к окну. Оно открыто, насколько позволяет вторая — внутренняя решетка, на вершок — не более. Но все-таки в эту узкую скважинку струится внешний воздух, и я привык часами протастывать возле нее.

Подставляю табурет, поднимаюсь. Вижу перед собой тюремный двор, крышу бани, кузницу с пылающим горном, больницу. Жадно дышу свежим воздухом. Он пахнет горьковатым чадом и пестро звенит дребезжащими металлическими звуками. Где-то повизгивает пила, хрипит, точно задыхается в сладострастной злобе. В глубине двора трое уголовных тянут и выпрямляют молотками длинную, узкую полосу железа. Зыбко плачущий лязг дрожит и растекается по двору горькой жалобой, а над ней равнодушно всплескивает четкая ругань. Вырвется и тотчас же нырнет в текучий гомон отрывисто-резких и звонко-долгих звуков.

На свежих досках, сложенных у бани, дрожит сетчатая, с светлыми пятнами, тень от березы. Возле свалены груды ржавых прутьев. На них сидит кучка уголовных. Курят. Позы ленивые, скучающие. Плетьми висят с колен руки, дремотно опущены головы, и ярк свет солнца на белых шल्याках и куртках, четки косые, неподвижные тени. Толстый кот пригрелся на крыше бани, у водосточной трубы, и сытым, равнодушным взглядом надзирателя посматривает, как двое арестантов рубят на станке толстую железную полосу. Стальной резак коротко, отрывисто цапает, впиваясь в толстое железо светло-отполированным зубом, и круглая плитка со звоном падает в кучу под станком, похожую на грудку темных старинных монет. Тонким черным кружевом вытягивается и змеится отработанный конец полосы.

Молодой арестант с худощавым, серьезным лицом и длинным носом, докурив папиросу, лениво поднялся и подошел к этим монетам. Он долго смотрел на них тупым взглядом, заложив руки назад. Потом выбрал из груды одну плитку,

крадущимися шагами подошел к баше, долго прицеливался и вдруг, резко размахнувшись, швырнул в кота. Удар оказался метким. Кот перевернулся волчком, испуганно вякнул и грохнулся вниз. Громкий, восторженный хохот вместе с крепкими, многоэтажными словами покатился вслед обезумевшему от боли и испуга животному.

Кот растерянно метался по двору, а за ним и перед ним бежали дикие, радостные крики, хрипящие, свист, улюлюканье, пока он не догадался шмыгнуть за дрова и исчезнуть из виду. И тогда сразу погас этот неистовый гвалт — так же быстро, как и вспыхнул. Точно вихрь-круговорот ворвался внезапно на пропеченный солнцем пустырь, где свалены кучи нечистот, сору и золы, покружился с минуты, поднял дрянную, зловонную пыль и тут же мгновенно растаял. И снова потянулись однотонные часы тюремных будней, вялой подневольной работы и равнодушной, ленивой ругани. Как будто и не было ничего: ни веселого возбуждения, ни дружного гама, ни смеха.

Скука... долгая, тупая, безнадежная... Длинный, длинный серый полог, без узоров и цветов, плотный и прочный: не пропустит ни лишнего света, ни звонкого, нового звука. Беспомощно останавливается мысль перед грубой простотой несложных ежедневных впечатлений, перед их убийственным однообразием, вглядывается, ищет, ждет, изнемогает, сетует... смешно и бесплодно сетует, что нет ни смысла, ни радости в этой жизни...

Сажусь опять к своему тесному столику, берусь за учебник английского языка. Зубрю. Но... валится из рук книга: тоска, тоска, тоска... И для чего английский язык? Вся жизнь кажется заключенной в грязный каменный мешок, бесконечны однообразные часы ее, и не видать просвета впереди... Ночь... Пустыня...

Подвигаю библию. Раскрываю наудачу.

«На что дан свет человеку, которого путь закрыт и которого бог окружил мраком?»

Меня трогает этот скорбный вопрос. Я не совсем понимаю его, но близка мне безнадежная его горечь. На что дан свет человеку?.. Века и тысячелетия протекли с тех пор, как впервые прозвучала эта недоумевшая жалоба, и — нет ответа. Миллионы человеческих жизней прошли по этой юдоли скорби, пронесли тяжкие бремена, сложили мученические усилия, а все нет простора, далеко солнце правды, все закрыт путь к нему и мраком окружена жизнь... На что же дан свет?..

Хмурые стены моей замызанной клетки каменно-немы и

холодны к моему бесплодному вопрошанию. Плывет в окно пестрый поток звуков тюремного дня, долетает тревожное карканье вороны, звонки конок, парходные свистки, сыплется долгой струей сухой треск городского движения. За дверью, в коридоре, слышится сдавленный голос:

— Мишка! а-а, Мишка! пойдем дрова тоскать... помогешь со мной...

Молчание. И снова:

— Пойдем, Мишка! Я там насчет картошки тебе поговорю... Повар мне — дружок.

Пауза. Как будто кто-то пыхтит, задыхаясь от беззвучного смеха. И опять прежний голос, дразнящий несбыточными обещаниями:

— Корюшки с сотню... салатцу... коклетков парочки две...

— Заткнись ты, с... с... бродяга! — слышится глухой, раздраженный голос снизу...

Должно быть, соблазнительная картина роскошных яств, которой дразнит голодное воображение наш галерейный служитель, выводит из терпения невидимого мне Мишку. Он прибавляет с полдюжины очень крепких слов. А наш Ерохин сипит, захлебывается детски-радостным смехом. И вот уже я чувствую, что это наивное веселье слегка заражает и меня: невольно улыбаюсь... Много ли человеку надо?..

Стучат вдали, в конце коридора, по нашей галерее, резкие шаги. Надзиратель идет. Арестанты ходят без стуку, мягко швыряя стоптанными опорками по мату. Надзиратели стучат сапогами, как господа положения, отчетливо, по-солдатски отбивают такт. Я вслушиваюсь. Коротко и резко ударяет ключ в металлический затвор «глазка». Басистый голос небрежно бросает:

— Гулять... гулять... гулять...

Грубоватые, лающие звуки, но я с удовольствием прислушиваюсь к ним: минут через десять меня выпускают на целые полчаса из этих замызганных стен. Я буду полным шагом двигаться, дышать свежим воздухом, смотреть на белые облачка в высоком небе, на тонкий золотой шпиг далекой колокольни, на тихо качающиеся за стеной верхушки мачт. Может быть, увижу, как вчера и третьего дня, девичье лицо в окне четвертого этажа — в большом доме, против нашей тюрьмы. Такое славное, милое личико... Подолгу и пристально всматривается оно в нашу пеструю, безостановочнодвигающуюся цепь. Может быть, ищет, ждет, хочет угадать кого-нибудь родного, близкого сердцу, упрятого в одном из этих каменных мешков? Может быть...

— Гулять приготовьтесь! — открывая глазок, говорит надзиратель.

Из расположения ли ко мне лично или из почтительности к моему прошлому депутатскому званию, он не бьет ключом в затвор. Как будто знает, что внезапный грубый звук здесь отражается тупым ударом в сердце, и щадит мои нервы. Меня каждый раз трогает эта необычная деликатность усатого молодца с типичной солдатской внешностью и выправкой. Он обезоруживает мое молчаливое отвращение к миру тюремной власти, к жестким его вдохновителям и черство-старательным исполнителям.

Одеваюсь. Жду. Слышу, как хлопают двери и гремят замки в камерах этажом выше: это замыкают вернувшуюся из прогулки смену. Потом начинается гроыханье ближе — выпускают нашу смену. Вот гремит ключ и в моей камере. Распахивается дверь. Из коридора вторгается в нее свет и приятный сквозняк.

— П-пожалуйста-с... на Невский...

Толстые усы надзирателя, завитые кверху а' la Вильгельм, шевелятся от улыбки, качаются и прыгают, как беличьи хвосты.

Иду по скользкой дорожке линолеума, по узким чугунным галереям и лестницам. У выходной двери из корпуса во двор ждет шеренга уголовных в белых куртках.

— Стать в затылок и не разговаривать! — тонким, раздраженным голосом кричит на них старший надзиратель и, несколько понизив голос, прибавляет длинное непечатное слово.

— Иди трое! — отрывисто бросает он им при моем приближении. Трое товарищей по заключению отделяются от шеренги и идут впереди меня. На спинах и на штанах у них квадратные клейма с инициалами тюрьмы и годом постройки данной казенной амуниции.

— Ступай четверо! — опять команда сзади меня. Оглядываюсь: кивает мне головой сосед по камере, студент Алексеев, и сейчас же между нами вклиниваются четыре товарища в казенной одежде.

Переход из пахучей полутьмы и тесноты камеры в тюремный садик пленяет и изумляет каждый раз обилием света и воздуха, широким каскадом разнообразных звуков. Свежестью и влажным дымком тянет с той стороны, где Нева. Ласково шевелит волосы мягкий ветерок, доносит широко разлившийся рокот и шум города. В кротком вечернем свете купается купол тюремной церкви и верхний этаж нашего мрачного корпуса, кирпично-красного, с высокими, серыми трубами из чугуна.

Пятиэтажный, с длинными рядами одинаковых квадрат-

ных дыр, забитых железными решетками, он охватил двумя крылами маленький садик и прижал его в угол к высокой кирпичной ограде. Мы гуськом шагаем друг за другом по узкой панели. Она описывает правильную окружность вокруг десятка жиденьких березок и кленов, двух-трех кустов сирени, — и пестро наше зыбкое кольцо: политические — в «вольном» платье, в пиджаках, блузах и рубахах всех цветов, за исключением лишь красного: он не допускается в тюрьме, — и между политиками, как странные белые птицы, уголовные — в грязных холщовых куртках и штанах, по три, по четыре человека. Враги существующего политического и общественного строя намеренно разъединены и разжижены его неизбежными питомцами и прочными сожителями.

Кружимся по узким плитам панели. Арестантские ноги отшлифовали их под мрамор. Подошва скользит по ним, приходится балансировать. Шагаем поспешно, деловито, молча. Времени немного, надо пользоваться драгоценной возможностью двигаться полным шагом.

Хрипло ворчит и трясется наш каменный терем. Грузно вздыхает частыми, тяжкими вздохами. Где-то там, за решетками, охраняющими эти темные, квадратные дыры, редко и звонко стучает молот. Что-то мерно снует и качается ритмическими взмахами. Скоблит, грызет, верещит. Зубчатый визг сердито, обиженно разрежет вдруг мгновенной полосой сыпучую лавину обгоняющихся звуков, обожжет слух и сразу потухнет. И опять мерно ворочается и пыхтит кто-то огромный, медлительно-важный, скрытый внутри толстых стен, и из всех подслеповатых окошек плывет ровный металлический говор, доносится усиленное дыхание напряженной работы.

И порой, когда фантастические образы обступят оторванную от живых впечатлений, тоскующую, удрученную мысль, чудится: жалкий, немой раб гремит цепями там, за этими решетками. Это его слышны мерные взмахи, его тяжелое дыхание, это он устало сопит и хлюпает носом, раскачивается, нагибается, напирает грудью, руками, ногами — он выбивается из сил, темный, безмолвный раб, скованный цепями...

И думы настойчиво кружатся около него, вопрошая и растекаясь в догадках: кто родил его, обреченного на рабство, на жизнь, голодную, не согретую лаской и теплом любовного привета, темную, обильную бессильной злобой? Зачем? Для какой таинственной высшей цели? Тоскует ли о нем чье-нибудь сердце? Плачет ли кто о горькой доле его? Томится ли он сам о ком-нибудь немой, невысказан-

ной тоской — ведь тяжки вздохи его груди?.. Ждет ли он от живых хоть призрака радости, мечтает ли о чем?..

Шагаем и молчим. Правила тюрьмы требуют полного молчания. Трудное это дело — молчать долгие дни, месяцы, годы, но... в этих стенах привычка человеческого естества к членораздельным звукам отнесена к категории недозволенного и карается карцером, как серьезный проступок. Молчи, терзайся угрызениями преступной совести и вянь... Но как ни закалены в немоте люди в стране великого молчания, а все душа алчет человеческой речи, томится и тоскует под гнетом бессловесности. И даже при искреннем желании быть вполне лояльным, не уклоняться на путь преступления против тюремного устава, я всегда ловлю себя на грешном умысле перешагнуть грань запретного: каждый раз мое ухо чутко ловит самый незначительный, сдавленный полупшепот и преступно внимает ему...

— Трамвай бастует, господин... слышали?

Мне хочется сейчас же оглянуться к милому товарищу, дружески улыбнуться ему, переброситься словечком-другим. Но я — уже искушенный преступник, как ни конфузно в этом сознаться. Я сперва беззаботно верчу головой по сторонам, измеряю на глаз дистанцию между надзирателем и нами, оцениваю позицию, а потом уже как бы нечаянно оглядываюсь назад. Приятельски ухмыляются мне простодушные карие глаза. Лицо круглое, смуглое, точно закоптелое, на подбородке черный пушок.

— Бастует?

— Третий день... не слышали?

— Нет. А вы как знаете?

— Да через надзирателей. Третий день... У нас человек пять надзирателей подались туда теперь. Из-за дня: рабочий день сократить...

— Это хорошо.

В другое время мне было бы, я думаю, все равно, бастует или нет трамвай, но теперь весть с воли, весть о неумирающем протесте — даже в крошечном масштабе — меня радостно волнует. А главное — так приятно услышать человеческую речь, завязать хоть мимолетное общение и знакомство... Я забываю об опасности попасть в карцер. Я боюсь, что беседа наша может оборваться, и, чтобы поддержать ее, может быть, слишком поспешно спрашиваю о том, что всегда первым приходит на мысль в нашем положении:

— А вам долго еще, товарищ?

— Нет... сорок три дня.

— Вы по какому делу?

У политических это — вопрос обычный. Но уголовные, — я после убедился в этом, — несколько стесняются его. И мой собеседник не сразу отвечал:

— По подозрению в растрате.

Потом, после некоторой паузы, добавил:

— Девушка одна дала вещь заложить, а я... проиграл в карты...

В ленивом голосе звучало как будто сожаление, несколько комическое. Доносится окрик:

— Реже иди! реже! Куда там лезешь?

Может быть, он адресован и не в нашу сторону, но мы смолкаем. Когда я прохожу мимо старика надзирателя с упитанным носом и клочком белой шерсти на подбородке и встречаюсь с его враждебно-строгим, подозрительным, прищуренным взглядом, я чувствую себя несколько виноватым и отвожу взгляд в сторону, на глянцевую листву жиденьких березок, по которой струится серебряными ручейками солпечный свет.

Длинные тени протянулись в садик. За оградой звенят детские голоса. Между кустами сирени и смородины глухо жужжат косы. Это уже второй день нашей тюремной сенокосной страды. И вчера эти же два косаря в белых куртках с клеймами на спине грызли тупыми, короткими косами траву на нашем газоне. Нынче работает еще третий — старик с серым лицом, в шлыке, лихо сбитом набекрень. Он ворошит подсохшие ряды и складывает маленькие копейки. От выспевших одуванчиков подымается мелкий пух, как рой сквозистых мелких мушек. Медленно кружится в солнечном свете, вьется, летит навстречу — прямо в лицо. Маленькая бабочка трепещет крылышками, и так мило сквозят они на солнышке. Пахнет свежим сеном, вьет мечтой о далекой родине, о сенокосе, о песнях... Сладкий восторг и слезы закипают в сердце, в груди уже звенят и трепещут милые, родные мотивы. Волнуют воспоминаниями, просятся наружу знакомые звуки, дразнят забытою радостью...

— По-кос... — иронически шепчет мой сосед сзади. — Разве это покос? Слезы, а не покос! Такие, что ль, покосы бывают у нас в Пронском уезде? Эх, тюрьма, тюрьма... Не мимо сказано: темница... и больше ничего...

Покос, пожалуй, и плохенький... Ну да, плохенький, тесный, развернуться негде — кустики, деревца, грядки цветов. Ряды кривые, короткие, лежат разбросанные в беспорядке. Косы — видно, что тупые, плохо прилаженные. Косцы часто останавливаются, долго точат их брусками, а не лопатками, как у нас. Один сел и начал стучать молотком по своему

косырю. Плохой покос — не то, что на воле, не то, что у нас. Так начинаю думать я, так, вероятно, думает каждый из кружащихся по панели зрителей.

— Видать, что скопской: берет не чисто, без толку шма-тует,— слышу я опять замечание сзади. Направлено оно, очевидно, по адресу косаря, который работает поближе к нам.

И когда мы доходим к нему, мой сосед сдавленным го-лосом шипит:

— Надо средственно махать косой, а ты рвешь...

Косарь, очевидно, не разбирает его слов, но останавли-вается с видимой готовностью вступить в беседу. Вопроси-тельно смотрит в нашу сторону светло-голубыми глазами и улыбается. Лицо у него матово-серого, арестантского цвета, а борода пегая: с красв рыжая, а в середине — как леп. Типичный крестьянин севера, но в арестантском колпаке и куртке он смахивает скорей на повара, чем на мужика-земле-роба.

— Не можешь, брат Васин! — с сожалением бросил ему мой сосед.

— Чего не можешь?

— Такой пистолет, корпус в себе имеешь порядочный, а у косе понятия никакого не имеешь. Остротил Скопскую губернию на всю Европу...

— Остротил! Ты погляди: струмент какой... самая древнейшая старина!..

— Не конем, брат, а ездоком!..

Я вижу, как старик надзиратель уже вытягивает шею и изгибается, заметив в нашей стороне преступные признаки. Когда мы разглядели с ним, он грозно дергает головой и бровями — чуть-чуть не в мою сторону, и в затылке у себя я слышу его угрожающее хрипенье:

— Ты у меня там... я-а тебе позвоню языком! Ишь ты... к-какой разговористый! В ораторах был, должно быть?..

— Да уж и погань этот старичишка... — бормочет мой со-сед, когда мы отходим на достаточную дистанцию. — Свербит у него в...!.. Так и вихает, так и вихает, кобель седоклокий!

— Службист, — говорю я, — старается.

— Пакостный такой характер... Ведь воп двое — стоят себе, молчат, ничего. Тоже служат, а благородно сами себя ведут...

Я всматриваюсь в них, в тех двоих, которых одобряет мой сотоварищ по заключению. Они — молоды и, вероятно, не вошли еще во вкус служебного усердия. Должно быть, в душе у них живет что-то свое, особое, более важное, чем



тюрьма и кружащиеся перед ними арестанты: видно, что ушли они в свои мысли и не следят за нами. Один, закрыв глаза, чуть слышной, тоненькой фистулой напеваает что-то тягучее, неуловимое по мотиву. Около носа у него глубокие, комически скорбные излучины, как будто он понюхал что-то не очень хорошее и огорчен этим. Другой глядит скучным, не моргающим взглядом в одну точку на буро-красной стене тюрьмы. Лицо у него тощее, желтое, жидкие темные усы и впалая грудь. Сапоги с твердыми голенищами слишком широки для его худых ног; штык, видимо, надоед ему и утомил руки: держит он его небрежно, прижав к животу пригоршнями.

Гляжу я на них: лица обыденные, грубовато-простые. У одного несколько велика нижняя челюсть, у другого приплюснут нос. Но ничего жесткого, свирепого. Пожалуй, даже не черствые люди. Но печать унылой скуки и тупости наложило на них это удивительное ремесло, к которому приставила их судьба, — изо дня в день по десяти часов стоять вот здесь, у этих столбов с навесами от дождя, стоять и глядеть на пеструю, молча движущуюся цепь заключенных, стоять и молчать, зевать до слез и тоскливо ждать, скоро ли кончится постылый тюремный день...

Один и тот же механический порядок изо дня в день, одни и те же впечатления, даже фигуры человеческие одни и те же, в одной и той же пропорции: с десятков политических и три-четыре десятка уголовных. Все примелькалось, как ржавые прутья решеток в окнах, и все до мельчайших подробностей изучено — не только лица, но даже затылки, спины, походка, манера держать руки. Они сразу, я думаю, безошибочно определяют и профессию, и род преступлений своих клиентов. Даже я, например, в сравнительно короткий срок успел научиться этому и вот знаю, что эта кособокая, качающаяся впереди меня спина с приподнятым левым плечом — подмастерье-переплетчик, пробивший булыжником голову десятилетнему мальчугану, который вздумал пошеяться над его уродством. За ним — широкая и длинная, на коротких ногах, фигура бывшего кладбищенского сторожа — осужден за сбыт краденых лампадок с могил. Дальше — легкая, сухопарая фигура разудалого вида — руки в карман, голова в пуху, — ткач... Почти всех знаю. Но безотрадно и бесплодно это знание, и так хотелось бы скорей, скорей уйти от этих жалких, некрасивых, истощенных лиц, отмеченных несомненной печатью вырождения...

— Не отставай, не отставай! Ослабе-ел!.. — покрикивает старик надзиратель.

И все мне кажется, что он это — по нашему адресу. Досада берет. Слышу, и сосед сзади вполголоса негодует:

— Ну, черт морской... Не я буду, ежели я тебя камнем не угощу. Дай на волю выйти... а уж я тебя, собаку, подстерегу... Два раза в карцер через него попадал, господин.

Я с неприязненным любопытством смотрю на службистого стража. На одно мгновение скрещиваются наши взгляды, и вспыхивает в них инстинктивная враждебность. Чужды наши жизни, никогда мы не встречались, не сталкивались раньше, ничего не слышали друг о друге, а вот сейчас искренне, от души я начинаю ненавидеть его, он — меня. Как я ни стараюсь убедить себя, что он — ни при чем в этом жестоком порядке, этот старик, что, конечно, нужда погнала его сюда, нужда заставляет торчать здесь, следить, ловить... Но непослушное сердце негодует и ненавидит. Ведь это — русский крестьянин, тот самый, из-за которого прияли крест настоящие страстотерпцы... Это он не по необходимости, а по особой, охотничьей страсти подкарауливает, высматривает нашего брата, старается уловить, отменным усердием причинить лишнюю царапину... Тут уж — не нужда. Тут — артистическое пакоствничество, тут — привычка вцепляться зубами в живое, беззащитное место, упиваться чужою болью унижения и бессильной злобы...

И я ненавижу его нос грушей, клочок белой шерсти на подбородке. Я гляжу злым, вызывающим взглядом в его узкие, строго следящие за нами глазки, которые ушли в морщины. Мне хочется разглядеть, какие они у него — черные, желтые, серые? Мелькнет ли в них человеческая искра стыда, смущения?.. Но я вижу только щелки, из которых за мной следит с собачьей, насторожившейся подозрительностью и враждой тоже взгляд искренней ненависти. Даже штык, даже медаль на красной ленте, висящей у его глотки, — и те, кажется мне, дышат тем же выражением непослабляющей враждебности и ненависти ко мне за то, что я — арестант... Не даром же он поседел на этой собачьей службе, износил тело и душу, стал похож на старую, угрюмую цепную собаку, которая ничего, кроме лая, не знала в своей жизни.

— Реже иди! Короче шаг! Не на свадьбу... не спеши!..

И мы ходим, стараясь держать дистанцию такую, которая не вызывала бы замечания. Кружимся по отшлифованной арестантскими ногами панели. Некоторое время бессильная злоба свивается червем в сердце, негодует, дразнит, попрекает трусостью. Надо протестовать. Лезть на штык, ругаться и в плену отвоевать право на уважение... Но — пахнет скошенной травой, глубоко и чисто вечернее небо, звенят

детские голоса за оградой, сладкая тоска дрожит в сердце, — иные образы теснятся в душу... Вспоминается иное, далекое небо, милое и прекрасное, иной вечер, другие звуки, другие лица... Качаются впереди меня разнохарактерные затылки и спины — я угадываю, что мысли их не здесь, не в этом садике, а где-то далеко-далеко. Оглядываюсь. На лице моего соседа, напоминающего походкой и фигурой молодого медведя, и на других лицах вижу мягкое выражение мечтательности...

Обернулись головами к косцам, как одуванчики к солнцу. И вот-вот мне кажется, что кто-нибудь бросит в звонкий воздух товарищеский крик: «В круг!.. Песню!..» Сомкнемся и грянем хором... ну, хоть и арестантскую... Полетится она, горькая и безрадостная, диковинная и странная в шуме этого города, прислушаются к ней люди за оградой, дуновение печали пройдет по камню шумных улиц... и утопим в звуках тоску по воле, сладостную скорбь воспоминаний по родному углу...

Мечты, мечты...

Мы шагаем, наблюдая дистанцию. Ходит за нами подозрительный надзирательский взгляд. Мне кажется, когда я оглядываюсь в его сторону, я ловлю его именно на себе. Видимо, надоело стоять старику. Он тоже гуляет, т. е., покачиваясь, пятится мелкими шажками назад, не сводя с нас глаз, и, как маятник, на черном шнуре между его колен болтается свисток. Потом, шагов через пять, движется вперед и усиленно вертит головой, вытягивает шею всюду, всюду — нет ли где признаков преступной склонности к разговорам.

Но и мы... трусим, правда... однако, не безмолвствуем.

— Махать надо средственно, а не рвать, — строго назидательным тоном замечает мой сосед Васину, — тогда я отдам тебе честь — благодарность... А то... что это такое!..

Васин слышит его. По лицу его видно, что ему хочется оправдаться. Он и сам понимает, что работа далека от художественного совершенства, и это, несомненно, конфузит и огорчает его.

— Средственно... А ты дай струмент следующий, тогда и говори! Такими косами мерзлое дерьмо сбивать, а не косить, — говорит он в нашу сторону, когда мы снова равняем с ним.

— Не можешь, — сухо возражает мой сосед.

— Не можешь, не можешь!.. А ты можешь? — теряя самообладание, говорит Васин громче, чем допускает благоразумие.

— Я могу...

— Других лишь учить, а сам «Отче» не прочтешь...

— У меня коса не будет верхушки схватывать...

— Ох, ты-ы... верхушки!.. То-то с твое тут не знают...

Верхушки... Много ли тебя в земле-то? А наружу-то не густо... Верхушки схватывать...

Васин волнуется, сердится. Мой сосед фыркает от смеха, чувствуя действительную силу своих критических замечаний.

— Тут надо смысл маленький иметь, как приладить, как взять, как махнуть,— шепчет он мне в затылок, когда мы отходим на безопасное расстояние от надзирателя.— А у него она не туда и глядит-то...

Он заражает и меня желанием высказаться. Мне хочется говорить не по вопросу о том, как надо махать,— «средственно» или во всю мочь, а о том, как хороши покосы на моей родине, как пестрят луга яркими женскими одеждами, как легки и изящны движения работающих, а на вечерней заре вьется дымок под арбами, под кудрявыми яблоньками, над зеркальным озером звенят комары и песни... В облаке пыли возвращается стадо по дворам. На большом красном быке, на спине, у самого хвоста, сидит мальчуган и, гордо улыбаясь, поглядывает по сторонам.

— Вот так донец!— со смехом кричит ему встречный казак.

Все бы это я рассказал своему соседу. Но... вон вышел уже «старший», сытый, румяный, с выхоленными усами и самодовольно уверенным взглядом. Сейчас задребезжит электрический звонок над входной дверью, и пестрая цепь наша будет проглочена этим тяжело пыхтящим корпусом. Я молчу. Взор мой прикован к фигурам начальников. В них столько великолепия... Сколько снисходительного презрения в их взглядах, которые скользят по моей фигуре... Я люблюсь.

Старший заложил руки за спину и выставил вперед ногу в блестящем лакированном сапоге, а старик надзиратель подобострастным тоном говорит ему:

— Мясо-то я люблю, да жевать нечем... зубов нет... Это уж ежели варить да варить, чтобы нитками пошло. А то наскоблишь иной раз, ну — проглотишь... Борщ вот, например, его не жевать... Или капуста, скажем, картошка мятая — самая моя пища...

— Это пища бездушная,— небрежно возражает старший.— Картошка — ну, есть в ней основание какое? Вот биштексу порции три — это имеет свою приятность, это я понимаю...

— Соболезную я о вашем печальном положении, Васин,—

говорит мой сосед, пользуясь удобным моментом ослабления надзирательской деятельности. В голосе его дрожит и попрыгивает веселый смех.

— Не столько об тебе, сколько об лугу... попортишь ты его зря...

— Замажь рот!

— Пошматовал ни на что... Какой был лужок приличный — изгадил!

Васин бранится, а нам весело. Даже часовой в уголку улыбается. Он стоял все время в мечтательной позе, поставив один сапог на носок другого, обеими руками ухватившись за трехгранный конец штыка. А теперь, видимо, прислушивается к словесной перепалке, и его тешит положение осажденного критикой Васиного.

«Брат, стерегущий меня! — сентиментально думаю я, глядя на него. — И ты — ишьольник, грустный и темный, мечтаешь о родине, о лугах, о комариках, о родной деревушке... Когда-то ты будешь там? Когда будешь звенеть косою и равнодушно вспоминать о камешном корпусе, задыхающемся от тоскливой злобы и тесноты? Задумался ли ты хоть раз над ним, над скрытым в нем страданием и над его таинственной связью с твоей судьбой?..»

— Говорил тебе: чище бери! чище бери! — опять язвит мой сосед по адресу Васиного: — Эх ты, скопской!..

— Замолчи, слюнтяй — черт!

— Сказано: молодцы скопские! Хоша дураки, да большие!.. Тебе и впрямь сбивать мерзлое...

— Ну, возмись сам! на!..

— Я-то возьмусь... У меня давно душа горит...

— Лишь языком... А что касается на практике доказать — ни черта не можешь!..

Обижается и мой сосед, забывает даже осторожность. Уже отойдя на опасную дистанцию, он оглядывается и громко возражает:

— Вот урезонь его, орясину... Торчит прямо, как человеческая аорта... Хочь кол на голове теши!..

— Ну, ты! опять звонить? На базар пришел? — слышится окрик надзирателя.

— Н-ну... чавкай, черт!..

Сосед мой говорит это тихо, но достаточно вызывающим тоном. Старший не слышит слов, но, очевидно, улавливает нечто непозволительное в тоне. Он дергает головой кверху и коротко, но строго твякает своим тонким голосом:

— Э? Кэ-эк?.. Выйди сюда... ты!

— Я ничего, г. вахмистр, — виноватым голосом бормочет мой сосед.

— В темный захотел?

— Г. вахмистр...

— М-мал-чать!..

—... Я только насчет лужка... Пошматовал, дескать, ты, Васип...

Мне не слышно дальнейших слов, но, оглянувшись, я вижу по виноватой спине и по рукам, которые мой сосед вытянул по швам, что он просит о пощаде. Слышу, как опять коротко тьякнул раза два старший. Потом старик надзиратель повел моего соседа в корпус. Клочок на его подбородке быстро прыгал, словно отплясывал торжествующий танец, и голова угрожающе дергалась вверх.

Было жалко соседа, и обидное сознание бессилия наполняло отравой душу. Тяжко пыхтел корпус, и уныло качались передо мной спины с клеймами. Равнодушно шумел город. И через грубую трель езды, сквозь четкий ляг копыт откуда-то пробивались звуки музыки. Чуть улавливало их ухо — звенел вздыхающий и грустный мотив. Должно быть, гармоника. Порой и голос — будто женский или детский — пел... тужил и жаловался... красиво так, мягко и раздумчиво...

Дребезжит звонок над дверями.

— Домой! — командует надзиратель: — Меньше шаг!

Мы обрываем кольцо и вытягиваемся змеистой лентой. Домой... в тесную, испрядную камеру с ароматом параши, с долгими часами тюремной тоски... Мы киваем друг другу головами, прощаемся. До завтра, товарищи по неволе...

— Меньше шаг! меньше шаг! — без надобности покрикивает надзиратель: — Не нелезай... успеешь!..



## В КАМЕРЕ № 380

Оттого ли, что день был такой ясный, солнечный, смеющийся, или оттого, что сердце легкомысленно радовалось предвкушению знакомства с новым, неведомым мне миром, — я никак не мог настроиться на элегический тон, расставаясь со свободой и близкими мне людьми. Год крепости — срок не малый, сколько воды утечет! Может быть, кое-кого вижу в последний раз?.. Да, все может быть. Грустно... А какой-то веселый мотив нет-нет, да и зазвучит в сердце, и седые усы городского торчат, в сущности, не строго, а забавно, и меня разбирает смех...

У городского знак трезвости на груди, лицо малинового цвета, мягкие, приятные стариковские манеры. Он заботливо торгуется с извозчиком, кряхтит под моим чемоданом, подымая его в ноги к извозчику, бережно укладывает подушку и корзинку с посудой. Очень обязательный человек.

Поехали. С Петропавловской крепости доносились выстрелы — было это как раз 23 мая, в день открытия памятника Александру III.

— Салют? Неужели нам? — говорю я всело.

— А как же! Может, и музыка еще встренет, — отвечает городской.

Музыки не было, но зато на Дворцовой набережной встретили богатую карету, и сидевшее в ней духовное лицо в белом клобуке, с белоснежной бородой, осенило нас в окно широким крестным знаменем.

— Владыка, митрополит киевский, — пояснил городской.

— По народным приметам, встреча не очень хорошая, — заметил я.

— Суеверие необразованности, — убежденным тоном возразил мой спутник.

И мы оба разом засмеялись. Потом он спросил:

— На год?

— На год.

Почтительно вздохнул.

— У меня один сын — тоже студент. Путей сообщения.

Помолчали. По уличной мостовой мягко шуршала резина пролетки, звонко шлепали подковы копыт, пахло смолой и сыростью. По середине Невы неуловимо змеились и искрились иглистые блестящие, бежали черные, коренастые буксиры, и выброшенный ими дым, лениво расплываясь, долго гляделся в глубину, где колыхались разрезанные на тонкие кружочки трубы фабрик и мачты парусных судов.

— Да-с,— сказала городской. Не знаю, может быть, он хотел выразить мне сочувствие, а я смотрел кругом легкомысленно и беззаботно, точно ехал не в тюрьму, а домой в родной угол, на каникулы.

— Да-с... да-с,— повторил он соболезнующим тоном.— К воротам налево, извозчик. Стой! Вот мы и приехали...

Через четверть часа, сдавши меня в конторе, этот любезный старичок, уже отдаленный от меня деревянной решеткой и всеми правами не опороченного по суду человека, подошел и дружески протянул руку.

— Ну, счастливо оставаться, г. студент. Дай вам бог...

Я от души пожал ему руку. Право же, приятный человек.

Я сидел и ждал, пока где-то, в неизвестных мне сферах, рассматривался вопрос об окончательном устройении моей судьбы. Я был уверен, что моей особой сейчас чрезвычайно озабочены, что вот-вот позовут меня и укажут камеру, из которой будут видны Нева, пароходы, мосты, вагоны трамвая и далекая суета большого города, груды каменных громад его. Надзиратели входили и выходили, но на меня никто не обращал внимания, как будто забыли. Даже немножко обидно стало.

Подошел рябой чиновник в военной форме, при шапке и револьвере. Спросил:

— Деньги у вас есть? Ценные вещи, часы? Давайте сюда.

Пришлось передать ему все свое достоиние. Из-за часов немного поторговался — как же, мол, без часов? скучно! Но, делать нечего, отдал и часы.

Явился, наконец, надзиратель, который обратил на меня внимание.

— Пожалуйте за мной,— сказал он.

Взял мой чемодан, крикнул и с почтительным изумлением, медленно и четко, произнес многоэтажное слово. Чемодан был-таки тяжел.

— Не ругайся!— увещающим голосом сказал стоявший в дверях другой воин с револьвером и добавил еще более приятное словцо.

После пушечного салюта и архиастырского благословения эти крепкие выражения, сопутствовавшие моим первым



шагам в тюрьме, несколько остудили мое беззаботно-веселое настроение любопытствующего туриста...

Пошли мы бесконечными коридорами. Спускались по ступенькам вниз, подымались вверх, опять спускались и пришли в какое-то подземелье. Решетка, величиною с добрые ворота, отделяла тесный ряд замкнутых дверей. Узкие помещения — вроде конских стойл — тянулись и пропадали в полутьме безмолвного коридора с маленькими окошками вверх.

«Неужели здесь?» — подумал я с внезапной горечью разочарования.

Толстый, приземистый надзиратель с запорожскими усами, похожий на серого кота, сказал покровительственным басом:

— Ну, возьмите с собой, чего вам потребуется, а иное прочее тут останется. Белья берите, сколько вам надо. Мальчик, помоги!

«Мальчик», у которого была уже круглая каштановая бородка, в белой куртке и белых штанах с клеймом назади, начал выкладывать из чемодана на простыню книги и белье.

— Ну, рубахи три-четыре возьмите. Подштанников также, — продолжал протяжно-певучим, наставительным тоном надзиратель, — носков возьмите. Сколько у вас? Дюжинка? Ну, все берите. Теперь — лето, жарко, ноги потеют. Да берите, словом сказать, все. Там разберут, что надо, чего не надо, — сказал он, вдохновляясь неожиданно удачным соображением: — Чемодан только нельзя, чемодан у нас не разрешается. И корзинка тут останется...

— Да у меня в ней посуда, — упавшим голосом возразил я.

— Ну, возьмите корзинку, пожалуй. Там нельзя, все равно не дадут.

Мне было жаль той обдуманной, старательной прилаженной симметрии, в которой я уложил свое имущество в чемодан, — я предполагал удержать ее в тюрьме, — все пошло прахом, все хитроумные соображения, расчеты и распределения! Книги, белье, зубной порошок, коробка с перьями, конверты, одеколон — все спутанным ворохом полетело в наволоку от подушки. Взвалили мы с «мальчиком» по два узла на себя и пошли.

Шли опять длинными коридорами и ущельями с частыми поворотами и остановками перед замкнутыми дверями. Впереди — «мальчик», за ним — я, сзади — надзиратель. Он отмыкал двери и предупредительно говорил каждый раз:

— По мату, пожалуйста.

Остановились в центре корпуса, на перекрещении двух длинных коридоров под высоким куполом с большими окнами вверху. Тут отобрали мои узлы для просмотра и поручили меня новому надзирателю.

Крестообразный высокий коридор поразил меня своим лоском и великолепием. Лепились по стенам в четыре яруса изящные кружева чугунных галерей, передвигались легкие, почти воздушные мостки, спускались узкие, кокетливые лестницы. Обильный свет струился с высоты центрального купола и в высокие, во все четыре этажа, окна в концах коридоров.

Я с любопытством бродил глазами по гляцевито-сизым стенам этого странного дворца, по стройным рядам узких, замкнутых дверей, по косым серебряным колоннам света, в которых причудливо кружилась и плавала пыль, белые и розовые хлопья, мелкий волос. Было светло, интересно, необыкновенно...

— По мату, господин, по мату! — строго и внушительно напомнил шедший сзади меня надзиратель — верно, я часто сбивался с дорожек. — Направо! Вверх!

Шорох движения стоял в воздухе. Безмолвные фигуры в белых куртках и штанах с клеймами назади таскали от одной двери к другой медные, ярко начищенные жбаны. Надзиратели, независимо стуча сапогами, по пятам следовали за ними. Я видел, как в одном месте с громом открылась дверная фортка.

— Кипит! — щеголевато-отчетливо проговорил арестант, придерживая коленом жбан.

Кто-то задвигался там, за замкнутой дверью, — с шумом зазвенела вода в подставленный чайник, и через мгновение фортка опять с громом захлопнулась, скрыла от моих жадных глаз таинственного и близкого моему сердцу незнакомца, который томился и тосковал в этом великолепном замке. Кто ты, милый товарищ, запрятанный за эту дверь с черными замками? Из каких краев? Как живешь? Чем коротаешь время? О чем воспоминаешь?..

— Налево, господин! По мату, по мату... Теперь прямо, в самый конец. Здесь!

Назначенная мне камера № 380 была крайней, рядом с ватерклозетом. Соседство это несколько огорчило меня. «Конечно, — подумал я с уверенностью, — тюремщики нарочно именно для меня устроили эту штуку. Мелкая, презренная месть прихлебателей и хамов незыблемого строя... Пусть потешатся: их праздник...»

Я с нескрываемой враждой взглянул на надзирателя, ко-

торый погромел ключом в замке и распахнул передо мной дверь. Но на туповатом, веснупчатом лице его, измученном вечной заботой исполнительности и порядка, не было заметно признаков злорадства.

«Нет, этот, пожалуй, не виноват... Очень уж прост на вид».

— Ну, вот вам камера...

— Вижу... Одна-а-ко...

Маленькая, замаранная клетка, такая невзрачная и грязная после лоснящегося коридора, что я не выдержал, обнаружил некоторое малодушие и брезгливо сказал:

— Неужели повеселей не нашлось?

— Веселость у нас тут, господин, везде одинаковая, — сказал надзиратель безнадежно-серьезным тоном. — Погодите, я вас обыщу... А ты опять больничную шестьдесят седьмому номеру не выдал? — строго обернулся он к широколицему малому, стоявшему в дверях ватера.

— Я позабыл, — ответил вязким голосом новый мой товарищ.

Выражение тупой, непослабляющей серьезности, по-видимому, навеки застыло в лице надзирателя. Не замечая моей пренебрежительной улыбки, он глубокомысленно и старательно исследовал меня, ощупывая, лазил по карманам. В жилете нашел ключик от чемодана. Долго смотрел и соображал, как поступить с ним.

— Ключ?.. Это надо сдать, — сказал неуверенно.

Подержал еще в руках и... положил в прежнее место, в карман. Потом запустил руку за пиджак и в боковом кармане нащупал памятную книжку. Осмотрел ее со всех сторон строгим, проникновенным взглядом, щелкнул пальцами по переплету, согнул веером обрез и произвел быструю ревизию по страницам. Должно быть, не нашел оснований для конфискации: сам отвернул полу пиджака, — я протянул было руку, но он строго отклонил ее, — сам нашел карман и водворил книжку на место. Завернул полу и даже застегнул на верхнюю пуговицу пиджак.

Поначалу мне было смешно. То есть не только смешно — было и ощущение некоторой гадливости... Но постепенно я был заморожен этой торжественной серьезностью. Я проникся вдруг мыслью, что это — отнюдь не забава, не праздный пустяк, и стал, чем мог, сам помогать надзирателю: покорно поворачивал голову, шею, подымал руки, отвернул обмлага пальто, сообщил о дыре в одном кармане и предложил полезть за подкладку. Взял ли я его в плен такой готовностью, или вообще ослабела у него энергия, но за под-

кладку он не полез. А у меня там было спрятано с десяток почтовых марок и несколько маленьких конвертов — на всякий случай.

Потом мы вошли в камеру, постояли друг против друга. Он открыл примкнутую к стене койку и сказал:

— Вот... в случае отдохнуть...

Мы оба окинули критическим взглядом грязно-серую груду тряпья. От старой суконной попоны, прикрывавшей матрац, повеяло на меня суровостью, безнадежным убожеством и презрением к арестантскому существу. Надзиратель с особым шиком шлепнул соломенной подушкой в грязной пеньковой наволоке по какой-то заватланной, отвратительной тряпице.

— Это — пододеяльник, — сказал он, чувствуя мое молчаливое недоумение.

Стены везде были исчерчены чернильными потоками, пятнами извести, затиравшими, вероятно, какие-нибудь дерзкие надписи или кощунственные изображения. Должно быть, и надзиратель почувствовал неприглядность помещения.

— Мыли камеру, Терехов? — спросил он у широколицего малого, который одним глазом заглядывал в камеру с галереи.

— Мыли, — не совсем твердо выговорил Терехов. Но по голосу слышно было, что соврал. — Можно будет в субботу еще помыть, — прибавил он на всякий случай.

— То-то, — строго сказал надзиратель. — Ты у меня смотри, чтобы все было чисто... А то я... Это вот что?

Он взял с подоконника медную кружку, всю измятую, в зеленых пятнах, и, тыкая в нее пальцем, взыскательным взглядом посмотрел на Терехова. Во мне эта посуда вызвала некоторое содрогание.

— Вы можете взять ее отсюда, — сказал я надзирателю. — У меня будет своя посуда.

— Нельзя. Она должна находиться при своем месте. Полагается.

— Да я ею пользоваться не стану!

— Надобности нет... А нам ежели тут чистоту не наблюдать, то и...

Он не договорил и махнул рукой.

— Нет, ежели бы вы были инспектором тюрем, что бы вы сказали? — строго спросил он меня, опять тыкая пальцем в зеленые пятна.

Я не был ни в чем виноват, но в тоне его вопроса слышался как бы косвенный упрек мне. Я потупил глаза и помолчал, ничего не мог сказать в свое оправдание. Потом почтитель-

но мягким голосом спросил, чтобы перевести разговор на другой предмет:

— Мне бы книги мои получить... нельзя ли?

— Три книги вам дадут.

— Три? Только?.. А словари? Справочники?

Он посмотрел на меня с некоторым недоумением. Едва ли понял вопрос.

— У нас все единственно. Три книги и — весь разговор...

И вышел. Хлопнула дверь, щелкнул затвор. Я остался один перед вопиющим ворохом арестантских тряпок, среди этих замызганных стен. И на место беззаботного, веселого любопытства к новой обстановке вошла в душу неожиданная и острая тоска. Один... Может быть, так чувствует себя птица с поломанными крыльями, бессильная подняться на зампрающий в холодной высоте призыв товарищей и братьев...

Там, за стенами, остались близкие сердцу люди. И что бы ни случилось с ними, я уже не могу вырваться к ним из этих замызганных стен, откликнуться на их зов... Один... Буду томиться тоской, считать дни и ночи, мучиться неизвестностью и страхами, буду незаметно подвигаться к умиранию на этой ужасной койке — и ни одного звука, любящего взгляда, пожатия руки, ни признака теплой ласки... Один... Отрезан от всего мира, равнодушного к моей тоске, к моему угасанию, — так много ведь прошло через эти стены легковерных голов, и притупилось к ним усталое внимание...

Странная, дремотная слабость охватила вдруг меня, — упало нервное напряжение последних дней моей свободы, серый полог покорной безнадежности окутал мысли. Я сел у грязного, липкого, исчерченного ножом столика, подпер голову, закрыл глаза, и — страшный, спутанный, кошмарно-дикий мир поплыл передо мной, кружась и меняясь в необычайных сочетаниях. Вереницей тянулись ломовые извозчики с апатичными, заветренными лицами; в самом затылке у меня гремели их грузные телеги... И рядом, в коридоре, — несомненно, это в тюрьме, а не на улице, — старик в белом клобуке насвистывал мотив песни «Солнце всходит и заходит», и тихо колыхались в воде отражения мачт и закоптелых труб фабричных. Грустное лицо матери наклоняется надо мной... близко-близко... безмолвно смотрит, ласкает скорбным взглядом... О, родимая! ты... ты встала из могилы? Пришла поддержать дух немощный твоего сына?..

Боль в сердце, долгая и тяжкая, как грохот ломовых телег. Протяжно воеет где-то пароход. Стук в стену, мелкий, проворный, вороватый, словно беготня мышенят... Раз, другой, третий... Вероятно, требуют ответа. Я, конечно, изучал азбуку,

но не упражнялся и боюсь провалиться. Не могу понять, о чем вопрос: о роде? звании? состоянии? Или просто сосед поздравляет с прибытием?.. Нет, лучше помолчу пока...

---

И потянулись дни. Тот новый мир, о знакомстве с которым я мечтал, он весь замкнулся для меня в четырех стенах тесной, полутемной камеры. Было в ней жарко и затхло, каждый день налетала пыль со двора и тонким серым налетом покрывала подоконник, стол, книги, подушку, одеяло, а под койкой собирались в белую, разметанную кудель хлопья и шерсть. Издали доносился ровный шум города, свистки надзирателей перекликались по коридору. Было пусто, но беспокойно. Вставали мелкие, но волнующие вопросы: скоро ли получу право написать письмо, уважат ли ходатайство о выдаче второй тетрадки, разрешат ли пользоваться своими тарелками или придется есть из отвратительной казенной миски?..

Как редкие, грязные капли, которые шлепались по туманному утру с моего подоконника вниз, на каменный двор тюрьмы, бурые, янтарно-прозрачные,— дни были похожи один на другой, медлительные и пустые. Усиливаюсь наполнить их содержанием, работать, читать, размышлять, а непослушные мечты бегут из этих ободранных стен со следами прежних неопрятных обитателей, рисуют далекие и милые картины,— и от моих попыток создать систему холодного, бесстрастно-спокойного философского созерцания жизни остаются одни беспорядочные обрывки. Они проплывают где-то в стороне от сознания, в тумане, не мыслями, а словами, легкими, звонкими, как пустые кубышки, свежеусвоенными, но непонятными и потому как будто гипнотически-успокоительными... «Формула железной решетки»... «Круг железного предназначения»... Еще что-то... А поглядишь в окно на травку, которая пробилась меж булыжником мощеного двора, на молодые, клейкие листочки березы, вспомнишь длинную-длинную вереницу безрадостных дней,— все теперь без меня на воле вырастет, отцветет, созреет, увянет, будет засыпано снегом,— а тут, в этой клетке, одно и то же, одно и то же: пятна по стенам, пыль, духота, немое одиночество и удрученная жизнь...

И кипят слезы в сердце...

Нет, нет... Я никогда, ни одним намеком не обнаружу, что раскаиваюсь, сожалею, малодушествую... Ни в каком случае! Никому!.. Но когда я один, когда я стою у окна, держа руками за холодные прутья решетки, и слежу, как

гаснет тихий, кроткий свет вечерний на окнах второго корпуса, слушаю долетающий до меня тихий, печальный напев неведомого товарища и звонкий смех детей за оградой, — прилив тоски, безмолвной гостьи вечерней, затопляет всю твердость, все мужество мое, всю гордость, — и вот они — слезы... льются тихими и долгими ручьями на темные прутья решетки, на пыльный подоконник... И горькую жалобу шлет, в бессилии, сердце тому Неведомому, который видит все зло, все обиды мира, видит и молчит...

А по ночам всегда такое ощущение, как будто едешь в пустом вагоне третьего класса с жесткими, неопрятными лавками, едешь и ждешь: через столько-то часов — знакомая станция, милый старый тарантас, сутулая фигура Павлушки и поездка домой по дремлющей зеленой степи. Проснешься. Оглянешься с недоумением, насилу вспомнишь: тюрьма?.. Странно...

По утрам над самой головой моей гулко поет колокол. В камеру заглядывает солнце. Левее двери — веселое квадратное пятно теплого золота, исчерченное серым узором решетки. Проплывают через него тени дымных облачков — закроют на мгновение серой вуалью и — слова милый, радостный свет, и в камере уютно так, свежо, легко, чирикают воробьи, воркуют голуби на подоконнике, мои обычные гости утренные. Певучая медная волна колышется, мягко и долго жужжит, уходит в светлую даль и умирает за Невой, где густым, широким звуком откликается ей колокол Смольного собора. Поет-гудит могучая медь, величаво-спокойный, торжественный гимн льется в сухую трель просыпающейся городской жизни...

В голубом серебре колонны, которая тянется от окна к двери, кружатся, плавают крошечные звездочки, рогульки, червеобразные шерстинки, играют в солнечном свете, переливаются радужными цветами. Поднимаются, опускаются, причудливый ведут хоровод... Боже, как прекрасен мир, как удивительна жизнь! Вот — целый микрокосм, неисчислимый и причудливый... Я пошевелил рукой, и какое возмущение произошло в нем, какие бурные скачки, зигзаги, винтообразные полеты всех этих пылинок, хлопьев, шерстинок. И каждая из них — особый мир со своими обитателями, которые живут, наслаждаются, борются, умирают, — может быть, и мне они грозят разрушением и смертью?..

Светлый квадрат перешел со стены на дверь. Значит, шесть часов. Сейчас прозвенит мелодический тюремный звонок, и тюрьма проснется. Вот он... По коридору, точно сорвавшись с цепи, побежал топот, стук, началась суета — сперва вдали,

потом ближе, ближе, и вот этот гром и толкотня прихлынули к моей камере — она рядом с ватерклозетом. Мне кажется, что весь накопляемый за сутки запах зловония, пробегая тут, рядом, нарочно останавливается перед закупоренной моей дверью, топчется, силится весь без остатка втиснуться ко мне в гости. Слышно, как парашечники сталкиваются на бегу, скверпословят, иногда расплескивают зловонную жидкость и, спеша кое-как притереть ее, отвратительно ругаются. Начинается тюремный день... Он будет такой же, как вчера, как неделю назад, как всегда, длинный и тошный, с обычными этапами на монотонном пути его — с выдачами кипятку, обеда, с получасовой прогулкой. Часа через два уйдет из камеры солнышко, станет серо и тускло, я засажу себя за урок, чтобы убить злейшего своего врага — время, я изучаю английский язык и гражданское право — авось пригодится когда-нибудь. А сейчас поднимаюсь к окну, дышу утренним воздухом. Голубой туман еще плавает в холодных тенях между березами и домами, а на осыхающих от росы крышах серебром играет солнце. В бледной, затканной светом, лазури неба два узких облачка, и, точно оторвавшись от них, плавают над тюремным двором белый пух. Задымила высокая труба, заклепал пар из трубки над кухней, протяжно гудит гудок, цепь арестантов ленивым шагом подходит к слесарной мастерской. Начинается тюремный день.

---

Гремит дверная фортка. Пушистые усы надзирателя Неведреного наклоняются к квадратному отверстию. Это — не тот, который водворил меня в 380-й номер, — другой; тот — Акимов. У Неведреного смышленное лицо, великолепные усы, густой, грубоватый голос, выправка бравого солдата. Акимов трусоват, сухо исполнительен и туп. Не интересен. На разговор ничем не вызовешь: боится.

— Ну, что нового? — спросишь при случае.

— Погодите. Занят делами: одну прогулку впустить, другую выпустить.

Он в отчаянии машет рукой, точно, в самом деле, это необычайно головоломная вещь: замкнуть смену, возвратившуюся с прогулки, и выпустить новую.

— Ну, по крайней мере, как там холера?

— Вообще в одном положении: помирают...

И торопится уйти. Иногда прибавит:

— Эх, господин, кабы у меня не детишки... Куча... А тут — старший, тут — заведующий...



Неведренный, вопреки своей хмурой фамилии, гораздо общительнее Акимова. Он не прочь, при случае, выкурить со мной папирску, побеседовать на социальные темы, позлословить насчет властей, начиная с своего непосредственного начальства, вспомнить — с почтительным интересом — недавнее прошлое, когда в этом корпусе сидел совет рабочих депутатов, дать полезный совет касательно истребления клопов и т. п. С ним любопытно поговорить.

— Стричься-бриться не желаете?

— Нет.

— Книжки менять?

— Тоже.

— Н-ну... вот вам за это. Однако мало — целых три...

У меня чуть дух не захватывает от внезапной неожиданной радости: письма! Вести с воли, с родины... Так долго, так трепетно ждал их... Какой счастливый день! Какой милый человек — этот Неведренный... Спасибо, спасибо! Вот — хороший человек!

Сдержанное, но довольное ржание, и фортка захлопывается.

Я жадно впиваюсь глазами в милые строки. Спешу, глотаю, пропускаю слова. После, потом прочту медленно, с чувством, с толком, с расстановкой, а теперь — в карьер, лишь бы узнать, живы ли, здоровы ли, не случилось ли чего за эти три недели, долгие и нудные недели, растянувшиеся чуть ли не на сто лет?..

Письма, конечно, вскрыты, украшены тюремным штемпелем, но это не омрачает моей радости, не заглушает голосов из родного угла — они все так же милы, трогательно-жалостливы и нежны. В одном конверте проскользнул даже каким-то чудом крошечный засушенный букетик степных незабудок. Смотрю на него, — засушен он с такой тщательной и нежной заботой, — нюхаю. Ничем он не пахнет, — знаю, — но почему-то мне чудится в нем весь аромат лазурного простора, степного ветра, родной земли, родного солнца... Тихой далекой музыкой звучат стихи в сердце:

Степной травы пучок сухой,  
Он и сухой благоухает!  
И разом степи надо мной  
Все обаянье воскресает...

Не знаю, откуда это, но вспомнилось и неотвязно поет в душе.

...Он и сухой благоухает...

Закипают и просятся на глаза слезы, слезы сладкой тоски и умиления. Далекий край родимый встает в сиянии волшебной красоты, точно в нем никогда не было ничего печального — темноты, бедности, грязной природы... Точно я не видел там ни злобы, ни предательства, точно одна лишь, осиянная золотым светом, юная радость жила в нем...

Это вот почерк Руфинки — смешные каракульки... А ошибки! Нечто невероятное!.. «Покаместа все слаубогу благополучно»... «Игнат купил себе лошадь 40 руб. и хвалит говорит хорошая а у нас в соседах новорожденный Александр Федрович».

Смешно... А местами — настоящая поэма, — так мне, по крайней мере, кажется. Не хочу конфузить тебя, Руфинка, немножко исправлю:

«Скучно и грустно тут без тебя, хоть и на своей стороне... И что за это время передумала — приезжай поскорей, мой дорогой Котик, из твоей неволи, жду тебя, все денечки перечла, — может, и не дождусь, как все это долго тянется... Не привыкну к этой мысли, что тебя не будет тут, — неужели это правда?»...

Я слышу ее серебряный голосок... Глаза мои застилает туман. Но я смеюсь любящим смехом над этим наивным лепетом. «Неужели это правда?..» Ах, Руфинка, Руфинка! Можно ли писать так безграмотно?..

«Новостей особенных нет, только что народ мрет: Авдотья Алексеевна померла Староселова, а Веденей Иваныч свою Софью Осиповну избил и уехал. Пришел он к ней Веденей Иваныч, а у ней сидел иной, Веденей горе взяло, он окно разбил. Софья выскочила. Веденей схватил ее и ну бить. Ну так он не одолел, начал он ее и зубами грызть, прогрыз он ей щеку, а еще бок прокусил и отобрал у ней 10 руб. денег...»

О, узнаю тебя, родная сторона! Только в твоих недрах может расцветать такой своеобразный героизм, такая неподдельная пылкость чувств до кровожадности и жестокая месь до экспроприации десяти рублей!..

«Сама с кабатчицей поссорилась. Теперь кабатчица за Степу за Гулянина взялась, он у ней бывает до 12 часов ночи. Вот за каждым штанам-то влочится, прости за нескромность, но такую, как она, можно...»

Я улыбаюсь. Понимаю, в чем дело, Руфинка: ты немножко злословишь... А пора бы забыть: дело прошлое... Дело прошлое, и обе вы мне дороги теперь, бесконечно дороги вы мне, моя далекая Руфинка... Если бы я вас мог теперь уви-

дать! Обейх крепко-крепко прижал бы я вас к груди... Мои милые, любимые, далекие!..

Я закрываю глаза. И вот они — встают воспоминания, закутанные в голубую дымку прошлого, как далекие холмы степные, близятся, растут, разворачиваются и проходят в живых волнующих образах...

Темные, жаркие вечера, звездное небо, смутное волнение ожиданий. И вот вновь дрожит сердце, как и тогда. Напряженно прислушиваюсь, всматриваюсь в серый полог ночи. Мелькают в глазах легкие тени, порошок шагов слышится, каждый звук ночи — сонное воркование голубя на колокольне, вздох — Бог знает чей, — писк летучей мыши — все ловит и отмечает насторожившееся ухо, все смутной тревогой отзывается в сердце. И вот он — робкий силуэт вдали... промелькнул, растаял — нет его... Ищет напряженный взор и ждет. Легкая тень неслышно отрывается от церковной ограды, вырастает рядом. Из-под накинутого на голову платка смеются славные, задорные глаза, блестит полоска зубов, шепот слышится наивно-хвастливый:

— А я в окно... Мать если хватится — пропала головушка...

...Роятся звезды вверху, меж черными ветвями старых груш, играют трепетным светом. Чутко дремлют темные кусты и деревья. Густой запах идет от черной полыни, которой покрыт шалаш. Звенит пестрый хор в траве, в ветвях, и безбрежно разлита его буйно-радостная песнь в теплом дыхании звездной ночи.

Земля уже остыла, и так хорошо лежать у шалаша — меж ветвей темное небо так высоко, и так прекрасна игра звезд. Передо мной, поджав колени, сидит, болтает милый вздор веселое, грациозное существо с зелеными глазами — Руфинка. Обнимает, смеется. Смолкнет на мгновение, прислушается и — вдруг тонесенько и звонко бросит в воздух задорный мотив какой-нибудь глупой частушки. Как будто мы одни в целом мире... кругом — сады, безлюдье, черная глушь, сплошная тень. Но почему-то кажется, что кто-то есть там, в темных, таинственно молчащих кустах, крадется тихо-тихо, следит и смеется беззвучным смехом.

— Тише, Руфинка... услышат...

— Н-ну... кому тут?.. Да я никого не боюсь!

— Никого? Врешь.

— Матерю разве... Я знаешь как? Я отцов тулуп свернула и закрыла одеялом. Ну, хочь близко подойди — совсем-совсем как человек спит. А сама сняла цветы с окна да в палисадник шмыг!.. Что?.. а?..

Близко-близко искрятся ее смеющиеся глаза, и волосы щекочут мне лицо.

— Ну, молодец, молодец...

— То-то... Я небось не поробую! Я раз говорю Саше — это вперед было... ну когда ты к кабатчице ходил... пройдемь мимо окон, а у меня сердце аж затрепещет... ты не знал? Н-пу?.. эх, ты!.. «Саша, — говорю, — давай с тобой нашьемся да к Сереже в сад пойдем...» — «Да ты чего? сбесилась?.. Я до смерти боюсь на чужие сады»... А ведь была? Скажи правду!..

— Ну, что ты, Руфинка... пустяки какие...

— Не ври, не ври, знаю: сама мне открылась... «Да ты чего, — говорю, — дура, боишься? Уж коли погулять, так стоит дела с кем... Пускай будет слава по народу, по всей улице позор, так, по крайней мере, знаешь, за кого страдаешь...» Сгу-би-ли меня твои о-очи...

— Ну, тише, Руфинка...

— Да что ты все молчишь? Ты скажи что-нибудь... Ну, как там, в городах твоя жизнь протекала?.. Да! Забыла!.. А кабатчица вчера мне грозилась: «Ну, я тебя, девка, подкараулю...» — «За мной, — говорю, — караулить — грубая работа... Личность какая!..» — «Скажу, — говорит, — матери...»

Я смущенно кашляю. Тут довольно запутанный узел отношений. Соперничество, ревность, вражда... Кабатчица — это очень милая дама, сиделица винной лавки, бывшая учительница церковной школы, — злой язык Руфинки окрестил ее кабатчицей. Но она — хороший человек. Немножко ревнива, подозрительна, мучительна в своей привязанности. Часто плачет, делает сцены... Я обещал быть у нее сегодня... И буду — вот лишь провожу Руфинку... И зачем они ссорятся? В сердце моем любви хватит на них обеих...

Там еще есть Саша, — я бываю и у нее — реже теперь, чем раньше, но бываю. Иногда провожу ее и сюда. Она грустна, молчалива, мечтательна. Читает чувствительные романы и... акафисты. С ней скучновато, но я люблю ее за собачью преданность. Поманите ее чуть-чуть — идет. Придет, ласкается так робко и благодарно, вздыхает, покорная и безответная... Иногда говорит о своих снах, а все они возвращаются около одного мотива: ранней смерти...

— Руфинка, а как ты с Сашей? Она знает, что ты бываешь тут?

Руфинка немножко медлит ответом.

— Саша? Она все акафисты... Конец свету, говорит, скоро будет, земля будет гореть...

— Ну, скажи правду, Руфинка: знает Саша, куда ты ходишь?

— Все, говорит, погорим... Для чего наряжаться, одежду справлять? Все равно помрем... Как ты думаешь?

— Я не хочу.

— И я не хочу. Говорят: гроб — не коляска, ехать не тряско,— а не хочу. Саша вот хочет!..

— Ты с ней откровенничаешь?

— Да нет же... Ну, что я за дура: открываться буду ей?.. Она кабатчицу — ту не любит, а меня ничего. Она как-то мне раз: «Твоя очередь,— говорит,— ну... твоё счастье...» Я смеюсь, а она — в слезы. Куриное сердце.

Мне жаль Сашу,— раненое сердце,— совесть немножко упрекает меня. Но если я любил их всех? Всех трех любил одинаково, всем предан был и верен сердцем, шел на их призыв, очарованный их трепетной жаждой счастья, был благодарен им за трогательную ласку, упреки, слезы... Всех их любил я радостной и грешной любовью... И вот сейчас сладкая истома грешных мечтаний уже охватывает меня, я слышу воле жаркий шепот, и в темноте глаза мерцают, их взор и дразнит, и изнемогает, и весь горю я от прикосновения упругого, волнующегося тела...

А драмы?.. Мне не хотелось бы их вспоминать — зачем ворошить пережитые конфузные положения? Но грустная и насмешливая память настойчиво выдвигает все, что случилось под покровом звездной летней ночи...

...Руфинка весело рассказывала о своих прежних увлечениях — она не умела скрывать грехов, а я был достаточно снисходителен к ее легкомыслию.

Должно быть, мы говорили и смеялись громче, чем позволяло благоразумие, потому что за плетнем, в той таинственной, темной гуще садов, где никого не должно бы быть, — мы так думали, — вдруг послышался оклик: «Сергей!..»

Голос нам обоим был слишком хорошо знаком. Дрожала в нем резкая нота злых слез. Мы замерли. Руфинка ухватилась за мое плечо, и я слышал, как стучало ее сердце.

— Кабатчица... — прошептала она, вся напрягаясь, как струна.

— Сергей, слушай сюда! Нечего притворяться — я знаю: ты здесь.

Я трусливо втянул шею в плечи, словно приготовился к удару, и — ни звука... Лицо Руфинки в темноте казалось белым-белым, и широко раскрытые глаза напряженно глядели в темную глубь сада. Я понимал: ее положение было куда хуже моего... Она должна была чувствовать себя виноватой

стороной — право первенства принадлежало ее сопернице, ревливой, решительной и пылкой, которая не остановится перед скандалом... И вот он — расчет...

— Поди сюда, Сергей... нужно...

Молчу. Каторжное положение! Мысль трусливо мечется, ищет выхода. Хорошо бы шмыгнуть куда-нибудь в кусты, да совестно перед Руфинкой: я должен быть рыцарем.

— Слушай, Сергей! Там человек умирает... прибегали за лекарством...

Никто не умирал, конечно. Да я и не доктор, и не аптекарь. Ну, врачевал иногда недужных хинином или свинцовой примочкой, но умирающих этим не подымеешь...

— Я буду кричать, Сергей! Я тут боюсь!..

В голосе ее звучит рыдающая злоба... Все равно не отмолчишься. Будь что будет. Встал и пошел. Руфинка?.. Ну, она молодец, Руфинка: хватилась с места и легко, беззвучно помчалась белым призраком в глубь сада. Миг один и — нет ее, пропала между деревьев.

Я подошел к плетню.

— Это ты, Катя?

Я чувствовал, что голос у меня стал каким-то подленьким, фальшивым; трусливая, заискивающая ласка ползла и извивалась в нем. И, может быть, потому такое негодующее, нетерпеливое требование прозвучало в стиснутой злобе ее восклицания:

— Иди сюда!

— Я иду.

— Куда же ты?

— Как куда? В калитку, я думаю?..

— Нет, здесь!

— Ты с ума сходишь, Катя? Плетень чуть не в сажень вышины...

— Здесь! Ты спрятать ее хочешь? Ну не-ет! Перелезь здесь сию же минуту!

— Ну, что за выдумки!

— Хочешь, чтобы я закричала?!

Пришлось подчиниться дикому капризу. Полез... Как-то отяжелело все тело. Старый плетень неистово хрюстел, качался, царапался сучками, ободрал мне руки. Облемился изъеденный червоточинной колышек, за который я ухватился, и, к довершению конфуза, я неловко рухнул в канаву с высокой лебедой и крапивой. Постылая ненаходчивость, сознание виноватости делали меня смешным и беззащитным. Я молча и покорно подошел к Кате. Насторожился: как бы не стала драться! Ведь эти африканские страсти разрешаются иногда

очень бурным финалом... Стыдно сознаваться, но был момент, когда я чуть было не попробовал улизнуть, да — слава Богу — не успел... Она, рыдая, больно вцепилась в мои плечи и изо всех сил стала трясти меня.

— Ты... ты... негодяй! Ты с кем тут? Так честные люди делают? Так лгать, надувать? И с кем? С какой-нибудь дрянной желторотой, необразованной девчонкой. Ну, я ей покажу-у... Я пойду... Я ей... Я ее... нет, она у меня не ухоронится!

— Я не понимаю, о чем ты, Катя? Ты говорила: умирает человек... Ну, изволь...

— Такая зеленая девчонка и уже развратничает! Нет, я завтра же матери ее скажу — пусть она знает!

— Катя, уверяю тебя, никого нет.

— Я сама слышала! Я ее, скверную девчонку... С таких лет! Я ее пойду!..

Она бросила меня и кинулась в калитку — дорога ей была хорошо знакома. Я видел, как она металась по вишневым кустам, которые были поближе к шалашу. Мне стало даже смешно: ищи, ищи — Руфинка уже далеко! Но у шалаша я запнулся вдруг ногой на что-то. Нагнулся: большой платок Руфинки. Испугался и растерялся: вещественное доказательство... Как он не попался ей под ноги... Но раздумывать некогда: бросил его вверх, в ветки груш, но он сейчас же свалился оттуда на крышу шалаша.

— Ты что тут прятал?

Неужели видела? Я едва перевел дух.

— Ничего не прятал, что ты?!

Она опять метнулась к кустам — ей казалось, очевидно, что если спрятал, то непременно в кустах. Раза два она чуть не зацепилась за конец платка, свесившийся с крыши шалаша. Но в темноте не обратила на него внимания. А я замирал от страха: попадет она на этот платок да отнесет завтра матери Руфинки — достанется на орехи моей веселой девчурке...

Но ревность всегда слепа немножко. Да и безлунная летняя ночь хоть и выдала нас с Руфинкой, но она же и спасла: Катя так и не нашла в темноте ничего уличающего. Утомленная и обесиленная схлынувшим гневом, она села на скамью и горько заплакала...

А потом мы помирились. И занялась уже заря, когда я провожал ее по улице к винной лавке № 540. Встречались бабы, гнавшие коров в стадо. С удивлением оглядывали нас и язвительно улыбались. Мне было немножко неловко, стыдно, я не прочь был бы уже и расстаться с Катей, но она настояла на том, чтобы я непременно довел ее до дверей

винной лавки № 540... Теперь это далеко и, пожалуй, забавно, а тогда я проклинал судьбу и ревнивых женщин. Угрызения совести меня не очень беспокоили...

Я потом вернулся в сад, взял платок Руфинки — неудобно было его оставить там на день, могли увидеть посторонние. Я долго думал, куда мне деть его? И понес... Саше — для передачи по принадлежности. Саша как будто ждала меня: лишь стукнул я в окно ее комнатки, она сейчас же открыла его. Была она в одной рубашке, и мне неловко было глядеть на ее голую грудь и руки при свете утра. Я приписал рассвету и ее смущение — она не смотрела на меня: молча взяла платок и тотчас же спряталась за занавеской...

А после я узнал от нее же самой, что это она выдала тайну Руфинки и даже вместе с Катей была в садах — одна Катя боялась идти... Я хотел рассердиться, но — махнул рукой!

И вот, смотрю я на эти каракульки и слышу щебечущий голос, звонкий смех, вспоминаю тоненькую, грациозную фигурку Руфинки. Но я и не подозревал, что в ее удалой, ветреной головке столько нежной, трогательной привязанности и верности...

«Для меня бы сколько радости было — хоть письмецо от тебя, — погляжу на твою карточку, хожу, как помешанная в уме, не знаю, за чего взялся. И когда это страдание кончится? А то увижу тебя во сне, и так хорошо бывает, проснусь сама не в себе: зачем я проснулась? зачем я должей не спала? Отлегнет на сердце немного и опять тяжело, ничего не мило»...

Да, я отзовусь ей... Я пошлю им всем отсюда слово горячего привета и старой любви. Они услышат мой голос...

Вот жаль одно: мне еще только через неделю выдадут листок почтовой бумаги и конверт — такой порядок тут: в первый месяц — одно письмо. Ну, это мы попробуем обойти. Может быть, Неведренный? Он как будто — добрый малый... Или товарищи-уголовные: у них, надо думать, есть ходы... Попробуем...

---

Плотный, широколицый Терехов в серой рубаше и белых штанах с клеймом позади ползает на коленках по моей камере, шлепает по полу мокрой тряпкой и размазывает теплую, грязную воду по всем углам. Трет щеткой. Сегодня суббота, день приборки.

Я стою на койке — единственный остров среди этого наводнения. В дверях — Неведренный.

— Ну, попроворней, попроворней, Терехов, — понукает от



скуки Неведренный.— Покажи-ка шлюшинскую развязку!

— Вы из Шлиссельбурга, товарищ? — спрашиваю я.

— Точно так, шлиссельбургский мещанин.

— Вот извольте посмотреть, — обращается ко мне Неведренный. — Зад — печь печью, а к работе хладнокровен. Насчет девок лишь проворство оказал...

Мне давно хочется спросить Терехова, как он попал сюда, да стеснительно как-то: что, если украл или совершил мошенническую проделку? Лицо у него такое добродушное, простое, и не хочется, чтобы он оказался вором или мошенником. Неведренный намекает будто на что-то романическое. Любопытнo.

— Вы по какому же делу, товарищ?

— За убийство.

Помолчали. Неловко расспрашивать: может быть, тяжелый след на душе остался от драмы, а я буду касаться ее из праздного любопытства.

— По пьяному делу из-за барышни, действительно, сурьез вышел, — говорит сам Терехов спокойным тоном. — И всего только раз и ударил ножом, а он тут же умер. В глаз попал.

Он бережно передвигает на вымытую сторону столик, на котором стоит чайная посуда, и говорит с опасением:

— Не поделать бы черепков...

Спина у него широкая, квадратная; руки — с короткими, твердыми пальцами в рыжих волосах.

— Ежели бы я сам на себя в пьяном разе тогда не напел, мне бы восемь месяцев дали, заместо двух лет. Ну, все равно. Третью часть отсидел, пустяки самые осталось. Ничего, посидим...

— А не скучаете?

— Чего же скучать? Жизнь тут веселая...

Он сипло рассмеялся.

— Ежели бы на большую порцию посадили, то лучше и требовать нечего: котлета ежедневно...

Неведренный иронически кивает головой в его сторону:

— Большой любитель котлет!

— Котлеты все обожают, г. надзиратель, — конфузливо возражает Терехов.

— А сколько бы ты съел, ежели бы до вольного допустить?

Терехов некоторое время молча шмыгает по полу тряпкой.

— Котлеты две, больше не съел бы, — отвечает он с легким смущением и не совсем искренним тоном.

Неведренный долго смотрит на его квадратную спину, на оттопыренный зад и с уверенностью говорит:

— Четыре съел бы!

Доносится свисток снизу. Неведренный сразу ловит его привычным ухом и, подавшись от двери к железным перилам галереи, стучит ключом по решетке:

— Иду! Съел бы четыре — я знаю! — повторяет он с легким ржанием и уходит. Мы остаемся с Тереховым вдвоем.

— А ты и шесть съел бы! — вполголоса обиженно говорит ему в спину Терехов. — Ишь брюхо-то налопал!

— Ну, шесть едва ли... Да и где ему взять? — сомневаюсь я.

— Кто чего добивается, господин... Слопает шесть!

Он из предосторожности высовывает голову за дверь и, убедившись, что за ней близко никого нет, говорит:

— Им что, господин! Сколько захотят, столько и слопают. А вот посиди-ка он на нашей порции — в неделю опало бы брюхо...

Я пользуюсь отсутствием постороннего лица. Меня ни на минуту не покидает мысль — подать весть туда, за стены тюрьмы, на волю, откликнуться на милый зов, сказать интимное, ласковое слово — слово доброго привета, благодарности, успокоения. И может быть, Терехов — добрый гений, посланный мне судьбой, чтобы установить мои сношения с внешним миром, где свободны люди, где ждут меня, где тоскуют обо мне, вспоминают и мечтают?.. Попытаюсь.

— А что, товарищ, нельзя ли тут как-нибудь передачу письмеца устроить?

Терехов останавливается и предусмотрительно выглядывает за дверь.

— На волю или тут кому?

— На волю.

— Ежели — тут, то очень просто. А на волю...

Он коротко дергает головой: трудно, мол. Потом стоит некоторое время в позе напряженного соображения.

— Да, пожалуй, можно, — говорит он, наконец, — можно, барин! Это сделаем!

— У меня, видите ли, есть и конвертик такой маленький... и марки...

— Можно... Вы в посуду тогда положите — передадим...

Я ужасно рад. Терехов мне кажется чудеснейшим человеком, и я с удовольствием хотел бы ему рассказать, в какое вслание привели меня первые письма из родного угла, которые сегодня получил. Он поймет меня, этот милый, обязательный человек.

— А у вас в случае папиросочек, барин, не найдется? — с некоторой таинственностью спрашивает Терехов.

— Сколько угодно...

— А то я бедствую табачишком. Жалованья-то всего шесть копеек в сутки, а что курить — смерть охота. Чаем-сахаром не бедствуем, — спасибо политическим, — а вот табачку не хватает.

— Так что ж вы? Давно бы сказали!

— Да ведь как... совести не хватает... Мы и так довольны... А письмоцо вы — в посудку, это будьте покойны.

Пришел Неведренный. Терехов торопливо закончил свою работу. Получил коробку гильз и четверку табаку. И Неведренный выкурил со мной папироску. Поговорили.

— Что нового?

— Новый заведующий.

— Что больно часто меняются? Чуть не каждую неделю?

— Их, как собак небитых, — куда же девать? Сортируют по разным участкам. Вашу камеру не осматривали?

— Два раза.

— А вчера у 279-го номера чуть прокламацию из Женевы не накрыли... Спасибо, я догадался глянуть да сгреб ее — никто не заметил. А то и нам бы влетело... Ловко написано!..

Неведренный уходит, я остаюсь один. Пахучая сырость облипает меня, но вид вымытой и прибранной камеры приятен для глаз. Я опять беру письма и медленно перечитываю их все. И так хочется сейчас же, непременно сейчас отозваться им, всем моим близким, родным людям, что я начинаю спешить и метаться, как перед отходом поезда. Конверты — вот они, между листами библии; марки — в кармане памятной книжки. Вот почтовой бумаги нет, но... листки из памятной книжки на что же? Или вот эта бумага? Правда, она предназначена для других целей, но чернила выдерживает превосходно — свой английский лексикон я давно уже переписываю на нее — и сослужить службу может. Люди свои — не обидятся. А потом, впоследствии, объясню — от души посмеемся...

«Милая Руфа!» — вывел я старательным, крупным почерком. Руфинка ведь не бог весть как грамотна, ей надо писать поразборчивей. К огорчению, убеждаюсь, что патентованная бумага все-таки пропускает чернила... — «Милая Руфа! Здравствуй!..»

Что же дальше? Так много кипело и просилось на бумагу мыслей, а вот пока вывел три слова, все убежали вперед, попрытались...

«Твой прелестный цветочек столько воспоминаний ше-

вельнул во мне, такой музыкой наполнил сердце — даже стихи вспомнились:

...Он и сухой благоухает  
И разом степи надо мной  
Все обаянье воскрешает...

Впрочем, стихи — после. Ты интересуешься моей теперешней жизнью в тюрьме? Изволь. Сейчас, по порядку...»

Я останавливаюсь. Что же именно по порядку? Тюрьма — воплощенный порядок, расписанный по свисткам, а между тем все его содержание до того скудно, что и написать нечего: днем сиди, ночью лежи. День похож на день, нет ни событий, ни граней — серая полоса без узора, тоска, вялая работа, унылые мысли...

Но я этого не напишу, нет! В моих словах не будет ни звука уныния, бесполезного ропота, горькой жалобы бессилія... Дух мой порой шатается, — это правда, — бывают минуты горечи, отчаяния, безнадежных мыслей, — но знамени я не опущу! И никому не признаюсь в моей тоске, в моих сомнениях... Милые, близкие моему сердцу люди услышат от меня лишь бодрые слова, уверенность и смех...

Принесли обед. Я скоренько покончил с ним — тюремные разносолы не отнимают много времени. Осмотрел судки. Один из них должен послужить мне почтовым ящиком. Остроумно придумал Терехов, но... почтовый ящик требует основательного мытья и просушки. Написать Руфинке, между прочим, о здешнем питании: стол превосходный, мол, только ни ножа, ни вилки не дают, действуй руками и зубами...

Вымыл судок, тщательно вытер. Сел опять за письмо, — до прогулки надо закончить, — посуду убирают из камеры в мое отсутствие.

«Дни текут, как вода, — продолжал я, — и не успел оглянуться, как почти четырех недель уж нет...»

Соврал немножко: оглянуться-то я успел — и не раз, — и много горечи осело в душе от этих обозрений позади оставшегося. Но... об этом умолчу.

«Осталось каких-нибудь восемь месяцев, — по закону мне полагается сбавка в размере четвертой части, — а там конец заключению, и я покину свою великолепную камеру. Право же, Руфинка, она не очень плоха, моя тихая комнатка: выкрашена в масляную краску; от двери до окна можно сделать семь шагов — конечно, небольших, — и даже свету достаточно. Мебели лишней нет, да это и лучше: больше воздуха. Койка все время открыта — доктор нашел меня чем-

то страждущим, и на этом основании койку днем не при-  
мыкают. Столик, табурет...

Если стать на табурет, то можно видеть из окна тюремную типографию, маленький садик, часового, а за оградой — кусочек Невы, мост и даже пробегающие через него вагончики трамвая. Значит, общение мое с внешним миром даже не прерывается: стою, смотрю, шлю молчаливый привет ворчащему городу, деятельным людям, воле...

И ей-богу, милая Руфа, тут не очень скучно... Только сидя в тюрьме, можно понять всю глубину мысли, что весь мир, в сущности, человек носит в самом себе. Маленькое усилие воображения и — все к его услугам: захотел побыть на свободе — нет стен тюрьмы, кругом город, кипение жизни или море, или тропическая растительность... захотелось быть любимым — сколько прелестных лиц вокруг, какая нега в святающихся взорах, какой чарующий смех... соскучился по тебе, моя Руфинка, — вот и ты со мной... Все, все есть, чего захочешь, по первому мановению!..

По ночам где-то за оградой играет граммофон, — должно быть, есть пивная недалеко от тюрьмы. В камере — мечтательный сумрак белой ночи, на сводчатом потолке серая тень, похожая на мохнатую бороду; там, вдали, льется непрерывной струей глухой шум города. А передо мной, под ликующие звуки марша, проходят войска за войсками, звеня оружием, и необозримы их зыбкие и гордые колонны. Я гляжу на них и думаю с сладкой надеждой, что будет день, когда такие тяжкие и стройные колонны пойдут в бой за свободу родины... И марш звучит победным торжеством...

А то синяя степь Моздокская, под звуки грустной песни, развернется передо мной во всей своей красе печальной, широкая, безбрежная пустыня... И в сердце грусть Бог весть о чем... Нет, мне не скучно тут, Руфинка, — ей-Богу нет!.. Ты понимаешь меня?

А днем скучать совсем некогда: читаю, учусь, думаю. Много, много мыслей... Тюрьма — драгоценное учреждение для того, чтобы обдумать все, все взвесить, вспомнить, подвести итоги...

Даже скажу, что и порядок здешний не особенно тяготит меня...»

Гремит замок. Вероятно, Акимов — он теперь только что сменил Неведренного. Я прикрываю написанные листки учебником английского языка. Незлой человек Акимов, но лучше не вводить в искушение его преданность служебному долгу...

Что-то долго не открывают. На галерее топчутся как

будто несколько пар ног — не разносят ли по камерам покупки, выписанные из тюремной лавочки? А может быть, кто-нибудь и в глазок наблюдает за мной — здесь это бывает. Сажу спиной к двери, не оглядываюсь, делаю вид, что занят книгой...

Дверь открыли.

— Здравствуйте!

Поднял голову. В последовательном порядке в камере стояли: старший надзиратель, за ним толстый, почти без шеи, офицер с коротким крючковатым носом, утонувшим в усах, — новый заведующий корпусом, — и позади Акимов с своим испуганно-старательным лицом.

— Позвольте вас обыскать, — сказал старший с той ласковостью специалиста, с какой мясник поглаживает телянку, приготовленного на зарез.

Он не дождался моего согласия, — очевидно, не сомневался в нем, — и начал с удивительным проворством ощупывать мои бока, ноги, грудь и спину. Облазил карманы. Лицо у него весело-смышленное, румяное, чисто выбритый подбородок, завитые усики, все мелкое, острое и щегольское. Работал руками он быстро, умело, уверенно, с артистическим упоением и мастерством. Ничего не упустил из виду. Вытряхнул сахар из кулька, посмотрел и проворно собрал его пальцами обратно в кулек. Распечатал куски мыла, вынул, понюхал, опять уложил. Прощупал всю подкладку в фуражке. Перебрал и встряхнул белье, заглянул внутрь нескольких носков. За это время Акимов, тоже помогавший досмотру, взял лишь катушку ниток и сказал:

— Это надо в чихауз...

Принявшись за стол и книги, старший сразу наткнулся на листки письма моего к Руфинке.

— Это вы зачем же на этой бумаге пишете? — сказал он с ласковым упреком: — Вам на то дается прошнурованная тетрадь.

— Это английские слова, — сказал я и густо покраснел.

Зачем я соврал? Ни цели, ни смысла не было, а вот унился же без всякой надобности.

— Ммм... у-гу, — еще ласковее сказал старший, как будто удовлетворенный разъяснением.

Собрал листки и передал их офицеру, а в мою сторону прибавил:

— Все равно-с...

Офицер бегло взглянул в листки и томным, изнеженным голосом, в нос, точно пел: «Уморилась, уморилась, уморилась», — небрежно проговорил:

— Заберите у него всю бумагу!

— Позвольте! — в отчаянии воскликнул я — тоном не возражения, а мольбы, и опять огонь стыда бросился мне в лицо. — Позвольте... но как же? Вы сами понимаете... бумага для естественного употребления...

— Обойдетесь, — небрежно сказал офицер. — Можете написать другую, посерее, а эта — слишком плотна...

Старший взял со стола мою памятную книжку — в ней тоже были записаны тюремные впечатления.

— Не прошнурована? Тогда — в чихауз! А это что такое? — обратил он внимание на букетик незабудок. Взял его, поднес к носу, укоризненно покачал головой, потом сунул в карман записной книжки. И я молча глядел, как мой великолепно засушенный цветочек обращался в труху под его проворными пальцами.

— Все будет в целости. При выходе получите, — ласково и весело сказал старший, насмешливо ободряя меня. — А писать можете лишь в прошнурованной тетради...

Ушли. В душе осталась слякоть. Точно кто старым, ржавым гвоздем царапнул по сердцу — рана не глубока, а больно саднит. Я усиливаюсь убедить себя в том, в чем уверял Руфинку: что все толчки и царапины случайной внешней обстановки — нуль перед тем чудесным миром, который носит человек в самом себе. Я напрягаю воображение... я требую, чтобы крылатый конь фантазии скорей унес меня из этих каменно-жестких стен туда, «где ветерок степной ковыль колышет», — а у самого горла скользят по мне, как холодные лапки ящерицы, проворные пальцы надзирателя, и дрожь отвращения судорогой пробегает по всему телу...



## МАТЬ

Сани с высокой плетенкой из хвороста, приспособленные для перевозки бутылок, были похожи на ясли. Сидеть в них, среди ящиков с пустой посудой, было неудобно, тесно. Поталкивало, подбрасывало на ухабах. Пустые бутылки вели недовольный разговор и звонко плакались на судьбу. За дорогой шумел ветер в корявом дубнячке и вербах, — их не было видно из-за плетенки, — с передней подводы долетал голос Никиты Дубленого, скучно покрикивавший на быков. Виднелся лишь кусочек низкого, серенького неба, и ничего больше, — полная отгороженность от мира, старый плетень и неровные колышки...

Никто не мешал печальным мыслям и покорным вздохам. Мечты заходили, робкие и бедные, — негде было им разгуляться в этих тесных, заваленных грузом яслях. Жизнь была безнадежно ясная в своем привычном укладе с горькой теснотой, толчками и незащищенностью, — тяжело было глядеть в ее суровое лицо, — и сердце наивно искало отдыха в неясных грезах, вызывало воспоминания о скудных радостях, неизменно разбавленных тихими слезами.

Вот и теперь старуха с горьким увлечением думала все об одном — о том, как сейчас же по приезде в Устинск она пойдет к прокурору за пропуском, от прокурора бегом к острогу. Старший надзиратель Евдокимыч, может быть, скажет ей:

— Что же поздно, Григорьевна? Приемка кончилась.

Но сынка ей все-таки вызовут: люди тут суровые на вид, но простые, уважительные. Притом же все коротко знакомы.

Увидит она своего Ромушку и выложит ему домашние гостинцы, приготовленные к празднику: жареную утку, кусок сала, увачики, вареники. Все это будет немножко мерзлое и помятое после дороги, но — не беда... Чай и сахар у него есть, а вот «франзоль» надо купить, — «франзоль» представлялась ей всегда верхом лакомства. Передаст все это сыночку и будет глядеть со смешанным чувством удовольствия и скорби, как он с торопливым аппетитом всегда



недоедающего человека будет пробовать по очереди от всего принесенного, набьет рот и сосредоточенно будет глядеть на стену, точно прислушиваясь к родному вкусу и запаху домашних снедей.

Он будет рассеянно отвечать на ее расспросы, как и чем они разговлялись? Здоров ли? Не слышать ли чего насчет суда? А она долго и обстоятельно будет рассказывать о семье, о маленьком Уласке, который все ждет Рому кататься на салазках, о станице, о том, кто помер, у кого семья прибавилась, кого проводили на службу, кого собираются женить или замуж выдать. И незаметно пролетит короткий час, — обычно ей давали по часу на свидание, — и, прощаясь с ним, она залетится обычными слезами, а он скажет, как всегда:

— Не расстраивай сама себя, мам, — здоровье у тебя и так квелое...

Приехали в Устинск в третьем часу. Прокурора не застали дома, — написала пропуск прокурорша, она знала Григорьевну. Отправилась в замок. Позвонила. Вышел сам Евдокимыч. Должно быть, выпил для праздника: толстое лицо его с седой, подстриженной бородой сияло, как вычищенный медный жбан.

— Самый час для визитов... по-господски... — проговорил он с суровой иронией.

— Извини Христа ради, не поспела... Дорога-то дюже не ездовита... да и на быках, с оказией... не поскачешь...

— Ну ладно, ладно. И ты извини: к обеду опоздала, не стали дожидаться.

Впустил в калитку и велел предбанник отпереть. Предбанник в устинском остроге служил комнатой для свиданий: Минуты через три привел Романа. Обнялись. Всегда любила она ловить в его глазах несмелую, застенчивую радость при встречах и теперь, в вечерних зимних сумерках, жадно вглядывалась в черты нежного, исхудавшего лица.

— Ну что, сыночек, здоров ли? Разговейся, мой болезный, вот от ребят гостинчики. Голодный небось, чадушка? Уточку вот резали...

Он взял маленькую четырехугольную булочку — «увачик» и стал молча есть. Был он одет по-праздничному, в своем новом пиджаке и в шелковой голубой рубашке, — длинный такой, с тонкой, костлявой шеей. На худом лице, с знакомыми веснушками около носа, резко выступали скулы, и стали больше печальные, запавшие глаза, еще недавно беззаботно-ясные и дерзко-веселые. Теперь беспокойная боль пришибленности глядела из их глубины, беспомощная и жалкая. И невыразимо жаль было его. Хотелось взять, как

брала когда-то маленького, прижать к своей груди, укрыть своим телом, согреть, убаюкать.

Она, пригорюнившись, глядела на него, не сводя глаз. Слезы, непослушные и досадные, туманили взор. Кончиком платка она старалась незаметно смахнуть их.

— Обвинительный акт пришел...

Он сказал это тихо, тоном деревянного равнодушия.

— Ак?

— А-к-т. По двум статьям обвиняют...

Что-то страшное почуялось ей в его увядшем голосе и в самом сочетании непонятных слов: обвинительный акт... две статьи... В сердце ее никогда не угасала наивная надежда на чудо, на то, что вся эта беда как-нибудь, может, пройдет стороной... Ну, кто-нибудь, властный и добрый, услышит случайно о деле Романа, вникнет, покачает головой и повелит:

— Отпустите этого парнишку ради слез матери его — какая вина за ним? Пустяки...

И чудо совершится: распахнутся ворота замка, будет на воле ее сынок... Затянувшееся следствие еще больше утверждало ее в этой робкой надежде: авось Бог пошлет милость... И во сне она часто видела своего сынка возле себя, в родном углу, — только снился он ей почему-то маленьким, ушибленным, всхлипывающим от боли, а она бережно прижимала его к себе, ласкала, утешала, гладила по головке...

— По двум аж статьям?.. — Она горестно покачала головой: — Да за чего же... Господи!..

Он продолжал жевать, но в скупом свете сумерек ей видно было, как дрожали и дергались его губы и глаза наполнились слезами.

— Об-ви-ни-те-льный ак... — повторила она и заплакала. В этом слове — «обвинительный» — исчезала ее робкая надежда.

— На что ты меня на светпустила, такого несчастного? — воскликнул он вдруг.

Булка выпала из рук. Он упал головой к ее плечу и весь задергался от рыданий.

— Да ты мне расскажи... ты чего? — растерянно утешала она его, руками с жесткими, огрубелыми пальцами обнимая его голову: — Я схожу к добрым людям, спрошу. Посоветуют авось, дадут наставление. Ты скажи, как там написано-то? Чего там? В обвинительном-то...

Но он ничего не мог ей сказать. Молча утирал рукавом мокрое лицо и всхлипывал носом. Потом достал из пиджака свернутый вчетверо лист — это и был обвинительный акт.

Долго держала в руках она эту загадочную, страшную бумагу, потом бережно завернула в ширинку и спрятала за пазуху. Надо идти по добрым людям — искать совета. Время нечего терять.

— Ну, завтра зайду, сынок. А ты не того... ты... авось Господь... ты молись Богу, чадушка...

Пошла.

Почему-то ей казалось, что из всех знакомых господ самым пригодным и авторитетным по разъяснению обвинительного акта человеком будет прокурорша. Зашла к ней. Прислуга не хотела было пускать ее, прокурорша сама случайно выглянула в переднюю, — ждала какого-то гостя, — и увидела знакомую фигуру в длинной донской шубе.

— Ну, что, Григорьевна?

— Опять к вашей милости, Анна Николаевна, — за наставлением. Не оставьте, сделайте милость...

— В чем дело, в чем дело?

— Обвинительный акт пришел сыночку. Хотела хозяина твоего спросить — чего нам теперь? Куда?.. Люди мы слепые...

— Ну, подожди немножко, посиди. Садимся обедать.

— Ничего, я обожду, это очень слободно. Только сделайте милость, Николаевна... Плачет ведь паренек-то: сходи, говорит, маманюшка, спросись...

Вздрыгнул голос; тихо воющая нотка вырвалась на одно мгновение. Побежали непослушные слезы. И барыне не показалось смешным, что Григорьевна высморкалась в руку и вытерла пальцы о полу шубы.

— Ну, не плачь, не плачь... слезами не поможешь ведь, — неуверенно сказала прокурорша. — Впрочем, давай-ка сюда твой обвинительный акт, покажу мужу.

Григорьевна, всхлипывая носом, достала ширинку из пазухи, бережно развязала и подала бумагу прокурорше. Когда она ушла с ней через залу в угловую комнату, налево, из которой доносился говор нескольких голосов, Григорьевна отерла слезы — опять затеплилась крошечная искорка надежды оттого, что голос у прокурорши был ласковый и участливый. Она с любопытством заглянула в раскрытую дверь залы. Ей не было видно огня, но отблески на черной крышке рояля и на позолоте стульев отражали яркий свет. И был на всем такой нарядный лоск, блеск, отпечаток диковинной роскоши и богатства, что она не могла подавить вздоха безнадёжной зависти: вот где живут счастливые люди, не ведающие ни горя, ни напастей, ни сухоты сердца...

Выбежал мальчуган в кудряшках, с игрушкой в руках.

Серые глазки, крошечный розовый ротик. Остановился в дверях залы и широко раскрытыми, любопытными глазенками уставился на длинную шубу Григорьевны, обшитую по борту беличьим мехом.

«Как раз, как мой Уласка», — подумала Григорьевна. Отвернула полу, достала из кармана горсть тыквенных семечек.

— На-ка поди, чадушка!

Мальчуган, как маленький зверек, из предосторожности подался назад от ее протянутой руки.

— Бери, дурачок, — сказала она ласково.

Он ногой и рукой сделал угрожающее движение, как будто хотел испугать ее.

— Ой, боюсь, боюсь! — воскликнула она, тотчас же поняв его движение. И оба рассмеялись. Он — точно стеклянный горошек рассыпался.

— Это чего же у тебя, чадушка? Машина?

Мальчик прижал игрушку к груди и закрыл ее руками.

— Кораблик!

— Карап? Ишь ты? У меня тоже такой-то, как ты, бегаёт... Как раз такой-то. С горки катается — беды-ы... Ухлюстается за день-то по пояс!..

Вышел прокурор с бумагой. Лицо румяное, нафабранные усы и светлая лысина во всю голову.

— Ну что, тетка? — снисходительно сказал он, прожевывая закуску, — пахло от него каким-то душистым вином.

— Сделайте милость, ваше благородие, дайте наставление.

Прокурор надел золотое пенсне на нос, и лицо его приняло суровое выражение. Он развернул бумагу, но вдруг остановился, склонил голову книзу, словно собирался боднуть кого-то, и уставился блестящими кружочками стекол в мальчугана, стоявшего в дверях залы.

— Ты зачем тут, Кока? Я тебе что говорил: в переднюю не выбегать! потому что... потому что в городе скарлатина!.. Если ты будешь не слушаться, отдам тебя вот тетке, — понимаешь?.. Она тебя в мешок и... понял?.. в мешок!..

Должно быть, понял Кока, потому что уронил свой кораблик на пол и убежал, проворно топоча ножками.

Как ни было тяжело на сердце у Григорьевны, она засмеялась над мальчуганом.

— Чадушка моя... испужался...

— Да... так в чем дело? — переспросил прокурор деловым, не очень любезным тоном. — Наставление? Какое же наставление? На днях, вероятно, переведут его в областную тюрьму — только и могу сообщить.

— А обвинение-то какое ему будет за это, вы мне скажите...

— А вот по статьям 1458-й и... 279-й...

Прокурор подергал губами, чвыкнул языком, вылавливая остатки закуски, и протянул бумагу Григорьевне.

— Да я — человек слепой, ваше благородие, — сказала она, принимая от него этот таинственный лист. — Кабы мы сведущие люди... А то мы люди степные, неграмотные... Статьи... а в какую силу статьи, мы не смыслим. Вы мне скажите, чего тут написано за них, за эти статьи?

Она склонила голову на бок, ожидая подробного разъяснения на свой вопрос. Прокурор слегка пожал плечами.

— А уж не знаю, матушка. Суд военный, понимаешь? Военная юстиция. Это — не то, что обыкновенные судебные установления. Если бы мы судили, ну — месяцев восемь дали бы, едва ли больше. А тут суд особый, военный. Строгий...

— Да уж небось вы знаете, по этому суду как?..

— Знать-то знаю, да что ж... Толку-то тебе от этого немного, если скажу, что 279-я статья определяет смертную казнь...

— Смерт-ну-ю казнь?

Она как будто с любопытством подняла брови и остановилась удивленным взглядом на матовом блеске его пенсне.

— Смертная казнь, — коротко, с щеголеватой сухостью, повторил прокурор и незаметным движением сбросил с носа свое золотое украшение.

В ушах у нее загудело, и остановилось дыхание. Сквозь шум, широкий и непонятный, побежавший частыми скачками от сердца к голове, загудевший во всем ее теле, последние слова прокурора прозвучали странно, сказочно, невероятно. Скажи он, что сейчас вот этот потолок рухнет на нее и придавит навеки, она скорее поверила бы, яснее представила бы себе это, чем то ледяное, дышащее холодным ужасом, что крылось в новом для нее сочетании слов, сухо произнесенных прокурором: *смертная казнь...* Казнь... Смертная казнь! Да как же это?..

Она чуть не всплеснула руками, но прокурор вдруг чудно закачался на месте, точно подразнить ее вздумал. Ей хотелось сказать ему:

— Игрушечку-то раздавишь... гля-ка!..

Но он резко колыхнулся, поднялся вверх вместе с дверью, роялью, с блестками света на золоченых стульях и бесшумно покатылся в темный и немой погреб.

Было это, вероятно, с минуту, не больше. Очнувшись, она

с удивлением увидела, что вокруг нее встревоженно суетились какие-то господа и барыни, от которых так хорошо пахло, вместе с прокуроршей, брызгали на шубу водой из стакана, давали нюхать что-то едкое, толкавшее в нос и вызывавшее слезы, совали в руки стакан и велели пить из него. Прокурорша принесла рюмку вина, душистого, цветом похожего на крепкий чай. И все наперерыв уверяли Григорьевну, что отчаиваться нет оснований, раньше смерти умирать не следует, — суд рассмотрит, выяснит... закон допускает снисхождение... все, Бог даст, обойдется...

Она чувствовала необычайную слабость, — руки и ноги дрожали, как жидкие камышины, не было сил слово выговорить, — и равнодушие беззащитности перед неизбежным ударом, как снег, холодный и пушистый, мягко окутало душу...

На другой день она опять ходила в замок — порядок в этом маленьком городке был простой, пускали без затруднений. Хотелось ей успокоить сына, хотелось уверить в том, во что не верила, от чего билась и рыдала всю ночь, долгую зимнюю ночь, — хотелось ободрить его словами. Говорила ему то, что слышала от прокурорских гостей, а губы дергались от сдерживаемых рыданий, голос обрывался и угасал.

Он слушал ее молча, потупившись. Потом сказал порывисто, резко, с внезапной уверенностью:

— Нет, чего там... я и сам знаю: повесят меня. Все говорят: тебя, Роман, на шворку вздернут...

И, закрыв руками лицо, он закачался в отчаянии из стороны в сторону, сотрясаясь от беззвучных рыданий.

Сразу смело все ее слова утешения. Клубок покатился от сердца к горлу, перехватил дыханье и вырвался восклицанием нестерпимой боли:

— Царица небесная!.. Заступница... Мати Божия!..

...Домой, в свою станицу, плелась она пешком, и никогда эти 27 верст, не раз измеренные ею, не казались ей такими длинными, бесконечными, утомительными. Еле двигались обессиленные ноги, ветер качал и сбивал ее с дороги. Навалилась на грудь и на плечи чугунная глыба, вздохнуть не дает, долгой, неизбывной болью и темным страхом стиснула сердце. Белый свет потускнел, сумраком задернулся... Плетется, сама с собой говорит. Говорит к Богу, далекому и невидимому, шлет жалобы Ему, бессвязный ропот, укоры и долгие стоны бессилия и отчаяния. И глазами, полными слез, смотрит в закутанное облаками, низкое, немое небо...

Казак на розвальнях обогнал ее. Лошадь вся мокрая, а он подхлестывает ее кнутом, не оглядываясь; растянулся в санях боровом, песни играет. Дубленый тулуп в заплатах,

обшитые кожей валенки просят каши, а поет. Не он поет — казенная слеза, видно, поет: выпил, должно быть...

Отъехал недалеко. Остановился и крикнул:

— Ну, скорей догоняй, тетка, подвезу! Вот зима какая — дороги гичь-нет! — сказал он пьяным, благодушным голосом. — Да это кто? ты, Григорьевна?

Казак оказался хуторской, из одной станицы, и они знали друг друга. Его Евлампием Немолякой звали. Она бы и давеча узнала его, да за воротником лица не разглядела.

— Сынка, что ли, проводывала? — спросил он весело. Пахло от него водкой, крепким табаком и благорасположением ко всему человечеству.

— Сынка.

— Ну как он? Суд-то скоро ай нет?

— Обвинительный ак получил. Скоро теперь.

— Эх-ма-хма... Дело какое... — беззаботно веселым голосом выразил сочувствие Немоляка. — А я вот тушку продал да выпил полбутылку. Две пачки табаку взял — только и удовольствия моего. Взгрустнется — покуришь. Детешек у меня пятеро: четыре девки, сын — двух месяцев всего, плохой помощник. Другого вот заказал еще...

Он засмеялся дробным смехом, закашлялся. Григорьевне было не до смеху, но из вежливости она грустно пошутила:

— Заказные-то они не плохи бывают...

Немоляка чувствовал, что веселье, которое выпирала из него выпитая полубутылка, не может доставить особого удовольствия его собеседнице, и, стараясь перейти в серьезный тон, спросил:

— В какую же именно силу обвинительный акт?

— Смертная казнь, — сказала она глухо. — По двум статьям.

— Смерт-на-я казнь! — с изумлением протянул он, и рука с кisetом, который он достал из-за пазухи, остановилась на полдороге. — Как-кая беда!..

Лицо у него было заветренное, черное, грубое. Редкая борода походила на перья. Но и на этом лице с топорными чертами блеснула человеческая скорбь и недоумение: за такой-то пустяк, не стоящий внимания!..

Он медленно свернул сигарку, закурил. Долго молчали.

— Сколько раз собирался бросить, — тоном покаяния сказал он, кивая на сигарку, — а не утерпишь... Взгрустнется — жгу...

Она понимала, что ему хочется отвлечь мысли ее и свои в другую сторону, заслонить их, уйти от их пугающего мрака. Тяжело было говорить, тяжело молчать. Кругом все

так печально и безнадежно. Голые, раздолбные пески раскинулись во все стороны. Редкий краснотал торчит на вершинах песчаных бугров, как тощие волосы на старой плеши. Заплаканное небо, серые, озябшие хатки хуторов, маленькая, облупленная церковка и кладбище с согбенными крестами возле нее... Все хмуро, немощно и горько...

— Вещь — для здоровья вредная, мало что греховодная, — проповедническим тоном продолжал Немоляка, не отрываясь взором от сигарки. — Ее и свиньи не едят, а люди вот за удовольствие считают.

Помолчал и прибавил:

— Ты чего же, вот наказный проезжал, к нему бы сходила. Ты — мать. Великое дело — мать. Авось не съел бы — попросить против такого суда защиты...

— Ходили, — сказала она неохотно и судорожно вздохнула. — Как не ходить — ходили. Дед ходил. «Вот, мол, ваше п — ство, человек молодой, зеленый разумом...» — «У меня, — говорит, — для таких веревок достаточно...» И слушать не стал.

Маленькая, невзрачная фигурка старого генерала всплыла в ее памяти. Серая, кособокая. Выцветшие оловянные глаза. Голос как у дергача... Мгновенная дрожь отвращения и ненависти пробежала по телу.

— Сурьезный генерал, нечего сказать — почтительно отозвался Немоляка. — Сурьезный. Ну с бабами заигрывал. «Дайте, — говорит, — бабы, семячек!» Торговке одной в Утинске, — полнолика такая женщина, круглая из себя, — говорит: «У тебя весы, — говорит, — неправильные». — «Нет, — говорит, — ваше благородие, это у вас глаза неправильные!...» Он завернул нос и пошел...

— Ничего... отпела... — одобрительно сказала Григорьевна.

— Отпела... Пристав ее после того мылил-мылил: «Я, — говорит, — тебе покажу, как генерала благородием называть! Я тебя всем титулам обучу!..»

Немоляка помахал кнутом на лошадь, помолчал. Потом шумно вздохнул, помотал головой.

— Смертная казнь... фу, Боже мой! Человека зарезать... Тут вот поросенка когда приходится резать, вся рубаха аж трусится... А ведь это — христианская душа!.. Да за что же, по крайней мере? Какой же он беды заработал? И как это вышло, скажи на милость, не поскупись!..



Как это вышло?

Если бы знала она, как вышло!.. Одно помнила, что в ночь перед тем, как случиться беде, приснилось ей, будто зуб у нее выпал. Проснулась в испуге, в холодном поту. Сжалось сердце, заломило: висит беда над головой. Не даром Шарик целый день выл: лежит в воротах и воет. И целый день томилась душа тоской, страхом, смутными предчувствиями.

И когда она рассказывала про свое горе, это было главное, на чем она останавливала внимание слушателя. Все это лишь она и знала и могла рассказать. А как беда вышла — ей самой передавали чужие люди и все по-разному. Роман не любил говорить об этом...

...Всему виной был револьвер, а револьвер купил дед Захар. Ездил в Михайловку получать проценты по сберегательной книжке. Знакомый краснорядец, у которого он купил теплый платок в подарок старухе, предложил ему за сходную цену это игрушечное оружие. Уверил: штучка не мудрящая, но необходимая всякому, кто при капитале состоит.

Насчет капитала старик отрицательно помотал головой, но на револьвер обратил внимание. Расспросил: как заряжается, хорошо ли бьет, какая цена? Цена оказалась соблазнительно дешевой: всего пара рублей. Приобрел. Годится, мол, сад караулить: сильные уродились яблоки.

Оружие было плохонькое. Но дед не имел убийственных целей. Ему надо было, чтобы выстрелы были достаточно громкие, устрашающие, чтобы полохались те, кто падок на чужое добро. Только и всего.

Дед был старый воин, севастопольских времен, но стрелять из револьвера не умел. Револьверов тогда не было, дрались без хитростей, правильным и законным боем, врукопашную: прикладом, пикой, пашкой, а то и кулаками да за волосы. Краснорядец не раз и не два показал и рассказал деду, как обращаться с револьвером, куда патроны вкладывать, как целиться, как разряжать. Казалось просто. Но приехал домой — все перезабыл. Старуха сперва пугалась, когда он, для потехи, прицеливался в нее из нового оружия, а потом видит, что вещь безвредная, стала браниться: за детскую забаву два рубля отвалил!

Обидно было деду, но пришлось молчать. Мысли одолели, приболел даже от огорчения: уж не посмеялся ли, в самом деле, над ним краснорядец? Стал на голову жаловаться: болит, мол, голова. Посоветовали люди пьявок припустить.

Но старик не понадеялся на пьявок, пошел к внуку своему Роману. Роман три года жил в Царицыне, в мальчиках при аптекарском магазине, знал, как называются лекарства на латинском языке, порядочно смыслил и вообще по ученой части, писуч был и на разговор боек.

Пришел дед к Роману, рассказал о своих недомоганиях. Роман выслушал с видом настоящего лекаря.

— Желудок, верно, не в порядке, — заметил он. — На пищу полегче налегайте.

— Чего полегче! Совсем не гонит на аппетит! Не ем... Сну нет...

— От желудка-то у меня есть порошок... и не дорогой: на гривенник если взять, за глаза довольно.

Поколебался немного дед, брать или нет порошок: ведь от живота, а не от головы. Поторговался, на всякий случай, — скупой был старик: нельзя ли за пятак?

— Нельзя. С людей по двугривенному кладу...

— Ну, давай!

Отсыпал Роман порошок на бумажку. Показалось деду, что мало: если уж деньги взял, то сыпать надо по совести.

— Подбавь, — говорит, — а то что это? И глаза нечем помазать... Я ведь тебе не чужой...

— Мне не жаль, — сказал Роман, — только это уж будет лошадиная порция...

Порошок, точно, подействовал на живот, но на другой день почувствовал дед облегчение и от головных болей. Ученый авторитет внука окончательно утвердился в его глазах. Пришло в голову деду: не окажет ли ему помощи Роман и касательно револьвера? Опять не ошибся: Роман и тут показал себя понимающим человеком. Долго осматривал принесенное оружие и пренебрежительным тоном знатока сказал:

— Лефеше... Слабый бой. Воробьев стрелять из него...

— Ничего, абы ливольверт. Все опасаться будут...

— А ты бы американский бульдог взял — вот бьет!

— Сойдет и такой. Тоже не кажний полезет: будут знать, что при оружии.

Постреляли в забор. Пульки застревали в старых, прелых досках, но выстрелы гремели, как из настоящего оружия, — и это радовало деда: теперь полохнутся охотники до чужого добра.

Старик был подозрителен: ему казалось, что весь мир населен ворами и грабителями и у каждого на уме — пожить на его, деда Захара, счет. Два сына было у него, и оба отделились: не поладили с мачехой. Дед и сынам не

верил: своему легче обокрасть, чем чужому. Был отчасти прав: сыновья, при выделе обиженные им, не пропускали случая стянуть что-нибудь у старика. Не заслуживал доверия в этом смысле даже ученый внук его Роман: тоже не раз подкрадывался лиськом, интересовался, какие у деда капиталы, да почему он их прячет, почему в оборот не пускает? Предлагал разные прибыльные затеи...

Но дед не поддавался соблазнительным посулам, прималчивал насчет капиталов и зорко глядел вокруг себя, оберегая долгим трудом нажитое добро. Трудновато было старику, но делать нечего. Потому-то и на револьвер денег не пожалел.

— Ты бы мне, дедушка, подарил эту штучку... На что она тебе? — сказал неожиданно Роман.

Дед молча взял револьвер у него из рук и бережно вернул в сахарную бумагу, в которой принес его.

— Подаришь уехал в Париж, — сказал он холодно. — За вещь деньги плочены, а тебе подари — здорово живешь!

— Да на что он вам?

— А тебе на что?

— Мне для оборонной науки. Человек я — сам знаешь — молодой... пойдешь куда-нибудь, наскочит какой хулиган — вот бы свинцом угостить. А тебе ни к чему...

— А ты куда зря не ходи, сиди дома... коль ты молодой человек. Вот и будет хорошо...

Ушел дед, больше и говорить не стал. Не любил старик и разговоров таких, в которых чувствовалось покушение на его карман. Ушел. Роман искоса, иронически посмотрел ему в спину и, отпустив на достаточное расстояние, тоном пренебрежения сказал:

— Мамай!..

Но дед уже не мог слышать этого обидного прозвания...

Стал дед по ночам постреливать в саду из нового оружия. Сад его был за станицей. Место не глухое, но глаз постоянный требовался. В обыкновенное, рабочее время, в будни царил там тишина безбрежная и многозвучная. Любил дед погружаться в нее слухом, молча следить, подремывая, за незримым течением жизни. Сидит у шалашика на лавочке, сидит не шевелится, точно застыл. Частые звезды рассыпаны вверху, как яблоки под яблонями после бури, — зеленые, белые, красные. Мудрая грамота Божия — кто бы прочел ее!.. Комары звенят, кружатся. Садятся на лицо, на руки, сквозь чулок жалят — наказание Божье этот гнус... Басят жуки, натываются на ветки, шелестят листвой — с ними на

утренней зорьке дед ведет непримиримую войну. В соседнем озере, за городьбой, заливаются хохотом лягушки — веселая, но никуда не годная птица... Бугай низкой октавой бунит в станице. Ровная стрекочущая песня разлита в траве, в кустах, в зубчатых стенах черной зелени, четко вырезанных на белом полотне умирающей зари. Прислушаешься — конца-краю нет...

Как ни близок он, этот диковинный мир неугомонно-веселых существ, как ни знакома его долгая, нескончаемая песня, а поди-ка заглянь в его тайники, узнай, как они там живут, эти музыканты и песенники, как рождаются и умирают, как хлопчут, женятся, гуляют, дерутся, мирятся... Небось и у них старички есть, с грустной покорностью ожидающие конца? Умрут... насыпят маленькие кургашки над ними, а все будет разливаться эта широкая, бескрайняя песня... Услышат ли они ее, вечную и неизменную, всегда юную и радостную?

Вот и он, дед Захар, скоро откараулится и уйдет туда, в степь, за станицу, где немой, мертвой рощицей стоят на кургашках серые, белые, черные и новотесаные кресты. Ничего с собой в дорогу не возьмет, все нажитое добро оставит, все за других пойдет... И как жаль, как невыразимо жаль земной суеты и беспокойства! Если бы там дремать вот так, как сейчас, и слышать ровное колыхание вечно трепещущей жизни! И как скоро, как неуловимо прокатились они, восемь с половиной десятков лет... Вот выходят они в смутных видениях длинной, в тумане спрятанной тропой. Встают тени прошлого, крадутся из темных кустов, шелестят, беззвучно смеются. Вздыхают... Шепчутся многодумные деревья, черная тайна оживает в их ветвях, подходит близко-близко, пробегает по спине мелкими мурашками страха.

— О-го-го-о-о! — вскрикивает дед устрашающим голосом. Пугает и гонит страх. В станице дружным залившимся лаем отвечают ему собаки, а на соседнем саду караульщик-мальчуган стучит в пустое ведро. И через минуту опять воцаряется многозвучная тишина.

По праздникам было беспокойно. С полудня начиналась война с невидимым, но коварно-назойливым врагом, насмешливым и неуловимым. Он держал деда в непрерывном напряжении до глубокой ночи. Шнырял вокруг сада, хрястел старой городьбой, шуршал в вишневых кустах, мяукал, лаял, издавал самые фантастические звуки, фыркал от смеха. Дед ругался, грозил, стрелял из револьвера в воздух. Тогда раздавался притворно-испуганный визг:

— Ой, убил, убил!..

Из терпенья выводили, подлецы... Грешил дед мыслью, что это — Ромкины шутки. И не всегда ошибался.

— Набрал шайку и кружит вокруг дедовского добра, — говорил он сам с собой. — Раззорители, сукины дети! фулинганы!.. И кто их на свет породил?.. Боже мой, какой народ пошел! Греха ни в чем нет: карты — нипочем, табак с пяти лет жгут, в церковь помелом не загонишь. Чужое собственное разорить, разбить, порвать, украсть — первое удовольствие... Видно, правда, конец света подходит. Пропали христиане. Дьявол сказал: «Восьмая тыща — вся моя». И правда... «Уловлю, — говорит, — сетью весь мир», — вот оно и пришло...

Плохо было еще в дождь, в непогоду: шалаш протекал, негде было притулиться, болела поясница, руки и ноги зябли, тянуло в теплый угол, к старухе. Скучно становилось одному в ненастные ночи. Тогда дед уходил домой — потихоньку, крадучись глухими переулками, чтобы никто не знал, что его нет в саду. Обманывал воров.

И до Спасов шло благополучно. Но за три дня до Преображения кто-то высмотрел его хитрые маневры и забрался в сад. Три яблони были оборваны и — главное — пропал из шалаша револьвер. Дед прятал его вместе с патронами под подушку. Было это так обидно, что дед заплакал. Но жаловаться никуда не пошел: не хотелось на смех выставить себя, не хотелось сознаваться, что ходил по ночам к старухе... Махнул рукой на пропажу.

---

Пыль плавала над ярмаркой, и дым, голубой и пахучий, медленно выползавший из харчевен, опоясывал, как шарф кисейный, золотую стену высоких верб и тополей. Низко стояло солнце. Лучи, перерезанные длинными тенями, бросили на площадь косые, схилившиеся колонны, прозрачные и светлые. Тесное шумное торжище было похоже — на волшебный храм: голубой, запыленный свод; зеленые стены с причудливой канвой, расписанной фантастическими мазками лазоревых, пурпуровых, лиловых и золотых красок; дым кафельный; многоголосый хор нестройно жужжит, плещется, шумит... Говор и тарахтенье телег, песни и скрип гармоник, свистки, ржанье, мычание — все пестрые звуки свились в клубок; кипят, бурлят, толкутся... В пьяном геме сплетаются и расплетаются ругательства и смех, нежные слова и угрозы, торг и объяснения в любви. Хор жизни, пестрый и текучий, звучит, и зыблется, и ходит кругом.

Многоцветная, нарядная толпа толчется, сжатая и стисну-

тая, в центре шумного торга, уходит, приходит. Певучее веселье и задор, и смех вокруг нее. Беспокойно тянется к ней сердце. Но как ни боек Роман, а под волнующими девичьими взглядами еще мучительно краснеет, смущается и теряет мужество. Смеются, шельмы... Сверкают белые зубы, искрятся веселые глаза, лукавые и жестокие...

— Ну и кавалер! На каруселях даже не покатает...

— Жадный! Весь в деда!..

— Роман! Да выверни ты им карман! Удиви Европу!..

— Чего выворачивать: худой, ничего не держится...

— Цапнул бы деда колом — небось пятаки посыпались бы из него!..

Фыркают заразительным смехом, дразнят, точно щенка, а ему уж семнадцать лет! Обидно. Обиднее же всего то, что правы: какой он кавалер, когда в кармане всего три пятиалтынных да краденый дедов револьвер... Револьвер, конечно, вещь серьезная. И если бы они знали о том, что в кармане у него револьвер, настоящий пятизарядный револьвер, которым можно всю ярмарку привести в смятение, — еще вопрос, вздумали ли бы они так потешаться над ним?..

Но вот три пятиалтынных — это, точно, конфузно: ни развернуться, ни кутнуть, показать себя, пустить пыль в глаза — не с чем! Разве это деньги! Разве это то, что кружит и шумом наполняет эту жизнь, стиснутую и сбывшую на тесном пространстве? Вон они текут и переливаются, звенят и шуршат, переходят из рук в руки, из кармана в карман, из толстого кошелька гуртовщика в старый казачий кисет, с потной, грязной груди в шкатулки лавочников, тайных пинкарей и харчевников...

И нет ничего более унижительного и горького, как быть без денег на этом шумном празднике, ходить одиноко и хмуро, смотреть с деланным равнодушием на веселую, пьяную сутолоку, носить в сердце бессильный голод и зависть к тем, кто звенит монетой, с пиком выбрасывает ее на угощение и наряды, с увлечением орет песни и бьет каблуками землю в такт веселой музыке...

Вот прошел Гулевой Егор с гармонией. Гармония дорогая, двухрядная — только денежному человеку доступно иметь такую гармонию. Но Гулевой — не артист: играет топорно, грубо. И все-таки, вон, молодежь окружила его, он — в центре внимания. Ломается, бахвалится, пускает пыль в глаза. Девчатам достал из кармана две горсти ярко окрашенных конфет «ералаш», вынул кошелек, встряхивает его на глазах у всех, хвастливо кричит:

— Вот они! Сейчас в орла четыре с полтиной выиграл!..

Сдвинул козырек набок. Скуластое лицо, пьяное, с широкими бровями, нос приплюснут, оскалены желтые зубы — совсем разбойник, беспабашная голова...

Однообразен и назойлив мотив частушки, которую он играет, смешна его длинная, нелепая фигура, перехваченная широким спортсменским поясом, но Роман чувствует самую искреннюю зависть к этому счастливцу, у которого в кошельке — четыре с полтиной, в руках — дорогая гармоника, а вокруг внимательная, дарящая улыбки толпа девчат. Тоска засосала сердце... Теперь бы выкинуть что-нибудь громкое, героическое, яркое, показать, как гуляют... Чтoб ахнули и всплеснули руками все от удивления... Да связаны крылья...

— Играй ты полегче в басовик-то!..

Это Гулевому дают совет из толпы — очень уж зверски рычит его гармоника.

— Не могу! — кричит он. — Угар в руках! Люблю, чтобы басы львами ревели!..

— Грубо выходит. Дрожаменту нет...

— Ну-ка, Роман! Вот кто докажет!

— Роман? Ну-ка, Рома, с дрожаментом... Тронь!..

Роман досадно смущен, краска бросается в лицо. С трудом выдержал достоинство признанного артиста: лениво, с небрежным видом, взял гармонию, небрежно бросил на плечо ремень и чуть тронул пальцами по ладам. Засмеялись, зазвенели тонкие голосочки, словно стайка резвых птичек вспорхнула. Покорно охнул бас коротким, густым звуком. Смолкли. И вдруг все сразу, легкие и звонкие, рванулись вперед, в шумный водоворот базара, понеслись, закружились. Задорный мотив «Краковяка» заискрился, заиграл блесками подмывающего веселья...

Захлопал в ладоши пьяный казак с подбитым глазом и, смешно изогнувшись, пошел выписывать подгибающимися ногами фантастические узоры. Звонкая волна ударила в голову артисту, затуманила свет... Уже не страшно толпы: она — в его власти. Над пестрым бурливым гвалтом ярмарки кружатся звуки веселья и смеха, лихие вскрики разгула и удали несутся вместе с ними, дрожит земля от четкого топота легких ног...

Вечер надвинулся. Пыльная заря горит на западе, багряные длинные мазки веером раскинулись на полнеба. Гулевой не столько пьян, сколько прикидывается пьяным: шатается из стороны в сторону, натывается на людей, орет диким голосом песни и без нужды сквернословит. Роман чувствует странную муть в голове и желание пить. По-прежнему хоте-

лось бы развернуться, выкинуть что-нибудь громкое, героическое, вступить в схватку с кем-нибудь, показать, что с ним не шурши...

Потрогал револьвер в кармане и спотыкающимся языком многозначительно проговорил:

— Меня?.. Нехай кто тронет — все пять всажу!..

— Которого, — вскричал Гулевой, — тронуть?! В разъяренных чувствах ежели, то я — лев! В разгаре сердца я... у-у...

И когда проходили мимо стражника Лататухина, Гулевой угрожающим голосом снова крикнул:

— Я — лев!

Лататухин покосился в его сторону и ядовито заметил:

— На льва бывает клетка...

Гулевой обиделся:

— А вам что за дело? Вы тут чего? На старшем окладе, что ль?..

— Не выражайся!

— Ваша святая обязанность — рюмки обирать!

— Не выражайся — говорю! А то...

Лататухин, лениво переваливаясь, надвинулся на них. Оба — и Гулевой, и Роман — молча и независимо, но одновременно, точно по уговору, подались в сторону. И уже издали Роман крикнул по адресу полиции:

— Рюмочники! Поди, мерзавчика пожертвую!..

Лататухин сделал вид, что не слышит этого обличительного восклицания. Не глядя на обидчиков, по-прежнему лениво переваливаясь, он шел как бы в сторону от них. Но они поняли обходный маневр и проворно отступили за пределы ярмарки. Зашли в сад к деду Захару, теперь уже опустелый, грустный, одетый в великолепный наряд осени.

Отсюда голоса ярмарки, звуки песен и гомона были похожи на слитый шум далекого овечьего стада. Точно где-то вдали по выжженной степи медленно бредет оно... Клубится белая пыль. Пестрые голоса ребят и обгоняются, как мелкая зыбь, в странный сливаются хор, и резвой птицей над ним вьется-извивается разливистый свист пастуха...

Выбегают вверх, из мутного водоворота звуков, отдельные восклицания, бранчивые и ласковые. Всплеснет крепкое слово, пробежит быстрый, мелкоколенчатый смех и снова тонет в раскатистом грохоте телеги. Вот понеслась она вскачь, гикает кто-то лихо и звонко, резкий свист тонким бичом взвывается над удалым криком. И где-то там, в глубине пестрого гомона, устало поет пьяный хор, мешаются и путают-



ся голоса, долго звенит в воздухе подголосок, и кто-то свистит-заливается, виляет причудливыми извилами. Белым, недвижимым пологом стоит густая пыль над базаром.

— Фигура здоровая! — говорит презрительным тоном Гулевой, прибавляя крепкое выражение.

Роман понимает, что раздражительное выражение адресовано стражнику Лататухину. Протест запоздалый, бесплодный. В глубине сердца осело сознание обидного унижения: зачем они убоялись стражника? Надо было чем-нибудь облегчить обидную горечь этого сознания.

— Туда же, куда и люди: перед его лицом не кашляй!..

— Тоже, брат, обращайся осторожно, особенно около заду... А то копытом даст; скотина брыкучая...

— Шумит, как все равно порядочный... А кабы уж человек...

— Не человек, а музей: в одной морде все зверья собраны...

Бранились, издевались, а огорчение росло и переливалось через край: все-таки струсили, ушли с ярмарки, а там вон какое веселье, какой влекущий шум. Темнеет. Ниже стала заря. Сквозь мелкое, сизо-черное кружево верб просвечивают ее красные брызги. Задрожали золотые огоньки на ярмарке. Жмурятся, гаснут, вспыхивают. Кружатся вместе с каруселями, приседают, прячутся, выпрыгивают снова, сходятся и расходятся. Смех дрожит. Веселый визг выбегает наверх. Музыка, похожая на жалейки, мягко звенит и растекается струйками, как тихий вешний дождь в лесу...

— Была не была, пойдём! — решительно говорит Роман. — Наскочит — угощу свинцом...

— Очень свободно.

— Вот он... верный мой товарищ!..

Роман вынул револьвер и любовно потрогал его пальцами. Гулевой с минуту почтительно безмолвствовал.

— Штучка славная! — сказал он, наконец. — С такой опасаться нечего...

— Волк собаки не боится, да лаю не любит! — с достоинством ответил Роман. — Ну, идем, что ль?..

Вернулись на ярмарку. Чтобы поднять дух, зашли в харчевню к Букетову — тут в чайниках, под видом чая, можно было достать водки.

Былолюдно, тесно, шумно. Кучка запыленных казаков усталыми голосами горланили плясовую песню:

А я ему... а я ему: Се-ре-жа-а...

А он меня... А он меня... Ну-у-к-што-жа-а...

Перед входом плясал казак без шапки, в мокрой от испарины рубаше, забранной в штаны. Веки у него были опущены, брови изумленно приподняты, и на лице лежало глубоко-серьезное выражение. Короткий, точно обрубленный мотив частушки, с усилием выкрикиваемой усталыми, хриплыми голосами, как будто и родился тут, в том нелепом гвалте, смраде и грязи.

Среди тесно расставленных столиков Роман пролез к стойке, за которой стоял сам Букетов. Острая мордочка, вся в мелких морщинах, безотрывно следившая за всем, что было в полуосвещенном мраке балагана, на минутку остановила на нем пренебрежительно-деловой взгляд зорких, лисьих глаз. Прошла по сердцу Романа горечь новой обиды, — даже Букетов чувствует, что в кармане у него — пустыня, — и вспыхнула ненависть к этой деловитой, черствой фигурке, перед которой потные, грязные руки с такой готовностью клали кучки медяков и серебра.

— Чайничек, Иван Анисимыч, можно?

Слышит с досадой Роман заискивающие, просительные ноты в своем голосе, и хочется ему заплакать от злобного отчаяния.

— Какой размером? — сухо спросил Букетов.

— Полбутылец.

— Сорок.

— А за тридцать нельзя? Дороговато ведь сорок-то...

— Дорога своя голова, молодой человек, а для порядочных людей это не деньги. А рыск ты ни во что кладешь? Хочешь — бери, нет — ослобони место: не ты один...

Роман с болью в сердце положил двугривенный, который дал Гулевой и свои последние медяки. Букетов небрежно раздвинул их пальцем, пересчитал и бросил в окованную белой жестью шкатулку. Они звякнули, как битое стекло.

Водка была теплая и отвратительная на вкус. Они пили и отплеывались. Стоял в воздухе чад, запах подгорелого постного масла, терпкого пота, табаку. Разноголосый гам, как клубок пестрой шерсти, перекачивался от стола к столу. Звенела посуда. Неистово-дикое пение раздирало слух. Муть заполняла голову. Тошнило от выпитой водки.

— Таня Теряева давеча: «Приходи, — говорит, — вечером с гармонией», — сказал Роман, подпирая руками отяжелевшую голову.

— Таня?.. Ничего, девочка аккуратненькая. Не зевай, гляди...

Гулевой, качаясь вперед, близко наклонился к нему и дышал в лицо перегаром.

— А Фиенке я ворота вымажу дегтем! Не захватывай сразу помногу... Платками любит брать...

— Дарил?

— Шелковый!.. Желтый...

— Желтый цвет — разлучный. Ты розовый подари.

— Я подарю! Я-а подарю! — крикнул Гулевой, глядя сердитым взглядом на Романа, и ударил кулаком по столу. — Она у меня перестанет ломаться в поясу!..

Потом примирительно прибавил:

— Давай еще одну возьмем?

— А деньги?

— А вот она! — Гулевой достал из кошелька трехрублевку и гордо помахал ею в воздухе. Роман почтительно поглядел на эту грязную, захватанную бумажку, помолчал.

— Что же, можно...

Шатаясь и натываясь на столы, Гулевой с трудом добрался до стойки. Он все старался показать себя более пьяным, чем был на самом деле. Роман пощупал в кармане свой револьвер и с грустью подумал: «Верный мой товарищ!..»

Было мутно у него на душе, тоска сосала сердце. Похоже было, что он один на свете, что никто его не понимает и не ценит, даже белокурая Таня Теряева, — у ней голубые глаза и веснушки на носу, — даже она подсмеивается над ним... Но он докажет ей, что он уже взрослый человек... шутки шутить не охотник...

— Верный мой товарищ! — прошептал он, трогая ручку револьвера в кармане. То, что он носил револьвер, возвышало его в собственных глазах; револьвер должен придать ему весу, и нет только случая, чтобы воочию убедиться в этом.

Из мутного роя пьяных голосов до него долетел вдруг задорно-бранный крик Гулевого:

— Ты не толкайся! А то я толкану — от тебя мокро будет!

Он плеснул среди глухого, устало расслабленного гомона, как удар зыбкого удилица по воде, и пронесся над ним возбуждающим боевым кликом. Как-то сразу встрепенулся весь балаган, и, как осыпавшаяся лавина, весело надвинулась толпа к стойке.

— Мошенник, с... с...! — кричал Гулевой, держа у груди чайник с водкой. — Думаешь, я зую с табаком не выговорю — пьяный? Ты чего мне с трюшницы сдачи дал? Один полтинник? Давай мои деньги назад, на — твою водку!

Роман, весь дрожа от заигравшего в нем боевого восторга, с бьющимся сердцем протолкался через стену любопытных к самой стойке. В ушах у него прыгал нелепый мотив частушки: Се-ре-жа... ну-к-што-жа-а...

— Отойдите к сторонке! Не застыте! — звонким, повелительным голосом кричал Букетов, левой рукой осторожно придвигая поближе к себе шкатулку с деньгами.

— Деньги отдай! — снова взмыл голос Гулевого, дикий, озверелый.

— Деньги тебе? С-час! — решительно вздергивая головой, весь красный и кипящий, крикнул Букетов. — Тебе деньги?

Он наклонился вперед и правой рукой, которую держал все время под стойкой, сделал быстрый, широкий размах. Толстая нагайка звучно шлепнула по уху Гулевого. Толпа одобрительно охнула, — ловок был внезапный удар. Крикнули голоса:

— Это за что?..

Горячая волна хлынула в голову Роману. Замутило в глазах.

— Ты отдашь деньги ай нет? — задыхаясь, крикнул он и, ринувшись на Букетова, выдернул у него из-под руки шкатулку.

— Кра-у-ул! Грабят!.. — визгливым голосом закричал Букетов, и голос этот даже в том бурном шуме и крике, который вспыхнул вокруг стойки, выделился особенной оголтелостью: слышалось в нем озверелое отчаяние, захлебывающийся призыв ко всему человечеству о защите священного хозяйского живота.

Роман обеими руками поднял драгоценную шкатулку и бросил ее в Букетова. Она пролетела мимо, раскрылась, зазвенели рассыпавшиеся монеты и разбитые чайники.

— Ты отдашь деньги? — кричал Роман, вскакивая на стойку под дико-ликующий крик сочувственных голосов. Упсение схваткой оцепянило его, наполнило сердце неиспытанным восторгом. Он выхватил револьвер и, не целясь, ткнул в сторону визжавшего Букетова.

— Отдашь ай нет? Говори! Гра-би-тель!..

Раздался выстрел. На миг как будто стало тихо. Но с новой силой взметнулся дикий, поощряющий рев, визг, звон, грохот. Десятки тяжелых сапог застучали по стойке. Хряснули доски от тяжести. Кто-то тяжелый, весь в поту, хрипло дышащий, ткнулся на Романа, сбил его с ног и сам упал рядом. Потом огромное, ревущее темное покрытие их обоих, придавило грузным клубком, смяло, перебросило раза два. Револьвер выскользнул из руки, и Роман в отчаянии укусил мокрую рубаху грузного человека, от которого шел кислый запах калины...

Следствием было установлено, что Роман Пономарев был зачинщиком разгрома харчевни мещанина Букетова и с оружием в руках покушался на захват денежной кассы. Дело было передано военному суду.

### III

За два месяца до суда, 29 января, Романа перевели в губернскую тюрьму.

Этапный тракт из Устинска шел мимо родной станицы, в полуверсте. Верст за десять начала мелькать церковка из-за красноватой каймы голых верб. Потом выступили гумна с побуревшими скирдами соломы, черными полосками на белом небе вырезались журавцы и шести с скворешнями. Вон и курени — маленькие такие, приветливые, и кизячным дымком как будто наносят от них. Сгрудились, как грибы на опушке, бурые соломенные, зеленые и красные железные крыши с пятнами снега. Улички — издали тоже словно игрушечные, узкие, причудливо извилистые, с кучками золы и навозу у старых, похилившихся плетней, с бурой накатанной дорогой, с воронами и галками возле нее. Все старое, хорошо знакомое, родное... И все как будто новое в тихой умирительной красоте своей и кроткой ласке...

Толпа чернела у дороги. Подошли ближе. Слышны стали причитания: мать, должно быть, голосила, старшая сестра Дуня, бабки, тетки... В санях стоял обвязанный платком Уласка — лица его не было видно, но Роман узнал эту маленькую, закутанную фигурку, и задрожали, задергались губы от горького смятения, туманом застлался свет в глазах.

Партия была небольшая. Конвойная команда — сговорчивая. Урядник охотно принял подаяния и для арестантов, и для себя. С готовностью согласился закусить — отец Романа заранее приготовил угощение. Сделали привал.

Родные, милые и ласковые люди обступили Романа. Был он скован в паре с извозчиком Трофименком, обвинявшимся в ограблении монастыря. На одну минуту раздельно мелькнули знакомые лица Гулевого, Хонтурят, Тани Теряевой с заплаканными глазами, Фионки, других еще девчат... Роман сделал усилие и подбодрился. Подобрался, развернул грудь, улыбнулся. На щеках заиграл стыдливый румянец молодости. Свободной рукой приподнял свой арестантский шпичек — в дорогу нарядили его в казенную одежду. И тотчас же лица слились в одно — знакомое оно было, милое и жалеющее, но смущенно опускался перед ним взгляд,

хотелось скорей уйти от этой жалости и сочувствия к незнакомым, равнодушно любопытным людям...

Вот мать, жалкая, растерзанная, изнемогающая в отчаянии. Ее держали под руки. Слез не было у нее, все выплакала. Хрипло стонала и охала, хватаясь руками за грудь, и дики были ее выкрики, жалобный вой, стоны и причитания... Чем утешить ее? Звенят кандалы, нет слов бодрости и надежды... Упасть бы к ногам ее, целовать их, просить прощения за муку ее...

Тронулись дальше. Перед спуском в лощину, отделяющую Глазунов от Скурихи, Роман в последний раз оглянулся на родимый уголок. Из-за вербовых роц выглядывали лишь кресты церковки да крылья ветряков — дома и гумна спрятались за деревьями. И тут ясно, до холодного ужаса, представилось Роману, что милое место это, тихое, обвеянное теплым светом детских воспоминаний, — навсегда остается, навсегда... Такая певуче радостная мечта неотступно вилась в сердце, что вернется он в тесноватые, уютные стены, которые так знакомо пахнут печеной тыквой и дымком, согреется, отдохнет от страшного кошмара... И вот — грустная и радостная — навсегда она отлетает теперь. Задержался Роман от беззвучных рыданий:

— Земля! Возьми меня!..

— Да ну ж цыть! — сказал ласково убеждающим голосом Трофименко. — Може, и каторгу дадут...

— Годов с двадцать, — прибавил голос сзади.

— Тоже — не мед, — усмехнулся подвыпивший конвойный.

---

За месяц до суда уехала Григорьевна в город. Отговаривали ее долго от поездки: дорога дальняя, незнакомая, — по чугунке впервой поедет, — завезут куда-нибудь, и концов не найти. А помочь — чем поможет?

Все отговаривали: и свои, и чужие. Дед Захар отговаривал...

— Я тебе корову старую отдам — останься. Отелится скоро, кто за ней будет ходить? Говорю: останься!

— Поеду... — упорно твердила она. — Не ехать — все равно помереть...

— А там не помрешь, думаешь? В одну минуту! От испуга — враз! Сердце у тебя больное, на ладан дышишь. Испугаешься — вот и готова!.. Этих-то детей пожалела бы — четверо!.. Роман чего искал, то и нашел, а эти чем причинны — без матери останутся!..

Может быть, и правильны были эти соображения, но не мирилось с ними ее сердце. Жалко, без конца жалко покидать и этих малышей, — вон сколько их, в каждом углу по одному, — но не в силах она бросить на произвол судьбы своего кровного, обреченного своего сына...

— Поеду — хоть разочек разъединный взгляну на свою чадушку милую... — Она причитала низким, воющим голосом, обрывающимся и хриплым, — и звучало в нем бездонное отчаяние. — Ведь под сердцем я его носила... вынянчила... Он у меня как господский был... нежный, расхороший-хороший...

— Зря лишь в расходы войдешь... Шутка сказать: за сколько сот верст ехать — не бараний хвост... А чего сделаешь? Баба — и ум бабий у тебя...

— Чего сделаю?.. Осудят на казнь Ромушку — упаду в копыта к начальникам, умолю: хоть тело-то его дайте увезть домой!.. Господа Бога умолю, чтобы не допустил его лечь на чужой стороне в темную могилу... Все дома-то легче лежать: родные свои соберутся, голосок проведут... А на чужой стороне лишь птица вольная прокричит над тесной домовинкой...

И не столько слова, сколько слезы ее были убедительны. Раскошелился дед Захар, дал четвертной билет на дорогу. Быков продали. Собралось рублей с сотню. Опытные люди советовали адвоката нанять: не отстоит ли адвокат, адвокаты зубасты на слова...

Свекровь говорила:

— Ничего ты сама не умолишь, ничего не упросишь... Не с бабьей ухваткой дела эти делаются... Кто знает — не знает, а я-то прошла уж все эти участки... Ездила в свое время. На бугорке там посидела-посидела, с тем и уехала...

— Хоть на бугорке посижу, и то сердцу легче...

— Ну, езжай, посиди — что с тобой поделаешь... Найди там и мое теплое местечко, где я сидела... Тоже не одна горькая былинка и от моих слез там взошла-выросла — пришлось зачерпнуть горя...

Все знали ее историю, далекую горечь которой затянуло уже забвение, — но любила старуха изредка ворохнуть старые тени, воскресить былую печаль, тихий ропот, поздний и бесплодный, послать к Богу, творящему праведный суд.

— Первого-то моего мужа ведь прямо со службы в Сибирь угнали. Зык услышали: в Черкасске, мол, осужден на вечное. Распутица была как раз. Летучек-то этих тогда не было, окромя лошадей. Говорю свекору со свекровьей: благословите поехать. Они было отговаривать: вот, мол, отработаемся,

путь поправится. «Нет, мол, сейчас, сию минуту, время зря нечего терять...» — «Ну, езжай, погляди. Годочек, мол, ты с ним только и прожила — лишь кровь успели помешать, а вот, стало быть, за чей-то грех Господь разрушил счастье ваше...» Поехала. Еще со мной одна бабочка увязалась, односумка, в одном полку мужья наши служили, за одно дело и суждены были. Недели две ехали. Лошади-то хорошие были, да мы-то, бабенки глупые, все путляли, не попадали по прямой дороге...

Качает головой, грустно усмехается старуха: как далеко отошло назад это время и как таинственно протянулась длинная вереница годов...

— Еду, сама думаю: год я с ним всего прожила — ушел служить... Угадаю ли его в тюрьме? Кабы к кому чужому не броситься на шею?.. Страх берет. Приехали. Обошли все начальство. Попроще нынешнего тогда было, а все с покупкой: всяк сучок любит клочок... Пока ходили да окупали того да другого, пока добились разрешения, а их этап и ушел. Двух ден не успели... Головушки наши горькие!.. Сели на кургашке, голосом закричали: дружки вы наши милые, соколы ясные! Ваши пташки возле вас кричали, голосами вас кликали, а вы под крепкими замками сидели, голосочков наших не слышали, к нам не вырвались!.. И с чем мы, горькие, к старым приедем, что расскажем им?.. Покричали-покричали да и поехали назад ни с чем... Кургашек-то я энтот знаю... знаю я его... Найди там мое теплое местечко...

Старое, давнее было горе, а скорбь в нем звучала знакомая и близкая, точно не лежала вереница годов между ним и этими плачущими людьми, после родившимися, выросшими и уже успевшими увянуть...

#### IV

Езда по чугунке показалась Григорьевне верхом удобств. Сперва боялась, как бы не завезли неведомо куда, и все просила добрых людей сказать ей, много ли до города станций. Потом успокоилась: нашлись попутчики, люди словоохотливые и участливые, с ними и доехала благополучно до самого места. Сиротливо почувствовала себя лишь на вокзале — ушли ее спутники, каждый в свою сторону, а она с мешками осталась одна и не знала, куда ей направиться. Народ кругом чужой, деловой, неразговорчивый. Извозчик заломил безбожную цену — 40 копеек. Пробовала торговаться — не уступают: все, как сговорились, — 40 копеек, 40 копеек...



— Садись, одно знай! У нас — такция. Что в аптеке, то и у нас: копейки нельзя сбросить... Куда ехать?

— Да к Лександре Митричу!

— К какому-такому?

— Да офицер он. Из ученых. По лесной части...

— Мало тут офицеров!

— Женился недавно. Хозяйку Лександрой Григорьевной звать...

— Очень приятно... Но только ежели улицу не скажешь, ехать нам с тобой, тетка, некуда. Иди до полицейского, спрашивай. Улицу! Понимаешь?

— Да вот замстило мне улицу-то... Голова-то у меня больная. Горбатая улица? Кажись так-то... Горбатая...

— Есть Горбатая. А дом под каким номером?

— А дом не назову... Горбатая улица, горбатый дом... как-то этак, кубыть...

— Ну, на Горбатой, може, найдем. Садись.

Нашли-таки. Расспрашивали у встречных, в двory заглядывали. И как раз молодая барыня Александра Григорьевна в окно угадала свою станичницу. Правда, видно, сказано: на чужой стороншке рад своей вороншке. Обрадовалась, как родне, накрмила, чаем напоила, обо всем расспросила. Обсудили сообца прежде всего в прокурорский надзор сходить — за удостоверением для пропуска в тюрьму, — очень уж хотелось Григорьевне поскорей сынка увидеть. А после — насчет адвокатов похлопотать.

Привел ее Александр Дмитриевич в суд. Поговорил с курьером, сунул ему в руку какую-то монету и ушел. Осталась Григорьевна на попечении этого усатого старика в медалях. Входило и проходило навeрх много народу. Были и господа, и простые люди. Некоторым швейцар низко кланялся, — должно быть, важные начальники были. Раза два спрашивала у старика Григорьевна:

— Это кто, дяденька? Не к моей части?

— Не к твоей. Я скажу. Сиди.

Долго-таки сидела, заскучала даже. Наконец, пришел какой-то тонконогий, остриженный голо, как татарин. Засуетился около него старик, взял из рук сумку с бумагами, шубу снял. Тонконогий пошел навeрх, проворно перескакивая через две ступеньки.

— Иди вот за этим барином! — сказал усатый старик Григорьевне.

Перекрестилась Григорьевна, пошла. Как будто и старалась поспеть за тонконогим, а шуба на ней овчинная, тяжелая, ноги пугает. Отстала, потеряла из виду голо острижен-

ный затылок тонконового барина, не заметила; в какую дверь он шмыгнул. Ходила-ходила она по этому большому зданию, совсем потерялась. Подошла с поклоном к курьеру — к иному, не к тому, который внизу стоял. Суровый человек, говорит неохотно, строго, высокомерно. Буркнул, точно кобель спросонок гавкнул:

— Направо... пятая дверь на левой стороне!..

Пошла. Опять не туда попала. Накричали на нее. Упало сердце. Тяжело на чужой стороне, всякая муха поровит по губам шлепнуть, и оборониться нечем...

Направилась опять вниз, к старику в медалях. Но тут, слава Богу, тот самый тонконогий барин, который ускользнул от нее, как раз вышел из одной двери и прямо на нее на-ткнулся. Ухватилась за него Григорьевна:

— К вашей милости, ваше благородие! Заставьте вечно Богу молить...

— Ну что? В чем дело? Поскорей только... пожалуйста, поскорей...

Не сразу рассказала она, в чем дело. Барин все подгонял нетерпеливо.

— Скорей, скорей!.. Следствие закончено? У какого следователя было дело? Какого участка?

Откуда же она знает? Залилась лишь обильными слезами. Повторяла, что она — мать Роману и вины за ним, как перед Богом, никакой не сознает.

— Да он откуда — скажите, ради Бога? Может, из Грушевки?

Не из Грушевки, конечно, был Роман, но взяла она греха на душу, поддакнула — авось выйдет что-нибудь на пользу:

— Из Грушевки.

— Так бы давно и сказала!

Велел чиновнику написать пропуск. Опросил чиновник имя, фамилию и звание, написал бумагу. И, не медля ни минуты, поспешила она с этой бумагой к тюрьме. Думала, что порядок такой же, как в Устинске: когда ни приди, пускают. Но у ворот тюрьмы дежурный надзиратель сказал ей сурово и холодно:

— По воскресеньям у нас впуск на свидания.

Было это во вторник. Стала просить: нельзя ли хоть передачу сделать? До воскресенья — целая вечность. Неужели он, ее сыночек, так и не будет знать, что она тут, возле него, отделенная несколькими саженями расстояния да каменной стеной?.. Нет, и передача не разрешается...

С теплым, благодарным чувством вспомнила она устинский острог: все-то там было по-простому, сердечно так,

по-людски... прокурорша ласковая такая, сама пропуски писала. А тут, точно кобель на цепи, этот грубый привратник:

— До воскресенья! До воскресенья!..

Вспомнила слова свекрови: всяк сучок любит клочок. Полезла в карман, два пяточка достала:

— На вот, дяденька, на табачок тебе.

Взял. Несколько смягчился, разговорчивее стал. Но ничего утешительного не прибавил. Свидания только по воскресеньям. Можно, пожалуй, повидать сына и в субботу, если попроситься к обедне. Теперь арестанты говеют, ходят в церковь, — в церкви можно увидеть.

— Только — безо всякого разговору!..

Насчет передачи тоже раньше воскресенья и думать нечего. Потерпеть придется. Напоследок упавшим голосом спросила она:

— Кусковое сало пропускают ай нет?

— Все пропускаем, что законное.

— А то у меня сумление: пост, мол, разрешат ли?

— Пропускаем, пропускаем...

Вышла она на горку, с которой видна была внутренность тюремного двора, — тюрьма сидела внизу, у самой речки, — и стала глядеть с тоской на маленькие окошки мрачного кирпичного здания, на серые фигуры, проходившие по двору с метлами, с вязанками дров, с медными жбанам. Где-то он есть тут, ее сынок ненаглядный? Чует ли его сердечушко, что матушка его родимая вьется, как пташка, перед темной его темницей?.. И долго заливалась она горючими слезами.

Женщина с желтым, больным лицом подымалась в гору с коромыслом на плечах. Остановилась передохнуть. Поглядела на Григорьевну умным взглядом печальных глаз и спросила просто:

— Сидишь?.. Ждешь?..

Точно догадывалась, почему она сидит тут, кого ждет... Оглянулась на мрачное здание.

— На этом кургашке много нашей сестры пересидело... Кабы ветер развеял эту гору да раскрыл бы все слезы материнские — речушка бы из берегов вышла... Кого же? мужа? аль сына?

— Сына. Да вот... впуску нету...

— И не пустят. Им что... ни холодно, ни жарко... Не впустят...

— Привратник, как кобель на цепи: до воскресенья! до воскресенья!..

Посидела с Григорьевной женщина, расспросила, за

какое дело сын сидит? Понимала она различие в делах, какие политические, какие уголовные, — и дала совет Григорьевне:

— Ты смотри вон в эту сторону, на левое крыло. Политические все там сидят. В два часа им прогулка бывает. Завтра приди, — может, угадаешь...

Она сидела, пока было светло, и не сводила глаз с маленьких окошек. Ждала смутно и безнадежно: не выглянет ли родное лицо в какую-нибудь из этих черных дыр? Почудилось один раз: кто-то в белой рубашке показался в крайнем окне, как будто поглядел в ее сторону... Сердце остановилось. Не он ли? Не Ромушка ли?.. Встала, руку приложила к глазам, глядит, шепчет:

— Чадушка моя! Подсказало, знать, тебе сердечушко, что тут твоя горюша горькая ждет?..

Пристально глядит, да ничего не видит: слезы застилают весь свет...

На другой день опять пришла к воротам тюрьмы — с самого утра. Терпенья не было: опять попыталась просить, не пустят ли? Ведь в Устинске пускали, когда ни приди, — почему бы и тут не пустить? Взяла домашних гостинцев, купила булок, баранок. Большой узел принесла...

Не пустили.

Опять села на горке. И долго смотрела в окошки того корпуса, где сидели политические. В два часа из темной двери корпуса в тот угол двора, где торчало несколько тощих деревьев с голыми ветвями, вышла цепь серых и темных фигур и начала кружиться по узкому каменному помосту, который охватывал этот маленький садик. Догадалась Григорьевна, что это-то и есть прогулка. Сердце встрепенулось и забилось у ней в груди, как подстреленная горлянка: где он? Тут ли ее сыночек родимый?..

Встала, жадно всматриваясь в живую цепь. Были странно одинаковы серые фигуры, торопливо шагали одна за другой, сохраняя одинаковую дистанцию и деловитость в своем бесцельном, однообразном движении. И острая жалость прошла ее сердце — точно все эти серые люди были самыми близкими, самыми дорогими существами для нее...

— Ромушка! родимая моя чадушка! сердечная моя! да распечатай ты свои уста, промолви мне хоть единое словечушко!..

И вот, — показалось ли это ей, или так оно и было, — кто-то из цепи гуляющих снял круглую серую шапочку, поклонился ей. И на мгновение у нее перехватило дыхание... Оң...

— Болезный мой!.. Доказало его сердечушко...

Цепь кружилась, не останавливаясь. И скоро она потеряла из виду того, кто ей поклонился. Поочередно на каждом останавливались глаза ее, наполненные слезами, спрашивали. Но безмолвно и деловито шагали люди в сером и темном платье, неподвижно стояли три часовых, и суровой тайной веяло от темного корпуса с маленькими окошками, похожими на дыры.

V

Ходила по адвокатам вместе с Александром Дмитричем. Сперва побывали у Николая Иваныча, а потом зашли еще к нескольким, пока не остановились на Соломоне Ильиче. Николай Иваныч сразу внушил ей доверие к себе: толстый такой, мягкий, речь неторопливая, вразумительная, каждое слово можно понять. И даже когда совсем безнадежные вещи говорил, на душе спокойно было, точно сном обвевал басовитый его голос.

Посмотрел обвинительный акт, помычал и сказал:

— Шваховатое дело!.. Одному трудно. Еще кого-нибудь пригласите.

Александр Дмитрич спросил:

— К кому бы вы порекомендовали?

— Да мне безразлично. С кем сами условитесь.

— Никого я тут не знаю, родимый мой, — сказала Григорьевна, склоняя голову на бок.

— Да тут и знать не требуется, тетка: дело наше — ремесленное.

Хотелось Григорьевне рассказать о своей бедности, о том, что продали пару быков да из кассы зачерпнули долгу, лишь бы наскресть грошей, чтобы спасти Ромушку. Но не сказала, побоялась, что не доставит этим особого удовольствия Николаю Иванычу.

Помолчали. Об ее ли деле думали или о своих, но долго оба — и Николай Иваныч, и Александр Дмитрич — безмолвствовали. Страх заползал в душу Григорьевны: трудно, видно, спасти Ромушку. Потом Николай Иваныч громко зевнул и сказал, обращаясь не к Григорьевне, а к ее спутнику и руководителю:

— Попробуйте к Гинзбургу.

Показалось Григорьевне, что замялся будто Александр Дмитрич. Потом вполголоса спросил что-то у Николая Иваныча. Не очень поняла этот вопрос Григорьевна, но ухом уловила:

— А как вы полагаете: для военных судей не лучше ли бы кого... поправославней?..

Николай Иваныч поскреб затылок, шумно вздохнул и сказал:

— Обстоятельство, не лишенное значения, конечно... Соображение правильное. Ну, к Карякину толкнитесь... если он дома...

Заходили к Карякину и еще к двум адвокатам. Не застали дома. К Соломону Ильичу зашли уже напоследок. Не показался он Григорьевне: жидкий на вид, черный, — черных она не любила, всех за цыган считала, — суетный, как молодой песик. Говорит быстро, часто, трещоткой трещит, и ничего у него не разберешь. Когда вышли от него, Григорьевна спросила у Александра Дмитрича:

— Он из каких?

— Еврей. А что?

Замаялась. Хотелось ей сказать: устоит ли еврей-то? Можно ли понадеяться? Ведь они Христа распяли. Но не сказала. Заметила лишь несмело и осторожно:

— Больно парень-то верток... гомозной...

...Почти все дни проходили у нее однообразным порядком. С утра брала она узелок с гостинцами, сумку с увачиками и шла к тюрьме. Знала, что не пустят, но не сиделось ей дома. Все думалось: а вдруг каким-нибудь случаем да удастся проникнуть за тяжелые ворота тюрьмы? А то, может, встретит нечаянно Ромушку, ведь мимо нее часто проводили их — в кургузых зипунишечках и серых шлычках. Чужие все это были люди... Грубые лица, позорная одежда, а жалостливо лепилось к ним сердце, плакало, задумывалось над печальной и горькой жизнью их... И стал для нее привычным и близким местом крутой яр, с которого она смотрела на тюрьму.

В субботу она пришла к своим молодым хозяевам с таким веселым, просветлевшим лицом, что они изумились, точно молодость, беспечальная и удалая, осенила ее на минуту своим крылом.

— Ну, надула-таки я начальников! — с радостным возбуждением рассказывала она: — До воскресенья, до воскресенья!.. А я нынче к обедне к ним выпросилась, вот и Ромушка... Вот-вот, возле меня прошел, лишь не заговорил... румянцем щеки подернулись...

Непослушные бежали слезы по щекам, но она улыбалась и спешила передать всю свою радость.

— По... поклонился мне... В зипунишечке в сером... Рубаха холстинная...

Воспоминание об арестантском одеянии взволновало ее и перехватило голос: вся жизнь, ужасная, безрадостная, полная тоски и отчаяния жизнь каземата глядела на нее из этого серого зипуна и холщовой, раскрывшейся на груди рубахи, из-за которой глянуло на нее жалкое, худое тело сына.

— Дюже, моя чадушка, сменился с лица, — бессильным голосом, сквозь подавляемые рыдания, прошептала она. — Как и не Ромушка... худой, худой...

И тотчас же новым, деловым тоном прибавила:

— За здравие подала... Просвирочку ему отослала. И причащают-то их в кандалах... Хоть бы к причастию-то снимали...

И она задумалась, не в первый раз за последнее время, над новым, страшным лицом жизни, прежде неведомым, открывшимся ей через терзающее ее горе. Близко прошли перед ней людские страдания, глухие и безгласные, но скрытая боль трепетала и билась, и кричала в них к раненому сердцу. И ледяным ветром веяло от рассчитанной жестокости людей, держащих власть...

— Погляжу я, погляжу так-то по ним по всем, — продолжала она, подпирая щеку рукой, — нет краше моего Ромушки!.. Молоденький да зелененький, как зеленый купырик... Задумаюсь: да неужели же умрет он смертью позорной, напрасной?.. Сердце закатится!.. Да решусь я своего чадушки милого?.. Нет, жива не останусь...

Был так горестно выразителен ее ужас перед надвигающимся ударом, так сжимало сердце ее материнское отчаяние, что с ней вместе плакали и Александра Григорьевна, и кухарка. Лишь Александр Дмитрич сердито увещающим тоном говорил:

— Ну, нечего там слезокапить! Пока суд да дело, вы тут сырость такую разведете... Чего раньше смерти помирать? Все, слава Богу, устроила, адвокатов наняла — хоть и домой можешь поехать... Чего же еще?

— Домой-то ехать у меня самой коготки свистят... — утирая глаза концом платка, говорила Григорьевна. — Там ведь четверо их у меня осталось... Сердце-то изболело об них!.. Да уж дождусь. Жива буду — не буду, а дождусь... Осудят Ромушку на казнь, хоть платье его заберу отсюда: тройка у него хорошая... щиблеты с калошами... пальто новенькое... С акциена продадут ни за копейку. Домой возьму — там из ребят Пункрат или Уласка будут носить да поминать...

...День свидания, установленный тюремными прави-

лами, — воскресенье, которого она ждала с таким трепетным нетерпением, разочаровал и разогорчил ее.

Она с утра отправилась к тюрьме. Взяла сумку с сухарями, булки, баранки, чай, сахар, лимон и пришла к знакомым воротам часов за пять до впуска. Сперва одна сидела, а потом стали подходить и подъезжать люди. Всякого звания тут были: и простые, и по-господски одетые, и старые, и молодые, и женщины, и мужчины. И у всех в очах читала она одно горе и одну печаль. Оттого своя, личная боль точно расплывалась в общем море скорби, обиженное сердце само угадывало чужую обиду и сливалось воедино с другими сердцами, как малый ручей падает в могучую реку.

Обстановка свидания была совсем не та, что в устинской тюрьме. Там, бывало, проводят в предбанник, а в теплое время располагайся на дворе, где хочешь. Сядет, бывало, Григорьевна рядом с своим Ромушкой, поглядит его головушку, удалую и неразумную, поплачут оба. Изредка обменяются словом — другим, а больше молчат — хорошо помолчать вместе... А тут загнали в какие-то клетки, и далеко, у противоположной стены, сквозь две проволочных сетки, чуть обозначается милое, родное лицо — где уж его рассмотреть сквозь слезы!.. Умеют злые начальники оцарапать незаживающую рану сердца, дать почувствовать всю горечь разъединения и тесной неволи... Кругом шум, гомон, плачь — мудроно тут поговорить о чем-нибудь сердечном и тайном, ненужном чужому уху.

Да и в клетках-то этих не дали побыть: едва успела оглядеться, приспособиться к шуму и обменяться парой слов — велют выходить вон. Покланялись через проволочные сетки друг другу да и разошлись. И одна тюрьма знает, сколько накипевших слез осело ржавчиной в сердце...

Спрашивал Ромушка, как по железной дороге ехала — не боялась ли, никогда ведь раньше не видала ее. Про Уласку раза три спросил, много ли вырос? Потом еще что-то говорил, да плохо слышно было, и она кричала ему:

— Батя поклон прислал! Запил, как мне ехать: сбаврил в закрому мешочек мучицы да отнес Михайле Степанычу... Дунюшка, Тавька, Понкратка кланяться велели. Уласка-то ехать все собирался. «Поеду к Ромушке, мамуня...»

Опять что-то спрашивал он — не могла разобрать. Решила, что о том, как в городе устроилась?

— Ничего, хорошо. У станичников живу, у Александры Митрича. А еще есть офицер Аким Пудыч, у него тоже прибываюсь. Ничего... Скучно лишь, и-и, беды-ы!.. Все дощечки слезами у них омочу, видно... В городе тут — не как у нас:



у нас выйдешь на баз — от плетня до плетня десятина растояния. А тут выйдешь из избы — либо забор вот сейчас, а то опять изба... На одном поместье сколько сараев да домов. Беды-ы!..

Но видно, что плохо слышал он ее суждения и глядел на нее молча, с жадным вниманием истосковавшегося ястребенка.

— Адвокатов двоих приговорила,— прокричала она ему, чтобы подбодрить его хоть маленькой надеждой: — Может, Бог даст, двое-то и устоят как...

Про адвокатов услышал. Спросил: как по фамилиям? Александр Дмитрич записал ей их на бумажку, велел заявление сделать. Одну фамилию она помнила — Николая Иваныча: Елкин. А другую — Соломона Ильича — забыла.

— Чудно как-то... Такой чернявенький. Из жидков. Суетной такой, верткий, чисто — ртуть...

— Фамилию надо!

— Да не выговору! Как его, идола, — дай Бог памяти!.. Да она у меня вот на бумажке... Гомозной, чернявый такой...

Показала бумажку. И как только она помахала ею в воздухе, в ту же минуту коршуном налетел надзиратель и отобрал листок.

— Нельзя этого! — сказал он странно ликующим голосом.

И понес его к офицеру.

— Да ты, дяденька, хочь и сам прочти! — кричала вслед ему Григорьевна, обрадовавшись неожиданному обороту дела. — А то я грамоте не умею... Насчет адвоката...

Офицер внимательно осмотрел бумажку и отдал назад. Надзиратель с разочарованным видом вернул ее Григорьевне.

— Уважь, дяденька, прочти мне... Забыла, а грамоте не знаю. Про адвоката Соломона Ильича... Прозвище забыла...

Он уважил. Прочитал: Гинзбург, Соломон Ильич...

— Ну, вот-вот! Енборс, Енборс! Так-то... так и есть... Енборс, чадушка моя, Соломон Ильич Енборс! — закричала она сыну, махая бумажкой.

## VI

Всю ночь перед судом она не сомкнула глаз. Нечем было дышать, жар ходил по телу, и в груди боль перекатывалась, как тяжелый жернов. Старалась забыться, чтобы время прошло скорей, а время тянулось, как дорога в песках, — вязко, медленно и трудно. И страшные видения вставали перед закрытыми глазами. Суд представлялся: большая

комната, как контора в тюрьме, такие же своды и решетки; судья — кособокий старичишка, весь серый, а глаза красные, злые, голос — как у дергача. «У меня веревок хватит!» — торжествующей нотой звучит его голос — и на столе перед ним пучки новых, ровно скрученных бечев... И глаза Ромушки, такие большие на исхудалом лице, раскрыты с детским испугом и без слов кричат к ней, матери, о помощи...

И мечется она, стараясь закрыть свое дитя, и грозитя рукой на судей.

— Судьи вы, судьи, ученые вы господа! Бога вы, знать, забыли, креста нет на шее у вас, в грудях сердца не осталось! За что вы купурь мой зеленый стрескать хотите? Какая корысть вам из его головушки? Не грех вам лютым горем матерей, отцов сушить?..

Но скалят зубы судьи, хрипят и корчатся от смеха. Слова о скорби материнской для них — слова из детской сказки: давно их знают и выросли из них давно...

— Господь-то... Он все ведь видит, все попомнит: дойдет очередь — и вас окарябает, — не забудьте это, судьи, ученые вы господа!.. Судите вы нынче, но и на вас суд придет, праведный суд! Он определит вашу участь — не забудьте! Дойдет очередь... Дойдет до Бога обида материнская — как мякину развеет вас Господь!..

Но смех лишь судьям — ее слова: не очень грозны те, кто Богом лишь пугает. Берут у ней сынка ее, берут спокойно и уверенно, и бессильны, как плети, ее руки, не могут подняться на защиту. Волокут ее Ромушку в темные коридоры, узкие ущелья, безвыходные и таинственные. Умоляющий взгляд детских, широко открытых глаз без слов кричит о помощи, окровавленное сердце ее, замирая, падает в бездонный погреб...

Очнется, долго не может прийти в себя от испуга, от темного ужаса перед сном, так похожим на явь, перед близкой явью, давящей страхами, как кошмар... Сын, ее сын, погибнет, может быть, лютой смертью, захрипит, захлестнутый петлей, содрогнется в предсмертных судорогах... Нет, пусть уж и из нее душу вынут, а пока жива, не даст она надругаться над своим чадом родимым...

Забрезжил рассвет. Она встала, помолилась на иконы и потихоньку ушла из дома. Город спал. Сиротливо мигали редкие керосиновые фонари. Позеленело небо на востоке, в той стороне, где тюрьма, и там же, на окраине, пели петухи. Вспомнилась родная станица, обычная, будничная жизнь, обиход ежедневных забот и хлопот... Точно в даль какую-то все это ушло, вытесненное ужасным, постылым городом,

его тюрьмой, судами, начальниками, адвокатами... Точно сон, долгий и страшный, тянется, давит, мучит душу, а проснуться, очнуться в милой обстановке привычного труда сил нет...

Прошла к насиженному месту, к горке, с которой виден острог. Яркий, высокий фонарь горел белым светом в центре тюремного двора, а корпус лежал черный и немой. И было тихо, свежо, влажно. Матово белел в предрассветных сумерках весенний разлив Дона, где-то далеко-далеко, в серебряном тумане низины, звенел многоголосый, вольный, мягкий крик дикой птицы, и с высоты изредка доносился свистящий плеск бесчисленных крыльев.

Посидела. Оглянулась на город: спит город. И судьи спят. Лишь она вот не сомкнет глаз. А сын ее? Не спит и он, любушка, бьется теперь в своей тесной клетке... Не спят и те, кто выслушал и кому предстоит выслушать смертный приговор. За три дня, как заседает суд, вынесено уж семь их, смертных решений. И сердце устало содрогаться при мысли о горе чужом, равнодушно и немо стало сердце людское... Только страх, только трепет за свое держал его в тисках, заставлял безумно метаться, цепко хвататься за всякую соломинку...

Вызвал суд только двух свидетелей: Букетова и казака, который был избит и взят вместе с Романом. Ходила к свидетелям, в ноги кланялась.

Букетов на закон указывал, а у самого глаза так и прыгали от злодейской радости — приятен был ему, должно быть, этот закон...

— Присяга, матушка моя, присяга... нельзя-с, закон-с... Великое дело — присяга: одним словом повильнешь — на месте умрешь... Надо бы вперед тебе смотреть, приучать к добру детей. А то вот он гордостью все хотел... Хорошо было ширью да высю, нехай рылом в землю попытает... как она там...

Другой свидетель, слава Богу, о законе не очень беспокоился. Принял скромное даяние — на полубутылку — и с готовностью обещал не топить человека.

— А мне что? Мне — Бог с ним! Лишь бы за проволочки уплатили... На мне самом рубаху опустили, но я этого не ищу. Нет, будь покойна, тетка, даже как летом в санях...

И вот теперь все это вспоминается, проходит перед ней длинной, пугающей цепью. Так странно все, так фантастично... Неужели не сон это, долгий и страшный, от которого вот-вот она должна проснуться?..

Долго, томительно тянутся часы. Спит город. На восто-

ке, под зеленой полосой горизонта, чуть обозначилась буро-красная полоска, точно запекаясь кровь, разлитая над темной, безмолвной землей. Сонный, короткий гудок до-несся от вокзала. Потом загромыхал длинный поезд, прошел мимо, утонул вдали, а все еще стоял в воздухе его мягкий, угасающий грохот. Засвежело. Заговорили воробьи над крышей. Светло стало. Прошел фонарщик с лестницей, погасил редкие фонари. Тяжело громыхая, протянулся за город обоз просмоленных бочек. Густая, тошная струя зло-вония потянулась от него. Стал просыпаться город.

Ночной извозчик провез пьяных чиновников. Споты-кающимся языком один громко говорил:

— А жаль, что я этого дельфина в окно не спустил!..

Зазвонили к заутрене. При первом ударе колокола она встрепенулась и перекрестилась. Точно теплый луч глянул из-за синего облачка на востоке, трепетно-ласковый луч последней надежды. Встала и пошла на звуки церковного призыва.

Пусто было в церкви. Пахло воском и холодом. Гулко отдавались шаги сторожа. В окна глядел голубой рассвет. Редкие свечные огарки дрожали золотыми язычками, отра-жаясь бледным золотом на глянцевых красках. Дьячок торопливо бормотал басом знакомые молитвы. Там, где полагалось читать что-нибудь новое, он запинаясь и, растя-гивая слова, выговаривал их четко и сердито. Но долетали они, трогательные и ясные, прямо до сердца и слезы истор-гали из глаз.

Помолилась Григорьевна на иконы — и на те, что были прямо перед ней, и на те, что стояли по правой и по левой стороне иконостаса. Перечитала все молитвы, какие знала. Потом, — хотя никого из молящихся не было видно в гулком просторе храма, но потому, что так делали все в станице, так и ее приучали делать, — поклонилась направо, налево и назад — всему миру православному. И отошла в уголок.

Стала там на колени, усталая, обессиленная, придав-ленная страшными думами и тоской лютой. Вперила взор в икону — из золотой рамы, из ярких пурпурных одежд на нее глядел с немym состраданием взор матери, прижимаю-щей младенца к груди.

И долго без слов мать, истерзанная страхом и ожиданием жестокого удара, глядела на мать, пережившую тягчайшие страдания. И без слов, рыдающим криком надрезанного сердца, говорила ей:

— Ведь сердце твое тоже прошел нож лютой скорби... Заступись, Пресвятая Владычица! Ты — обидимых заступ-

лица, ты — изнемогающих оплот... О, заступись, заступись!..

И, прикинув горячим лбом к облупленным доскам, она беззвучно рыдала. Поднимая голову, встречала сострадающий взгляд, но был он недвижим и нем и... бессилён...

— Скорбных матерей утешительница — ты... рассей тучу, о Владычица! Отверзи милосердия двери, Царица небесная!

Крепко-крепко стиснула руки. Всем существом порывалась прижаться к стопам Владычицы, которая все может, — раскрыть истерзанную, высохшую грудь перед ней, язвами окровавленного сердца своего тронуть ее.

— Злых сердец умягчение — ты... Умягчи их сердца... вырви у них деточку мою, мать страдавшая... мать!.. Ты видишь мои муки, мою беду чуешь, скорби мои и обиду ты знаешь... матери обиду...

Жар и озноб проходили по ее телу, нечем было вздохнуть, не хватало воздуха. Бессильно опустила она голову; руки и колени дрожали.

— «Странни и пришельцы вси есмы на земли сей...» — сердито басит дьячок. Спешит и спотыкается голос, равнодушный и недовольный. — «Все житие наше на земли болезненно и печали исполнено...»

— Скорбная заступница моя! изнемогает во мне дух мой! — оять начали страстно шептать ее губы. — Развей, разгони беду мою... тьму уныния... Поддай мне, отчаянной, надежду... научи!.. Пойду я к ним... скажу я им... Научи, помоги... Покрой покровом твоим убогую, ты — представительница сирым и скорбящим... Не покинь... Я пойду к ним и скажу им: мать я... мать, истерзанная мукой несказанной!..

Усталая, выбившаяся из сил, вылиwała она в слезах весь остаток таившейся в ней энергии. И пришел странный покой, равнодушие, застывшая покорность всему, что будет. Притушились чувства, словно чужое стало тело, и весь мир туманным покрывалом задернулся. Купила свечку, затеплила ее перед той, в которой было робкое, последнее и самое близкое упование ее. Прикинула высохшими губами к холодным одежам ее — пылью и краской пахли они... Встала и пошла к зданию суда. Там села на каменных ступеньках величественного входа и стала ждать...

Равнодушно шли люди мимо нее, равнодушно тянулось бесстрастное время. Легкой походкой проходили мимо дети с книжками, юноши, девушки, и сжималось ее сердце при виде их счастья, свободы и бодрости... За что такая доля ужасная выпала неведомому им, ей родному-кровному юноше?.. За что?..

Проехала во двор судебного здания темная карета с

солдатами на запятках. Вздрогнуло, забилося сердце ее, догадалось: в этом черном ящике сына ее провезли... вот, возле, перед глазами матери, сидящей в томительной тоске на холодном камне подъезда...

Стали подходить и подъезжать чиновники. У всех сумки с бумагами и помятые, невыспавшиеся лица. Подъехал Николай Иванович на извозчике. Угадал ее тотчас же, заговорил весело и шутиливо:

— Ну что, мать? Небось ночевала тут? Ну, ничего, ничего. Не робей, без боя не дадимся. Пойдем-ка, я тебя на такое место посажу, — все будешь видеть.

Привел в большую залу. Скамейки по трем сторонам — за решетками и без решеток. Стол на возвышении, зеленым сукном покрыт. А за столом, в огромной золотой раме, портрет. Поискала глазами икону Григорьевна — не нашла. Перекрестилась на портрет.

Пусто. Никого еще нет. Посадил ее Николай Иванович недалеко от двери, чтобы могла поближе видеть своего сына: скамьи для подсудимых были почти рядом, решетка примыкала к печи, около которой села Григорьевна. Достаточно виден был и судейский стол.

Ушел Николай Иванович. Выглянула в дверь чья-то голова и опять скрылась. И долго сидела в одиночестве Григорьевна, с замирающим от истомы сердцем, с бессвязной молитвой на устах, с сознанием полной незащитности от близкой беды.

Пришли два курьера — у дверей стали. Офицер с бумагами вошел, сел у стола, посидел и опять ушел. Открылась та дверь, в которую провел Григорьевну Николай Иванович. Высунулся казак с пашкой наголо, за ним, звеня кандалами, в серой куртке, сын ее. Лицо истомленное, бескровно-серое. Сухие, воспаленные глаза. Она вскочила, — мгновенный толчок в сердце словно подбросил ее вверх, — вскочила и сейчас же села, не держали ноги. Встретились их взгляды на один миг — не выразить ничем, как забилося, затрепетало материнское сердце, уловив недетскую скорбь в детском взоре — туман сейчас же скрыл его... В следующее мгновение она увидела его спину, и затем он скрылся от нее за выступом печи. Конвойный, оставшийся перед решеткой, наставительно сказал ему:

— Сядь пока...

Вошли судьи — перед тем седой старик с светлыми пуговицами приказал встать. Встала Григорьевна и долго не садилась, устремив все свое внимание на судейский стол. У главного судьи было толстое, красное лицо с усами.

«Мордастый какой!» — отметила она про себя, но была довольна, что нет того злого старичишки, который мучил ее в кошмарных почных грезах. Были судьи все молодые, сытые, веселые такие, приятные на взгляд. Разговаривали, смеялись, крутили усы, изредка взглядывали на Романа — не сердито, а с любопытством, — изредка зевали или чертили с рассеянным видом карандашом на листах бумаги. Внимательные лица были лишь у двоих: у «мордастого» и у того, который обвинял.

Офицер, который входил раньше всех и опять уходил, стал читать бумагу. Читал долго и невнятно — ничего она не разобрала. Сжало клещами сердце, туман стоял в глазах, жар и холод пробегал по телу.

Понятнее и яснее стало, когда вызвали в залу Букетова. Он перекрестился на портрет, поклонился судьям и адвокатам и на вопрос «мордастого» неторопливо и обстоятельно рассказывал, какой смертельной опасности он подвергнулся в 8 часов вечера 14 сентября минувшего года.

Прокурор, грузный офицер с широкими бровями и гулким голосом, задал вопрос:

— В вас именно целился Роман Пономарев?

— В меня-с, — грустно и покорно подтвердил Букетов. — И как Господь крыл... пуля вот-вот, на вершок состояния, провизжала...

— И в то же время схватил выручку?

— Попер всю шкатулку-с... Не ухватись я за нее всеми средствами, был бы теперь... гол, как сокол...

Потом стал спрашивать Соломон Ильич. Он, точно проворный, лихой Шарик, подкатился под Букетова и пошел кружить. Сыпал вопросами, как горохом: любопытствовал насчет продажи спиртных напитков, насчет сдачи Гулевому, насчет местонахождения шкатулки и суммы выручки. Сбил старика с толку. Когда кончил, Букетов пошел на свое место, красный и расслабленный, точно распарили его до изнеможения в бане на полке.

Чувство безмерной благодарности вспыхивало в груди у Григорьевны при виде стараний этого черного, курчавого, нервного человечка, насчет которого она-таки грешила мыслью, что он ненадежен, потому что племя его Христа распяло. А вот как бьется, болезный... Ведь ни родня, ни друг, ни сват — а отстаивает Ромушку, как свое дитя... Славный Соломон!..

Второй свидетель стоял несколько минут, как бык, нагнувши голову, и молчал на все вопросы. Потом с трудом, точно бревно ворочал, выговорил несколько слов о том,

что ничего не помнит, выпивши был. И сейчас же прибавил заявление о проволочках. Больше от него ничего не могли добиться ни прокурор, ни председатель, ни Николай Иванович. Лишь Соломону Ильичу удалось вытянуть из него ответ на вопрос о том, кого он бил — Букетова или Пономарева?

— На мне самом рубаху опустили за здорово живешь...

Прокурор с гулким голосом говорил не долго, но сердито. Не все поняла Григорьевна, но видела, что хочется ему засудить Ромушку. И тошная горечь разлилась у ней во рту от его речи. Но стало легче, когда вступился за Ромушку Николай Иванович. Голос у него был такой же толстый, как и у прокурора, говорил он веско, с придавом, сжимал кулак и с размаху стучал им по пюпитру. Слегка опасалась Григорьевна, как бы не осерчали судьи, и украдкой взглядывала на «мордастого». «Мордастый» ничего себе, молчал, — видать, спокойный человек. Вот когда Соломон Ильич пошел сыпать в них словами, — как будто из пожарной трубы поливал, — то он не раз останавливал его и, видимо, сердчал. Но Соломон Ильич не робел, рублился до изнеможения: «мордастый» — слово, а он — два. Любо было посмотреть, как он трепал Букетова, уличал его в мошенничестве, махал руками, потрясал бумагой, вопиял... Под конец указал судьям и на нее, на Григорьевну. «Вот, — говорит, — мать, всеми муками истерзанное сердце»... Махнул рукой и расплакался, не договорил...

Хотелось ей подойти к нему и поклониться в ноги: дорог стал ей этот смешной, суетной человек иной веры...

Но опять страх вошел в душу: что-то скажет «мордастый»? «Мордастый» сказал:

— Предоставляю подсудимому последнее слово.

Она сперва не поняла, но скоро сообразила, что спрашивает он Романа о чем-то. А Роман молчал. Ей не было видно его из-за выступа печки, но хотелось сказать: «Попроси их, чадушка! Господа, мол, председательские судьи, молодой я вьюнош, мол, не губите моей молодой головешки...»

Он молчал, и было ей больно и горестно: заробел ее мальчик, потерялся в последнюю минуту, тонет — и помочь ему нельзя...

— Последнее слово предоставляю тебе, Пономарев. Не желаешь воспользоваться? — повторил «мордастый». Подождал с минуту. Ни звука не издал Роман. «Мордастый» поднялся, и судьи встали.

— Господа председательские! — неожиданно воскликнула Григорьевна в порыве отчаяния, точно бросаясь в глубокую пропасть, как струна, трепетал ее голос. — Господа судьи!



Лучше выньте мою душу, но не трожьте мой купырь зеленый!..

Зарыдал ее голос:

— Согласна я лучше лечь в гроб за дитя!..

Зарыдал ее голос, зарыдал, оборвался... Упала она на колени и умоляюще протянула корявые, узловатые руки к судьям.

— Тшшш!.. — замахал на нее руками старик с светлыми пуговицами. И даже конвойный замычал. Даже он, Рома, ее сын, — она увидела его на одно мгновение, когда подалась было вперед, — даже он взглянул на нее испуганно и недовольно, точно она сделала что-то неуместное и неприличное.

«Мордастый» равнодушно посмотрел в ее сторону и лениво сказал:

— Суд удаляется для совещания.

Ей показалось, что совещание тянулось целую вечность. Курьер два раза носил поднос со стаканами чая в ту дверь, куда вышли судьи. Адвокаты тоже ушли — покурить. Увели конвойные Романа куда-то, — вероятно, оправиться. В большой, безмолвной зале осталась одна она, измученная мать. Давила невыносимая, предсмертная тоска. Ум мутился. С трудом дышалось. И все казалось ей, что осыпается на нее мелким щебнем гора, высокая и страшная, шуршит, покрывает с головой, света белого лишает, перехватывает дыхание. Порой начинала качаться и тихо ходить кругом зала с большими окнами, и тогда обеими руками она хваталась за край скамьи, чтобы не покатиться вниз, в качающуюся бездонную глубину...

Привели опять Ромушку. Пришли адвокаты, и с ними старичок с светлыми пуговицами. Где-то затрещал звонок. Скоро старичок с светлыми пуговицами велел встать: суд идет. Встать она не могла. Начал «мордастый» читать бумагу, все стоят, а она сидит, — ноги служить совсем отказались... Никто не обратил на нее внимания: и адвокаты, и конвойные, и старик с светлыми пуговицами, — все, кто был в зале, — впилась глазами в «мордастого». Он читал быстро и невнятно, бубнил. Уловила она лишь слова, растянутые им: «по лишению всех прав состояния»... Все остальное прокатилось, как пустая баклага: громозвучно, слитно и без толку...

Но по тому, как заговорили между собой адвокаты, как поглядели в сторону Романа и на нее «мордастый» и судьи, она догадалась, что приговор был такой, после которого можно еще глядеть в глаза людям.

Конвойные вывели Романа из-за решетки. Проходя мимо нее, он встретился с ней повеселевшим взглядом и бодро кивнул ей головой. Слава Богу... Может быть, то самое страшное, что давило ее месяцы, дни и ночи, каталось клубками невыносимой боли по всему иссохшему телу, — прошло мимо. Она медленно перекрестилась, но все еще не могла встать.

— Ну что, Пономарева, вы довольны?.. Довольны?..

Это Соломон Ильич. Глаза у него — как чернослив — смеются радостным смехом, подпрыгивает борода, похожая на гвоздь... Милый Соломон... суетной, смешной... «Как цуник вертится», — любовно подумала она о нем.

— Что ж, вы довольны?..

— Ничего не домекнула, болезный мой. Ухватила лишь ухом: лишен казачьего звания... Больше ничего не слыхала: промзило меня всю болью...

— Шесть лет и восемь месяцев каторги! — воскликнул Соломон Ильич радостным голосом, точно это была весть такая, которая ничего, кроме восторга и восхищения, не могла вызвать. — Шесть лет... да...

— Ничего... ничего... — благодушно басил Николай Иванович. — А ведь недовольна! — обратился он к своему ликующему сотоварищу.

— Скажите: слава Богу!.. — восклицал весь сияющий Соломон Ильич. — Благодарите Бога...

— И вас благодарю, мои болезные! — утирая слезы, бормотала она счастливым, обрывающимся голосом. — Тебя спаси Христос, Ильич! Как ты с этим мордастым бился, любушка... до рукоположения доходил... Дай Бог тебе доброго здоровья... родителям твоим царствие небесное, вечный упокой...

— Ну, чего там... Я безумно рад: надежды так мало было... А родители мои пока живы еще, Пономарева, — как бы с оттенком сожаления прибавил Соломон Ильич.

— Ну, за здравие их просвирочку подам... Николай Иванович, спаси тебя Христос, золотой мой, за хлопоты...

— Ну, ничего, ничего. А по глазам вижу: не очень довольна? Небось теперь если бы совсем?..

— Да коли бы ваша милость была!..

И, улыбаясь, она снова разлилась рекою слез.

— Ну, да я уже знаю... я знаю... — благодушно басил, отвернувшись в сторону, Николай Иванович...

...В последний раз она поднялась в гору по знакомой дороге — от тюремных ворот в город. В руках у нее был узел с одеждой Романа, оставшегося там за высокими кир-

пичными стенами. На этот раз, для прощания с сыном, ей разрешили свидание вне обычных правил. Передала она в конторе гостинцы, которые при ней же переломали и перемяли, получила милые ей вещи — пальто, пиджак, картуз и брюки Романа, — бережно все сложила в платок и неожиданно для самой себя обратилась к начальнику:

— Ваше благородие! заставь вечно Богу молить... дозвожь хоть глазком на сыночка взглянуть... Може, умру, не доживу, когда его выпустят на волю...

Залилась слезами, высморкалась в руку. Тронуло это начальника, — о своей матери вспомнил, похожа она была у него на Григорьевну, — велел вызвать Романа в комнату, назначенную для свиданий. Опять через две решетки поклонялись они друг другу, всплакнули, обменялись незначительными словами. Больно было сердцу, хотя и не было прежней мрачной удрученности на душе, — далеко впереди чуть-чуть мерцал огонек робкой надежды... Попрощались, разошлись.

И вот она опять на привычном месте: на высоком бугре, с которого целый месяц глядела на это мрачное здание с черными дырами вместо окошек, на каменный тюремный двор. Задрожало сердце при мысли, что в последний уже раз она смотрит на это место тоски и неволи. Ветер треплет ее платье. По низине, залитой весенним половодьем, ходят тени курчавых облаков и серебряными иглами играет неровная зыбь, вдали — на самом горизонте — лиловые холмы, далекий простор, вольный и ласковый, — но равнодушно сердце ее к нему. Прилепилось оно к этому камню и тесным казематам, где одни обиды, грязь, духота, звон кандалов, тоска черная и озлобление. Тесен сердцу и грустен вольный простор земли там, где безбрежно море скорби и неслышных страданий. Было время — в равнодушном неведении проходила она мимо таких мест... А теперь, когда надрезано ее сердце, горько чувствует всем существом своим, что их тоска — ее тоска, их обида — ее кровная обида...



## ЧЕЛОВЕК

Вздыхает сырой ветер. Липкий, влажный холод забирается в рукава и за шею, мелкими мурашками ползет по телу. Запах гнили, разложения висит над улицей, поднимается от реки, плывет сверху вместе с дымом и гарью, отовсюду дышит гниением. На панели — лужи, на мостовой — черные тучи грязного, мокрого снега. На набережной, за Николаевским мостом, пусто и безлюдно. Кругом ворчит, звенит, гремит город, оранжевым пологом раскинулось над ним мокрое ночное небо, а тут, на мокрых гранитных плитах, — неподвижные, мертвые отблески огней.

Пусто и жутко. В поздний час никто здесь не ходит — столичный обыватель не любит пустынных мест. Одни черные силуэты зазимовавших кораблей, затертых льдом барж, пристаней и плавучих ресторанов собралась тут в немой, неподвижный хоровод и с презрительным безмолвием следят за бестолковой суетой каменного города.

Иной раз меня неотразимо тянет сюда, к холодному, скользкому граниту, к немой застывшей Неве, к мудрому молчанию железных громад, когда сырой туман, повисший над землей, окутывает и душу, и вся жизнь представляется сплошной, непроходимой слякотью. Идешь один со своими невеселыми мыслями, и вдруг:

— Ваш степенс...

Вырастает сбоку неслышно серпообразная фигура. Большая, в лохмотьях, с сирым, дрожащим голосом. Конечно, «враг общества», тот самый, который, к огорчению нововременских публицистов, Евангелия не читает, не признает священного права собственности, бездельничает, наливает себя водкой, предается порокам и преступлениям. Не скажу, чтобы встреча с ним была приятна. Кошелек-то у меня хоть и тощий, но жалко все-таки. А если моему собеседнику вдруг понравилось бы мое пальто, то это и вовсе удовольствие среднее. Знаю, что вблизи нет вооруженного блю-

стителю обывательской безопасности. Едва-едва мелькают на другой стороне набережной черные фигурки пешеходов, да одиноко где-то в тумане чавкают копыта извозчичьей лошади.

Не особенно явственно, но все-таки ускоряю шаги. Идет и он, мой серповидный спутник, рядом. Опять слышу:

— Ваш-ш степенс...

Голос голодный, но не то, чтобы просящий. Скорее какое-то шутовство звучит в нем, полуконфузливый смех, испытанный способ обратить благосклонное внимание на собственное комическое состояние и тем «потрафить» господину: авось даст семипник...

— Ваш степенс!.. Терплю бедственное положение в настоящее время...

— Что вы за человек?

— Так точно-с... человек...

Стучит зубами от холода, втянул шею, руки запихнул в рукава, а рукава изукрашены длинной, частой бахромой.

— Чем занимаетесь?

— Прошу на ночлег, ваш степенс... Что ж, навигация кончилась, работы прикрыты, а самая профессия наша — навигация. Так и зовут нас: береговые черти.

— Где же проживаете?

— Тут, на берегу.

— То есть?..

— Так точно-с, на берегу. Вот на этом самом.

— А ночуете?

— Тут и ночуем. На даче...

Я смотрю на него с недоумением.

— Это под названием так: на даче. А дача, какая же она — дача? Большая часть так норовим: господин Щербаков, Воскресенский и я, компания... этак прижмемся друг к другу... Уснуть не уснешь, конечно, а в разрешительную погоду посидеть можно... Ну, в морозы более или менее тальянку ломаем...

— Тальянку?

— Да, тальянку. Значит, ходим всю ночь. А утром, как только чайные откроются, — они рано открываются, — мы в чайную. Бывают хозяйки добрые, кипяточку дадут погреться...

А в голосе у него все те же льстиво шутовские нотки, полуконфузливый смех, — должно быть, думает, что это самый выигрышный тон в его положении.

— Работы искать не пробовали?

— Ну... не пробовал! Конечно, работнул бы с удовольствием, да вот... снегу Бог не посылает. Совсем работы нету. Простоял давеча у конки до двух часов — не взяли: народу — как грязи. Это — не навигация. Навигация — вот разлюбозное дело! Летом у меня одной одежды сколько собралось... Две рубахи было, подштанники... Одеяло было! — воскликнул он тоном увлечения и подавляющего хвастовства.

— И куда же все это делось?

— Прокушал, ваш степенс... Пальто было — прокушал, одеяло — прокушал, рубахи — тоже. Дело, конечно, такое, видите...

— А... зашибаете?

— Да ведь нельзя, ваш степенс... Такое дело... Закладываем — верно: все-таки потеплее. Пока деньги есть, расчета в них не знаешь: на даче ночевать уж не станешь, идешь в ночлежный. А то угол где-нибудь. По Косой линии, в девятом номере, квартиру имел... Все было, а сейчас на берегу... Трудно, ваш степенс.

А в голосе — все смех, шутовской, самообличительный, извиняющийся...

Я стараюсь вникнуть в душевное состояние своего спутника, усиливаюсь представить себе, что он, оборванный, голодный, иззябший, должен чувствовать, идя рядом со мной, с человеком, тепло одетым, обутым и пообедавшим? Хриплый голос его как будто хихикает над собой, а что у него там, внутри?..

Вот — великолепная новая церковь. Рядом с ней — роскошный дом, в котором живет киевский митрополит и его монахи. Этот, живущий на берегу, человек, «береговой черт», видит, вероятно, ежедневно карету его высокопреосвященства, нарядных гостей, приезжающих в митрополичий дом, автомобили, стоящие у подъезда, — что должен он испытывать в душе, глядя на все это?..

Я вспоминаю, что мысль почившего великого писателя земли русской до последнего вздоха была прикована к этой голодной, вонючей, серповидной фигуре. Ей же было посвящено последнее напечатанное произведение его. В нем он цитировал, между прочим, Генри Джорджа, который, — не помню точно, в каких выражениях, — говорил, что современная цивилизация готовит сама себе разрушителей в лице этих голодных, одичалых людей дна, которые будут когда-нибудь страшнее гуннов.

Не знаю, может быть, это и правильно, но сейчас незаметно, чтобы мой спутник был серьезной угрозой для нашей

цивилизации: он предпочитает хихикать над собой, заживо гнить, мерзнуть, тонуть, ложиться под колеса автомобилей и трамваев.

— Незавидна ваша жизнь, — говорю наудачу, так лишь, чтобы сказать что-нибудь, не молчать.

— Что уж завидного, ваш степенс... Судьбой мы через край удовольствованы... Иной человек, доброй совести, имеет сожаление, подает. А у другого попросишь — он городского зовет... Вчерась барыня с собачкой... На собачке — накидка с бубенцами, золотой ошейник. Ну, подошел, конечно: обратите внимание, говорю, бедствую в настоящее время... «Проваливай!» И собачонка, подлая, тоже под ноги кидается, рычит. «Помилуйте, — говорю, — барыня, ваш кобелек мне брюки изволил разорвать, хоть на починку пожертвуйте что-нибудь...» — «Городовой!» Ну, конечно, вот он и городской. Барыня-то оказалась генеральша. «Запиши его в нищенский комитет». — «Слушаю-с. Ты... как тебя... имя?» — «Ну, Иван, конечно». — «Звание?» — «Мещанин Царского Села... Земляк...» Он за эти самые слова кээк даст мне вот в это место, по зимним рамам... «Прошел, — говорит, — все степени злодейства и смеешь еще в земляки!» Извольте вот радоваться: в шутку сказал, а он... За что же?

Мы идем некоторое время молча. Размышляем. Каждый о своем, вероятно.

— Думаю в провинцию махнуть, — говорит мой собеседник.

— А в провинции что же, лучше?

— В провинции сейчас, говорят, слава Богу, хлеб уродился. По нашим местам также сеном, льном занимаются. А сейчас льняное семя 23 рубля пуд...

— Вам-то что? Ведь у вас нет его...

— Ну... все-таки... Нет, в провинции куда же лучше: ночлег дают. Мужики, они — народ душевный. Вот с барками когда приходят, попросишься, слова не скажет, пустит переночевать. А барка для нас, это, прямо сказать, мобилированная комната... Нам лишь бы до навигации додуть, — вздыхает мой собеседник, — а тогда мы...

Он самонадеянно кивает головой и, оживляясь, прибавляет:

— Может, Бог даст, опять холера будет, тогда от города столовые будут. Там мясо дают. Маленький кусочек, но приятно скушать. И суп преотличный. Для желудка суп — первое дело. А городской суп — это форменный суп, с наваром. Не какая-нибудь несчастная щекovina, что варят день,

варят и на другой, до того уварят, что ни вкуса в ней, ни сытости...

И пока мы не расстались с ним, он развивал с увлечением съестной вопрос до самых тонких деталей. Развивал и повторял:

— Вот ежели бы только холера опять... расчудесное дело!





## СЧАСТЬЕ

Книга пугала мудреными словами и выражениями: нравственная революция, мировоззрение, деспотизм, высшая идея общественного устройства... Но не было сил оторваться от нее: озаренная всепроникающим светом, перед изумленным взором разворачивалась сложная ширь жизни, ясным и близким становилось темное, далекое, чуждое — все, что казалось недоступным для постижения, — и пробуждающаяся мысль загоралась смутным восторгом и радостью первого прозрения...

С самого утра лежал над этой книгой Сергунька: день был праздничный. Читал шепотом, останавливаясь, вникал. Опять читал и перечитывал. Когда неожиданная для него мысль особенно поражала его удивительным блеском новизны и остроумия, он доставал тетрадку с клеенчатой крышкой — сюда он списывал обыкновенно только стихи, которые любил любовью нежной и стыдливой. Медленно, старательно, рядом со стихотворениями Пушкина, Некрасова и своими собственными, он заносил в нее по несколько строк и из этой диковинной, увлекательной книги. Писал, а в голове роились свои мысли, блестящие, смелые, неожиданно новые, — хотелось и их занести на бумагу. Но натруженная, дрожащая рука с толстыми, набухшими рабочими пальцами ползла медленно, и мысли убегали в туманную даль, путались, тускнели и таяли.

— Мысль летит, как голубь... Рука ползет, как рак...

Сергунька вздыхал и клал перо в сторону.

Пришла с улыбки Ульяна, жена Сергуньки, дюжая, красивая грубой красотой рабочей женщины, весело оживленная, со следами сбегающего смеха на лице. Бросила быстрый, проверяющий взгляд на мужа, на тетрадь и книгу, лежавшие перед ним. Как-то быстро потухла, нахмурилась. Она, как и вся семья, была совершенно чужда книжным интересам мужа, считала их блажью и баловством. Когда Сергунька говорил ей, что книги — «полуда» его души и старался разъяснить всю огромную ценность и радость, скрытую

в них, она не то, что не понимала, а просто не хотела сделать самого малого усилия, чтобы понять это бессвязное выражение восторженного пристрастия к темной и опасной — казалось ей — премудрости. Смеялась. И этот деревянный, тупой, безжалостный смех подкашивал расцветавшие восторги Сергуньки и заливал его лицо краской негодующего стыда: какая тупость!.. какая темнота беспросветная!..

— Загубил я свою жизнь! — не раз с тоской говорил он на стороне людям, сочувствовавшим его порывам и мечтаньям. — Живу за стенами старого завета и кругом один... Чужды мне близкие по плоти, никто обо мне не понимает... Жена?.. Не жена, а камень на шее... Неотесанный шаблон!..

Он стал прятать от Ульяны свои писания и книги. Поначалу она отнеслась к этому вполне равнодушно, но потом, обижаясь охлаждением к себе мужа, стала подозревать таинственную переписку, измену и устраивала бурные сцены ревности, иной раз кончавшиеся для нее и потасовкой.

— Пишешь? — сказала она, усмехаясь. — Все пишешь? Кому же? Дуньке Шкуратовой?

В голосе ее звучала решительная готовность к схватке. Сергунька пренебрежительно промолчал, — до объяснений он не хотел унижаться, все равно — что ни скажи — копчится ссорой. Он закрыл тетрадь и спрятал ее в синий сундучок, где у него хранились, вместе с ваксой, сапожной щеткой, порохом и дробью, его скудная библиотека и бумаги.

— Рифмы слагались в уме, а теперь вот... яко дым исчезе... эх! — укоризненно скорбным голосом проговорил он, не оглядываясь на жену.

— Не брехучий человек мне сказывал, что ты ей конфетки давал! — задирающим тоном возразила на это Ульяна.

— Давал... Что же, она — бабочка кругленькая...

Он снял с гвоздя новую, праздничную фуражку, провел ладонью по ворсу и внимательно прикинул на глаз, оценивая, сколь добротное сукно.

— Бабочка аккуратная... — спокойным, насмешливым голосом прибавил он.

— Чита-атель! — с презрительной, злой усмешкой сказала Ульяна, чтобы не остаться в долгу. — Мало вас начиталось! Бога уже не признаете... Емназист...

— Если бы ты понимала существо дела — я бы тебе объяснил, о чем я читаю и пишу. Но разве с тобой об существовании дела можно рассуждать?

— Гляди, милый мой, будешь в этой емназии: с маленькими окошками, за решеткой железной...

— Шалава! — сказал он с сожалением и горестно крикнул. Потом надел фуражку и вышел из хаты.

Было так хорошо на душе, широкой, значительной и возвышенной казалась жизнь. А вот два-три глупых бабьих слова — и все яркое сразу потухло, вернулась мелкая, обрыдлая обыденщина, скука, безнадежная теснота, серость. И небо ясно, и ласков тихий, теплый вечер, веселый гомон звенит вдали, — а нет, безнадежно знает он, Сергей Безятов: скудна, слепа, убога эта жизнь...

Девичьи песни, смех, визг ребятишек, тени через двор, тени по улице, косые, длинные, и тихий свет на вербах, золотой свет в окнах церковки и на седом кургане за станицей... И голуби в вечернем небе кружат, то золотисто-ясные, то черные, как дождевые брызги на голубом платке щеголихи. И кроткая тишь безмятежная медленно и привычно текущей жизни — все обидно тускло и убого, все не такое, как... в книгах...

За воротами, на завалине и ольховых бревнах, в холодке сидели старухи, — все родство и соседство в праздник сползало в этот бабий клуб, — и в компании с ними было лишь два представителя сильного пола: старый дед Герасим, в розовой рубахе и в подштанниках, и дурачок Никита с коротко подстриженной бородой — не из франтовства, а по гигиеническим соображениям. В пыльной траве, побуревшей от солнца, у плетня, ползали грудные детишки с завязанными на спине рубашонками.

— Они проповеди-то нам читают, а сами и десятого не исполняют, — слышался мерный, густой голос старика Герасима. — Я говорю своему о. Максиму: батюшка, вы вот проповеди читаете нам, а сами на эту точку не становитесь...

— Нам их не учить, — сквозь громкий и длинный зевок проговорил старушечий голос: — Они сами — чтецы церковные.

— Ну, я им не молчу!

— То-то грозен-то... А помирать будешь — за кем поплешь? За попом!

— Не люблю молчать... Нехай обижаются! Вы, говорю, ни разу ни одной проповеди не прочтете, чтобы понам да чиновникам жить добродетельно, по закону. А все нашему брату-простаку: повинуйтесь наставникам вашим... давайте им по силе-мочи... А придешь с постной молитвой, не спрашиваешь силу, говоришь: дай мерку пшенички, дай гуська, заиши баранчика...

— А в сам-деле, ты-таки ему прочел, дедушка! — сказал Сергунька, выходя за калитку.

— А что ж зубы скалишь? Проказал! — с достоинством возразил старик: — Я ему пробукварил все до точки, даром что я — слепой человек, а вы — письменные... Я не молчал!

— Ушиб ты его!

— Ушиб — не ушиб, а проказал... Нехай... Я не по-ученому, да крепко...

Дед любил сослаться на свою темноту, а сам все-таки зачерпнул книжной премудрости и не так уж был прост.

— Ты вот, Сергунька, читать-писать молодец, что в попы не выйдешь? — неожиданно спросил он.

— А на что мне в попы?

— Как на что? Чудак! Попам жизнь не плохая... И всегда у престола Господня! Умру вот, поминал бы меня... По крайней мере, был бы я в надежде о жизни вечной...

— Для меня это не суть важно. Я заражен другой идеей...

— Начитался, брат, ты, гляжу я, своих этих романов!.. В писании, брат, есть насчет этих твоих книжек, хорошо там про них...

Дед старательно подковырял концом костыля кустик мелкой крапивы-жгучки и отбросил его в сторону от ползавших детишек.

— От ученых проклятых книг, говорит, всех бежати! Нитнюдь не проникать в них!.. Бежати, аки Лот от содомлян!..

Сергунька усмехнулся.

— Это — кто как понимает об этом...

— Вот ты, понимающий, читаешься и Бога забудешь. Все Сашки да Машки там какие-то... что это за книги!..

Все засмеялись. Громче всех дурачок Никита.

— Кабы их живыми поглядеть, Машков-то этих! — сказал он и снова прыснул со смеху, за ним и все остальные. Даже и Сергунька рассмеялся.

Потом сказал внушительно и убежденно:

— Ясное солнце, вот какие это книги! Всякая накипь очищается, когда почитаешь — душа лудится!

Дед покрутил головой, продолжая смеяться.

— На-шел солнце!.. Романы... Либо про женитьбы, либо про политику, больше в них ничего и нет!.. Солнце ясное одно: божественное писание! Читаешь, слеза прошибает иной раз!.. Во-о...

— Поплакать и над стихом можно... Есть такие — все сердце пронзит!

— Суетная мудрость!..

Сергуньке не хотелось при бабах вступать в спор с дедом,

но и молчать было конфузно: замолчал, значит, признал себя побежденным, а сдаваться он и не думал.

— Ежели в моей голове что доброе замелькало, то от этих только книг,— сказал он с убеждением.

— Мудрецы! — иронически воскликнул дед Герасим.— Ученые книжники!.. А заставь такого ученого прочесть церковную книгу, он правильно не прочтет...

— Ну-у?!

— Не ну, а тпру!.. Не прочтет! Он силу не знает точки, запятой, титла... А и прочтет, так все перетолкует по-своему!

— На то и разум дан человеку: испытай и перетолкуывай...

— Разум? — Дед сердито стукнул костылем.— Разум, как воробей, и где зря залетает... Ему тоже дай волю, он тебя занесет... Э-э!.. Нет, ты погоди! Молода, в Аршаве не была! Ты послухай сюда...

Дед начертил костылем какие-то таинственные знаки на утопанной земле.

— Был один гордый воевода — я тебе скажу. Ну... Как-то стал читать Евангелие да дочитался об гордых, а не поймет, что к чему? И пошел к о. Серафиму. Он ему растолковал: вот, мол, в какой смысл тут говорится... Он как вдарится кричать! Говорит: кого обидел, умиротворю вчетверо... Вот видишь? Ни к кому не пошел, а к о. Серафиму...

— Спасибо, был святой близко, а то бы и не понял, что к чему...

— Да тут смеху нет, Сергей, ты клинья не подбивай. А белендрасы-то свои кинь, послухай меня! Пра-а...

— Чудак ты, дедушка! — коротко засмеялся Сергунька.— Только лишь лучи световые мелькнули в голове, а ты: брось! Кто же это от света да в темноту захочет? Чудак.

Ему хотелось сказать им, этим старым, износившимся от черного, неблагоприятного труда людям, какую радость, какое упование дает этот чудесный свет растущего понимания, как раздвигается чудесная жизнь, в какую чудесную высь взлетает душа. Но слов таких, каких надо, сильных, ясных, вразумительных, не было у него для них, темных и равнодушных. И он не сказал ничего.

Постоял. Вернулся во двор. Оглянулся кругом: все на своем месте и все такое убогое, серенькое, — но вся жизнь уходит на созидание и поддержание этого скудного гнезда, все помыслы, заботы и усилия. Все в ней, в этой жизни, неизбежно установлено и безнадежно, — все, от серой кучки ободьев на гумне до старых верб на леваде, от разговоров деда о попах и о божественном до самого упоительного сквер-

нословия с соседями из-за пегого поросенка-бедокура. Все это для Сергуньки было известно и... скучно...

Будни удручают тучей мелких, неизбежных хлопот, непрерывной работой, страхами за завтрашний день, теснотой. Они висят над душой и в праздник, но самим Богом установленный досуг на несколько часов отодвигает их в сторону. Старики идут в церковь. Молодежь толчется на рынке возле церковной ограды. И эта пестрота одежд, лиц, голосов, жужжащий говор, торг, веселая болтовня и глубокомысленное обсуждение в кругах какого-нибудь вопроса о Китае или звезде с хвостом, о летающих машинах вносят ощущение общности, будят немножко мысль, выносят ее за пределы этой кривой, кочковатой улицы в неведомые, почти фантастические дали.

Кончится торг, разъедутся телеги, затихнет гомон. Разбредется народ по хатам, и остаток дня проходит по разведенному порядку — сонно и однообразно.

Обедают рано. После обеда ребятишек прогоняют на улицу, взрослые заваливаются спать. Спят жадно, запоем, всхлипывая, всхрапывая, с бормотанием и стоном, целый день до вечера спят. А вечером выйдут на улицу, сядут на завалинках или бревнах и лениво перебрасываются редкими, короткими, скучными словами, зевают, молчат, слушают визгливое пение граммофона в доме о. Максима или всем знакомые разглагольствования деда Герасима.

Потухнет заря на западе, в сумерки закутаются белые хатки, стихнут девичьи песни, смех и визг, веселый гомон молодежи... Ночь надвинулась: пора спать... И снова заваливаются по всем углам, и спят с тем же упорным ожесточением, как и днем.

Сергунька любил все-таки праздники за то, что они позволяли оторваться от ежедневной обрыдлой работы и почитать книжку или газету. Читал он запоем, безотрывно, забывая об обеде, обо всем окружающем, — весь уходил в иной, диковинный и разнообразный мир, столь не похожий на жизнь станицы Безыменной. Случайно попавший газетный лист или номер «Нивы» он штудировал весь, начиная от первой строчки и кончая объявлением о 18 предметах за 3 руб. 95 коп., или о том, как развить роскошный бюст. И даже эти объявления уносили его мысль из тесного и скудного впечатления угла в беспредельную область жизни яркой, богатой, заманчивой, возбуждали мечты, желания и зависть. Эх, если бы деньги! Сколько бы превосходных вещей можно выписать: и 18 предметов, и Кодак, и книгу о гипнотизме, и собрание сочинений Никитина...

Стихи он так любил... Он упивался их музыкой, печальной и светлой, всегда прекрасной, нежной, покоряющей. Будила она в его душе трепетно-сладостные отзвуки, восторг и грусть неизъяснимую, туманные, волнующие грезы. Нередко ускользал от понимания его мудреный смысл коротеньких, обрубленных, зубчатых строк, но созвучья слов пели долго и нежно в его сердце, беспричинные, счастливые закипали слезы, в новый наряд, певучий и яркий, наряжался весь мир, преображался тесный и скудный уголок земли, в котором он родился, жил, работал... И точно далекое эхо заречное, в ответ чужим стихам слагались свои песни, в которых — увы! — так мало было смысла. И лишь складные, мерные напевы звучали как будто похоже на те, чужие, в которых была такая дивная гармония...

Были стихи, что не читались, — петь хотелось их!..

Поют деревья, блещут воды,  
Любовно воздух растворен...

И блеск, и звенящий поток весенних звуков, яркий наряд весенних красок, воссозданный волшебной властью художника, переполняли замиравшее от восторженного умиления сердце толпой блестящих образов и странных воспоминаний, близких, милых, затерянных в суровой житейской суете. Своя весна, весна родины, примелькавшаяся, знакомая, вдруг открывалась перед ним в новой, невиданной красе, расцветала, наряжалась...

Зеленая балка меж пашен, и разбрызган пестрый узор по ней: золото, пурпур, бирюза, алый бархат тюльпанов, «цветов лазоревых», среди сизых пучков густо пахнущей полыни. Ветерок вздыхает над голым кустарником — пыль золотистая, нежная чуть закурилась над ним: лопаются почки. Не слышать голосов человеческих — над ухом лишь мушки звенят, да жаворонки за черной пашней сыплют заливистые трели. Звенят. А все кажется: безбрежно разлита тишь неподвижности над волнистой ширью степной, над редкими черными хатками, резко очерченными на горизонте полевыми хатками, сейчас пустыми и безмолвными, хранящими тайну труда и пота и нужды среди пустынного простора.

Песня в груди закипает, песня, широкая, полнозвучная, крылатая. Нет слов обыденных, лишь звуки, близкие, волшебные-прекрасные, кружат в этой звенящей тиши, теснятся и ищут воплощения. Нет сил бороться с ними. И царапает Сергей Безпятов в своей тетради, царапает мозолистой, прыгающей по бумаге рукой:

Уж вот явился месяц май.  
Постыг он землю с высоты...  
Повсюду прелесть, всюду рай,  
Кругом все зелень и цветы...

Нет, не то... Надо выразить это тихое сияние расцветающей родной земли, кротость, тишь безбрежную и неуловимую музыку ее... Это сладкое томление и жажду, смутный зов и ожидание.

Бежит облачко — по неслышно скользящей тени видно, куда бежит, а в него не глянешь — режет глаза от яркого блеска... Маленькие, прохладные капельки упали на руку, на вспотевший лоб — свежо и радостно вздыхает ветерок.

Очнулась весело природа,  
И вдохновился Божий мир...  
Кругом восторг под небом свода,  
Лишь колышет слегка зефир...

Складно, но... как глупо, боже мой! Смешной набор книжных слов, грубые, безграмотные каракули...

— Жалкий, темный я человек!.. — в отчаянии говорит Сергунька. — Пустая моя голова... И к чему тревожить душу? «Кругом восторг под небом свода»... Эх-ма! Восторг!.. Черно, голо, все взрыто... Восторг!

Вон на гребне темной пашни, на самом горизонте, показался всадник и две лошади сзади него. На водопой, верно, едет. Чуть видно, как мелькают тонкие ноги лошадей, и тонкой линией обозначена фигура всадника. Вот въехал в темную пашню, слился с ней, пропал... И пусто стало. Черная земля, изрытая, печальная, и тени облаков по ней... Скучная, милая родная земля! Где те слова, чтобы передать эту подлинную красоту невыразимой кротости и скудости твоей?.. Их надо, их, а не найдешь их нигде, дорогие, нужные и неизвестные слова и краски...

## II

Было страшно только одну минуту, — правда, очень длительную, пока Ермилыч, он же — по-уличному — Чалый, надевал очки, связанные толстой «суровой» ниткой. Но когда Чалый, держа тетрадь на отлете и спотыкаясь, прочитал первые четыре стиха и звонкие рифмы удивили его своей неожиданностью, Сергунька сразу успокоился.



Одобрительно хмыкнул и бородатый Мирон, плантатор-капустник, лежавший с сигаркой в зубах рядом со своим приятелем Спирычем, ногами на горячей от солнца траве, головами в тени от полузасохшей яблоньки.

— Вроде псалмы, брат, — сказал он, засмеявшись.

— Ничего, рифма есть, — сказал Чалый серьезным тоном понимающего ценителя. — Ничего, Сергунька, ничего!.. Второй Кольцов, можно сказать... Важнецки!

— У меня пристрастная охота к стихам, господа, — отвечал радостно смущенный поэт. — В полку, бывало, так над песенником и лежу... А Пушкина сочинения добыл одну книгу — прямо одним духом прочел... Во-от стихи!.. Или Некрасов, например... Боже мой! Все на свете забудешь!.. Помереть за стихи готов!..

Собрались они в полузасохшем, заросшем бурьяном садике Чалого — тут обычно происходили беседы возвышенного содержания, решался нередко вопрос о бытии Бога, подвергали беспощадной критике установленные религиозные взгляды, обсуждали социальные и политические проблемы, чаще же всего жестоко, но бессильно ругали носителей станичной власти. Истреблялось при этом безмерное количество свежего табаку, взрощенного самим Чалым на песчаной почве его сада. Тут же и читали, когда попадался в руки номер газеты или любопытная книжка. На этот раз, не без трепета, Сергей Безпятков принес для прочтения свои стихи.

Чалый давно когда-то был народным учителем, но за безверие, вольномыслие и — больше всего — за легкомысленную, веселую жизнь был изгнан с нивы просвещения. Долго бедствовал. Одичал, редко умывался, зарос волосами, когда-то белокурыми, теперь седыми. Легкомыслие забыл, но в безверии с годами лишь укрепился, невзирая на то, что жил у дочери своей, просвирни, и поневоле стоял близко к церковному обиходу. Атеизму он поучал всех своих приятелей, в числе которых был и Сергунька.

— Вот грамматике, Серега, поучись, — дружески посоветовал Чалый. — Буква *ль* у тебя заполнила все слова... Опять вот *зефир*... И никаких знаков препинания...

Чалый постукал пальцем по тетради. Сергей почтительно поглядел на его очки, на седую щетину подстриженной бороды, резко оттенявшую темное, загорелое лицо, и вздохнул: большое дело — грамматика!..

Чалый прочел до конца стихотворение. Остановился, подумал, но больше не похвалил. Последние четыре стиха были такие:

Природа будто трепетала...  
Восторг при трепетной луне...  
Одной мне Лизы не хватало —  
И сердце билось во мне.

Голубоглазый Спирыч, пчеловод и механик-самоучка, покрутил в изумлении головой:

— Ведь как складно-то!.. Ай, да Сергунька! Вот, ей-богу... И Лизу какую-то приспособил...

Все засмеялись. Даже на серьезном лице Чалого очень весело и смешно зашевелилась седая щетина.

Прочитали еще одну пьесу, но ее никто не понял, и сам поэт не мог объяснить. Что-то мудреное, туманное, как колдовство. Начиналось так:

Однажды в печальный  
И сумрачный день,  
Как заяц зеркальный,  
Явилась мне тень...

— Граматику подучи, Сергей, граматику, — сказал Чалый доброжелательно, — тогда у тебя пологичней будет выходить... А это что такое? «Приключения Тита»...

— Это насчет Тита Андреевича, военного писаря, — пояснил Сергунька.

— Ну?! — Щетина на лице Чалого весело заходила, и очки усталились на лежавших слушателей.

— Читай, что ль, чего ж ты? Не охрип! — сказал Мирон, весело скаля большие, желтые зубы.

Стихи о военном писаре были такие же нелепые, как и прочитанные лирические опыты, но содержание их, близкое и животрепещущее, произвело эффект необычайный. Их юмор, неуклюжий и темный для непосвященных в тайны станичной жизни, даже в намеках сразу угадывался и восторженно воспринимался читателем и слушателями. Уже первые строки, не заключавшие в себе, по-видимому, никакого яда, заставили Чалого захрипеть и залиться долгим, кашляющим смехом. Крупным горохом рассыпался Спирыч, и весело щерились желтые зубы Мирона.

Было то на всю станицу:  
Тит любил одну девицу.  
Он писал ей все записки —  
Прехорошенькой модистке...

— Вот срисовал, сукин сын! — одобрительно воскликнул Мирон и поднялся на колени, охваченный нетерпеливым любопытством.

Чалый, с трудом сдерживая душивший его кашель и смех, прочитал:

«Полюби меня, верблюда!  
Ты мне краше изумруда»...

Дружно ахнул новый взрыв хохота. Он покатился по саду, отдался в старых вербах, где кричали иволги, вспугнул с колодезного журавца задумавшуюся ворону и перебросился лающим эхом за речку Прорву, заросшую тальником.

— Верблюда!.. Ну, он тебе за верблюда по затылку достанет, ей-богу, достанет! — радостно кричал Мирон. — Это оскорбление личности!..

— Не личности, а спины, — возразил Спирыч, рассыпаясь заразительным горохом. — У него спина с сугнибиной...

— Позвольте, господа!.. Вы перебили... Господа слушатели!..

— Катай дальше!.. Ну и Сергунька! Фотографчик — в полном смысле!..

А модистка ему пишет:  
«Ох! — вздыхает, еле дышит:  
— Я давно в тебя влюбилась,  
Вся измучилась, избилась,  
Получила уж чахотку —  
Приходи, пойдем в проходку!»

— Ишь, шельма! — покрутил головой Мирон. Спирыч толкнул его в бок: молчи, не мешай.

Чалый перевел дух, подмигнул автору и продолжал:

Тит записку получил.  
Прочитав ее, вскочил:  
Вот исполнились проекты!  
Взял полтину на конфеты.  
Он горячку даже парил,  
Сам с собою все гутарил.  
Обувал он сапоги, —  
Господь! Тигу помоги!..  
Надевал потом и брюки —  
Вот так счастье! Прямо в руки!..  
Одевал потом мундир —  
Был веселый, как зефир!..

Эта сатирическая поэма была достаточно протяженна. Но чтец и слушатели, прерывавшие ее заливистым хохотом, сморканьем, оханьем, восторженным галденьем, не только не утомились, но даже как будто жалели, что кончилась

занимательная история о печальных и смешных похождениях лица, стоявшего не на последней ступени станичной иерархической лестницы. Сергунька познал тут сладостную отраву народных плесков, похвал и почтительного изумления. Правда, была в душе небольшая трещинка: чистая лирика его, которую он с таким волнением и трепетом вынашивал и лелеял, не была оценена по достоинству. Поэзия гражданская, поэзия обличения и борьбы, его мечтательной душе была не так близка, как звуки сладкие и молитвы. Он восхищался ее героической смелостью и острой язвительностью, он чувствовал красоту мятежной скорби и святой ненависти, но, когда оглядывался на станичную жизнь, смирную и тусклую, из мелочей сотканную, он видел, что нет тут места гражданскому негодованию...

Но такова ирония судьбы: мимоходом попробовал себя в обличительном роде, изобразил в «Приключениях Тита» блудливость и горькие ее последствия, в «Прогулке градоправителя» — мелкое воровство и пьянство начальствующих персон, — и вот она, слава! Бестолково-шумная, неожиданная, необъяснимая, но подлинная слава, признание, удивление...

Чалый оставил стихи у себя.

— Я их пошпыняю, — сказал он, подмаргивая Сергуньке, — я им прочту! Погляжу, как они... То-то взвоятся!..

— А ну как осерчают? — нерешительно возразил Сергунька. Очень было соблазнительно испытать действие обличающего слова на обличаемых, но и страшно: все-таки, что ни говори, — власть, а он, Сергунька, обыватель, маленький и незащищенный...

— Осерчают? Да какое ж тебе дело? — горячо воскликнул Чалый. — Коли б ты выдумал что!.. А то все ведь истинная правда!..

— Правда-то оно правда, да не любят ее ныне...

— За правду помереть будь готов!..

И стихи пошли гулять по станице.

Вскоре поэт мог убедиться, что слава его росла, как снежный ком. Через несколько дней некоторые стихи из его сатирических поэм уже распевались под гармонию, на мотив частушек, по станичным улицам. Очевидно, бичующий стих отвечал назревшей потребности станичной жизни. Но вместе с этим все определеннее становились и слухи, что обличителю несдобровать... Вся семья Сергуньки была в тревоге. Ульяна, не переставая, грызла мужа и с уверенностью твердила, что теперь-то уж не миновать ему тюрьмы. И дед Герасим говорил:

— А ты, Сергунька, эти свои романы куда-нибудь подальше прибрал бы... В погреб, что ли...

— Пожгу я их все! — ожесточенным голосом кричала Ульяна.

— Дура непонимающая! — с сожалением говорил на это Сергунька.

— А ты много понимаешь?.. Вон попа еланского сына жандармы подхватили в черную карету, увезли... И ты достукаешься!.. И все за эти волшебные книги, чтоб им...

Не только из боязни обыска, сколько опасаясь вандализма Ульяны, Сергунька перевез свой синий сундучок на пашню, в пустую полевую хатку, и там спрятал его под соломой. Это было сделано как раз своевременно. Обыск был-таки произведен атаманом. Правда, без надлежащего ордера, по собственной инициативе, но об ордере никто и не заикнулся. Дед Герасим попробовал, впрочем, подпустить турысы на колесах:

— Ваше благородие! Дозвольте спросить, какой продверг вы под нами подозреваете? Ай уж izdelku фальшивых кредитов?..

Атаман ответил на это не очень дружелюбно:

— Учил бы уму-разуму внука лучше — вот какой продверг...

— Я учил, ваше благородие. Внук у меня дюже письменный, три зимы в училище бегал...

— Переучил!..

— Помилуйте, ваше б-дие...

— Потому что какая-нибудь... поль ничтожная!.. — с сердцем крикнул вдруг начальник станицы. — А людей чище себя может... на публику выводить... Щелкопер проклятый!.. Какой-нибудь черепок...

Перерыли сундуки, заглянули в чулан, на потолок, в амбар — нигде ничего подозрительного, в смысле книжного склада, не нашлось. Забрали толстые книги церковной печати, принадлежавшие деду: святцы, псалтирь, толковый апокалипсис и «цветник». В «цветнике» лежала небольшая книжка гражданской печати: *«Примеры военного красно-речия разных народов минувших лет и настоящего времени»*. Атаман повертел ее в руках, перелистал, подозрительно останавливаясь на некоторых страницах, и отложил в сторону.

— Это у тебя святцы? — строго спросил он у деда Герасима.

— Так точно. Святцы...

— А записываешь в них всякую ерунду! Например,

что это? «12-го сего мая обгулялась перепелесая свинья...»

— Для памяти, ваше благородие. Люди мы, извините, земляпашцы... Первое беспокойство — об хозяйстве...

— На бумажке не мог записать? Книга церковная, можно сказать, а ты на ней неподобные такие вещи...

— Виноват, ваше благородие. Сознаю, что ошибся... обмишулился...

— Виноватых бьют. А еще критику наводите на порядочных людей... Я о себе не говорю, я — человек такого свойства: бреши на мою голову, сколько хошь, — выдюжусь!.. А он других дернул... Чем ему вот Никита Иваныч помешал?

Атаман ткнул пальцем на своего помощника.

— Как, бишь, он тебя там, Никита?

— Не меня, а мою супругу, — конфузливо ответил помощник Топтыгин. — Чушь, больше ничего!.. Говорить неохота...

— Ну, все-таки... Пускай старичок послушает, как внук его отличается...

Топтыгин смущенно поскреб затылок.

— Так, нехинея одна... — пробормотал он, упершись взглядом в свои сапоги. — «А жена была Никиты — с синяками, вся избита»... Ей-Богу, вот разрази Господь мою утробу, пальцем ее не тронул никогда! — прибавил он скорбно-обиженным голосом.

— Э-э, чего там грешить, Никитушка! — с неожиданной горячностью возразил вдруг дед Герасим. — Пальцем не тронул! Сколько раз, при моем виде, возил, как сидорову козу... Сколько раз я сам собственной губой говорил тебе: «Не бей, мол, Никитушка, она годится в дождь куда послать...»

— Ну, это не твое дело — в чужих женах распоряжаться! — резко остановил старика атаман.

Между тем писарь Тит Андреевич, вертевший в руках книжку *«Военное красноречие»*, вдруг наткнулся на неожиданное открытие и многозначительно замычал. И когда этот звук привлек внимание атамана, писарь указал пальцем на какое-то рукописное замечание, нацарапанное на заглавной странице. Атаман не сразу разобрал написанное.

— *«Сия книга — одна реклама, больше ничего...»* — прочитал он вслух.

— Реклама... гмм... А что такое реклама, Андреевич?

— Да это не суть важно! Вы ниже смотрите!

— Не прокламация?

— Нет... Реклама это... как бы сказать?.. Ну, реклама и есть!.. А вы ниже, на подпись обратите внимание: *«станционный социалист Сергей Безятов!..»*

— Социали-ист? А-а... да, есть... Это крупная серьезность!.. Ну-ка ты, социалист! — крикнул атаман строго на Сергуньку. — Это твоя рука?

— Моя, — сказал Сергунька независимым тоном.

— Так ты что же это думаешь? — усиливая голос и грозно хмуря густые брови, вскинулся атаман. — Это тебе шутки? реклама?.. Да знаешь ли ты, что такое со... социалист?

Дед Герасим испуганно крикнул, Ульяна побледнела, а Сергунькина мать Матвеевна заплакала, горько качая головой. Сергунька, сохраняя независимый вид, усмехнулся.

— Что такое существует социалист? — грозным голосом повторил атаман.

— Напрасно шумите, Иван Петрович, — отвечал Сергунька. — Голос у вас дозволительный, это всем известно...

— Приобщи-ка эту рекламу, Андреевич, куда следует! — Атаман угрожающим жестом ткнул пальцем в книжку. — А тебя, милый мой, я в переплет возьму-у... Со-циа-лист!..

— Сам Иисус Христос был социалист! — сказал уверенно Сергунька.

— Христос?! Запиши-ка это, Андреевич!..

Дед Герасим испуганно хлопнул себя по бедрам, Матвеевна заголосила. Нагнувшись вперед, дед с таинственным видом подвинулся к атаману и умоляющим тоном, вполголоса сказал:

— Ваше благородие!.. Пожалуйста со мной в особую комнату... на парочку слов...

— Не-ет, старина, поздно, — широко улыбнулся атаман. — Дело крупного серьезу... Андреевич! захвати, кстати, и святцы... Дело крупного серьезу...

— Ваше благородие!..

— Не-ет... поздно теперь...

— Пожалейте мою старость!.. В копыта вам падаю... ведь... я... старик...

Дед опустил на колени. За ним опустилась и Матвеевна, причитая по-мертвому: «Го-ло-вуш-ка моя го-о-рья-ка-я...» Сергунька с невыразимой болью чувствовал бесцельность и ненужность этого унижения и темного страха; в глазах у него потемнело от злорадно-торжествующего голоса атамана, горячая волна залила лицо, и, не помня себя, он крикнул то, что обиднее всего могло показаться атаману:

— Иван Петрович! а просцо-то в общественный магазин вернули ай нет?.. Об этом я тоже не умолчу!..

Генералу готовили торжественную встречу — такой уж издавна установлен порядок. Обывателям было предписано собраться в церкви. День был будний, рабочий. С утра выползло из хат десятка два старичков в теплых чекменях с медалями николаевских времен, в синих халатах, в шинелях с чужого плеча. Они долго ходили по тихим улицам станицы, бородатые, медлительно-важные, голодные и скучающие. Сходились в кружки, перекидывались редкими словами, умственно молчали, измороженные зноем, — было жарко, а оделись все, для приличия, по форме, которая была приспособлена, на всякий случай, ко всем временам года, не к лету только. Утомившись стоять, выбирали где-нибудь под плетнем, в холодке, местечко почище и, слегка прижав чириками крапиву, укладывались спать — «на бивуачном положении».

Полицейский Семенych сражался с бабами за непорядок: было заказано вымести улицы, убрать бревна, побелить хаты — никто своевременно не озаботился этим, а теперь вот, перед самым прибытием генерала, бабы, высоко подоткнув подола и вооружившись помазками и ведром жидкой белой глины, спешили благообразить внешний вид своих жилищ. И получалась нелепая картина, отнюдь не соответствующая нужному представлению о благоустройстве и благоприличии: забрызганные до самых бровей белой глиной крикливые бабы с голыми икрами, полублудленные курени, свежий кизяк по улице, кучи сухого дряму у плетней... Семенych энергично жестикулировал клюшкой, угрожал ответственностью, а бабы весело скалили зубы и называли его Скорпионымчем...

О. Иван с испуганным лицом упрекал ктитора за то, что плохо вымыт пол в церкви. Урядник Полуптахин, инструктор, репетировал почетный караул в маршировке, поворотах, осаживании и примыкании. Издали его хриповатый тенор, кричавший: раз-раз-раз-раз... — походил на усталый лай неугомонной дворняжки. Стаями вились и маневрировали около взвода ребятишки. Во дворе училища урядник Попов упражнял школьников в отдании чести и приветствии генералу.

— Поздоровкаться с его п-ством!.. Смир-но! Зда-ро-ва, ре-бя-ты! — кричал он лихим голосом.

— Здра-а... жла-а... ваша... сство!.. — звонко, но нестройно кричали в ответ детские голоса.

— Отставить! Ко-ро-че надо! Короче! Здорово, ребята!



— Здррра-а-а... жла-а... ваш-ство-о...

— Да короче же, сукины дети, говорят вам!..

— Раз-раз-раз-раз... — лаял вдали голос Полуптахина.

Дух радостного беспокойства и ожидания реял над станицей, нервное напряжение должностных лиц смешило баб, разжигало любопытство ребятишек, волновало стариков. Каждый раз они, в ожидании высокого начальства, томилась фантастическими надеждами: нет ли какого милостивого приказа — отличить старые заслуги хоть грошовым пансионом? Или, по крайней мере, на водку не даст ли высокое начальство? Бывают из них ведь и щедрые... Хорошо было бы, если бы генерал намылил голову атаману: приятно видеть, когда хоть слегка посекут ближайшего начальника...

— Вот Гнилорыбов генерал приезжал, у-у, лютой был! — говорил дед Герасим, с Георгиевским крестом на синем суконном халате. — Сурьезный генерал... Бывало, начнет обкладывать — муха не пролетит!..

— Гнилорыбов что! Вот Мандрыкин был — царство небесное — ерой так ерой!.. Таких ругателей нынче весь свет пройди — не найдешь!.. За строевого коня меня зеленил-зеленил...

— Зеленил — это еще слава богу... А вот тогда, в голодный год, генерал проезжал... как его, бишь? Чудное фамилие какое-то... фон-Рябый или как-то этак... Ну, вот дерзкий на руку был генерал, страсть!.. Иван Ильичу ноздрю карандашом пропорол наскрозь!..

— Этот? Да, лютой, лютой был... Как-то сразу воспарение в нем делалось, на людей бросался... Вот Пономарев после него заступил — этот тихий был, как самая тихая вода. Уж не оскорбит, бывало, словом...

— Один был порочек за ним: казенных денег украл шестьдесят тыщ...

— Ну, обходительный был генерал, — с умилением сказал согнутый старик Бунтиш. — «Это, — говорит, — за что у тебя крестик, старичок?» — «За Польшу, ваще п-ство!» — «Ну, спасибо, — говорит, — молодчик!..» И... — голос старика дрогнул, — в маковку меня... поцеловал...

Каждый раз, вспоминая этот счастливейший момент своей жизни, проливал старик слезы умиления. Все уже привыкли к этому.

— Сроду меня ни один генерал не целовал, а этот поцеловал, — всхлипывающим голосом продолжал Бунтиш, утирая нос пальцами. — А мороз был... Продрог я, слова не выговорю, шапку уронил, из одного глаза слеза так рекой и катится. И не разглядел его, любушку, как следует...

— Нарочный скачет! — пробежали тревожно-радостные ребячьи голоса.

Бегом хлынула пестрая толпа к церковной ограде. И этот вид встревоженного бегства заразил вдруг всех забавно-бестолковой паникой. Громко шлепая сапогами, пробежал о. Иван из своего дома в церковь. Поспешно вывел школьников урядник Попов. Учитель Иван Алексеевич, в помятом синем мундире с облезшими пуговицами, бледный, с трясущеюся челюстью, догнал их, застегиваясь на ходу. Спешным маршем прошел почетный караул.

— Раз-раз-раз-раз... — хриплым голосом лаял Полуптахин.

Он весь был в движении. Руками, ногами, головой отсчитывал такт. Грозно впивался глазами в команду, по временам идя спиной вперед. Гигантскими прыжками, не сбиваясь с ноги, перескакивал с фланга на фланг. Шипел, делал страшное лицо, весь кипел и бурлил вдохновенным экстазом.

Вприпрыжку прошел озабоченный атаман. Стал он меньше ростом, подобрал живот, одутловатое лицо потеряло взыскательное выражение, обрезалось и озябло. Широкие, изумленные брови не внушали страха, и усы повисли смиренными сосульками.

Разместились полукругом перед церковными воротами. Вышел из церкви о. Иван с крестом — генерал хоть и иноверец, но было известно, что с большим вниманием относится к православным храмам. Ждали чинно, торжественно, в молчании. Поглядывали на колокольную, где добровольцы-сигнальщики должны были иметь наблюдение за окрестностью.

Прошли томительные минуты. Четверть часа, полчаса. Вздыхать стали, истомились. Пробежавший мимо пегий поросенок остановился, поводил пяточком в воздухе, видимо, озадаченный необычным скоплением двуногих. Ребятишки от скуки занялись им — ткнули. Поросенок испуганно ухнул, бросился вперед, под ноги духовенству и начальствующим лицам. На него затопали, закричали. Он храпел, метался, взвизгивал в сомкнувшемся круге топчущих ног. Ребятишки со смехом ловили его. Атаман голосом, полным отчаяния, кричал:

— Да вы дорогу ослобоните! Ослобоните ему дорогу! Назад отпужните его!..

Кто-то из проворных ребят поймал-таки за ногу пегого нарушителя порядка. Поросенок отчаянно забрыкался, завизжал, но под общий хохот торжественно был выволочен на простор, получил пинка ногой и усиленным галопом по-

несся прочь. С колокольни послышались крики: «Едут!» — и, когда снова разместились все в прежнем торжественном порядке, стихли, выравнялись, слышно стало, как подвигался издали, из-за левад и садов, тонкий, качающийся звон колокольчиков. Ближе, ближе... Растет, становится отчетливее, грубее — волнением наполняются сердца...

Вот из-за угла показывается тройка, другая, третья...

— Смирно! На кра-а-ул! — чуть слышная, заглушенная звоном, прпела команда Полуптахина.

Генерал, седенький, кособокий, вида маловнушительно-го, должно быть, пересидел ногу, долго топтался на месте, выйдя из экипажа, потом, прихрамывая, подошел к караулу. У атамана прыгала рука под козырьком и плясал подбородок, когда он, большой и толстый, рапортовал этому невзрачному, седому старикашке.

Генерал, не дослушав атамана, подошел к старикам. Старики сняли шапки и нестройным лаем ответили на приветствие. Что-то долго хрипел голос генерала — как ни напрягал слух дед Герасим, стоявший на фланге, ничего, к огорчению своему, не поймал из генеральских слов. Изредка, точно ковш с опрокинутым щепнем, разом просыпалось несколько голосов:

— Постараемся, ваше п-ство!..

Тогда и старик Герасим торопливо, вместе со своими соседями, подхватывал уверенно и убежденно:

— Постараемся, ваше п-ство!..

Потом к бабам обернулся генерал, семячек попросил у них — засмеялись бабы: веселый старичок, заигрывает...

Потом, точно спохватившись, засеменял генерал ногами по направлению к о. Ивану и усердно чмокнул не только крест, но и руку иерейскую, потную и волосатую. О. Иван откашлялся и хотел было приветствовать словом высокого посетителя, но он обернулся уже к школьникам и, грозя им пальцем, хрипел:

— Шапки снимайте перед стариками! Шапки!..

Затем сел в экипаж и уехал закусьвать.

Долго не расходился народ. Все чего-то ждали, как будто генерал привез ящик с дарами счастья, да так и не успел второпях его раскрыть...

— Похвалил все-таки!..

— Вполне доволен остался. «Ни в одной земле, — говорит, — нет такого милого вида среди подданных, как у нас. Мило даже посмотреть: казаки стоят при форме, в стройном ряду... А во Франции вы этого не увидите!..»

— Франция — страна хорошо обстроенная, а до нас не дойдет...

— Насчет смутьянов тоже... «Вы,— говорит,— их ловите и мне представляйте, а я уж сумею поступить... Этих, которые насчет земли»,— говорит...

— Земли?

— Да.

— Говорил?..

— Говорил.

— Посулил, что ль?

— Вроде как быдто... «Я,— говорит,— поступлю...»

Сергунька к ночи приехал с поля, усталый, мазанный. Когда вечеряли, дед Герасим долго и обстоятельно рассказывал про встречу генерала, уверял, что генерал всем остался доволен и пообещал господскую землю отобрать, отдать казакам. Никто из слушавших деда этому не верил, но было приятно думать, что когда-нибудь так и должно выйти: господская земля перейдет к казакам...

С этими приятными мыслями и спать легли.

Кто-то застучал щеколдой чуланной двери. Шлепая босыми ногами, вышла Ульяна и сонным, недружелюбным голосом спросила:

— Кто тут?

— Сергей дома ай на полях? — послышался за дверями знакомый голос полицейского Семеныча.

— Дома.

— Нехай скорей уберется — к генералу велено пред-  
ставить.

— К генералу-у?

— Ну, да, к генералу. Сей же секунд чтобы готов был!..

— А насчет чего?

— Там объяснят, чего... насчет протолмаций!

Сергунька вскочил. Сердце его застучало частыми ударами, похолодели и задрожали руки. Не сразу нашел спички — зажечь огня. Достал из сундука мундир, пахнувший юфтью, шаровары с лампасами, форменные сапоги.

— Эх, почернить бы надо сапоги-то!..

Он хотел сказать это шутливо-беззаботным тоном, а голос прозвучал зябко и незнакомо.

Никто из семьи не высказывал предположений, зачем генерал требует Сергуньку, но ни у кого не было сомнения, что не за добром. У всех камень лег на сердце. Дед зажег свечку перед образами, раскрыл псалтирь и стал читать «Живый в помощи»...

Долго стояли в темном коридоре купеческого дома Сер-

гунька и Семеныч. Семеныч докладывал атаману — велели обождать. Казак-вестовой раздувал уголья в самоваре и говорил завистливо-восхищенным голосом:

— Винцо там у них всякое, и красенькое, и шипучка... И водков этих разных, братец мой!..

— Небось и закусить есть чем? — почтительно пошутил Семеныч.

— Закуска?! Давеча казначей колбасу во-о какую принес... В руку толщины!..

За дверью слышалось смутное жужжание голосов. Иногда смех раскатывался — всегда начинал разбитый стариковский голос, громкий и трескучий, а за ним гулко катились другие, осторожные и почтительные. Когда открывалась дверь и проносили блюда с остатками кушаний, пустые бутылки — вместе с вкусным и соблазнительным запахом выбегал жужжащий говор, лязг ножей, звон стаканов. У порога видно было почтительно вытянувшуюся широкую фигуру атамана.

Один раз он на цыпочках вышел в чулан, погрозил пальцем Сергуньке, зашипел на Семеныча и на цыпочках же вернулся в переднюю.

— А то еще студень давеча проносили, ну сла-адкий, язык проглотишь! — рассказывал вестовой. — Настя дала мне ложку... ну и сла-адкий... слаже меду!.. Красный, как лампаса...

Опять открылась дверь, и испуганно-строгий голос атамана толкнул Сергуньку в сердце:

— Безпятов, войди!

Сергунька перешагнул порог и замер в заученной военной стойке: левая рука с фуражкой у груди, правая — у лампасы. Генерал закуривал папиросу в янтарном мундштуке, дряблые, морщинистые щеки его проворно втягивались и надувались, как мех старой гармоники.

— Этот? — коротко промычал генерал, выпустив заряд дыма.

Атаман, евший генерала преданно-выпученными глазами, залпом выговорил:

— Так точно, ваше п-ство!

Генерал окинул проническим взглядом фигуру и мазаное, молодое лицо Сергуньки, чуть запушенное белокурыми волосами. Должно быть, остался доволен осмотром — поэт был сложен стройно, молодцевато, — военным начальникам это всегда нравится.

— Станичный со-циа-лист! — прохрипел генерал раздельно и скривил рот, не улыбаясь.

Сергунька затаил дыхание и по-военному, неморгающим взглядом, сверху вниз смотрел в седую, раздвоенную бороду этого страшного и такого невидного старикашки.

— Служил? — отрывисто бросил генерал.

— Так точно, ваше п-ство!

— Где?

— В номере третьем Ермака Тимофеевича.

— Негодяй! — закипел вдруг генерал. — Пользуешься грамотой, этим драгоценным даром, для такого мерзкого дела!

Генерал схватил со стола растрепанную, жидкую книжку. Сергунька тотчас же узнал в ней *Военное красноречие*.

— Географию знаешь? — делая страшные глаза и багровея, закричал генерал.

— Никак нет, ваше п-ство.

— Про Якутскую область слышал? — еще выше взял ноту дребезжащий генеральский голос. — Нет? Так вот я тебя, мерзавца, туда лет на пять провожу — ты узнаешь! Станичный со-циа-лист!.. Да знаешь ли ты, что такое социалист?..

Сергунька молча глядел глупо вытаращенными глазами в лицо генерала.

— Отвечай!

— Не могу знать, ваше п-ство...

— М-малчать! Я из тебя эту пыль выбью!..

Генерал судорожным движением сжал в кулаке *Военное красноречие* и раза два сунул концом книжки в лицо станичнику-социалисту, который продолжал стоять в застывшей позе, навывтяжку. Сергунька слегка вздернул головой, как лошадь, которой рассерженный хозяин ткнул кнутовищем в челюсть, — и на одно мгновение увидел группу офицеров, стоявшую в дверях залы, а за ними широкие, свесившиеся с потолка зеленые лапы филодендрона. Не было видно атамана, но злорадную, торжествующую близость его Сергунька чувствовал горячей от стыда левой щекой, и хотелось крикнуть ему в отчаянии:

— Вор, верни украденное просо в общественный магазин!

— Станичный социалист!.. а?.. Грамотей!.. Чем бы заниматься военными играми, конскими ристалищами, чтобы японец опять не накусил нам морды, он — за книжку!.. Ах-х ты!..

«Вся радость моя и утешение мое — книги!» — кричал голос внутри Сергуньки, но испуганно безмолвен был язык.

Генерал, по-видимому, выпустил весь заряд гнева, оста-

новился и несколько мгновений грозным взглядом гипнотизировал Сергуньку. Потом крикнул:

— Пошел вон, с-скотина! Атаман, замкни его в холодную!..

---

Из станичной каталажки на другой день Сергунька слышал пьяные песни, крики «ура», тонот пляски на площади: генерала проводили благополучно, и с радости атаман поил вверенных его власти обывателей. Торжество было шумное, широкое, хвастливое. Подвыпившие старичишки льстили ликующему начальнику, клялись в верности, умиленно бормотали об его добродетелях, бранили врагов и смутьянов, которые за непочитание власти сидят за железной решеткой. В каталажку к Сергуньке приходили мать и Ульяна, обе выли, упрекали и, как о решенном деле, говорили, что угонят теперь Сергуньку в Сибирь за волшебные книги.

Мучительно долго тянулся день. Ночью светил в разбитое окно месяц, на черном полу лежали белые пятна, косой узор решетки расписал их причудливыми фигурами, и в усталую, униженную, жестоко оплеванную душу сошел покой, новые, неожиданно-радостные мысли явились вдруг, отодвинув жгучее ощущение стыда и позорной обиды: не он один, Сергей Безпятков, терпел за правду, за слово свободное, смелое, — и вот оно, счастье, счастье тернистое, скорбное и возвышенное, гордое счастье борцов без надежды на близкую победу... Их длинный, величавый ряд теряется в тумане веков. Нет доблестней армии и нет почетнее! И вот, в ее рядах последних, в арьергарде, идет теперь и он, Сергей Безпятков, безвестный, маленький и темный обыватель неведомого, глухого уголка земли родной... Это ли не счастье, это ли не радость, широкая, многозвучная, в груди, переполненной занимающейся песней?..

Окно с решеткою и дверь замкнутая...

Свети, луна!..

В темницу брошен я... Но песней гордою

Душа полна!..



## БЕЗ ОГНЯ

Пароход идет и час и другой, а все еще виден город, живописно беспорядочный и пестрый, с старинными башнями и заводскими трубами, с церквами и мечетями, все еще чувствуется причудливая смесь его азиатской старины и гигантских сооружений современной техники, обомшелого кирпича и трамваев, босяцкой нищеты, нелепой миллионной роскоши, мрачных заводских корпусов и мягкой красоты заволжских далей...

Вот он закутался синей дымкой дали и стал похож на этикетку, оттиснутую мутной краской на серебристой лазури горизонта. А какие-то юные экскурсанты в фуражках с зелеными околышами все еще шумно снуют по балкону с своими фотографическими аппаратами, и не остывает пестрое, шумное, праздничное оживление, которое неизменно приливает на пароход на каждой большой пристани вместе с новыми торопливыми впечатлениями и новыми лицами.

Внизу, на корме, выступили какие-то певцы:

Ты не езд, милый, к Яру...

Голоса хриплые, с трещинами, жалкие, скорбные. Тщетно стараются они изобразить лихой разгул и удаль — одна горечь тяжелого похмелья выразительно звучит в их песне. И припухшие лица артистов — их четверо — того кирпично-малинового цвета с глянцем, который так свойствен запойным людям, с тоской и унынием смотрят перед собой остеклевшим, неподвижным взглядом.

Но их слушают. Вверху, на балконе, стоит толпа сытая, чистая, холеная, нарядная, обрызганная духами, улыбающаяся небрежно и снисходительно. Внизу сгрудилась толпа серая, тощая, бесшапая и лапотная или вовсе босоногая, обожженная солнцем и ветром. По открытым ртам, по восхищенным глазам, ушедшим в морщинки, по застывшим позам видно, что вся она охвачена трепетным вниманием, радостно изумлена и словно преображена волшебным дуновением искусства...



— Физиономии-то, физиономии!.. — говорит возле меня молодой господин в панаме и темно-коричневой паре.

Ардатовский землевладелец Иван Парменыч, с которым я вчера познакомился, толстяк в немецком картузе, громко пыхтя и с усилием выталкивая из себя слова, говорит:

— Да... вот этот... кумачная рубаха-то... картуз набекрень... видать, выпить не любит...

— Не любит! Так у него тоска и написана на лице...

— И вон тому... в венгерке-то... тоже в темном углу не попадайся!..

Кончили певцы. Красная рубаха сдергивает картуз с головы и, галантно изогнув корпус, смотрит вверх, на балкон, где стоят нарядные, небрежно любопытствующие люди, оставляя без внимания тощую и смирную, тесно сгрудившуюся толпу около себя.

Летят вниз медяки — сперва дружно, потом с паузами. Обрываются. А картуз все еще реет в воздухе, ждет.

— Подкидывайте, господа! Не стесняйтесь! — хриплым голосом говорит уныло-серьезный человек в красной рубахе. — В своем кармане не стесняйтесь! Хоша и не спешите... по очереди!..

Кто-то кинул еще две медных монетки. И снова пауза, долгая, безнадежная. Красная рубаха горько вздыхает, перекладывая медяки из картуза в карман, и говорит с усмешкой невеселого торжества:

— Ну вот... денежки были ваши, а теперь наши... До свидания, господа! Дай бог вам здоровья, а нам не хворать!.. Адю!

Уходят артисты. Тает толпа, растекается по балкону. Шуршат шаги, лениво пересыпается говор, звенит смех. Звонким плеском взмывает резво-веселый визг детей. Нарядные, как куколки, девочки с голыми коленками мчатся вперегонку по палубе, натываясь на лакеев с посудой, на Ивана Парменыча, на витрину с книгами, которую бойкий торговец поместил как раз на повороте в корме. И частый стук детских ножек долго стоит в зыбком шорохе мерных шагов...

— Поддержите коммерцию, господа... Виды Волги... — предлагает торговец, молодой парень смышлеными серыми глазами.

Я выбираю несколько карточек. Останавливается и господин в панаме.

— Что у вас есть хорошенького из книг? — спрашивает он.

— Пожалуйста-с! — бойким тоном говорит книготор-

говец. — Вот, ежели веселого чтения, то — «Белый салон», веселый еженедельник... «Первая вспышка» — занятная тоже вещь...

— Нет, вы мне что-нибудь такое... чтобы не то что прочел и бросил, а этакое... стоящее...

— Ежели посерьезней, то вот... «Пол и Характер»... Много берут...

Господин в панаме внимательно осматривает внушительных размеров книгу в странной обложке, переворачивает несколько листов, прочитывая по строке, смотрит на корешок, на число страниц. Лицо у него смуглое, с жидкими усами, сухое, слегка скуластое, красивое. Небольшие черные глаза, деловитые и строгие, как будто хотят сказать: «Нас не проведешь!» И книгу осматривает он с тем пристальным вниманием и подробностями, с которыми привык осматривать лошадь, — я уже узнаю, что он торгует скотом.

— Сколько же вам за нее?

— А там цена есть, — чрезвычайно любезным тоном отвечает торговец, — на корешке-с... Два с полтиной... Десять процентов уступки сделаю — два с четвертаком...

— А полтинничек если?

— Что вы! За такую-то книгу!..

— Ну, сколько же окончательно?

— Ну извольте — два рубля!

— Два не дам.

— Сколько же дадите? Хотя мы и крестьяне-рабочие, но нашему брату тоже ведь пить-есть надо...

— Я сам не из графов, не думайте, — спокойно говорит господин в панаме. — Тоже крестьянин, занимаюсь скотом. И читать-то стал вот... не очень давно... Желание-то есть, даже большая охота к чтению, а что читать, и сам не знаешь... А все-таки без чтения теперь уж не могу... Все-таки окончательная цена?..

Они торгуются долго и упорно, несколько раз расходятся, потом снова сходятся. Наконец решают вопрос на рубле десяти копейках. Крестьянин в панаме и высокие воротничках, видимо, знает цену копейке, и даже пристрастие к книге не может побороть в нем этой трезвой мужицкой черты.

Жарко. Если солнце захватит колени или руки, зной впивается в тело, охватывает его непобедимой ленью, истомой, дремотой. Тяжелеют веки, глаза слипаются... И, словно во сне, идут навстречу пароходы с баржами и пароходы без барж, блестящие, чистые, сверкающие зеркальными стеклами и новой краской. От барж, грузных, икряных, лениво вздыхающих боками, пахнет смолой и рогожами.

Лениво плещут их выцветшие флаги. Стройные мачты взмывают в голубое знойное небо и рисуют на нем тонкое, четкое кружево из своих канатов и веревок. На палубах пароходов — цветная, пестрая, издали всегда нарядная толпа, к которой невольно тянешься сердцем: кажется, что там должно быть какое-то особое, милое довольство, веселье, беззаботность, что приветливо машут оттуда люди ласковые, юные, красивые, интересные... зовут к себе, ждут...

И бегут мимо зеленые, красно-глинистые берега великой русской реки, уютные, веселые в знойном блеске летнего дня. Кривыми ленточками всползают хлеба на холмы, серебристая зыбь бежит по ржи переливчатыми пятнами, зеленые тени плывут по яровому. Маленькие ветряные мельницы смешно растопырили крылья... Все мягко, излучисто, расплывчато и кротко, как милая славянская душа...

---

Иван Парменыч, кряхтя и громко дыша, наливает пиво в стаканы. С ним за столиком сидит молодой человек в панаме, держа на коленях книгу «Пол и Характер».

— Я ведь и сам из мужиков, — неторопливо и грузно говорит Иван Парменыч, — однако вот, слава тебе Господи, выбился наверх и детей всех по ученой части пустил. Богу душу отдавал, а детям сердце — всех до дела довел...

— Очень похвально, — говорит его собеседник чуть-чуть насмешливо.

— Пожалуйте!..

Иван Парменыч, раскрывая пухлую ладонь, указывает на налитые стаканы.

— Нет, не могу. Я бутылку выпил.

— Ну... по одной?..

— Нет, ей-богу не могу.

— Ну... сколько угодно...

— Выпил уже... Нет... благодарю...

Иван Парменыч тяжело встает со стула, приподымает картуз и обращается ко мне — я сижу с газетой на соседнем диванчике:

— А вам не будет угодно?

— Благодарю вас, Иван Парменыч, пива я не пью.

— Не уважаете?

— Нет.

— Ну, разделить время с нами... за разговорцем?..

— Это с удовольствием.

Я знакомлюсь с молодым человеком в панаме — фамилии его, впрочем, не расслышал. Спрашиваю, как ему нравится

приобретенная им книга «Пол и Характер». Он смотрит на нее несколько кислым взглядом и с неохотой говорит:

— Теперь на заглавиях буквы какие пошли: загнет с вывертом... в магометанском вкусе...

И, помолчав, прибавил:

— В этой книге, так думаю, несколько разных смыслов... Но я пока лишь шесть страниц осилил... Вот с ними,— он наклонил голову в сторону Ивана Парменыча,— заговорили о текущем моменте, и, значит, чтение пришлось прекратить...

Иван Парменыч поддакнул и грузно вздохнул.

— Да, наша жизнь только до одной смерти,— пояснил он.— У меня сосед был по имению — купец Крутилов... Наживал-наживал — убили!.. Говорил я ему: будет, Василий Степанович, ты уж в еврея обратился — все деньги, да деньги. «Хочу,— говорит,— жар-птицу за хвост поймать...» Ан вон и поймал: родной сын застрелил..

Иван Парменыч громко дышит и круглыми черными выпученными глазами смотрит на голубой затон, над которым в узком ущелье, среди красных яров, прилепилось сельцо с белой церковкой, с игрушечными домиками в зелени, такое ласковое, кроткой дремотой обвеянное...

— А как вы о текущем моменте мыслите, Иван Парменыч?

Он лениво поворачивает ко мне голову и смотрит на меня с некоторым недоумением.

— Да я нынче еще не читал газетку...— нерешительно отвечает он.

— Нет, без газетки... вообще...

— А, вообще... Меня, вообще, политика не интересуется... Все: Столыпин-Столыпин, Коковцев-Коковцев... А шут с ними! Столыпин был хрен хорош, Коковцев — тоже не сахар... Хорошо бы, ежели бы мягкосердечного человека назначили. Каждый бы относился к своим обязанностям... а тем более к мелкому люду, чтобы лучше было...

Мне показалось, что молодой человек в панаме иронически усмехнулся. И, может быть, именно поэтому Иван Парменыч повернул голову в его сторону и убеждающим голосом прибавил:

— Да ей-богу!.. Я держусь прямолинейной точки...

Громко поскребывая каблучками расшитых туфелек, подходят и на минутку задерживаются около нас две барышни — одна черная, длинная, неуклюжая, с великолепной косой, другая — тоненькая, хрупкая блондинка. Они едут с нами второй день и немножко знакомы.

— Ужасная скука! — говорит высокая брюнетка, морща свой длинный, угреватый нос.

— Далеко ли изволите, барышни? — приподымая картуз, галантно спрашивает Иван Парменыч.

— Мы катались... До Нижнего и обратно... — отвечает блондинка, с кокетливой, томной грустью склоняя завитую головку на бок. — Страшная скука!.. Сговариваемся о самоубийстве...

— Я не согласен, что вы хотите самоубиваться! — весело возражает Иван Парменыч, подбираясь и молодея от близости барышень. — Как это можно! вид какой!.. воздух какой!..

Иван Парменыч пухлыми ладонями сделал широкий жест.

— Вон селение... вон хлебушко растет... деревья всякие... и фруктовые и всякие... агромаднейшие деревья... А вы, например, скучаете...

— Что же делать... — смеются барышни. — Мужчины все — как разваренные раки... Вот один интересный мужчина, — понижая голос, говорит блондинка, когда мимо нас проходит молодой священник, — да и тот в епитрахили... а все-таки мы с ним познакоимся!..

И, поскребывая каблучками туфель, они устремляются вперед, вслед за интересным иереем, смеясь и подталкивая друг дружку. Батюшка одиноко ходил по балкону, высокий, степенный и очень серьезный, что немножко и не шло к его молодому лицу с квадратной бородкой и живыми черными глазами. Подрясник из чесучи ловко охватывал его стройную фигуру, и невольно приходило в голову, почему на нем подрясник, а не военный китель. И держался он как-то особенно молодцевато, прямо, поглаживая усы и выпячивая грудь, на которой около правого плеча висел маленький серебряный крестик — кандидатский.

Мы некоторое время безмолствуем, забыв вопрос о текущем моменте, следим глазами за чайками, провожающими наш пароход, — на зыбком зеркале реки колышутся их легкие тени. С форсистым фырканием проходит мимо буксир. Белое золото солнечных лучей сверкает в его стеклах.

— «Крестьянин-собственник», — читает вслух Иван Парменыч и тяжело отдувается.

— Все это очень печально, — строгим тоном говорит наш собеседник в панаме. — Собственник, а вся жизнь его наполнена одним прискорбием и печалью...

Иван Парменыч стал возражать, и мы все трое вовлеклись в спор о деревне. Иван Парменыч не был сторонником

ни общины, ни отрубков, он просто жаловался на мужика: трудно жить с ним нынче.

— Вы говорите: рабская жизнь, дисциплинарная, — возражал он крестьянину в панаме, — но против этого я вам расскажу следующий верный факт... В прошлом году в августе месяце у меня сожгли тысячи на две хлеба... И кто сжег? Не думайте, чтобы мужики настоящие — я с ними в добром согласии живу, и даже в пятом году меня никто не тронул... А сжег, извольте видеть, мальчишка... годов этак десяти... пастушонок... Вы говорите: дисциплинарная жизнь... Пастушонок этот самый забрался ко мне на Ильин день в сад и сливы оборвал. Ну, сторож захватил его и хворостиной высек. И высек-то не очень, чтобы... обыкновенное дело... «Ну, — говорит, — помни!» Это мальчишка-то... сторожу-то... Ну мало ли... охота была помнить!.. Только 9-го августа, еще засветло, только солнце село, — смотрим: дым на гумне... Извольте радоваться... поджог!.. Две скирды так и слизало, как будто их и не было... Стали думать, гадать: кто поджег? Мужики — ничего, заливать помогали, старались... Рабочие — тоже ничего, трезвый народ... «На кого имеете подозрение?» — урядник спрашивает. «Ни на кого не имею». Вот тут сторож-то и расскажи про Ефремку, про пастушка-то этого: уж не он ли, мол? Разыскали Ефремку, стали спрашивать: ты, мол? Сперва уперся, а потом урядник-то его, верно, щелкнул раз — другой — сознался: «я» — говорит... Вот она — дисциплинарная-то жизнь!

Иван Парменыч снял картуз и клетчатым платком отер коротко остриженную голову.

— Вот что вы тут будете делать? — тяжело пыхтя, проstonал он. — Был суд... 5-го декабря... На суде и заператься не стал: «Поджег я», — говорит. Ну что с ним? Отдать матери на поруки. «Ты смотри, мол, за ним, наблюдай». — «А что я с ним поделаю? Мужики-то и то с ним кричат: у всей деревни окна повыбил». Оттрепать — подожжет или с скотиной чего наработает... Убить — кому под ответ попасть охота?.. Вот и растет такой сорванец... Да и не один, а их десятки в каждой деревне-то, в дисциплинарной-то в вашей...

— Но почему это, Иван Парменыч? Как вы это объясняете? — спрашиваю я.

— Воля.

— Это старо! — возражает собеседник в панаме. — Темнота, гниение жизни — вот... Необходимо влить хоть каплю силы сознания — оздоровеет жизнь трудящихся...

— Это — не в ту оперу, — машет рукой Иван Парменыч. — Десятилетний мальчишка — какую в него вольешь каплю?

А в том главная причина, что Бога совсем истребили, то есть религию. Деревня теперь уж ни в чох, ни в мох, ни в птичий грай не верует. Я опять про этого пастушка — мать его мне сама рассказывала... Едут они с суда, а он в вагоне вздумал песни играть, сидит — потанакывает... Мать ему: «Что ты! завтра праздник какой — Микола, а ты — песни!..» У них это за большой грех считалось под праздник! «Чай, с радости-то и под праздник можно...» Вот видите!..

Собеседник наш в панаме посмотрел на меня и рассмеялся. Рассмеялись и мы с Иваном Парменычем. Молодой иерей остановился неподалеку, постоял спиной к нам, глядя на берег, по гребню которого игрушечная темная лошадка шагом тащила игрушечную телегу, в телеге, спустив ноги, сидел мужик, а рядом сзади, у колеса, шла баба... Поглядел батюшка и сел рядом со мной на диван.

— Через то, собственно, это и озорство пошло, — шумно отдуваясь и держась за живот руками, сказал Иван Парменыч, — что веру окончательно забыли, в церкву — никак... И тут никакая строгость теперь не поправит дела. Никто ничему не верует окончательно!..

— А вы сами-то веруете? — спросил, улыбаясь, крестьянин в панаме.

Иван Парменыч поскреб свою подстриженную бороду, черную с серебряными нитями, и коротко, сконфуженно рассмеялся.

— Веровать-то хоть верую, но, по правде сказать, за суетой тоже некогда о Боге подумать... Но, понятное дело, верую...

— Во что?

— Да в Бога-то...

— В какого?

— Как в какого? — Иван Парменыч своими круглыми, выпученными глазами с изумлением поглядел на придиричивого собеседника. — Во единого Бога отца, творца неба и земли... в трех лицах... в Троицу единосущую и нераздельную...

Он оглянулся в мою сторону. Священник, сидевший рядом со мной, одобрительно качнул головой. Но собеседник наш в панаме не хотел уняться.

— Ну, а в жизни-то как отражается это ваше вероучение? — стукнув пальцами по книге, спросил он. — В поступках-то ваших?

Иван Парменыч посмотрел на белые гребни, разбегающиеся от парохода, и словно бы прислушался к их ропчущему шелесту.

— То-то, что вот некогда, — сказал он виноватым тоном, — суета сует. Смолоду и вовсе — был коммерсант и женолюбец... Как говорится, на двенадцать баб кашу варил и всем угодил...

Он смущенно поскреб бороду и смолк. Священник, сидевший рядом со мной, наклонился вперед, упираясь локтями в колени, и мягко, несмело заговорил:

— Очень интересный вопрос, господа... Среди светских людей редко приходится слышать...

— Мы, собственно, насчет деревни, батюшка, — как бы извиняясь, сказал Иван Парменыч.

— И насчет деревни интересно. Я ваше мнение слышал и всецело к нему присоединяюсь... А вот их, — священник поклонился в сторону нашего собеседника в панаме, — мне любопытно бы насчет веры послушать...

— Что именно? — сухо спросил крестьянин в панаме.

— Ну, например, вы лично — верующий или нет?

Наш молодой собеседник не сразу ответил. Он кинул на перья быстрый, проверяющий взгляд и тотчас же опустил глаза, задумался на одно мгновение.

— Не знаю, видите ли, — сказал он серьезно и искренне. — Был верующим в обычном смысле, но сейчас чувствую, что там, где была вера, — пустое место... То есть не то, что пустое, — поправился он. — Вера есть, но какая — и сам еще не разберу... Во всяком случае, не ваша... то есть не церковная.

Иван Парменыч сожалительно крикнул и налил пива.

— Какая же именно ваша вера? — спросил священник и тотчас же тоном извинения прибавил: — Вы не обидьтесь на мою назойливость — я ведь интересуюсь вообще... И позвольте, господа, познакомиться: Михаил Кратиров...

Мы назвали себя. Тут только я расслышал фамилию нашего собеседника в панаме: Мещеряков.

— По-моему, — медленно и вдумчиво отвечал он на вопрос о вере, охватывая сцепленными пальцами левое колено и глядя на широкую полосу золотой зыби, в которой дрожало солнце, — принцип религиозного учения есть жизнь человеческая на земле... ровная и свободная во всем и всем... как в теле, так и в душе, высшим классам и низшим, мужчинам и женщинам...

— Это что-то социалистическое, — огорченным тоном заметил священник, перебирая пальцами свою бороду.

— Что такое — социалистическое? — горячо возразил Мещеряков. — Какая там еще фраза — социализм? Я понимаю в цельном... по-человечески!..

Это было не вполне понятно, но, когда он обеими руками



постукал себя в грудь, показалось убедительно. Успокаиваясь, он прибавил:

— Все это из евангельского религиозного учения... Только название изобретено последним словом науки.

— Ну, Евангиль-то мы читали, — ласково подмигивая, возразил благодущный Иван Парменыч. — Там про это нет...

— Я тоже — извините — сомневаюсь, чтобы вы это непосредственно из Евангелия почерпнули, — мягко сказал священник, — но Евангелию это не противоречит...

— Пусть не прямо из Евангелия! — воскликнул Мещеряков. — Хотя Евангелие я читал все-таки... Пусть я взял из книг. Но не все ли это равно? Какие книги!.. Через них я и подошел к Библии... Что новая книга, то новая мысль... Новые мысли дали знание и совершенно расширили основы моей веры... Старая моя вера растаяла, яко воск от лица огня... И думаю, что она была искусственным зданием... не более...

— Так, так... — глядя в пол, с снисходительной улыбкой говорил священник, и Иван Парменыч, кажется, уже чувствовал некоторое смущение от этих коротеньких, но знаменательных словечек, звучавших тоном уверенного превосходства. Он скреб бороду, беспокойно гладил свой голый затылок и, встречаясь со мной глазами, с приятельской усмешкой подмигивал в сторону Мещерякова.

Я ждал, что сейчас закипит спор о вере. Но о. Михаил оглянулся по балкону вправо и влево и встал.

— Любопытно было бы, господа, и еще поговорить, — сказал он, — но сейчас должен уйти...

Он опять оглянулся и прибавил:

— Контроль идет, а у меня — видите ли — билет четвертого класса... Хотя агент по знакомству и разрешил ехать во втором — лишь каюты, мол, определенной не будет, — однако перед контролем все как-то неловко... При моем сане изволь объясняться... Посторонние люди тут... стеснительно... Сойду лучше вниз пока... Надеюсь, мы еще поговорим.

Он приподнял свою шляпу из черной соломки и пошел от нас своей степенной, неторопливой, чисто перейской походкой.

---

Иван Парменыч окончательно налил пивом, извинился и ушел спать в каюту. Мещеряков присоединился к нашим знакомым скучающим барышням. В разговоре с ними он был, кажется, еще более витиеват и серьезен до сурово-

сти — один раз, по крайней мере, когда они проходили мимо меня, донесся до меня отрывок его поучающей речи:

— Нет той порядочной женщины, которая бы не желала иметь детей... Это — человеческая инициатива и интерес жизни...

При этом он пальцем твердо стучал в книгу «Пол и Характер», с которой так и не расставался все время.

Снова появился на балконе и о. Михаил Кратиров. Он степенным шагом обошел кругом раза два, потом сел на скамейку рядом со мной и спросил:

— А этот молодой человек в панаме — ваш знакомый — он из каких будет?

— Крестьянин. Торгует скотом.

— Вот как! — о. Михаил поднял брови и задумался. — Крестьянин?.. А модные воротнички... панамы... книжные слова...

Усмехнулся и побарабанил пальцем по скамье. Вблизи он был менее эффектен, чем на расстоянии. Лицо у него было широкое, с плебейской грязновато-смуглой кожей, с расплывчатым носом и резко очерченными скулами. Но приятное, простое, без елейности и сугубого благочестия.

— А мыслишка в нем работает, — сказал о. Михаил после долгой паузы. — Конечно, верхов нахватался, но все-таки думал — это похвально. Равнодушие хуже. А у нас теперь кругом полнейшее равнодушие к вере... нигилизм... И в народе. Не говорю уж об интеллигенции, сплошь атеистической...

Я попробовал возразить ссылкой на богоискателей и неохристиан. О. Михаил махнул рукой.

— Не искания, а блуждания... Блуждания и ложь, притворство. Ничего жизнеспособного. Много ли их, этих ваших неохристиан? — сказал он грубоватым, почти враждебным тоном.

— Право, не знаю.

— Вы сами-то... вот вы — интеллигент... вы к какому толку принадлежите? богоискатель? боготворец? богоборец? или как?..

Он кидал свои вопросы несколько резко, торопливо, отрывисто, глядя на меня строгим, допрашивающим взглядом, и я даже испугался: уж не готовится ли он обличать в моем лице весь интеллигентский атеизм?.. А было жарко. Непобедимая лень сковывала не только тело, но и мысли, и ни малой охоты не было вступать в спор — да еще с иереем — по вопросам верования.

— Извините, батюшка... на все ваши вопросы отвечу, может быть, легкомысленно: не знаю...

— Нет, это лукаво — извините меня, — а не легкомысленно...

— Ей-Богу, не лукавлю. Какая у меня вера, по чистой совести — не знаю. Бог ли создал человека или человек Бога — не знаю... И, к стыду моему, даже равнодушен к этому вопросу...

— Но как же жить без веры? — воскликнул он с сожалением.

— Вероятно, в нечто верую, раз — живу...

— Гм...

В его усмешке прозвучала нескрываемая ирония.

— А вон того мужичка в панаме... в высоких воротничках... его вера как вам нравится?

— Я не очень понял. Но думаю, что для меня она более приемлема, чем церковная: блага живых для меня паче благ умерших...

— Так, так...

Мой собеседник вздохнул. Мне стало казаться, что мои ответы огорчили его. Хотелось переменить разговор, но я не мог найти подходящей темы. И мы молча сидели и смотрели на Волгу, уходящую в голубую даль позади нас, сверкающую стальным отливом, чуть шевелившуюся ленивыми длинными валами, которые подымал пароход, — далеко позади они докатывались до берега, и было видно, как белой гривкой взмывали они и разбивались по белому песку. Качался опрокинутый в воде серо-зеленый берег с жемчужным песком и белой колокольней, дробилось небо с круглыми облачками, кланялись пестро раскрашенные бакены... И зной висел над рекой и берегом, дремотная тишина и лень...

— Для меня, видите ли, эти вопросы о вере, — заговорил снова о. Михаил — медленно и раздумчиво, примирительным, дружественным тоном, — то есть об упадке ее и о возможном поднятии — очень не безразличны... Я вот только что с академической скамьи. Сейчас назначен настоятелем собора в Я... Вот еду. Еду и думаю: что же я буду там делать? Помимо, конечно, обычных обязанностей?... Ведь — город, культура... В лучшем случае — найду десятка два внешне богомольных людей, и из них, наверное, более половины прохвостов, лицемеров, фарисеев... тупых, жестоких, нечестных людей... Остальные прихожане — равнодушные или отрицатели... К горькому нашему сожалению, из них, из отрицателей, чаще всего и бывает в личной жизни как раз настоящие христиане... беззлобные, честные, самоот-

верженные люди... Как мне воссоединить их с церковью? возможно ли?..

Он глядел на меня робко ожидающим взглядом, и в этом взгляде чувствовалась молодая, подкупающая искренность. А я глядел на него с некоторым удивлением — были неожиданны для меня эти вопросы, и никогда не приходилось слышать их из иерейских уст — и был в большом затруднении, что ответить на них, чтобы не огорчить собеседника.

— Не знаю, о. Михаил, возможно ли..

— Ну, вы по себе как чувствуете: возможно или нет? Конечно, в главном, в сути самой: возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы?..

— Вот в единомыслии-то и сомневаюсь. Представим себе, что вы по вопросу, например, о смертной казни возымали бы единомыслие с нами, отрицателями, — ведь вас извергли бы из лона церкви?.. Да и по менее острым вопросам — вот если бы вы явно вознегодовали на роль церкви в нынешней политике — где бы очутились? А молчать — значит мириться с беспримерным падением..

Он отклонился на спинку скамьи, помолчал и сказал:

— Признаться, я до политики не охотник... А что касается роли — я согласен: нехорошо... Но падения тут нет, — лежа в прахе, некуда падать... Что тут нового? что тут нынешнего? — резко поворачиваясь ко мне, воскликнул он. — Всегда это раболепство и трусость — всегда это было!.. Но в том разница, что никогда не было такого ужасающе спокойного, молчаливого отпадения от церкви, как ныне... Точно дух жизни совершенно угас в церкви. Повторяю: не одна интеллигенция ушла, — народ ушел... надо в этом сознаться, — я ведь был сельским священником два года...

Он встал, сделал несколько коротких взволнованных шагов и опять вернулся на скамью.

— А что касается позорной служительной роли духовных пастырей, то когда же ее не было? Не говорю о тунейдстве среди нашей ужасающей нищеты народной... Трусость и раболепство и всяческое потворство сильным — это уходит, как говорится, в даль веков... Вы возьмите элементарный учебник истории... Ну, хоть с Ивана Грозного или с его родителя Василия III. Потребовалось Василию упрятать законнейшую супругу свою Соломонию в монастырь и сочетаться браком с другой — архипастыри с готовностью все устроили... А кто благословлял многочисленные браки Грозного царя? Собор церкви российской, православной... Теперь вот о патриаршестве все толкуют. Думают что-то поднять, возвеличить. Загляните в историю. Первый патриарх рос-

сийской церкви так позорно и низко вел себя, что москвичи — благочестивые москвичи! — били его в Успенском соборе, таскали по полу, бесчестили у лобного места... И кто? благочестивые московские люди!.. да еще в те времена, когда о нигилистах ни слуху ни духу не было... В смысле низкопоклонства перед властью, отсутствия мужества наша церковь явила все, что можно явить, — как в древнейшие времена, так и ныне. О каком-то обер-прокуроре — не помню — писали, что он «сонмом архиерейским, как эскадроном на ученьи, командовал»... Если и были случаи, что возвышали отдельные лица голос на защиту правды или на обличение, то ведь это такие одинокие голоса, что и упоминать-то о них неловко... И всех-то их сама же церковь предавала и осуждала... И рабство защищала библейскими текстами — о митрополите Филарете вы же знаете... Ну, о смертной казни я уж не говорю... А заведомая ложь о япсских миллионах... Даже такой человек святой жизни, как о. Иоанн Кронштадтский, — и тот не устоял против этого греха... А что касается любви, внимания к малым сим, труждающимся и обремененным, то вот пример: во время войны поднялись голоса о том, чтобы монастыри с своими капиталами пришли на помощь раненым и страждущим... Так вот тогдашний ученый архимандрит Троицкой лавры, нынешний вологодский епископ Никон как ведь убедительно доказал, что монастыри не обязаны это делать!..

Он рубнул ладонью по колену и рассмеялся.

— Нет, как хотите, а уронить себя ниже невозможно!.. Ну, допустим, будут еще более яркие примеры забвения совести... Но они уже не сделают больше, чем сделано, — падать ниже некуда... И все-таки церковь еще церковь!.. — убеждающим, почти умоляющим голосом воскликнул он. — Единое, что может приютить мятущийся дух, соединить и примирить всех... утешать язвы... Как вы засидели ее ремесленники церковного цеха, а в ней одной — святое зерно, и дух жизни, дух единой истины в ней не угаснет!.. Я это на улицах и площадях буду кричать!..

Он в волнении опять встал с места и глядел на меня боевым, вызывающим взглядом. Я не утерпел, возразил:

— А все-таки народ-то — сами говорите — уходит от церкви...

— Да, народ уходит... — с глухой грустью согласился он. — Время такое... кружение, сдвиги... Чего и не ждешь, не гадаешь, а глядь — вот оно... есть!.. Я вот, например, не политик. Темперамент у меня, по совести сказать, совсем не боевой, мирный, больше склонен к мечтательности. И

семинаристом я больше в сторону пения и музыки отвлекался. На этой именно почве и теперешнюю жену свою зазнал: она — дочь соборного регента, очень музыкальная. В годы нашей студенческой нужды это нам пригодилось: она была тапершей в кинематографе... Что поделаешь... попадашь и — играла по вечерам в кинематографе... Ну, это к слову. А вот: не политик я, а выходило все как-то так, что политика то в ту сторону шибнет, то в другую... Значит, время... Между прочим, если бы не политика, я, может быть, и в академии бы не побывал... Давайте пройдемся немножко?

Мы встали и пошли по балкону.

— Священствовал я всего два года, — заложив руки за спину, говорил о. Михаил, — а года как раз такие: война, революция, от политики уж некуда деться... Раз пожар занялся, как же не будешь думать о пожаре? А тут весь воздух, можно сказать, горел... обида и боль, — сами знаете... Смотрели сперва на город, на горе стоящий, мы в церквах перстом указывали: вот, мол, где ваше упование... А там оказалось на поверку — ничтожество и гниль... один шкурный интерес и ни капли мужества или величия души... Тут-то вот даже наш брат, по своему сану и положению призванный быть подпорой устоев, зашатался... забыл страх, начало всякой премудрости... Не я один — даже ветхие деньми иереи возглаголали тоном бунтарским... А мужички — народ сержый — слушают да на ус мстают... Ну, манифест этот как раз тут... Так я ему, признаться, обрадовался, так ухватился за него. «Слава тебе Господи! — думаю. — Наконец-то заря занялась, день идет...» И начал я этот самый манифест разжевывать в церкви мужичкам, таких подпустил, знаете, мыслей крамольных, что — сказать без преувеличения — стены этой старенькой церковки никогда раньше не слышали и впредь не услышат ничего подобного!.. Упивался я тогда не только собственным красноречием, но и мечтами и надеждами: вот, мол, когда единым сердцем и единомыслием заживем и все язвы уврачуем!..

Однако скоро пришлось остыть. Подошла, как известно, новая полоса: повернули назад, стали добираться и до нашего брата, в числе прочих... Признаться, к тому времени и мои восторги поуывали. Деревня как-то вдруг, — мне кажется, в каких-нибудь три-четыре месяца, — не то, чтобы преобразилась, а вошло в нее, действительно, нечто новое... вот как иногда, бывало, входит новая песня — солдат или какой-нибудь разбитной парень принесет из города, и все переймут, и станет она до тошноты, до неотвязности модной... Вот и тут. Я-то ждал прозрения, тесного союза, любви, трезвости, здра-

вого сознания, пробуждения энергии... Прозрение-то как будто и явилось, но вместо единения и союза — злоба и междоусобица... И первое всего деревня толкнула именно меня и — порядочно... Кажись, я весь, душой и сердцем, был за нее... эти самые свободы объяснял и все прочее... И как слушали!... Я-то думал, что уж шире того, что я открывал, и открыть нельзя, ан нет... проникли в деревню и другие речи... И новые-то разъяснители заварили кашку много погуще: насчет земельки, равнения и господ. Конечно, мужички поняли и усвоили это моментально!.. И первым долгом припли ко мне и объявили, что за ругу будут платить мне не двести, а сто. А у нас условие было сделано при моем поступлении такое: я ругу собирать не буду — тяжелая-таки это штука! — а приход в возмещение платит мне двести рублей. Приход у меня был, как бы сказать, средний. Ну, рублей семьсот-восемьсот вместе с этими двумя сотнями доставалось мне. Не бог весть сколько, но жить можно было. Детей нам Бог не дал, и сейчас нет. Обходились... даже немножко совестно было среди деревенской-то нужды и каторжной работы — какая моя работа? Службы редкие, по праздникам, учительство малое и безответственное. И за это — семьсот, цифра изрядная... И вот, значит, приходят мужики и объявляют: сто, мол, рублей довольно с тебя... ты, мол, служитель алтаря, бессребреником должен быть...

О. Михаил тихо усмехнулся. Задумался немножко, — видно, вспоминая что-то. Шагов с десяток мы прошли молча, нога в ногу.

— Конечно, обидно... — продолжал он. — И сто рублей для меня — деньги. Были у нас с попадьей планы прикоптить немножко да поехать поучиться. Детей не было, приспособить себя к чему-нибудь интересному, содержательному — не к чему. Вот и мечтали: поедем, мол, оба учиться, я — в университет, она — на курсы. А тут вот, так сказать, скурприз... Но не в деньгах, конечно, дело — амбиция задета... Я же за них столько распинался, сердцем болел, разъяснял и — вот... изволь радоваться: вместо благодарности... А ведь мы все работники за плату, нам за заботу плати благодарностью, похвалой, преданностью... Слабость человеческая!.. «Мы, — говорят, — на тебя сердцов не имеем, а только вот, мол, будет с тебя сотни...»

Он опять тихо и благодушно рассмеялся, — видно, вспоминая эти утеряти уже для него свою горечь.

— Расстались мы все-таки по-хорошему, даже трогательно. Сотню рублей так и не отдали они мне, но проводили со слезами: жили мы все-таки не плохо... Однако особенно-то

огорчил меня не этот факт — насчет сотни рублей, а совокупность всего, что так скоропалительно составило новый облик деревни. Уж как со всех сторон старались открыть ей глаза, освободить ее от пелены, темень эту ее осветить!.. И если правду говорить — успели... Слепой человек увидел-таки чуточку света, и с этого момента он уже не слепой... хотя и не прозрел. Но с этим полупрозрением ему пришло познание лишь самое горестное и злоба самая душная... И иной раз, может быть, вздохнет он о темном неведении своем... Такая злоба выросла в деревне, такая злоба, что, кажется, теперь весь воздух насыщен ею... Нож, дубина, красный петух... Очевидность бессилия, жгучие, не отмщенные обиды... Междоусобная брань, ненависть без разбора, зависть ко всему более благополучному, уютному, имущему... И прежде, конечно, зависть жила, и злоба, и скорбь, и грех смрадный, но верили люди в волю Божию и тщету мирских благ, верили и находили силу терпеть в уповании на загробную награду. Нынче этой веры уж нет. Нынче там вера такая: мы — порабитители, они — порабощенные... Из всех толкований о свободе на деревенской почве выросли плевелы и дурман. Свобода — это значит: я должен стать из батрака хозяином, а ты займи мое место батрака... У тебя есть, у меня нет — так пусть у меня будет, а у тебя не будет, отдай-ка мне это, именно *мне!*.. Не кому другому, а *мне!* Делиться я не намерен...

— Вы очень уж сгущаете тени, — заметил я о. Михаилу.

— Нет! — твердо, убежденно сказал он: — Когда наступит время мужику распорядиться и если мы доживем до этого, вы увидите, с какой стороны он себя покажет... Неожиданностей в нем — бездна... Одно хулиганство деревенское какие перспективы открывает... Слыхали вон, купец-то толстый говорил?

— Как же...

— Вот то-то!

— Но... дикость и раньше была...

— Была дикость и раньше, это так... Но дикость, так сказать, в пределах неизбежности, объяснимая. Без этого не обойтись. Но не было дикости ради дикости, озорства — как это по-ученому? — квалифицированного, кажется... так себе, за здорово живешь... Ну, пили. Пили нелепо, безвкусно и жалко. Без всякой радости и веселья пили. Проигрывались в орла, в карты. Обкрадывали друг друга, самих себя обкрадывали. Сворачивали скулы друг другу... сквернословили... все было. Выступал я на борьбу с этим злом, произносил проповеди в церкви, громил орлянку и карты, и похабные частушки, и сквернословие, и пьянство, и поножовщину.



Старики, старушки, слушая меня, плакали, головами качали, а молодежь в это время толчется где-нибудь в ограде, с девками заигрывает... Пришлось бросить: руки опускаются... Отчаялся. Жизнь, видно, сильнее слов...

Может быть, и во мне не было огня достаточного, умения... Но я отчаялся. Попробовал еще в одном пункте: обратил внимание на детвору. Детей я люблю. В этой разнокалиберной мелкоте с ясными глазенками, пестрой, заплатанной и оборванной, было и есть все мое упование, вся моя надежда на родину... Стал наставлять. Детская душа — чистый воск, лепи что хочешь. И я лепил... Девочки особенно были дороги мне — будущие крестьянские матери, — какие это чуткие, чудесные сердца! Начнешь рассказывать им о страданиях Христа или житие какое-нибудь — слушают, слова не проронят и... плачут... Чувствуешь, как сотрясаются их детские сердечки, пронзаются жалостью и состраданием... Тут-то вот, бывало, и отдохнешь душой... Сердце порадуется, сердце поскорбит... А скорбит потому, что в школе они одно слышат, а на улице, дома — другое, и жизнь сильнее самых лучших школьных слов... Детская душа отпечатывает в себе все — четко и прочно, восприимчива ко всему. Был какой-нибудь Ванюха Ключев в школе славным, смышленным учеником. Вышел из школы — смотришь: через месяц уже с папирской... А там и до водочки недалеко...

О. Михаил грустно покачал головой и задумался.

— Чем же вы объясняете усиление деревенского хулиганства? — спросил я.

— Вот... новыми словами, новыми понятиями... Полупрозранием-то этим самым и отчаянием...

— А раньше — какая была причина?..

— Раньше?.. — О. Михаил остановился и поглядел на меня неподвижным, соображающим взглядом. — Раньше — другое дело... Было, конечно, озорство, непочтение, но не так оно резало сердце... А теперь — помилуйте! Усвоились если не новые понятия, то новые слова... великолепные слова, благородные, возвышенные... А сквернословие осталось старое, даже лучше. Дикость — старая. Обрезать у коровы уши, остричь хвост у лошади по самую репицу — только из-за того, что хозяин ее не поставил угощенья ребятам, — раз плюнуть, как говорится. Забраться в сад или на пчельник и за здорово живешь раскидать, разорить улей, обломать яблони, подергать малину — это сделайте ваше одолжение! А там ищи виноватого... Да и напал если на след — не распространяйся, а то подожгут... И вот при новых-то словах о свободах, о равенстве это и пронзает сердце, в отчаяние повергает... В

табельный день на молебствии — ни души... Девки за какую-нибудь ленту или даже за пряник отдаются не только молодому парню, а любому проходимцу, хоть бы явно гнилому... А поножовщина? И прежде редкий праздник без драки обходился, теперь же как где ярмарка, два-три трупа непременно считай! А вот теперь этот новый закон о земле — брат на брата восстал, сын на отца, сосед на соседа!.. Злоба и смута пошла такая, что задохнется в ней деревня, непременно задохнется!..

И к концу второго года своего служения в селе я окончательно и бесповоротно убедился, что все мои разглагольствования, все призывы к церкви, к христианской жизни, к союзу, к самоуважению ближнего — все это пустой звук, кимвал бряцающий... Надо бежать — думаю. Тут как раз и обстоятельства подоспели такие, что одно оставалось — бежать: всплыли эти самые мои объяснения свобод... Хотя в глазах мужичков я был уже и мало популярен, слишком умерен, но люди, преданные порядку, считали меня именно агитатором. И, когда подошел удобный момент, они и принялись за меня. Был один там у нас человек почтенный, ходатай по делам, из волостных писарей. Благочестивый такой мужичок, уже не молодой. Бывало, уж не пройдет мимо без того, чтоб под благословение не подойти... Голос тонкий такой, ласковый, смиренный, речь рассудительная. А уж такая язва оказался, такая язва... И как будто ничего я ему не сделал плохого, относился, как и ко всем прихожанам, благожелательно. Бывал он у меня не раз, не раз чай пил, газетки брал, беседовал, рассуждал вполне здраво — не глупый человек. И вообще самое это движение ущерба ему лично никакого не причинило. А вот возненавидел он меня за что-то, начал пакостить. А может, и без ненависти? Так себе, из любви к искусству?..

О. Михаил вопросительно смотрел на меня.

— Есть ведь это в природе человека — зуд к пакостничеству, даже совершенно бескорыстному. Этак исподтишка укусь, столкнись в яму, в воду — единственно потому, что ловко и безнаказанно можно это сделать и отчего бы не поглядеть, как будет барахтаться в испуге или извиваться от боли человек, испытать минутную злую радость... Вот этот-то почтенный господин и донес о моих разъяснениях манифеста. Ну, конечно, сейчас дознание, жандармский офицер приезжал. И несдобровать бы мне, но спасло лишь невежество доносителя и его союзников — человека четыре их оказалось: не сумели они указать, как именно говорил я о свободах. А мужички-прихожане — спасибо им — уперлись: «Ничего, мол, нам вредного не говорил, а вот, дескать, не пейте водки,

дурными словами не бранитесь, вот и все...» Ну, и жандарм-то попался не из очень усердствующих. Однако я-то праздновал трусу — время такое... Не чаял выбраться. Да и после, в академии, года два ждал, как бы не всплыло насчет моих разглагольствований: а ну-ка, мол, докопаются, узнают?.. Книжки все, газетки тогда же сжег. Ну, и совсем потерял веру в мужичка... даже в человека. Достоевского все вспоминал: отвлеченно, мол, еще можно любить ближнего, даже иногда издали, но вблизи почти никогда...

Мы остановились и смотрели на пробегающий мимо берег, крутой, размытый, красно-глинистый, прорезанный ложбинками с мелколесьем. На самом гребне, над кручей, сидели в ряд и рассеянными точками маленькие человеческие фигурки и долго провожали наш пароход глазами. Ребятки или взрослые — не разобрать издали. Махали платочками, картузами, и этот ласковый привет от скуки — звал к миру и единению, к забвению обиды и горечи... Тоненькие березки с зелеными косичками взползали наверх. Из-за гребня выглядывала зеленая крыша церкви, сверкала белостенная дачка с узорчатыми башенками и кружевными беседками. А дальше волнилась яркая зелень, карабкающаяся вверх, перепрыгивающая через коричневые плешины берега.

— Вот оно, что такое политика! — с усмешкой качнул головой о. Михаил. — Не еж, а колется... И тем не менее, — помолчав, прибавил он, — никуда от нее не уйдешь... Как угар в мужицкой курной хате: тем и спасаются от него, что на пол ложатся... Но ничком-то лечь при моем сани не так-то уж просто: пастырь душ христианских, позиция общественная, обязывающая... Да и вообще человек — животное общественное, а не какой-нибудь рак-отшельник... Значит...

Он покорно развел руками и сделал приглашающий жест.

— Вот сейчас еду, например... Епархия все еще не умиротворенная после прежнего архиерея. Новый — наш бывший ректор — выметает старых фаворитов, позвал вот нас троих, меня и еще двух товарищей... Роли мы сами распределили — меня в соборные протоиереи: «У тебя, — говорят, — внешность представительная...» И не поехал бы, ибо и тут политика, — правда, епархиальная, а все-таки политика... Но как хлебнул уже нужды, а тут жена грудью слаба, доктора непременно в теплый климат советуют — принял предложение... Вот еду. А на душе нехорошо. Соборный настоятель там — старый протоиерей. Уж бог знает, каких он там взглядов, а говорят — старик почтенный и сторонников там у него много... И вот я — человек всем безвестный, молодой, ничем никому неведо-

мый, являюсь вдруг и должен этого почтенного протоиерея, что называется, спихнуть... Тяжело это... А нужда... Нужда, проклятая нужда!.. Ничего не поделаешь: назвался груздем, полезай в кузов...

Прошли мимо барышни в сопровождении Мещерякова. Поравнявшись с нами, они переглянулись и весело фыркнули. Блондинка успела бросить мне вполголоса, умоляюще:

— По-зна-комь-те!..

А Мещеряков суровым тоном говорил, глядя вниз, в пол:

— Я тягочусь своим делом, считаю его, по своему пониманию, не только что не полезным для принципов человечества, но вредным...

О. Михаил проводил глазами и сказал с лукавой миной:

— Мужчина-то слишком серьезен для девиц...

— Да, кажется... А кстати: они очень хотели бы с вами познакомиться.

Он благодушно рассмеялся.

— Я-то что для них? Из риторики разве что-нибудь?.. Ну что ж... если уж такие серьезные особы, то... я светского общества не избегаю... Отнюдь нет!..

---

К вечеру подошли к большому городу. Он показался еще издали, на высокой горе, с своими тонкими, стройными, сквозящими на лиловом предзакатном небе колокольнями, мягко закругленными уступами зелени и заводскими трубами.

По расписанию, стоянка — недолгая, но простояли больше двух часов — грузили мешки с мукой. Село солнце. Долго горела сизо-багровая заря. Неровный месяц поднялся в побелевшем небе — бледное золото его на серой синеве зыби задрожало маленькими, резвыми червонцами. Вспыхнули электрические огни на берегу, вдали, в ресторане, и слабым, неровным звенящим плеском донеслась оттуда музыка, чуть слышная и, может быть, потому такая прекрасная в многоголосом говоре, который кружился на берегу, поднимался, толокся и падал, как шумный гребень волны.

Пришел с булкой под мышкой и с пакетом земляники о. Михаил.

— Вот... закупил на берегу... провожал барышень...

— Как они вам понравились?

— Легки... Стал спрашивать, возникают ли у них когда трудные вопросы души или трудные моменты в жизни сердца,— смеются... говорят: «Мы в клубе самоубийц со-

стоим... в случае чего — морфию, и готово!» А сами глазки строят... Ну, Бог с ними... Подальше от них — спокойнее дело... Как музыка чудесно звучит — слышите?..

— Да...

Чуть слышный плеск колыхался у берега, тихо гудели котлы парохода, тихо вечер догорал, и редкими вздохами долетала далекая, мягкая музыка. О. Михаил долго прислушивался к этим звукам, продолжая держать под мышкой булку, а в руках пакет с земляничкой.

— Люблю я музыку — грешный человек... — сказал он, как бы сознавая какую-то за собой вину. — Всегда она шевелит во мне какие-то воспоминания... И содержания-то иной раз в них нет, а вся душа полна... А то мечтать тоже хорошо под нее — куда-куда не занесешься!

Он положил на столик булку и пакет и, мечтательным взглядом глядя вдоль по реке, где дрожали огоньки на мачтах барок, на плотках и на берегу, продолжал немножко грустным голосом:

— В академии у нас сухо было по части искусства... Да и вообще нечего вспомнить... Дебри догматики, апологетики, гомилетики, патристики — Толстой правильно осмелся это. Нечего вспомнить... А если что вспоминается — то это все сплошь удручительное...

Он помолчал.

— Я жил на частной квартире, не в общежитии, но все-таки возможность присмотреться к товарищам-студентам была. И меня это очень интересовало, потому что, как я еще не утратил веры в возможность очищения церкви от мусора и нечистот, то мне хотелось знать, видеть, кто будет работать на этой почве... Нас, священников, в академии немного было, да и не очень как-то нас жаловали, сторонились. Ну, было три монаха. Остальные — светская молодежь. Так вот все мы, так или иначе, готовились в будущие деятели церкви. Ну, монахи... у этих уж определенная карьера... Из них один был аскет, человек железной воли, поборовший и дух, и плоть... фанатик... Не знаю, верующий ли он, но администратор будет жестокий, у него ни к себе, ни к людям снисходительности не будет... Остальные двое — так себе, средние люди, серые... Не очень воздержные в смысле угождения плоти, но добродушные. Один из вдовцов-священников... Веселый малый, богатырского сложения, любитель коньяку и хорошего пения. Архиерей выйдет из него добродушный. Выпьет, бывало, иной раз, начнет такие анекдоты рассказывать — в локк положит всех. А потом загрустит: «Все бы, — говорит, — хорошо, все есть — и пища, и питье, и деньги... Одно плохо:

не все функции работают...» Словом, малый славный! Из светских студентов чуть не большинство — атеисты...

О. Михаил повторил это горячо и горестно.

— И все мы, вероятно, с большим повреждением веры, скептики. Но там — форменный атеизм, я не преувеличиваю!

Он потер лоб ладонью, задумался. Пароход стал отходить, глухо забарабанил, запыхтел. Отодвинулась соседняя черная барка, на борту которой неподвижно чернели безмолвные фигуры. Огонек сигарки, как открывшийся на одно мгновение красный глазок, осветил вдруг тоненькую, озябшую фигурку босой девочки с поджатыми руками. Поклонились тихие огоньки на мачтах, дрогнули электрические фонари далекого ресторана и спрятались. Показалась из-за горы медно-красная заря. Сильней запахло влагой, свежестью, откуда-то донесся крик коростеля...

— Я понимаю атеизм философский, — говорил о. Михаил, когда пароход уже несся полным ходом, шумный, радостно возбужденный, горящий веселыми огнями. — В нем есть усиленная работа мысли, искание истины и смысла жизни, муки сердца, великая скорбь, борьба между разумом и тем особым постижением, которое лишь верой дается, и в конце концов искание Бога в них, в таких отрицателях, никогда не угасает, ибо сердцу да и уму, воспитавшемуся на метафизическом мышлении, трудно мириться с отрицанием высшего начала. В философском атеизме нет простого равнодушия и, всеконечно, нет и цинизма. В этом роде было у нас несколько атеистов — твердых и последовательных. Были и революционного образа мысли студенты-социалисты. Держались они все в стороне от нас, но уже по тому, что они читали, о чем при случае заводили разговор, как относились к некоторым явлениям академической жизни, чувствовалось, что они за люди. Народ серьезный... Но большинство было — лукавая, равнодушная середина. И в этом большинстве было такое равнодушие к вере, что оно ужаснее всяких атеистов... И были еще нарочитые циники... Как-то это так случается с нашим братом «кутейником», что выберется он из бурсы на свободу, от бурсацкой капусты к ситному хлебу, и начнет ловить, хватать жизнь. Хватает по-бурсацки жадно, грубо... Деньги-то малые, а аппетит большой... Ну, самое простое лишь допустимо: водка, публичный дом... И вот они отдаются этому и телом, и душой... И, когда вернутся, бывало, из такого злачного места, норовят поймать монаха или нашего брата иерея и начнут расписывать в самых голых тонах этакую оргию какую-нибудь... И тут же о религии, о Боге... Ах, какие они

вещи говорят! Слепые князья нашей церкви обвиняют Толстого: он, дескать, потряс учение Христовой церкви... И нашему брату, по обязанности, надо говорить, обличать толство, опровергать, затоплять обилием словес сильное и выстраданное... Но вот этого ниспровержения всякой веры, которое таится в недрах самой нашей передовой духовной, ученой среды, они не хотят знать... А ведь в их среде сколько таких!.. И на смену им скорее всего придут эти вот, не верующие ни в чох, ни в мох, ни в птичий грай... Потому что они все-таки и дельцы, практики, и связи родственные имеют, да и гибкие люди, дипломаты... И не без дарований даже.

О. Михаил вдруг круто остановился и спросил:

— Вам не кажется странным, что я об этом рассказываю, именно я, человек — так сказать — духовного цеха?

Я ответил, что слушаю его с живейшим интересом.

— Собираюсь на улицах и площадях кричать! — с резким жестом воскликнул он. — Надо! необходимо!.. Вы возьмите то во внимание: недели не пройдет, чтобы в газетах не всплыло что-нибудь беспримерно скандальное... То митрофорного протоиерея уличают в обольщении гимназисток, то об архимандрите напишут, который проводит время с птичками певчими в каком-нибудь «Вулкане», то уголовный отчет об о. инспекторе епархиального училища, обольстившем подростка при помощи пары апельсина и бутылки фруктового кваса... Да что же это такое? Гной, мерзость, которую без промедления и пощады надо на свет, на обнажение!.. Больше потерять, чем потеряла, церковь от этого не может... А приобрести, очистившись с Божьей помощью, приобретет — я в это глубоко верую!..

Он пристальным, горящим взором смотрел мне в глаза, как будто хотел видеть, разделяю ли я его уверенность или сомневаюсь.

— А если сейчас и отходят от церкви массы — это страшно, конечно, но не безнадежно, — прибавил он успокоительным тоном, больше для себя, чем для меня, — через отрицание подойдут потом к Богу ближе... Я не отчаиваюсь... Наш народ такой: даже на краю отчаяния и озлобления не разберет по бревнышку своих убогих храмов... И свечечки, и дым кадильный, и косые лучи заходящего солнца, и запах меду в канунницах — все это будет долго еще иметь путь к его сердцу... Да и душа народная не чужда все-таки прекрасного восприятия, а что может быть выше слова Божия?..

Он остановился, потому что совсем возле раздался знакомый, кряхтящий голос Ивана Парменныча:

— Будь бы они по четыре купили, это — вопрос... Они бы нажили... Я торговал и по вашему делу, и индюшками... Это-то я уж хорошо знаю...

Они поравнялись с нами — Мещеряков и Иван Парменыч. Иван Парменыч обрадованным голосом воскликнул:

— Вот они где!.. А я вас глядел, глядел, где, мол, они?.. Чайку... не угодно ли?.. закусить... у меня балычок есть, икорка...

Мы поблагодарили. Я предполагал отказаться, но о. Михаил подумал и сказал:

— Что же, мы с удовольствием... мы придем... у меня вот и ягодка есть...

— Ну пожалуйста! за счастье сочту... в столовую... — сказал благодущный Иван Парменыч.

И когда они отошли, о. Михаил, возвращаясь к прерванным мыслям, заговорил снова:

— Да... так-то вот... Вера-то у меня есть, не отчаиваюсь... Одно, огня мало... огня нет!.. Нет горения в делателях, да и делателей скудно... Иной раз вот в мыслях-то куда унесешься! Лежишь этак в сумерках, на койке и мечтаешь, а где-нибудь неподалеку вечерний звон церковный, грустный такой, сиротливый, аж сердце защемит... Бедная церквочка, как ты оскудела!.. Плачет сердце, изнывает в гневе бессильном... Вот то-то бы сделать и то-то... Не без смысла бы жизнь прожить, не дать совести мохом обрасти... родине послужить бы, убогонькой нашей... Мечтаешь-мечтаешь... И пока на койке лежишь — горизонт большой, не оглянeshь! Героизма сколько, самоотвержения... сила, уверенность!.. А встал, встряхнулся — глянет в глаза действительность, суровая, трезвая, черствая... Нужда эта... особенно последний год: еле еле дотянули... Жена грудью слаба, подкашливает. Доктора говорят: непременно в теплый климат! А это для нашего брата студента звучит лишь насмешкой... И вот дождался: не угодно ли в соборные протоиереи?.. — Что ж, еду вот...

Он вздохнул и помолчал.

— Не знаю, как и что будет... Волнуюсь ожиданием и любопытством вместе... Все думаю: а может, и в самом деле, озарит Господь зажечь глаголом сердца людей?.. В мечтах-то все это представляется так ясно... возможно... Но может быть, и войду во вкус протоиерейского бытия... Пойду тропой проторенной...

Он засмеялся и, вставая, прибавил шутливо:

— С благочестивыми купцами компанию буду водить... ренту буду приобретать и купоны стричь... Ну, я на минутку отлучусь, я — сейчас...



Он ушел, я остался один. Пароход шумел глухим шумом, неутомно барабанил. В серебристом тумане лунного света вода сливалась с песками и река была — как море, широкая, безбрежная, величественная, полная вечной тайны. В широком шелесте ее, в родном колыхании ее близких и далеких звуков порой дрожал мягкий и грустный гудок далекого парохода, порой как будто музыка звучала, чуть слышная, прекрасная, зовущая, порой долгий чей-то вздох проносился и гас в бурливом кипении и шуме...



## СЕТЬ МИРСКАЯ

I

О. Порфирий спустился по узкой, крутой дорожке к воротам монастыря и на последней ступеньке оглянулся. Сгорбленная старушка все еще стояла на том месте, где он ее оставил, — у двери кладбищенской церковки, на площадке, возле черно-мраморного мавзолея купеческой четы Некрасовых. Стояла неподвижно, словно аллегорическое изображение горькой осиротелости, и тоскующим взглядом глядела в его сторону.

Он еще раз перекрестил ее издали и поклонился. Сквозь слезы, затуманившие его глаза, увидел, как голова ее в сером платочке заколыхалась, задрожала... Махнул рукой и вышел за ворота направо, в узкий, вонючий переулочек. В последний раз в жизни, может быть, видел он эту сухонькую, согнутую старушку: мать его она. В последний раз... Ей уж семьдесят шестой год, не долог путь остался. А его положение — подчиненное, отпуском располагает редко. Да и далеко — целой тысячью верст разделены они, и не легко оплатить такую дорогу. За тридцать семь лет, как она поселилась в монастыре, он виделся с ней всего четыре раза — и то лишь в последние десять лет, как стал монахом. А когда крестьянствовал с братом и после, как был послушником, не на что было разъезжать. Даже к брату, в Корчевской уезд — рукой подать — не каждый год навещивался. Приезжал на Пасху денька на два и скорей назад, в обитель, к Сергию Троице. Не очень нравилось ему у брата: черно, неопрятно, шумно... А он уж отвык от шума и грязи.

Но тут, у матери, в тесной, низенькой келейке с окошками над самой землей, с голубой лампадкой у икон, с картинкой «Святая гора Афон» и лежанкой, было так чисто, ласково, тихо и уютно.

За четыре дня, что прожил он в Киеве, он много раз спускался по трем ступенькам в эту келью. Нагнувшись, входил он в низенькую дверь и улыбался уже от одного запаха «рогалька», такого крепкого и благолепного. Старушка так суетилась каждый раз, так хлопотала и бегала... Смешно было

смотреть, как она тащила на стол все, что было у ней самого вкусного, самого дорогого и, может быть, заветного: яички, сливочное маслице на чайном блюде, сдобные булочки и даже коробку настоящих, «кондитерских» конфет.

— Мамаша, не забудьте, что монаху надлежит малоюдеяние, — говорил он ей, улыбаясь покорной и тихой улыбкой...

Но чтобы не огорчать ее, вкушал от всего предлагаемого, а она стояла у стола, подперши щеку костлявой рукой, и не сводила умиленных глаз с него или озабоченно выбегала в крошечные сени, где отчаянно дымил самовар. Сухонькая, неугомонно-говорливая, смешная старушка. Смешная и милая суетой своей и хохлацким говором своим — о. Порфирий постоянно ловил ухом в ее неугомонной речи странное для него произношение: «Пиду... пожалуйста... *у высшей степени...*»

— Сладкое брашно, мамаша, — в писании говорится, — только гортань веселит, кормит же червя неусыпающего... хе-хе... А вы мне вот внакладочку... чайку-то...

— И-и... Игнатик!.. сыночек мой... сердечное чадушко!.. — Она все еще прежним, мирским именем звала его. — Авось Господь не поставит во грех... Много ли тут?..

— Да не мало, мамаша...

— Да уж, може, и остатний раз... И не придется больше очами тебя обызрить...

Прощались в келье. И когда она старенькими руками, морщинистыми, с синими жилками, взяла и прижала к себе его голову, он мимолетно пережил то самое ощущение легкой неловкости и радостной стеснительности, которое бывало в детстве, когда мать, прижав одной рукой его голову к своему животу, деревянной гребенкой с редкими зубьями начинала причесывать ему спутанные волосы.

Плакала старушка. Заплакал бы и он — громко, по-детски. Умылся бы слезами... Но плакать не подобало монаху по привязанностям плотским, «яко же оставили родители своя по плоти, други же и имения»... Встали в памяти слова поучений Лимониса...

Проводила до самого спуска с горы. Хотела дальше, — он воспротивился. Постояли они молча на высокой площадке у кладбищенской церкви, откуда открывался вид на Подол и заднепровскую сторону. Сзади и внизу шумел город. Зыбь дрожала на Днепре. Курились золотые пески на горизонте, и в сизой дымке лежали дали с синими лесами, далекие, незнакомые, всегда грустно-туманные. А ближе белыми, приветливыми точками рассыпались церковки в селах и посадах с красными домиками, рощи верб, похожих на зеленые копыны,

лиловые рукава реки в изумрудной оправе, зеленые островки, серебристые косы. Все такое светлое, нарядное в блеске солнца, юное и ликующее.

Постояли, посмотрели, молча, задумчиво, прислушиваясь к печали своей... Дивен и красен мир Господень, но порою тоскует в нем сердце, как в мертвой пустыне... Опять попрощались. Поклонился еще раз земным поклоном матери о. Порфирий. Заплакала она беззвучными слезами, сжалась, согнулась еще больше, старенькая-старенькая...

— Ну, сыночек... чадушка моя... помру — молись за упокой души моей...

Он сказал дрогнувшим голосом:

— Мамаша, все в воле Господней... Не теряю надежды: Господь даст, повидимся еще...

— Ну, где уж! Не дождусь: время... Истекает срок... пора...

Сжалось сердце у него от этих слов, и он заботливо стал поправлять очки, чтобы скрыть слезы. Кое-как удержался на глазах у матери — переборол слабость. А вот тут, внизу, взглянув в последний раз на эту высохшую, согнувшуюся, невыразимо ему дорогую черницу убогую, уж не выдержал. Побежали непослушные слезы, как ни убеждал он себя, что не подобает монаху сия слабость...

«Научи мысль твою отнюдь ничево не любить, кроме Христа...»

Это Патерик так наставляет. Ничего не любить... Легко сказать! Можно не любить мир с его шумом-бранью, враждой и злобой — иноческое житие с тихой молитвой и благочестивыми размышлениями, конечно, ближе сердцу. Но как истребить земные привязанности, отсечь память об узловатых, стареньких руках с синими жилками, ласкавших дни его детства и столь же дорогих ему и теперь, на сорок девятом году его жизни? Единственную память, от которой и ныне расцветает сердце, дрожит радостно и плачет тихими слезами умиления...

«Яко же оставили родители своя по плоти, други же и имения...» Сурово, холодно... «Печалей житейских отбегай, житейской скорбью не оплетай себя...» Да, да... Так надо, немошен дух, слабо сердце...

Сердце сжато тоской, сознанием одиночества и осиротелости. И все стоит в глазах согнутая, худенькая темная фигура матери и чудится еще прикосновение ее костлявых, милых рук...

О. Порфирий сел в вагон трамвая, который вывез его на гору, перешел, по указанию кондуктора в другой, где получил

замечание от толстой барыни, потому что зацепил ногой за ее зеленый шелковый зонтик; он к этому отнесся как-то деревянно — точно туманом задернуто было для него все, вне печали его живущее; люди, дома, сады, движение и звуки — все стало чуждым и посторонним его вниманию. Мысль о матери слилась незаметно с воспоминаниями о детстве и первой юности. Одетые светлой грустью прожитого и невозвратного, касались они сердца, как звуки далекой песни: знаком мотив печальный, но слова забыты, и с ними ушло что-то ясное, дорогое, умиленное...

— Станция «Вылезай-ка», отец! Вагон дальше нейдет...

Слова кондуктора вернули о. Порфирия к действительности. Пустой вагон стоял на конечном пункте, надо было выходить.

Поезд, на который был взят билет у о. Порфирия, отходил в одиннадцать с минутами. Сейчас не было еще пяти. Можно было отслушать часть всенощной в лавре и поспеть на вокзал. Срок отпуска у о. Порфирия уже истекал, и праздник — завтра Троица — предстояло провести в дороге.

Он зашел в свой номерок, — в подворье монастыря, — собрал пожитки и покупки, все эти мелкие, дешевенькие подарки для своей братии в Вифании: с пустыми руками приехать неловко, какую-нибудь память о святом месте привезти надо. Привел все в порядок, уложил в поместительный, немножко облупившийся саквояж, помолился — хоть сейчас в путь... До всенощной оставалось еще не менее часу. Саквояж, лежавший на койке, придавал крошечной комнатке бивачный, неуютный вид. Захотелось на воздух. Побродить по монастырю, в последний раз взглянуть на святыни печерские, на храмы и сады, на толпы богомольцев.

Вышел. Пестрый поток людской, шелестя и обрываясь, вливался в лавру и растекался по ее улочкам, дворам, церквям, галереям и лавкам. О. Порфирий любил вслушиваться в мягкий хохладский говор, вздохи, наивные молитвы вслух, шуршанье шагов. Любил затеряться в живом море сермяг, картузов, овчинных шапок, тяжелых пестрых, темных и ярких платков, слиться с его зыбким, бесцельным движением, колыхаться вместе с ним, искать и ждать чего-то необычайного, изумительного... Было в этом шатании славное такое, утешающее ощущение близости и молчаливого общения с людьми, прикосновение к жизни мирской, суетной и шумной, но всегда обаятельной нехитрыми чарами своими.

Богомольческая толпа подхватила его, понесла с странноприимного двора в лавру, потом вынесла за ворота на откос. Он обрадовался: отсюда еще раз можно взглянуть в ту

сторону, где он оставил свою старушку, — на Подол, на Фроловский монастырь.

Солнце висело над самой кручей гор днепровских, низко. Теплые лучи ткали ласковый узор по зелени обрывов. Внизу пыхтел пароход, разгоняя крупную зыбь на лиловой глади реки. И в тонкой кисее тумана голубели степные дали, куда задумчиво глядели рассыпавшиеся над кручей толпы. О. Порфирий посмотрел влево, вверх по Днепру. Ни Подола, ни кладбищенской церковки монастырской не было видно за выступом. Знать, и впрямь навсегда распрощался с милыми теми местами...

Певуче-протяжные звуки какого-то инструмента, печальные и торжественные, коснулись его слуха. Он насторожился. Духовное пение ему было хорошо знакомо: сам он пел когда-то в хоре. Любил он музыку — духовную и светскую — и стыдливо держал в тайне эту свою слабость.

Подошел поближе к серенькой кучке, окружившей старенький, облупленный гармониум. С лицом темно-бронзовым, худым, заветренным сидела за инструментом слепая женщина, не молодая, в белом платке своим похожая на головушку. Черные пальцы ее привычно и уверенно, неторопливо ходили по клавишам, а невидящие очи, не моргая, глядели перед собой и внутрь себя, и медлительно пел ветхий инструмент надтреснутыми голосами старой скорби, невыплаканной и неизбывной, тихой скорби одинокого покинутого сердца...

Кому повем... печаль мою-ю...

Голос почти мужской. Немножко сиплый, он дрожит и обрывается на верхних нотах. Льются ровным потоком звуки инструмента, текут величаво, как тихие воды, с малой зыбью, и утопает в них далекий шум города, говор толпы, шелест шагов ее. Плачем живым и скорбнозовущим звучит надорванный голос невидящей женщины:

Кого призову... ко рыда-а-нию...

Поет-гудит гармониум. Мотив суровый, горький, порой сплетается в гирлянду нежных, тонких голосов, звучит детски-трогательной жалобой отягченного, израненного сердца человеческого. Льется и обрывается усталый голос человеческий, о вечной тьме и скорби говорящий. Льется в сердце — одно большое сердце — этих серых, скудно одетых, невзрачных, корявых людей, стоящих тут, возле, с изумленными и очарованными лицами. Как будто подслушал он, этот старый инструмент, все горькие думы, затаенные рыдания, подглядел все слезы и отчаяние темной, горькой жизни, ее нужду терзаю-

щую, озлобление и падение... И все собрал в себя, все горе людское, и, когда темные, загорелые персты одной из самых обездоленных коснулись струн его, заплакал горькой жалобой.

Кому повем печаль мою?...

И вот стоят они, изумленные, притихшие и растроганные. И молодые тут, наивные, спрашивающие лица, и старые, трудом, заботой, нуждой изборожденные. Солдат и дивчина, старушка в лапотках и сивоусый белорус с гусиной шеей, свитки из домотканой сермяги и пиджаки — все сгрудились и прислушались.

Дрожат заветренные, запекшиеся губы, горестные собираются морщины на женских лицах, слезы ползут. Свое горе заныло, своя тоска выступила четко и выпукло, как теплым лучом заката выхваченный закоулок, вылилась неудержимо в теплых слезах. Корявые, натруженные руки развязывают узелок в уголке платка, достают медную монету, и падает она с благодарным звоном в деревянную чашечку слепой певицы.

Не в первый раз видит эти слезы о. Порфирий и лица, тронутые горестным выражением жалости и своих воспоминаний. Но нынче все это особенно понятно, близко — и дрожат его ресницы... Поправляет он очки, отходит в сторону. Опять глядит туда, на Подол, но не видит ни церковки знакомой, ни старенькой монахини около нее...

— А то у нашу сторону пароход гребнувся... — раздается рядом чужой голос, радостный, такой общительный.

О. Порфирий испуганно оглядывается. Приземистый хохлик в короткой сермяжьей свитке снимает свою баранью шапку, почтительно кланяется и почти ликующим голосом говорит, тыкая костылем вслед убегающему дымку парохода:

— У Переяслав гребнувся...

О. Порфирий усиленно сморкается — ему конфузно, что посторонний человек видел его слабость. Но посторонний человек весь ушел в радостное созерцание скрывающегося из глаз парохода — пега я щетина на его подбородке шевелится и ходит от улыбки.

— Самой наш корень — Переяслав.

— Так вы того... так, так... — О. Порфирий уже оправился и ласково машет головой смешному хохлику. — С Переяславля, значит?

— Ни, я с Томской губернии... Переяслав, как бы вам сказать, наша родина... А я годов с двадцать как у Томскую переселився... на нови места...

— Так, так...

— А тут у меня брат zostався... Ридный...

Так, так... Проведать, значит? Хорошо... Родину не забываете — хорошо...

Собеседник о. Порфирия поскреб свою густую щетину на подбородке и усмехнулся.

— А як же ее забыть, батюшка?.. На чужбине и кости плачут...

Он потряс головой, прищурился, всматриваясь в дали, и замолчал, точно обиделся на о. Порфирия.

— Всэ в менэ е,— сказал он, упираясь руками и грудью на костыль.— Хлеб е... сала захошь — заколи кабана, вот и сало. Бычка выкормишь, вот и мясо... Всэ е... Тилько за краем скучно!.. Сердце кортыть... кортыть сердце...

Что-то близкое, слишком понятное почувствовалось о. Порфирию в этом коротеньком мужичке, в его тоске по родному краю и неотвязных думах о нем — болел и сам он часто такой же мукой и в часы одиночества, и в дни мелких монастырских дрызг и огорчений, украдкой тихо плакал о родных местах, о близких по плоти людях... Казалось ему, что нет в свете краше, светлее и теплее места, как родной угол его — Подберезники...

— Вот праздник провожу — поеду! — счастливым голосом говорит хохлик: — Годов, мабуть, с пятнадцать не был... Раз приезжал, как дорога прошла,— вон когда!..

И казалось, весь он был поглощен мыслью о близком свидании, переполнен детской радостью предвкушения, — сияли счастьем глаза его, ушедшие в морщины, и шевелилась негая щетина на щеках.

— А что я у вас спрошу, батюшка,— вдруг спохватился он.— Яка-сь-то машина... иду у город, а она мимо меня як пролетит... штрип-штрип-штрип-штрип... Лисапет? Так не лисапет...

— Нет, это другое... Это бензинным паром действует.

— Паром?

— Обыкновенно паром... Зарядится и катит.

— А где ж у ней паровик?

— Да там же, под кучером.

— Э? Пид задом у кучера? Д-ды-вись же, придумают!..

Штрип-штрип-штрип... Як ти шкворьци...

Они долго стояли молча, в раздумье, каждый о своем. А за спинами у них зыблется говор людской, переплетаясь с пением слепцов, причитаниями нищих и смехом девичьим. Звучит мир пестрыми голосами, сливая воедино радость и горе, бранную речь и слова привета, детский плач и пение



бандуры. Движение идет неустанное, кипит и буйно трепещет жизнь — суетная, горькая, но и обаятельная, заражающая юным оживлением своим.

— Все есть, слава Богу,— говорит раздумчиво мужичок,— всего хватает... Я не жаден: хватает, и слава Богу. Лошадки есть, овечки, коровки... Бога гневить нечего. И сало, и молоко — всего без нужды... Ну, за краем своим скучаю... Хлопцы на той стороне выросли, они — ничего... А у меня кортыть сердце: помру на чужой стороне...

Звенит бандура. Поет гармонiuм. Сплетаются голоса слепцов. Говор людской пересыпается частой капелью, широкой рекой льется шелест, шуршанье шагов. Осиплые, усталые певцы, с придыханиями, паузами и причитаниями умело и выразительно рассказывают жалобу горькую:

Та вже ж мое гришне тило

Наболелося...

Та все ж душа моя гноем

Напиталася...

— А все в дило! — говорит, вслушавшись, растроганный собеседник о. Порфирия. — Все в дило...

О. Порфирий смотрит на эти сожженные солнцем лица, сухие, пыльные волосы, на черные ноги босые, на страшные глаза с бельмами, лохмотья и грязь. Все знает давно он, все видел не раз и вздыхающие, хриплые голоса эти слышал. И сердцем болел о них — мягкое сердце у него... Но ныне, показалось ему, в первый раз он видит то, чего по глухоте сердца не замечал прежде, что горькая жалоба их есть его жалоба и жалоба всего народа, усталого и обремененного, с наболевшим телом, очами слепыми и душой опустошенной...

— Дайте, матуни! Дайте, татуни! — резким голосом взывает толстая баба. — Дайте хоть полотенчика... очи протереть... Господи, обрадуй вас!..

Мимо царства прохожу...

Горько плачу и гляжу —

звенит бандура. Узловатые темные пальцы привычно бегут по ладам. Черный рот широко, с оскалом белых зубов, открывается и вплетается в зыбкий поток других голосов, выводящих жалобу. Обрывается и диковато вопит:

— Може б мини вышили сорочечку?.. Наделили б спидничкою або платочком?..

И снова переплетаются голоса, толкутся, зыблются. Гудит-поет гармонiuм. И стоит прикованная к ним властью

непонятной, стоит с своими думами серая, темная, расцвеченная женскими нарядами толпа...

Милости не будет там,  
Коль не миловал ты сам...

— Да неизвестно, як оно там буде...

Брови сдвинуты и сурово морщинистое лицо у человека, который говорит это. Облезшая зимняя шапка на голове, худые опорки на ногах, и в черной натруженной руке костыль.

— Неизвестно!..

— Чего? — спрашивает хохлик из Томской губернии, собеседник о. Порфирия.

— Оттуда ништо не прийшов! Ништо не знае...

— В книгах святых написано, — кротко возражает о. Порфирий и чувствует, что неубедительно это для человека, изверившегося в правду людскую и правду божескую, для полубосого, изнуренного и отчаявшегося человека.

— Плохо будет, — вздыхает томский хохлик.

— Оно и сейчас плохо, — глядя в сторону, сурово говорит человек в старом зипуне.

Черноглазая молодая женщина в красной кофте глядит на него с изумлением.

— На сем свити плохо? — певучим голосом спрашивает она.

— Або ж хорошо?

Он смотрит на нее вполоборота, враждебным взглядом.

— Вот як в огне гореть будем, вон то плохо! — подумав, говорит она. Он иронически усмехается и крутит головой.

— Воды не буде, — продолжает она медлительным, певучим голосом. — А на сем свити еще не плохо. Воды — вон у Днестре сколько хочешь...

— Тилько шо воды...

— А шо ж воды? Ось мы як шли семь верст без воды, аж у роти пересохло...

Ему лень возражать этой наивной, недалекой бабе. Он нехотя бросает:

— Тут бачим, шо плохо. А вмер — уже все пропало...

— Ну да... пропало!..

Она хочет возразить чем-нибудь сильнее, убедительней, но смотрит на печальное, изнуренное нуждой лицо его и красноречивые доспехи нищеты и смолкает: а ведь, правда, плохо тут, на этом свете, плоше некуда, а оттуда никто вести не дал. Может, и прав этот бедный человек... Вот отошел он и затерялся среди серых кучек и темных фигур, что стоят

над кручами, глядят в сизые, мечтательные дали степеней заднепровских, где скрыты, может быть, в вечном тумане — простор, воля и жизнь хорошая...

## II

Бухнул колокол на лаврской колокольне. Удар пронесся певучей волной над монастырем, над кручами и садами и, замирая, колыхаясь, ушел за Днепр. Другой... И третий... И в медных поющих волнах утонул людской говор, побледнел плач гармонiuма, затихли бандура и жалоба слепцов. Гудел и пел разбуженный воздух, кружились голуби в высоте, сверкая на солище белыми подкрыльями.

О. Порфирий перекрестился и вместе с темным потоком людским, пестрым, шуршащим бесчисленными ногами, направился в церковь. В дверях его притиснули к рябой, ширококостной бабе, от которой пахло терпким лошадиным потом, вынесли вперед, сшибли в сторону и прижали к разрисованной стене в приделе св. Иоанна Богослова, возле киота с кусочками древа от трапезы Христовой.

Непрерывной струей вливался в храм народ, колыхался, напирал. Волны толкотни, доходя до о. Порфирия, каждый раз притискивали его к расписной стене, но он был доволен: место видное, близкое к иконам и как раз против правого хора.

Горели огни, отражались в золоте икон, переливно играли в камнях драгоценных. Давал отсветы мрамор колонн и гробниц. Свет дрожал длинными лентами и гигантскими цветами, пучками цветов. Плыли волны фимиама, цеплялись за зелень березок и лип и уходили под сумрачные своды храма, где умирали, перекатываясь, волны торжественного пения...

— Казанска Божя Мати! помилуй нас грешных!.. Почаевска Божя Мати! помилуй нас грешных!.. Тихонска Божя Мати! помилуй нас грешных!..

Шепчет и всхлипывает бабий голос позади о. Порфирия, и слышится в ее убогих словах страстная мольба о чем-то своем, затаенном, вздох, умоляющий о капле милости и ласки небесной...

Золото, парча, алмазы и мрамор... И серый, запыленный сермяжный и лапотный люд, устало склоняющий худые колени на чугун и камень ступеней... Благолепные лики святых в дорогих ризах — и опаленные солнцем и ветром морщинистые лица людей, сухими черными губами шепчущих заученные моления, неуклюжие, грязные тела с костлявыми, перекошенными, согнутыми плечами... Кадильный фимиам — и тяжкий запах потных одежд и гнойных язв... Лиюю-

щее, громогласное пение — и вздохи тяжкие, перекошенные гримасой плача лица, бормотание и шепот молящий...

— Ты, Великий Покров радости, Всещедрый Утешитель, неужели ты не пошлешь слуху их радости и веселия, сладости сердечной никогда не дашь им, не осветишь тесноту жизни их, Ты, Свет присносущий?..

И тоска неведомая свинцом легла на сердце о. Порфирия; не мог он сказать о чем, почему? Ушло вдаль пение, лики святых потускнели, туман закутал огни,— душно и тяжело стало ему среди занемогающих шепотов и всхлипываний, в густом и тошном запахе тел человеческих.

Вышел в ограду. Подумал: пора на вокзал? Но солнце не село еще,— последние отблески его горели розовыми угольками на золотой главе колокольни, кресты золотые купались в прозрачной, холодной лазури вечерней, а над ними плыло белое облачко... Можно еще погодить, вон клир выходит из храма служить литию под открытым небом.

Где-то сверху, в ясной синеве небесной, звенят стрижи. И тут, внизу, звенит ясный голос детский, голос канонарха. Короткими, срывающимися каскадами звуков повторяет слова его хор. Прольются звуки короткой лавиной и смолкнут разом, как обрубленные. Звенит канонарх, звенят стрижи, утопающие в лазури.

С наружных стен, из золотых ободков, глядят угоднички, глядят на темную, тихо зыблющуюся толпу, тихо жужжащую по краям, плотную и сдавленную в центре. Белоснежный храм чуть окрашен сверху отсветами солнца, а внизу уже тень сплошная лежит, посерели развесистые каштаны и заполз под них черный сумрак.

Зыблется серая, темная масса людская. Проходят мимо и толкают, цепляясь за о. Порфирия, группы богомольцев и праздных гуляк. Шаги шуршат, скребут, стучат о каменный помост. Идут девушки в чоботах и лаптях, пестры наряды их и любопытен молодой, волнующий взор, легка и цеголева-та чуть подрагивающая походка. Пестрят сермяжно-черные и белые мужицкие фигуры. Тихо шелестит говор. Оторвется слово, другое, целая фраза — и мгновенно освещается уголок чужой жизни, мимо текущей и бесследно тонущей в темном море людском...

— Таки скучно без родины? — спрашивает молодой женский голос.

— А почему? — Солдатик маленький, веснушчатый, старается показать закал мужества, не хочет сознаться землячке в том, что она сама видит в его глазах печальных.

Перезвон колокольный бойко вторгается в реку пестрых,

зыблющихся звуков, веселый, радостный, особенный звон киевский, с цимбалами и серебряными трелями. Словно весенний юный хоровод дождем звенящих песен, плесков и погуток рассыпается по каменному помосту, покрывает говор и пение и возгласы, взлетает ввысь, разливается и уносится в дали румяного вечера.

Пронесся... Смолк...

Звенят стрижи вверх. И ясен летний вечер, прозрачен, тих. В темных толпах, молитвенно серьезных, тихих, пробежит вдруг серебряной зыбью смех девичий. И в светлых сумерках пронесется с ним зовущая радость жизни, беспричинная и милая радость, волнующая смутным, тайным ожиданием неведомого счастья.

### III

О. Порфирий помолился на лики преподобных, взиравших на него со стен храма, — уже смутно виднелись они в сумерках, — поклонился им, оглянулся на тихие обитатели, на серые деревья и пошел в странноприимницу взять свой саквояжик и ехать на вокзал.

О. Иона, обычный вечерний собеседник его, надзиратель корпуса, увидев его с саквояжем, горестно воскликнул:

— Душевный мой! неужели в путь?.. А как же... того... неужели без чаю?

— Спаси вас, Господи, батюшка, за приют и ласку вашу... благословите... время на вокзал...

— Да рано еще, душевный мой! Полтора часа до поезда. А езды полчаса, не больше... Что вам там в табаке коптиться. А тем временем мы чайку... Брат Иоанн! Ну-ка вынеси нам чайничек...

— Напрасно, о. Иона!

— Ничего не напрасно — вы человек дорожный... И я еще насчет нот хотел потолковать с вами... Иоанн, неси-ка, брат, на воздух, под каштаны, — я хоть и хлипок здоровьем, а уважаю воздух... Да и на народе оно веселей... люблю поглазеть на православных...

Они сели за длинным столом, под темными деревьями. Послушник принес им два чайника и стаканы. О. Иона подсушил рукава своей ватной рясы и принялся разливать чай.

— Так если у вас, душевный мой, что любопытное попадет из нот, — говорил он, покашливая, — не покуситесь, пришлите... Имею и я кое-что... рад поделиться... И люблю позаимствоваться.

За четыре дня о. Иона и о. Порфирий тесно сошлись между

собой на одном предмете, равно близком их сердцу, — на пении. И подолгу толковали о нем, вспоминали, разбирали, слегка спорили и одинаково бескорыстно восторгались дивными созданиями искусства.

— Я не похваюсь, — сказал о. Порфирий. — Если и есть что у меня, то простенькое, не мудреное... А у вас тут — Боже мой! — что за дивное пение!.. Прямо — удивления достойно!

Гас вечер. Шуршали и скребли по мощеному двору шаги усталых богомольцев, неспешным ручьем тянувшихся на ночлег. Жужжали голоса, звенела посуда за столами, рядом слышались хлебающие и вздыхающие звуки, текли полусонные, усталые беседы.

Струится говор, гаснет и вновь всплывает. Густеют сумерки. Молодой месяц вышел из-за крыш, посеребрил их и инеем покрыл мощный двор. Красный Арктур загорелся на западе.

— Было у нас пение встарь, а сейчас... — О. Иона пренебрежительно махнул рукой. — Пей, пей, душевный мой! ты человек дорожный... Чтобы хор был вполне хор, велелепен и красен, надо чтобы понимающая голова была... А у нас нет таковой!..

О. Иона горько усмехнулся, засопел своим орлиным носом.

— Я одного игумена знал — из поваров он был, — запахивая свою ватную рясу, продолжал он. — Он так говаривал, бывало: «Хорошего богомольца, — говорит, — чем пригреете पहले всего? А тем: накорми его хорошенько да кваском особенным попотчуй — вот он и твой! А хор — дело десятое...» Десятое! — покрутил головой Иона, глядя добродушными, стариковскими глазами на молодую крестьянку, сидевшую почти против него за столом.

— Дело десятое! — повторил он, оборачиваясь к о. Порфирию. — Ну, с того и спросить нечего — такой версты человек: повар, поварской и смысл... А вот люди понимающие... Взять хоть владыку нашего. Муж, конечно, вельми книжен и духовен, божественного разума человек... А в пении, извините, ни бе ни ме...

О. Порфирий покачал головой, осторожно выражая удивление.

— Не любитель? — спросил он, дипломатически обходя резкость выражения о. Ионы.

— Ни бельмеса не смыслит! — подчеркнул Иона. — Я вам верный факт расскажу. Покойный Иоиль приложил к церковному пению столько тщания, как никто до и после

него. Регент был, прямо сказать, единственный! И все мы говорили довольно единогласно: столь красно и изрядно пение, что уж лучше требовать некуда... А владыка, представьте, послушал и говорит: «Орут, аки волове... Ты мне попроще... То и хорошо, что просто...»

О. Иона громко и непочтительно рассмеялся.

— Вот и подите. Человек исполнен благого любомудрия и учености, а суждение довольно детское даже... Верный факт!..

О. Порфирий все опасался, как бы это резкое суждение о владыке не было подслушано посторонними, и не без тревоги оглядывался на баб, сидевших за тем же столом. Но они, видно,нисколько не интересовались вопросом о пении и вели свой разговор о городских и монастырских впечатлениях. Все-таки, чтобы отклонить беседу в другую сторону, о. Порфирий мягко, с некоторым сожалением, сказал:

— Дискантов у вас маловато.

— Вовсе нет! — мрачно отвечал Иона. — Дискант голос нежный, его беречь надо. А в монастыре разве жалеют голоса? Целый день, без передышки, пой: утренняя, обедня ранняя, поздняя, панихиды, молебны... целый день! А голос — вещь нежная, береги да береги... Нынче он есть, а завтра нет его...

— Вещь деликатная, — согласился о. Порфирий.

— Всенепременно! Опять, ежели голосок и заведется, сейчас митрополит его к себе в хор берет... А то какой-нибудь церковный староста переманит, купец... В городских храмах замечательные бывают хоры, особенно ежели купец старостой... Нынче кто хорошо живет? Купец! У иного офицера, может, стола такого нет, как у купца... Еще стаканчик, отец?

— Нет, спаси вас, Господи! Сыт.

— Да, ведь это не хмельное, душевный мой. Вы же — человек дорожный.

— Все единственно. Напитался и очень вас благодарю, батюшка, пошли вам Бог доброго здравия... Душа меру знает. А тело — его не мешает алканием и жаждою утруждать...

— Э-э, — махнул рукой Иона, кашляя, — на все время и час...

Они помолчали. В шуршащем текучем говоре слышались громкие зевки, вздохи. Молодой голос рядом с о. Ионой с притворным сокрушением говорил:

— Господи, за нынешний день и нагрешила же!.. Не столько намолилась, сколь нагрешила...

— Гладкая корова! — равнодушно сказал другой голос.

— Да ведь кто ж его знал. Думали: в сам деле, прозорливец. Махает рукой: «Зайдите». Зашли, а он за сиськи хватает...

О. Иона, прислушавшись, вздыхает, качает головой...

— Не все в монастыре спасаются, — покашливая и кутаясь в рясу, говорит он грустно. — Много идет к добродетельному житию, да мало ярем его приемлют...

— Могий вместити, — вздохнул о. Порфирий.

— Да, да... Иной раз думаешь-думаешь: вместить... Ежели все по уставу монашескому вместить, то и нет никакой возможности! Бес на каждом шагу стережет... Так подделает, что и не заметишь... Мысли, например...

— О, мысли — это... первый мятеж — мысли, — соглашается и о. Порфирий.

— Да. А попробуй — перебори! Многие и жизни даже решаются...

Они помолчали. Свои мысли были у каждого, которых ни побороть, ни людям передать не могли бы они.

— Брат один жил в пустыне, — поглаживая белую бороду, заговорил учительным тоном о. Иона. — Пустыня — место покойное от всякого смущения. Одначе бес мучил его, толкал на женское похотение. До той степени мучил — окончательно сил нет! Одолел... Н-ну, пошел, значит, он к о. Пахомию: так и так, авва... брань великая, непосильная... «А это, — говорит, — не диковина... — Пахомий говорит. — Не диковина... И не с жиру, мол, это, не от безделья... У нас тут скудость, место тихое, бесед женских нет... Не от лености, мол, ты сраждешь, а живет эта вся неприязнь от добродейния...»

Иона постучал средним пальцем по столу и упрекающим жестом качнул головой, глядя в глаза о. Порфирию.

— «Рать любодейния, — говорит, — на труд идет, на ожесточенное житие... Плоть наша свирепеет, — говорит, — от жизни доброй, а тут помыслы... А помыслами и страсть приходит... И бес по зависти пакости деет... Вот я, — говорит, — стар человек, сорок лет в скиту живу, а и поныне бес мне пакостит...»

О. Порфирий терпеливо дослушал этот неторопливый рассказ — знал он его и сам. Потом встал, перекрестился и поблагодарил Иону за гостеприимство и ласку.

— Так едешь?

— Пора.

— Ну, пошли, Господи, в добрый час... Бог благословит. Так если из нот чего хорошенького, не забудьте...

— Хорошо. Не забуду.

— Только и удовольствия моего осталось — ноты, — говорил Иона, идя рядом с о. Порфирием, покашливая и кутаясь в рясу. — Нот собрал добре. Народ у нас тут больше



из солдат. Людей образованных, понимающих в пении вовсе мало. Я вот регентом был. Пел в Ростове — голос у меня был беспредельный!

О. Иона ухватился за голову руками, зажмуриваясь от восторга.

— Беспредельный! — запахивая полы рясы, воскликнул он. — Верхнее *си* и даже *до* брал!.. Потом в слободе Николаевской хор поставил — там староста был любитель. В селе из кого набрать? Народ занятой, спевок мало, а я все-таки обломал...

Тихая ночь серебристая плыла над монастырем. Точно иней покрыл железные крыши — забелели они под робким светом молодого месяца. Глухо ворчал вдали город.

— По безродности вот пришел сюда, — говорил о. Иона у самого вагона трамвая, — и был грустен мягкий голос его. — Временами тосковал жестоко по родным местам, по миру — тесно тут душе... Сколько раз уйти хотел... Теперь уже здоровьем обнищал, недолго осталось... Ну, прощай, сердечный мой... Во имя Отца и Сына... Будь здоров... С Господом!..

#### IV

О. Порфирий вошел в вагон, перекрестился и поправил очки. В руке у него была плацкарта, на которой значился номер 8.

В первом купе сидела очень полная дама с двумя красно-волосыми девочками и старик с сизым носом и сизыми щеками. Старик и дама, разговаривавшие между собой на неизвестном языке, неприязненно поглядели на о. Порфирия.

«Чужие люди, — подумал он. — Может, и неплохие, но Бог с ними... пройду дальше...»

В следующем купе тоже все было занято — на длинных лавках сидело по двое студентов, у окна стояла дама в небьютнотой шляпе. О. Порфирий немножко оробел при виде молодых людей, за которыми хотя и числится ученость, но вместе с тем и слава не очень завидная установилась. Он бросил на них мельком взгляд, робкий и вопрошающий. Сидевший с газетой в руках бритый студент, похожий на актера, с горбатым носом и горькими морщинами около губ, — поглядел на него строгим, недоумевающим взглядом.

О. Порфирий почувствовал, что надо объясниться.

— Восьмой номер — это какое место будет? — спросил он, улыбаясь и склоняя голову на бок.

— Это именно здесь, батюшка, — сказал другой студент с

пушистыми белокурыми усами, делавшими его немножко похожим на кота. Бритый ничего не сказал и уткнулся в газету.

— Наверх придется вам, — улыбаясь и краснея, прибавил третий студент, очень юный на вид, коротко остриженный, с тем детским, торчащим вверх вихорком, о которых в деревне говорят, что их корова зализала.

— А-а... ничего, ничего... Спаси вас, Господи.

О. Порфирий присел рядом с ним, на самом кончике скамейки. Саквояжик свой хотел положить на одну из коротких лавочек у окна, но дама или барышня в необъятной шляпе строго поглядела на него через плечо, точно отгадывая его намерение. Он оробел под этим взглядом и поместил саквояж у себя на коленях.

Рядом с юным студентом, по левую руку, сидел молодой человек в штатском, веснушчатый, рыжий, скуластый, — судя по фуражке, тоже студент.

— Личности нет у студента первого курса, — говорил он молодым, свежим баском. — На него всегда могут топнуть, пригрозить: выгоним, мол, если зачетов не сдашь... Что он такое? Протоплазма без оболочки!

— Ну, положим! — возразил безусый студентик, сосед о. Порфирия.

— А на третьем курсе какой-нибудь, извините за выражение, сопляк, который куражится над первокурсниками, совсем иной человек!

— Чем дальше, тем лучше — это всеконечно, — сказал студент с усами. — И экзаменуют совсем иначе.

О. Порфирий поглядел на них с уважением: ученые люди. Он все еще не мог победить робости, но молодые лица их казались ему очень приятными, мягкими, добрыми и в то же время значительными, освещенными серьезной мыслью.

— Ну, а как Петровский? встречал? — спросил усатый.

— Петровский? — Рыжий студент коротко усмехнулся. — Пьянчужка стал. Совсем алкоголик. Кавалер ордена зеленого змия...

Звякнул два раза звонок. Рыжий встал.

— Ну, значит, всего хорошего, — сказал он тепло и грустно. — Счастливцев ты, Ванька! — прибавил он, целуясь с юным соседом о. Порфирия. — Едет домой, подлец, к мамаше... а?.. на все лето!.. Ну, Алексей, а риведерчи! бувайте здоровеньки!..

Он громко плепнул ладонью по руке усатого, поцеловался с ним и пошел к выходу.

— Кланяйся Шейнису! — провожая его до двери, говорил студент с усами.

— Счастливые подлецы!.. имеют возможность домой!.. — слышался басок у окна, не у того, около которого стояла барышня в огромной шляпе, а у первого от двери.

Барышня через окно говорила с провожавшими ее людьми, из которых о. Порфирию иногда была видна очень благовоспитанная, округленная мужская фигура в котелке. Иной раз барышня в шляпке быстро, вполборота, оглядывалась в сторону о. Порфирия, и всегда после этого он слышал радостные, тихо повизгивающие восклицания, обращенные на платформу:

— Эмма! Эмма! Ком гер!..

И потом следовал залиvistый смех, тонкий, хлебающий, от которого о. Порфирий чувствовал почему-то немалое смущение.

Прозвенел третий звонок. Тронулся поезд. О. Порфирий перекрестился. Барышня в шляпке, покивав кому-то головой, отодвинулась от окна и села. Следы смеха тотчас же сбежали с ее лица, и стало оно сухим, серьезным, деловым. Студент с усами, высунувшись из своего окна, кричал:

— Пиши, Лев, не ленись!

Должно быть, рядом с поездом бежал рыжий студент — слышался его басистый, смеющийся голос:

— Счастливые черти!..

— Полным ходом! курьерским! — смеясь, кричал студент с усами.

— Со скоростью настоящих спортсменов!! Ну, прощай, Алеха!..

— Кланяйся Шейнису!

О. Порфирию не было видно, как убегал город, но по огонькам предместий он догадывался, что скоро Днепр, мост и с моста можно будет бросить последний взгляд на Лавру, на Подол, на Фроловский монастырь, где он простился с матерью. Когда поезд замедлил ход, о. Порфирий, преодолевая робость, подошел к окну, около которого сидела барышня уже без шляпки, и взглянул в том направлении, где должны были находиться места, столь близкие теперь его сердцу.

В темноте на горе он скорей угадал, чем увидал печерские церкви — темные силуэты в робком блеске близкого к закату месяца. Перекрестился. Стал искать глазами Подол. Электрические огни молочными каплями пестрили берег, но ни монастыря, ни кладбищенской церковки не было видно. Лишь родимое лицо, сухенькое, все в морщинах и слезах, всплыло над этими огнями и неподвижно поглядело тоскующим взглядом вслед уходящему поезду. И опять о. Порфирий долго и за-

ботливо поправлял очки на носу, почувствовав себя совсем-совсем одиноким на белом свете.

Он сел. Но долго не мог ни на кого взглянуть, сидел с закрытыми глазами, удерживая досадные самовольные слезы, которые медленно, но упорно выползали и застревали на ресницах. Подрагивал, покачивался вагон, и в ровном, мелком дребезжании его стоял говор. Глухо сыпался шум колес под полом, словно там, внизу кто-то неугомонный торопливо пилил короткой пилой или зачерпал и сыпал, высыпал и снова черпал мелкий булыжник. А когда поезд пошел быстрее, он — тот, подпольный — поперхнулся и закашлялся:

— Ах-ах-ах... ах-ах-ах...

— Иван, кипяточком запасся?

О. Порфирий, не открывая глаз, по голосу уже знал, что это говорит студент с толстыми усами, похожий на серого кота-мурлыку.

Голос рядом с о. Порфирием говорит:

— Кипяток есть, да стоит ли возиться?

— Почему — нет?

— Поздно.

— Лучше поздно, чем никогда.

О. Порфирий слышит: встал Иван, его сосед-студент. Потом зашелестело женское платье. Что-то легкое, шелковистое, мягкое задело по лицу о. Порфирия. Он открыл глаза. Барышня, сидевшая у окна, сняла свое легонькое пальто из чесучи и тянулась руками к полке, на которой лежали ее вещи. Смугловатое лицо ее с темными бровями без шляпы было проще и приветливей, чем под шляпой.

— Могу я вас попросить, — обратилась она к о. Порфирию с изысканной улыбкой, голосом немножко слащавым, каким говорят, кажется, только одни немки. — Могу я вас попросить достать мне... как это... чемоданчик... здесь?..

— Которое? — испуганно поднявшись, спросил о. Порфирий.

— Вот здесь... вот-вот... этот... да, да...

Она говорила *та* вместо *да*, *фас* вместо *вас*, и выходило это у ней мило, застенчиво. О. Порфирий снял ей небольшой, довольно потертый, очевидно, выдавший виды, чемоданчик старого фасона, окованный железными обручами.

— Мерси.

— Ничего, ничего, — покорным тоном сказал о. Порфирий.

Барышня раскрыла чемоданчик, вынула книгу с оторванной обложкой и пестрый шелковый шарф, покрылась. Под

шарфом темные брови ее выделялись резче, и лицо стало как у гречанки. Она переложила с одного места на другое какие-то коробочки, флакончики. И затем о. Порфирию пришлось опять устраивать чемоданчик на прежнем месте.

— Ах-х!.. пляхотару фас!.. — слащавым голосом сказала барышня.

— Ничего, ничего...

О. Порфирий смущенно кашлянул в руку и сел. А барышня как-то особенно быстро углубилась в книгу, как будто ничего окружающее не представляло для нее ни малейшего интереса.

— Тебе наливать, Иван? — спросил усатый студент, обращаясь к юному соседу о. Порфирия.

— Наливай.

— Да ты, может, не хочешь?

Студент с усами подмигнул о. Порфирию — в серых веселых глазах его искрилась добродушная насмешка.

— Наливай, наливай...

Иван достал с полки небольшую корзинку из щепок, увязанную веревками по всем направлениям, и осторожно поставил ее на лавку.

— Гляди, Иван... Ежели хочешь, налью...

— Эх, черт возьми, разохлась... Подержи-ка, Алеха... Тише, тише...

— Что у тебя тут? бомба?

— Адская машина. Рассохлась...

— Рассохлась — дело телячье, — сказал деловым тоном Алеха.

Они осторожно развязали корзину, достали провизию и занялись чаепитием. Алеха, студент с пушистыми усами, оказался общительным человеком, веселым.

— Вы, батюшка, чайку не желаете ли?

— Нет, спаси вас Господи, — поспешно, смущенным голосом, ответил о. Порфирий.

— Выкушайте! Чай есть.

Студент, не дожидаясь согласия, налил стакан и протянул о. Порфирию пакетик с сахаром.

— Да напрасно вы это...

— Чай же есть, все равно выливать, — сказал студент очень убедительно, и все засмеялись — даже барышня, которая казалась совершенно углубленной в свою книжку.

О. Порфирий, сконфуженный и растерявшийся, не имел сил отказаться, боялся обидеть молодого человека. Взял стакан и кусочек сахара.

— Я вот все слышу у вас разговоры: Столыпин, Столы-

пин... — сказал он, осторожно наливая чай на блюдце: — А что он, этот Столыпин, из каких? Какими он выбран?

— А вы про Столыпина не слыхали?! — изумился бритый студент.

— Слышать слыхал... — О. Порфирий громко откусил кусочек сахару. — Идут там у нас разговоры... между молодыми послушниками. Сойдутся, сцепятся — водой не разольешь: один — свое, другой — свое... Шумят, шумят... Скажешь им: не монашеское, мол, это дело, ребята... Ну, да разве послушают... Есть крикуны — не дай Бог! Иной раз до такой краски дойдут — беда!..

Он неторопливо допил и еще налил чаю на блюдце.

— Он кто же, этот Столыпин?

— Вы, отец, пожалуй, и про Толстого не слыхали? — сказал студент Алексей.

— Ну... не слыхал! Слыхал!

— Как же вы его мыслите? — Студент весело подмигнул о. Порфирию. — Небось еретиком?

— А как же... еретик! — с простодушной убежденностью сказал о. Порфирий. — Бога отвергает, свое евангелие написал — как же не еретик?

— Погибший человек?

— Это уж в руке Господней... Может, по неизреченному милосердию своему, Господь и помилует...

О. Порфирий вздохнул. Допил чай и опрокинул стакан на блюдечко вверх дном.

— Спаси вас, Господи! — перекрестившись, сказал он и передал с поклоном стакан студенту Алексею. Вытер бороду ладонью и, чувствуя к студентам особое расположение, — славные ребята, но, вероятно, по молодости лет склонны к легкомысленным увлечениям, — сказал: — Мало ли их было! вот Арий также... Арсений диакон... пропали, как черви! Стали прахом... А праведники вон как прославились, — с сожалением и грустью в голосе прибавил он. — А про Толстого Феофан-затворник сказал: «Это искра из ада вылетела...»

Студент Алексей с комическим ужасом зажмурился и выставил руки вперед, как бы защищаясь. Все засмеялись. Засмеялась и барышня, но тотчас же уткнулась в свою книгу. Алексей обратился к ней с неожиданным вопросом:

— А что это значит, барышня: *Liebling*?

Она подняла от книги свои коричневатые глаза, улыбнулась. О. Порфирий заметил при этом, что один зуб у ней, с левой стороны, запломбирован золотом.

— Это... мм... это... как это?..

Она пощелкала длинными, тонкими пальцами правой руки, подыскивая нужное слово.

— Лю-пи-мчик! — воскликнула она с немецким выговором: — Вы не говорите по-немецки?

— Найн! — с ужасом замотал головой студент Алексей.

— Очень жаль. Я по-русски... как это?.. не о-чень... — протянула она тонким, угасающим голосом, прищурившись и кокетливо склоняя голову на бок. — Я понимаю, а не все умею сказать...

— Этого и достаточно! Лишь бы понимали, а слов много не потребуется...

И опять все рассмеялись, а о. Порфирий немного смутился. В шутовском тоне студента и в словах послышался ему какой-то нехороший, скрытый смысл. Потом это прошло, стало легко, занимательно, весело и душевно в этой молодой компании, точно собрались тут люди, не то что давно знакомые друг с другом, а самые тесные, самые близкие и задушевные приятели. Порой казалось ему, что таится опасность тут, в этом веселье, смехе и свободном обращении есть искушение: многоголетняя сеть беседа женская, и женские взоры, и смех звенящий... Мельком пробежала мысль: если хочешь целомудр быть, не беседуй с женой, не давай ей дерзновения взирать на тебя, да не будет устрелено стрелой вражьей твое сердце... Женская беседа — великое волнение, потопляющее корабль.

Но сердце отворачивалось от этого сурового напоминания — было приятно и увлекательно молодое, беззаботное и беззлобное веселье.

— Это — Мопассан... «Gher ami», — сказала барышня, перелистывая книжку.

— А-а, Мо-пас-сан! Слыхал... Ничего себе писатель...

Студент покрутил ус и подмигнул.

— Gher ami... а по-немецки — Liebling...

— Вот какая история!.. Иван, что ж ты такой большой вырос, а за собой прибрать не можешь! Какой же ты Liebling после этого? Уложи посуду, поставь корзину на место!.. Так вы, значит, Мопассана... того... — уважаете? — обратился снова к барышне студент.

Барышня опять склонила на бок свою хорошенькую головку.

— Я люблю читать всегда что-нибудь такое... чтобы весело было... и о любви...

— Ммм...

Студент помотал головой:

— А Толстого если? Как, одобряете? Вот отец не очень его...

— Толстой? О, я его обожаю! — восторженным тоном воскликнула барышня.— Но, к сожалению, читала мало. «Войну и мир» немножко... Но там слишком много про войну...

— Да неужели?

— Я про войну не люблю... Хотя Militäg... я... очень люблю!..

Она рассмеялась и конфузливо закрылась книгой. Засмеялись и студенты. О. Порфирий решил, что они только притворялись несколько минут незнакомыми между собой и с барышней, а на самом деле, конечно, давно и коротко знали друг друга. Иначе, откуда такая скорая, веселая, брызжущая смехом беседа, полная неувимых, скрытых намеков и остроумной игры? Даже бритый студент, с такими серьезными складками около губ и строгими глазами,— и он отмяк, оказался человеком милым, общительным, совсем не сердитым, как думал о нем первоначально о. Порфирий.

Барышня без конца кокетничала. Говорила тонким, замирающим голоском, склоняя голову на бок, прищуриваясь, делая глазки. Часто смеялась, всхлипывая и закрываясь шарфом или книгой. Роняла то гребенку, то шарф, то книгу. И когда студенты бросались поднимать оброненную вещь и отталкивали друг друга, о. Порфирий нагибался, крикая, себе под ноги, доставал растрепанные листы книги или смятый платочек и подавал их всхлипывающей от смеха барышне.

— Мерси... Пляхотору фас!..— певучим голосом, в котором дрожал счастливый смех, говорила она, касаясь длинными, тонкими пальцами руки о. Порфирия. А один раз схватила и пожала его руку: — Я фас никогда, никогда не запуту!..

И смеялась вместе со студентами, показывая с левой стороны запломбированный золотом зуб. А у него сердце сжалось тревожно и сладко...

Когда иссяк источник бойкой и веселой болтовни о любви, студент Алексей, смеясь одними глазами, сказал:

— А вот отец — Толстого недолюбливает! Еретик, — говорит.

О. Порфирий приложил ладонь к животу и мягко, тоном извинения, отозвался:

— Как же не еретик — свое евангелие написал.

— А вы читали его евангелие? — спросил бритый студент...

— Книги праведников читать надо. По их книгам, мы должны... того...— О. Порфирий замаялся, затрудняясь выразить свою мысль.



— Почему — праведников?

— Потому что на них дух святой был...

— Откуда это видно?..

— Как откуда? — О. Порфирий слегка завозился на месте, но тотчас же вернул спокойствие. — А дар чудес? По водам ходили... плавать не умели, а ходили... Немошных исцеляли, слепым глаза давали, хромым ноги... Демонов отгоняли... Всякие скорби решали... А вы говорите: откуда? О. Порфирий победоносно улыбнулся и с приятельским сожалением оглядел студентов. — Самуиловы кости... кости! — воскликнул он, грозя пальцем вверх, — и то пророчествовали, а вы говорите: Толстой... Толстой остроуму ума на премудренные умствования обратил и... шпибся...

О. Порфирий вынул из кармана значительных размеров клетчатый платок и отер пот со лба. Барышня встала на лавку и сняла круглую деревянную коробку, в каких возят шляпы. Студенты бросились помогать ей. В коробке была провизия. Барышня достала пакет с апельсинами и принялась угощать своих спутников. И о. Порфирию предложила. Он замотал отрицательно головой, поблагодарил, отказался. Но она настаивала на своем. Достала апельсин и ловко подбросила его вверх, как раз на о. Порфирия. Он смущенно расставил руки и подхватил апельсин, чтобы не упустить его на пол.

— Это вы напрасно! Спаси вас, Господи... Только напрасно, — бормотал он в крайнем смущении. — Я к этому не привычен...

И пытался вернуть апельсин, но барышня отводила, смеясь, его руку, и опять от прикосновения ее нежных, ласковых пальчиков в его сердце отозвалась тревожная и сладкая тоска. И опять вспомнилось ему суровое слово Евагрия — монаха о женском беседовании, как оно преломляет сердце и будит в нем неподобающее желание...

— А что, как вы, отец? — как будто угадывая его мысли, спросил студент Алексей, сдирая кору с апельсина. — Как вы к миру? влечения не имеете? никогда не приходилось скучать?

О. Порфирий не сразу поборол смущение. Стыдно было сознаться и солгать тяжело.

— Нет, в мир меня не тянет, — тихо сказал он, ни на кого не глядя. — Наезжаю иной раз к брату в деревню, на Пасху. Переночуешь, да и назад скорей. Не правится мне в миру...

Он помолчал и прибавил тихим голосом, в котором звучала нежность и теплота:

— У меня и мамаша в монастыре. Вот приезжал проведать. Старенькая...

И он вздохнул долгим, тихим вздохом, вспомнив согнутую фигурку в темном возле монастырской кладбищенской церкви.

— А вот иные из монашествующих очень уважают... этак в веселое место куда-нибудь... — сказал студент Алексей, крутя пальцами в воздухе.

— Бывает, — грустно сказал о. Порфирий. Помолчал, потупившись, и прибавил: — Иной в миру жил разбойником, а в монастырь придет, живет как ангел. А другой тих был, а в монастыре вольнее стал жить... Из певчих вот есть — у-у, беда!..

Студенты съели все апельсины у барышни. Потом поставили на обсуждение вопрос: что делать дальше? Пассажир из соседнего купе, подстриженный в скобку, прилаживал верхнюю полку для спанья, с громом передвигал что-то, ронял, подымал и горестно ахал.

— Спать разве? — сказал бритый студент.

— Ну вот! — огорченно воскликнул студент, называемый Иваном. — Что вы, никогда в жизни сна не видали, что ли?

Решили играть в преферанс — у бритого были карты. Барышня села рядом с Иваном, а о. Порфирий перешел с своим саквояжем к окну, занял ее место.

— Я скажу — раз! — воскликнул студент Алексей, нахмурившись и водя по носу своими пушистыми усами.

— Пас!

— Ваши!

— Позвольте прикупку, Маргарита Карловна.

Студент Алексей крикнул, переставил с одного места на другое карты, бывшие у него в руке, снес и тоном большого снисхождения сказал:

— Бубны... просто...

Потом запел гнусавым голосом:

— «Не думали, братцы, мы с вами вчера-а»...

— «Что нынче умрем под волна-а-ми»... — подхватил жиденьким, искусственным баском студент Иван.

— Эх, Иван! такой ты большой вырос, а не понимаешь... Под играющего надо с маленькой!

О. Порфирий издали внимательно следил за игрой и слушал пение. Потом задремал. Под полом кто-то пилил, сыпал, кашлял: ах-ах-ах... ах-ах-ах... За окном чернела ночь, качалась яркая звезда низко, над самой землей и, словно округлые кусты цветущей вишни, пробегали мутно-белые клубы пара. Вагон подрагивал и укачивал. Закрывались усталые веки и,

как дождь по крыше, чудился долгий, рокочущий гул города, далекий звон, и песня слепцов, и шорох тысячной темной, пестрой, усталой толпы... С усилием открывал глаза о. Порфирий. Барышня через плечо заглядывала в карты к Ивану. Ее темные, немножко завитые, должно быть, волосы как будто касались его свежей, покрытой светлым пушком щеки...

Избегал смотреть на это о. Порфирий, но одолевали мысли о женской близости и ласке, и было что-то колдовское в их греховной неотвязности, — как сладкий яд, томили они сердце. Голос внутри сурово остерегал: «Горше смерти женщина, ибо она — сеть, и сердце ее — силки, руки ее — оковы... Не желай красоты ее, и да не увлечет она тебя ресницами своими, — может ли кто взять огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его?»...

О. Порфирий вздыхал. Навязал прочно он на персты свои эти слова писания, твердо помнил их, а вот коварно вьется в сердце что-то необычное, волнуемое, беспокойное... манит и грозит душе язвой, грозит тревогой и смутой. И бежал бы, да некуда...

— Я думаю, не лечь ли мне поспать? — сказал он робко.

— Как вам будет угодно! — с комической стремительностью, не поднимая головы от карт, сказал студент Алексей.

Подняли полку для о. Порфирия — все хлопотали, толкаясь и смеясь. О. Порфирий снял клобук и остановился в размышлении, держа его перед собой.

— Не знаю, куда бы положить, — сказал он.

— А вот сюда, на полку, — указал студент Иван.

— Да как бы не унесли...

— А кому он нужен?

— Да мало ли насмешников... Для смеху кто-нибудь и стянёт...

Потом он тяжеловато взобрался на свою полку, саквояж продвинул под голову и, не раздеваясь, лег. Свет фонаря бил ему прямо в глаза. Доносились снизу голоса играющих, иногда как будто звуки какой-то возни, всхлипывал смех девичий.

— «Не ду-ма-ли, бра-а-тцы, мы с вами вчера»... — начал тонким голосом Алексей.

— «Что нынче умрем под волна-а-ми»... — басом подхватывал Иван.

— «Ти-ри-рим-там... ти-ри-ри-тим-там-там... та-та-там...» — напевала барышня, когда смолкали студенты.

— Матчиш? — спрашивал голос бритого.

— Да. Это моя любимая пластинка на граммофоне... Вы мне очень напоминаете одного моего знакомого. Вы не немец?

— Кто? Иван? Кутейник! — отвечает голос студента Алексея.

— Ужасно он напоминает! Две капли!..

О. Порфирий подвинулся к краю полки и поглядел вниз. Ему видны были серьезные, сосредоточенные лица бритого студента и Алексея, рука Ивана с картами и колени барышни.

— Как посоветуете: этой или этой? — спросил голос Ивана.

Знакомые тонкие пальцы потянулись с картами и побарабанили по королю треф.

«Эх, напрасно!» — подумал о. Порфирий и неожиданно для самого себя сказал дружески указующим голосом:

— Ходи хлапом! Крестовым хлапом край!

Поднялись молодые головы к нему. Веселые глаза, приятельские кивки, широкие улыбки...

— Отец, отец! — весело погрозил пальцем студент Алексей.

О. Порфирий смутился и спрятался.

— Ну, Иван, ты уж большой, пора своим умом жить.

Было неловко и беспокойно лежать о. Порфирию. Саквож углами и ребрами давил шею и затылок, ноги в неуклюжих монашеских сапогах торчали наружу, и когда кондуктор или проводник проходили по вагону, то цеплялись за них головой и бранились. Свет фонаря бил прямо в глаза...

Не спалось. Смутной печалью ныло сердце. Что-то давно потерял, так давно, что в памяти стерлось, что именно, а вот жаль стало, так жаль, что заплакал бы, склонившись головой к близкому человеку. Но нет его, близкого, — давно одиноко и голодно сердце...

...Я вас никогда, никогда не забуду... И ручки такие нежные, тонкие, и пахнет так хорошо от нее... Никогда не забуду... Забудет, конечно, — не той версты человек я, чтоб помнить обо мне долго... Суров и нерадостен путь мой — забудь поскорей...

И кажется ему, что давно уже едет он в вагоне, в этом неудобном положении, чужой окружающим людям, никому не нужный, — едет, и конца не видать пути, а позади, далеко-далеко, осталось все, что грело и скрашивало жизнь: родной угол, близкие по плоти, понятные люди, и тепло, и ласка, и уют... Гремит, качается вагон, несет к неведомой, темной пристани, а под полом кто-то усталый, покорный, терпеливый пилит ровными взмахами, и мерно жужжит пила...

Жужжит пила... Сквозь тяжкий звук, сухой и однотонный, порой чуть слышны иные далекие звуки, точно с неба звон струнный долетает... Вдохнет — певучий тихий вздох поевет над землей, и нет его, растаял, смолк. А сердце взволновано уже трепетным и сладким ожиданием: молитва? песня? Опять... Словно капля из летнего белого облачка упала на колокол, и чуть слышный звук задрожал на мгновение в тихом, знойном полудне...

«Номер седьмой Бортянского! Херувимская... — подумал радостно о. Порфирий. — Но как далеко! как хорошо! и как знакомо все кругом!..» Зеленые лужки Вифании и солнце яркое, и лес, и белые цветочки, и в белых полкафтанах послушники... Косят. Взмах — жужжит-звенит коса, далекий хор поет, чуть слышный, волшебный хор, за белой оградой обители. А может быть, не там. Быть может, яркий день, день летний звучит это тихим звоном струнным — необозримый хор его незримых мошек, пчелок, мушек...

Звенит-жужжит коса. Вернулась юность, ясная, певучая... Машет косой и он, легко и бодро... Он — не Порфирий, смиренный монах, а Игнатий-послушник, парень свежий, веселый, немножко томящийся избытком здоровья. Машет косой Игнатий, кладет ряд ровный, к дороге подходит, а по ней вереницы богомолок бредут. Как цветы в зеленом море, яркие платочки их... Загорелые лица девушек оборачиваются к нему, долго смотрят — бойкий, смешливый взгляд... Улыбаются, что-то говорят... Но жужжит-звенит коса, и зорок чуть прорезанный глаз у рыжего о. Мартирия, наблюдающего за работами...

Вот остановилась одна. Прикрыла смеющийся рот концом сиреневого платочка, но светится ласковой улыбкой скуластое лицо. Знакомо оно необыкновенно — особенно белые эти брови, простодушно расходящиеся вверх, и милые такие, нехитрые, изумленно радостные глаза голубые...

— Игнатий, вы?

Глядит он, глазам боится верить: неужели девушка с родной стороны? Да, да... Только на его стороне родной бывают такие льняные волосы, выбивающиеся из-под платочка, и такой простецкий, пухлый, полуоткрытый рот и ширококостые, мило-неуклюжие девичьи фигуры... Глядит. Смутился, не может сказать ничего...

— Не признать: бородой зарос...

— Дуня?

— А, угадал! Пиши расписку домой...

Милая девушка с родной стороны! Затрепетало сердце, забилось — живая весть с родной стороны, где детство

промчалось, скудное, голодное, но звонко-резвое и ясное, все затканное золотым светом весны, согретое зноем лета, украшенное свежим серебром веселых зим; где дорогие остались могилы и воспоминания о ласке матери, о песнях деревенских, о мире, шумном, суетном, покинутом, но не забытом и сердцу близком мире...

Недолго постояла она, и мало слов сказали они друг другу — все оглядывался он в сторону о. Мартирия. И вот она уходит — мелькает сиреневый платок и лента голубая в косе, — вот-вот утонет в зеленой зыби монастырских лугов. Машет он косой. Жужжит-звонит коса, дрожит и плачет сердце... Оглянулась, кивнула головой... Девушка с родимой стороны, прощай! Не оглядывайся, не посылай жалеющей, ласковой улыбки, сестра моя родная, не тревожь сердца...

Жужжит-звонит коса, тоскует сердце... Мир зовет... Нет сил пребороть его соблазн нарядный, обаянье красоты его, привязанностей, утех и радостей... И страшен грех. Смеется бес, и дразнит, и толкает... Оскал зубов сверкает, злорадный прыгает огонь в глазах...

— Игнатий... Игнатий... — зовет девичий голос...

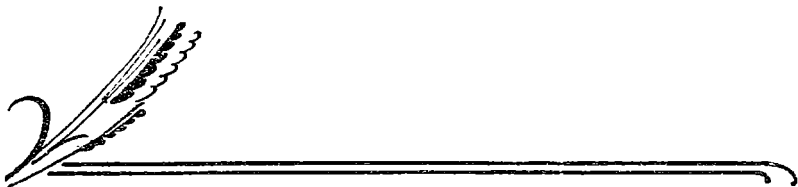
...Проснулся о. Порфирий. Фонарь горел еще, но в окна глядел уж голубой рассвет. Вагон гремел, покачивался. Не слышно было голосов внизу — уснули, верно, молодые люди.

О. Порфирий осторожно спустился с койки. Студент с усами меланхолически похрапывал, склонив голову на бок, а бритый опрокинулся навзничь, холодно серьезный и важный. Ивана не было в вагоне. Не видно было и барышни.

О. Порфирий постоял, поглядел в окно, помолился в ту сторону, где обозначалась робкая полоска зари. Вышел за дверь и еще раз помолился на церковку, забелевшуюся вдаль, за зеленым скатом полей. Через опущенную раму наружной двери забегал ветерок, пахло дымком, зелеными хлебами, и разлит был кругом веселый шум несущегося поезда.

У другой двери, опершись локтями на опущенную раму, касаясь плечами друг друга, стояли студент Иван и барышня. Они не видели о. Порфирия и не слышали его, пожалуй, хотя и кашлянул он предупредительно, — о чем-то своем говорили они, глядя в зеленый простор влажных полей, любуясь переливами зари в белых лужицах-болотцах, похожих на осколки зеркала.

— ...Сподоби меня, Господи, возлюбити тя, яко же возлюбих икогда той самый грех... — отыскав глазами убегающую назад церковку, прошептал о. Порфирий, а слезы потекли по щекам, по бороде, тихие слезы печали смутной и жалости к себе, к сиротству своему и одиночеству...



## МЕЧТЫ

— Самоуправный народ — русские... до того самоуправный — просто говорить не остается! — повторил несколько раз укоряющим тоном Роман Ильич, отставной сотник.

Он сидел на пустом ящике из-под мыла и в своем древнем офицерском пальто похож был на копну посеревшей от старости соломы. Когда он говорил, то мотал головой, словно отгонял надоедливых мух, и черная тень от его лохматой папахи размашисто мигала от двери к потолку по блестящей жести банок с халвой и, казалось, наспех ревизовала левую половину лавки.

Шишов, Федот Иванович, хозяин лавки, румяный, солидной комплекции господин, молча нализал на мочалку сухие, твердые, как камень, крендели, завязал ее в узел и встряхнул связку. Крендели звонко заговорили, как пучок пустых кубышек.

— Вот вы попрекаете нас, Роман Ильич, — с снисходительной мягкостью полированного человека сказал он, подавая связку, — а я имею честь предъявить вам, что совершенно напрасно. С людей беру по шести, с вас кладу по пять с половиной. Одиннадцать копеечек-с... два фунта... Русский народ стнюдь не самоуправный...

Роман Ильич, принимая покунку, тоже слегка встряхнул ее и окинул примеривающим взглядом. Крендели сноза издали короткий, сухой звон. Обвинение русского народа в самоуправстве, в сущности, направленное лично против Шишова, который назначил было сперва цену за крендели слишком высокую, как показалось Роману Ильичу, — теперь падало само собою. Положим, уступка, которую он сделал, не Бог весть как значительна, но она сделана в такой подкупающей форме, — сотник был отличен от «людей», — что дальше возражать против цены было просто неловко. Роман Ильич сказал примирительно:

— Ну, запиши там...

Шишов ловким движением, за самый кончик угла, выбросил на прилавок длинную долговую книгу, разыскал стра-

ницу с фамилией сотника Евтюхина и старательно вывел: «2 фу. кре. 11 ко.»

Потом вытер перо о волосы и сказал:

— Вы говорите, Роман Ильич, что, дескать, самоуправный мы народ — русские...

Он говорить любил и умел говорить занимательно, чисто, свободно и искусно. Лукавый огонек добродушного зубоскальства дрожал в его глазах, когда он обращался к сотнику. И легко-насмешливая, сдерживаемая веселость невольно передавалась также другим посетителям лавки. Их было еще трое. Бородатый казак Ерофей Маштак поместился у двери, на куче поддосок, шкворней и железных лопат; агент фирмы Зингера Попов, носивший бумажные воротнички, сидел против сотника на мешке с ячменем (Шишов принимал в уплату за товар не только звонкую монету, но и продукты местного производства), а в самых дверях стоял коротенький мужичок Ферапонт Тюрин.

Они сходились сюда каждый вечер, на огонек. Стояли длинные, безмолвно-черные ночи осени с долгим, беспокойным сном в душевной тесноте закутанных жилищ и с нудной бессонницей, рождающей одинокие, бессильно-тупые, однообразные и тесные мысли, беспорядочные и нерадостные воспоминания, от которых уставала голова и бессильная досада надолго застревала в сердце, — нелепые грезы о том, чего никогда не бывает и не будет. В таинственно-черном мраке думы о жизни, окутанной бесконечной цепью неизбывных будничных забот, недостатков, суеверных страхов и усталой злобы, походили на грузные мешки-пятерики с песком, которые с безмолвной медлительностью наваливались на грудь, давили голову и тисками сжимали сердце. И ночь казалась бесконечной, как сказочное темное подземелье с запечатанным выходом.

Спасаясь от этих бессонных ночей, они шли коротать вечер в лавку. Здесь был свет, — плоский, небольшой язычок огня дрожал, вытягивался и коптил в висячей лампе, — не яркий огонек, но по улице, закутанной в сырой, пугающий мрак, далеко было его видно. Был табак, который Шишов представлял бесплатно посетителям лавки, в расчете, может быть, на привлечение покупателей. Льготной махоркой особенно широко пользовались Ферапонт и Ерофей Маштак. Они курили безостановочно все время, пока были в лавке. Была, наконец, беседа — иногда вялая, но иногда занимательная, нередко шумно-веселая, с крепкими шутками и раскатистым хохотом.

Тихая, несложная жизнь станицы, туго изменяющаяся,



бедная событиями, мало давала пищи для обмена мыслей. Зато безгранична была область за рубежом станичного юрта. И хотя они не знали, какая жизнь там шла, но были уверены, что жизнь эта удивительна, разнообразна, интересна и богата. И они особенно любили толковать именно о том, чего не знали: о замыслах царей, о колдунах и мертвецах, о диких людях. Если кто-нибудь из них вдохновлялся и начинал передавать обрывки где-то слышанного, украшая их собственной фантазией и выдавая создания ее за действительность, — они охотно верили ему, лишь бы рассказ был хоть немного гладок и интересен... Мало ли чего на свете не бывает!..

А иногда молчали. Курили и с равнодушно-усталым, полусонным видом прислушивались к редким, случайным звукам, которые рождались под плотным рядном черной осенней ночи. Вот зашуршал мелкий, неторопливый дождик, пошентался минуты три, прошелестел, как кудрявый тополь листвою, и тихо ушел дальше, убедившись, что грязи в станице достаточно. Пролаяла скучливо собака. Наверно, прикорнула где-нибудь на гумне, свернувшись кренделем, спит и только изредка, не поднимая головы, подает голос, обмануть хочет: не сплю, мол... Журавец проскрипит над колодцем. Кто-то не спит еще. Должно быть, девки на сиделки у кого-нибудь собрались...

Когда становилось скучно молчать, Шишов начинал вышучивать смирного Ферапонта. Ферапонт был человек очень маленький и ростом, и социальным положением. Все привыкли глядеть на него сверху вниз, так как он, несмотря на серьезную бороду, почти весь ушел в неуклюжие сапоги с широкими, как лопухи, голенищами. На веселонравие собеседников он не обижался — привык и считал, что это лишь от скуки, «для разгулки времени».

Осторожно подтрунивали и над старым сотником — Роман Ильич был господин серьезный, даже суровый. Как единственный офицер в станице, он привык к почету, не терпел конкуренции и ревниво наблюдал за тем, чтобы его чин знали и помнили, чтобы в церкви никто раньше его не подошел к кресту, чтобы при встрече ему давали дорогу и снимали перед ним шапки. Но умом был простоват, как все старинные люди. Жизнь он прожил долгую. Хотя она не была разнообразна и богата событиями, но за восемь десятков лет накопилась достаточная куча, из которой он по временам извлекал кое-какие обломки на потеху своим слушателям, сам не замечая, что забавляет их своей первобытностью.

И так они убивали врага своего — время, тихо и ровно

разматывавшее клубок их несложной жизни, в которой радости были редки, мелки и незavidны, а беспомощно-тупая скука, нужда и печали слишком привычны, чтобы на них долго останавливаться мыслью.

— Самоуправный, дескать, народ... — повторил Шишов, и в голосе его слышался играющий смешок. — Значит, обвиняете вы нас с Ферапонтом, не иначе... Мы с ним тут русские, а вы трое будучи казаки... Хорошо-с. Это еще не голос. А вот позвольте вам наоборот возразить насчет казаков: как ваш батюшка — царство небесное! — Ермак Тимофеевич жил, разбой держал, так и сейчас этот самый манер не вывелся...

— Ну, нет, брат, сейчас казаки дисциплину знают! — строго и с достоинством возразил сотник.

— А я вам на это имею честь возразить следующим примером: воп у меня в горнице висит сейчас картина, и на ней разные народы, какие под нашей державой состоят. Но почему казаков там нет? Объясните вы мне, сделайте милость! Значит, поэтому они в списке у царя не состоят?..

Роман Ильич посмотрел вполуборота на Шишова слегка озадаченным взглядом человека, не быстро соображающего, но склонного к обидчивости, и враждебным тоном возразил:

— Не может быть! Хвастаешь, должно быть?

— Извольте поглядеть, ежели не верите... Звания нет!

Смех прыгал и в глазах и в голосе Шишова, и похоже было, что вот-вот он брызнет из него кипящим фонтаном и захватит всех присутствующих.

Бородатый Маштак, закулив сигарку и выпустив клуб дыма, который сразу закутал почти всю лавку, поспешил на выручку к замямшемуся сотнику и сказал успокоительно:

— Они при его лице служат, он их и так знает.

— И без списка! Верно... — благодарным голосом воскликнул Роман Ильич и сочувственно ткнул связкой кренделей в сторону находчивого Маштака: — Верно!..

Лохматая папаха его закивала торжествующим жестом, и черная танцующая тень от нее запрыгала к потолку.

— Это верно! Правильно! А вот вы, русские, также и хохлы, об вас без списка того... и позабыть можно...

— Вы нас, стало быть, с хохлами равняете? Это даже обидно!..

Шишов небрежно-ловким жестом отбросил долговую книгу в ящик с подсолнухами и уперся кулаками на прилавок.

— Позвольте вам на это возразить из истории. Как в самой древней истории сказано, что русского вылепили из серой глины...

— Прочный материал! — заметил в скобках Ферапонт, сооружавший гигантских размеров цигарку.

— Из серой глины... А хохла — из пеклеванного теста...

— Хохол — дурак! — тоном безнадежного сожаления сказал сотник.

— Да... Так из пеклеванного теста его, — продолжал Шишов неторопливо, с манерами опытного повествователя. — Ну-те-с, хорошо-с, из теста... И, стало быть, на этот случай прибегла собака... Прибегла к тому делу собака, спалапа хохла и проглотила. Проглотила — бежать! И сколько бежала, все хохлами...

При неожиданно-звонкой рифме, созданной пряным словом, сотник затрясся от смеха, и живот его, как студень, долго еще колыхался даже после того, как дружный, залистый общий хохот других слушателей смолк и они ждали продолжения.

— На конец того дела, вдарилась она об угол, и выскочил из ней хохол с плугом, — продолжал Шишов.

— И з волами? — спросил Попков, подражая малороссийскому выговору и давясь от смеха.

— И с волами. Вот отколю они все на волах-то ездят!..

И когда Шишов кончил свою забавную историю, в которой с несомненностью доказывались все генеалогические преимущества русских, т. е. великороссов, перед хохлами, — все смеялись долго, до усталости, сперва разом, а потом наблюдая некоторую очередь: кто-нибудь вспоминал отдельный эпизод, подсыпал крепкое замечанье, остроту, и опять из лавки в насторожившуюся темноту выскакивал раскатистый залп прыгающих звуков и звонко разбежался в оба конца немой улицы.

Потом как-то разом смолкли. Сизыми клубами полз вверх, к лампе, дымок. Крепкий запах табаку сливался с запахом копченой шемайки и дразнил голодное воображение. Золотая полоска света из дверей протянулась через всю улицу и на противоположной стороне выхватила белый угол старой хатки до соломенной крыши, низкий плетень и вывеску с гигантской буквой З, укрепленную над обвисшей калиткой. Светлый, разостлавшийся по земле квадрат похож был на кусок новой парчи. На нем яркими блестками играла и пряталась вода в углублениях и колеях растоптанной дороги и серели матово-шелковистыми узорами, отбрасывая тени, высокие безмолвно-грозные, разорванные борозды черной осенней грязи. А за гранями, — направо и налево, дальше и выше, — висела немая, неподвижная темь, охваченная сонным оцепенением. И кто-то оттуда сторожко крался,

прислушивался, затаив дыхание, и глядел внимательными очами на тусклый огонек лампы.

— Это верно... хохлы — они мягкий народ, — сказал сотник, потрясая мохнатой папахой. — А вот вы, русские... у-у, дьяволы, сурьезные... да что за натуральная нация!..

Он поковырял клюшкой по серому наследенному полу, вспоминая что-то из своего минувшего.

— Раз меня в Дубовке... ну так обидели, так обидели... Давно, лет пятьдесят прошло, а вспомню и — сейчас руки аж чешутся!

— Вы по этому случаю на всех русских и сердце имеете, ваше благородие? — почтительно заметил Ферапонт. — Дубовские, значит, виноваты, а мы, шацкие, отвечаем!..

— Все вы одной бабки внуки! — Сотник энергично взмахнул связкой кренделей, и они опять звонко прогремели, сообщая коротким сердитым звуком особую убедительность его словам.

— А что главное — правильности нет! Норовят кучей на одного насесть, а не то, чтобы один на один... Мне не то обидно, что били... Бей, пес с тобой, ну бей по закону! Я люблю, чтобы правильность была во всем...

Роман Ильич строго, вполуборот, посмотрел на Ферапонта воинственным взглядом, ожидая возражений. Но Ферапонт не возразил, а, отвернувшись из вежливости, выпустил заряд дыма по направлению к улице и затем изобразил на своем лице самое почтительное внимание. Сотник провел костью по темному, грязному полу прямую линию, — жестикаляция часто опережала у него слово, — и голосом старой грусти начал:

— За досками мы ездили, значит. С фурами. Железных дорог тогда не было — на быках. Наклали фуры — я, по грешности, в харчевню: выпью, думаю, на дорогу шкалик...

— Для дороги это вещь полезительная, — одобрительно заметил агент Попков.

— Ну, понятно! — с некоторой стремительностью присоединил свое мнение и Ферапонт.

— Да, не вредит, — согласился Роман Ильич. — Ну... взошел. А их там, этого мужичья, руки не пробьешь! Галдят, у стойки сбились в кучу. А у меня воза стоят, некогда до смерти. И все-таки я — офицер, само собой... «Посторонитесь!» — говорю. «Чаво посторонитесь? Ка-кой широкий! Сам посторонись!» — «Дайте дорогу, — говорю, — я офицер!» — «Мы из тебя не видим, офицер ты или нет, а за свои деньги в кабаке каждый шаровариться может». Ну, я в те времена помоложе был, на руку проворен. Ах, ты, думаю, му-

жицкая твоя морда! Развернул — чирк одного в сопатку! Он на ж... Подались. Я тут другого. Он и к двери. Бежать?.. Стой, думаю, не уйдешь! Сердце во мне дюже разгорелось, и зачал я их тут ссланивать — кого в едало, кого в пузо, кого в затылок... Мужичье!.. Только какой-то подлец — не знаю как — подкатился мне под ноги, я и выстелился через него. Ну, тут уж они все на меня... И, пока наши от возов-то прибегли, они мне сыгнули!.. И будь бы у них понятие, ежели бы не все кучей лезли один на другого, — каждому хотелось поскорей вдарить, — то аминь бы тут мне был... ей-ей. А то они сбились надо мной, суют руками, а размахнуться негде, без толку все... Тем и спасся! Кровь была, а так пятно чтобы где — ничего не было!..

Роман Ильич с победоносной улыбкой оглянулся на своих слушателей, и они каждый по-своему выразили свое радостное изумление. Шишов издал тонко-свистящее шипение: тссс... Маштак добродушно загнул многоэтажное слово по адресу несообразительных дубовских мужиков, а Попков коротко сказал: «Галманы!»

Ферапонт покрутил головой и затем осторожно, тоном извинения, заметил:

— Да ведь на своей стороне, понятное дело, там стены помогают... Тоже нашего брата тут у вас мало ли учат?

— И правильно! — сказал Маштак добродушно-грубым тоном. — Ваш брат тоже... вроде жида на нашей стороне... Придет, к примеру, в лаптях, в одних портках, глядишь — через месяц у него сапоги амбургского товару, триковый пиджак, штаны по журналу шпиты... А все плохо им! Сунься-ка мы к вам — вы утрете скоро! Вон их благородие — офицер, и то не постеснялись...

Маштак немножко издевался, подтравливал Романа Ильича. Старый сотник поддавался на этот прием и переходил от общих положений к натиску на самого смиренного представителя великорусского племени. Ферапонт же был очень удобен для таких невинных потех. Но на этот раз сотник пошел стороной. Героические воспоминания разбудили в нем дух тщеславия, и он не без хвастовства воскликнул:

— Ну, я и сам в долгу не остался! Не-ет! Я тоже одному после того вложил... Чтобы он знал да помнил обед да полдни...

И рассмеялся очень довольным смехом.

— Дегтярь... Тоже из дубовских...

Он сделал продолжительную паузу, потупился, почертил клюшкой по полу, покрутил головой и снова рассмеялся, — забавное было воспоминание.

— От обедни иду... воскресенье как раз было. Народ, конечно. Шинель на мне с капюшоном. Николаевская, офицерская. Вот он и едет. «Дегтю! Дегтю!..» — «Стой! ты отколь?» — «Дубовский, ваше благородие». — «Ты дубовский?!» — «Дубовский»... Зараз я шинель с себя долой, повесил ее к Митрий Иванычу на ворота. «Ты дубовский?!» Развернул, к-как дам ему сюда! Он брык с дроз! Картуз — в сторону, виски кучерявые, как у старого барана. Вцепился я в них и зачал водить... Водил-водил. — «Ваше благородие, помилуйте!» — «А-а, сукин сын! по-ми-луйте? Закажи своим дубовским, как донского офицера бить!» — «Ваше благородие! ни в жизнь пальцем никого не тронул!» — «А-а, не тро-нул?» — «От рода жизни! Нитнюдь!» — «А меня кто утюжил, такой-разэтакий?» — «Впервой вижу вас, ваше благородие! Помилуйте! Кто другой разе, ну никак не я...» — «Не ты, так твой брат, не брат — так сват, не сват — так кум, одна категория!..» Опять вожу. Аж устал... Ну, выпустил. Как вскочит он на дроги и по-шел! Как оглашенный... Лошадь справа-слева кнутом, марш-марш! Без шапки, без всего! Только и видать, как лошадь нахлестывает...

Роман Ильич затрясся от смеха и зашипел горлом. Порой он останавливался на мгновение и, задыхаясь, быстро выговаривал:

— Виски у него... патлы-то... раскудлатились во-во как... я всеми десятью в них... Водил-водил... Ты дубовский, говорю...

Шишов, весь багровый, качался вперед и назад, кланяясь прилавку, и в глотке у него бурлил и клокотал водопад, а на ресницах блестели слезы. Маштак сынал крупную, басистую трель, и было странно, что из его огромной бороды вылетает такой горох рассыпчатых и проворно скачущих звуков. Попков беззвучно трясся тощим телом, и, в такт подпрыгивающим плечам, из носа его отрывисто и быстро вылетали один за другим маленькие клубочки табачного дыма. Ферапонт чихал, кашлял, крутил головой и повторял, держа двумя пальцами сигарку, как камертон, вровень с ухом:

— Кабы знатье, не надо бы признаваться ему, что дубовский...

— С той поры небось не показывается в станицу? — отдохнув от смеха, спросил Шишов.

— Да вряд!.. А ежели и покажется: «Я — не дубовский», мол... — ответил за сотника Ферапонт.

— А ты, Ферапонт, не дубовский? — трясясь от смеха, спросил Попков.

— Не, не дубовский... — под общий смех поспешно отказался Ферапонт.

— То-то, гляди! — рассыпая свой крупный горох, проговорил Маштак. — А то их благородие... того... видишь, костыль какой?

— Нет, гляжу я, ты — дубовский? — задыхаясь от приступа смеха, едва выговорил Попков.

— Я — шацкий... Мы не виновны в их благородии...

— Ну, шацкие — ребята хватские: семеро одного не боются, — благодушно заметил Роман Ильич. — Но тоже... у меня смотри в оба.

— Чтобы не выскочили из лоба! — подхватил Маштак. — А он, ваше благородие, все под вашу землю целится!..

— Да! Верно, верно! — подтвердил со слезами на глазах, весь багровый, Шишов: — К чему, говорит, офицерам участки? Они все равно не работают ее, а я бы ее к делу произвел... Отобрать бы, — говорит...

— О-то-брат? — Роман Ильич насупился и сделал свой воинственный полуоборот в сторону Ферапонта: — Вот, на!

Три толстых пальца сложились в известную комбинацию и вместе с клюшкой устремились по направлению к Ферапонту.

— Ишь ты, умник! Пра-а, умник!.. Я заслужил, а ему отдай... Мужуку? Это за какие же заслуги?..

— Шутят это они, ваше благородие, — оправдываясь, сказал Ферапонт, с некоторым опасением поглядывая на клюшку сотника. — Это вроде смеху у них...

— Ты что же это, я вижу, брехунами нас хочешь перед людьми поставить? — притворяясь обиженным, возразил Шишов. — Скажешь небось, не говорил про землю?

Ферапонт смутился.

— Было дело, конечно. Но разве это всерьез? Это лишь мечты, это так себе, для разгулки времени. Ведь вот и сотник, например, толкует часто о царстве небесном, а кто же скажет, что он попадет туда? С таким животом в рай не пролезешь: ворота узки... Ну, и о земле тоже. Поговорили, и только... Много ли беды от этого?

— Я, брат, заслужил себе землю. Поди заслужи, и у тебя будет участок, — сказал Роман Ильич строго-наставительным тоном.

— Не те времена нынче, ваше благородие, — вздыхая, сказал Ферапонт. — Нынче войны стали серьезные, хитрости большой надо. А тогда как служивали? Какое оружие было? За виски друг друга да под ножку — вот и вся война. А ныне поди-ка! Он тебя вон отколь цепляет... за сколько верстов!

— Н-ну... нет, брат, серьезно дрались и тогда. Ты дума-

ешь, я страху не видал? Еще как Господь вынес! Вспомнишь — мороз по коже... Офицерство-то не даром тоже досталось!

Опять прошлое с его героическими очертаниями всплыло перед глазами Романа Ильича и разбудило в нем задор неудержимого самопрославления. Он повесил на руку свою связку кренделей, придвинул ее к локтю, сложил ладони на изгибе клюшки и уперся на них животом. На толстом лице его появилось выражение торжественности.

— Через кобылу чуть не пропал, — сказал он, — понизив голос, как бы по секрету. — Была кобылка у меня гнедая... иноходная... через нее! Урядником еще тогда был. Ну, значит, не судьба пропасть. Даже офицерство получил. Прозвели...

Он кивнул Ферапонту головой с наивным хвастовством: вот, мол, как! И засмеялся. Засмеялся и Ферапонт. В самом деле, было смешно, что эта толстая, сырая, медлительно-важная фигура в сером пальто и в шапке с красным, обшитым позументом верхом, простовато-смешная на вид, могла когда-то не только усидеть на лошади, но даже ограждала отечество, подвергалась опасности, совершала геройские подвиги...

— Сели мы, значит, обедать, — грузно вздыхая, продолжал сотник. — На биваке, разумеется. Наварили мяса, борщ в котлах, само собой... Сели. Ну, только за ложки — тревога! Бац-баб-бац-бац — из лесу! У, будь ты трижды анафема! Сила-то его и не очень велика, видать: стрелять стреляет, а в атаковку опасается... Ну, что делать! Все к лошадям, понятное дело, котлы опрокинули, и по ложке проглотить не пришлось. Гляжу я: куски мяса в котле, да какие куски! во-о... жирные, с хрящиком, самая грудинка! А есть хочется — кожа трещит! Фу, думаю, зря пропадет такое добро... Скорым маршем сейчас кусков с пяток — в сакву: годятся! Перекинул сакву за седло — лишь вскочить успел: как понесет моя кобыла! Как пойдет чесать! Как пойдет! Сбесилась и — кончено дело! Пошла и пошла! Да ведь ка-ак? Пуля пулей! Прямо на них, на венгерцев... Пропал! Читаю «Живый в помощи», пику уронил, шапку и выхватить не успел, — обеими руками тяну поводья, — шумлю, не помню чего... Одно слово — пропадаю! Ветер зеленый в глазах, ничего не вижу... Чую только, что прямо с размаху в них влетел — как загомят кругом! Голоса своего не слышу!.. Один секунд и — нет уж их... упустили! В зад в ихний, значит, вылетел, — не успели схватить, — и пошел чесать дальше! И пошел! Пульки две над самым ухом — жик! жик! А я чешу!.. Ведь это рассказывать-



то долго, а там — ну, не больше минуты было... просто и плюнуть бы не успел... Ну и кобыла, будь она неладна! Такой яд... Ракета, а не лошадь!..

— Ну, как же вы, ваше благородие, назад-то? — притворно изумленным и немножко льстивым голосом спросил Ферапонт.

— Да приехал, и только. Обскакал верст пять — вот и опять на своих наткнулся. Не чаяли даже в живых видать, а я — вот он. «Отколь, — командир говорит, — в тебе такая отчаянность, Евтюхин?» — «Не могу знать, ваше высокоблагородие...» А сам уж после додул, что кобылу-то свою мясом я прижег — с того и сбесилась... Ну, Господь... Никто, как Господь...

— Значит, быть живому, — солидно заметил Маштак.

— Да, значит, не помереть, — заключил и Ферапонт.

— А ты все говоришь: за что господам земли много? — с оттенком упрека сказал ему Роман Ильич. — За что им земля? Вот поди-ка послужи... Ты страху не видал? А-а, то-то! А я его знал... да...

— Посади его на эту кобылу... — весело скаля зубы, сказал Поиков, и опять клубочки дыма стали выпрыгивать из его носа один за другим.

— Упал бы! Ей-Богу, упал бы! — подхватил Шишов тонким голосом, и долго сдерживаемый смех вырвался у него свистящим потоком.

— Упал бы! — с уверенностью сказал Роман Ильич, и живот его опять задрожал, как студень.

Ферапонт хотел возразить, но воздержался, ничего не сказал.

— Так-то, друг! — постукивая костылем, сказал сотник. — Господская земля — она потом-кровью досталась. Кровью взята, кровью и отдастся. А так, чтобы зря получить, не на-дей-ся! На чужой каравай рот не разевай, а пораньше вставай да свой затевай!

Ферапонт, начиная чувствовать себя, действительно, человеком без всяких заслуг и потому виноватым, проговорил смиренным тоном:

— Да я и то... не того... Я на вольные земли все думаю. В Сибирь... Вот весны дожусь. Весна вскроется, уеду!

И он внимательно занялся новой цигаркой. Роман Ильич посмотрел на него опять вполуборот, но не вспиственно, а просто удивленно, с усилием туго соображающего человека, потом сказал:

— Куда-а тебе... с детьми!

— С детьми и идтить, — уверенно, сквозь стиснутые зубы,

не выпуская сигарки, сказал Ферапонт. — У меня четверо. А там по пятнадцати десятин на душу...

— Это что же? Да ты чистый помещик будешь! — с испугом воскликнул Шипов.

— Очень просто! Пять душ, например, — участочек добрый!

Ферапонт давно грезил вольными землями. Но все как-то так выходило, что он оставался в станице, жил в саманной избушке, мерз, голодал, перебивался кое-как и в осенние вечера, если не было работы, приходил на лавку, чтобы утешиться хоть бесплатным табачком.

— У попов восемь коров, у дьякона девята... закуривай, ребята! — уныло шутил он перед каждой сигаркой и уходил из лавки последним.

Несмотря на то, что он был специалист по многим отраслям ремесленного знания, — летом рабатовал на кирпичном заводе, осенью пертняжил, зимой валял валенки, — заработок его был неизменно скуден и, главное, грешил почти таким же непостоянством, как военная удача. Бывали дни, когда вся семья Ферапонта существовала лишь на ту добычу, которую приносила из церкви его теща: старуха становилась на паперти, и если у кого-нибудь в станице случались поминки, то перепадало кое-что и на долю фамилии Тюриных. И в иные счастливые дни на столе Ферапонта появлялись даже остатки лапши и сладкого пирога с черникой, куски студня, блинцы, а то и пять-шесть леденцов-монпансье. Не часто, конечно, это бывало, но бывало. Старуха обладала и умением выпросить, и — при случае — даже проворством рук. Золотая была старуха!

Но эта подсобная статья слишком явно отзывалась капризной случайностью и непрочностью, подобно зыбкому мостику из старой ольховой жерди, переброшенному через речку Прорву. Мечты о лучшей жизни, самостоятельной, прочно независимой, с запасцем, с большей уверенностью в завтрашнем дне, постоянно носились перед Ферапонтом в образе земли. Хотя он и не был коренным земледельцем, — с детства он переходил от одного ремесла к другому, — мысль о земле не оставляла его в покое. Земля являлась в его воображении в чудесном образе волшебной скатерти-самобранки, которая по одному хотенью да по щучьему веленью предоставляет в минуту все: и хлеб, и вино, и елей, и гамбургские сапоги, и лапшу с курицей, и кашемировый платок Лукерье, и собственный самовар, и валенки ребятишкам. Когда далеко в стороне — не на Дону — проходила полоса аграрного движения, Ферапонт жадно прислушивался к его отголоскам,

долетавшим и сюда, в степной уголок, и смутно надеялся, что подошло, в самом деле, время, когда мечты его о земле, наконец, облекутся в плоть. Что ж тут невозможного? Много ли, в самом деле, ему и надо-то? Хоть бы половину супротив казаков... Одно время он готовил мешки, собираясь вместе с компанией других голодных мечтателей сделать «забастовку», т. е. погром на новой мельнице Вебера, — муки очень надо было. Но предприятие так и не вышло из области предположений, потому что не нашлось студента, который был необходим, по общему мнению, для руководства. Пришлось утешать себя лишь слухами о нарезке...

Потом и слухи эти как-то вдруг схлынули так же быстро, как быстро они поднялись на гребень взбудораженной народной жизни. И все опять вернулось к тому, как было. Уныло потянулась серая полоса дней, полных нужды и случайностей. А беспокойная мечта о лучшей жизни, более основательной и сытой, — как червь все-таки копошилась в смиренной голове и металась от одного фантастического плана к другому. Все они основаны были на непреложных фактах действительности, но все походило на чудесный, легкий сон...

Вон Тараска Вершинин принес из полка большие деньги. Всего четыре месяца послужил — и семьсот! Говорит, в карты выиграл. Врет, должно быть? Обворовал или ограбил кого-нибудь. Но что же невозможного и в карты? Можно выиграть! Бывает, фортунит человеку... И тотчас же пылкая фантазия начинала рисовать Ферапонту, как он сел играть в карты с этим самым Тараской и обыграл его: взял эти семьсот, затем купил у Барабона хату с двух теплых за 230, покрыл ее железом и над воротами воздвиг вывеску с надписью под изображенным на ней коричневым сюртуком: «Мастер Ферапонт Степаныч Тюрин». Два подмастерья у него, сам третий. Машина стучит, весело лязгают ножницы, шипит по смоченной материи утюг, песня выбегает на улицу.

Во слободке молода вдова живет...

Чем не жизнь? Если обыграть Тараску... Жаль, сесть не с чем, а то бы обыграл — плевое дело! Обыграть ничего не стоит...

А то вот совсем в руках был случай... Года два назад кучер Кочеток вытащил у Романа Ильича чулок с золотым. Вытащил и зарыл в песок на косе. Но когда, отсидевши в остроге свой год и четыре месяца, он пришел опять на косу, то никак не мог разыскать место, где зарывал деньги. Покопался, покопался в песке и ушел с пустыми руками. А девчата нынешней весной купались и напали на эти самые

червонцы сотника. Тоже хорошо поджились. А ведь он, Ферапонт, сколько раз на этом месте стоял и даже сидел. Если бы знать... Ну, да подойдет и его полоса. Почему-то он уверен, что непременно найдет чулок с золотыми. Ну, чулок не чулок — кубышку. Попадаются также старинные горшки с серебряными рублями, с крестовиками. Надо лишь знать, где покопаться. Ефим Широкий говорит, что в курганах этого добра — сделай одолжение! А он знает, у него есть книга «Черной и белой магии». Что ж, копать мы можем, это дело наших рук...

Хорошо еще, если под год хлеба засеять побольше. Только угадать, какой хлеб в цене будет. Вот сейчас пшено до двух рублей дошло. Ежели, скажем, десятин шесть-семь заметать, да ежели вокруг Троицы пройдет добрый дождь, то по сто мер считай на десятину! Шестьсот-семьсот мер, на пуды это близко к тысяче... Ведь это куча денег! И каши — ешь — не хочу!.. Беспременно надо посеять побольше проса. Эх, если бы земля!..

Раз в казенной винной лавке Ферапонт увидел на стене большой лист с двуглавым орлом.

— Что за афишка? — полюбопытствовал он.

Сидельцы прочитали ему: говорилось там о вольных землях в Сибири. До этого Ферапонт думал, что удобнее переселить на вольные земли господ: их поменьше, и они как будто не так семьянисты, как мужики. Но господа, по-видимому, упираются против переселения. А глупы: про вольную Сибирь так хорошо расписано в афишке под двуглавым орлом. Ферапонт махнул рукой и произнес:

— Уважу... переселюсь сам...

— Вон Спирия поехал новых местов искать да жену там похоронил... назад идет, — сказал сотник предостерегающим тоном.

— Ну, у меня баба корпусная, не скоро помрет, — с уверенностью отвечал Ферапонт.

Он не врал. Лукерья была почти вдвое выше его и кость имела широкую, богатырскую. Ферапонт и она казались мало подходящей парой друг другу, но сложились так обстоятельство, что безродный Ферапонт был удостоен вниманием Лукерьи и вошел в саманную хату Гугнихи законным зятем. Не раз, правда, на первых порах ему приходилось слышать ссоболезнующие разговоры соседок с Лукерьей:

— И плохенького мужишку ты нашла себе, Луша!

На это Лукерья трезво-практическим тоном отвечала:

— Ничего. Лишь бы шапка на голове была... Хорошего-то возьми, а он все пропьет да в орла проиграет. Вон у Колобро-

дихи одни стены остались. А казак-то какой: из-под ручки поглядеть!..

Ферапонт был мужем удобным во многих отношениях. Угловатая, смуглая до закоптелости Лукерья, с крупными чертами рябого лица, не рождена была пленять сердца и сама была глубоко равнодушна по части нежных чувств. Но нужда полуголодного существования еще до замужества заставила ее стать жрицей богини любви. Выйдя за Ферапонта, она тоже не стеснялась в способах заработка. Тело ее — большое и мягкое — находило своеобразных любителей красоты этого сорта. Раз в неделю приглашал ее мыть полы в своем доме вдовый батюшка о. Никандр, и каждый раз Лукерья уходила от него с лишним двугривенничком, против условленного пятиалтынного, да с десятком белых мятных пряников. Заходили иногда подгулявшие казаки, приезжие хуторяне, — с своей водкой и закуской. Ферапонт очень охотно угощался с ними, быстро хмелел и смирно засыпал за столом, предварительно извинившись перед всеми собеседниками за то, что скоро ослаб. А гости после этого поочередно разделяли в чулане его супружеское ложе. И после нескольких таких визитов Лукерья могла пойти в лавку к красноярцам Скесовым и купить своим ребятишкам по рубаше. Заветной мечтой ее было собрать рубля четыре и начать тайную торговлю водкой — хорошие барыши можно было бы выручать... Но это тоже оставалось лишь мечтой.

— Сторона холодная — Сибирь, ребяенок поморозишь! — сказал опять Роман Ильич, и похоже было, что хотел он остановить Ферапонта, как будто жаль было ему потерять обычного собеседника, такого удобного и безобидного: над ним и смейся сколько хочешь, его и выругать свободно, и нравouchение сделать можно...

Ферапонт выпустил заряд дыму по направлению к улице и равнодушно-спокойным тоном сказал:

— Ничего. Тут скорей кабы не замерзнуть... Тоже нажитки-то не первой гильдии.

— А чем плохо? Ведь живешь? Кормишься? Еще детей какую кучу развел!

— Кормлюсь. Два дня не евши, третий так...

— Нехай едет! Нам просторней будет! — сказал Маштак, и Ферапонту показалось, что в насмешливо-суровом голосе его звучит все-таки досада и сожаление о том, что он, Ферапонт, решил покинуть станицу.

— А я тебя чем стеснил?

— Да маячишь тут, в глазах... Шел бы в свою Рассею, в город Шацкый...

— Шацкие — ребята хватские... — засмеялся сотник, крутя головой.

— Кабы у меня земля там была, — возразил Ферапонт печально.

— Земля, земля!.. Чего ты из ней будешь кроить? Ты су-жет о земле имеешь, как портной, безо всякого понятия. Это надо соображать, что такое, например, обозначает земля! Есть ее не будешь, землю...

Ферапонт немножко оробел перед сердитым натиском Маштака и слабо возразил:

— Есть... едят, что ль, ее?

— То-то и я говорю! К земле надо большое приложение иметь. Нужна скотина — раз; плуг, борона, коса — два; а там — каток, веялка, арба да бечева, да сбруя — три... К земле, брат, много надо. Голыми руками ее не всковыряешь! Прикинь-ка на счетах, как это обойдется?

— А без земли? Ну-ка, ты поди без земли-то пощеголай!

— И даже с удовольствием. В стражники уйду. Месяц прошел — подай полсотни! А там, глядишь, какой двугри-пенный и набезит... А в моей земле какой толк? Солонец, глина, выпашь. Ржавь одна. В людях хлеб, а у меня хлебишко. Ворочаешь-ворочаешь горбом, и нет ни черта ничего! Вот по пятнадцать мер с десятинки взял — все тут; и на семена, и на емена. А ты что? У тебя деньги горячие: поковырял, скажем, иглой — вот она, полтина, дай сюда...

— Горячие деньги! Они горячо идут, горячие деньги. Глядишь: рубах нет... Рубахи взял — хлеба! Хлеба взял — дров! Так оно и идет: вертишься всю жизнь, как черт в ру-комойнике...

— Неужели у тебя залогоу нет про черный день? — уди-вился сотник, и в голосе его слышался снисходительный упрек сытого человека голодному за то, что он голоден.

— Отколь же ему быть, залогоу, ваше благородие? — сказал Ферапонт, деликатно улыбаясь над наивностью вопро-са. — Ведь их у меня, ртов-то, вон сколько! Одни родятся, дру-гие помирают, а все на него расход. Уж рубля три, меньше не обойдется, когда родится: первым долгом — бабке, второ-е — за крестины, того-сего... А умрет — тоже за все запла-ти. Малому что? У него всего много, всем доволен... всем до-стоинством: и богат, и ни об чем голову не ломает...

— А в Сибири, думаешь, дешевле за это берут?

— Надобности нет. Там есть из чего. Там первым дол-гом, по приезду, дают две сотенных на хату да три сотенных на обзаведение...

— Н-ну?

— Ей-бо!.. У меня там дядя родной.

Ферапонт соврал про дядю, но так как он слышал эти фантастические цифры от другого такого же, как сам, мечтателя, у которого в Сибири будто бы действительно был дядя, то он теперь на время присвоил себе этого дядю для большей убедительности.

— Это хорошо, — сказал Роман Ильич с некоторым сомнением в голосе.

— Куды лучше! — согласился Ферапонт.

— На пятьсот можно даже очень порядочное дело развить не то в Сибири, а и у нас, — заметил Шишов.

— Первым делом построю хату... — вдохновенно заговорил Ферапонт, опуская глаза на огонек сигарки, отчего лицо его стало серьезно-соображающим. — Лес там дешевый, сделай милость — стройся! нипочем лес!

— Протяжной или круглый думаешь? — осведомился Маштак. Нельзя было угадать, смеется он или всерьез любопытствует: заросшее бородой лицо его всегда было немножко зверообразно, и мудрено было распознать на нем шутку.

— Не обожаю я протяжных домов — тонка большая требуется. Скруглим. Три теплых с колидором, в колидоре тальянское окно сделаю. Людей мне не просить, плотничать я и сам могу, тоже, топор из рук не вырвется... А из пятисот выгадать можно... Ведь земли-то — область!

Ферапонт сделал широкий жест сигаркой.

— На пять душ дадут: на четырех ребят да на самого, бабы в счет нейдут. По пятнадцать десятин! Это... это... Прикинь, Федот Иваныч, на счетах, сколько это выйдет? Семьдесят пять?

Ферапонт давно в точности высчитал, что семьдесят пять, но хотелось, чтобы и другие воочию убедились, что именно семьдесят пять, никак не меньше. И Федот Иваныч сразу знал, что семьдесят пять, но с небрежной легкостью привыкшего высчитывать человека щелкнул раз — другой на счетах и сказал:

— Семьдесят пять.

— Д-да... это цифра! — сказал Маштак почтительным тоном.

— Цифра! — с восхищением повторил Ферапонт. — Прямо область! Семьдесят пять!.. это ленточка добрая выйдет... пожалуй, раза три станицу покроет? Хороша будет полоска!.. Я к реке буду прибиваться ближе — там рыбные реки. В случае чего — ну-ка, ребята, бредень! К обеду чтобы свежая рыба была! Без варева чтобы и домой не показываться!.. Там ведь рыба-то: чебаки — во-о!..

Ферапонт отмерил на левой руке до самого плеча и посмотрел на всех победоносным взглядом.

— Фу ты, чтоб его болячка! В сам-деле, житье хорошее! — сказал Шишов восхищенным тоном. — Насчет рыболовства и я охотник... в сам деле...

— Что ж, приезжай! Удочки захвати!

Ферапонт выпустил клуб дыма, залиvisto рассмеявшись своей шутке, и восклицание Шишова решительно утвердило его в мысли, что земля его непременно должна примкнуть к реке.

— Ну, хорошо, — сказал Попков придиричливо, и чувствовалось, что ему как будто досадно будущее благополучие Ферапонта, в которое все, по-видимому, начинали верить. — Хорошо... А обзаведение?

— Чего обзаведения?

— Ну вот, например, плуг, бороны, арба... Ведь на круглый дом пятьсот — их обязательно уложишь. Это уж как ни верти! А лошадей, например, откуда?

— Лошадей? — Ферапонт на мгновение обнаружил как будто колебание, но затем решительно сказал: — Да, лошадей надо. Добрых лошадей. Плохих лошадей я не обожаю. Что они? Как она шкапа, так шкапа и есть. Ну, на первых порах найму спяхать десятин шестнадцать — все, глядишь, из урожая выручу что-нибудь. Опять же шитво: за зиму сотенную возьму? Там работы — не как у нас, там хорошие работы, а мастерового народу мало. Это не штука!

Он уверенным жестом сдвинул сигарку в угол рта, и всем показалось на минуту, что он стал и выше ростом, и внушительнее.

— Нам лишь бы земля, — прибавил он самоуверенно, — а там мы ее разделаем, уйди — вырвусь!..

Помолчали. Были, конечно, основания и для сомнений, но Ферапонт подавил всех необычно самоуверенным тоном и своим дядей, а потому никто не решился оспаривать его, никому не приходило в голову и обычного желания подсмеяться над необузданными мечтаниями. Только Попков спросил как будто не без подковырки:

— Ну-с, за чем же дело?

— Фиток не дают. Фиток такой требуется. Выправить фиток — и кончено дело! За дорогу четвертую копейку теперь берут. Только бумага требуется, без бумаги не дадут.

— Хлопочи.

— Хлопотал... К генералу ходил. Говорит: «Повременить надо. Предписание, — говорит, — будет на это. А пока повремени, зря не беспокой, нечего». — «Через это самое, — гово-



рю, — ваше превосходительство, и беспокойство наше к вашей милости, что мучицы нет, ребятенки кусок просят... незавидное больно житье наше...» — «Ну, потерпи, чего там! Все сделают по высочайшему указу». Что ж, потерпеть можно. Это — в наших руках. Делать нечего, повременим. Сорок два года времени, а уж еще год — куда ни шло! Пускай для круглости будет сорок три...

Он вздохнул и глухо прибавил:

— Одно вот — года проходят...

Грустная нота прозвучала в его уверенном тоне. И опять он стал маленьким и смешным мужичком, над которым удобно было потешиться. Только никому не было охоты. Как будто тень прошла по лицам. Видно, ни у кого года не стояли на месте, уходили, а призрак счастья, который когда-то, может быть, дразнил воображение, теперь потускнел и ушел еще дальше. Уходили года, незаметные, однообразные, тусклые, и не на что было с удовольствием оглянуться, ничего отрадного не видать и впереди. Все досадно-обычное, безнадежно-скучное и неизбежное: старость с нуждой, хворости и страх беспомощной заброшенности и ненужности.

Даже Роман Ильич, благополучный, казалось бы, старик, вздохнул протяжно и шумно. Покряхтывая, он тяжело поднялся с коробка, на котором сидел, и сказал:

— Идти, а то поздно будет. Старуха заложится, не впустит.

Шипов из вежливости сделал попытку остановить его:

— Что вы, Роман Ильич, восемь часов только!

— Нет, поздно. Пока повечеряешь, пока Богу помолишься. Я ведь две кафизмы на ночь читаю, — прибавил сотник тоном наивного хвастовства, которым иногда грешат благочестивые люди.

— Это пользительная вещь, — одобрительно сказал Шипов.

— Две. Всегда уж у меня положение. Иной раз ночью проснешься, бессонница, — встанешь, еще одну прочтешь... Ночь-то — год!

— С этой поры ежели залечь, не то за год — за два покажется!

— Да старуха, боюсь, браниться будет: вечерять ведь ждет... Время. Калун небось из печи уж вынула...

Широко отставляя костыль и гремя кренделями, сотник двинулся из лавки, но на пороге остановился.

— Ну, и калуны ноне Бог послал, да что-о за сладкие! — воскликнул он восхищенным голосом. — Просто мед, да и только! Живот аж болит, до чего сладкие! К ночи просто до

того распирает, беда! Станешь Богу молиться и... просто неловко даже за молитвой-то...

Роман Ильич благодушно заколыхал животом, глядя, как его собеседники при последних словах покатались со смеху. Поощренный дружным взрывом их веселья, он выждал, пока они насмеялись, и прибавил:

— Ну, выйдешь в чулан, постоишь — будто ничего... Долго-то стоять холодно. Вернешься, станешь перед образами и опять, глядишь, та же история... Просто грех один! Хе-хе...

И, под общий залихватистый смех, Роман Ильич, кряхтя и посмеиваясь, вышел на прилавок, широко расставляя ноги, далеко впереди себя нащупывая костылем коварно узкие, мокрые, загрязненные ступени крыльца. Постоял с минуту в раздумье, потом решительно шагнул в темную пучину, которая за рубежом света казалась бездонной, и тотчас же, поскользнувшись, мягко, почти беззвучно съехал вниз. Успел лишь крякнуть и произнести:

— Так и есть!

Было невысоко, и эта короткая поездка не сопровождалась каким-либо неблагоприятием. И в то время, как Попков, Федот Иванович и Маштак, не удержавшись на должной высоте благоприличия, залились беззвучным смехом, Ферапонт услужливо поспешил на помощь и, льстиво, хотя без толку, суется вокруг сотника, говорил тоном настоящего придворного:

— Позвольте руку, вашбродь... Измазались? Это не беда, ничего. Это не сало: помял — оно отстало... Так говорится. Дозвольте, я вас проведу, вашбродь, а то тут грязно... Глазами-то вы уже, никак, обнищали?

— Да, притупился. Спасибо, брат. Ну, доведи...

Ферапонт, деликатно поддерживая сотника за рукав, шагал медленно, с паузами, и всеми силами старался показать возможную предусмотрительность и осторожность. Прежде чем шагнуть, он долго прицеливался, вытягивал шею, разглядывал, потом делал широкий шаг с припрыжкой, удачный, как ему казалось, но, тем не менее, каждый раз угрожающий в жидкое месиво. Сотник тяжело шлепал вслед за ним своими глубокими кожаными калошами, придерживаясь иногда за его плечо и тыкая клюшкой в стены сараев, около которых они держались.

Усердие Ферапонта нравилось сотнику, даже трогало его. И как будто жалковато стало, что вот этот смиренный, маленький мужичок вдруг соберет свои жалкие пожитки и бросит станицу ради каких-то неведомых вольных земель. К чему они ему? Жил бы на месте. Ведь издали когда-то и станица

казалась ему вольным краем, а вот обманули же ожидания. Однако хотя сыт тут он и не был, но и с голоду люди не дали умереть. А там неизвестно еще, что ждет его.

И мягко упрекающим тоном Роман Ильич сказал:

— А напрасно ты, Ферапонт, на эти вольные земли вздумал. Ведь ты подумай: Сибирь!

— Нам и тут Сибирь, ваше благородие, — смиренным тоном сказал Ферапонт.

Мудрено было возразить на это, — утверждение Ферапонта имело за собой достаточно оснований, — и Роман Ильич сочувственным тоном посоветовал:

— А ты Богу молись! Вот и будет хорошо...

Ферапонт вздохнул. Помолчал. Потом сказал:

— Мучицы вот надоть — вся вышла, и взять не на что. Ребятенки кусок просят. Пометался к тому, к другому занять — не выпросишь. Под работу и то не дают...

Роман Ильич подумал, не делает ли Ферапонт подхода к его запасам, — у него была ветряная мельница, — и так как тоже не любил давать в долг, предпочитая наличные, то сухим тоном сказал:

— Под работу! Под работу дай да ищи тогда тебя... А за твою работу я тебя и сейчас ругаю: уузил ты мне штаны-то!..

— Да ведь по журналу, ваше благородие.

— По журналу! Мне не журнал требуется, а просторная форма! А то я их чуть не с мылом на себя натягиваю. Какая же это правильность в работе?

— Да ведь я, ваше благородие, не знал, что вы попросторнее обожаете, — слабо оправдывался Ферапонт. — Ей-бо... не знал... Как вы у нас офицер, а не то, чтобы наш брат чернородье, то я взял журнал у Лексея Лександрыча... По этому самому...

Насчет журнала Ферапонт слегка пригнул. В действительности он просто употребил часть материала на картузы своим ребятишкам. Журнал был привлечен просто для вырочки.

Они свернули за угол. Когда, после нескольких обдуманно-рискованных прыжков, они достигли ворот сотникова дома, Роман Ильич сказал:

— Ну, брат, спаси Христос. Молодец...

У Ферапонта была тайная надежда, что вслед за этой похвалой сотник скажет что-нибудь и насчет муки, но он о муке ничего не сказал. Прибавил только равнодушно-снисходительным тоном:

— Прощай, брат.

Ферапонт почтительно сдернул картуз и, кланяясь в спину сотнику, ответил:

— Счастливо оставаться, ваше благородие.

Калитка захлопнулась. Он надел картуз, но, продолжая стоять перед высокими воротами, прибавил:

— Покойной вам ночи, ваше благородие.

Все еще ждал, не раздастся ли хоть из-за калитки голос сотника: «Зайди, мол, завтра... посоветуемся со старухой, — может, отвесим с полпудика...» Но голос не раздался. Только слышно было, как сотник, кряхтя и стуча калошами, взошел на крылец, загремел щеколдой и потом, захлопнув дверь, стукнул изнутри задвижкой.

«Вот он теперь сядет вечерять», — подумал Ферапонт с некоторой завистью и представил себе, как толстая старуха, жена сотника, — она у него уже третья, двух изжил, — подаст на стол сперва мягкий, белый пшеничный хлеб, а сотник будет резать его на куски, произнесши предварительно: «Господи Иисусе Христе». Потом в белой миске с синими разводами появятся дымящиеся щи... Ферапонт явственно почувствовал соблазнительный запах от щей, от рыбы-малосола, поджаренной в подсолнечном масле, и легкая судорога пробежала у него в левой стороне живота, а рот наполнился влагой... Потом кавун, сладкий, как мед... А поужинавши, Роман Ильич станет кафизмы читать, громко икая, позевывая и благочестиво крестя рот. Хорошо читать кафизмы, наевшись и почесывая просторный живот...

Да, если бы у него, у Ферапонта, был такой почтенный живот, как у сотника, — и он читал бы на сон грядущий кафизмы. Научился бы! Что ж тут мудреного? Что невозможного? Разве не мог бы он, например, быть мельником?.. Ах, разлюбезное дело мельницу иметь! Только он предпочел бы ветряку водяную — небольшую, но водяную. Приятнее. Узенькая такая речка вроде Прорвы с зацветшей, покрытой плесенью водой, а над речкой вишневые сады и сизые, задумчивые вербы слушают, как колеса кряхтят, вода кипит и бурлит, и смотрят, как солнце ловит брызги, зеленые, как осколки бутылки. Хорошо!.. А рыба-то, рыба-то как играет на заре!.. Воза стоят, помолу дожидаются. Люди суетятся вокруг них с набеленными мукой лицами. И у него, у Ферапонта, большой живот и такой же внушительно важный вид, как у Романа Ильича; перед ним все почтительно ломают шапки, проникаясь уважением к его животу и карману.

— Молись Богу, и все будет хорошо!.. — наставительно скажет он какому-нибудь смиренному, бедному человечку, который будет просить у него в долг муки и порошчет на свою бедность.

А сколько народу будет у него и на него работать!..

Он засмеялся от удовольствия. Представил себе, как он будет везти с покоса рабочих на длинной фурманке, а они, свесивши ноги, скрестив на груди усталые руки, отчего покатые плечи их дугообразно согнутся, будут петь песни, довольные тем, что он обещал им по стакану водки. И следует: они махали косами, пока не потухла заря, и кончили-таки весь загон. Играй, ребята! Молодцы! Заслужили... Будет мерной постушью шагать, пофыркивая, крупный буланый мерин. Серебристое море хлебов матовым блеском будет струиться под месяцем. Ласковый ветерок радостно вздохнет в лицо медовым запахом скошенной травы. И песня, долгими, мерными вздохами вылетая из усталых грудей, будет плыть в загадочную даль, затканную тонкой дымкой серебристого тумана, и там замрет с сладким трепетом грусти...

И вереницы картин — одна другой богаче и соблазнительнее — плыли в темноте осенней ночи перед Фералоптом. Улыбка сморщила длинными складками его смешное лицо с лохматыми бровями и серьезной бородой. Беспokoйно-сладкое чувство нетерпения направило его шаги не домой, а к лавке Федота Иваныча: хотелось еще помечтать вслух о вольных землях и выкурить сигарку. Когда медлительные клубы дыма обволакивают окружающую действительность, мечтается особенно приятно, гладко и все кажется близким и возможным.

Но нет уже светлой полоски через улицу. Шишов закрыл лавку, чтобы не жечь зря керосину. Попков и Маштак, громогласно позевавши и посмеявшись над сотником, ушли домой. И кругом темно, немо, мертво-неподвижно. Чуть вырисовываются черные силуэты ближайших хаток, угадывается за ними линия сараев, а дальше — и впереди, и сзади — тесный, черный вал, непроницаемым кольцом охвативший сонный мир. И сколько ни шагай вперед, не выйдешь из этого заколдованного созданного мраком кольца...



## ЗЫБЬ

I

Пахло отпотевшей землей и влажным кизячным дымом. Сизыми струйками выползал он из труб и долго стоял в раздумье над соломенными крышами, потом нехотя спускался вниз, тихо стлался по улице и закутывал бирюзовой вуалью вербы в конце станицы. Вверху, между растрепанными косицами румяных облаков, нежно голубело небо: всходило солнце.

И хлопотливым, веселым шумом проснувшейся заботы приветствовало восход все живое население станицы. Неистово орали кочета; мягким медным звоном звенело вдали кагаканье гусей; вперебой бляели выгнанные на улицу овцы и ягнята — как школьники, нестройным, но старательным хором поющие утреннюю молитву; в кучах сухого хвороста сердито-задорно считались между собой воробьи. Шуршали по улице арбы с сеном. На сене, сердито уткнувшись вниз железными зубьями, тряслись бороны. Скрипели воза с мешками зерна — народ в первый раз после зимы выезжал на работу в поле, на посев. Звонкое, короткое хлопанье кнута сменялось то отрывистым, то протяжным бойким свистом и переплеталось с добродушно грозными, понукающими голосами:

— Цоб! К-куда? Цобэ, перепелесый, цобэ! Гей, бычки, гей! Цоб-цоб-цоб!..

Старая серая кобыла Корсачная, уже с час запряженная в арбу, уныло слушала эти пестрые, давно знакомые ей звуки бестолково-радостного волнения и суеты. Она знала, что предвещают они двухнедельную полосу тяжелой, изнурительной, выматывающей все силы работы.

Бока у Корсачной были желтые от навоза, шея местами облезла, а спина — острая, как пила. Была она ровесницей Никифору Терпугу — чернобровому молодцу, который наваливал теперь на арбу пятерик с пшеницей, семена. Шло им по двадцатому году. Но он только входил в силу, расцветал, а она уже доживала свой трудовой век, старушка с отвисшей нижней губой, с согнутыми коленями, с глубокими ямами

над умными, унылыми глазами. Проработала она на семью Терпугов почти 17 лет, принесла им шесть жеребят, и в прошлом году ее последний сын пошел в полк под старшим сыном вдовой Терпужихи — Родионом. Знала когда-то Корсачная веселые, беззаботные весны, пору любви и резвой свободы — в те времена пускали ее в плодовой табун, — но было это уже давно и так забылось, как будто и не было совсем. А теперь — вот уже сколько лет подряд — весна — это значит — быть впроголодь и таскать на себе безобразно-неуклюжую, ехидно-цепкую борону, увязая ногами в тяжелой, кочковатой пашне, таскать от зари до зари, кружась все на одном поле, напрягая последние, скудные силы, чудом уцелевшие от голодной зимы.

Никифор — тот рад чему-то. Может быть, тому, что влажный воздух весеннего утра ползет ему за шею и приятно щекочет молодое, сильное тело. Или тому, что он теперь за хозяина, главный работник и кормилец в семье, в первый раз едет на свою работу, а раньше, пока не ушел в полк брат, жил по людям...

Выбежал трехлетний Дениска, племянник Никифора. Босой, без шапки и без штанишек, сросонок он дрожал, стучал зубами и поджимал коленки под рубаху. Но не шел в избу, требовал от бабки, чтобы она посадила его на арбу и дала в руки вожжи. Занятая сборами Терпужиха, озабоченная тем, чтобы не опоздать против людей, звонко шлепнула Дениску по затылку, и он заплакал басом. Но когда Никифор мимоходом подхватил его и с размаху бросил на арбу, почти воткнул в сухое мелкое сено — луговой кипец, — он сразу утешился и осторожно, вкрадчивым тоном напоминания сказал:

— Дядя, а лисичку-сестричку поймаешь?

Никто не ответил ему. И дядя, и бабка повернулись к нему спинами и долго крестились широкими, торопливыми крестами на прелую крышу хаты, из-за которой глядели на двор облезлые главы церковки.

Отворили ворота. Серая кобыла вздохнула и, не дожидаясь понукания, сдвинула с места арбу. Арба закричала, встряхнулась, подбросила Дениску назад, и в его глазах на мгновение запрокинулась маленькая лужица, отражавшая облака в диковинной глубине, а ближе — задумавшуюся курицу и черную ветку старой груши. Потом тряхнула его в сторону, толкнула в другую и начала качать, как в зыбке. И было это так восхитительно, что совсем забылся холод, перебежавший по спине мелкими, колючими мурашками, и радостным трепетом пробежал по всему телу неудержимо резвый смех.

Переулком выехали за станицу, в степь, и перед глазами Дениски открылось нечто новое, дух захватывающее: в тонком, прозрачном тумане дали, лиловые на краю земли, а ближе подернутые нежным бархатом первой зелени,— простор невиданный, полный движения и звуков. Тихо певелились, покачиваясь и поскрипывая, сотни арб. Медлительно-мерно шагали лошади и быки, все тощие, костлявые, издали маленькие, словно игрушечные — вон те, что всползли уже на отлогую гору и сейчас нырнут за черту, отделяющую небо от земли. И стояли в воздухе разливистый свист погонцев и юркий, остерегающий свист проворных сусликов, мерное тарактенье колес, веселые, перекидывающиеся голоса людей, мягко звучащие под этим чудесным высоким шатром.

За кузницей бабка сняла Дениску с воза — надо было возвращаться домой. Дениска заорал, завизжал, стал брыкаться, царапаться. Старуха с трудом удерживала его на руках, уговаривала, сулила что-то заманчивое. Но он ничего не слушал и, весь охваченный отчаянием, кричал и глядел полными слез глазами вслед за подрагивавшей и качающейся арбой. Не было уже видно милой Корсачной, лишь изредка мелькала из-за воза широкая, равнодушная спина дяди Никишки. Возле ветряка, на повороте дороги, мелькнула на миг и Корсачная, а потом все — и она, и дядя Никишка, и арба — скрылось за растопыренными крыльями мельницы и утонуло в живом потоке озабоченного движения...

А молодому Терпугу было безотчетно весело, душа смеялась и резвилась от непривычно-радостных ощущений самостоятельного хозяина. Хоть и скудно, и бедно против людей, — одна животины, одна борона, — но все-таки работник своей полосы, а не чужой. И давала крылья юная самонадеянность, грезилась о какой-то особой удаче, о богатом урожае, гнала мысль об унижительной бедности. Хотелось развернуть простор, нарядной, независимой жизни — не той, какая была безнадежно знакома с детских лет, тесной, полной обидной нужды и мелкой заботы, а другой, с недавней поры неотвязно смущавшей воображение.

Он стал грезить о ней, об этой новой, просторной жизни, когда познакомился с книжками — с теми, что прислал слесарю Памфилычу его сын из Риги. Они сразу наполнили все его существо сладкой отравой новых, неведомых раньше мыслей, беспокойством вопросов и смутных исканий, волнующими мечтами. И как-то сразу показалось скучно и неуютно в старой хате-пятистенке со слепыми окошками, с пропревшей крышей. И все прорехи привычной жизни, почти незаметные раньше, упрямо полезли в глаза. Двор походил



на разоренный аул. Давно требовали починки покачнувшиеся хлевушки и раскрытый сарай. Осыпалась в нескольких местах и полегла городьба. Надо было давно поднять, посправить. Но не с чем взяться: ни хворостинки, ни колышка, ни лишнего остремка соломы — ничего... В пахоту, в покос, в мольбу приходилось бросать свою работу и наниматься в люди, чтобы сколотить на одежду, на обувку, на мелкий расход по дому. Этот мелкий расход, — бесконечная цепь незаметных, ничтожных, но неизбежных трат, — был беспощадно требователен своей неотложностью: соль и деготь, мыло на стирку, спички, иголки и нитки, церковные свечи даже — все было необходимо нужно. Из скудного хозяйства продать было нечего: ни овцы, ни поросенка, ни телка не осталось. Была пара молодых бычат да корова — избыли на снаряжение Родиона в полк. Удержалась одна старая кобыла Корсачная...

И оттого, что каждый кусок был на счету, жене Родиона, с грудным ребенком на руках, пришлось идти в работницы к вдовому старому попу — он охотно нанимал красивых баб.

И матери приходилось наниматься на поденную работу: поливать сады, таскать кизяки, полоскать белье. А у нее была грыжа, и часто старуха голосом кричала от невыносимых болей, «каталась от живота». Была она твердо и спокойно уверена, что дойдет «свой час», внезапный и неизбежный, и свою душу богу отдаст она непременно на работе. И об одном лишь старуха мечтала робко и трепетно: лишь бы не умереть без покаяния...

Шел Никифору двенадцатый год, когда умер его отец. Был человек на редкость здоровый, силач, гуляка, весельчак, а умер почти внезапно, прохворавши всего один день. Опытные люди поясняли: нутряная сибирка... И вот с той поры пришлось Никишке возрастать по чужим людям, сначала погонцем, пастушкой, а потом и всякую работу работать. Узнал он и голод, и нужду, и обиды. Но вырос, окреп, выровнялся. И в толпе сверстников скоро стал заметен, как молодой дубок среди вербовой поросли. Сила, единственное отцовское наследство, ключом сейчас бьет через край, играет и кипит кровью, душа звенит, поет и жадно грезит о чем-то громком, дерзком, героическом... И та серая, цепкая, безмолвно жесткая нужда, которая упрямо силится отягчить ему крылья, не может сокрушить его ясной жизнерадостности и молодечества. Есть какая-то неискоренимая уверенность в нем, что все это — временно и обречено на скорое исчезновение.

Прошлую осень, с Успенья до Козьмы-Демьяна, он жил в работниках у Соса. За это, по уговору, Сос запахал Терпужихе три десятины пашни и насыпал пятерик пшеницы на

семена. Зимой, когда подъели всю муку, был большой соблазн смолоть эти семена и попробовать, сколь вкусны будут мягкие пышки из них. Но кое-как извернулись, дотянули до весны. Продали луговые пайки и взяли еще десять пудов. И вот Корсачная привезла теперь на пашни этот драгоценный груз, залог будущих надежд и упований...

Отсыпал Терпуг зерна в порожний мешок, завязал концами шерстяного домотканого кушака два угла, чтобы можно было надеть мешок через плечо, и обернулся на восток помолиться. Довольно равнодушен он был к Богу и редко вспоминал о нем. Но когда начал теперь без слов креститься на косяцы серых, растянутых тучек, что-то мягкое, влажно-теплое тихо всколыхнулось в глубине, прошло по сердцу и от сердца к глазам... Слезы навернулись, внезапные слезы умиленного порыва и детского доверия... О, оглянись Ты, Неведомый и Всемогущий, оглянись на эту беспомощность и робкие надежды копошащихся тут людей! Пошли дождичка, Господи! Благослови эту скудную пашню... Господи!..

Потом надел мешок через плечо и, слегка согнувшись, медленно, с расстановкой переступая широко расставленными ногами по сырватым комьям пашни, начал рассевать. Тускло-золотистые зернышки с легким шуршаньем прыгали, разбегались и прятались по бороздам. Шептал что-то в уши степной ветерок. Звенели-заливались невидимые жаворонки. Фыркала кобыла у арбы: после соломы, приевшейся за зиму, рада была сенцу, которого отведала в первый раз лишь вчера вечером. И старалась не думать о том, что балуют ее этим лакомством перед тяжелой работой. За буераком глухо, мягко звучали голоса погонцев. И вся степь, пробудившаяся, но еще обнаженная и зябкая, шевелилась и звучала пестрыми голосами, как широко раскинутый лагерь с кибитками, лошадьми, быками. Вон полосами еще тянутся запоздавшие скрипучие воза с зерном и сеном. Возле них люди в зипунах, в шубах, в теплушках. Терпуг почти всех угадывал издали — по лошадям, по подводам. И было весело чувствовать себя самостоятельным участником в этом первом, таком таинственно-значительном и торжественном дне труда на лоне землекормилицы...

Он заметал с полдесятины и остановился. Хватит на день. Снял борону с арбы, приладил постромки, впряг кобылу.

— Ну, родимушка, потрудишься! Но, Господи, бо-слови!

Повел. Корсачная, непривычно широко, неловко расставляя ноги и застревая в бороздах, заспешила, засуетилась. Борона запрыгала по комьям. Никифор, шагая рядом большими, подпрыгивающими шагами, закричал:

— Но-но-но-но-о! Н-но, не робей! Но, старушка, но-о!.. Эх, ты, Мар-фунь-ка!..

Ласково понукающий крик, почмокивание и свист, похожий на коленца и трели жаворонков, напев раздумчивой песенки — все бесследно тонуло в степном просторе, переплетаясь с другими голосами и звуками, далекими, заглушенными расстоянием.

Что-то могущественное, почти неодолимое было в этих трех десятинах взрытой, истощенной земли. Скрыла она свои грани, слилась с другими полосами, раздвинулась вдаль и вширь. Впереди и сзади, направо и налево, до дымчато-голубого горизонта, все изборозжено, взрыто извилисто-дрогнувшими полосками. И буро-черные комья земли лежат, словно притаились, как насторожившаяся темная, несметная стая. Ждут... Обнаженно-бедно все кругом, серо, неласково. Обжигает лицо сухим холодом жесткий ветерок, шумит в голых, красных, словно озябшие пальцы, ветвях кучерявых степных яблонек, в сизой, колкой сетке терновника, в пустых окошках полевых хаток. Тени облаков с смутными очертаниями безмолвно скользят по черным коврам взрытой земли, по косичкам нежной зелени над балками, по старому коричневому бурьяну на высоких глинистых шпильях. Мертвым, потускневшим золотом глядит прошлогоднее жнивье, по которому не успел осенью пройти плуг, и вихры старника на пашне торчат, как редкие чалые волосы на изрытом оспой лице.

Голо, однообразно... Но какая ширь кругом, и как волнуется сердце неясными грезами!.. Каким упоением любви звенят эти степные песни!.. А скоро придут нарядные дни, залитые солнцем и всеми красками земли, яркие, бесшабашно-шумные... Зелено-пестрый шепот пойдет зыбью по всей степи, на вечерней заре будет звенеть тонкое ржанье жеребенка и далекая девичья песня, чарующая невыразимой молодой грустью... Прекрасен тогда ты, родной угол, скудный и милый!..

— Но-о, родимая, но-о! Н-но, кормилица! Но, болезная, но!..

Стала. Выбилась из сил. Шумно дышит ноздрями, высоко поднимаются выпачканные в навозе бока. Расставила согнутые передние ноги и, как пьяная, качается спереди назад. Вот-вот упадет. Низко держит голову. Черные, безнадежно-грустные, слезящиеся глаза устремлены вперед, мимо хозяйна, и покорная дума безвыходности, безнадежности написана в них.

— Устала, сердечная? Эх, ты... собачье мясо!..

И жалко глядеть на нее, старую, маломочную, и досадно:

время идет, люди работают. Стоять некогда. Мало сработашь — смеяться будут...

— Ну-ка, родимая, трогай!

Уже медленными, строго рассчитанными шагами ходили они по пашне, спотыкаясь и застревая ногами в бороздах. Никифор покрикивал, посвистывал, брался за построжки, помогал Корсачной. Но было неловко тянуть рядом: часто нога попадала под копыто лошади, и от напряжения уставал скоро — стучали молота в голове и в груди, темнело в глазах, начинал сам шататься, как пьяный. Жидка сила человеческая... Он ли не силач? Он ли не удалой боец? Иной раз, кажется, гору перевернул бы, весь свет вызвал бы на поединок, на кулачный бой — так играет сердце... А вот эта неуклюже сколоченная борона и эти неразбитые комья сильнее его! А сильнее их тощая, старая кобыла, безответная работница, такая жалкая на вид, что, кажется, ткни пальцем — упадет... Давно она одолевает великую, немую мощь этого небольшого взрытого пространства, на котором надо прокружить десятки верст, чтобы после ждать и надеяться.

— Но, болезная, потрогивай! Но-но-но-о, понатужься!..

И опять они кружатся по пашне, враждуя с огрехами, и идут долгие, однообразные часы. Приходят, уходят, медленные, трудные и так схожие друг с другом. Наплывают вереницей, как серые облака, мысли без слов и умирают, смутные, неуловимые. А потом уж и мыслей нет — одно свинцовое чувство усталости и голода...

Потянуло дымком. Вон над балкой выются бирюзовые клубочки его; варят кашу. Время пообедать, дать отдых лошади.

Никифор выпряг Корсачную и повел в балку. С шумным, свистящим треском поднялись почти из-под ног две куропатки. Чибисок протяжно отозвался у дороги. Бежала внизу вода, чистая, прозрачная еще, снеговая. Длинной сигаркой лежал во впадине, между голыми кустами, потускневший, исчерченный пыльными серыми бороздками сугроб, рыхлый, мокрый, а кругом уже оцетинилась молодая травка, голубели подснежнички на своих нежных, зелено-коричневых стебельках, и разворачивались золотые бутоны бузлучков. Стоял приятный запах прелой листвы и первых, распластавшихся по глине, бледных лапок польнка.

Кобыла шумно вздохнула и принялась щипать, с трудом захватывая зубами оцетинившийся зеленый вострячок около ручейка. Никифор обмотал ей уздечку вокруг шеи, сходил за сумкой с провлянтом и сел в затишке. Грело солнышко. Тонкие тени от голых веток робким сереньким узором

ложились на зелено-пестрый ковер непаханой балки. Тонким, чуть уловимым, нежно жужжащим звоном звенели какие-то крошечные мушки с прозрачными крылышками, весело кружились в свете, нарядные, резво-радостные, легкие, праздничный хоровод свой вели... И тихо гудели ноги от усталости. Тихо кралась, ласково обнимала голову дремота. Так хорошо грело спину солнышко, перед закрывающимися глазами мягко качались волшебные, светлые волны...

— На подножный пустил?

Голос знакомый, где-то близко, над самой головой, сзади, а оглянуться — лень, дремота одолевает.

— Думаешь, поправится?

Тот же голос, но с другой уже стороны. Оглянулся Терпуг — не видать никого. Но как раз не оттуда, куда он глядел, с легким шелестом, теряясь в шелесте пробежавшего мимо ветерка, приблизились шаги.

— Егор!.. Ты меня испужал!

Терпуг приятельским жестом хлопнул с размаху по руке дюжего казака с курчавым белокурым пухом на подбородке.

— Я думал, чужой кто. Вот, мол, в правление за пограву попрет... Нет, свой; сам урядник Рябоконеv.

— А боишься, верно? — сказал Рябоконеv ленивым голосом.

— Чудное дело! Как же не бояться? Летось на этом самом месте Савелий Губан меня страмотил-страмотил! «Ты безотцовщина! — говорит. — Бродяга, сукин сын, бесхозяйный!» По-всякому... За то за самое, что я кобылу до покосу в балку пустил.

— За то ли? — засмеялся Рябоконеv. Он достал кисет из кармана и лениво развертывал его темными, заветренными пальцами.

— Чудное дело! За что же еще? — спросил Терпуг. Но сейчас же засмеялся и покраснел.

— С Уляшкой небось постоял?

— Вот тебе крест! И не видал!..

Рябоконеv недоверчиво ухмыльнулся и, занявшись сигаркой, равнодушно заметил:

— Она — ничего, бабочка аккуратная... Только заметь: Савелий сам любитель к своим снохам поддобриться, других подпускать не уважает...

— Э, ну тебя! Дай-ка бумажки-то... Я, говорю, не твою часть травлю, а свою, что у меня, пая, что ль, нет тут? А ты-то, говорю, косяк лошадей каждую ночь водишь в луг — это хозяйственно? Луг твой, стало быть, а не общественный?.. Ну, тут уж он закипел до конца: и такой ты, и сякой, и не-

почетчик старшим... бить присучался... Попрыгает-попрыгает так кругом меня, а не вдарит. А то бы я показал ему!..

— Ну, с Савельем равняться, брат, — груба работа! Атаману он друг, загонщикам есть из чего магарыч поставить... и есть за что. А ты за кобылу за свою магарычить небось не станешь?

— Беззубая она... сколько она ухватит тут? За что магарычить-то?..

— То-то...

— Ей пышку мягкую — это бы она уплела... Горе, Егор, работать на такой скотине! Все сердце изболеет... Губаны вон в шесть борон гоняют, ну эти чего-нибудь сработают за день, — а я что?..

— Не тужи. Придет когда-нибудь и наш день.

— Да я не то, чтобы... Как-то не умею я, парень, тужить...

Закурили. Умолкли, пристально следя за колечками знаково пахнущего дыма, ушли оба в свои мысли, смутные и скользящие.

Близкое и скучно-понятное, печальное и ясное переплеталось в них с далеким и фантастическим, сплошь нарядным, красивым, странно влекущим и безнадежным. За черным, мелким, почти сливающимся переплетом кучерявых яблочек и дубков, на другой стороне балки, далеко, на самом горизонте, выползали свинцово-серые облака, круглые, как пузатые чайники, а за ними, выше, стояло одно, странное и диковинное, и, как далекое белое пламя, все сияло ярким светом...

— Ну что, прочел? — прервал молчанье Егор Рябоконеv.

Терпуг вскинул на него глаза. И с усилием встряхнулся от своих мыслей.

— А-а... да... «Ответ синоду»? Прочел... Здорово он их... Лев Николаевич... Здорово!..

Он вдруг вспомнил что-то и порывисто вскочил на ноги.

— А Гарибальди — какой геройский парень! — воскликнул он с восторженно сияющим взглядом: — Кабы нам хоть одного такого!..

— Ничего бы не сделал... Зря пропал бы — и только...

— Ну-ну?..

— Да разве у нас люди?.. Черви ползущие!..

У Никифора сразу упало сердце.

— Да ведь когда побольше за бок-то возьмет, небось и наши взволдыряют? — неуверенно возразил он.

— Перенесут. Все перенесут. В тысячу раз хуже будут жить — будут молчать...

Терпуг подумал и согласился:

— А пожалуй, верно...

Ведь вот у него самого: сердце бунтует против горько-обидного, несправедливого порядка жизни, злорадия выросла и жадно ждет выхода из безгласной скудости и тупого смирения, а молчит же он, переносит. А при самом малом удовольствии и совсем забывает, весь с увлечением отдается беззаботному веселью.

— Что верно, то верно! — грустно повторил он, прислушиваясь к ровному шуму ветра в голых ветвях и монотонному чиликанью какой-то серенькой птички. Наладила она одно коленце: чим... чим... чим-чим-чим... И дальше не шла. Чиликнет, помолчит и опять повторит.

— А Стрелец какой злой, — чтобы уйти от невеселых мыслей, сказал Терпуг, глядя за балку. — Бьет скотину дуром! Цобэ у него не поспекает за цобом, он и лупит... Кабы она словесная была, скотина-то, небось оглянулась бы, сказала бы: сила, мол, не берет.

— Смотрю я на эту жизнь, — медленно, в сердитом раздумье, заговорил Рябоконеv, тяжело упираясь локтями в колени, устало согнувшись. — Бегству достойно житье наше... Всуе мутящиеся... Спиной да хребтом — только по-скотинному... И все без толку! Аж уголь горячий наскрозь сердце пройдет! — простонал он, стиснувши зубы, и страстно воскликнул: — Кроты вы, кроты слепые! Копаете кургашки, а свету не видите и видать не хотите! Никто не остановится, никто не крикнет: «Да что, в сам-деле? это жизнь?..» Живут, молчат. Вся голова в язвах, и все сердце исчахло — в писании говорится: бить больше не во что... А молчат!..

Он горько усмехнулся и покачал головой. Терпуг, чувствуя за собой как бы вину в том, что и он молчит, сказал:

— Кабы мне кто объяснил, как сделать, с чего начать, — я бы не подорожил своей жизнью... Я бы вышел на чистое поле!

Потом снял свою старую, промасленную, как блин, артиллерийскую фуражку и, ударивши ею оземь, искренне и горько затужил:

— Эх, почему я не родился в те времена, в старинные!.. Иной раз лежишь, думаешь-думаешь... вся душа аж устремится! Вышел бы на привольное волжское житье!..

Он сжал кулаки и выразительно потряс ими перед собой.

— Сила во мне есть! — прибавил он с наивным хвастовством.

— Силы-то в тебе много, да обработки настоящей не видать, — тоном сожаления возразил Рябоконеv. — Невежда

я сый, — помолчав, продолжал он грустным голосом. — Ничем от своих не выделяюсь, ни умом, ни способностями, но вижу: дурно живут у нас! Один только и есть утешительный пластырь душевной боли: книги...

— Ты бы мне еще книжек-то нашел, — сказал Терпуг.

— Что же, можно...

Рябоконеv встал, потянулся, посмотрел на солнце.

— Пожалуй, время работать, — проговорил он новым озабоченным тоном: — Прощевай, Никиша! Приходи, «Андрея Кожухова» дам тебе... Вот, парень, книга! — восхищенным голосом прибавил он.

Терпуг опять запряг Корсачную, и опять они медленно и с остановками долго кружились по пашне. Наползли облака к вечеру, ветер стал холоднее. Посыпал немножко дождик. Перестал. Но было хмуро, похоже на сумерки, на унылую элегию старой пустыни. Лишь разливистое трепетание степных пернатых песен не смолкало.

Перед самым закатом выглянуло на минутку солнце, и степь ненадолго оделась в прекрасный багряный наряд. Все вдруг осветилось, стало ярко, необычайно выпукло и близко. И далеко, на самом горизонте, можно было различить масти лошадей, отчетливо перебиравших тонкими ногами, как будто легко, без напряжения, словно шутя, таскавших борозны. Казачка, верхом на рыжем коне, гнала быков в балку, к водопою. Пела песню. И было какое-то особенное обаяние в этом одиноком молодом голосе, который так сладко тужил и грустил о смутном счастье, маявшем сердце несбыточными грезами. И так хотелось слушать эти жалобы, откликнуться им. Хотелось крикнуть издали певице что-нибудь дружеское, ласковое, остроумно-веселое, как кричат вон те казаки, которые переезжают балку. Они смеются, шлют ей вслед свои крепкие шутки, а она едет, не оглядываясь, и, изредка обрывая песню, отвечает им с задорной, милой бойкостью, и долго мягкая, мечтательная улыбка не сходит с лица тех, кто слышит ее.

Образ женщины наполнил сердце Терпуга радостным волнением, сразу прогнал усталость и всецело овладел мечтами. Он выпрямился, подобрался, выпятил грудь, и все казалось ему, что она непременно должна видеть его и смотрит именно в его сторону.

Ночь надвинулась. Огоньки задрожали по степи. Умерли звуки. Черная, огромная, загадочно безмолвная лежала равнина. Развел и Терпуг огонек. Вбил колышки, повесил казан с пшеном. И сладко мечталось в этой черной, усталой тишине. Проходили вереницей всякие мысли: и о работе, и о тех



людях, перед которыми преклонялся Егор Рябоконеv, и о хорошем будущем, и больше всего о женщине. Сквозь ветви паклена, у которого варилась каша, Никифор поглядывал в ту сторону, где слышалась час тому назад песня, и ему все казалось, что вот-вот опять зазвонит и польется призывный голос певичы. Он хорошо знал ее: Ульяна Губанова. Муж ее ушел в полк вместе с Родионом, его братом.

Когда по ветвям пробегал ветерок, огонек у них на стану вытягивался в длинный язык, точно следил, не уйдет ли куда Терпуг. А то необычайно быстро прыгал к дороге и назад, перескакивал черные полосы, забегал сбоку, точно кто с фонарем в руках спешил на переем. Ложился ветерок — останавливался и он... дрожал, приятельски мигал и манил к себе...

## II

В свежие апрельские сумерки закуталась станица. Спустились в одну смутную, длинную полосу выбеленные стены хаток, а черные крыши четко рисовались на розовом стекле догорающей зари. В воздухе, влажном и звонком, в невидимой, холодной высоте, прозвенел тревожно-быстрый крик диких гусей, пролетевших над станицей туда, где мутными зеркалами застыли среди перелесков разлившиеся по лугу озера. Прозвучали на мгновение зыбким серебром недосыгаемые голоса дикого простора, изумили насторожившийся слух и растаяли, как след скатившейся звезды.

Согретая за день земля дышала влажным теплом, запахом старого подсыхающего навозца и клейким ароматом первой молодой зелени. Под синей фатой надвигающейся ночи все знакомое, примелькавшееся взгляду, не нарядное, серенькое, даже убогое, вдруг спрятало привычные черты, стало новым, диковинным и странно-красивым. И кто-то беззвучный и легкий бродил в потемневших садиках, в голых, сквозистых ветвях, в вишневых кустах, чуть запушенных первым пухом, клейким весенним пухом. И загадочно-прекрасна была смутная водянистая синева вечернего неба с двумя ласково мигающими звездочками, и таинственно незнакомы стали люди, запрудившие шумными группами перекресток...

Так радостно-любопытно было в беспорядочном движении и тесноте толкаться, намеренно жать и цеплять друг друга. Присматриваться, заглядывать в лица. Так близко, удивительно, так странно и весело... Быстрый, задорным блеском блеснувший взгляд скользнет навстречу, скрестится, спросит... улыбнется дразнящим намеком, и уже нет его, исчез. Звонким серебром раскололся и прозвенел девичий смех. Вслед

за мгновенным шелестом и запахом скользнувшего платья понеслось сладкое любопытство, но уже далеко она, проворная легкая фигура! И взволнованная память, все еще прислушиваясь к возбуждающему прикосновению молодой груди, силится удержать и угадать неуловимо мелькнувшие очертания молодого лица.

Дрожит и ждет сердце. Вот-вот кто-то подойдет, встретится. Будет так... Тепло и нежно коснутся руки. У старого прясла, среди беззаботно-шумной, погруженной в свое веселье толпы, можно шуткой сжать в объятиях слабо сопротивляющееся, гибкое тело, ощущать теплую упругость груди, смеяться и слушать быстрый, жаркий шепот неверных обещаний и колеблющегося отказа.

От сладких предчувствий дрожит сердце. Сердце поет разлиvistую, призывную песнь, ищет, ждет. Вот-вот кто-то должен подойти, ласково коснуться плеча, приветливым смешком-шепотом спросить:

— Никишка, ты?

Да, это он — Никишка Терпуг, песенник, удалой боец и забубенная голова. Улица и песни — его радость. Его стихия — кулачный бой. Тут он — артист, щеголь, герой, подкупающий даже противников смелостью мгновенного натиска, ловкостью удара, красотой и благородством приемов. Именно — благородством, доступным только истинной силе и отваге. Рядовые бойцы кидаются обыкновенно с расчетцем, взвесивши силы своей и противной стороны, бьют с хитрецей, с коварством, с сердцем. Иной не побрезгует ударить «с крыла». Другие не стыдятся под шумок и лежачим пользоваться... как будто нечаянно.

Настоящий боец никогда до этого не унижится. Никогда не станет высматривать, заходить сбоку. Никогда не спросит, сколько пришло их и сколько наших? Нет. Грудью вперед — дай бойца!.. Держись!.. Весь на виду, гордый, смелый, не уклоняющийся от ударов...

О, красота и упоение боя, очарование риска, бешено-стремительного движения, восхитительный разгул силы и удали!.. Невинное тщеславие и радость бойца перед изумленными и венчающими молчаливой хвалой женскими взорами! Сколько синяков износил Терпуг ради вас!..

Воя стоят они, две темные, живые стены, — одна против другой. Выжидают. Высматривают друг друга, пробуют. По временам колыхнутся, сдвинутся. Шумно и гулко смешаются, рассыплются... Короткая, быстро обрывающаяся стычка одиночных бойцов, но не бой. Настоящий бой вспыхнет — зрители не затолпятся, как сейчас, не будут напирать и стес-

нять бойцов. Поспешно и опасливо отбегут в стороны и будут мчаться лишь на флангах боя с бестолковым, поощряющим криком.

Но это еще не бой. Это — так, щегольство зачинщиков, показательные позы, хвастовство ловкостью и удачью. Выйдут с обеих сторон бойцы, по одному, по два, — молодежь, все подростки, женишки. Терпуг считает себя уже на много степеней выше этого мелкого ранга. Ставит себя на одну линию со старыми, серьезными бойцами, которые кидаются только в решительный момент. А тут — народ жидкий, вертлявый, несерьезный... Прицеливаются, подлавливают руками друг друга. Иной вдруг прыгнет вперед, легкий и эластичный, как молодой барс, размахнется внезапно и широко — от внезапности вздрогнет и отпрянет противник, уклоняясь от удара. Но сейчас же снова в своей вызывающей позе и зорко следит, высматривает момент ударить самому.

И долго молча, при безмолвном внимании зрителей, темным, подвижным кольцом оцепивших их, покачиваются и топчутся они на том небольшом, заколдованном пространстве, которое ни одна сторона не имеет еще смелости взять натиском. Изредка лишь, сбоку, спереди, сзади раздается побуждающий, подтравливающий голос, поощрение, похвала, но точно ничего не слышат насторожившиеся бойцы. И вдруг — один взмахнул... И вот он — быстрый, неожиданный, ловкий удар, и восторженный гул просыпался лавиной... Вздрогнули, зашумели обе стены, и вот-вот он вспыхнет, общий бой...

В этом бою, в одиночном, которым обыкновенно начинают общую схватку, много рисовки, форсу. Нужна выдержка, самообладание, увертливость. Под взглядами сотен глаз, при безмолвно пристальном внимании знатоков, когда стучит от волнения сердце, — не ошибись! Стыдно будет каждого промаха, каждого зевка, каждого неловкого движения...

И все-таки это — ненастоящее: успеть нанести удар и сейчас же отпрянуть назад, в своих... Сорвать гул одобрений — это заманчиво для мелкоты. Он, Никифор Терпуг, уже ушел от этой забавы, стал выше ее. Как серьезный боец, он ценит лишь бой общий, когда боец идет в стене, кидается прямо, без уверток, не уклоняясь от опасных противников, не помогая себе бестолковым криком, прямо бьет, по совести, правильно, не «с крыла». Сшибая, не злорадствует. Падая сам, не злобится. При отступлении не бежит, но подается медленно, с упорным боем.

Правильных бойцов он уважает и в противниках. Он влюбляется в них, невольно подражает им, переживает их

манеры. Одно время он стал ходить вперевалку, как тяжелый, похожий на медведя Фетис Рябинин. Потом увлекся Сергеем Балахоном, перенял его манеру играть песни и носить пиджак, не надевая в рукава. И все за то, что они дрались артистически, великолепно и вокруг их имен шумела завидная слава лихих бойцов.

Сергеем Балахоном он и теперь всякий раз любовался, когда он, широкобородый и пьяно-веселый, раздевшись и сняв фуражку, выйдет вперед и разливисто крикнет:

— Н-но-ка, зач-нем!..

Сколько мужественной красоты... Ни форсу, ни бахвальства — одно упоение боем! Кидается прямо в стену противников. Красивый, кажущийся небрежно-легким взмах — и вот уже брешь в стене и у нее шумный поток других бойцов. Вспыхнул бой, взметнулся в стороны, дрогнула улица, затоптала... Без шапок, с развевающимися волосами и бородами, в одних рубахах мечутся быстрыми молниями бойцы, прыгают, как львы, сшибаются, бухают кулаками, как молотами, сплетаются руками, как бы в братских объятиях, — туман в глазах, в сердце восторженный трепет от возбуждающего, слитного шума голосов, ликующий крик удалой радости...

Весь охваченный головокружительным увлечением, прелестью жгучей опасности, жаждой одоления, бросается Терпуг в самый центр боя. Полный, радостный крик вылетает из его груди, крик вызова и борьбы. Бьет, получает удары. И метки взмахи его, тяжелы кулаки, и знают уже их его противники. Теперь, кидаясь в бой, он слышит уже:

— Терпуг!.. Терпуг!..

И сердце его наполняется гордой радостью: его видят, его замечают и свои, и противники... За ним следят столько красивых женских глаз, на каждый его промах, падение будут смотреть старики... О, он не даст себя на потеху, никакого бойца он не станет обегать!..

Ах, как любил он принять на себя какого-нибудь прославленного бородача из старых, смотревших свысока, пренебрежительно на молодежь, вчера еще числившуюся на полурубячьем положении, не признанную, не заслуженную! Выдержать удар такого осетра — костистого, широкого, с тяжелой рукой, — удержать его, не выпустить из рук — страшно и заманчиво! Но свалить с налета, такая сладкая мечта, от которой глаза заволакиваются туманом!.. И он уже близок к ее осуществлению — он уже выдерживает Сергея, выходит на Багра и сшиб с ног в прошлое воскресенье Капыша. Он признан...

Поэтому он и держит себя, как боец серьезный, настоящий, старый. Он не лезет вперед, даже близко не подходит к налаживающемуся бою. Не показывает виду, что пришел подражаться. Правда, он и не стоит в кругу стариков, которые там, в отдалении, в тылу, ведут себе неспешные разговоры, совсем посторонние бою, — о политике, об атамане, о хозяйственных делах, — для этого он еще слишком зелен умом, и неспокойна еще у него кровь. Он толкается в молодой толпе, запрудившей улицу, заглядывает в женские лица, ловит взгляды, бросит иногда веселое, острое словцо... И на звонкий, короткий, убегающий смех сердце его отвечает порывистым желанием догнать этот ускользающий дразнящий шелест, обнять, прижать, завязать веселый, вольный разговор...

Прошел мимо подвыпивший Семен Копылов. Белокурая бородка, наглые глаза, голубая фуражка на затылке. Шутливо расталкивает и хватает встречных казачек, кричит:

— Баб-то, баб! В три ножа не перережешь!.. Ну сторонись, дырявая команда!..

— Ну, ты! Еролом! Толкается, как все равно порядочный!..

— Извините, ошибся... Потому что личность ваша дозволяет...

И с той непринужденной свободой и веселым бесстыдством, которые узаконены молодежью на станичной улице, он шутливо обнял чернобровую Ульяну Губанову, жалмерку, и поднял на руках, делая вид, что хочет унести ее из толпы.

Она хохотала, визжала, отбивалась. Била его по рукам и звонко кричала:

— Вот тужили все: дураки перевелись в станице... А вот какой черт вырос!

— А-а, дураки?! Мы, милая, дураки средней руки: от земли не подыметь... А с тобой за личное оскорбление разделаюсь!.. Говори, чего не пожалеешь, а то запибну на крышу!

— Да ну тебя!.. Отвяжись, сделай милость! Пристал, как...  
— Никишка, держи! Жертвую!

Копылов бросил взвизгнувшую молодую женщину к Терпугу. Высокая грудь ее на мгновение прижалась к нему, и теплое ее прикосновение пьяным вином прошло по телу.

— Вот давно кого не видал! — сказал Никифоров, удерживая ее в руках.

— Давно не видались, сошлись — поговорить не о чем?

Она освободилась от его рук и, поправляя платок, снизу вверх глядела на него веселым, влажно блестящим взглядом суженных улыбкой глаз.

— Ну как не о чем? Давай в шепты играть... Я тебе, Уляша, давно собираюсь пошептать кой-чего...

— Ну тебя!

Сверкнула на короткое мгновение белая полоска ее зубов. Но оттого, что брови ее в том месте, где сходились, были выше и, расходясь, шли вниз, казалось, будто она собиралась плакать, когда смеялась. А глаза были веселые, наивно-доверчивые, глядели по-детски ясно.

Он взял ее за руки. Тонкие, худые, они как-то особенно покорно свернулись трубочками в его широких ладонях. Поглядел в ее улыбающиеся, как будто наивные, но немножко и лукавые глаза. Мелкими зыбкими лучами пробежали по лбу короткие морщинки, такие милые и хорошие, — опять засмеялась — мягко звенящим, сдержанным, поддразнивающим смешком.

А ведь правда: нечего сказать. Как это другие умеют быть находчивыми, свободно, остроумно шутить, весело балагурить, безбоязненно обнимать? Завидует им Терпуг бесконечно... У него то же, да не то выходит: угловато, неуклюже, неловко... И собой он молодец, и охотно останавливаются побалагурить с ним, обменяться обещающими взглядами девчата и жалмерки, а вот нет у него самого нужного, самого настоящего: нет той особой, неуловимой, природной непринужденности и грации, какая есть у Сергея Балахона, у других, даже у пьяного Копылова.

— Ну, как поживаешь, Уляша?

Она улыбнулась коротко.

— Как бондарский конь под обручами!..

Потом вздохнула и, посмотревши на него с кокетливой грустью, прибавила:

— Видишь, живу...

Он осторожно обнял ее за плечи и, нащупавши сквозь гладкую скользкую, шелковистую ткань кофточки ее тонкие, теплые руки, сказал ласково и застенчиво-нежно:

— Худая ты какая... Жалмерки полноликие все бывают, кругленькие, а ты...

— Жизнь такая, ягодка моя... Ведь я сирота на белом свете!..

Она рассмеялась, и взгляд ее сверкнул веселым лукавством.

— Что же, сирота, так и харч не в пользу?

— Заступиться некому, — проговорила она, понижая голос, и опять громко рассмеялась.

У него застучало частыми, громкими ударами сердце, и от

волнения он долго не мог сказать тех слов, которые просились на язык.

— Ну, давай сделаем родню промежду собой... а? — проговорил он, наконец, неловко и конфузливо.

Ульяна молча покачала головой. Он пожал ее руки, и опять покорные трубочки свернулись в его руках. Молчали. Звучала мягко издали протяжная песня хоровода. Над улицей колыхался говор, шум, смех. И когда, словно тихо качающаяся детская колыбель, подымались далекие, плавные волны песни, не сразу можно было угадать, что поют, но казались знакомыми голоса, и хотелось, не отрываясь, слушать тонкий подголосок, легкий женский голос, так красиво жаловавшийся, так задушевно говоривший о безвестной, трогательно-нежной грусти. Порою отделялись гордо-спокойные, густые звуки мужских голосов, ровно плескались над смутным гулом улицы и снова падали в подымающиеся волны хора.

Терпуг осторожно обнял Ульяну и заглянул в глаза. На одно мгновение она подалась и прижалась к нему грудью. Хлынули сзади крики. Точно шумный поток прорвался. Ударились бойцы. Шатнулись темные живые стены, шарахнулись на две стороны. Колыхнувшаяся толпа подала Терпуга и Ульяну к городье.

— Пусти, Никиша, — сказала женщина тихо, ласково, почти прошептала, и этот пониженный до таинственности голос сладко коснулся его сердца.

— Тут ведь народы всякие есть... За мной сто глаз... Свекор тут прошел давеча. Диверь там, на кулачках... Узнают — беда!

— Уляша, а ведь я как умирал по тебе... ты не знаешь... Вот увидал, ну — не поверишь! — сердце аж... трепещет... Голос его охрип от волнения, и весь он обессилел.

— Нельзя, моя ягодка... Кабы мне своя воля... Знаешь, свекор у меня какой? Бирюк!

— Да мы ему не скажем...

— Да-а... Нет, он тоже... подземельный дьявол: пронюхает! Уж и распостыл он мне, чтоб ему — где горшки обжигают! — прибавила она тоном задушевной ненависти.

Терпуг помолчал и, чтобы выразить ей свое сочувствие, сказал:

— Жалко, на кулачках не дерется он, а то я бы его сбодрил!

Она рассмеялась и, благодарно сжимая ему руки, проговорила:

— Хоть бы нечаянно как-нибудь! Вроде как не угадал?..

— Да уже я угадаю когда-нибудь! Только, Уляша... так и нельзя повидаться?..

Беззвучно засмеялась и отвернулась. Не ответила.

— А то что же... пройдет младость ни в чести, ни в радости,— продолжал он убеждать, близко наклоняясь к ней.— А?.. нечем и вспомнить будет... Уляша?..

Сердце стучало, и била лихорадка. А крутились уже сзади возбуждающие звуки разгоравшегося боя, крики, гиканье, буханье ударов, слитый топот многолюдного движения.

— Ты на баз выйди... а? Уляша?.. Я с садов зайду, на гумне буду ждать... Я ведь обселюцию вашу знаю! Не увидят небось... а?.. Уляша?..

Он наклонился близко к ней. Хотелось обнять и прижать ее крепко-крепко. Смеясь и отбиваясь, она вырвалась. Губы его все-таки успели коснуться влажных зубов ее, и весь он вспыхнул и задрожал от этого прикосновения.

— Беги дерись... Чего ж ты?— крикнула она, убегая и смеясь.— Бьют ведь ваших-то!..

### III

Терпуг подвел баркас к невысокому пряслу, наполовину вытащил его из воды и, вставши на нос, бесшумно, не прикасаясь к старой городье, перескочил в сад — там, где он не был затоплен водой.

Верховая вода, поздняя, дружная и теплая, затопила левады, сады, гумна. Было хорошо и весело, не похоже на привычную картину станицы, ново и празднично. Пахло свежей смолой от лодок и сырой свежестью от воды. От реки, за две версты, неся немолчный, играющий шум и раскатывался вширь размашисто-вольной, мягкой трелью. Сливался с беспокойно-радостными, призывными голосами весенней ночи, растекаясь в ее зубчато-перескакивающих свистках, неожиданно быстрых, порывистых, страстных. Упрямо-неустанно бухали водяные бычки: бу-у... бу-у... бу-у... Заливисто хохотали лягушки. Звонко сверлили воздух короткими коленцами какие-то таинственные, маленькие водяные жители.

В затопленном саду старые груши, тихие, удивленно неподвижные, черные, прислушивались к этим буйным голосам и гляделись в зыбкое, черное зеркало, шевелившиеся у их корней.

Терпуг постоял, прислушался. Стучало частыми, громкими ударами сердце. В ушах качался мерными взмахами



глухой шум, точно где-то торопливо работала широкая плотничья пила. Жутко было. Как будто низкое прясло, отрезавшее его от улицы, было заколдованной чертой, в которой его ждал и стерег кто-то враждебный и хитрый, прятавшийся в черных тенях сараев, в углу за начатым приметком соломы. Молчит, затаил дыхание, приготовился... Вот-вот шагнет навстречу...

Была лихорадка неуверенного и жадного ожидания. Он так спешил... Как только остановился бой, ушел с улицы. И бежал, бежал в обход, другими улицами, чтобы кто не проследил за ним... Но если не успел?..

Чуть слышный мерный шорох легких шагов прошелестел вдруг за сараем. Терцуг кашлянул. Но вдруг испугался и подался в тень: а если не она?..

Прислушался. За сараем тихо. Но кто-то робко крался по саду, медленно и осторожно вытаскивая из воды ноги, робко чмокал, шлепал, наступал на сухие сучья, шелестел в старой городье ласково и хитро. И струился запах смолы от баркаса. За баркасом зыбко вздрагивал месяц в воде, и звенела резвая ритуфель торопливо обгонявшихся водяных струек.

Никого...

Терцуг вышел из тени, подошел к воротам с гумна на передний двор, посмотрел. На самой середине двора лежал бык, жевал жвачку, медленно и обстоятельно. И слышно было скотину рядом на базу. Где-то в черной тени, под сараем, вздохнула корова, а подальше хрюстели ясли, о которые чесался, верно, молодой бугаишка. На белой стене куреня четко рисовалась переломленная тень журавца. Жидкий блеск мигал на окошках, не закрытых ставнями, над новой соломенной крышей вилась как будто золотая пыль.

«Пожалуй, прошла... Да, прошла! Не успел... Спешил лишь. Бросил улицу. И все зря... пропал заряд...»

Он без стука приотворил ворота и вышел на передний двор. Но сейчас же почувствовал, что тут-то и есть самый страх. Бык перестал жевать и с удивлением обернул голову к нему. Кто-то стукнул щекоткой у соседей, несомненно пошевелился кто-то в вишневом кусту, в палисаднике. Невольно обернулся и прикинул взглядом, куда бежать — в случае, если вдруг выскочит из чулана свекор Ульяны — Савеллий Губан.

Пригнулся, чтобы с улицы не было видно. Измерил еще раз глазами двор: далеко все-таки бежать до окон, и плетень от улицы низок, все видно. Не разгибаясь, зашагал большими шагами, по-журавлиному. На белой стене куреня, рядом с длинным изломом колодезного шеста, смешно запрыгала

уродливо согнувшаяся тень. И в вишневом кусту прошипел беззвучный смех...

Перевел дух лишь под самым окном. Сердце колотилось так, как будто коваль Лобода гвоздил молотком по наковальне. Даже качало всего взад и вперед.

Осторожно стукнул пальцем в окно — раз, и другой, и третий. Плохо замазанный, шатавшийся глазок откликнулся кротким, дребезжащим звуком и смолк. Размеренно, четко и вдумчиво, — точь-в-точь как миссионер на собеседовании со старообрядцами, — звенел сверчок. Остановится, прислушается, словно ждет возражений, но, равнодушно позевывая, молчат бородатые слушатели и пристально смотрят в его розовую лысину. Хитрой загадкой звучит тишина. И опять ровно журчит, опять звенит о преданиях, о том, как первый Адам был частицей церкви и искуссился, а о второго Адама искушение сломало рога.

И никаких других звуков вблизи, кроме этого монотонного чиликанья. Только где-то в высоте широким взмахом разрезал тишину шипящий шум крыльев, с мерным, частым плеском и пересвистом. Кулики, должно быть, или утки.

Еще попробовал постучать. Ни звука в ответ. Лишь стук сердца отдается в ушах...

Но где-то близко, на улице, сейчас как будто за кураем, вдруг раздался веселый, громкий говор, смех.

— погоди, — звонко смеялся женский голос, — еще с годок поживешь без мужа, научишься одна на баз выходить.

Терпуг вдруг с ужасом, со всей отчетливостью представил, что сейчас непременно откроют его тут, под окном, у белой стены, так ярко освещенной месяцем. Вскочил и гигантскими прыжками запрыгал через двор к чулану.

Бык, разглядевший его у окна спокойно-любопытствующим взглядом и поленившийся встать, когда он в первый раз крался через двор, теперь вдруг испуганно вскочил, отбежал в сторону и сердито пыхнул ноздрями.

Где-то близко, но не на соседнем дворе, стукнула металлическим звуком щеколда, с коротким дребезгом открылась и снова захлопнулась дверь, проглотивши веселый говор. Но явственно слышны были легкие, торопливые шаги. Вот калитка скрипнула... Она?..

Терпуг высунулся из тени, кашлянул, но так тихо и робко, что и сам не слышал. По тому, как Ульяна остановилась в калитке, оглянулась на улицу, он решил, что она, если и не услышала его робкого сигнала, — все-таки чувствует его присутствие здесь, догадывается и ждет.

Он вышел совсем на свет, снял фуражку и, когда Ульяна

обернула голову в его сторону, молча махнул ей рукой. Идет... Весь задрожал от радостного волнения: увидела, идет...

Но она круто повернула к крыльцу. И сейчас же звякнула щеколда, черным зевом зевнула дверь и захлопнулась.

Это было так неожиданно, конфузно и так обидно... Даже лихорадка перестала бить его. Сразу охватило глубокое спокойствие разочарования.

— Сво...лочь!.. — прогворил Терпуг с негодованием.

Сердито открыл ворота на гумно и нарочно, из мести, не затворил их: пусть бык залезет на сеник и напкодит. Лег на прикладок соломы и застонал от досады. Почему ушла? Ведь узнала, видела!.. И ни слова...

Неровно обрезанный месяц висел как раз над гумном и обливал его твердым, отчетливым светом. Глухой гомон чуть-чуть доносился с далекой улицы, на которой был кулачный бой. А еще дальше, где-то на краю станицы, песня слышалась. Бас точно читал протяжно, нараспев, медленно, спокойно, важно, а в конце тонкой-тонкой струей звенел в воздухе и тихо угасал подголосок. Опять кто-то брел по воде за садом, осторожно чмокал, плескал мерно и шуршал в гордыбе. Мелькнул огонек в двух окошках. Через минуту погас.

«Легла... — враждебно подумал Терпуг. — Погоди... ты у меня не будешь ломаться в пояс!..»

Он не совсем ясно представлял, что сделать с Ульяной, но был уверен, что существуют меры, приводящие в послушание молодых баб.

Встал. Долго стоял, раздумывал, колебался: уйти ли, примирившись с неудачей, или — куда ни шло! — попытаться еще раз?.. Наконец, решительно тряхнул головой и пошел к куреню. Шел прямо, не пригибаясь и не стараясь укрыться. У окна все-таки присел, оробел. И постучал осторожно, тихонько, с расчетом... Как будто скрипнула половица. Почудились осторожные шаги босых ног и взволнованное дыхание за окном. Неясным пятном мелькнуло что-то и исчезло...

Подождал. Ни одного звука. Даже сверчок смолк. Так стало досадно, что не выдержал, стукнул с размаху кулаком в стену. Удар прозвучал коротко и глухо. Посыпалась мелкими крошками глиняная обмазка. И стало вдруг страшно: а ну-ка Савелий услышал?..

И снова широкими прыжками он перелетел через двор на гумно.

Он не слышал, как стукнула щеколда и отворилась дверь, но увидел на крыльце беззвучный, легкий, как тень, силуэт. Она? Несколько мгновений силуэт был неподвижен.

Потом побежал, — не к гумну, а к калитке, — слышен был плещущий шум юбки. Она!.. Поглядела по улице — направо и налево — и бегом понеслась на гумно.

— Никиша, ты?.. Ну, зачем это?..

Из-под темного, большого платка, накинутаго на голову, взволнованно и выжидательно глядело на него побледневшее лицо ее, все трепетавшее неуловимым трепетом. Часто подымалась грудь, и вздрагивал круглый вырез рубахи у белой шеи, четко отделявшейся от темного загара лица.

Он взял ее за руки. Сжал, свернул в трубочки похолодавшие ладони ее с тонкими, худыми пальцами. Зубы ее судорожно стучали, а глаза глядели снизу вверх — вопросительно и покорно.

Хотелось ему сказать ей что-нибудь ласковое, от сердца идущее, но он конфузился нежных, любовных слов. Молчал и с застенчивой улыбкой глядел в ее глаза... Потом, молча, обнял ее, сжал, поднял... И когда чуть слышный стон или вздох томительного счастья, радостной беззащитности, покорности коснулся его слуха, он прижался долгим поцелуем к ее трепещущим, влажно-горячим губам...

...Пора было уходить, а она не отпускала. Казалось, забыла всякий страх, осторожность, смеялась, обнимала его и говорила без умолку. Диковинную, непобедимую слабость чувствовал Терпуг во всем теле, сладкую лень, тихий смех счастья и радостного удовлетворения. Было так хорошо лежать неподвижно на соломе, положив ладони под голову, глядеть вверх, в стеклисто-прозрачное глубокое небо, на смешно обрванный месяц и белые, крохотные, редкие звездочки, слушать торопливый, сбивчивый полусшепот над собой и видеть близко склоняющееся лицо молодой женщины.

— Житье мое, Никиша, — похвалиться нечем... Веку мало, а за горем в соседи не ходила, своего много...

— Свекровь? — лениво спросил Терпуг.

— Свекровь бы ничего — свекор, будь он проклят, лютой, как тигра... Бьет, туды его милость! Вот погляди-ка...

Она быстрым движением расстегнула и спустила рубаху с левого плеча. Голое молодое тело, свежее и крепкое, молочно-белое при лунном свете, небольшие, упругие груди с темными сосками, блеснувшие перед ним бесстыдно-соблазнительной красотой, смутили вдруг его своей неожиданной откровенностью. Он мельком, конфузливо взглянул на два темных пятна на левом боку и сейчас же отвел глаза.

— Вот сукин сын! — снисходительно-сочувствующим тоном проговорил он после значительной паузы. — За что же?..

— За что! Свагается... а я отшила...

— Лезет?

— А то!..

Мгновенной искрой вспыхнула злоба.

— Ну, я ему, черту старому! — вскочивши на колени и стиснув зубы, прошипел Терпуг сдавленным, негодующим голосом. — Лишь бы попался в тесном месте — я ему сопатку почию!.. А ведь какой блажен муж на вид! — злобно усмехнулся он. — Поглядеть со стороны — Мельхиседек — патриарх! Подумаешь... Ан на деле выходит — снохач!.. Сказано, правда: богатому хорошо воровать, а старому... Не подумает никто. Не то, что про нашего брата...

Они одновременно взглянули друг на друга и вдруг весело рассмеялись.

— Ну, сделаю я память кое-кому из этих фарисеев! — значительно промолвил Терпуг.

Помолчал и с таинственным видом прибавил:

— Соберется партия у нас... мы их выучим! Мы им произведем равнение!..

Он хвастливо качнул головой и тихонько хлопнул ее по плечу. Ульяна поглядела на него с несмелой улыбкой смутного понимания, ничего не сказала. Для нее чужда и нема была эта мечта о какой-то партии. Не бабье дело. Она счастлива сейчас своим грехом, своим прикосновением к пьяному кубку любви, и ни о чем другом не хочется ей ни думать, ни говорить, как о своем молодом одиночестве, чтобы вызвать к себе сочувствие и жалостливую ласку.

— Вот про Гарибальди ты почитала бы книжку! Какой герой был! — восторженно сказал Терпуг.

Она засмеялась.

— Ну, где уж... какая я письменница! Азы забыла! Когда мужу письмо написать, и то в люди иду...

Он плохо слушал, думал о своем. Вздохнул и сказал:

— Эх, почему я не жил в те времена! Если бы теперь Ермак или Разин, ну — ни одной бы минуты в станице не остался!..

...Радостное чувство молодого самодовольства отдавалось беспокойной игрой в сердце, во всем приятно утомленном теле, искало выхода. Хотелось крикнуть гулко и резко, засмеяться, запеть, разбудить звонким, разливистым голосом спящую улицу, эту влажную теплынь весенней ночи, закутанную мягким, колдующим светом. Крикнуть удалым, зычным криком, гикнуть, чтобы слышали сонные люди беззаботного гуляку Никишку. Пусть догадаются, что идет он от чужой жены и весь охвачен ликующим ощущением великолепной

жизни. Пусть, вздохнувши, вспомнят старики свою молодость и позавидуют ему...

Он зашел. И хоть не был пьян, но стал пошатываться, как пьяный, фуражку сдвинул на затылок и пиджак спустил с одного плеча, потому что нравилось ему казаться пьяным и походить на Сергея Балахона: шататься его манерой, заложивши руки в карманы, задираТЬ встречных, сейчас же мряться с ними и объясняться в любви. Нравилось бросать в воздух певучие звуки, менять голос с баса на подголосок, с подголоска переходить на низкие ноты, обрывать внезапно песню и прислушиваться к умирающему эху в хоре весенних голосов, которые шумели в левадах.

Ночной сторож Архип Лобан, дремавший на ольховых жердях, в черной тени у плетня, невидимый с освещенной стороны, строго прохрипел голосом человека, которому смертельно хочется спать:

— Кто идет?

Терпуг остановился. Не обрывая песни, дирижируя самому себе рукой, он покачивался на ногах и совсем был похож на пьяного. Приятельски улыбаясь, он шел и смотрел в сторону Лобана, и хотелось ему затеять ссору. Так сделал бы в этом случае настоящий, служилый казак. Так непременно сделал бы Сергей Балахон.

— Спать пора! — строго сказал Лобан. — Не в указанные часы ходишь!

Терпуг тотчас же оборвал песню и вызывающим голосом возразил:

— Пора спать и — спи! Кто мешает?

Лобан не пошевелился, но с угрозой в голосе сказал:

— Ну, проходи, проходи! Без разговору! А то вот взять совсем с маминой рубахой да в клоповку...

— Не расстраивайся, брат... спокойней будет дело-то... Спи лучше. Кстати, и спать здоров!

Терпуг оскорбительно-весело засмеялся. Подождал, не скажет ли Лобан еще что-нибудь. Но Лобан равнодушно, громко зевнул и ничего не сказал. Терпуг пошел. Отошел уже далеко. Вдруг вспомнил что-то важное. Остановился, подумал и, обернувшись к Лобану, издали громко крикнул:

— Тебя все члены твои доказывают, что ты спать здоров!..

И потом продолжал путь дальше, шатаясь и распевая песню.

И проходил по всему телу ленивый смех молодого самодовольства, безудержная радость от избытка силы, дерзости, успеха и приятных впечатлений. Так весело, так хорошо было

жить в весеннюю светлую ночь, не задумываясь брать от жизни сладкий мед ее цветов, вдыхать их пьяный аромат и не вспоминать о бесчисленных удручающих ее закоулках...

#### IV

Сидели в мастерской у слесаря Памфилыча, кроме самого хозяина, Рябоконева, Терпуга и однорукий Грач, худой, мрачный, похожий на картинного бандита своими густыми, щетилистыми бровями и длинными вороними волосами. Потом пришел писарь Мишаткин, страдавший с похмелья, и послал Терпуга за водкой.

К Памфилычу часто заходили в свободное время, больше по праздникам. Был он человек одинокий, вдовец. По преклонности лет работал мало. Имел небольшую слабость к выпивке, но больше всего любил побеседовать в хорошей компании, потому и был всегда рад посетителям. Сын его, которым он очень гордился, служивший околоточным в Риге, во времена свобод прислал ему около сотни интереснейших книжек, теперь уже в большинстве зачитанных. Памфилыч с жадностью набросился на них. Изучил их все в таком же совершенстве, в каком знал псалтирь, и долго удивлялся, как это он прожил столько времени и ничего не знал?

Около этих книжек теснилась некоторое время большая и пестрая группа любителей чтения, в которую входили с одной стороны раскольничий поп Конон и писарь станичного правления Мишаткин, а с другой — такие голодранцы, как Грач и простодушный мужичок Агафон. Потом, как-то незаметно, растерялись эти книжки по рукам, и безнадежно было уж их искать, но к Памфилычу все-таки шли посидеть, поболтать, иной раз перекинуться в картишки, при случае — раздавить полубутылку-другую.

От домашней невеселой тесноты, скуки, бедности всякого тянуло к людям, к беседе, к возможности забыть докучные мысли о нужде, выкурить сигарку, посмеяться, посквернословить — все как-то полегче становилось на душе. Как бы ни была плоха и невзрачна чужая обстановка, как бы красноречиво ни напоминали ее прорехи о собственной скудости — на людях время проходило легче, без удручения, без боли сердца. Безнадежная ясность горького положения на минутку завлакивалась туманом иных возможностей и давала недолгое забвение.

И вообще было интересно сидеть так, в сладко-ленивом бездействии и слушать диковинные рассказы о человеческой жизни, о каком-нибудь странном, загадочном случае, о ловком мошенничестве или о внезапной перемене судьбы, о неожиданном...

данной удаче, обогащении. И чем недостовернее было сообщение, тем больше верилось, хотелось верить, потому что в душе у всякого жила своя смутная и несбыточная надежда на какое-то нежданное счастье, которое как будто стоит уже где-то тут, за тонкой стеной, ждет, чтобы шагнуть, обогатить, ослепить блеском и радостью.

То, что сулила сама жизнь, если глядеть на нее трезвым взглядом, не обманывая себя, было слишком ясно и просто до безнадежности: непрерывная работа на выпаханном клочке земли, постоянный страх божьей немилости, вечная мысль о прорехах и печальный конец заброшенной старости. Это проходило перед глазами ежедневно, от начала до конца, во множестве примеров, похожих один на другой, как две капли воды. И потому не хотелось долго останавливаться мыслью на том, что так определено и твердо установлено. Унылый дух сушит кости, и жизнь была бы невозможна, если бы глядеть прямо в ее ужасное, безрадостное лицо. Нужен был туман, гаданье, надежда. И диковинная, несбыточная, она рождалась услужливой мечтой.

Новое время открыло особый мир, в котором был неистощимый источник для обсуждения, споров, негодования и опять-таки смутных надежд на что-то лучшее. На словах большинство высказывалось безнадежно: ничего нельзя ожидать доброго! А в душе у каждого таилось нетерпеливое чаяние... Ведь был же момент, когда мечты о лучшей доле, казалось, почти уже облекались в плоть. Шумная и диковинная, она из неясной, но несомненно существующей дали подходила близко к убогим жилищам согбенных в тяжелой работе людей. У самого порога была. Не переступила, ушла. Но придет она опять... придет!

Спорили подолгу. Ссорились, ожесточались. Случалось, доходили до драки. И даже люди немолодые, почтенные, оберегавшие свое достоинство, теряли иногда самообладание и вступали врукопашную, как иные юные легкобреды. Станичный казначей Спиридон Григорьевич Кукарь, отстаивая божественное установление властей, не выдержал и заехал в ухо Василию Фокину, удачно возражавшему против его положений. Сцепились. Фокин, как помоложе и посвежей, без особого труда подмял под себя Кукаря и с минутку посидел на нем верхом. Старика и не очень ловко было, а делать нечего — пришлось пересопеть...

Терпуг вернулся не один. С ним пришли: Семен Копылов, Фокин и Савелий Губан. Старик Савелий не принадлежал к числу обычных гостей слесаря Памфилыча — он был для этого слишком серьезный и занятый человек. Но ему нужен



был писарь — написать свидетельство на быков: Савелий собирался ехать на Филоновскую ярмарку. Заодно также требовалась и расписка на покупку лугового пая у Копылова. Осторожный Губан не хотел было связываться с Копыловым, — не достоверный человек! — но соблазнился дешевизной и купил все-таки. Поставил непременно условием, чтобы была расписка. Копылов, успевший уже два раза продать свой пай и всякий раз под расписку, охотно согласился на это условие и в третий раз, только выговорил вдобавок магарыч. А разыграть магарыч удобнее всего было, конечно, к Памфилыча...

— Когда деньги есть, и кругозор жизни шире, — с ленивой уверенностью сказал Грач, продолжая начатый до прихода новых посетителей разговор. — А нет денег, живешь, как жук в навозе копаешься.

Егор Рябоконеv, просматривавший старый обрывок какой-то газеты, возразил, не отрываясь от чтения:

— Жизни... настоящей, правильной добиться... с пониманием... Тогда и деньги придут...

Грач иронически взмахнул сигаркой.

— Какая тут жизнь — копейки добыть неоткуда! Добейся тут!.. Подойдет статья, заработаешь гривенник-другой, оживешь на минутку. А там опять нужда. Так всю жизнь до гроба, как кобель на обрывке и вертишься... И ни отколь ничего. Один труд, а взамен ничего нет, — какое тут правосудие?..

— Шел бы ты в попы, Тимофевич, — голос у тебя дозволяет, — весело заметил Терпуг. — Духовенству жизнь хороша... Посмотри, у о. Василия живот-то какой!..

— Господа офицеры тоже хорошо живут, — прибавил Савелий Губан без улыбки, но с той прозрачно-прикрытой, спокойной иронией, которая привычна людям деловым в разговоре с пустыми, ненужными им людьми.

— Что касается офицеров, то должен вам заметить, что это голь, — возразил писарь. — Духовенство, действительно... Как говорится: попу да коту... А офицерство — тоже, как наш брат, нередко без штанов щеголяет...

— Какой офицер, Иван Степаныч! — горячо воскликнул Копылов. — Позвольте, я с вами не согласен. Какой офицер! Есть, например, из фамильных — громчей попов живут! Я денщиком был у сотника фон-Рябина — вот офицер так офицер! Всем офицерам офицер, царство ему небесное!..

— А между прочим, Савелий Фоломевич, — обратился он вдруг к Губану, — время-то, конечно, праздничное, а чего его зря терять?.. Вот с покупочкой, господа, поздравьте стари-

ка... И дешевенько отдал, ну — старик хороший... уважить надо...

Длинный, сухой Савелий равнодушно отнесся к лесте и пальцем поманил слесаря в горницу — для секретного разговора. Терпуг догадывался, что Копылов продал пай уже не в первые руки и, как всегда, пойдет судебная волокита между такими вот прижимистыми хозяевами, как Савелий, но одобрил это в душе. Едва удерживаясь от смеха, он сказал в спину Губану, когда он, вслед за хозяином, проходил в другую половину:

— Что же, пошли Бог травки доброй!..

Но Губан на это пожелание не ответил ничего. Чувствовалось по его бурому, морщинистому затылку, что он презирает всю эту компанию праздно болтающих, не стоящих людей, и если бы не нужда в писаре и не необходимость закрепить на бумаге, в силу которой Губан верил, сделку с Копыловым, — он не стал бы терять тут время.

— Всем офицерам офицер был сотник Егор Егорыч, — повторил Копылов гордо. — Я повидал у него всякой всячины! Сапоги — дешевле четвертного за пару никогда не платил... А одежды этой сколько... у-у, б-бра-тцы родимые!

Он восторженно покрутил головой и смолк от избытка нахлынувших воспоминаний.

— У него была мамзелька. Немка, что ль... вроде цыганки, словом сказать, чернявая... Помирал прямо по ней! Когда чем недовольна, визжит, бывало, по-своему лопочет: каря-баря... каря-баря... Пыхнет, уедет, а он сидит и плачет... Ей-богу, плачет! Слезы... Мягкой совести человек был. Поглядишь, бывало, аж досадно! Не утерпишь: «Вашбродь! Охота вам из-за этакой низкости сухари сушить!» — «Я, — говорит, — на нее боле двадцати тыщ просадил... Понимаешь? — говорит. — Доходит, братец, моя точка...»

— Двадцать тыщ?! — с ужасом воскликнул слесарь, вышедший из горницы в сопровождении Савелия. У Губана в руках была откупоренная бутылка и стаканчик, а под мышкой — краюшка пшеничного хлеба.

— Двадцать тыщ! — повторил Копылов внушительно. — Сам же, собственной губой, брехал!

Изумились все, засмеялись. Губан покрутил бородой и с ироническим уважением отметил:

— Цифра зазвонистая!..

— «Вашбродь, — говорю, — позвольте вам доложить: чем вам такие капиталы убивать, я вам подешевле найду... утробистую бабочку, не к этой приравнять!» — «Пошел вон, — говорит, — болван! Ты, — говорит, — животное! ничего не

понимаешь!..» Нет, двадцать-то тыщ я понимаю, думаю себе, а вот ты, действительно, помутнел. Опосля слышу: застрелился... Без меня уж. Я отслужился.

— Двад-цать тысяч! Ничего-о!— подавленным тоном повторил Грач.— Отколь же они взяты, спрашивается? трудом нажиты?..

— Ну, трудом... Из фамильных. По родословию...— простодушно пояснил Памфилич.

— По родословию и образованием также,— веско прибавил Савелий Губан.

— Да, он на одиннадцать языков знал, сукин сын!— хвастливо вставил Копылов и соврал.

— И когда на них перевод придет?— мечтательно проговорил Терпуг.

Губан укоризненно покрутил головой, но ничего не сказал, потому что занялся угощением. Не спеша, бережно и осторожно налил водку в стакан, широко перекрестился, обвел присутствующих строгим взглядом.

— Пожеламши всем доброга здоровья! — торжественно сказал он. Выпил и крикнул. И было у него на лице выражение человека, твердо знающего себе цену и не забывающего о том, что угощение кушил именно он, а не кто другой.

С торжественной медлительностью он наполнил стаканчик опять и поднес не хозяину, как полагалось бы по этикету, а писарю, потому что человек он был несравненно более нужный, чем Памфилич. Потом уже налил хозяину и Копылову. Остальных собеседников ему вовсе не хотелось угощать — совсем не нужный ему народ. Но уже из старины принято было: не обноси никого, а то врага наживешь. Помедлил с минуту и, скрепя сердце, налил неполный стаканчик. Предложил сперва Рябоконеву. Потом Фокину. Оба отказались, и это было настолько приятно Савелию, что когда и Грач, любивший выпить, последовал все-таки их примеру, он сказал убеждающим голосом:

— Дают — так бери, а бьют — так беги! Чего ломаться-то?

Но Грач не взял.

Терпугу, как человеку еще слишком молодому, Савелий вместо водки предложил нравоучение:

— А ты, Никишка, сперва ветер в пригоршни собери... Соберешь — ну, тогда можешь и за богачей браться... Так-то!.. — Ведь куда несется-то! — покрутил он своей клинообразной бородой и рассмеялся. — Куда лезет!.. Туда же, куда и прочие!.. В Сибирь ты, парень, глядишь, боле ничего!

Или туда, за маленькие окошки, в эту емназию с железными решетками. Тоже храпит, как и порядочный...

Терпуг, задетый этим пренебрежительно-насмешливым тоном, весь вспыхнул. Было обидно до боли, а сдачи дать — не знал как. Обругать Губана и немедленно полезать на ссору удерживала еще не исчезнувшая привычка юпой стеснительности и почтения к седине. Смолчал.

— Ты его не пужай,— добродушно-насмешливым голосом сказал Копылов.— Он — парень ничего.

— А тебе что же не показалось? — стараясь быть спокойным, спросил Терпуг.— Ай за свою требуху опасаясь? Погоди, равнение произведут и тебе!

— Хороший из тебя арестант выйдет со временем,— ответил Губан.— С людьми, брат, жить, должен сам человеком быть. А по своему произволу и убеждению хочешь жить, иди на Сахалин: там со львами да с тиграми поживешь!..

— Поживем пока и тут!

— Богом установленный порядок кто ломать начнет, не быть тому на-воскресе... помни! Всегда так было, есть и будет!— твердо сказал Савелий.

— Это двадцать-то тысяч на девуку... Богом установлено?..

Терпуг не выдержал и выразился очень крепко. Все засмеялись. Памфилич даже затылок поскреб, а Савелий изумленно хлопнул себя по бедрам.

— Молодой ты вьюнош, Никишка, и такие неподобные слова! Помни: горе тому, кто препирается с Создателем своим, черепок из черепков земных!..

— Сейчас за Писание! Вот не люблю за что этих фари-сеев!— сказал Рябоконеv.

— Позвольте, господа!— чувствуя завязывающуюся словесную схватку и радуясь ей, закричал писарь.— Не сдвигайте беседы с ее постановки... Позвольте! Если Писание, Писание!.. У Иоанна Златоуста сказано...

— Он испровергает лерегию!— с негодованием воскликнул Губан.

— А ты утверждаешь?— крикнул Рябоконеv.

— Да позвольте же мне сказать, господа! У Иоанна Златоуста сказано: аще убо не были бы богатии, не беша бы и нищеты... И далее...

— Это сюда не касательно!

— Позвольте! Почему же не касательно?..

— Ивана Златоуста вы к себе не равняйте, социалы проклятые! Он лерегию не испровергал!..

— Надобности нет... Зато о богатстве и бедности говорил

одно с нами. Религию и мы признаем... Во имя Отца и Сына и Святаго Духа...

— Куда вы лезете, скажите на милость? куда вы несетесь?..

— Да ты слушай сюда!..

— ...И не такие были, да в преисподнюю извергалась гордыня их. Помни и денно и ночью, не забывай: под тобой подстиляется червь, и червь — покров твой...

— Уперся, как свинья рылом, в Писание и думает: святитель...

— Я ему же, сукину сыну, пользы желаю! Из него человек будет, коль старших будет слушать. Рос он без отца... включулся в табак... в скверные дела...

Копылов изумленно и горестно покачал головой и, притворяясь серьезным, спросил:

— В какие же, Савелий Фоломевич? Либо к бабенкам к твоим когда зашел?

Губан остановился и сердито сказал:

— Это тебя не касательно. Про его дела я знаю. А мои бабы содержат себя правильно... про это нечего...

«Пронюхал, черт старый», — подумал Терпуг и несмело, вполголоса, возразил:

— Насчет этих делов тоже иные старички есть... Обряди ему, как следует, бабу — вся божественность, яко дым от лица огня, убежит...

— Ну, будет вам перепираться! Не ломайте беседу! Ты, Фоломевич, не гляди на него, подноси, пожалуйста... У меня ведь вот... еще одна!..

Копылов извлек из кармана и с веселым хвастовством взболтнул бутылку.

— Чего ты с ним! — примиряющим голосом прибавил он. — Он — молодой!..

— Щенок, — сурово сказал Губан, наливая водку, — а тоже в социалы лезет... Вот кого не люблю на белом свете — социалов этих... приверженцев!..

Фокин, недавно вернувшийся со службы, сказал:

— У нас Бурханов был, войсковой старшина. Тоже, как и ты, дедушка, не любил он их, социал-демократов! Соберет, бывало, нас: «Вы, — говорит, — братцы, смотрите не слушайтесь этой жмудии!» В это время, вобщем, начальство не храпело, а так себе... ласково, можно сказать, разговаривало... не как раньше. «Опасайтесь их, — говорит, — крошите их шашками, так их разэтак! Ничего не будет! Головой заверю...» А сам — ну такая труса был! Без двух провожатых, бывало, на улицу не выйдет...

— Как же вас, подлецов, не опасаться! — насмешливо вставил Копылов.

— Деньжонками он там хорошо было поджился, да под суд отдали после мобилизации. Не поладил с одним другом...

— Это уж кому пофортунит! Не поделился, значит... ну...

— Рублей семьдесят и моих денег за ним село... «Вы их мне представляйте, этих самых агитаторов, — говорит, бывало. — Я награжу», — говорит. Давал по трюшнице за каждого. Ну, наша братия — народ понятливый! Как видит: маломальски подходящий жидок идет — берет его за киршу и тянет: «Агитатор, вашескобродье!» — «Насчет чего?» — «Насчет земли. Землю, — говорит, — отобрать вашу офицерскую, участки...» — «Ах, так его разэта!» — «Вроде как сожалючи нас, вашескобродие...» — «Брешет он, так его разэта! Они и у вас землю отберут!..»

— Диковины нет, — сказал Губан, — и отберут! Думаешь, не отберут? От-бе-рут! Погоди, брат...

— Да чего отбирать-то? Сколько ей? Ведь это Бурханову бояться — ну так: четыреста десятин! Я и то раз не утерпел. «Нам, — говорю, — вашескобродие, это землетрясение так же страшно, как нищему пожар... Ей осталось у нас уж коротко, земли-то. А вот вам, действительно...» — «Что-э?!»

Фокин захрипел особым голосом и изобразил пантомимой изумленную фигуру войскового старшины. Все покатались со смеху.

— Осерчал?..

— Не показалось, видно?..

— «Ты, должно быть, оратор, сукин сын?» — «Никак нет, вашескобродие!» — «По морде видать: оратор!» — «Помилуйте, — говорю, — вашескобродие, никогда и никак!..» После так все и накапывался. Стою раз у полкового знамя, он проходит. «Этого, — говорит, — зачем поставили? Он меня заперт! Уберите его, это — оратор, так его разэта!»

Савелий Губан закончил свое угощение и уже готов был бы потолковать с писарем о деле, но начал угощать Копылов, и старик не устоял против искушения. Был он скуп и жаден: никогда без особой нужды не расходовал лишней копейки на грешные удовольствия мира. Но когда представлялась возможность угоститься на чужой счет, не уклонялся от греха, ел и пил исправно, даже с увлечением. Остался и тут. Посудину свою спрятал в уголок, — она тоже денег стоит, — сел рядом с писарем, которого выделял из всей компании и, принимая свой очередной стакан, сказал грустным тоном:

— Отец Василий мне надясь... Пришли, говорит, в монастырь... как бишь он его назвал?.. Вот, дай бог памяти... вертится на языке, а не назову!.. Пришли,— говорит,— трое вот таких молодцов...— Губан показал локтем на Терпуга.— Прямо к отцу архимандриту, говорит: «Руки кверху!..» И народ, говорит, был кругом, а перепугались все, никто оборонной руки не мог поднять. Забрали, говорит, денежки и ушли... Так, говорит, как в воду нырнули!..

Губан горестно чмокнул языком.

— Значит, они уж и святые не признают...— прибавил он скорбно-обличительным тоном.

— А много денег-то?

— Семь тыщ, говорит.

— Семь тыщ!— восхищенно протянул Копылов.

И долго смотрел перед собой остановившимся, изумленным взглядом.

— При оружии... вот в чем сила,— сказал Грач.

— Оружие существует — не на такой пустяк,— возразил Рябоконева.— Это и с дубьем можно... А кто понимает об оружии — не полезет с ним куда зря...

Губан весело рассмеялся и покрутил головой.

— Ведь в какую высь задаются-то! Подумаешь: у-у, г-гирой!..

— Я ввысь не задаюсь, Фоломевич! Но когда тесно мне, нож до самой души доходит,— я чувствую и говорю... вот!..

Терпуг сказал в сторону, ни к кому не обращаясь:

— Ну, а у меня охота задать трезвону всем этим обиралам мирским да фарисеям...

— Ах, ты... щенок белогубый!— с негодованием воскликнул Губан.— Парх! Право, парх...

— А ты — фарисей!..

Вспыхнула ссора, шумная, веселая, немножко пьяная. В ней не было настоящего, искреннего ожесточения, какое бывает в схватке за какого-нибудь поросенка, забравшегося на огород, или лошадь, захваченную на потраве, когда так стремительно переходят к кулакам и колям. Предмет спора был распылчатый, смутный, почти неуловимый, и лишь тогда, когда переходили на личности, укоряли друг друга, загоралась искренняя злоба и ненависть.

Кряжистый, жесткий хозяин Савелий Губан презирал, в сущности, всю эту бесхозяйственную шваль и ее пустую словесность. Ее смехотворная враждебность к тому отдаленному миру верхов, к которому он лично был достаточно равнодушен, не заслуживала бы и внимания, но какое-то невольное раздражение охватывало, досада брала, что голытьба норовит

перевернуть весь твердый, надежный порядок жизни. И он сердито, с бранью защищал эту сторону жизни, прожитой в беспрестанном, упорном, тугом накоплении, в добровольном недоедании и недосыпании, во всевозможных лишениях и темных грехах, воровстве, ростовщичестве. Он с трудом оперился, с трудом выбрался наверх, завоевал почет. И теперь, когда голая, легкомысленная вольница говорила о покушении на богоустроенный порядок, он хоть и не верил в возможность его крушения, но искренне негодовал и даже терял самообладание в споре.

Долго и бестолково шумели. Пили и шумели. Губан поражал противников текстами из Писания. Были ли в действительности эти тексты на своем месте, никто не знал, но верили Губану, что он не от своего чрева выдумывает их. И не могли сбить его с позиции. Но когда переходили к оценке ближайших явлений окружающей жизни, то очевидность голого беззакония опрокидывала все оправдания богоустроенного порядка. Губана припирали в угол. Он не сдавался и все выдвигал Бога, как союзника и покровителя своей стороны.

— Ты думаешь: ежели ты или Федот Рванкин по пучку свечей в церкву несете, так вы и святители?

— А по-вашему, и церковь не надо, может?

— Рванкин — мошенник! Панкрут! — бестолково орал Копылов. — Его давно бы надо...

— Он страх Божий имеет! А страх Божий — начало премудрости... А вы про Бога забыли, в церкву не ходите...

— Не будь ты фарисеем! Свечей-то поменьше таскай в церкву, да не блуди!..

— Поганей нет того народа, какой от Бога ушел...

— А ты-то к снохе лезешь, это — как? По-Божьему? — обличительным тоном сказал Терпуг.

Губан не выдержал роли уверенного возражателя и стал ругаться. Но это лишь доставило удовольствие его противникам. Они покатывались со смеху. Старик осерчал. Забыл даже, что надо переговорить с писарем о деле, плюнул и ушел.

— Ну, ты у меня помни, щенок белогубый! — погрозил он уже в дверях Терпугу.

Долго хохотали над ним. Фокин изображал, как будет он ругаться, когда узнает еще, что купленный им пай Копылов продал уже в двое рук. Фокин был великолепный актер и похоже представлял жадного, обозленного Губана. Каждый из слушателей еще дополнял воображаемую сцену новым,



ярким комическим штрихом, и долго в мастерской Памфи-лыча не смолкал буйно-веселый грохот.

— Надо их, чертей, учить!— кричал Грач.— В них самый корень, вот в этих...

— Учить, учить...— упрекающим тоном возражал Копылов.— А сколько раз я говорил: пойдем, ребята, забастовку кому-нибудь сделаем,— все в кусты. Духу-то в вас ни в ком ни на один градус нет!..

— У тебя никакой идеи нет,— сказал Рябоконеv.— Куда же я пойду с тобой? Лошадей, что ль, красть? Монополию громить? Так это бери Храпова в компанию, бери Кривого... Надо сорт в делах различать!..

— Ваших делов я ни черта не пойму! Одно вижу: никакого толку нет из вас... Партия, партия... А в какую силу партия?.. Атаманишку какого-нибудь и то не посмеете ограничить!..

— Может, достанем... Погоди...

— Вот я открою вам дела...— хвастливо кричал Копылов...— Я — Илья! Кабы мне еще Еноха, я бы открыл вам такие громы и молоньи!.. Я бы показал... как ты сказал, бишь? И... идеи, что ль?..

Опять шумно и бестолково заспорили. Терпуг лишь слушал. Знал он мало и привык подчиняться авторитету Рябоконева, который начитанностью превосходил даже Памфилыча. Терпуг брал не критикуя, на веру, готовыми все его мысли. Но иногда ему казалось странным, как это, при такой ясности врага, можно было терпеть и ждать чего-то? Он сам тосковал оттого, что не знает, куда надо броситься, но должны же это знать и указать понимающие люди... Желание выйти на чистое поле и схватиться с какой-то ненавистной силой, которая таила в себе все зло, сойтись с ней, лицом к лицу, — беспокойно бродило в нем и искало выхода, толкало на ненужные выходки, на дерзости полицейскому Возгрякову, стражнику и даже самому Фараошке, станичному атаману. Силой помериться, удаль показать жаждала взволнованная душа, а кругом было одно равнодушие и тупое терпение...

Теперь, когда Терпуг прислушивался к грубой, обрубленной, пересыпаемой крепкими словами речи Копылова, который настаивал на необходимости «сделать забастовку» купцам, понам и всем вообще богатыям на станице, т. е. пугнуть их и взять с них дань, — она была как-то ближе его сердцу, чем то, что говорил Рябоконеv, считавший слишком мелкой эту затею. Рябоконеv возражал Копылову пренебрежительно, с таким видом, как будто он многое знает, но не хочет зря слова терять, подсмеивался над его непониманием и тупой прямолинейностью.

— Сила нужна. Силой собраться... А раз мочи нет... Не дурей нас с тобой люди — ждут... Умей выждать!..

— Выждать! Чего ждать? Может, я завтра помру?..

— Умирай... Закопаем...

— Да я пожить желаю сам! Я человек аль нет?.. Жди! Много вы наждали?

— А ты-то много ли сделал? С кем ты выходишь? и с чем?

— В ком отвага есть, тот найдет, чем угостить. Вон — семь тыщ — это голос! Потому что кто смел, тот семь съел! Это не то, что иные книжники и прочие...

Самое чувствительное и обидное в речах Копылова было то, что он открыто упрекал всех в трусости и празднословии. С этим Терзуг никак не мог примириться. Он — трус?.. Никогда! И он докажет это!..

И когда расходились от Памфилыча, он нарочно пошел вместе с Копыловым, хоть ему и не было это по дороге.

— Семен! Ты, что же, считаешь, и я робею?.. У меня давно душа горит, да вот... кто бы путь показал?..

Копылов поглядел на него внимательным, испытующим взглядом, засмеялся и снисходительно хлопнул его по плечу.

— Ты твердый камень адамант, Никишка! — тоном старшего брата сказал он.

V

Июньские дни, полные яркости и блеска, в глазах Федота Рванкина не имели никакой цены. Были они слишком длинны, одиноки, безлюдны и безходны. Дела стояли. До Троицы держалась еще кое-какая торговлишка, в сезон свадеб. После Троицы наступало мертвое затишье. Так уж всегда — до самого Успенья, до новых свадеб. Изредка забредет какая-нибудь старуха, — таясь от семьи, купит аршина два ситцу на занавеску — гостинец дочке, выданной замуж, — и случается, что эти 30—40 копеек — вся выручка за неделю.

В будни станица точно вымирает. Приходится лежать на голом полке, выпустивши для прохлады рубаху из штан, мечтать, глядя на сверкающие в лазури церковные кресты, благочестиво размышлять, высоко ли до этой синей тверди и какова-то будет жизнь там после здешней. Федот Лукич мог представить себя лишь там именно, за этим высоким, таинственным сводом.

Жил он правильно и благоразумно. Посты строго блюл. Не пьянствовал, не расточал, не сквернословил. В церковь ходил и в праздники и под праздники. Когда о. Василий или

о. Николай выходили на амвон с книжечкой «Радость христианина» и, водя по ней пальцем, читали проповедь, Федот Лукич, весь обратившись в благоговейный слух, склонял голову набок или сокрушенно качал ею, вздыхал, иногда плакал.

Обращение с людьми — даже с самыми простецкими — было у него обходительное, тонкое. При нужде не прочь был выручить человека, давал займы и деньгами и товаром. За выручку брал росту по пяти рублей на сотню в месяц. При взыскании долга старался избегать скандала, не заседал, был сговорчив. Брал хлебом, шерстью, скотиной, яйцами, маслом, сеном, пухом, пером, лесом. Ничем не брезговал. Даже предпочитал получать продуктами местного производства: можно было наблюсти хорошую пользу при этом.

В кредитных операциях была одна неприятная сторона: некоторый риск. Кое за кем так и оставался должок: ничего нельзя было поделывать, нечего взыскать. Но и тут Рванкин редко доводил дело до суда. Бесплезно: высудишь, а взять нечего.

В таких случаях он утешался лишь тем, что высчитывал на счетах, сколько и за кем безнадежного долгу. Лицо у него, — обыкновенно приятное, мягко-округлое, — в это время становилось суровым и глухим ко всему остальному на свете. Видно было, как мысль упорно работала над раскладкой досадного убытка на другие категории доходов.

Но даже при полной оголенности должников не было ни одного долга совершенно безнадежного, если не считать неизбежного кредита, который иногда приходилось открывать местным властям. За этими случалось похеривать записи. Ничего не поделаешь: нужные люди... Но прочий должник и покупатель хранил в себе почти неиссякаемый источник кредитоспособности. Была обширная область, из которой, при небольшом навыке, мог почерпать всякий неимущий, подбодряемый нуждой: это — чужая собственность.

Насчет святости чужой собственности Рванкин был строг... Если что приносили ему тайком, осторожно, глубокой ночью — он долго колебался, чмокал языком, вздыхал. Раз десяток переспрашивал:

— Да, гляди, не краденое ли?

Потом, перекрестившись, все-таки брал и тщательно прятал.

И частенько бывало так: в глухую ночную пору подъедет к высокоогороженному и хорошо укрепленному двору Рванкина подвода. На ней или мешки с пшеницей, или связанный баран, а то просто — лес, нарубленный в станичной запове-

ди. Как-то неслышно откроются ворота, овеванные тишиной и загадочностью, высокие, прочные, хозяйственные, таинственные ворота, и опять закроются. И слышно лишь, что во дворе заливается сердитым басом лохматый, нелицеприятный Мухтарка.

Летнее затишье в делах и невольное бездействие всегда утомляли Рванкина. Он любил деятельность. Любил изобретать источники доходов. Любил, чтобы беспрестанно нарастали его средства.

Теперь он подумывал пуститься в развоз по хуторам. Взять завалившиеся остатки ситца, несколько дюжин платков пораскожее, дегтю, чаю, сахару, керосину, спичек и поехать. Бабы охотно покупают мелочишку — мыло, подсиньку, ленты. Денег-то у них нет, но хлеб, куры, яйца — в их безвозвратном распоряжении. Под лежащий камень вода не течет, а тут кое-как, по мелочишкам, но соберется нечто...

Когда вошли в лавку Терпуг и Копылов, Федот Лукич выкладывал на счетах, сколько и за кем долгу, какой надо признать безнадежным, какой затыжным, какой подлежащим напоминанию. На лице лежало выражение замкнутое и суровое — видно было, что мысль не пустяками занята. Но, увидев покупателей, он весь осветился приветливой улыбкой, выработанной долголетним навыком. За Копыловым как раз числился должок, который уже давно подлежал погашению, и если Рванкин считал его не вполне безнадежным, то потому только, что знал, что Копылов при нужде миновать его не может и хоть украдет, но добудет средства для погашения: малый здоровенный, за ночь воза два одних жердей может нарубить в общественном лесу...

— Господам кавалерам! — воскликнул Федот Лукич дружески покровительственным голосом и, высоко поднимая руку, поочередно шлепнул по ладони каждого.

— Кашемир есть? — спросил Копылов.

По короткому, независимому вопросу, прозвучавшему отнюдь не искательно, как бывает, когда намерены просить в долг, наблюдательный Рванкин решил, что должны быть у покупателя наличные. Спрашивают о кашемире — значит, не от нужды, а пофрантить хотят. На лице Федота Лукича расцвела сугубая готовность и ласковость.

— Вам для рубах? — дружески-воркующим голосом спросил он, наклоняясь корпусом вперед.

— Для рубах.

— Какой же вам будет угодно, какого колеру?

— Давай, какой ближе! — с некоторой суровостью проговорил Терпуг.

— Фасонистого подай! — небрежно прибавил Копылов.

— Предложу я вам в таком разе бордовый... Практичный колер: как не маркий, так и в носке первейший сорт! Есть, конечно, зеленый, есть колер севжант, но за эти не ручаюсь: цена выше, а в носке не могу рекомендовать. А уж за этот будьте спокойны! Как за сына родного заверю! Практичнее не найдете. Благодарить будете!..

Рванкин с особенной, привычкой выработанной ловкостью выхватил из разноцветных кусков, лежащих на полках, именно тот самый кусок, который требовалось возможно скорей сбыть с рук, и с артистически-щеголеватой небрежностью кинул его на полку перед покупателем. Копылов пощупал материю, лизнул языком пальцы и потер ее, потом вынес к дверям, хотя свету в лавке было достаточно, вопросительно поглядел на Терпуга.

— И цена, заметьте, не сердитая, — особенно приятельским голосом сказал Рванкин. — Без лишнего — девять гривен.

— За девять гривен сам носи! — усмехнувшись, возразил Терпуг.

— С людей по рублю кладу! — искренно и убедительно сказал Рванкин, понижая голос до шепота, чтобы кто со стороны не услышал об его особом благоволении к ним, к Терпугу и Копылову.

— Сами, господа, знаете: товар дорожает. Не мы цену накладываем, нам накладывают. Вы извольте взглянуть: ширина! Будьте любезны! Весь Хопер перепрудить этой шириной можно!

Копылов постоял как бы в некотором размышлении и нерешительности. Потом, отогнувши черный, набухший, плохо распрямлявшийся указательный палец, решительно ткнул на материю и сказал:

— Режь на две рубахи!

Было немножко странно Рванкину, что не стали торговаться, — он дошел бы и до полтинника. Он привык к тому, чтобы в его лавке торговались до изнеможения, даже любил этот спорт, в особенности на досуге, потому что тут во всем блеске развертывалось его красноречие. Он ошеломлял покупателя тучей убедительнейших и неожиданных доводов, силлогизмов, аналогий из жизни, из какой-то легендарной всемирной истории, из политики, из хозяйственного обихода, призывал Бога в свидетели, ссылался на чистоту своей совести и т. п.

Но вот тут как-то сразу, неожиданно согласились, и было это немножко непонятно и немножко даже грустно как будто.

Разве где-нибудь спибли дешевых деньжонок, стибрили что-нибудь и не жаль было легко нажитого? Очень возможно... В конце концов надо использовать момент и предложить еще что-нибудь — авось возьмут...

Он проворно отмерил шесть аршин, надкусил край полотнища и быстро, с мягким треском, разорвал кусок по ширине. Проворно и ловко свернул отрез в четырехугольный сверток и с особым шиком хлопнул им по полку.

— Еще чего не потребуется ли? — с улыбкой самой искренней преданности предложил он.

— Разве уж взять платков бабам? — полувопросительно сказал Копылов.

Терпуг небрежно и коротко отозвался:

— Можно.

— Извольте-с, — с готовностью подхватил Рванкин, наклоняясь корпусом к покупателям. — Есть свежей получки, на прошедшей неделе из Москвы пришли. Шалечки небольшие, каемочки шелком в тень расшиты... утирочки батистовые. Есть попроче — шириночки... Вот из цветковых не угодно ли?

— Давай из цветковых, — сказал Копылов и не утерпел, смешливо гикнул, хрипло и странно, точно овца поперхнулась.

— Да гляди, чтобы добрый сорт! — прибавил Терпуг и тоже засмеялся.

— Да уж будьте покойны! Плохое не дадим — зачем плохое давать? Я сорт в людях, кажется, различаю.

— Ну, гляди!

Копылов небрежно перекинул несколько пестрых платков, выложенных Рванкиным на полку, потом отбросил три в сторону и небрежно спросил:

— Цена?

— Чуть не даром: по полтора рублика-с...

И сейчас же Рванкин приготовился скостить по двугривенному в знак уважения к хорошим людям, но Копылов неожиданно сказал:

— Завертывай!

Рванкин чуть не засмеялся от радостного изумления. Но вздохнул и с умилением прибавил:

— Товар первосортнейший! Это ведь, заметьте себе, не жидовская Лодзь — это сама матушка Москва... сердце России-с! Из чаю-сахару не потребуется ли чего?

— Надо бы и чаю-сахару, да некогда, до другого раза! — серьезным, деловым тоном отвечал Копылов.

Терпуг взял оба свертка и пошел из лавки. Рванкин не мог

понять, что это значит: шутит ли он, или забыл о деньгах, или проделывает над ним какую-нибудь смехотворную штуку? Копылов как стоял, так и остался стоять. Но когда Федот Лукич обратил к нему свой вопрошающий взгляд, он ухмыльнулся, приподнял фуражку в знак прощания и тоже пошел в дверь. Тут уж Рванкин не выдержал и кинулся бегом вокруг полка к двери.

— Э... э... господа почтенные! Так, не того... не годится! — крикнул он.

Копылов тотчас же обернулся и сделал шаг к двери. Остановился и Терпуг.

— А деньги?— проговорил Рванкин, и на покрасневшем лице его уже не было привычной улыбки, а глаза глядели тревожно и враждебно.

— Ты чего?— коротко бросил Копылов, точно и не слышал его вопроса.

— А получить? За тобой семь тридцать пять второй год терплю!

— Ну и терпи!

— А сейчас за наличные! Это уж — сделайте одолжение!

— Наличные?

— Да-с. А то что же это такое? Денной грабеж наподобие? Нам тоже не даром товар-то отпускают!

— Наличные тебе?

Копылов нагнулся к голенищу и вытащил большой сапожный нож, остро блеснувший при свете тонкими царапинами отточенного лезвия. Он хотел было крикнуть: руки вверх! Но вместо этого придавленным хриплым голосом прошептал:

— Лишь пикни! в-во!..

На один миг взгляд его поймал мгновенный толчок изумления в округлившихся от ужаса глазах Рванкина и странную улыбку помертвелых губ, перекосившую лицо в одну сторону. Было очень соблазнительно помахать ножом над головой купца и в конце концов шлепнуть его ладонью по маковке. Но казалось, что сзади кто-то уж смотрит, чужой, и вот-вот засмеется или дружески скажет:

— Брось, а то кабы не сдох!..

— Ну и испужался!— перхая от смеха, сказал Копылов, догоняя Терпуга.— Белей белой глины сделался!

Терпуг был недоволен: вышло как-то не так, как вообразилось, слишком просто, буднично, без эффекта, на низкограбительский лад. Не о том мечталось. Хотелось блеску, стремительного натиска, опасности, быстрой расправы и обо-

гащения. А это что? Грошковые тряпки!.. А Копылов весело перхал от удачи. Поначалу ему было страшновато и как будто стеснительно, а вышло ничего себе, гладко, хорошо.

— Не так как-то у нас, — сказал Терпуг. — Я думал, ты по-настоящему сделаешь... Все ждал... А ты кашемир, платки... На кой черт они?

— Нет, ничего. Лучше бы денег, конечно, да шут его знает, игде оне у него? В курене небось?

— А из-за этого пачкаться не стоило.

— Да ты погоди! Это — пример. Вот к Дуванову зайдем. У этого касция всегда при нем, я знаю. А Рванкин — хитрый черт, в лавке денег не держит. Пойдем к Дуванову! Выну ножик — на стол деньги! Руки кверху! По доброй совести... А не даст по доброй совести, возьмем сами...

Терпуг молчал, Похоже было, что упал уже духом. Но когда подошли к бакалейной лавке Дуванова, он сказал Копылову:

— Только не тяни ты эту канитель... Враз, не копать!..

Дуванов читал «Биржевые ведомости». Он не сразу оторвался от газеты и взглянул на посетителя равнодушно, молчально-вопрошающим взглядом. Прежде он держал кабак, и в нем выработалась привычка к флегматически-презрительному взгляду на большую часть человечества. С покупателями он не терял лишних слов, цены назначал решительные, товар у него был такого свойства, что выхвалять его не было особой надобности. И торговаться не любил.

Копылов вошел с видом решительным, резко стуча сапогами. Сердце забилося у Терпуга. Вот он сейчас крикнет:

— Руки вверх!

И тогда этот читатель газеты присядет на корточки от страха. А они заберут кассу и уйдут, приказавши ему не двигаться с места в течение десяти минут.

Копылов строго кашлянул. Готовился крикнуть: руки вверх! Но вместо этого не совсем уверенно сказал:

— Дай-ка нам... розового масла...

— Не имею такого, — равнодушно ответил Дуванов.

— Ну, какое имеешь... Духовитого, словом сказать!

— Есть ренейное. На разные цены: в пятнадцать, в четвертак... есть за сорок...

— Давай за сорок!

Дуванов не спеша поднялся с табурета, подошел к полкам и выбрал один из розовых флаконов. Копылов взял его в руки, нерешительно повертел. Потом коротким ударом о



стойку отбил горлышко. С некоторым недоумением, но молча и выжидательно Дуванов глядел, как он налил масла на ладонь, помазал голову, усы и молча передал флакон Терпугу. Терпуг поднес флакон к носу, понюхал, потом поставил на полок и сказал грустным голосом:

— Пахучая вещь!

— Мажь голову! — наставительно сказал Копылов.

Но Терпуг не обратил внимания на его слова, нахмурился и сказал мрачно:

— Давай кассу, Григорий Степаныч!

— По доброй совести! — тотчас же прибавил Копылов сурово и, нагнувшись к голенищу, вытащил нож.

— Видал? — спросил он коротко, слегка потрясая им.

Брови его были сдвинуты, но в глазах прыгал смех, готовый прыснуть во всякую минуту. Дуванов изменился в лице и попятился в угол. Было несколько секунд молчания, когда экспроприаторы и их жертва глядели друг на друга в недоумении и выжидательно. Потом Дуванов с усилием улыбнулся, но губы его конвульсивно дергались.

— Экспроприаторы, что ль? — выговорил он глухо, стараясь свести дело на шутку.

— Искроприатыри! — вызывающим тоном ответил Копылов.

Он подбадривал себя и, боясь, что Дуванов добровольно не исполнит их требования, строго прибавил:

— Без лишнего разговору!

— Доставай кассу! — повторил угрюмо Терпуг.

Дуванов встретил его горящий взгляд исподлобья и прочитал в нем нечто столь выразительное, что заставило его молча и поспешно выдвинуть ящик с деньгами.

— Вот касса! — сказал он глухо и покорно и поставил ящик на полок.

Копылов своими толстыми рабочими пальцами сгреб серебро в кучу и в два приема высыпал горстями в карман. Одну маленькую монетку он долго усиливался ухватить и не мог — мозолистые, набухшие пальцы лишь двигали ее по дну ящика. Крепко выругался и, опрокинув ящик, вытряхнул ее на полок. Монетка проворно покатилась и с мягким, смешливым звоном упала на пол, за прилавок. Копылов крикнул и сказал с искренной досадой:

— Ну, нехай уж в твою пользу!..

Успех действует обаятельно. Покоряет сердца, собирает вокруг себя поклонников, сразу обрастает легендой и сразу же порождает тайную зависть. Когда в станице к вечеру узнали, что Терпуг и Копылов добыли товару и денег у купцов, то прежде всего удивились и прониклись невольным уважением к героям, точно им удалось перешагнуть, наконец, заколдованную черту, за которую многие давно хотели бы заглянуть, да мешала смутная робость. А потом позавидовали им — искренно и простодушно.

Вокруг подвига создалась легенда. Шесть аршин кашемира выросли в шесть кусков. Касса Дуванова, в которой оказалось 18 рублей 43 копейки, исчислялась тысячами. Даже тот сапожный нож, который прятал за голенищем Копылов, принял, со слов пострадавшего Рванкина, чудовищные размеры: что-то необычайное по величине и таинственному ужасу, в нем заключенному. К ночи история приобретения кашемира на две рубахи приняла пугающий, жутко захватывающий облик разбойного нападения с кровью, криком, гиком и чудесным спасением Федота Лукича при участии небесной силы.

— Значит, не дошел мой час... Господь не попустил, — кротко говорил Рванкин, отвечая на расспросы,

Ему, впрочем, мало сочувствовали. Даже одобрительно смеялись, когда какой-нибудь шутник начинал в лицах представлять тот немой, но красноречивый испуг, который пережил благочестивый купец.

А облики неожиданных героев, так хорошо всем знакомые и казавшиеся обыкновенными, теперь обволоклись пугающей тайной новизны и дерзкой отваги.

Шел покос. Рабочее население станицы было в степи. В окошки небольшой новенькой хатки Копылова, где заглядывали герои, с осторожным и боязливым любопытством заглядывали только женские и детские лица. Кроме самого Копылова и Терпуга, за столом сидели: Северьян-коваль, забредший на песни и огонек, старый бобыль и пьяница Дударев, который тоже обладал удивительным нюхом насчет выпивки, и однорукий Грач. Было шумно и пьяно, но не похоже на веселье. Охмелевший Терпуг кричал угрожающим голосом:

— Нет, достаточно! Терпели — и будет!..

— Нет, мой милый, терпи! — нежно, льстивым голосом, уговаривал его совсем ослабевший, блаженно улыбающийся Дударев. — Терпи, мой болезный! Послухай меня, старика:

горько — не горько, молчи и глотай. Терпи! Жизнь наша слезами обмыта, терпением повита...

— Поди к черту, хвост старый! Чего ты понимаешь?..

— А уж если не против мочи — выплюнь... Дело такое...

— У меня давно охота на них! — бестолково кричал пьяный коваль. — Ну, такая охота, такая охота...

— Теперь бы хоть маленькой войнишки, — бубнил сумрачный голос Грача. — Мы бы тогда сумели показать предмет...

— Ничего ты с одной рукой не покажешь! — грубо-пренебрежительно возражал Копылов. — Вот я знаю один предмет — это предмет! Только ежели бы сонных капель добыть... А был бы сундук в наших руках!..

— Сундук, сундук... поди ты!.. — закричал Терпуг. — Разве этого надо добиваться? Я бою добиваюсь, а ты с сундуком... одно знаешь!..

Он выругался и вдруг заплакал, уронив охмелевшую голову на руки.

— Пойду, говорит, я к знатым и богатым... Они знают закон, говорит... Дайте разверту моей душе! — горьким, умоляющим голосом закричал Терпуг, ударяя себя в грудь.

Но его не слушали. Кружился по избе пьяный, жужжащий, бестолковый гомон, бубнил и мутным плеском бился в радужные стекла окошек. Говорили все сразу, хвастались, объяснялись в любви, клялись в дружбе, бранились, пели песни.

Пришел полицейский с медалью на груди — Григорий Возгряков, так называемый Топчигрязь. Это был первый представитель власти, напомнивший им одной своей фигурой о том, что они совершили нечто против закона и порядка. И тон у него поначалу был взыскательно-строгий, не послабляющий.

— В правленье, молодцы!

— Че-го?! — независимо отозвался Копылов.

— В правленье — «чего»! Там того... поговорят с вами... Просчитесь мало-мало...

Терпуг поднял голову и остановил на полицейском пьяный, остеклевший взгляд.

— А ты кто такой? что за фигура?

— Это — опричник! — мрачно сказал Грач...

— Семен! Дай ему в едало!

Копылов засучил рукава. Но оробевший Топчигрязь смиренно и резонно сказал:

— Воля ваша, господа... А только посланцу голову не секут...

Показался убедительным не столько этот довод, сколько неожиданно-смирный тон носителя власти. Опричника пощадил. Даже поднесли стакан водки. Принимая его, Топчигрязь сказал прочувственным и убежденным голосом:

— Всякий человек должен жить по своему произволу... Но у всех должно быть одно сердце...

И ушел — с тем, впрочем, чтобы снова вернуться через полчаса уже в рядах внушительного отряда полицейской стражи.

Во главе отряда шел сам Фараошка, станичный атаман. Правым крылом, состоявшим из двух сидельцев-малолетков, командовал староста Семеныч. На левом крыле двигалась вооруженная с ног до головы, согбенная фигура ночного обходчика Бунтиша. В правой руке у него торчал длинный, неоструганный шест с тупым косырем на конце — пика. Сбоку висела пашка. За очерченной полукругом спиной — старое ружье-дробовик.

Шествие замыкал Топчигрязь, а в толпе баб и ребятишек, сгрудившейся сзади, к перекрестку, приостались и оба потерявшие — Рванкин и Дуванов.

Отряд остановился против ворот Копылова и стоял довольно значительное время в нерешительности. Семеныч произвел рекогносцировку через окошки хаты. В торжественной тишине ожидания, водворившейся среди любопытствующей толпы, почувствовалось нечто не шуточное и внушительное. И пьяный гомон, беззаботно жужжащий в хате Копылова, вырос вдруг в своем значении и облекся тайными страхами.

— Ну что? — спросил атаман у Семеныча, когда он вернулся от окна.

— Да пьяные, вашбродь.

— Пьяные?..

— Дударев вряд и через губу переплюнет...

— Надо взять! А то кабы не сожгли станицу... Ножей не видать при них?

— В руках не видать, а так думаю: должны быть при них ножи...

— Надо осторожно. У тебя, Игнат, ружье — так ты уж иди передом...

— Ружье-то ружье, вашбродь, да кабы заряжено! — прискорбным голосом отозвался Бунтиш. — Пистонов нет! Заходил к Кузьмичу пистонов взять — нет подобных пистонов...

— Тогда дай свисток — пушай на всякий случай подойдут прочие...

— Сзывай лезервы, Бунтиш! — послышался веселый женский голос из толпы.

— Куче-то их можно голыми руками забрать! — уверенно сказал Бунтиш.

— Ну, играй тревогу! Не проводи время! — опять раздался из толпы нетерпеливый голос, и дрожали в нем веселые ноты добродушного зубоскальства.

Старик достал из-за пазухи свисток и надул щеки. Засвистел. Послышался странный, сишный, глухой звук.

— Э?! — насмешливо воскликнул кто-то в толпе.

— Засорил...

Старик подул еще — опять бессильно прошипел сишный, простуженный звук.

— Разучился!..

— Чего разучился? Засорил...

— Горошина застряла! — сказал старик, сердито обернувшись на критикующие голоса. И стал стучать свистком о ложу своего дробовика. Стучал томительно долго. Потом, набравши побольше воздуха, опять подул. Веселый, журчащий, клекочущий звук побегал в чуткую тишину, а ему тотчас отозвались еще два-три свистка в разных концах станицы. Бунтиш победоносно оглянулся кругом.

— Ловко! — послышался льстиво-одобрительный голос Рванкина.

Бунтиш засвистел опять, и снова дружеским приветствием откликнулись ему другие свистки — все с того же расстояния, ни дальше, ни ближе. Должно быть, сидели себе старички где-нибудь на завалинках и дремали.

Заслышали ли эти свистки в хатке Копылова или просто надоело сидеть в духоте, но вдруг пьяный гомон из стен ее выбежал сначала на двор, затем к воротам, на улицу. Две черные, колеблющиеся фигуры, бестолково галдевшие, качаясь, подвигались вперед порывистыми толчками. Кричали, размахивали руками, ругались.

Толпа, стоявшая поближе к перекрестку, сразу подалась назад, точно ветер вдруг подхватил ее и погнал вдоль по улице. Дрогнул и отряд полиции. Страх всегда заразителен... Всем почему-то представились ножи, о которых так много наговорил Рванкин. Уже издали послышался командующий голос Фараошки — голос у него был большой, а дух малый:

— Взять их!..

Но даже тяжеловооруженный Бунтиш, прикрывавший отступление, был уже на таком расстоянии, что не видел, как обе шатавшиеся фигуры, — это были коваль и Дударев, —

братски обнявшись, ткнулись вдруг в кучу золы около плетня и, после нескольких безуспешных попыток подняться, покорно отделились во власть мутного, пьяного сна.

Бунтиш слышал буйные, вызывающие крики, доносившиеся все с того же зачарованного ужасами места. Иногда улавливал отдельные слова или обрывок неналаживающейся песни. И так прошло несколько длинных, томительных минут. Стал опять стягиваться рассыпанный отряд полиции. Из переулка вынырнул несколько сконфуженный Фараошка, а за ним кучка босоногих баб. И все молча, выжидательно всматривались в серый полог ночной дали, закутавшей от глаз буйствующих, таинственно-грозных гуляк.

Вон как будто что-то вырисовывается и мелькает между черными валами улицы. Как будто ближе подвигаются пьяные голоса. Один все запекает песню и бросает. Звонко отпечаталось в воздухе крепкое слово. Два голоса вместе зацепили песню и расползлись врозь. Присоединился третий — подголосок. Он нашел верную ноту, полился широко и красиво. Вот они — близко...

Фараошка опять неслышно нырнул в переулок, громко заплескали вслед за ним бабьи юбки. За бабами подался и остальной отряд. Бунтиш держался некоторое время на виду, но потом спрятался за угол и, осторожно выглядывая из-за него, следил за движением неприятеля.

Ему теперь видно было, как певцы медленно переступали ногами, останавливались, дирижировали руками и головами. Видимо, влагали в песню много чувства.

...Уж ты думай, моя головушка, думай думу, не продумайся!  
Ты советуй, мое сердечушко, с крепким моим разумом...

Ножей в руках не видать. Пьяны крепко, но настроены, по-видимому, мирно... Как будто даже на скорбно-покаянный лад...

И когда они подошли ближе и стало несомненно, что ножей у них нет, Бунтиш, перекрестившись, выступил из-за угла и произнес обычное:

— Кто идет?

Широко расставив ослабевшие ноги, они остановились перед ним. Долго молчали, вглядываясь с удивлением в его воинственную фигуру, и были смешны, но не страшны. Наконец Копылов радостно прохрипел:

— Дядюшка!.. Игнат Ефимыч!.. Это ты?.. Болезный мой!.. Вот, ребята! — растроганным голосом воскликнул он. — Польпу человек асмирял! Ка-ва-лер! И сейчас царю-

отечеству служит!.. Дядюшка! милый мой! сердешный! Я тебе в ноги за это поклонюсь...

И, растопырив руки, точно нащупывая ими пространство, Копылов с трудом, медленно стал нагибаться. Потом качнулся вперед порывисто и сразу ткнулся головой в колени Бунтишу. Долго и трудно вертел задом, стараясь подняться. Поднявшись, обнял старика и троекратно облобызал с обеих сторон его спутанную бороду.

— Извини, сделай милость... выпили... — сказал он виноватым тоном.

— Выпили, так на покой надо!

В голосе Бунтиша была отеческая строгость.

— Дай мне власть — я с ней поговорю! — угрожающим, пьяным голосом закричал вдруг Терпуг.

— На покой пора! Нечего булгачить станицу!..

— Атамана мне дай сюда, я спрошу у него отчет! Куда недоуздки станичные делись? А жито из общественного магазина, а?..

— Какое там жито? Вот в клоповку тебя завтра! — сердце возразил Бунтиш.

— А в едало не хошь?

Это очень обидело старика. Какой-то молокосос, равный годами его правнукам, смеет оскорблять георгиевского казака! Старое сердце закипело...

— Ах, ты... распроделать тебя в кадык...

Он вдруг широко размахнулся своей пикой и не ткнул, а просто плашмя треснул ею по голове, но попал не в обидчика, а в Копылова, который стоял слева. Копылов в ответ спокойно, точно это была игра, молча, не спеша взмахнул кулаком и ударил Бунтиша по его лохматой папахе. Бунтиш одно мгновение как будто раздумывал, упасть или нет, потом медленно, словно нехотя, повалился. Еще три раза над ним, уже лежавшим, молчаливо поднялся и опустился кулак Копылова. Потом все трое — Терпуг, Копылов и Грач, — обнявшись, пошли медленным, неспешным шагом дальше и снова запели ту самую песню, которую оборвали.

Бунтиш полежал с минуту, медленно поднялся, постоял в раздумье. Потом коротко ругнулся и засвистел в свисток заливисто и звонко. Опять далеко, в двух местах, отозвались ему такие же свистки: не спим, дескать! Через несколько минут к нему боязливо, с опаской подошли три-четыре сочувствующих бабы.

— Вот арестанты, сукины сыны! — эпически-спокойным тоном говорил старик. — Прямые арестанты!..

— Я говорила тебе: не трожь! Чего с пьяными связываться? — сказал назидательно бабий голос.

— Говорила, говорила... Поди ты к... Кабы мне кто подержал их, я бы им... Говорила!..

— А больно?

— Шею повернуть нельзя...

— Подержи-ка их, поди... Теперь до атамана, слышать, пошли — они ему отпоют про недоуздки-то...

— Ну, ничего, дедушка! И ты его пикой-то...

Бунтиш вдруг захрипел от смеха, вспомнивши свой звонкий удар.

— Я думала: из пистоля кто вдарил! Тарахнуло, как из орудия!..

— Я колоть не стал, — с трудом выговорил старик сквозь душивший его радостный смех. — Я взял вот таким манером, как д-дам!

И все залились вместе с ним долгим, задумчиво-веселым смехом. Довольны были...

## VII

Терпуг проснулся на другой день поздно, уже в завтрак, и долго не мог сообразить, где он есть? Лежал он не в хате, а под сараем, на кучке старого, сухого конского навоза. В головах был старый полушубок, свернутый шерстью вверх, — кто-то все-таки, видимо, позаботился о нем. В прорехи старой крыши сарая лезли горячие лучи солнца. Светлые, чистые колонны пыли, разрытой курами, стояли косыми рядами, наклонившись в сторону улицы. Мухи роем вились над мутной, больной головой, тяжелой, как свинец. Было все странно, удивительно и незнакомо...

Медленно выползали из полушубка воспоминания, отрывочные, бессвязные и невероятные. Вот разместились они в ряд, вперемежку с золотыми столбами пыли, и Терпуг замычал вдруг от стыда, как от невыносимой зубной боли. Дико, нелепо и смешно как все вышло... Милые, восторженные мечты о красивом подвиге, о славной молве... прощайте. Засмеют теперь на всех перекрестках, загают... И это он смел мечтать о Гарибальди, он, Никишка Терпуг, сырой, необработанный пень?!

Он стиснул зубы и зашипел от жгучего ощущения неоправимого позора.

Пришла мать.

— У-у, непутева голова! — начала она придавленным, обличающим голосом. — С этих-то пор пьянствовать, вешаться? Честь закупаешь? Мало тебе: включулся в табак — и с водкой снюхаться захотел? И-ы бесстыжая твоя морда!



Долго выговаривала, попрекала, стыдила. Он молчал, уткнувшись лицом в полушубок, и был неподвижен как камень. Только когда она, понизив голос, с заговорщицким видом спросила: «Деньги-то хочь целы ли? давай приберу!» — он поднял голову и с загоревшимся, злым взглядом обругал ее нехорошими словами.

— У-у, статуй, черт! — сказала старуха уходя. — Хочь бы мальчонке-то гостинца принес, кобель бесстыжий!..

Это был единственный упрек, правильность которого признал в душе Терпуг. Дениске следовало бы принести что-нибудь. Но всем распорядился Копылов, и черт его знает, куда он дел и деньги и товар?.. Не хотел этого знать Терпуг, не этого он добивался...

— Земля, возьми меня! — с горечью отчаяния мысленно воскликнул он и опять глухо застонал от мучительного стыда.

В обеды пришел полицейский Топчигрязь и с ним трое сидельцев — два старика и длинный молодой парень с желтым, больным лицом. Топчигрязь с некоторым опасением вошел в хату, помолился на образа и сказал ласково:

— Ну, Микиша, пойдем в правление. Приказано представить...

Старуха встревожилась, положила ложку и заплакала. Терпуг, не спеша и не глядя на полицейского, продолжал есть. Топчигрязь стоял у порога. Казаки заглядывали в хату из чулана. Ждали. А Терпуг молчал и равнодушно хлебал ложкой вареную калину. И было как-то чудно, странно. Сидельцы постояли и вышли во двор. Послышались оттуда их ленивые, скучные голоса и пощелкиванье семячек.

— Пообедаю, сам приду! — сказал, наконец, Терпуг угрюмо и коротко.

— Велел представить... за приводом... — нерешительно, тоном извинения, возразил Топчигрязь.

— Сказал: приду, — ну и приду! А за приводом ежели — не пойду! Чего вы со мной сделаете? Раскидаю всех, как коровье...

Топчигрязь вздохнул и вышел. На дворе долго совещался с сидельцами. Казаки были хуторские, смиренные, робкие. Должно быть, и у них не нашлось решимости исполнить в точности приказ атамана, потому что Топчигрязь опять вернулся в избу и тоном убедительной просьбы сказал:

— Так ты гляди же, Микиша... ты того... приди!..

— Сказал... чего ж тебе?..

Мать плакала, робко попрекала. В другое время Терпуг,

может быть, прикрикнул бы на нее, — обращался он с ней не очень почтительно, — но теперь молчал. Чувствовал, что она права: вышло что-то нелепое, ничтожное до смешного и совершенно бесполезное. Молча оделся, молча ушел.

В правлении он уже застал Копылова. Фараошка кричал на него, топал ногами, грозил Сибирью. А он стоял навтыяжку, держа по-военному фуражку у груди, огромный, страдающий с похмелья, и, усиленно стараясь изобразить на опухшем лице раскаяние, говорил хриплым голосом:

— Вашбродь... заставьте вечно богу молить... по пьяному делу...

Увидев Терпуга, атаман бросил Копылова и стал отводить душу на нем.

Фараошка был труслив, но горло имел здоровое. Ругался складно, умело и очень обидно. Иногда подносил кулак к самому лицу, и Терпугу большого труда стоило удержаться от того, чтобы не ухватиться за новый галун атаманского чекменя и не ткнуть им в сытую физиономию Фараошки.

— Я-а с вами поступлю! — многозначительно, угрожающим голосом кричал Фараошка. — Я-а найду, чем сократить вас! Я вас возьму в переплет, в хо-роший переплет возьму вас!.. Вы меня узнаете!.. За такие дела самое правильное — шворку на шею! Вот увидим, какую резолюцию генерал положит... а то я вас, дружки любезные...

Обоих отвели в станичную тюрьму. К вечеру Копылов напился вместе с караулившими их сидельцами и начал бухевать: бил ногами в дверь, разломал печь, высадил окно. Потом уморился и уснул крепким, беспмятным сном пьяного человека. А на другой день опять стоял навтыяжку перед Фараошкой и униженным голосом говорил:

— Помилуйте, вашбродь... Заставьте вечно богу молить...

И зверообразное лицо его, на котором он усиливался изобразить раскаяние и мольбу, было смешно и жалко.

Было в этом много обидного и досадного. Трусливый Фараошка безвозбранно куражился над ними, а они должны были молчать и глотать оскорбительные издевательства. Люди работали, а они лежали в клоповнике, курили, сквернословили и чувствовали слякоть на душе. И за что? Уж если бы, в самом деле, сделали что-нибудь крупное, внушительное, а то так, словно на смех, постращали купчишек... и только! Что же тут особенно преступного?

Четыре дня Фараошка держал их под замком и в казарму даже не разрешил выпускать. Мать, приносившая Терпугу обедать, все плакала и все ждала дурного, рассказывала про

дурные сны, которые снились ей, про боль сердца, мучившую ее день и ночь.

— Ходила уж к нему, к лиходею, — говорила она про Фараошку. — Ваше благородие, господин урядник! Оглянись хочь на мою бедность, Селифан Петрович!.. В ногах у него елозила. «Трюшницу, — говорит, — принеси, тогда погута-рим». Трюшницу! Подумать легко!.. И где ее взять-то, трюшницу?..

— Ничего не носи, — угрюмо говорил Терпуг. — И сама сиди, нечего шляться, пороги околачивать...

— Да как же, чадушка? Провожу, говорит, в Сибирь! Вот и бумага от генерала, говорит: обществом проводить в Сибирь...

— Руки коротки! Еще как общество...

— И-и, болезный мой! Общество... Сильна — как вода, глупа — как овца!.. Вся общество у них под пяткой!..

— Ну, там поглядим!..

На пятый день жена Копылова отнесла атаману рубль, и обоим арестованным разрешено было за караулом ходить домой обедать и вечерять. И когда Терпуг пришел в первый раз в свой угол, скудный и милый, когда Дениска забрался к нему на колени и весело заболтал ногами и языком — тюрьма с ее постылым, пьяным, циничным гвалтом и сквернословием показалась сонным кошмаром и пугающим наваждением. Хорошо бы поскорей все это забыть, будто ничего не было, лечь в чулане, где поменьше мух, взять книжку, уйти в нее и сердцем и мыслью. А завтра наняться к кому-нибудь косить — свой покос еще не поспел, к озимым житам только приступали... Взять косу да развернуть на степном просторе свою силу, показать, что он такой же артист и в работе, как на кулачках, накласть рядов от края до края через всю полосу, заработать за неделю рублей шесть... Половину положить в сундук, беречь на браунинг. На браунинг за лето он соберет...

На Петров день назначен был сход. Выборные собирались недружно, лениво, и заседание долго не начиналось. Терпугу видно было с крыльца казармы, — их уже не держали под замком, и они проводили большую часть времени с сидельцами, — как старики приходили и уходили, лежали в тени, сидели на ступеньках крыльца, ведущего майданную. Было жарко, душно. Людям, привыкшим в домашнем обиходе ходить в одних рубахах да подштанниках, нудно было теперь в суконных шароварах с лампасами, в суконных серых пальто или сюртуках на вате, которые пришлось надевать поверх рубах ради приличия. С майдана доносился говор, ленивый и вялый,

изредка пересыпаемый крепкими флегматическими шутками и здоровым смехом.

Видно было Терпугу, как ходил около выборных, от одной кучки к другой, отец Копылова — рябой, бородатый Авдей. Сын хоть и не жил с ним и был непочетчиком, а все-таки своя кровь, жалко было, и старик, видимо, усиленно хлопотал теперь за него, упрашивал и предлагал угощение. Человек пять или шесть лениво, как бы нехотя, поднялись и направились вслед за ним в ближайшую хатку, из которой неся уже жужжащий гомон пьяных голосов. Стояла она как раз на перепутьи всех дорог, ведущих в правление. В дни станичных сборов в ней очень бойко торговала водкой старуха Цуканыха.

Видел Терпуг и свою мать. Она стояла в стороне, подперши щеку рукой, и не решалась, видимо, говорить с выборными, когда они были в группах. Только завидевши кого-нибудь одиноко проходившего, догоняла и начинала что-то говорить, жалобно качая головой и утирая нос ладонью. А слушатель, надвинув на глаза козырек фуражки, не глядя на нее, стоял и равнодушно разгребал горстью бороду.

И было досадно Никифору на старуху: к чему она унижается? из-за чего? перед кем? Многих из тех, кого она просила, он хорошо знал: были люди простые, темные, смиренные, тупые, от которых все равно толку никакого, идут, как овца, за другими. А если кто и не глуп, то труслив, мелок и расчетлив. Не уважал он их и не боялся, хотя смутно чувствовал, что все вместе сейчас, в роли судей и карателей, они были все-таки чем-то более значительным, чем когда бывали они, отстаивая свои интересы от покушений какого-нибудь ничтожества, вроде Фараонки или рангом выше.

За свою участь Терпуг не чувствовал никакой тревоги. Была у него несокрушимая уверенность, что никто из выборных не взглянет на то, что он с Копыловым сделал, как на проступок. Давеча пьяный почтарь Серега при всех говорил:

— За купцов, ребята, я бы вам по Егорию дал — ей-Богу!.. Да мало вы их! Их надо бы, подлецов, не так!.. Рванкин — ведь это жулик первой гильдии, панкрут! Два раза тулуп выворачивал!.. Москву, — уж на что продиктованный город, — и то в лапти обувал!.. Нет, молодцы ребята! Хвалю... Молодцы!..

И другие тоже говорили:

— Да, купцов — их не мешает взбодрить...

— Приступу ни к чему нет: налог и налог... На все товары цену наложили...

— Косые налоги, говорит... Пора бы поправить их, косые налоги!..

— Да вообще эти иногородние народы, русь эта вонючая, — хуже жидов они в нашей земле!..

Но Копылов, по-видимому, все-таки упал духом. У него были причины опасаться враждебного отношения к себе выборных. Кое-кому он насолил раньше. Со многими ему приходилось вести тяжбу за землю, которую не раз он продавал в несколько рук. Подозревали его также если не в конокрадстве, то в пособничестве конокрадам, хотя он ни разу не попался. А главное, был он скандалист, ругатель и непочетчик старших. В пьяном виде даже попов угощал самыми отборными словами.

Егор Рябоконеv, посетивший Терпуга перед началом заседания, сообщил:

— Ходил по народу, прислушивался. Про тебя никаких речей, один лишь Губан заверяет, что ты станицу сожгешь... А вот на Семена много зубы точат. Ну, да авось... Аль уж, в самом деле, за такой пустяк приговорят?.. Не надеюсь!.. Все-таки, как-никак, это — народ, а не табун... Большое дело — народ!.. Хоть и слепой, а все как-нибудь нащупает правду...

Терпуг ожидал и заранее мечтал, как позовут его на сбор и как он будет объясняться с обществом. Он скажет им слово! Он не поробует... Пора, наконец, открыть им глаза, этим слепцам, добровольным холопам, хребет свой сделавшим улицей для проходящих... Он скажет... Народ... А что такое народ?.. «Сильна — как вода, глупа — как овца»... Нет, он им скажет...

Но его не позвали, Фараошка удалил из майданной даже отца Копылова — Авдея, который стал было просить пожалеть его сына. Из посторонних допущены были только Рванкин и Дуванов. Двери в майдан затем закрыли, и слышно было лишь, как толкались там дробные, переплетающиеся голоса, словно частый стук деревянных молотков, барабанивших по пустому горшку.

Но когда подошло время обеда, Терпуг, проходя мимо майдана, не утерпел — подошел к двери и, осторожно приотворив ее, стал слушать. Сопровождавший его молодой сиделец сел в тени, на нижней ступеньке крыльца, и равнодушно занялся подсолнуховыми семечками. В узкую щелку с крыльца можно было хорошо слышать и разбирать голоса, когда говорили не все сразу, и Терпуг безошибочно угадывал знакомых ораторов. Вот голос Рванкина... Почему же Рванкин, мужик, иногородний, — на сборе, а их с Копыловым, природных казаков-граждан, не допустили?.. Какой-нибудь шибай, тар-

хан — и в казацком кругу речь держит!.. Ишь, подлец, какую песню поет:

— Я, господа старики, сна решился... вот какое дело! Ворочаюсь всю ночь на кровати, а глаз сомкнуть не могу... Не попустите такому беззаконию, господа! А то это что же? Нынче — меня, а завтра — вас... Это тоже выходит дело в двух смыслах...

А вот и старик Бунтиш заговорил.

— На Микишку я сердца не имею, господа старики, а Копылов лично вдарил меня, при виде народу... Шею даже сейчас не поверну! Такого конфуза я ни от кого ни в жизнь не видал... А ведь я в двух службах был! Имею крест, по крайней мере... А он при полной публике... лежачего...

— Нынче дедов-отцов и то за грудки трясут...

— Я прошу, господа старики, пожалейте мою старость: сошлите моего внука — Тишку!..

...Это кто же? Молочаев, никак? Мироед, кулак, а тоже каким хворым голосом запел!

— ...Он меня скоренил... прямо в разор разорил, апонец, сукин сын!..

— Видно, не из родни, а в родню?

— Да у нас в роду никогда таких мошенников не было! В амбаре... в своем собственном амбаре с мешками поймал его!.. Это — голос? Все повиатачил на карты да на орла... Вилами меня чуть не спорол!..

— Нынче дедов-отцов...

— Поучить надо! Сладу никакого не стало с молодыми — поучить следует!

— К этим двоим еще человек пяток добавить — вот и ни то ни се...

Другие прочие, может, посмирней бы стали.

— Сослать — не сослать Храпова! Вот самый злодей; пешком меня оставил, мерина увел...

— Всех непочетчиков старшим под один итог надо!..

— Гляди, и ты с ними не угоди! Отца-то кто за бороду таскал?..

— По стезе правды ходить — кочек много, а путь беззакония — он поглаже!..

...Это — фарисейский голос Губана, такой елейно-благочестивый, вздыхающий, сокрушенный...

Всплеснулись разом несколько голосов, закружились, спутались в сердитой схватке. Терпкий запах пота плывет в узкую щель. Одним глазом можно видеть смешно прыгающие, трясущиеся бороды, порывистую жестикуляцию загорело-черных рук, мелькающих как спицы старого поломанно-

го колеса. Из водоворота крутящегося гвалта выскочит отдельное негодующее слово или звонкий, как лай дворняжки, голос:

— Исайкина сына, атаман, присовокупи...

— Внука мово!.. внука!.. Христом богом прошу!.. Тишку!..

— Ты не залетай вперед! Мы сами несколько грамотные... тоже учились когда-то за меру картошки!

— М-молчи, честная станица!— покрывая шум, оглушительно закричал есаулец и застучал клюжкой об стену: молчи-тя-а-а! М-мол-чи!..

Не сразу, а понемногу, все еще перебрасываясь сердитыми, уличающими словами, стали смолкать. Стихли, как стихает стадо гусей, взволнованное на время единоборством своих вожakov.

— Что же, старики? проводить, я думаю?— сказал ленивым голосом Фараошка.— А то, чего доброго, сожгут станицу, всех с сумой пустят...

— Да чего же их оставлять?— первым отозвался хворый голос Молочаева.— На завод ежели, так у нас таких соколов достаточно...

— Терпугова-то жалко... Казачок-то какой? Картина!..

...Это Лобан заступился? Спаси его Христос! Вот от кого нельзя было ждать... Думал: он лишь спать здоров — ан вот голос подает...

— ...Мальчишка молодой... люди бедные... кто матерю кормить будет?

— Этот на-кор-мит!— колкой усмешкой пропел голос Губана.

— Все-таки... как-никак... не побираются с сумой...

— Жили бы правильно, вот и были бы сыты. В Писании сказано: праведник сыт бывает, а чрево беззаконных терпит лишение...

Терпуг смутно потом вспоминал, как это вышло, что он неожиданно открыл дверь и крикнул:

— А ты — снохач!

— Это что такое?!— послышался негодующий голос Фараошки:— Это почему?! Полицейский! Под замок его!..

— Господа, будьте свидетели! Какой я снохач?— крикнул Губан.

По майдану уже побежал смутный шорох смеха и веселых голосов.

— Я подам! Я этого дела так не оставлю! Что я, в сам деле, какой я снохач?

— Господа старики! — закричал опять Терпуг в упоении дерзости и отчаяния. — Головой заверяю, Савелий Губанов — снохач!.. А ты, атаман, верни краденое жито в магазин, а то я тебя доведу!..

— Полицейский! Чего ж ты, болван?! Удали его!

Топчигрязь, растерянно и нерешительно топтавшийся у двери, надвинулся на Терпуга и, когда он подался на крылец, взял было его за локоть.

— Ты чего? — злобно крикнул Терпуг и локтем наотмашь ударил его в лицо.

Топчигрязь удивленно икнул и опрокинулся навзничь. Захлипела кровь из носа, побежала по бороде. Сиделец испуганно вскочил со ступеньки и бросился прочь. Терпуг спрыгнул с крыльца, прошел шагом, нарочно замедленным, небольшое расстояние до яру, за которым начинались сады и вербовые рощи, спустился вниз и исчез из глаз небольшой кучки людей, выбежавших к углу станичного дома.

## VIII

Первое время до Терпуга доносился шум поднявшейся тревоги. Слышен был голос Фараошки. Он кричал на кого-то, — вероятно, на сидельцев, — грозил каторгой. Звонко отдавались в тиши безлюдных рощ далекие обрывки крепких, бесильно бушующих слов. Похоже было, как будто Фараошка шел на решительный штурм, гнал растерявшуюся команду, а она бестолково металась и шарахалась совсем не туда, куда надо...

Терпуг прибавил шаг. Он прыгал через канавы, перелезал прясла, которые хрястели и ломались под его тяжестью. Цеплялись за ноги колкая ежевика и хмель, унижавший плетни. Мелькали вишневые кусты, облепленные покрасневшими ягодами, и старые яблони, сцепившиеся густыми, низко сидящими ветвями в прохладные зеленые шатры... А вот широкие заросли терновника-самосадка. Вот он где, настоящий приют для беглеца, желанный и дружественный зеленый приют...

Он ползком пробрался сквозь колючую чащу, отыскал местечко, где можно было улечься, и огляделся. Глухо, дико и диковинно тут было — точно безмолвные зеленые тайны бродили между этими корявыми, колкими, покрытыми желтым мохом прутьями. От станицы доносился лишь смутный шум жилья, одинокий лай собаки да особый частый



звон, которым продавцы-косники сзывают покупателей, выстукивая новой косой по шиновке колес фигурчатую трель.

— Ищите теперь! — вслух проговорил Терпуг, укладывавясь на локти и прислушиваясь.

Чувство торжества в первую минуту было так безотчетно приятно, что он засмеялся. Мелькнуло в памяти изумленное, налитое краской негодования, толстое лицо Фараошки, потом потешно-обиженный голос Губана, потом смешно-запрокинувшаяся фигура полицейского... Засмеялся.

Скользнула потом мысль, сперва спокойная и равнодушная.

— Да, теперь приговорят, пожалуй... Должны...

И вслед за нею встало воспоминание о матери, пригорюнившейся и жалкой, униженно просившей о нем выборных. Горько стало.

— Приговорят... чего там!

И горячей смолой поползла по стиснутому сердцу обида. За что? Подумать только: за что? Кому какое зло сделал он?

Он пролежал на тернике до сумерек. Сперва, пока бушевала в сердце злоба, не чувствовалось голода. Но когда тихая, усталая боль обиды налила сердце свинцовой тяжестью — он вспомнил, что голоден и вот лежит как загнанный зверь в берлоге.

И так жалко ему стало самого себя, так горько покачал он головой над своими прежними необузданными мечтаниями о славе, о хорошей жизни, широкой и громкой... Навернулись слезы... Хоть бы мать пришла, положила бы свою усталую старушечью руку ему на голову, пожалела бы его...

Встал. Прошел садами к тому краю станицы, откуда было ближе до своего двора. Прислушался, прикинул в уме, к кому теперь удобнее всего пройти. Домой — опасно: пожалуй, караулы расставлены. Тут ждать — ничего не дождешься в ночное время. Больше всего хотелось бы ему увидеть Егора Рябоконева, но он, пожалуй, теперь уж уехал на покос: летом все даже в праздничные дни выезжают на ночь, чтобы держать скотину на зеленом корме. Вот Дударева избенка недалеко, да старик-то бесполезный. Пожалуй, и спит уже теперь...

Подождал, пока больше стемнело. Засвежело в левадах, и шумнее стало, чем днем. Звенели комары над самым ухом, жук угрожающе гудел где-то близко, над яблоней, в траве заиграли невидимые музыканты. Стих ребячий гомон в станице. Видно, уснули.

Вышел Терпуг на яр. Нагретое за день жилье дохнуло на него сухим теплом, и после сырой, зябкой свежести и глу-

ши левадов от улицы повеяло милой лаской и уютом. Огляделся. Ничего не видно и не слышно в серой, теплой мгле звездной ночи. Смутными белыми полосами слились, уходя вдаль, обе стороны улицы с белыми хатками, и крепким трудовым сном веяло от их серьезного молчания. Вдали, на колокольне, пробило одиннадцать.

— Нет, не пойду к Дудареву... попытаюсь домой, — решил Терпуг.

Переулками не близко было до двора. Пришлось держаться около плетней, останавливаться, оглядываться, красться бесшумно и медленно, по-кошачьи. Вот она и своя улица. Вторые ворота от угла — их двор. Осторожно выглянул из-за соседского куреня. Кто-то сидел на земле, у самой их калитки. По-видимому, в тулупе: как-то широко расплылась по земле грузная фигура. Лежало что-то на коленях — оружие, верно. Кто бы это был? Сидит, как камень, головы не повернет. Спит разве?

Терпуг подождал несколько минут — долго и томительно тянулось оно. Рискованно было стоять на углу. Перелезть бы через плетень, через соседский двор, но стар плетень, чуть держится, не выдержит его тяжести, захрястит — лишь собак растрожит.

«Э, была не была... Кинется — так за глотку схвачу!»

Он решительным шагом подошел к сидевшей у калитки куче и узнал благодушного Лобана. Караульный спал сидя, склоненное к бороде лицо было озадачено и удивлено.

Терпуг отворил калитку и подошел к чулану. Верно, ждала его мать: дверь не была заложена, и, как только он стукнул щеколдой, старуха отворила дверь из хаты. Начала причитать шепотом, чтобы не слышно было, засуетилась около остывшей печи — покормить его.

— Ну, нечего помирать вперед смерти, — сказал Терпуг хмурясь. — Не пропаду...

— Куда же ты денешься, пропащая ты голова?

— Куда? Куда-нибудь денусь... Свет не клином сошелся. Уйду пока к дяде Сидорке — теперь покос, он рад будет. А пока того-сего... уляжется тут, разыскная пройдет по станицам — назад приду. Егора бы мне увидеть... чтобы вид он мне добыл какой ни на есть...

— Ну, а мне-то как же теперь? Пронасть, видно...

— То-то вот... об тебе-то... Жалко тебя-то бросать. И Дениску вот жалко. Ишь, сукин кот, развалился как! И кулак в голова положил!..

Он с любовной улыбкой потрогал пальцем маленький кулачонок своего племянника.

— Вырастешь, мой соколик, отомсти за дядю!

И точно через край плеснулась боль, налившая его сердце, — прошла мгновенно судорога по лицу, и, ухватившись за голову, задергался он от беззвучных рыданий.

И долго в душноватой тишине родной хаты, в серой тьме, молча плакали они оба — Терпуг и мать. Не было слов, не было жалоб, но вся душа кричала: за что? за что мы такие горькие?.. Вся немота и бедность тесной избы, каждый пропрелый угол, каждый изъеденный червоточиной косяк с тоской спрашивал: за что?.. Бессильно толкалась в тупике мысль: ничего не поделаешь! А дальше что? Ничего не поделаешь... Жгучая обида, отчаяние без граней... Ничего не поделаешь...

Рассвет уже глядел в окошки серыми глазами. Кочета второй раз кричали. Прошуршала арба по улице. Надо уходить... А так хотелось бы лечь и уснуть тут, в этой убогой, душной, тесной хате с кисловатым запахом, вот на этой лавке, головой в передний угол. Уснул бы крепко, крепко. Рука и нога спали бы. А надо уйти. Вон заря уж забелелась.

Он взял с собой старый пиджак, зипун, хлеба и пошел опять в левады. С матерью не прощался, — она должна была прийти к нему днем, — поцеловал лишь мокрый, вспотевший лоб спящего Дениски.

Опять горькое чувство загнанного, затравленного зверя прошло по сердцу зудящей болью, когда он вошел в рощу и стал высматривать место, где бы лечь. Везде казалось слишком открыто, отовсюду видно, опасно. И чудилось, что кто-то невидимый, хорошо спрятавшийся уже подсматривает, как он расстилает свой зипун, как боязливо оглядывается, ложится...

Стала просыпаться станица. Кричали кочета. В одном месте слышался стариковский кашель, долгий, затяжной, похожий на лай собаки. На колокольне пробило три. Удары пронеслись громко, отчетливо, и долго замирающая волна медного звука, ушедшего вдаль, еще дрожала в воздухе чуть слышным, трепещущим колыханием. Задымилась волнистые, с неровными зубцами вершины верб ближе к станице. Чуть атели не на восходе, а к закату края длинной, вытянутой, мутно-синей тучки. Густой медовый запах шел от крупных золотых цветов тыквы с соседнего огорода.

Терпуг чутко задремал. Досадное, непобедимое беспокойство бродило в душе. Каждый шорох, каждый звук, доходивший до слуха, в мутной, сторожкой дремоте казался странным, необычайно близким — вот-вот над самой головой,

а за ним стояло что-то враждебное, подстерегающее. Толкнет вдруг в сердце короткий, мгновенный толчок — весь вздрогнет он, подымет голову. Не поймет: спал или нет? Нет, не спал. И это, в самом деле, — он... Савелий Губан!.. Укоризненно крутит головой, смеется, оскалил желтые зубы...

— Эх, Никишка, Никишка! Говорил я тебе сколько разов: с людьми жить — должен сам человеком быть... А по своему произволу и убеждению хочешь жить, иди на Сахалин, там со львами да с тиграми поживешь!

И голос, задушевно-соболезнующий, вздрагивает от злой радости.

— Ах ты, фарисей проклятый! Ну погоди, угощу я тебя!..

Но откуда взялся Фараонка с командой? Вот... засели кругом... следят... Ждут... Вдали колокольчики звенят: едет начальство ловить его... Узнали, что он и министров хотел под один итог...

Открыл глаза, огляделся. Должно быть, солнце всходит: красным золотом подернулись вверх чешуйчатые облачка, но небо над ними еще бледно. Ветерок пробежал по листьям, зашелестели вербы, четким шепотом отозвались тополи. Звенят, перекликаются заботливо, весело, звонко малиновки и какие-то еще невидимые пичужки. Воробьи сголчились в хворосте. Где-то звонко, но недолго покуковала кукушка и затем прокатила тревожно-быструю трель, словно стлянку уронила, — смолкла. Женские голоса доносятся от станицы:

— Зы! Зы-ы, куда! у-у ты, хо-ле-ра!..

— Ца, проклятущая! ца-ца!..

И все так звонко, весело... О, милая жизнь бодрой, радостной заботы и труда! Неужели придется расстаться с тобой? С этими милыми, знакомыми соломенными крышами, одетыми в сизую дымку? С этим родным, привычным кругом хлопот, суеты и скромных надежд? С твоими праздниками и беззаботной улицей!..

Сердце затрепетало, как надрезанное...

В завтрак пришла мать. Говорила, что опять приходила полиция с помощником атамана Уханом и требовала от нее указать, где Никишка. Грозили и ей Сибирью.

— Мне и тут Сибирь, говорю, не угрожите... А Ухан уж с самого утра пьяный, зюзю с табаком не выговорит... «Он станицу сожжет, ты отвечать будешь!» — На что ему ее жечь! — «Все говорят: сожжет! Народ весь глаз не смыкает, боится...» — Ты-то, говорю, смыкаешь ли?

— Надо бы поучить, да погожу... До другого время, — мрачно сказал Терпуг.

Он решил, что ждать нечего, надо уходить в степь — там найдется в косари. И на случай розыска там спокойней: спрятался в бурьян, пересидел погоню, и только... А выдать небось не выдадут: кому надо?

Попрощался с матерью и пошел левадами и садами к зеленовской дороге. Было уже не так безлюдно по огородам, как вчера, в праздник: кое-где гремели ведрами бабы, слышался тонкий девичий голосок, мурлыкавший песенку. В одном месте, совсем близко, сердито забранилась баба. Остановился, прислушался... Нет, это не в садах, это в станице, как раз над яром. А вот этот приближающийся говор и топот — это, несомненно, тут, среди левадов, по проулку.

Он присел и стал осторожно всматриваться через плетни по направлению к дороге, которая узким проулком шла между садами от станицы. Замелькали казачьи фуражки. Явственно донесся гундосый, пьяный голос Ухана:

— Разве в такой чаще его найдешь? Ведь это лес!.. А требует: представь!..

— Одно слово, кучей надо, ребята, — сказал другой голос. — А то ведь он ножом... в случае чего...

Прошли. Человек пять как будто, не меньше.

«Жаль, что ножа нет, — подумал Терпуг, — а то пугнуть бы их...

Идут, скоты бессловесные!.. Уперлись рылом в землю, плетутся. Не то, чтобы стать, не дать в обиду — не нашлось смелости сказать: «Не пойду! Он не виноват ни мне, ни кому — зачем я буду ловить его?» Нет, идут. Вот народ... И это люди? Подъяремный скот, жестоковыйный!.. Ничем не проймешь их, ничего не докажешь! О, кроты слепые! Плюю я на вас!..»

Он почувствовал вдруг уверенность в себе, и то, что он внушал смутный страх этим людям, наполнило его гордым смехом. Перелез через плетни и вышел на тот же проулок, которым прошли казаки. Решил, что нет надобности прятаться, и пошел в том же направлении, куда и они.

Близко к степи проулок разветвлялся на несколько дорожек. Одна вела к озеру, в луг, другая — поправее — к бахам, третья сворачивала к большой дороге на окружную станицу.

Терпуг пошел направо, к степи. Как раз на повороте встретились ребяташки, возвращающиеся с купанья, от озера. Кто-то из них испуганным голосом сказал:

— Рястант... Ребята, рястант!..

И все, как стая воробьев, порхнули от него назад, лишь замелькали между колями огорожи красные и розовые руба-

шонки. Их детский страх огорчил неожиданной обидой Терпуга. Он как-то сразу почувствовал себя чуждым здесь, в своем родном углу, потерянным, заклеянным... Все, значит, будут теперь обходить его, опасаться, избегать.

Услышал, как звонкие ребячьи голоса закричали:

— Вон он! Вон он!

И вслед за ними донесся тревожный гомон уже не детских голосов.

Терпуг ускорил шаги и вышел в степь.

«Зря пошел днем, дожидаться бы ночи...» — подумал он с упреком самому себе.

— Вон он! Вон он! — все кричали детские голоса.

И Терпуг увидел, как другим переулком выбежали гурьбой казаки и ребятишки и, держа ладони над козырьками фуражек, стали смотреть в его сторону. Ухан размахивал руками и командующим жестом показывал в его сторону. Но никто не трогался с места, все лишь галдели.

Терпуг шел, не переменяя шага, и лишь изредка оглядывался, как волк. До балки, к которой он держал направление, было еще с версту, но он не хотел показать страха и бежать. Совсем близко были прошлогодние бахчи, теперь засеянные хлебом. Серебрились загоны высокой ржи и ячменя, сочно зеленели проса, и темным бархатом отливала пшеница-сивоколомка. «Вон раннюю рожь уже косят», — вздохнул Терпуг. Он знал, где чьи бахчи, и угадал косцов. Виднелись они местах в четырех. Вон над балкой мерно размахивают косами Василий Губанов, сын Савелия, и с ним еще два косаря, нанятые, — этих он издали не мог узнать. Баба на стану, около арбы и бочонка с водой, варит кашу — сизый дымок так знакомо вьется. Это, вероятно, жена Василия. А та, подальше, с граблями, — та, конечно, Ульяна.

Зеленовская дорога была уже недалеко — сейчас вот за полосой жита. Но идти по ней теперь уж нельзя: увидят, будут знать, где его разыскивать. Надо пройти в балку и там выждать до ночи. Не хочется идти мимо Василия, с которым они часто перекорялись на улице. Но еще тяжелее было идти мимо Ульяны. В ее глазах быть теперь беглецом, а не героем, — невыносимо стыдно было, ноги подкашивались.

Он поднялся на курган, оглянулся. Все стоят казаки на одном месте и глядят ему вслед, держа ладони над козырьками, и все машет руками Ухан.

«И какого дьявола надо? Шли бы назад — никого ведь не трогаю», — подумал Терпуг, взглядываясь в широкий простор, разостлавший перед ним свой пестрый ковер, и выиски-

вая глазами, нет ли, помимо балки, какого местечка, чтобы скрыться?

Вон далеко, на горизонте, у низких лиловых холмов, белеющие хатки Зеленовского хутора, сизые вербовые рощицы и маленькие, словно игрушечные ветряки. Медленно поднимаются и падают их крылья... Вон по дороге баба верхом на лошади. Бурые пятна коровьего табуна, воза с сеном по лугу, дрожащее марево над полосатой зеленью еще не выгоревшей степи... Просторно, широко, а деться некуда...

Спустился с кургана — казаков уже не стало видно. Пройдет еще сажень с сотню и, не доходя до дороги, лег во ржи. Переждать пока и тут можно было. А дальше — видно будет...

Накрыл лицо фуражкой, хотел уснуть. Но не спалось. Сверкало вверху бездонное небо. В одном месте остановилась стайка белых облачков, мелких, тонких, похожих на чешую, и веял холодок от их пронизанной светом белизны, как от пятен вешнего снега, умирающего в оврагах среди нарядного рассвета жизни. Легкий шелест шел по белокурым колосьям, и назойливым звоном звенели мошки, кружась перед самыми глазами. Где-то гремела телега. По лягу жу железа Терпуг заключил, что это не арба, а кованый тарантас или дроги. Верно, какой-нибудь дегтярь или косник едет на хутора.

Он снял фуражку, осторожно приподнялся на коленях и вытянул шею посмотреть: кто это может быть? Бурая лошадь с большой головой и большими ушами, не казачьего типа, с белой проточиной во лбу, как будто знакома. Уж не Федот ли Рванкин?.. Сердце вдруг громко застучало у Терпуга... Вспыхнуло радостно-мстительное чувство: вот бы когда разделаться! Кинуться неожиданно, одним прыжком, схватить за глотку и задавить, как собаку!..

Он весь задрожал мелкой дрожью. Лошадь шагала ленивым шагом, усиленно отмахиваясь головой от мух. Замаячила и телега — широкая, как у тарханов. Вон в задке бочонок с дегтем. В углу поблескивает высокая бутылка с керосином, в плетенке, и подрагивает прикрытый рядом ящик из лубка. Сам Федот Луквич сидит, свесивши на сторону ноги в мазаных шерстяных чулках, зная, для прохлады разулся. Голова его дремотно мотается, словно печально утверждает что-то безнадежно-грустное, убыточное. Сзади, на оструганном шесте, качается железное коромысло весов, звонко лязгает о грядущку, тоже словно жалуется на убытки.

«Стукнуть его вот этим безменом — вот и черепок долой...» — подумал Терпуг, глядя на ржавое коромысло.

И было это так соблазнительно, так возможно, что от

зашумевшего в нем волнения на один миг даже дух перехватило... Но когда лошадь стала уже равняться с ним и бессильно мотавшаяся голова Рванкина в нахлобученном черном картузе с просаленным околышем дружески закивала ему, когда потно лоснившиеся, округленные щеки с пучками редких рыжих волос и пухлые, слегка расквашенные губы напомнили ему о той изысканной, тонкой любезности, с которой он приветствовал его и Копылова в своей лавке, — неудержимо резвый бес легкомысленного веселья вдруг запрыгал у него внутри. И неожиданно для самого себя Терпуг вдруг крикнул:

— Здорово, купец!!

Рванкин вздрогнул, поднял голову и изумленно оглянулся. Лицо у него было так препотешно озадачено, что Терпуг покатился со смеху. Он не мог устоять против искушения — произвесть еще больший эффект — и, вскочив на ноги, крикнул угрожающим голосом:

— А-а... тут-то ты?!

Рванкин с непостижимой быстротой опрокинулся вдруг навзничь в телегу, перевернулся через спину и, соскочивши на другую сторону, бросился бежать.

— Кррра-у-ул! — закричал он диким голосом.

Шарахнулась в сторону от дороги лошадь, пробежала рысью по хлебу и остановилась. А Рванкин все бежал и кричал:

— Крррау-у-ул!.. Крррау-у-ул!..

Терпуг вдруг растерялся и не знал, куда деваться. Сзади, на кургане, показались казаки. От станицы по дороге виднелись двое верховых. Сел было опять в рожь, но сейчас же сообразил, что теперь это уж ни к чему. Надо было уходить к балке, — больше некуда, — там в тернах легче укрыться.

Он сперва пошел шагом. Потом, оглянувшись в сторону всадников, побежал. Еще раз оглянулся и увидел, что за ним бегут и казаки. Даже Рванкин повернул назад и все орет визгливым, отчаянным голосом, только теперь другое что-то — не разберешь.

Терпугу жаль было бросить зицун, который важил и затруднял его. Чтобы выгадать силы и время, он взял самое короткое направление к балке — через стан Василия Губанова. Боялся, что Василий кинется напереем ему, но все-таки положился на свою силу. Но Василий и его косари не тронулись с своих мест. Лишь остановились и молча смотрят на погоню. И бабы глядят из-под ладоней... А вон один из верховых свернул с дороги и поскакал ему наперерез — это было всего опаснее. Да Рванкин был, очевидно, уже недалеко.



Его визгливо-захлебывающийся, окрипший голос слышался в затылке:

— Держи-и!.. Держи-и-и-и!..

Терпуг оглянулся. Оттого ли, что казаки бежали не очень решительно или были они дальше, Рванкин мчался впереди всех и забирал вбок, напереем ему. В руках, должно быть, то самое железное коромысло весов, на которое раньше обратил внимание Терпуг. А вот у него ничего нет, чтобы отбиться...

И стало страшно, что не успеет добежать до буерака...

Отчаянная мысль вдруг мелькнула у Терпуга: вырвать косу у одного из косарей, глядевших на погоню... Вон она и Ульяна... Глядит удивленно, испуганно, в руках грабли. Вот и Василий... Смотрит не враждебно, а выжидательно, словно прикидывает: чья возьмет?

— Вася! Дай косу, ради Христа! — закричал Терпуг на бегу. — Косу дай, я их...

Он раздельно выговорил крепкое ругательство, подбегая к Василию, и, не дожидаясь ответа, ухватился за косье. Василий испуганно потянул косу к себе и, растерявшись, закричал:

— Уйди! Уйди от греха... ради Христа, уйди!..

— Дай, ради Бога! Дай, я этого мужичишку... Дай, я его!.. — кричал Никишка, ругаясь, весь охваченный яростью и отчаянием.

Он силой вырывал косу из рук молодого Губана, но Василий крепко ухватился за косье обеими руками, и они закрутились волчком, словно забавлялись вперетяжку.

— Держи!.. Держи!.. — слышались голоса казаков.

— Держи-и!.. Ва-ся, дер-жи-и! — задыхаясь и захлебываясь, визгливо хрипел Рванкин, бежавший впереди всех.

Он добежал, размахнулся своим коромыслом, но не успел ударить — отскочил в сторону, потому что они кружились и едва не подрезали его косой.

Терпуг был сильнее и одолевал. Василий упал уже на колени, но все еще не выпускал из рук косья и волочился по земле за своим противником.

Рванкин забежал сзади, размахнулся и ударил Терпуга железом в затылок. При этом визгливо рыднул, точно молодой щенок ласково тьякнул:

— Вях-х!..

Терпугу вдруг показалось, что он споткнулся и с шумом покатился по старой крыше своей хаты вниз, а внизу, возле капустного рассадника, кружились и ворковали три голубя. Он ткнулся лицом в землю и сейчас же напярғ все силы, чтобы

вскочить на ноги, но лишь судорожно подергал задом и зацарапал землю руками...

И еще два раза размахнулся железом Рванкин и ударил, ласково рыдая:

— Вях-х!.. йа-а-х!..

Что-то хрустнуло. Кровь показалась над ухом. Терпуг стремглав полетел в бездонный, темный погреб, в котором было пусто и немо...

И ему уже не было слышно, как Ульяна с истерической злобой закричала, замахиваясь граблями на Рванкина:

— Мужик! Гад!.. На казака смеешь еще руку поднимать!..



## ЧЕТВЕРО

В снежную декабрьскую ночь, на Ольгинской дороге, обоз 789-й дружины сбился с указанного ему направления и наткнулся на расположение турецкой части.

Сперва приняли друг друга за своих. Оказалось — чужие. Кто-то закутанный порошей и кизячным дымом, от ближайшего костра, окликнул по-турецки. С переднего нашего фургона обозный солдат из армян отозвался — тоже по-турецки. И прошло несколько минут оцепенелого недоумения.

Потом раздался выстрел. И поднялась суматоха. Наши конвойные не все были на месте: уставши за день, некоторые солдатики забрались на фургоны и дремали. Но успели собраться и броситься раньше, чем турки опомнились среди гама, лома, треска и скачки испуганных лошадей.

Уласенков Семен, конвойный, сидел в голове обоза — на втором возу. Одним из первых он кинулся вперед на голос фельдфебеля. Кто-то лохматый и темный, пригнутый страхом к земле, бросился от него — чуть не из-под ног.

— Господи Иисусе Христе... — мысленно прошептал Уласенков и ткнул. Лохматый присел, как малец на кулачках, когда сила не берет и убежать некуда. Семен перепрыгнул через дышло турецкой арбы — и тут же его словно горстью гороха опрыснуло, — показалось ему, — в переносицу. Боли горяча не почувствовал, но в голове зазвенело. Чтобы не упасть, лег локтями и грудью на арбу.

Постоял, отдышался. Залпы отодвинулись, но все казалось, что ущелье и впереди и позади гремит и грохочет. Уласенков сперва шагом пошел, потом побежал рысью — вперед. У переносицы и над бровью заныла боль, а кровь текла как будто из носа.

Турецкий обоз — весь, какой тут был, — достался нам. Взяли двенадцать человек пленных — почти все армяне, — да убитых оказалось около двух десятков. Утром, когда отта-

скивали их с дороги, Уласенков признал своего крестника — приземистого немолодого турка в чулках и лохматой папахе из старой, пожелтевшей овчины.

Фельдшер Киселев, сытый и важный человек, не терявший тела даже в походной обстановке, осмотрел Семенову рану на лбу и сказал:

— Левая соболя бровь... Пустяки! Скорей всего камешек какой-нибудь... рикошетом...

Помазал йодом и обмотал лоб бинтом.

— А у меня, как чутно, еще рана должна быть, — сказал Семен, когда фельдшер надорвал и завязал бинт. — Гляньте, Алексей Петрович, правую штанину — мокрая? И в голенищу натекло, чувствуую...

Фельдшер отвернул полу, поглядел, пощупал ногу.

— Да, кровь. А ну, скидавай... спусти-ка... вот так...

Прощупал пальцами, нашел входное отверстие. Помял. Выходного не нашел.

— Должно, свинцовая, старого образца, — пробормотал фельдшер и слегка подавил под коленом.

— Больно?

— Препятствия не чувствую, — ответил Семен, не чувствуя особой боли.

— Ну и сподобил же тебя Господь! — с легкой иронией сказал фельдшер, окинув взглядом могучую фигуру Уласенкова.

Семен застыдился.

— Что же, костей лишь много, а мясом-то не разговеешься... Жилы да кости... да кожа... самое рабочее естество...

По привычке он ждал, что Киселев назовет его тем шутивым, но ненавистным прозвищем, которым дразнили Уласенкова в роте. На смотре в Дербенте, в августе, бригадный генерал, обходя их дружину, назначенную к отправке, остановился против правофлангового — Семена Уласенкова, — посмотрел, пощупал его грудь, ласково пошлепал по ней ладонью и сказал с гордым восхищением:

— Монумент!

Это генеральское слово солдаты переделали в «манамет» и вложили в него какой-то особый, свой, солдатский смысл — очевидно, очень смешной и для Семена обидный, потому что не было человека в дружине, который бы не хрипел и не задыхался от смеха, когда Семена кликали «манаметом». Может быть, он и впрямь был смешон, когда застыл перед генералом в напряженной позе фронтовика, большой, с бурым толстогубым лицом, заросшим белой щетиной по подбородку. Но ведь и другие, рядом с ним стоявшие, были не писанные

красавцы — почему ж бы над одним смеяться? Но потешались только над ним, и порой он зверел и гонялся за зубоскалами.

Фельдшер еще раз прошел пальцами по ноге, нахмурил брови, сжал губы с видом человека, напряженно соображающего, и носом пустил долгое сопение. Уласенков заробел и стал надевать штанину.

— Да-да... это, брат, в Мерденек надо, пожалуй, в лазарет. А может, и подальше. Раскудрявилась, вынуть не просто, поносишь. Пожалуй, к весеннему севу и домой, может, попадешь...

— Ей-богу?! — воскликнул Уласенков.

— Очень просто. Командир придет — доложим... Раскудрявилась же, я ее слышу...

Уласенков с умилением, надевая сапог, повторил:

— Раскудрявилась...

И уже мысленно добавил:

— Слава тебе, Господи... Умолил Бога милый мой Яша... Авось теперь увидимся...

Под раненых дали два фургона. На них приказано было усадить не меньше, как по восьми человек. Уласенкова сперва посадили, а потом велели слезть — много места занимал. Приказали дожидаться двуколок, когда придут. Он огорчился и заявил, что и пешком готов идти, лишь бы не держали. Держать не стали. И едва дождался он обеда — так подмывало поскорей отправиться в путь...

Подробно расспросил молоканина Ивана Горина про дорогу, чтобы не сбиться в сторону. Дорога не хитрая: валяй прямо по шоссе вот на этот перевал и кроме никуда не попадешь, как в Мерденек. А дальше пойдет Демур-Капа, а за ней Родионовка. В Родионовке — Горин просил — зайти к его теще, Ивану Назарычу, и передать, что жив, мол, и здоров Иван Горин. И дал Семену кусок соленого свиного сала и пшена — для дороги вещь нужная: взгрустнется — сварил в котелке и поел, на животе потеплей станет, и ноги повеселеют. Чаю на две заварки Семен выпросил у фельдшера Алексея Петровича, а в турецкой арбе, помогая снимать чувалы с ячменем, наткнулся на лаваш, свернутый в трубку. Позвал и его в вещевой мешок — дело доброе. А когда артельщик дал ему немного сухарей, то он — хоть слабо, — но попробовал откататься:

— Это уж сверх комплекту...

— Бери, бери! — с ласковой грубостью сказал артельщик и не без зависти прибавил: — Пофортунило же тебе, раскаряка чертова, манамент!..

Рана немного горела. Но, когда пошел, разошелся — боли никак не стало слышно, лишь бинт как будто ослаб, и это беспокоило. Шел легко, бодро, радостно. И все казалось ему, что вот-вот, как подымется на белую гору впереди, увидит — не Мерденек, а Расшиватку, и навстречу ему первым, верней всего, попадется Василек с сумкой через плечо — будет сейчас из школы идти и собак дразнить, — а там и Дуняха с Яшей в поле — одеть не успеет, — и Настютка. Афанасий, пожалуй, увидит — придет...

Но за белой горой выступала еще гора — тоже белая, повыше, — да и не одна; за ней еще что-то, похожее на далекие облака, — верно, тоже горы. И Семен шагал да шагал, все так же легко, споро, молодо, порой печатал шаг, как в церемониальном марше. Приостанавливался лишь изредка — сигарку закурить.

Внизу беззвучно и ровно струилась молочная сеть тихой метели, белый пух устилал следы на дороге, белая кисея висела над горами и ложбиной. Около часу провожал Семен гомон голосов снизу, от селения Косоры, пестрая зыбь криков, шорох движения. Было что-то праздничное, веселое в этом оживлении среди немых снегов, похожее с горы на сельскую ярмарку смутным гулом, табором телег и крошечными дымками.

Выше — реже таяли снежинки на лице и за шеей, а через час метель осталась позади, внизу. Засияло голубое холодное небо. Серебром и золотом, словно ризы праздничные, засверкали снега в лучах невысокого солнца. Тонкий ветерок потянул навстречу, стало холодней. Желтая нитка дороги четко видна была по скатам далекой горы, упиравшейся белой шапкой в ровную синь неба.

На перевале встретился обоз двуколок с патронными ящиками, два фургона с мешками и тюками, на которых сидели санитары. Когда вошел в ущелье и остались позади сверкающие снега, а на смену им легли кругом синие холодные течи, — никто уже не встречался, один шел, охваченный торжественным пустынным безмолвием. Но мысли были легкие и светлые, волнующие мысли о родном уголке.

Шоссе было прижато к отвесной каменной стене, рябой, морщинистой, как выростковая юфть. Справа, внизу, бурлила подо льдом горная речонка, а за ней — опять отвесные горы, скалы и каменные глыбы, разорванные темными щелями. Ничего хорошего, жуть одна. Лишь на редких золотистых пятнах, выхваченных вечерним солнцем на гребнях ущелья, отдыхал глаз Семена.

Перед закатом солнца нагнал солдатика 9-го стрелкового полка. Обрадовался, издали еще крикнул:

— Товарищ, эй, погоди-ка, милый!..

Солдатик шагал, как спутанная лошадь, частыми, мелкими, неспорными шажками, весь подавшись вперед корпусом. Услышав голос, быстро повернулся, словно испугался. Остановился, лег локтем на винтовку, и была глубокая усталость в его склоненной к ружью невзрачной фигурке с узкой спиной, напоминавшей обломок старого обруча.

Семен Уласенков, подходя, высоко, по-приятельски поднял руку и весело закричал:

— Притомился, друг? Доброго здоровьица!

— Здравствуйте,— сказал стрелок. Он еще не отдышался. Внимательным, неморгающим взглядом смотрел на Уласенкова, и было в сосредоточенной серьезности его запавших черных глаз жалкое выражение застарелой боли и привычного страдания.

— Ай захворал?— спросил Семен.

— Одуше... Грудь в мене легка для такой службы...

Дыхание у него было шумное и трудное, и Семену казалось, что дышал он не грудью, а спиной.

— Ну, грудь — вопрос десятого сорта, а вот до чего дожить — свои ноги мешают... Отморозил. Ротный проводил: «Что ж, Перес, отправляйся себе куда-нибудь в тепленькое место, нам ты не годишься...» С утра пошел, вот иду... съехать — не сажают, без меня много...

Уласенков сочувственно покрутил головой и, отвернувшись в сторону, высморкался пальцами.

— Да, брат,— сказал он, нагнувшись и вытирая нос полой шинели.— Плохая война, коли шинель озябнет, сапоги озябнут, нос закалянеет...

Прибавил крепкое словцо и рассмеялся.

— Главное, руки не владают...

— А вы ранены?— спросил Перес.

— Ранен.

— Тоже барыш с накладом. В голову?

— В левую соболью бровь!— гордо усмехнулся Семен.— Но это не суть важно, на живом все зарастет. А самая любезная сейчас моя рана — пониже этого места, отколь ноги растут... Пуля вошла, понимаешь, и по кости спустилась под коленку, а выйтить не могла: раскудрявилась...

Опять рассмеялся Семен, довольный и счастливый.

— Теперь я — вроде как заряжен, могу, брат, из коленки стрельнуть.

Перес без улыбки слушал, стоял, сутулый и угнетенный,

смотрел, не моргая. Из-под серой шапки испуганно торчали у него большие уши, а черная подстриженная борода, как сажа, была щедро размазана по обожженному морозом, коричневому лицу, резко начинаясь под самыми скулами. Семен смотрел на него сверху вниз — весело, ласково, с снисходительным вниманием.

— Тебя как звать-то?

— Арон... Арон Перес.

— А меня — Семен. Ты — Арон, а я — Семен, два сапога — пара. Ну, давай, стало быть, идтить, Арон. Двоим все — не как одному: повеселей, поспособней...

— Можно идтить, если угодно. Однако плохой я вам буду товарищ, Семен: носить мне себя не легко, ей-Богу, знаете... А как вы себе думаете: не заночуем-таки мы ныне на свежем воздухе?

— Не-е! — уверенно сказал Семен. — Должно быть тут селение, верный человек сказывал. А ночевать — куда? Мороз...

Спустились сумерки — быстро и незаметно. Сперва тонким румянцем загорелись снега на гребне каменной стены слева и вершинки сосен впереди, за речкой. Розовые отблески через боковые щели упали кое-где на скалы, на зелено-серый и желтый камень морщинистой стены, и в них, над бурливой речкой, тонкой кисеей повисло прозрачное кружево пара, нежно-бирюзовое в тени и золотое, как первый пух весенней зелени, в свете. И повеселело вдруг ущелье, стало похоже морщинистыми стенами и обошпленным камнем своим на старый храм, уединенный, хранящий седые тайны в вековом безмолвии своем и гигантских загадочных письменах. И как в родной расшиватской церковке — показался Семену голубой дым кадильный вверху, пронизанный светом тихим, светом вечерним умирающего деревенского дня. Дикая красота, чуждая его душе, доселе пугавшая лишь его, теперь вдруг подошла близко к сердцу, шепнула ласковое и родное...

— Ну, и места тут крутые... скела! — сказал он. — Одному — жуть идтить.

Арону Пересу на ходу было трудно говорить — задышался. И остановиться нельзя — совестно задерживать спутника, который ради него и без того умерял шаг: Перес лотошил познобленными ногами, но ничего не выходило, отставал.

— Хорошего — мало; идешь — там лошадь дохлая, тут арба сломанная... Давеча спустился к речке — напиться, а из снегу рука высунулась...



— Тут побитых есть... До весны, видно, останутся...

— Эх-хе-хех! — вздохнул Арон Перес и остановился перевести дух.

Погасли розовые отблески на гребне стены, бирюзовый дым позеленел, побледнел. Холодно стало. Чуть вздыхал порой ветерок и тонким-тонким, хрупким стеклом мороза царапал лицо. Сумеречное безмолвие ущелья опять стало чужим и жутким. Смутно докатились глухие звуки, точно где-то далеко-далеко оборвалось и упало что-то тяжелое и расшиблось. Смолкли. И снова заворчало, оборвалось и раскатилось.

— А ведь это стреляют, — сказал Семен, прислушиваясь, — а я давеча думал — котелок, мол, погромыхивает. Ан, пальба. Далеко!.. У Ардагана, должно?..

— Ваша правда: стреляют, — сказал и Арон Перес, прислушиваясь и задержав свое шумное дыхание.

В тихих сумерках, среди векового, мудро молчаливого гор, эти далекие звуки людской вражды кровавой казались такими непостижимо ненужными, невероятными, нарушающими торжественную немую красоту и величавую гармонию мира Божьего, что Арон Перес судорожно вздохнул, покачал головой и горьким голосом неутешного Иеремии сказал:

— В прошлом году был всемирный процесс Бейлиса, теперь — всемирная война...

— Всемирная! — качнув головой, согласился Семен Уласенков и достал кiset с табаком. — Весь мир под гребло вымели, в деревнях, почитай, одни старичишки да бабы остались.

Он скрутил собачью ножку и передал кiset Арону Пересу. Арон сделал папиросу, хотя табак в ней плохо держался.

— Из торговых, видать? — спросил Семен, закуривая.

— Так точно. Прикащик.

— Откель?

— С Кутаиса.

— А по какой части?

— Что вгодно, специалист на всякий род коммерции...

Я сразу от шести магазинов развиваю дело: стою в пассаже, приглашаю покупателей. Кому чего выгодно, пожалуйста: пальто? брукки? дамский приклад? ботинки? — пожалуйста: вот Финкельман — готовые платья, вот Мухарадзе — коньяк, вина, вот Файвишевич — «Взаимная польза». Кому чего вгодно. *Живая реклама* называюсь. Потому что у меня память — замечательная и глаз — без ошибки. Я сразу, как человека увидел, могу ценить, з какого места он приехал: с Ростова, з

Варшавы или из Москвы, — будьте покойны. И любого господина, если мне посмотреть визитную карточку, я через десять лет вспомню имя-отчество... Ни за что не забуду — как самого себя, Арона Абрамовича Переса... Память — вне конкуренции!..

Арон Перес оживился. Он как будто вырос даже немножко и выпрямился, молодцевато отставив ногу в рыжем сапоге. Семен, пуская дымок выше его головы, посмотрел искоса на его щуплую фигурку, измятую шинелишку и облезшие докрасна сапоги. И не поверил, решил, что хвастает. Но вслух сомнения не высказал, а, заражаясь потребностью невинного хвастовства, на минутку поднимающего человека в собственных глазах, сказал:

— Во мне самом делов тоже, брат, не мало: на счетах я горазд, хочь до тысячи наложу и скощу, никак не ошибусь. Какой угодно клин смекну, что твой арихметчик. И все это сам из себя, один домогся: учился-то ведь за меру картошки у плотника Сем Яклича. Вот человек был: не дюже писуч, а начетчик — таких по редкости!..

Докурили, постояли. Совсем стемнело, побелел туман над ущельем, звезды загорелись в небе.

— Пойдем, парень, а то свежо стало, — сказал Семен: — Давече в гору шел, хотел мундир продавать — до того угрелся. А сейчас вот хочь бы тулуп волчий согласен надеть.

Пошли. По-прежнему торопливо сучил ногами, наклонившись вперед, Арон Перес, шумно и трудно дышал, не поспевал за своим спутником. Большой, тяжелый с виду Семен Уласенков в движении был свободен, легок, даже грациозен, как хорошо выкормленный верховой конь: ни усилия, ни напряжения, ни намек на возможность утомления. Речка направо, внизу, то бурливо шумела, то смолкала. И тогда в сумеречном безмолвии ущелья сквозь хруст шагов, как звук далекой пилы, слышалось усиленное сопение Арона. Порой чудилось далекое грузное ворчание и замирающий гул — и после него настороженный слух ловил лишь безбрежный звон в ушах, тонкий-тонкий и нежный, как слитный звон летнего дня, знойного, бездумного, дремотно-ленивого.

Задыхался и отставал Арон Перес. Участливо оглядываясь на него, Семен Уласенков как будто немножко стыдился, что он так здоров и счастлив, пробовал сказать товарищу что-нибудь утешительное и бодрое. И голос его — мягкий и тихий, не по его росту голос — звучал ласково, словно он с ребенком разговаривал.

— От поморозу я тебе скажу, парень, средство — лучше

нет: квасовой гущей. Дело пробованое! Знаешь — квас? У вас делают житный квас?

— Почему не делать, ежели есть материал? Не из чего, материалу такого не имеется, — задыхаясь, мрачно отвечал Арон.

— Плохо же вы тут живете, козь и жита нет. Какая же это жизнь без квасу — ты подумай!.. А про гущу заметь, потому что это дело пробованое. Ездили мы в степь за соломой, стало быть, — у нас ведь хлеб на загоне молотят и солому там кладут, а зимой домой возят. Ну, поехали. Годов мне было семнадцать тогда ай восемнадцать, не женатый еще был. Поехал в холодных сапогах, тепло показалось, да оно и было тепло, уж к вечеру кура поднялась со своего белого свету. Поднялась, братец мой, кура, ну, подняла-ась... никак дороги не видать во-о, в двух шагах. Бились-бились, кружились-кружились, скотина стала, не везет, сами по пояс мокрые. Ну, давайте ночевать, мол, а то кабы в барак какой не сорваться, до весны не вылезем. Ночевали. Ночью метель перестала, вывездило да такой морозика вдарил... невпроти мочи мороз. Тут-то вот, брат, пока добились до хаты, я и застыл. Надо бы идтить, понимаешь, а мне идтить нельзя, сапоги тесны, от морозу повело их — смерть, не наступишь на ногу. Сел на воз, а приехали домой — не слезу: ног по самые колени не чую, отморозил форменно. Пришел дедушка Афанасий Матвевич, старенький старичок, глухой. — «Вы, — говорит, — его в хату не водите, а то загубите. Водки, говорит, ему дайте да кадушку гущи принесите, пушай в гуще ноги у него отойдут. А в хате они, — говорит, — с пару дойдутся, без ног останется...».

Семен снял шапку и покрестился.

— Царство небесное, старичок был из себя невидный, лядщей тебя, пожалуй, а умственный старичок: слово, бывало, скажет — как врежет. Принесли, значит, мне гущи кадушку, я ноги — в нее... по самые колени! Что ж ты, брат, думаешь? Ледяшки пошли по гуще, ледяшками из ног мороз вышел! Тем и спасся... Ну, похворал недели две — правда, а с ногами остался... Так-то вот, милый Арон Абрамыч! заметь!

— Благодарю, — печально отвечал Перес. — Только, может, вы уж будете так добры, покажете, где гущу вашу взять?

— То-то вот... — вздохнул Семен. — Живете вы тут не людьми... А в нашей стороне — в любом дворе гущи хоть залейся...

— Что ж, это очень приятно послушать, — не улыбаясь, грустно проговорил Арон Перес.

Из-за гребня в водянистой синеве неба выглянул месяц —

еще неполный, молодой. Тонкой кисеей из голубого серебра висел под ним туман — впереди, а когда Уласенков и Перес приближались к нему, он отодвигался дальше и из него медленно выступали седые силуэты скал и острая частая чешуя стены. Порой кто-то как будто маячил на грани черных теней и белых пятен снега. Казалось, вот-вот догонят кого-то, придут к какому-нибудь приюту. Но шли и шли, а никого и ничего не было видно. Все те же гигантские стены тянулись, высовывались седые камни из прозрачного серебра ночной мглы, а сверху глядел месяц и редкие звезды возле него.

На одном повороте Семен Уласенков вдруг сделал стойку, как охотничья собака. С готовностью остановился и Арон Перес, потому что совсем выбивался из сил.

— Есть! — многозначительно сказал Уласенков. — Видишь, Абрамыч?

— Так точно! — уверенно отвечал Перес, хотя, всматриваясь вперед и ожидая огней селения, видел только привычные мглисто-черные контуры, которые и раньше не раз обманывали ожидание.

— Вроде как стан, а людей не слышать, — сказал Уласенков.

Они ускорили шаги. Поперек дороги вырастал силуэт какого-то неуклюжего экипажа. Ближе стало ясно: брошенная арба.

— Лом... — разочарованным голосом сказал Уласенков.

И вдруг оба разом — как по команде — остановились и замерли: от арбы донеслось невнятное, обрывающееся завывание, такое странное, невероятное и жуткое в эту позднюю пору в этом пустынном месте, в зыбкой морозной мгле ущелья, в колдовском переплете черных теней и зеленого лунного света. Потерянная, выбившаяся из сил собачонка так скулит на перекрестке дорог: тихо, жалобно, устало и горько...

Уласенков вопросительно поглядел на Арона Переса.

— Дите, ку-быть?

— Очень может быть, — прошептал Арон.

Осторожно подошли они к арбе. Уласенков, понатужившись, кашлянул коротко и зычно, эхо отозвалось в соснах за речкой, а из-под арбы, с другой стороны, от заднего колеса, бросился прочь — вперед по дороге — небольшой темный комок и испуганно завопил детским надорванным голосом.

— Постой, чадушка! Погоди... Чего ты, глупыш, мы не тронем! — закричал Семен. Ребенок остановился в нескольких шагах, но кричать не перестал.

Они обошли арбу. У правого заднего колеса ничком лежал человек в башлыке и старой солдатской шинели без хлястика, в вязаных джюрапках на ногах. На башлыке справа темнело большое намерзшее пятно, на дороге застыла такая же темная лужица — кровь.

— А ведь убитый,— сказал Семен Уласенков, нагибаясь к лежащему.— Армян ли... кто ли... убили... Вот нехристи, сукины дети, ухлопали!

— Ах-вах-вах-вах-вах!..— тихо простонал Арон Перес.

— Прямо креста нет на людях, ей-Богу! Чем кому мешал человек? Небось на бычишков позавидовали — арба воловая, с ярмом. Бычишков угнали. И бабу, пожалуй, увели?

— Надо-таки так думать,— качая головой, прошептал Перес.

— Вещь понятная: заведут куда-нибудь, попользуются и ухайдакают... И гүньишко, какое было, все забрали: в арбе ничего, сенишко лишь осталось и — все... Ну, и нехристи! Прямо — нехристи, сукины дети! — с негодованием бестолково твердил Семен Уласенков.

Мальчик стоял на прежнем месте и был обрывающимся голосом горько и отчаянно. Семен оглянулся на него, передвинув шапку с правого уха на левое.

— И Господь терпит таким злодеям! — с жалобным упреком воскликнул он: — Хоть бы на дитя оглянулся... Чего же вот он теперь? Безо всякого предела остался, замерзнет, как щенок...

— Ах-вах-вах-вах-вах...— подавленно простонал Арон Перес.

Постояли с минутку молча. Плач ребенка не унимался, но стал тише. Тише и еще жалобней — в самом деле, брошенный щенок так горько должен выть, дрожа и вибрируя: ву-ву-ву-ву-ву...

Обошел опять арбу Семен Уласенков, окинул хозяйственным глазом, пошатал ее без видимой надобности, по-мужицки испытывая, гожая ли вещь. Не отрываясь от исследования, спросил:

— Ну что будем делать, Арон, а?

— Не могу знать,— отвечал Перес унылым, зябким голосом. Засунув руки в рукава, весь сжавшись и съежившись, он тоже походил на бесприютную дворнягу, обреченную пинкам и невзгодам, но выработавшую в себе опытом замкнутое равнодушие к ударам судьбы.

— Главное, обнищал ты ногами, Абрамыч, а тут парнишка. Не бросать же его, Господь нам не попустит... Щенят когда

выбрасываешь — и то до чего жалко, аж рубаха трусится... А тут — человечья душа...

— Совершенно это верно вы говорите, — уныло согласился Арон Перес. — А селение — вы думаете — не близко еще?

— Да такую штуку вряд ли близу селения сделают, — Уласенков шевельнул головой на труп, — а он, покойничек, тоже селения домогался, как видать... Что будем делать, придумамай, а? Ты человек торговый, смекалистый...

— Это ж не торговая совсем часть, — уныло возразил Арон Перес. Подумал и прибавил: — Будем себе шагать помаленьку дальше. А упадем, — если так Богу угодно, — будем замерзать...

— А мальчонка? Может, это и девчущка... Ку-быть, платок?..

— И мальчонка замерзнет. По коммерции это выражается, если хотите знать: Арон Перес и компания, — уныло пошутил Перес.

— А я думаю так, Абрамыч, — помолчав, сказал Уласенков. — Заночуем-ка мы тут, во что Бог не хлыснет... Дрова у нас — во... видишь? — Пошатал Уласенков арбу. — Вещь, брат, все равно пропащая... кому ее? Мальчонку мы в шинель завернем, в отцовскую. И за милую душу до утра перебежмся округ огонька...

Арон вынул руки из рукавов, поглядел на товарища, как бы напряженно взвешивая предлагаемый план, и воскликнул:

— А если правду говорить, это не дурно-таки вы придумали... Около огня сидеть можно. И полежать-таки немножечко можно...

— То-то...

Семен обернулся к ребенку. Он продолжал однообразно подвывать и, должно быть, дрожал от холода и страха. Мягким голосом, в котором ласка и нежность зазвучали неожиданно выразительно, Семен заговорил:

— Поди сюды, чадушка, поди, болезный! Поди, мы не тронем, не бойсь!

— Ву-ву-ву-ву... — монотонно продолжал плакать маленький живой комочек у отвесной каменной стены. А когда увидел, что большой человек отделился от арбы и направляется к нему, — пустился бежать по дороге с криком животного страха и отчаяния. Эхо отдалось в соснах за речкой. Большой человек хлопнул руками о полы и побег вслед маленькому. Маленький упал, стал брыкаться ногами и завизжал дико и отчаянно, словно его резали. Большой, нагнувшись, взял его на руки и уговаривал ласковым голосом:

— Чего ты, дурачок! Говорю: не тронем. Ну, чего испужался! Батяшку злодеи устукали, а мы не тронем... Ах, злодеи они, злодеи... Ну буде, буде, чадушка, уголись, сынок, ничего... все Господь... В платке, а мальчонка, видать: штанишки надеты,— сказал Уласенков, подходя к арбе с своим маленьким пленником.— Ну буде, родимый... Мы сахарку дадим, не плачь, сыночек...

Голос ли теплый и ласковый подействовал, или серая шинель, напомнившая близкое — родную грудь, или усталость, или перейденная грань отчаяния и страха не принесла ничего ужасного, но мальчик стал стихать. Маленькое тельце его содрогалось в руках у Семена, рыдания хлебали воздух, но звуки их были глуше и тише. Он бессильно уткнулся мокрым лицом в плечо большому человеку, державшему его на руках. Из-под старого шерстяного платка, которым был связан этот маленький человечек — на вид лет шести-семи, — торчали спутанные кудри. На нем была старенькая ватная кофта и две рубахи — верхняя разорвана на животе. Голая коленка высывалась в продранные штанишки. На ногах надеты были такие же вязаные туфли, как у убитого.

— Ну вот, видишь,— говорил у него над ухом ласковый голос большого человека,— а ты кричал, чудачок! Говорю: не тронем. Тебя как звать: Ваню? Васю?

Арон Перес, знавший хорошо по-грузински и немного по-армянски, заговорил с ним на обоих языках поочередно — об имени, об отце, о матери. Но мальчик не отрывал личика от плеча большого человека и тельце его продолжало трепыхаться от рыданий. Арон достал из кармана кусок сахара и попробовал всунуть его в сжатый темный кулачок. Но детская рука сердито отбросила гостинец, и Арон, нагнувшись, долго шарил рукою в грязном снегу дороги, чтобы разыскать дорогой кусочек.

— Сымай, Арон, шинель с этого,— сказал Уласенков.— Завернем героя-то, а то он дрожит.

Перес нерешительно кашлянул, поставил ружье к арбе, нагнулся к убитому, но сейчас опять выпрямился. Сказал виноватым голосом:

— Извиняйте меня, Семен, я боюсь покойников...

Семен посадил мальчика на арбу, положил винтовку с ним рядом и вещевой мешок и, не торопясь, спокойно, обстоятельно осмотрел труп, потом снял с него шинель. Закутав в нее мальчика, он повернул арбу за дышло, которое называл воём, и повез по дороге. Арон Перес в виде конвоя пошел сзади. Шагов через сотню Семен остановился. Ущелье слегка

как будто раздалось в стороны, стало светлей, а гору слева рассекал короткий буерак.

— Затихек есть, тут и поночуем, — сказал Семен.

Прежде всего собрали сено, лежавшее в арбе, и сложили его в кучку между камнями. Пересадили на кучку мальчика, закутанного в шинель, — он уже перестал рыдать, стих, но все прятал личико в шинель от чужих людей. Семен вынул плетенку из хвороста, лежавшую на дне арбы, под сеном.

— Это у нас подмижки будут, Арон, понял?

— Так точно.

Потом камнем вышиб наклески и ребра из боков арбы, стал на дышло, подпрыгнул, дакнул, издав звук «гек!» — дышло охнуло и переломилось.

— Не даром в человеке семь пудов с гаком, — засмеялся Семен.

— Таки можно думать: есть в вас здоровьице, Семен, дал вам Бог... — не без зависти вздохнул Арон Перес.

— Ну, вот тебе и дрова, запаливай!..

Огонек фурчал и мягко потрескивал, дрожал и метался беспокойными сине-червонными язычками по сторонам, пригибаясь и вытягиваясь. Теплый, живой свет трепетал на каменной чешуе горы, темной, желтой, зелено-серой; перебрасывался через дорогу, выхватывал колесо арбы, седой камень над спуском к речке. Ночь потемнела за его зыбкой чертой, но месяц глядел приветливо и ясно, а под ним быстро плыл за гребень горы тонкий белый пух разорванного облачка. Семен ломал на колене сухие колышки — ребра арбы — и по-хозяйственному складывал их в кучку. Арон Перес задумчиво глядел на огонек, свесив с колен усталым жестом худые, темные руки. Глядел на огонь и мальчик, завернутый в шинель. Он сидел на кучке сена, и из шинели торчала одна голова в красном клетчатом платке. Хорошенькое смугло-коричневое личико было в следах слез, черные-черные глазки с большими ресницами были застланы не детской, тяжелой и горькой думой...

— Накормлю я вас, братцы, кашей жидкой... польской, в поле у нас ее варюют, — сказал весело Семен, окончив заготовку дров. — Пошено есть, сало есть...

— З свињи? — осторожно спросил Арон Перес.

— Ну да, свиное. Соленое сало, кусковое — словом сказать. Добрая вещь, сытная, кто толк понимает. Не уважаешь, может, как ты человек городской, торговый?

— Э, нет! Почему ж бы не вважать? На войне закон молчит, все идет, всякая вещь... У меня тоже, если хотите, коробочка консервы есть.



— Концерву побереги, утром годится. А зараз кулешом побалуемся, горяченьким... Чайкю скипятим... Бери-ка котелки, мотайся за водой!

Семен достал из вещевого мешка сумочку с пшеном и кусок сала, завернутый в портянку. Вынул лавап, оглядел его внимательно, понюхал, обдул. Потом отломил кусок и протянул мальчику. Мальчик подозрительно покосился на большого человека черным глазом, большой человек подмигнул и улыбнулся. Прошло несколько мгновений колебания, потом маленькая темная детская ручка робко высунулась из-под шинели и взяла кусок. Арон засмеялся, взял котелки и пошел, прихрамывая, к речке.

Семен достал складной нож и стал крошить сало на кусочки тут же, на портянке. Вдруг от речки донеслось «ю-ух!» — крик короткий, пугающий, и голос как будто не Аронов, странный, как перхание овцы в зимнюю полночь. Семен вскочил, схватился за винтовку и кинулся от огня к арбе. Слышался частый топот снизу, и через минуту Арон выскочил на шоссе, словно невидимая сила подбросила его снизу.

— Семен, вы где? — прерывающимся, сдавленным голосом воскликнул он, кидаясь к огню и к арбе. — Ружье при вас? Есть! — ткнул он винтовкой в сторону леса.

— Далеко?

Арон задыхался, винтовка прыгала у него в руках. Дрожали руки и у Семена, в голове мелькнуло на мгновение: «Милый Яша, сыночек, умоли Господа милосердного!..»

— У самой воды сидел, — прошептал Арон.

— Много? Один, что ль?

— Одного видал — вот как вас вижу. Других не видал.

Оба они, пригнувшись, спрятались за арбой и стали ждать. В первое мгновение Семен ясно различал частые, мерные, твердые шаги, потом понял, что это колотилось сердце в груди и отдавался в ушах его бой. Из-за камней у края шоссе никто не показывался.

— Может, мирной? — спросил Уласенков.

— Зачем мирному по ночам ходить? — возразил шепотом Арон Перес. — Заставляйте меня идти ночью в лес, так я сто тысяч не возьму за это...

Опять посидели. Стали зябнуть. Уласенков уже вслух спросил:

— Верно видал, Арон?

— Не верите, гуляйте сами...

— Схожу.

Он перелез через дорогу, к краю шоссе, прилег за камнями

и с минуту лежал совсем так, как тот убитый, с которого он снимал шинель. Потом стал осторожно шевелить головой, потом совсем высунулся, и Арон Перес не выдержал, строго зашипел на него. Месяц стоял над лесом за речкой. Левая сторона ущелья, где прилепилось шоссе, была заткана зеленой кисеей, прозрачной и тонкой, а правая, за речкой, тонула в сине-черной тени. И в небо, прозрачное и холодное, уходили темные горы впереди и позади. Никогда еще Арону Пересу человек не казался таким маленьким, как среди этих таинственных гигантских стен с их величавым молчанием и дикой красотой.

— И то правда: стоит какой-то статуей, — сказал неожиданно громко Уласенков — голосом совсем веселым, подрагивающим от смеха. И встал. Арон Перес тоже выпрямился — надоело стоять, согнувшись.

— С дрючком, — прибавил Уласенков, когда Арон подошел к нему. — Эй, что за человек? — закричал он громко.

Некто темный с длинной палкой в руках нерешительно сделал несколько шагов от речки к откосу шоссе.

— Говори — кто, а то вдарю! — крикнул Уласенков строгим голосом.

Арон Перес щелкнул затвором ружья. Таинственный незнакомец уронил палку и остановился. Что-то забормотал, делая знаки правой рукой вверх, к небу. Уласенков сбежал к нему по откосу, держа ружье на руку.

— Чего же молчишь, не отзываешься? Шутить, что ль, будем? — донесся до Арона незнакомо-сердитый голос товарища.

Таинственный пришелец опустился на колени, поднял руки вверх и заговорил хворым и слабым голосом, каким просят милостыню нищие. И опять голос Уласенкова уже весело, почти по-приятельски сказал:

— Э, да ты, брат, гость-то хорош, да угостить нечем. Пойдем-ка, брат... Арон! Хо-рош ершок попал в горшок... Встречай!

У огня гость — обносившийся, отошальный турок из реди-фа — оказался совсем не страшным. Из-под ветхого башлыка, повязанного тюрбаном, глядело худое, темное, голодное лицо, в котором некоторую основательность имел лишь один нос — он шел сперва по одной линии с покатым лбом и затем крутым углом был нагнут к узкому щетинисто-черному подбородку. Вдавленные темные щеки, резкие скорбные морщины под широкими бровями и этот потянутый книзу нос придавали турку сходство с какой-то болотной птицей, серьезной, сосредоточенно размышляющей и унылой.

— Ну, брат, теперь ты — наш пленный, клади оружие... Ясыр! Понимаешь? — сказал Уласенков, шлепнув турка по плечу, и засмеялся.

Турок поднял на него глаза, черные, унылые, робко просящие. Потрогал рукой голову и слабым, хворым голосом проворботал, показывая зубы:

— Башам... агрыюр...

Уласенков сразу понял — и по голосу, и по жесту. И перелевел:

— Башкам? Захворал?.. То-то вот, сукин кот! А кто тебя пхал воевать? Сидел бы себе дома да покуривал трубку. А то небось теперь добился — и табаку нет? Обыщи-ка его, Арон, нет ли оружия?

Арон с готовностью принялся ощупывать пленника. На плечах у него висела выцветшая рвань, которую по двум медным пуговицам можно было принять за шинель, но она была коротка для шинели. Темное, волосатое тело, похожее на чугуна, виднелось на груди, сквозь продранную желтую рубаху, сквозило на ногах в прорехи синих шаровар и обмерзших чулок. Единственное вооружение, которое оказалось на турке, был пояс с патронами старого образца, — даже ножа нигде не нащупал Арон, а он искал строго, старательно.

— Ну вот, Арон, видишь? — говорил торжествующим тоном Уласенков. — Что ни делает Бог, все к лучшему. Не остановись мы тут — значит, не взяли бы этого дружка. Завтра с тобой представим его, может — награду дадут: пленный... Думаю, без последствия этого дела не должны оставить?

— По Георгию обязаны дать! — сказал Арон Перес и так уверенно, что Уласенков, не очень первоначально рассчитывавший на возможность награды, вдруг укрепился в приятной надежде.

Единственный свидетель этой торжественной сцены — мальчик, завернутый в шинель, — большими черными глазами наблюдал за ними троими. А в глазах его так и застыла та тяжелая, недетская боль, которую не вылил он своими слезами. Уласенков приятельски подмигнул ему, встретившись с его удивленным, изучающим взглядом.

— Вот, Ванятка, заблестят Георгии и на наших грудях!..

И большим пальцем правой руки гордо постучал в свою широкую грудь.

— Ну, Арон, мотайся за водой! Обрадует, брат, и тебя вечность: крест — это такое дело: пенсийн огребешь — до гробовой доски кусок есть... Садись, друг! — обернулся опять к турку Семен и показал жестом место у огонька. — Са-

дись, гостем будешь, а водки купишь — и за хозяина почтем...

Огонек трепетал, фурчал, лизал пристроенные на камнях котелки. Тонкими голосами цела закипавшая вода. И молча сидели вокруг они — четверо, голодные, озябшие, усталые, борющиеся с дремотой. Каждый думал о чем-то своем, далеком, никому, кроме него, не понятном, никому не приболевшем. И это незабываемое свое казалось сейчас невероятным, улетевшим милым сном, а то диковинное, внезапное, сотканное из случайностей и неожиданностей, что сгрудилось здесь, перед глазами, было понятно, близко до осязательности, как дрожащие язычки огня и тонкое пение воды в котелках. Оттого всем было невыразимо грустно и холодно.

Уласенков один, отдаваясь во власть безмолвного раздумья, не забывал хозяйственной части. Подкладывал полена в огонь — с расчетом, чтобы было ни много ни мало, хватило бы на ночь; два раза сходил к арбе и выломал из нее, что легче поддавалось разрушению, пополнил запас дровец. Арон Перес занят был помороженными своими ногами: держал их поочередно над огнем и отдергивал, боясь прожечь сапоги. А когда согрел, начал стонать и шипеть от боли — ноги «сошлись с паром», как определил Уласенков. Турок сидел унылый, неподвижный, поджав ноги в худых обледеневших чулках и засунув руки в мохнатые рукава своей шинели. Все внимание свое, казалось, устремил он на кончик своего горбатого носа и теперь еще больше напоминал какую-то любящую уединение, склонную к созерцательности птицу. Мальчик ушел головой в шинель — торчали лишь непокорные завитки его кудрей из-под платка. Изредка он чуть-чуть шевелился, и лишь по этому можно было догадаться, что он еще не спит.

Когда Уласенков снял котелок с кулешом, все немножко оживились. Ели двумя ложками, поочередно. Показал Уласенков, как это надо делать: зачерпнул ложку горячего хлеба — отправил в рот, зачерпнул другую, подул на нее, поднес к носу мальчика, которого называл Ваняткой.

— Ешь, чадушка, гляди не обожгись... Сопли-то утер бы...

Ванятка осторожно стал есть с ложки, изредка вскидывая на большого человека вопросительный, изучающий взгляд своих черных глаз.

Арон проглотил ложку и передал турку. Пленный изумленно вскинул на него глаза и не сразу протянул руку. Понял, взял ложку и, зачерпнув каши, проглотил ее быстро и жадно. Передавая ложку Арону, он быстро качнулся и поцеловал

его руку. Арон вздрогнул от неожиданности, а Уласенков рассмеялся.

— То-то вот, друг, не надо бы лезть в драку, — сказал он, глядя на турка ласковыми глазами и поднося ложку мальчику, — а то вот и накормим тебя расейской свининой... сверх твоего закону... А прокозыряет ваш султан свою земельку, проиграет ее нам на немецкой гармошке — чего будешь кушать тогда?

Турок повял по-своему, осклабился с грустным умилением и, показывая черным пальцем на мальчика и на себя, забормотал что-то.

— Юч... юч... — повторял он, оттопыривая три пальца, — юч чуджук.

Склонил голову на бок и постучал рукой около сердца, печально улыбаясь.

— Трое? — перевел Уласенков, подняв ложку. — А-а... так, так... У меня тоже трое: дочь невеста, шестнадцатый год, а самый малый меньше этого... Яшутка... Также, брат, вздумаешь о нем — тоска со всего света!.. А у тебя, Арон, есть?

— Парочка, — сказал Арон.

И, чередуя ложкой с турком, стал рассказывать о своем маленьком Абрумчике: мальчишка — вне конкуренции, замечательная память, необыкновенные способности к счету; на любое слово укажи, в уме разложит на числа, сложит, перемножит, и через две минуты — извольте — итог, хоть на счетах, хоть на бумаге проверяйте — без ошибки... Если учить, это будет какой-нибудь замечательный человек!

Арон Перес увлекся, забыв про боль в ногах, и стал излагать перед Уласенковым и турком подробно разработанные им планы обучения Абрумчика и Баси, по какой части они пойдут, какую карьеру могут сделать. Ничего нет невозможного, что им удастся выбиться наверх. Если его, Арона Переса, судьба сунула на мало завидную позицию «живой рекламы», то он может указать и на другой пример: два его сверстника, такие же, как и он, бедные еврейчики, пробились в доктора и теперь имеют отличную практику в Кутаиси...

Поели кулеш. Арон продолжал рассказывать о докторях, об их доходах, костюмах, обстановке. Покурили. Принимая сигарку от Семена Уласенкова, турок пробормотал: «Эваля, эффендим!» — и облобызал ему руку.

— Ну-ну, валяй, валяй... — покровительственным голосом сказал Семен и широко зевнул. Стала одолевать дремота...

Надо бы вымыть котелок, а вставать лень — пригрел место. Ванятка ушел с головой в шинель и скоро схилился на вещевой мешок, уснул. Семен облокотился на колено и старался слушать Арона. Он глядел ему в рот и удивлялся, как быстро и непрерывно вылетали из него слова, все складные такие, мудреные и гремучие, как тонкая бесконечная проволока. Тяжелели веки и наплывали на глаза. Голос Арона отходил в сторону, заходил в затылок и становился похожим на дребезжащее шуршание детской самодельной повозочки, которую он, Семен, смастерил весной Яшутке. Вот и он, милый Яша, бежит — шлепают босые ножки по твердому солонцу улицы, скрипит-гремит сзади повозочка. Авдотья гонит уток на пруд, а утки лопочут между собой такими же голосами, как у Арона Переса. У пруда коровье стадо; Перепелеска забрела по колени в воду и машет мокрым хвостом, отбиваясь от оводов. Из глубины пруда глядит солнце и седой курган, поросший полыньком. Свое. Родные места. И так странно: голос Арона кружит оводом над ними.

Качнулся, открыл глаза: Арон и есть... блестят запавшие глаза, шапку сдвинул на одно ухо и все сыплет быстрыми, мудреными словами. Хвастает, должно быть.

Опять слипаются глаза. А известно, не хочется, чтобы заметил Арон, что задремал его слушатель.

— Ты, Арон, может, когда мимо Расшиватки будешь ехать, — заезжай, пожалуйста... Вспомним, как страдали мы с тобой вместе. Авдотья самовар нам поставит... Баба, брат, из себя немудрящая, а орех! На язык — почище тебя будет: от семи кобелей отбредется...

Хотел это сказать Семен и заленился. Голос Арона затрепал у самого уха, турок неожиданно проговорил: «Валай, эфенди!» Открыл глаза опять, встряхнулся. Арон — на своем месте, турок сидит неподвижно, дремлет.

— У меня сестра есть в Батуме, свою зубную больницу имеет, — говорил Арон.

Семен поглядел на его смятую шинель, порыжевшие сапоги и сказал:

— Хвастаешь небось?

— Ей-Богу, есть! — жалобным голосом воскликнул Арон.

Уласенков посмотрел вверх, на звезды, хотел узнать, много ли ночи остается. Поискал Корец — не нашел, а те звезды, что мерцали над черным гребнем, были неприметные. Месяц зашел за лес, чуть светлей было небо в той стороне, где он скрылся. Черные гигантские стены холодно и немо глядели спереди, сзади, с боков.

Вздыхнул Уласенков:

— Много еще ночи будет!

И опять закрыл глаза, чтобы вернуть полусонное видение с милыми лицами и родными местами. Но вместо седого кургана над прудом вырос гребень горы, похожий на гору у Карса. Вместо Расшиватки под горой, над замерзшей речкой, домики, в сумерках похожие на солдатские сундучки, а за речкой знакомые казармы, в которых прожили два месяца. Где-то далеко — должно быть, в кабардинском полку — заиграли зорю, протяжно, мягко и грустно...



## ДУША ОДНА

Но где-то есть душа одна —  
Она до гроба помнить будет...

Обоих ребят было жалко, по обоим сердце болело. Но за Антона — старшего, артиллериста, — боязни такой не было, как за Пашутку. Антон проходил службу, пообтерся на чужой стороне, узнал все порядки — он постоять за себя может, сразу не растеряется, зря не пропадет. Но Пашутку, как цыпленка, думалось, первый дождь захлещет, — чего с него спросишь? — службы не знал, чужой стороны не видал, годами млад, разумом зелен...

— И здоровышком-то — никуда! — жалобно уверяла мать всех, даже самого Пашутку. — На поле, бывало, выедем, все в холодке больше лежит — то сердце схватит, то лихоманка трясет.

Бородатый Агап, отец, сам твердый, сильный и злой на работу, тоже говорил — без укора, грустно и мягко:

— Работать — жидок, чего там. Ему больше имело приятность — в орла... или ружьецо взять да за зайцами — трое суток проходит и есть не спросит...

Задумывался. Молчал, качал головой и прибавлял:

— А все жаль... Жальчей этого, большого: этот собой развязен, к начальству смел, а этот чего? Куга... Вот думали все с бабой: с Пашуткой, мол, век будем доживать, Антон, мол, придет — жить не станет, отделится на свои хлеба... Ан вот как дело оборачивается: то с крыльями был — два сына, а то остаюсь пеший, с бабами да с внучатами малыми...

Лошадь купили Пашутке за триста. Дорого, всем на удивление. Правда, и лошадка была — картинка: трехлетняя кобылица. Звездочка, настоящая степная красавица. Но старики качали головами и говорили Агапу:

— Нежна дюже, Митрофаныч, кобылка-то, молода... Для похода, парень, нежная лошадь нейдет, скоро скутляшется. Для похода самая лошадь — годов шести-восьми, натруженная. А это — гвардейцу кобылка или офицеру легкому... Деньги зря отвалил!



Агапу и самому было жаль денег, а от этих речей даже умом слегка расстроился, спать перестал. Но виду не показывал. Отвечал твердо и неизменно:

— Дорога своя голова, а не деньги. Для дитя родного буду выгадывать? Конь казаку — первое дело, а на этой — я уж спокоен — хочь убить, хочь уйтить, понадеяться вполне можно.

И на сборном пункте Агап получил полное удовлетворение: из многих сотен лошадей ни одной не было такой красавицы, как Звездочка. Господа офицеры сразу заметили ее и стали торговать. Один надавал четыреста, другой — четыреста пятьдесят.

— Отдавай, старик, — говорили кругом из толпы, широким кольцом сгрудившейся вокруг Агапа и толстого офицера с оливковым лицом и запорожскими усами.

— За эту цифру двух коней купить можно...

— Купить-то купить, да чего купишь? — отвечал Агап, но чувствовал, что соблазн велик.

— Ну, старик, пять бумажек? — нахмурившись, отрывисто бросил офицер.

Агап поглядел на Пашутку — Пашутка держал за чумбур Звездочку, а она кокетливо терлась щекой об его плечо, — простодушная печаль лежала на худом, безусом лице сына, детски-открытом и покорном: родительская, мол, воля, а жаль расстаться с лошадкой...

— Нет, ваше благородие, не отдам! — виноватым голосом сказал Агап.

— За пятьсот не отдаешь? — Офицер говорил с виду спокойно, но ясно было, что рассердился.

— Никак нет. Свое дитя — дороже...

Устоял Агап против соблазна, не польстился на деньги.

За лошадь сотенный командир взял Пашутку в вестовые. Звездочку поставили с офицерским конем, и овса ей шло вволю, чему и Агап, и Пашутка безмерно радовались.

— При офицере, сынок, служба будет полегче, — говорил Агап довольным голосом. — Это прямо поваканило тебе... Старайся, не упускай... Ну, правда, что с офицером и в огонь первым...

— Первая головешка и будет в этом огне, — заливаясь слезами, говорила мать.

— Ну... все Господь...

Ушла в поход сотня. Прислал одно письмецо с дороги Пашутка, а потом все оборвалось, как в воду канула сотня.

Потянулась полоса сумрачных дней, тоскливых дум и гаданий, томительной неизвестности, неугасимой боли сердца,

ночей бессонных. С раннего утра Марина — выгоняла ли коров в табун, выносила ли золу под яр, шла ли на огород с ведрами — поливать капусту, — прежде всего искала глазами, не стоит ли где кучка баб или казаков. И уж если видела две-три фигуры вместе, как бы далеко они ни были, непременно колесила в их сторону. И всегда узнавала новое — порой до того поразительное, что ноги подкашивались, едва домой доходила.

— И проклятые эти бабы! — бранился Агап, человек рассудительный, спокойный, трезвый. — Откель у них эти газеты ихние выходят? Моя пойдет, наслушается на улице брехней всяких, придет — прямо пластом на кровать: сердце зайдет — просто помирает, и только... Станешь говорить: да ты, мол, не слухай! Да рази утершит?...

Слухи рождались неведомо как, неведомо где. Они насыщали воздух, как пыль, переносились из станицы в станицу, из хутора в хутор. Были крохотные осколки правды, простой, будничной и все-таки страшной. Но больше было вымысла, который создавал пугающую сказку о войне, — и ему скорее верили, чем тому обыденному, что было в казацких письмах с войны.

В конце второго месяца пришло письмо от Папутки. Он писал, что ходили за Карпаты, в Венгрию, три недели разыскивали свой 20-й полк, переходы делали по семидесяти верст, лошадей на постав поставили. Кормились, чем Бог послал, было не раз и так, что ничего, кроме капустных листьев и кочерыжек, не было ни себе, ни лошадям. Звездочка сильно спала с тела, но поход выдержала молодцом. Теперь — слава Богу — поправилась. Ездит на ней командир и не нахвалится: что за умная лошадь! Лишь не говорит!

В благодарность за Звездочку прислал Папутка в письме австрийскую копейку и велел отдать ее прежнему хозяину кобылки, маленькому Петрухе, который горько плакал, когда Звездочку уводили со двора.

— Значит, деньжонки проскакивают, — сказал Агап, рассматривая копейку и улыбаясь с добродушным лукавством.

Сосед Тимошка Котеняткин, простоватый казак с разинутым ртом, весь в заплатках, начиная с облезшей теплой шапки и кончая поршнями, пренебрежительно вздернул пушистой бородой.

— День-жонки! Рази это — деньжонки? Вон Родька Быкадоров прислал письмо Уляше: езжай, мол, бросай все, езжай... Я, мол, тут приобрел — не только дом окупить, на всю жизнь нам с тобой хватит... невпроворот деньгй! Вот это — голос... Я и то думаю к своему Никишке смотаться: не

подживусь ли чем? Хоть бы из одежды чего добыть, а то пообносились все, ребятенки голопузые бегают...

Марина обрадовалась и первая одобрила этот план.

— И то, Степаныч, съездил бы... Глядишь — чего, может, и послал бы Господь. Кстати Пашутке гостинчик бы отвез... Ехал бы с Уляшкой-то: двое-то — не как один.

— Тю-ю! С Уляшкой? — дернул бородой Котеняткин. — Иде уж твоя Уляшка! Небось уж по Карпатским горам сигает!

— Ай уехала?

— В один мент!

— Ведь вот подлюка! Чтó бы сказать-то!

Ширококостная Макрида, грузная, рябая и черная, певуче вздохнула и сказала с нескрываемой завистью:

— Эта не с пустыми руками вернется — баба шибаревая.

— Хорек-баба! — прибавила Тимошкина жена тоном завистливого одобрения. — Даром, что рябая, а любить умеет, хочь бы тебе и красавица писаная...

— Еще у генерала у какого-нибудь поддонит тыщи... — меланхолически сказала Макрида.

Марина почувствовала, что и ее зависть гложет: зелен умом Пашутка — где ему добыть, а вот Родька добыл. Вздохнула и сказала:

— Да нет, на кой ляд оне, деньги... Хочь бы уцелел, Господь привел... Хочь бы дожить да обызрить очами... А то жили — не знали, как слезами кричать, а теперь лишь глухая полночь прибьет, глаза осохнут — все кричишь...

И если они с того дня вместе с Настей, женой Пашутки, принялись узнавать про дорогу в австрийскую сторону и про тамошние города, то это не из какой-либо корысти, а просто тешили свою несбыточную, но милую мечту — слетать как-нибудь к Пашутке, отвезь ему гостинчик. Говорили: «Где уж тому делу быть!» — а сами расспрашивали, что это за горы Карпаты, узнали и Львов, и Краков, и Ярослав, и Перемышль, и Галич, какой ближе, какой дальше, какой по левую руку — на Усть-Медведицу, какой по правую — на Кумылгу. По-прежнему собирали всякие слухи, и хоть не меньше было страхов, но обычно сердце, стало приобретать закал мужества и ушло в простые, будничные заботы о фронте: надо было послать полушубки, чулки, перчатки, сухарей. И не меньше, чем из-за Перемышля, волновалась Марина из-за того, что почтмейстер не дал послать Пашутке кусок свиного сала, а сало было такое чудесное. Но не разрешали почему-то для пересылки по почте сало...

Присылали ребята письма — не часто, но присылали. Ан-

тон писал как хороший писарь — красно, складно, немножко мудрено и хитро для запоминания. Пашутка же царапал попросту, не очень складно, но задушевно, и над его письмами больше всего проливалось слез.

«Горит искра в душе моей,— писал Антон,— но наше православное христоролюбивое войско твердо стоит грудью своей, несмотря на страх в бою умирающих товарищей и обливающих груди алой кровию в минуту сильного и непрерывного огня. Нам удалось сбить неприятеля с позиции и гнать за ним вслед по пути. При отступлении по пути он делал бесчинское зверство, мирных жителей он забирал с собой, и кто не шел, того мучил и казнил, заходил в церкви и костелы во время богослужения, выгоняли и забирали. А над девушками и женщинами надругались. Села, деревни были совсем уничтожены пожаром. Вот эта-то — есть несчастная страна Польша, которая впрямь и теперь обсыпалась и обсыпается свинцовым ударом и обливается алой кровью. Местные жители, жида и еврей, под землю проводят телефоны и сообщают про наши войска о расположении, но и ловят их моментально, вешают. А наши донские казаки свою лояльность и храбростью страхом стали неприятелю. Помолитесь, православные христиане, о даровании победы над врагом теперешней войны. Сколько останутся бедных семей, сколько сирот и сколько несчастных бедных калек...»

А Пашутка, после длинной цепи поклонов, писал так:

«Посмотрел я города и свет видел, но лучше Дона не нашел. Был в Киеве, во Львове, в Миколаеве и много других — ничего не хочу, как наш Ближний Березов и Крутенький барак и речку нашу Медведицу,— но да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли...»

Затем расскажу я вам про свою службу. Служба наша не легкая. Служба наша такая: день изо дня в разъезде, а ночь настанет — в сторожевом охранении, занимаем посты впереди цепи. 23-го ноября у нас на заставу напал неприятель и взял в плен трех казаков и одиннадцать солдат. Затем 24-го мы поехали в разъезд за цепь верст пять и открыли в горах неприятельскую пехоту — 30 человек. Спешились и пошли цепью. Эта битва была в горах, так что мы думали, что он нас не видел, а ошиблись: он за нами все время шел, и мы один к одному подошли на тридцать сажень. И началась у нас стрельба. Неприятель разбежался, мы взяли в плен офицера и двух солдат, шесть человек убили. Когда перестали стрелять, стали собираться в кучу — глядим: Федор Зверков лежит убитый, и Привалов дюже ранен. Мы поосерчали и хотели убить офицера и солдат, а нам наш

офицер не приказал. Итак, поминайте Федора Зверкова хлебом-солью. Привалов, может, очумеется...»

Были и живые вести с войны. Раньше всех привезла их Уляшка, потом Тимошка Котеняткин, потом раненые и больные. На долю Уляшки выпало больше всего женского внимания — казаки отнеслись к ней с высокомерным пренебрежением: баба, мол, а баба что путного может увидеть в военном деле? Но бабы зато облепили ее густым роем, засыпали вопросами:

— Ну как, Уляша, смоталась?

Уляшка, сухопарая, рябая, но чернобровая, красивая вызывающей ухарской красотой, весело и бойко рассказывала о своем походе именно то, что больше всего могло заинтересовать ее слушательниц, как и ее интересовало.

— И-и, мои болезные, в одну неделечку! И поспать сладко не привелось: все настороже были, как гуси на пруду под осень...

— Ну, повидалась все-таки, все сердцу легче?

— Да повидалась. Всех станичников видала, все низко велели кланяться — от чела до сырой земли.

— Хорошо принимали?

— Да уж прием был, болезные мои, — последнюю рубаху чуть не отдала! — сверкая зубами и глазами, изгибаясь от смеха, говорила Уляшка. — Уж принять приняли, пожаловаться нельзя... Как приехала, меня муженек сейчас на касцию посадил...

В узких черных глазах Уляшки перебегал лукавый огонек. Бабы, затаив дыхание, ловили ее слова, жесты, ждали: вот сейчас откроется все о Родьке, о том, как ему пофортунило, все то, что носилось, как слух, томило неизвестностью, дразнило воображение, волновало завистью. Но Уляшка, как нарочно, приостановилась.

— Деньжонками-то, — правда, нет ли, — поджился, говорят? — с жалостливым сочувствием спросила Макрида.

— Всей касции двадцать три рубля было у него, — весело проговорила Уляшка.

— Ну, не грехи!

— Ей-богу! Вот как перед Истинным! — Уляшка перекрестилась на вывеску потребительской лавки, около которой собрались бабы. — Я два дня посидела — трюшница осталась, крынули как следует!.. Ну, он меня с касции — долой: на черта ты, говорит, мне нужна, коль так хозяйствовать умеешь! Сместил. Я говорю ему: а ты думал, я тебе свою десятку приложу, что у меня под поясом подшита? Нет, не дури! Выписал, так на свой счет содержи...

Смеялись бабы. Одобряли. Но не очень верили Уляшке: хитрит шельма рябая, думали.

— А говорили, добра много набрал, — осторожно уронила Марина.

— И-и, тетя, разговор один! — певуче промолвила Уляшка, вздыхая. — Може, кто и поджился, а мой — чего и зашиб — все в орла прокидал...

Примолкла на минутку Уляшка, сбежал играющий смех с ее лица, пригорюнилась как будто. «Ну, и людопроводка!» — враждебно подумала Марина, но тоже вздохнула и покачала головой, выражая сочувствие.

— Два дня только и побыла с ним, а на третий опять им поход, — вернулась Уляшка к рассказу. — Проводил он меня: езжай, говорит, Уляша. Я было ему: я, мол, с тобой, мое сердечушко, иде ты будешь, там и я. А он и говорит...

Уляшка вдруг колыхнулась от беззвучного смеха и схватила за плечо грузную Макриду.

— А он мне: тебя, говорит, под строй не возьмут, под седлом ты непривычна, все охлюпкой ездили на тебе... С меня, говорит, теперь гнедого достаточно. Куда тебе за нами с мешком сухарей тлюпать? Езжай домой. Молитесь там, служите молебны...

И, как бы чувствуя в напряженном внимании баб, в их безмолвных, хитрых улыбках скрытое прочное сомнение, Уляшка опять согнала смех с лица. Помолчала, стряхнула белую глиняную пыль с рукава новой кофты и сказала:

— Кто бережливый да ловенький, поджились, говорят. Домой слали и деньгами, и обувкой, и материем. Ну, мой ни волоска не нажил — одна дыхнуть!

Макрида простодушно сказала на это:

— А у нас тут по всей станице зык шел: поехала, мол, Уляшка деньги забрать...

— И ни боже мой! Говорю: взяла две десятки у него из касции, купила себе вот на жакет сукна, натянула еще на шелковую кофточку. Мужу отдала за то родительскую пятерку. Вот и все нажитие...

Не одна Уляшка — съездили и еще кое-кто из станицы в австрийскую сторону, и Марина хоть маленькую сумочку, а умудрялась всучить для Папушки. Даже Тимошка Котеняткин не утерпел, занял деньжонок и махнул за добычей. Пропадал долго, вернулся лишь перед Масляной. На людях хвастал, что привез всякого добра, а ходил в тех же заплатах, в каких поехал, и ребятишки, как были, так и остались голопузыми. Над ним весело подтрунивали: обмишулился

глупый человек, прокатал зря последнюю копейку, а сознаться в этом стыдится...

Но слухи о внезапных обогащениях, о наживе там, на далеких полях опустошения и смерти, держались в народе прочно и дразнили не одно голодное воображение...

А дни шли за днями, хмурые, насыщенные тревогой, вестями о гибели то одного, то другого казачка, слезами, и стонами, и воем отчаяния. Шли недели, шли месяцы. И все не спалось по ночам Марине — гадала, молилась, всеми думками была с родимыми сыночками, старалась представить себе, что это за горы крутые — таинственные Карпаты. С замирающим сердцем каждый день ждала весточки, прислушивалась, не говорят ли о замирении...

Великим постом пришел от Пашутки больной казак Фетиска Пастухов. До службы это был парень-орех, отчаянный картежник и конокрад, сидел и в тюрьме. Здоровенный казак, боец и озорник был, а вот служить не годился. Посчастливилось же этакому лодырю...

— Что ни самый лоботряс, то и отставной! — сказал Агап, услышав о приходе Фетиски, и с досады не пошел даже спросить про Пашутку. Но Марина, как услышала, сейчас же помчалась.

В Фетискиной избе народу было — рукой не пробить. В воротах встретила Макрида — успела уж побывать у служивого.

— Гладкий, как боров! — сказала она, махнув рукой.

Потом, уже на ходу, издали крикнула:

— Ногами, — говорит, — зыбнул. Да и видать: не семенной, желтый весь...

Пролезла и Марина в избу. Фетиска сидел за столом, в переднем углу, с стариками, — на столе стояло две бутылки вина, чашка с капустой и огурцами, чашка с ломтями соленого арбуза и миска с лапшой из сушеной вишни. Как и полагалось служивому, Фетиска троекратно облобызался с Мариной и на ее вопрос о Пашутке сказал, как и всем говорил:

— Ничего, слава богу, жив-здоров — как сам, так и конь...

— Звездочка-то служит? — спросила Марина, утирая слезы, которые всегда были готовы у ней, лишь только речь заходила о сыновьях.

— Лошадка — как нарисованная! — утешил ее Фетиска. — Большое внимание от господ офицеров Павлу по лошади... Я ей сахару давал — грызет с удовольствием.

— А чаем не поил? — шутливо вставил сивый Митрофаныч, сосед, и поставил перед служивым налитый вином стаканчик.

— Ну, что это там за Карпаты? Что за горы крутые? — спросила Марина.

Фетиска поглядел на стаканчик как бы с недоумением, но взял осторожно, двумя пальцами — большим и средним, поздравил всех сидевших за столом и стоявших в избе со свиданием и неторопливо выпил.

— Карпаты, тетушка, — горы громаднеющие... тысячной долины горы, — сказал он, утираясь. — Там, тетя, от трупья одного — человека не разглядишь...

Горестно затрясли, закачали головами бабы, стоявшие перед столом, запричитали заученным напевом: «Господи, кормилец наш Господи!.. Да какой страх-то, беда-то какая!.. Милые вы наши вьюноши, как вы там и терпели-то такую беду!..» Поплакала и Марина. И не утерпела, сказала с легким упреком:

— Посчастлило тебе, Фетисушка, — пришел вот...

— Ноги отказались носить, тетя, — чувствуя необходимость оправдаться, отвечал Фетиска. — Не будь бы ноги, служил бы, как говорится, верой-правдой...

— Бога благодари: от смерти Господь отвел, а то, может, хищные птицы белое тело расклевали бы... али враг над тобой надругался бы... А то вот дома и с детишками...

— Дома-то дома, да все неловко дома-то... Поправлюсь ногами, пойду опять... надо делить с товарищами нужду и горе.

И принялся за арбуз. Ел долго, медленно, сосредоточенно, желтый и хмурый, в желтой верблюжьей куртке с потертыми погонями. Похоже было, что не очень разжился на войне.

— Чего же принес? — соболезнующим голосом спросила Марина.

— Вот все, что на мне. Да вот винтовка немецкая — офицер благословил взять. Я говорю: дайте, вашбродь, на Тихий Дон повезу, чтобы поглядели добрые люди, от чего наши буйные головушки тут ложатся. «Повези», — говорит...

— Это и все нажитие!

— А другие-то и вовсе ходят — голые коленки, — сказал, оправдываясь, Фетиска, чувствуя обидный намек в жалостливом вопросе Марины: как дома был, дескать, бесхозяйственный лодырь, так и на службе, не сумел поправиться. — Я, по крайней мере, при одежде, а твой Павло, может, разумши ходит... Вы тут живете — ничего не знаете, а понесли бы... туда — ан оно бы иначе указало...



Весна была дружная, с теплыми дождями, с большой водой, с буйными травами и прекрасными всходами — давно такой весны не было. И вся ушла деревенская душа в радостно-привычную суету около земли-кормилицы, прилепилась к пашне, бахчам и огородам, окунулась в заботы о скотинке, птице, оралке и бороне, о хомуте, дегте, колесе и поддоске. Хлопотно и недосужно стало. И даже война с ее тревогами и страхами слегка заслонила близкими волнениями весенних деревенских будней. Вздорожали товары, приступа нет к гвоздям, бечеве, юфте, подошве. Правда, подняли цены и на хлеб, на скотину. Продал Агап сотни две мер пшеницы, пять овец — и денег куча. С деньгами стали и бабы — пособие получали. Было немало свары в семьях из-за этих денег: старики требовали, чтобы деньги шли в семью, а бабы норовили припрятать их особо.

— Обувай-одевай отец, а пособие получать — нет, это снохе, а сноха их — на наряды да на прянцы... Кто же ребятишек-то кормить обязан?

Побранивались старики. И Агап вторил. Он своих снох держал в строгости, а пособие ослабляло бабью зависимость, вносило лишнюю трудность в налаженное ведение порядка.

— Бывало, обувкой она обносила, глядит: сошьют аль нет ей чирики, — и посмирней себя вела. А нынче што? Никому не кланяется, свои деньги есть... Грех один! Мы, бывало, служили, наши бабы копейки ни отколь не видали, а нынче вон какая мода вышла...

Но Марина умела ладить с снохами: они отдавали ей деньги, а она отделяла частичку им — на наряды, сверх обычной сметы. И дело шло мирно и благо.

В конце апреля донеслись до станицы зловещие слухи: сбросили наших с Карпат, и много казацких голов легло при отступлении. У Тужилина два сына были убиты, пропал без вести Федотка Фомичев, Иван Юшкин — тоже, убит Алехарка Горасин, погиб Бунтишкин внук Лука, убит урядник Чирков. Неутешным криком огласились станичные улицы, от причитаний оседала горькая муть на душе, и нигде не находила места Марина: ни от Антона, ни от Пашутки не было ни одной весточки...

Лишь после Троицы дошло письмо от Пашутки. Писал он, что с Карпат скатились. Звездочка сослужила службу, вынесла хозяина. Но не одного хозяина пришлось ей нести — садились и чужие, у кого коней подбили. Много нужды и труда пришлось хлебнуть...

Были слезы и причитания над этим письмом. Много слез, и личное переплелось с общим горем, безотчетно

почувствованным, повисшим синей грозовой тучей над думой. И одно целение оставалось бабьему сердцу — этот речитативный напев, монотонная импровизация одинокого тоненького голоса, певучий размеренный рассказ с придыханиями и приговорами, изливающий жалобу и сетование Неведомому. Ровным плеском падал он в светлую, зеленую тишь станичного дня, завораживал слушателя безбрежной горечью своей, сцеплял болью сердце, туманил глаза слезой.

— И, милые мои казаченьки! — причитала Марина. — Лезли вы на Карпаты по сыпучим снегам, нужды видали сколько, холода, голода... А отседа согнали вас во единый скорый часочек, во минуту одну... И легли вы, мои сердечные, в зеленой долине, полили землю кровью алой за нас грешных, засеяли кудрявыми казацкими головушками... Легли, сердечные мои вьюноши, в расцвете силы, в разгаре красного лета...

С тех дней не улегалась тревога сердца, не переставали давить тяжелые сны. Каждый новый день приносил новую весть — и все страшную. Сорок человек потеряла станица в каких-нибудь три недели. И замирало у Марины сердце от страха, когда маленький Андрюшка, белобрысый мальчуган, почтальон-доброволец, разносил по дворам письма и когда она вместе с другими соседками бежала слушать, если письмо было из 20-го полка.

Подошел покос. Трудный покос, изнурительный: тут дожди, тут трав понаросло столько, что и старики не запомнят, и рожь, как лес, — ничем не возьмешь — густа, высока. А рук — нету. Горе глядеть было на одиноких бабенок: одулись от слез — ни косы отбить некому, ни полом починить, шлея оборвалась — лоскутом от юбки надо связывать, колесо рассохлось — идти в люди, да разве каждый раз находишься? Иной человек отзовется, а другой и на смех подымет, ни во что поставит...

Марине за стариком было легко, но, на других глядя, наплакалась вдоволь...

...На Петров день разговелись, снохи ушли к почте — ждать писем, — по праздникам там всегда толпился народ, улица была. Марина прилегла на полу в горнице, закрывши ставни, чтобы мухи не одолевали, и заснула. Приснился ей Плес, озеро, у которого этой весной косили луг, станы над озером, арбы с палатками, дымки, тихий звон комариков. Снохи — Настя и Анисья — наловили бреднем рыбы и варили щербу, Агап раскидывал на кустах мокрый бредень — для просушки. Она, Марина, выложила на разостланный мешок ложки, нарезала хлеба, деревянную чашку поставила и все

думала о том, что надо бы домой — к ребятишкам, — одни ведь остались, — да щербы очень уж хотелось, так вкусно пахла щерба... Вдруг почувствовала: выпал у нее передний зуб. Попробовала пальцами — так и есть: выпал, белый да большой, словно бы и не ее зуб, у нее таких больших не было. И чудно выпал — без боли, словно чужой. Подумала: раненько бы падать зубам в 43 года, да еще передним, — и загрустила. Щербы ждала, щербатая стала, — мелькнуло в мыслях, — вот и будут люди смеяться. А ведь вовсе как будто недавно была молодая и веселая, и песенница, круглолицая, с ласковыми голубыми глазами, — а вот уж бабка и беззубая. Украдкой, опасливо поглядела на снох, не смеются ли? нет, не смеются. Сидят — примолкли, на огоньки глядят, набродились — устали... Агап подошел, хотела сказать Марина: «Старик, а ведь у меня передний зуб выпал...» И вдруг страх, темный, непонятный, беспричинный, остановил ее сердце, перехватил дыхание... Трясущимися пальцами она стала вставлять зуб на старое место, но зуб опять и опять падал...

Проснулась. Села на полу, стала креститься, а страх, щипавший ее сердце во сне, все не проходил. И показалось ей, что в щели ставни мелькнул Агап, без шапки, и в лице его стоял тот же непонятный ужас, который разбудил и ее.

— Убили...

Она сказала это сама себе глухим, сирым, чужим голосом, приняла, как несомненное, рванулась к двери, но на пороге упала — подкосились ноги — и завывала чужим, незнакомым, грубым голосом...

Прислал письмо Никита Мишаткин: «А 14-го числа мы сидели в окопах, а германец осыпал нас шрапнелями и чемоданами. Павел Дрюков лежит на спине и смеется, я оглянулся, а он уж зевает...»

Только всего и было написано, а потом снова поклоны. Но этого было достаточно. Было всем понятно и ясно, что значит «зевает»: испускает последнее дыхание...

Заметался Агап, все-таки не мог сразу принять удар, не в силах был заставить себя поверить, что нет уж на свете Пашутки. Послал две телеграммы: полковому командиру и командиру сотни. Но ни на одну не получил ответа. На неделе пришло письмо от Родьки Быкодорова, и в нем было написано: «Поминайте Павла Дрюкова хлебом-солью».

После этого письма у Марины уже не осталось ни колебаний, ни надежд. Решительно заявила она, что надо помянуть, хотя Агап все еще надеялся получить ответ на свои телеграммы. Но противиться жене не стал: в заупокойном помине

беды нет; если жив сынок, то эта смерть его отпоминается. Отдали четвертной билет попам за сорокоуст — и вся ушла притихшая, замкнувшаяся в себе мать казацкая Марина в заботу о помине, о свечах, кутье и пирогах, и одна, — по-кос оставить нельзя было, Агап и снохи жили в поле, — ходила она каждый день в церковь с большим узлом кренделей и бурсаком, раздавала их старухам, кормившимся подаением, а сама становилась в темный уголок перед темным образом Богородицы Аксайской и в безмолвных слезах изливала Царице Небесной безмолвную, горькую жалобу свою материнскую...

Агап все добивался узнать: цела ли Звездочка? Лопадь ценная, больших денег стоит лопадь, за ней и в армию можно бы съездить, если цела, — чтобы в чужие руки не попала. Но нигде ничего не мог добиться: в правление никакой бумаги не присылали, начальство отзывалось незнанием, а в письмах казацких с войны говорилось уже о других смертях, о Пашутке ничего больше не было.

Случайно, на базаре в Михайловке, услышал Агап, что пришел домой из 20-го полка раненый урядник с хутора Березок. Ни минуты не медля, поскакал старик на Березки. Разыскал урядника: кавалер, с двумя крестами. Такой словоохотливый: прежде всего о войне стал рассказывать, о высших начальниках своих.

Качал головой Агап, слушая, глядя в сухощавое приятное лицо рассказчика, обрамленное черной коротенькой бородкой, и думал о милом своем зеленом купуре, о Пашутке. Стыдно было показывать слабость, но неудержимо бежали слезы по щекам, по бороде.

— Ну что ж ты, мой болезный, видал ай нет сыночка моего Павла Дрюкова? — спросил, наконец, Агап.

— Почему же, дяденька, не видал, когда нас с ним вместе везли, в одной двуколке... — сказал урядник с видимым удовольствием. — Вот как свой пальчик вижу, так и его... Дюже был плох... Все кричал: развяжите мне, мол, живот, дюже туго мне живот перевязали! Голосом кричал. Я говорю сенатáру: ты бы ослобонил его немножко. «Нельзя, — говорит, — доктор не приказал...» Ну... в Замостье его сняли. Тут уж не кричал. Фершал поглядел: «Готов», — говорит...

— Может, его омраком ошибло? — горестно простонал Агап.

— Не могу доказать, дяденька. Потому, что его сняли, меня повезли дальше.

— А фершал-то этот чей? сенатáр-то? Какого полка?

— Не могу знать. Пехотный какой-то...

— Да как же это ты не спросил? — чуть не зарыдал Агап, хватая себя за грудь. — Такой ты молодец, кавалер, и такой нерасторопный... Ты бы должен спросить!

Смутился урядник и стал оправдываться:

— Да ведь я, дяденька, сам чуть зевал в ту пору...

Первые слова, которые услышала Марина от мужа, когда он вернулся с Березок, заставили ее затрепетать от радостной неожиданности. Агап сказал тихо, не очень уверенно, как бы сам спрашивая:

— А ведь сынок-то, может, еще и жив, старуха... Мы кричим, Господа гневим; а он, может, и очунулся?..

И, когда рассказал Агап все, что слышал от урядника с крестами, и выложил свои соображения, поверила сразу и Марина, что должен быть жив Пашутка, раз никто не видал его мертвым — и урядник, и товарищи, писавшие о нем в письмах, видели его лишь раненым. Вот Василий Иваныч с Суходолу отпоминал сына осенью еще, и бумага приходила, что убит, а сын на Святой прислал письмо из плена.

И ухватились оба за тоненькую эту ниточку надежды — Агап и Марина, — и ни за что не хотели оборвать ее. Говорили, что не иначе, как попал в плен раненый Пашутка, когда сняли его в Замостье...

Каждый день стала выходить Марина за гумна, в степь, где проходил мимо телеграфных столбов шлях. Много народу ехало этим шляхом: и провожали, и шли туда, где лилась кровь, и возвращались оттуда — раненые, больные, отпущенные. Ни одного служивого не пропускала Марина, чтобы не расспросить, какого полка, к какому корпусу полк прикомандирован, в каких боях участвовал, по каким городам и местечкам проходил. И научилась она быстро и точно разбираться в полках, узнала, какого числа и где какой бой был и далеко ли от Замостья он происходил...

А раз чуть было не упустила казачка, а он оказался самый, что ни на есть, дорогой и нужный. Ехал тархан какой-то — с товаром ли или так, с пустыми коробами и бочонками, а среди этих коробов, свесив ноги в стоптанных сапогах, прикурнул казак в смятой фуражке и зеленой гимнастерке без пояса. Марина гнала коров в табун по переулку, засыпанному золой, а они обогнали ее, подымая пыль, гремя колесами и коробами, — к шляху направлялись. Она приглядывалась к тархану — знакомое будто лицо, приезжал свиней скупать перед Рождеством, — а казака-то не сразу увидела. Но, увидав, закричала испуганно и звонко:

— Пойдите! Эй, погодите на часок, люди добрые!

Тархан оглянулся, испуганно поглядел на колеса, не

случилось ли чего с телегой, потом на Марину, машущую рукой, и тпрукнул.

— Чего, тетка? Ай подвезть? — спросил он, скаля зубы.

— Служивенького вот хочу спросить! — задыхаясь, едва могла проговорить Марина. — Какого полка, сердечный мой?

— Двадцатого, тетушка! — крикнул казак, не оглядываясь.

— Родимый ты мой! — сплеснула руками Марина. — Да ты, может, Павла Дрюкова знал?

— Павла? Как же не знать... очень даже прекрасно знал.

— Ну... я ему — мать... — едва проговорила Марина и залилась слезами.

Казак тотчас же спрыгнул с телеги и, подойдя к Марине, поклонился ей в ноги, как по старому казацкому обычаю полагалось.

— Ну, здорово живешь, тетушка! — целуясь с ней крест-накрест, сказал он.

— Болезный мой! — лепетала Марина, захлебываясь слезами и жадно глядя в круглое, изрытое рябинами, серое лицо казака. — Ну когда ты его видал, какого числа, скажи, сделай милость!..

— Видал я его, тетя, я тебе зараз скажу, когда...

Казак оглянулся на телегу, потрогал задок, пошатал, подняв в раздумье брови, и сказал:

— Евсей Абакумыч, ты вот чего... ты езжай помаленьку, я догоню... Езжай себе слободно... Видал я его, тетушка, стало быть, в июле месяце! — сказал он Марине, провожая глазами зашуршавшую телегу. — А какого числа — вот именно не докажу...

— До Замостья ай после Замостья? — спросила Марина с замирающим сердцем.

— Никак нет... до Замостья.

— Ну, стало быть, ты его еще 14-го числа видал?..

— Так точно, четырнадцатого, — готовно согласился казак, и видно было, что ему все равно, с чем ни соглашаться. — Да, четырнадцатого, не иначе... под Грубешовым... так точно. Теперь именно припомнить могу: четырнадцатого...

И, придавая голосу жалостливую ласку, сказал он тихо:

— Раненым видал я его, тетушка... Мы, стало быть, скакали — вызвали нас: С-ский полк прорвали — нашу сотню потребовали. Скакали мы, стало быть, а тут обоз дорогу перегородил. Я глянул в двуколку: это, мол, казака везут... — «Казак!» — «Чего извольте?» — «Да это ты, — говорю, — Паша?» — «Так точно, я, — говорит, — дюже крепко, — гово-

рит, — я ранен... очунеюсь, нет ли...» Ну, тут стоять нам неколи было: скорей, скорей! С-ский полк прорвали. «Ну, говорю, Паша, прости Христа ради! Господь даст, мол, поправишься!..» И больше я, значит, его не видал...

Марина жадно ловила каждое слово, мгновенно взвешивала и соображала, разрушает или укрепляет оно ее трепетную надежду, а слезы лились, лились, лились, качалась горестно голова, и уходило вдаль круглое рябое лицо служивого — лишь голос был близко.

— Ну как он тебе показался: дюже труден был?

— Нет, речь у него была веселая...

— Веселая? — с сияющим от слез взглядом переспросила

Марина.

— Веселый разговор... Пожалился лишь: ранен я, дескать... А речь ничего, веселая... Ведь он казак-то был — герой! Рубака был... Бывало, наиграет денег в орла, накупит всяких закусок, накормит всех... Развитой парнишка был...

— Дома-то он у нас как-то все прихварывал...

— Ну, там — разъялся, расправился — куды-ы!.. Развязный казак был! А лошадь? Львица, а не лошадь!.. — воскликнул казак в восторге и, отвернувшись к плетню, высморкался пальцами...

— Стало быть, округ Грубешова ты его видал?

— Так точно, у Грубешова.

— Это, стало быть, влеве от Замостья? В правую руку — Избищи, а в левую — Грубешов?

Казак подумал, прикинул в уме и сказал не совсем уверенно:

— Точно так, это будет влеве...

— Ну, а Красноброд проходили вы аль нет? — допытывалась Марина.

— У-у, боже мой! — усмехнулся казак снисходительно. — Да мы там все места проходили!.. Мы проникали горы и леса! Морей, правда, не видали, а гора зачерпнули добре...

Он поправил смятую свою фуражонку и победоносно поглядел вдаль по переулку, к вербам на левадах, окутанным сизым кизячным дымком.

— Ну, а Замостье вы, стало быть, 15-го проходили? — опять спросила Марина — не хотелось ей отпустить его, не исчерпав до капли всех сведений, какие мог он иметь.

— Замостье — пятнадцатого, — отвечал он, не думая.

— Вот кабы ты в Замостье-то его нашел...

— Да ведь кабы время дозволяло... А то — прорыв мы затыкали... стало быть, С-ский полк прорвал неприятель —

тут сейчас приказ последовал: живо! С-ский полк прорван!.. Тут уж разговаривать некогда...

— Кабы кто мне, добрый человек, сказал: живой ли он в Замостье был, родимый мой? — простонала Марина, и крик этот материнской муки, как крик лебеди раненой, резнул по сердцу казака. Он сказал жалостливо и мягко, словно ребенка утешал:

— Да нет, тетушка, не должен быть, чтобы кончился... Потому что веселая речь была у него... Просто сказать: веселая... Должен быть — жив...

— Веселая? — опять с жадностью ухватила она за это слово.

— Разговор веселый... Почуеется, бог даст...

Ей все не хотелось отпустить его, но он спешил. Евсей Абакумов далеко уж теперь уехал, как бы не пришлось пешком месить до самого хутора Почилкина. А на телеге оставил он шинель и узелок с прянцами — детишкам, — как бы не затерял тархан.

— Захватил было два австрицких штыка ребятам для забавы, — говорил казак, когда уже вышли они за гумно, в степь. — Докторица выпросила, отдал... Три целковых дала...

Долго стояла Марина за гумнами, не могла оторвать глаз от удалившейся фигуры в зеленой гимнастерке без пояса, одинокой в зеленом безлюдье толоки. Телега тархана чуть виднелась далеко за ветряками. Как будто стояла она на одном месте. Потом выросла вдруг на горизонте и нырнула за волнистую черту влево от сизого кургана. От станицы несло запахом утренних дымок, голосами кочетов и теллят, собачьим лаем, а тут было тихо, пустынно, хорошо было погрустить и поплакать в одиночестве. Тихо прошуршали по дороге три арбы, запряженные быками. Мальчуган в соломенной шляпе с надорванными краями боком сидел на передней, свесив ноги в чириках, посвистывал, покрикивал, небрежно помахивая оборванным кнутиком: «Цоб! цоб!»

— Ишь хозяин вот какой остался, — мысленно упрекнула кого-то далекого и неведомого Марина. — А мать через пупок не перегнется, не ныне-завтра родит...

И опять нашла глазами фигуру в гимнастерке без пояса. Далеко уже она — как будто на одном месте топчется. Вот скоро подыметя к кургану и утонет за сизой чертой его. Уйдет ли с ней и то трепетное, волнующее страхом и надеждой, робкой радостью и мукой, что осталось в ее сердце от этой встречи? То смутное, чуть уловимое веяние родного, что, как сухой пучок мяты напоминает красное лето, всю наполнило ее живым образом сына? Ах, каждую ночь снится



он ей, хворенький, ушибленный, ищущий скорбными глазами ее, мать родимую, — и крепко прижимает она его к трепещущему сердцу, и всю силу порыва материнского хочет перелить в него, исцелить раны его больные, остановить кровь горячую... А проснется — нет никого: был и ушел сынок... Лишь молотами стучит взволнованное сердце... И нет меры тоске ее материнской...

О, если бы когда-нибудь увидеть ей своего Пашутку — вот так, в гимнастерке без пояса, в стоптанных сапогах, в смятой фуражке, — как бы бросилась она к нему навстречу!.. Взглянуть бы раз единый и — хоть умереть тогда...

Рассказала она Агапу о своей встрече с казаком — служивым из 20-го полка. Больше всего повторяла, что речь была у Пашутки веселая, значит — не так труден был, чтобы помереть. Агап слушал напряженно, кивал головой, соглашался. За одно лишь попрекнул, не спросила о лошади, что с ней, — в полку ли? при обозе ли? или погибла?..

— Сказано: баба... так вы бабы и есть! — махнул он рукой...



## ОБВАЛ

По сущей правде и совести покажу здесь то, что видел и слышал я в эти единственные по своей диковинности дни, когда простое, серое, примелькавшееся глазу фантастически сочеталось с трагическим и возвышенным героизмом; когда обыватель, искони трепетавший перед нагайкой, вдруг стал равнодушен к грому выстрелов и свисту пуль, к зрелищу смерти и бестрепетно ложился на штык; когда сомнение сменялось восторгом, восторг страхом за Россию, красота и безобразие, мужество, благородство, подлость и дикость, вера и отчаяние переплелись в темный клубок вопросов, на которые жизнь не скоро еще даст свой нелицеприятный ответ.

Не скрою своей обывательской тревоги и грусти, радости и страха — да простится мне мое малодушие... Как обыватель, я не чужд гражданской тоски, гражданских мечтаний, чувства протеста против гнета, но мечты мои — не стыжусь сознаться в этом — рисовали мне восход свободы чуть-чуть иными красками, более мягкими, чем те, которые дала ему подлинная жизнь...

Итак, попросту передам то, что видел, слышал и чувствовал в эти дни.

### I

Было это, кажется, в четверг, 23 февраля. И было совсем просто, обыденно.

— Извозчик, на Офицерскую!

— Семь рубликов!

— Только-то?

— Только. Ведь не сто рублей. Тпру, черт! Хорошая какая! — сердито обратился старик к лошади, похожей на дромадера. — Такая дьявол, когда не надо — дернет. Не любит возить, хочет порожнем ехать... Ну, желаете два с полтиной?

Я подумал и сказал:

— Рубль с четвертью!

— Без лишнего: полтора?

Сел.

Дромадер завилал задом, закачался, зашлепал копытами и, натыкаясь на кучи сколотого снега, повез нас тяжелым трюхом. Санки ныряли по ухабам, раскатывались в сторону на поворотах, прыгали боком.

— Да, с голоду народ разыгрался... погуливат... — сказал извозчик мягким басом.

Улица куталась в полутьму. Ходила густая, темная, праздничная толпа — больше солдаты, деликатно обнимавшие за талии девиц. Сумрак, шуршащий говор, веселое оживление, как в пасхальную ночь, когда люди, отложив будничные заботы, бродят по улицам, любопытно приглядываясь, прислушиваясь, становятся как будто ближе, проще, доступнее, расположеннее к мимолетному знакомству, затевают разговор с чужими, — от всего веяло беззаботным, порой буйным, веселым и молодым беспокойством.

— Хлеба нет, а? До-жи-ли! — сказал извозчик.

Бас у него был с трещиной, и несло от него теплом, как от свежеспеченного хлеба.

— Вильгельму как раз на руку... На Выборгской, говорят, били лавки...

Я немножко взыскательным тоном, обывательски пугаясь темы, соприкасающейся с «распространением ложных слухов», сказал:

— ...«Говорят»... Сам увидишь — тогда говори...

— Барыню я вез — говорила... И на Невском...

Он помолчал и мечтательным тоном добавил:

— Надо бы их, чертей купцов — всех под один итог! Да не купцов — и выше бы... По хвосту вот сколько ни бей ее, анафему, — он выразительно хлестнул своего задумавшегося дромадера, — ничего ей не докажешь...

— Кормишь плохо, — сказал я, чтобы уйти от скользкой темы к менее опасному сюжету.

— Старая, черт!.. А кормим — хлебом...

— Как хлебом?

Правда, я и раньше слышал о том, что извозчицьи лошади перешли на хлебное довольствие, но все-таки удивился и упрекнул:

— Вот он куда идет, хлеб-то...

— Верно. Овес — пятьдесят целковых куль, восемь рублей пуд. К селу приступу нет. Вот моя — доест последнюю вязку, поеду домой. Только тем и дышишь: из деревни привезешь куля два, сверху пудов пять сена — больше в Красном не пропустят, пять — пропустят... Провозят кото-

рые и воза, — подумав, прибавил он и подвеселил дромадера кнутом. — Солдатам на чай дадут рублей двадцать пять — провезут. А тут даешь ему за пуд четыре с полтиной — он и не глядит. Четыре с полтиной!.. Ну, на хлебе и сидим...

— Да ведь хлеба-то нет, — возразил я.

— У нас хозяин все время солдатским хлебом шесть лошадей кормил. И квартирантам сколь хошь хлеба...

Он говорил спокойно, почти уважительно, во всяком случае — без тени возмущения хозяйской изобретательностью.

— Хлеб есть, как это не быть хлебу? Чего самая нужная вещь. Солдатский. Два сорок за пуд хозяин покупал. Придет солдат из Измайловского полка — кватенармист ли, артельщик ли: «Есть, мол, хлеб, приезжай к такому-то часу...» Пудов по шестьдесят привозил. Без никаких...

— Но как? Ведь это не безопасно.

— О-очень просто. Едет без всякой опаски. Накладет воз — телега такая у него — ящиком, закрытая, назем вроде возить. Закроет газетами — везет...

Бас его звучал теплой, одобрительной усмешкой. И был он сам весь круглый, благодушно-темный и словно бы ржаной, как теплый солдатский хлеб.

— А масло? Опять у них же. Масло брал по двенадцать за пуд, а продавал — рупь двадцать. Озолотел! Тысяч десять в банок положил за эти два года. Да... А народу не хватает...

Он слегка задумался. Помолчал.

— Как это чтобы хлеба не было? Чего самое главное. Вам к подъезду?..

Это была, можно сказать, последняя мелкая деталь старого порядка, которую я слушал и тужил: ведь вздумай я рассказать об этом, — а рассказать не вредно бы, — с первого слова заткнут рот...

Назад пришлось прогуляться пешочком. Все еще чувствовалась на улицах какая-то не улегшаяся зыбь. У хлебной лавочки, несмотря на позднее время, стоял «хвост». Мальчик лет четырнадцати мягким, застенчивым голосом рассказывал:

— Там как ворвались все — враз растрепали заведение! И хлеба сколько оказалось. Я один ухватил в окне и поскорей бежать!..

— Хватал бы шоколадку, глупой! — наставительно сказал женский голос.

— Да-а, какая ты ловкая! За шоколадкой полезешь — плетку схватишь. Бог с ней! Одна там женщина несла коробок пять — во-от каких! Кровь у ней льет — рука порезана, — она не обращает внимания... Бог с ней, с шоколадкой!..

Снились мне ночью худощавое, круглое личико этого мальчика и его наивный голос, женщина с коробками шоколада. «Неужели этим закончится новый вал?» — рассуждал я в странном, тревожном, тяжелом полусне, загадывал и вздыхал...

## II

Утром 24-го знакомый голос по телефону говорит мне:

— Имей в виду: на Невском не пройдешь, не пускают. С Большого не сядешь. Я с Среднего кое-как сел. На Невском, говорят, творится нечто... Прими к сведению...

Сердце забилось радостной тревогой: что-то будет? Поспешил дописать письмо, побег на улицу — усидишь ли в такую минуту в четырех стенах?

Солдаты со штыками перебрасывались острыми, пряными шутками с бабами — был около хлебной лавки обычный «хвост». На Большом не было видно ни одного вагона. По панелям текли в разных направлениях темные струи людского потока. Стояли праздные, пестрые кучки на рельсах. Было солнечно, ярко, тепло. Капель мягко барабанила на пригреве. Не дымили трубы заводов, и далеко по широкой, прямой улице темнели неровным частоколом хлебные «хвосты». Около них веселые кучки девиц в пуховых косынках и молодые люди призывного возраста в картузах блинами, патрули солдат — пожилых, добродушных, деревенски неуклюжих, — совсем не страшные своими тускло поблескивающими на солнце воронеными штыками.

Тусклый, серый с чалой бородкой, в сером пиджаке и серых валенках, говорил около них:

— На Выборгской казаки никак не стреляли. Фараонов секли нагайками — смеху было! Армия тоже не будет стрелять...

— Чай, и они голодные, — говорит беременная женщина в потертом плюшевом пальто.

— Полиция молчит! — довольным голосом восклицает серый человек. — Бьют их. Вчера на Выборгской с околоточного пашку сорвали, кобуру сорвали, всего оборвали!

— У нас рабочие кинжалы себе поделали — во-о! — восторженным тоном говорит курносый малец лет пятнадцати. — По аршину!.. Поотточили!..

— Вся суть в солдатах, — говорит патрульный с широкой светлой бородой, — кинжалом ничего не докажешь...

Зашевелился вдали, под солнцем, темный густой частокол. Как будто батальон матросов, идущих повзводно. Нет, не

матросы. Смутно доносится пение, улавливает ухо знакомый мотив: значит, демонстрация — толпа, делающая революцию...

Тревожно раздвинулась улица — подались в сторону веселые кучки девиц, «хвосты» и патрули. Прижались к воротам, нырнули в калитки, в подъезды. У всех как будто гвоздем сидела одна мысль: вот-вот заиграет рожок и из рядов солдат, стоящих вдали, грянет залп.

Но темной стеной движется частокол. Вот он близко. Не очень внушительна толпа, и скуден красный флажок. Все молодежь. Сливаются в мелькающую сеть лица, картузы, шапки, платочки. Сливаются жидкие голоса. Редким островком мелькнет заросшая угрюмая физиономия и тут же утонет в потоке безусых, беззаботно буйных, весело орущих лиц. Впереди, как саранча, ребятишки — та городская детвора в прорванных щиблетиках, в шапках с ушами, в разномастных пальтишках и кофтах, которая во всякую минуту готова на все: атаковать кучу дров, пустые сани ломовика, любой воз с любой клажей, — крикливая, необычайно предприимчивая, озорная публика. Ей весело. Румяные и бледные мордочки, чистенькие, тонкие и грубые, уже с печатью «дна», — как воробы на току, отважно сыпались они впереди медленно и тесно идущей толпы и вносили в эту торжественную, ожидающую залпа, процессию что-то юмристическое своей неудержимой отвагой, готовностью кричать, лечь под трамвай или повиснуть на нем и прокатиться — все равно!..

С флагом — жидким, полинялым и маленьким — идет белобрый рабочий золотушного вида, с красными веками, с жидкой растительностью телесного цвета на подбородке. На утомленном интеллигентном лице у него — готовность обреченного тюрьме человека.

Сцепившись руками, широкой, изломанной шеренгой идут девицы в пуховых косынках. Закопченные ребята в пиджаках на вате и в шапках с ушами серьезны до мрачности. Но будто все лица знакомы — каждый день, в обеденный час, я видел их, скуластые, широкие и тонкие, умные и тупые, с добродушным и желчным взглядом. Но что-то новое делает теперь их непохожими на прежнее — в тесной, слитной, однотонной и задорной массе.

— Пойдемте! Чего стоите? — раздается зов из толпы к кучкам, стоящим у ворот.

Но жметя толпа обывателей — все мелкота, служащий, порознь работающий люд, порознь живущий, смиренный, трезво-практичный, бескрылый в желаниях своих и мыслях, —

швей, горничные, прачки, угловые обитатели, старики — дворники и еще какие-то мужики с бородами.

— Нынче не идете — завтра пойдете! Аль хлеба много набрали?

Курносая девица с круглым, молодым, облупленным лицом, в тесном саке, деревенски неуклюжая, с большими ногами, задорно говорит:

— У кого карманы толстые — будем выворачивать!

Но какое-то непобедимое благодушие все-таки жило в этой толпе, пугавшей мирного обывателя. Отставной адмирал, грузный, угрюмый, с седыми дугообразными усами, подошел к месту остановки вагонов, и молодежь, как зыбь половодья, окружила его. Удивленными, выпученными, стариковскими глазами адмирал оглядывался кругом, а толпа обходила его, текла дальше, не обращая на него внимания. Вдруг старик закрыл глаза рукой в перчатке и... чихнул — громко и коротко, как будто выстрелил.

— Будьте здоровы, ваше п-ство! — тотчас же приветствовал его высокий голос, в котором звенел смех.

— Бла-а-дарю! — мрачно буркнул адмирал.

— Будь здоров на сто годов! — тяжелою, но благодушно прибавил другой, погуще.

— Спасибо, братец...

— А что прожил — не в почет! — вплелся смеющийся девичий голос и фыркнул в толпе.

И Бог весть почему испуганно бросилась в сторону от толпы нарядная толстая дама в каракулевом пальто. Перебегая улицу, она рысила неловкой рысью в своих лакированных туфельках на высоких каблучках. Каблуки виляли, и вся она качалась, как на жердочке, толстая, смешная в ажурных, прозрачных своих чулочках, с трясущимися бедрами, и очень напоминала породистую беркширку, вставшую на задние ноги.

Черный, усатый человек в треухе и бурковых сапогах поглядел ей вслед и сказал своему соседу, мужику с желтой бородой, в огромных серо-желтых валенках, странных на фоне городской революции:

— Эка тесто-то всхожее!

Оба рассмеялись. Желтый безучастно высморкался и прибавил:

— Тельная барыня... корпусная... Да и вот тетка не отошла...

Толстая старуха с сложенными на животе руками сердито оглянулась на него.

— Без хлеба-то вот прогуляйся, — сказала она, ироничес-

ким взором провожая желтого мужика.— Погода теплая... Поигравай песенки...

Человек в бурковых сапогах сердито бросил ей в ответ:

— Заиграешь поневоле! Я вот одинокий человек. Зарабатываю — Бога нечего гневить — не плохо. А вот два дня не обедал: надо на работу идти, надо и в «хвосте» стоять. Все равно — издыхать: иду!..

— Да куда идешь-то?

— Иду? Гулять на Невский... За хлебом...

Белобрысая женщина с бойкими глазами, с веселыми морщинками на несвежем лице, говорит заветренной, отрепанной бабе в холщовом переднике:

— Вот все ругают солдаток: зачем б...т? А как тут? Солдату дашь — он хоть хлеба казенного кусок принесет...

— Верно! — похватывает весело парень ухарского вида. — И у тебя не купленное, и у него... Пойдем на Невский, там солдат много.

— Ну, на Невском и без нас «хвосты» перед солдатами... Туда идти — надо штукатурки на целковый купить, а где его возьмешь — целковый?..

И так шли они весело, празднично, посмеиваясь, перебрасываясь шутками, старательно выводя на верхих: «Вставай, подымайся, рабочий народ!»

В одном месте остановились перед воротами — у обойной фабрики. Ворота были заперты. Налегли. Подставили плечи. Какие-то проворные ребята мигом взобрались на высокий забор, перемахнули через него, отодвинули засов. Влилась часть толпы во двор фабрики, другая осталась ждать.

Приземистый, квадратный мужичонка в пиджаке по колени, убуленном известью, тяжело трюхая, подбежал ко мне и испуганно спросил:

— Как же я теперь пройду?

— Куда?

— Да во двор.

— В ворота и иди, — дельно указал мой сосед, лавочник с румяным лицом. — Отперты.

— Да у меня там лошадь!

— Ну иди скорей, а то и лошадь уведут...

Веселая готовность к приключениям особенно вспыхнула, когда показался вагон трамвая. Ребятишки с гиком устремились ему навстречу — вожатый затормозил. Выскочил вперед крепкий, приземистый малый в черном пиджаке, в картузе блином, поднял руку, закричал:

— Ребята! стой! стой! снимай ручку!

Вожатый дал задний ход. Весело закричала, заулюлюкала,



заготала толпа. Ребятишки пустились вдогонку, хватались за ручки, за подножки, повисали и с блаженными лицами прокатывались, сколько хотели.

Остановили и повернули назад мотор.

И, весело перекликаясь, толкаясь, мешаясь, пошли дальше, пели, выкрикивая: «Вставай, подымайся»...

Против участка, по 21-й линии, вышел из манежа взвод молодых солдат, перерезал поперек проспект, стал — «Ружья наперевес». Молодой офицер крикнул что-то. Толпа сразу колыхнулась, отхлынула в стороны. Словно листья, гонимые ветром, промчались назад ребятишки. Но красный флаг и кучка возле него остались около солдат.

— Товарищи! — кричал надорванный голос.

Солдаты держали ружья на изготовку. Молоденький офицер в полушубке, с револьвером у пояса, мрачно ходил позади перенги, изредка покрикивал на любопытных, напивших сбоку. Через несколько минут толпа освоилась с зрелищем солдатиков, окаменевших в заученной позе — «ружья наперевес», вытекла из-за углов, придвинулась и стала перед ними темным, беспокойным озером. Мелкой зыбью перебегали детские голоса, сливались, и вырастал пенистым валом разноголосый крик:

— Ура-а-а... а-а... а-а-а...

Городовые пробовали работать руками — «осаживать». Толстый пристав кричал на панели:

— Не давайте останавливаться!

— Проходите, кому надо! Проходи ты... куда лезешь?..

Но все гуще и шире становилось темное людское озеро. Вдруг крик испуганный:

— Казаки!

Вдали маячил взвод всадников в серых шапках набекрень. И опять как будто вихрь погнал кучу опавших листьев — затоптали тысячи ног, хлынули прочь, и вместо темного озера осталась скудная лужица. Казаки проехали шагом по улице, плавно покачиваясь в седлах, оглядываясь с любопытством дикарей. Чубы их торчали лихо с левой стороны, но лица были наивно-добродушные. И за то, что они были не страшны, ребятишки закричали им «ура».

— Ура-а... а-а-а... а-а-а... — покатались голоса по улице, и стало весело всем, и снова в темное озеро слились разбросанные людские брызги...

Я благополучно прошел по панели мимо городского и мимо солдат, державших ружья на руку. Решил попытаться пройти на Невский.

Из хлебной лавки, возле которой «хвоста» уже не было, вышел поджарый человек в пальто с барашковым воротником. Догнал меня и, показывая краюху хлеба, словно желая поделиться своей удачей, пожаловался:

— Вот добыл два фунта, а у меня дети... Ну, как тут жить? Бунтовать не могу — дети, жаль: пропадешь ни за грош. Я — рабочий человек. Вчера в девять утра поел, и вот до сего время ничего во рту не было, ни маковой росинки. А как работать не евши — вы подумайте!

Я ничего не мог сказать ему в утешение. Я и сам недоумевал, как мы живем в этом диковинном своеобразии наших отечественных условий, — и не верил в успех бунта...

На Невский удалось пройти беспрепятственно. Шел я, поглядывая на стекла магазинов — все цело, никаких признаков разрушения. Обычным порядком шла торговля. Более обычного были запружены народом панели — живописно и оригинально перемешалась нарядная публика и демократические ватные пиджаки и треухи. От нарядных женщин пахло дорогими духами. Около банков стояли вереницы блестящих автомобилей.

На улице Гоголя наехал на меня рысак.

— Брги-ись! — крикнул кучер, словно напилком по железу резнул. Испугал.

Две милovidные, слегка подкрашенные, очень красивые дамы сидели в санках. Чумазый парень в финской шапке с хохлом на темени, переходивший улицу позади меня, крикнул одной над самым ухом — резким голосом, очень похожим на голос кучера:

— Брги-и-сь!

Тоже испугал. Хорошенькое личико сердито оглянулось, строгим, изучающим взглядом посмотрело на озорника. И мне почему-то в эту минуту подумалось — неужели они могут встретиться когда-нибудь лицом к лицу на тесном пути жизни?..

Казанская площадь была похожа на шумную сельскую ярмарку. Море голов глухо плескалось, кружилось, жужжало, двигалось в тихой коловерти. Над ним уныло возвышались неподвижные вагоны трамвая. Стояли в нескольких пунктах серые солдатские ряды. Казаки, плавно покачиваясь в седлах, шагом продвигались сквозь толпу. Офицер с малино-

вым лицом и седыми усами иногда развертывал свою сотню:

— Смена налево ма-арш! Налево сомкнись — марш!

Качались тонкие пики, колыхались серые шапки набекрень. Черный людской омут раздавался, дробился, растекался по цветнику, всплескивался на гранит к Барклаю, прятался в колоннаде. И, когда сотня отъезжала, опять надвигался на панель, к вагонам, — сплошь заливал улицу.

— Сомкнись, ребята! — кричали голоса.

Порой вспыхивал вдруг бурный крик — приветственный ли или враждебный, не разобрать было:

— Ура-а... а-а-а... а-а-а...

И было весело по-молодому, по-праздничному, по-ярмарочному. Забавная была революция: не стреляют, не секут, не бьют, не давят лошадьми. Не верилось глазам. И даже пристав, изящный брюнет, не очень как будто всерьез просит:

— Семенюк! Нечего мух ловить, надо дело делать!

— Проходите, господа! — отсыревшим голосом басит Семенюк, растопыривая руки.

— Не задерживайтесь, я вас прошу! Русским языком вам говорят! — кричит за ним толстый околоточный, старик.

— А вы не толкайтесь!

— Я толкаюсь? Воображаете!..

— Опричники!.. Какие вы странные... ослы, ей-богу!..

— Воображение у вас... как у итальянца... позвольте заметить.

С некоторым риском подвергнуться воздействию «русского языка» пробираюсь я к колоннаде собора. Здесь просторно, удобно, безопасно, и отсюда прекрасно видна вся бурлящая, зыблющаяся народом площадь и кусочек Невского.

Где-то садится солнце — алые отсветы на окнах вверху, горит стеклянный глобус на доме Зингера, вечерние краски на небе. Чуть-чуть морозит, ясно небо, звонок воздух. Ниже меня малиновеют погоны стрелков, стоящих развернутым фронтом. Простые, добродушные лица с выражением веселого, беззаботного любопытства, и никакой трагически-грозной черты, никаких намеков на то, что они пошлют смерть в это темное, смутно плещущее море своего народа.

— Не угодно ли?

Человек в барашковой шапке вареником и в очень хороших сапогах бутылками, солидный, с брюшком, предлагает коробку с папиросами унтер-офицеру. Для знакомства.

— Нет, благодарю, — говорит унтер-офицер.

— Бери без стеснения!

— Нельзя. Чудак человек: у нас и свои папиросы есть, но... сейчас нельзя...

Мальчик в перепачканном холщовом переднике взбирается ко мне, на выступ плиты, — нам двоим и тесновато здесь, но жмемся: очень уж хорошо видна отсюда площадь и все ее диковинки. Из-под старенькой шапочки выбились на лоб льняные волосы. Личико худенькое, треугольное, нежное, все озаренное восторженным упоением. Огромные, тяжелые сапоги, и у пиджака на спине живописные прорехи.

— Вчерась в Гавани лавку хлебную растрепали, — радостно говорит он. — Конный городской влетел было, его как сгребли-и!..

Он сияет глазами и почти поет в радостном возбуждении.

— Он уж просит: «Да, ребя-я-та! Да я не бу-уду вас бить! Разве я сам есть не хочу?»

Многоголосый пестрый крик вспыхивает над улицей, рыхлой лавиной перекатывается по площади, падает, поднимается вновь, бурно веселый, подмывающий и невыразимо волнующий. Кричит и мой сосед «ура». И, оглядываясь на меня, восторженно уверяет:

— Казаки полицию всю перебили!..

Усталый, нагруженный впечатлениями, очень кружным путем вышел я на Неву, возвращаясь домой. За Островом еще румянела заря. Над стройными, прямыми улицами-линиями плавала бирюзовая пыль. Каменные громады домов, всегда угрюмые, холодные, серые, как будто умылись и повеселели, мягкие краски их казались теперь ласковыми и теплыми. Белая, снежная Нева с застывшими во льду судами и в зимней немоте своей была величественна и прекрасна. Черной гривой маячили пешеходы на Николаевском мосту и чуть горел еще вдали шниц Петропавловского собора.

Была странная, чуждая моей душе, но покоряющая, красота в этом великом, загадочном каменном городе, мудро замкнутом и сурово-холодном. Чувствовалась величественная симфония жизни — к ней прислушивалось, но не постигало, лишь угадывало — робкое сердце...

#### IV

Росла тревога, росла тоска: что же будет? все — по-старому?

Пришел в субботу профессор, запыхался от усталости, словно гнались за ним. Отдышался и сказал:

— Сейчас видел атаку казачков...

— Ну?!

— Шашки так и сверкнули на солнце.

Он сказал это деланно-спокойным тоном, притворялся невозмутимым. У меня все упало внутри.

— Ну, значит, надо бросить...

— Само собой...

— Раз войска на их стороне, психологический перелом еще не наступил. Да ты видел — рубили?

Он не сразу ответил. Всегда у него была эта возмутительная склонность — поважничать, потомить, помучить загадочным молчанием.

— Рубили или нет — не видел. А видел: офицер скомандовал, шашки сверкнули — на солнце ловко так это вышло, эффектно. Я нырнул в улицу Гоголя и — наутек! Благодарю покорно...

Помолчал. Затем прибавил в утешение еще:

— И бронированные автомобили там катались — тоже изящная штучка... Журчат...

— Иду смотреть!

— Я не думал, что они такие маленькие, — профессор решил, по-видимому, забронироваться в столь равнодушной деловитости и невозмутимости: — Для внутреннего употребления разве?.. Иди, иди, — иронически напутствовал он меня. — Все равно туда не пустят, а по шее получить можешь в любом месте...

И уже вдогонку, когда я был на лестнице, попытался дружески охладить мою стремительность:

— Через мост не пускают! Переходы заняты!..

Однако через мост я прошел: фигура у меня солидная, просесть значительная, на бунтовщика не похож.

За мостом ожидал увидеть картину разгрома, но никаких признаков боевой обстановки, смуты, даже простой тревоги не было заметно: озабоченно шли, спешили люди — простые и щегольски одетые, — с покупками, нотами, портфелями, половыми щетками и просто так, без всего. И обрывки разговоров, которые долетали до меня, чужды были злободневного интереса:

— А Петропавловский шпиг выгладит много выше Исакия...

— А взаимная любовь — знаете, какую она роль играет?

— Вы не верьте ему, барышня: арапа строит... Это — пушкарь, ему завтра на позицию...

Все — в заведенном искони порядке.

Лишь подходя к Александровскому саду, услышал я дикий крик:

— Ка-за-ки!..

И толпы ребят, в теплых пиджаках и пальто, широкими, проворными прыжками рассыпались по саду, падая в снег, приседая и прячась за деревья.

Казаки разомкнутой стеной проехали от Невского до Исакия, повернули назад, построились в колонну справа по три и завернули на Гороховую. Никого из проходивших по улице не тронули.

На Невском было так же, как и накануне, — убрали лишь вагоны трамвая. Шла торговля. Ходила обычная публика, проезжали извозчики и собственники, жужжали автомобили. Как будто меньше было молодежи рабочего облика. Но по обеим сторонам густой смолой текли деловые и праздные люди, нарядные дамы и бабы в полупубках, с котомками за спинами, офицеры, гимназисты, рассыльные и прочий люд, у которого остался один только способ передвижения — собственные ноги.

Раза два во всю ширину Невского, захватывая и панель, проезжали конные отряды — сперва сотня забайкальцев, потом жандармский эскадрон. Публика, видимо, привыкла к этому маневрированию: спокойно раздавалась в стороны, пропускала всадников и снова текла пестро-черным потоком по панелям.

Я дошел до Аничкова дворца — ничего необычайного. Вернулся. Прошел по Пассажу — обилие милых созданий, старичков около девочек-подростков. Значит, по-старому, никто не встревожен, не вспугнут...

Вечером по телефону товарищ по журналу сообщил, что на Невском была стрельба, казаки убили пристава.

— От кого вы это слышали?

— Очевидцы рассказывают.

— Не верю очевидцам: сам ходил — ничего не видал.

— На Знаменской, говорят...

— До Знаменской, правда, не дошел, но очевидцам не верю: много уж очень их стало...

Уныло молчим оба. Ясно одно, что дело проиграно, движение подавляется и люди тешат себя легендами.

— Раз стреляли, значит — кончено, — говорю я безнадежно, — надо разойтись. А вот когда стрелять не будут, тогда скажем: «Ныне отпущаеши раба твоего...»

В конце концов — нервы издерганы, измотаны, сна нет, и не на чем отдохнуть душой...

В понедельник 27-го пошел в редакцию с утра — путь не близкий.

На Невском — обычная деловая суета. Час сравнительно ранний, народу немного, народ — не праздный, озабоченный, серьезный. Все спешат по своим делам. Но, несмотря на деловую озабоченность, местами словно цепляются за какие-то невидимые сучки, собираются группы, молча внимательно рассматривают что-то, молча отходят. Цепляюсь и я. Ищу глазами: что привлекает внимание прохожих? А, вот тоненькие дырки в фонарном столбе, кусок вырванного чугуна, а вот пробуравленные зеркальные стекла. Любопытный господин с подвязанной щекой пальцем вымеряет щербину на фонарном столбе и одобрительно говорит:

— Чугун... Было дело под Полтавой, баба треснула октавой...

Останавливаюсь еще около чугунных львов у Сан-Галли — они тоже изранены.

— Вчера вот за этим львом два спрятались — обоих сразу положили, — а я вон там лежал, — говорит мальчик с корзинкой на голове.

В морозный туман уходили дали Невского проспекта. Без вагонов он казался шире, просторнее и величественнее. Ряд столбов по линии трамвая тонул в мягкой серой дымке. Грузные, тесно прижавшиеся друг к другу, дома выровнялись в две стройные шеренги и глядели темными стеклянными очами на проснувшуюся суету людскую. Сквозь шорох движения вырастает из утренней мглы ритмический хруст, широкий и звонкий: идет рота. Стройно, щеголевато, четко. Не так, как там, у позиций, где ходят свободней, проще, мужицким шагом, не очень заботясь о такте, отбиваясь в сторону, отставая, мирно беседуя. Тут — стройные ряды, новенькие шинели, хорошие, крепкие сапоги. Шаг — легкий, молодой, учебный. Лица — юные, свежие.

Сзади на шерпавах, низеньких лошадках — вьюки с небольшими ящичками: патроны.

Прохожие останавливаются, провскают роту глазами, смотрят на вьюки, спокойно выясняют их назначение, спокойно любят смертоносным гостинцем. Рота делает привал у дворца.

На мосту снова слышу ритмический хруст — позади другая рота. Опять молодые лица, четкая команда, игрушечные лошадки и ящички с патронами. Останавливаются у Палкина, фронтом к Литейному.

— Значит, ждут и нынче? — полувопросом обращается ко мне пузатый, коротенький господин в котиковой шапке и седых калошах.

— Как видите...

— Пора бы бросить это развлечение: все дела стали...

Я поворачиваю на Литейный.

Натыкаюсь на кучку бородатых воинов в страшных лохматых папах. Они столпились перед окнами магазина с чучелами птиц и зверков, по-детски захлебываются, изумляются, ахают.

— Гляди, тупканчик какой!..

— Во, паря, жаворонка... еж твою семнадцать рукавиц, как живехенька!.. И яички...

Солнце ласково освежает их заветренные, заросшие, зверообразные лица. Пахнет от них лежалой дегтярной кожей, сырой казармой, а в глазах, ушедших в мягкие морщинки, детское, деревенское, лесное и степное...

Против Бассейной вижу первую большую толпу. Глядят на какую-то диковину, а ничего, кроме солдат, живую цепью перерезавших улицу, не видать. Хочется спросить, в чем дело, да неловко. Хорошо одетый, высокий господин в бобровой шапке на забинтованной голове перебежал с противоположной стороны на нашу и сказал взволнованным голосом:

— Четыре полка взбунтовалось!..

— Где? — Мне хотелось обругать его за неосновательный слух.

— А вон — видите: солдаты... Пошли на Баскову артиллеристов снимать...

Раздался выстрел. Наша толпа шарахнулась. Офицер неподалеку от меня сказал:

— Нет, они в народ не станут стрелять.

Молодой врач, стоявший рядом с ним, прибавил:

— Без офицеров ничего не сделают.

Снова раздалась выстрелы, и опять дрогнула толпа.

— Это вверх, — сказал кто-то, успокаивая испуганных женщин.

Забилось радостно сердце, дыхание перехватило: неужели? Неужели — начало великого, долгожданного, лишь в мечтах рисовавшегося в безвестной дали? Ведь мечталось так скромно: дожить бы и хоть одним глазом взглянуть на новую, освобожденную родину? И вот — пришло...

Тревога и радость, сомнение и благоговейный восторг, страх перед тем темным, неведомым, куда шагнут сейчас они, эти серые люди с наивными глазами, которых я только что



наблюдал детски ахающими перед чучелом жаворонка...

Неужели начало?..

И было жаль до трепета, что нет вождей с ними... Куда пойдут? Куда дойдут? Не рассеет ли их сейчас свинцовый град, заготовленный в достаточном количестве, — тот, что видел я в изящных ящичках на игрушечных лошадках?

Я почти бегом побежал в редакцию — хотелось поскорей поделиться с товарищами ошеломляющей новостью. Что час еще ранний и никого из них может не быть в редакции — мне не приходило в голову. Пело сердце и билось в тревоге: очень, еще боязно было верить в удачу...

Когда я перебежал на другую сторону, вдруг сзади со стороны Невского затрещали выстрелы. Был ли это салют или обстрел восставших — не знаю. Но все, что шло впереди меня и по обеим сторонам, вдруг метнулось в тревоге, побежало, ринулось к воротам и подъездам, которые были заперты, и просто повалилось наземь.

Побежал и я.

Неужели сейчас все кончится? Упаду? Пронизет пуля и — все... Господи! неужели даже одним глазом не суждено мне увидеть свободной, прекрасной родины?

Я бежал. Понимал, что это глупо — бежать, надо лечь, как вот этот изящный господин в новом пальто с котиковым воротником-шалью, распластавшийся ничком и спрятавший голову на тумбу. Но было чего-то стыдно... Очень уж это смешно — лежать среди улицы... И я бежал, высматривал, куда бы шмыгнуть, прижаться, притулиться хоть за маленький выступ. Но все ниши и неровности в стенах были залеплены народом, как глиной...

И вдруг, среди этой пугающей трескотни, в дожде лопающихся звуков — донеслись звуки музыки... Со Спасской вышла голова воинской колонны и завернула направо, вдоль Литейного. Оттуда, ей навстречу, прокатился залп. Но музыка продолжала греметь гордо, смело, призывно, и серые ряды стройной цепью все выходили, выходили и развертывались по проспекту, вдоль рельсовой линии. Это был Воынский полк.

Я прижался к стене, у дома Мурузи. Какой-то генерал, небольшой, с сухим, тонким лицом, с седыми усами, — не отставной, — тяжело дыша, подбежал к тому же укрытию, которое выбрал я, споткнулся и расшиб коленку. От него я и узнал, что вышли воынцы.

Гремели выстрелы, весенним, звенящим, бурным потоком гремела музыка, и мерный, тяжелый шум солдатских шагов вливался в нее широким, глухим ритмическим тактом. Не

знаю, какой это был марш, но мне и сейчас кажется, что никогда я не слышал музыки прекраснее этой, звучащей восторженным и гордым зовом, никогда даже во сне не снилось мне такой диковинной, величественной, чарующей симфонии: выстрелы и широко разливающиеся, как далекий крик лебедя на заре, мягкие звуки серебряных труб, низкий гул барабана, стройные серые ряды, молчащие, торжественно замкнутые, осененные крылом близкой смерти...

Прошел страх. Осталась молитва, одна горячая молитва с наворачившимися слезами — о них, серых, обреченных, прежде простых и понятных, теперь загадочных, сосредоточенно и гордо безмолвных, но и безмолвием своим кричащих нам, робким и мелким, и всему свету:

— Ave, patria! morituri te salutant!..

Удаляясь, звучала музыка так бодро, радостно и гордо. Лопались выстрелы, гулкие среди каменных громад. И все шли, шли и шли серые взводы.

И когда я немножко освоился с положением, а ухо привыкло к выстрелам, я заговорил с генералом:

— Вот, ваше п-ство...

Мне и сейчас стыдно за ту злорадную нотку, которая невольно как-то вырвалась у меня. Не знаю, уловил ли ее генерал, но я сам почувствовал ее неприличие.

Генерал повел головой:

— Д-да... эти там мерзавцы — Протопоповы и прочие — довели-таки...

У него было благородное стариковское лицо, сухое, красивое, с орлиным носом и немножко выпученными глазами. Мне стало жаль его. Руки у него дрожали, когда он вынимал папиросу из портсигара, — вынул, но так и не закурил. Я знал, что у многих из них, принадлежащих к командному классу, душа была напоена оцетом и желчью — не меньше, чем у любого из нас: Россия и для них — отечество, не звук пустой. Но не было у них крыл того мужества, которое у нас именовалось гражданским, а в их кодексе общественной морали трактовалось как анархическое бунтарство. И был страх перед тем неведомым порядком, который рисовали «товарищи». И не пустым тоже звуком была верность присяге и воинскому долгу. Казалось бы, им легче всего было отсечь пораженный гангреной член от распатанного организма родной земли. Но... бескрылы и связаны были они и друг друга боялись...

Реже, но все еще гремели выстрелы. Серая колонна слилась вдаль с пестрым морем человеческих голов. С Спаской все еще выходили солдаты, но это были уже расстроены-

ные, беспорядочные кучки, по большей части безоружные. Кажется, это были литовцы. Высокий, красивый унтер-офицер с Георгиевским крестом кричал, прибавляя крепкие выражения:

— Подтянись! Подтянись! Чего отстаете!

Но видно было, что нерешителен и замедлен шаг солдат...

Я перебежал за угол дома, завернул на Спасскую и вмешался в этот серый, смутный поток солдатских шинелей. Он двигался навстречу мне и вблизи казался будничным, ленивым, лишенным воодушевления. «Пропадут», — невольно подумалось мне, и сжалось болью отчаяния сердце.

При повороте на Баскову осыпали меня гулкие раскаты выстрелов. У стены лежал раненый солдат. Детские, страдающие глаза его глядели удивленно и беспомощно. Мне нечем было помочь ему, некуда унести — подъезды заперты. С минуту я задержался над ним, бесполезно оглядываясь кругом, оглушаемый выстрелами: стреляли литовцы в окна казарм, чтобы выгнать своих товарищей, которые не хотели примкнуть к ним и забаррикадировались в верхнем этаже.

Подъезд редакции был тоже заперт. Не могу сказать, чтобы я чувствовал удовольствие, стоя перед замкнутой дверью, в узкой улице, засыпанной гулкими взрывами пальбы, звоном стекол, многоголосыми дикими криками. Но... постоял. И привыкло ухо, как будто освоились нервы, заговорила логика здравого соображения: никто не падает — значит, *оттуда* не отстреливаются и для меня нет опасности.

Солдатская масса все-таки держалась за углом и за стеной — вне возможного обстрела. По временам вспыхивало «ура», толпа сбегалась, окружала кого-то. Но вперед не шла. Чувствовалось отсутствие плана и руководства, непристадность и растерянность...

Кто-то увидел меня изнутри подъезда, пожалел, отпер. Признаюсь, я вздохнул с облегчением: все-таки прикрытие, не так голо и жутко.

Товарищей в редакции не было — как после выяснилось, через мосты в Литейную часть доступ был закрыт. Но была налицо почти вся контора — неустрашимое наше женское воинство. Оно разместилось себе на окнах, невзирая на опасность позиции, и отсюда производило свои наблюдения.

— Смотрите, смотрите: какой-то толстенный пришел...

— Где?

— Да вон, в синей шапке...

— Студент, должно быть? Курьезный какой... Нет, без офицеров ничего не сделают. Как овцы...

— Толстый говорит... махает пашкой...

— Где? где?..

Солдатская толпа, в самом деле, глядела беспомощно и несоюзно. Коротенький, круглый молодой человек в студенческой фуражке, в модном пальто с седым воротником, в штанах колоколом, что-то пробовал говорить. В руках у него была обнаженная шапка без ножен. Он без нужды много размахивал ею. Но, видимо, ни фигура его, ни слова, ни воинственные приемы не производили должного впечатления. Тогда стояла как толпа, а не как боевая часть. По временам кричала «ура», когда на каменном заборе вырастала фигура солдата из тех, что засели в казарме, и прыгала на улицу. Фигуры эти выныривали и переваливались наружу не обрывающейся, медленной живой цепью.

В конце улицы показались ряды новой части, идущие стройно, в ногу, с офицерами. Литовцы сразу схлынули с Басковой на Артиллерийскую улицу, отошли и стали в отдалении, ожидая, что будет. Подошедшая рота — это были стрелки — заняла выходы из казармы, один взвод стал фронтом к отступившим литовцам.

— Неужели начнут расстреливать? — ахнуло мое женское воинство.

Но Паша, наша прислуга, тотчас же успокоительно сказала:

— Нет, не будут! Посмотрите: вон они делают им знаки, платочками машут...

Я выглянул. Бородатый подпрапорщик-фельдфебель зажигал спичку для офицера, стоявшего перед ним с папиросой. Стрелки из фронта кивали головами и руками делали знаки тем, что стояли перед ними вдаль: «Не робей, мол, ребята, целы будете»...

## VI

...Оттоль сорвался раз обвал,  
И с тяжким грохотом упал,  
И всю тесницу между скал  
Загородил...

*А. Пушкин*

Он покатился с тяжким, все возрастающим грохотом, этот обвал, и рыхлой лавиной завалил расстроненную жизнь. За два-три дня обывательская душа извела, пережила темную бездну страхов и надежд, радостей и сомнений, бурного восторга и тошных разочарований. На пенистых гребнях освободительного потока увидела она рядом с героическим и самоотверженным обидный человеческий му-

сор, в кликах ликования и радости режуще прозвучал оголтелый, озорной гам, свобода забрызгана была напрасной кровью и ненужным, озорным разрушением общественного достоинства...

Обывательская душа не могла в один момент перевоплотиться в душу гражданскую. Она попросту острее прежнего почувствовала страх за родину и боль незащитности...

...Ночью перекатывался частой зыбью грохот ружейной стрельбы и мелкозубчатая трель пулеметов. В чутком, морозном воздухе эти звуки рассыпались мягко, как теплый дождь весенний. А тревога мучила сердце: кто? кого? на чьей стороне будет перевес? И висела над душой темная тоска томительного ожидания...

Не было сна. Усталая голова клонилась на руки, мелкая дрожь, как морозная пыль, занималась внутри, ходила по телу. Закроешь глаза — реальный мир уходит, но приходит другой, виденный за стенами, живой и трепещущий, встают лица солдат, фигуры прохожих, и над самым ухом чередой проходят все недавние звуки, стук, грохот...

Утром, едва забрезжил рассвет, я вышел на набережную. Она была перерезана баррикадой из дров — против казарм Финляндского полка. Финляндцы еще не перешли на сторону восстания, но уже бродили в томительном ожидании, прислушивались, перебрасывались вопросами.

— Учебные, черт их возьми, уперлись, нейдут...

— Третья рота вышла...

Затрещала стрельба на осьмнадцатой линии. Минуты через три стихла. Полк с музыкой выступил из казарм и пошел на Большой проспект. Там он смешался с другими солдатами и толпами народа — и никто не знал, куда идти, что делать дальше? Бродили целый день. К ночи мороз загнал восставших в свой угол — в казармы.

В этот день стало труднее ходить по улицам. То и дело раздавались выстрелы — бесцельные, ненужные, озорные, — пугали и нервировали. И были раненые пальными пулями из публики, по-прежнему стоявшей в «хвостах», появились шайки подростков, «вооруженных до зубов», с револьверами, винтовками и солдатскими пашками, Бог весть где добытыми. Вид у этих бойцов революции был комически-грозный, но они были не безвредны. Один такой целых полчаса терроризировал участок набережной от осьмнадцатой до девятнадцатой линии. Это был маленький, щуплый, зеленый юноша с петушиным клювом, в лохматой черной папахе, с шашкой «паголо» — он беспрестанно брал «на караул» перед всеми проходившими мимо него солдатами —

и с револьвером в другой руке. Всем прохожим обывательского типа он преграждал дорогу и приказывал сворачивать на Большой проспект — «присоединиться».

— Да там и без меня народу — руки не пробьешь, — убеждал обыватель.

— Без рассуждений! Стрелять буду!

— Стрелять? Молод, брат... За стрельбу тоже не похвалят...

Юноша стрелял из револьвера — правда, в воздух, — но вместе с комическим настроением эта энергия, ищущая приложения, и раздражала серьезную часть публики. Два дюжих финляндских солдата подошли к нему, попросили револьвер — «посмотреть» — и спрятали. Обезоруженный воин в страшной папаче после этого незаметно растаял.

И вообще было слишком много натиска — уже тогда, когда для всех была очевидна его ненужность, его излишество. Не раз в эти дни я вспоминал кулачные бои далекого своего отрочества. Была там всегда особая категория героев — около подлинных бойцов, решавших исход боя, солидных, немножко тяжеловесных, скромных. Коротконогими дворняжками около них бегала эта мелкота, трусливая мразь, при поражении непостижимо быстро разбегавшаяся, исчезающая, как дым, — а при успехе несшаяся впереди всех, всех затмевавшая наглостью буйного торжества над сбитым противником. Она била лежачих, топтала, пинала, гоготала, издевалась... Галдела, бесстыдно хвасталась, себе присваивала заслугу успеха...

Не раз вспомнил я эту человеческую породу в дни обвала: чувствовалось несомненное присутствие этой мелкоты и в этом шумном бою, в рядах, делавших революцию. И с каждым часом росло ее количество и достигало порой размеров нестерпимых... Она расстреливала патроны в воздух, громила винные погреба, барские особняки, самочинно производила обыски, поджигала, разрушала то, что надо было беречь и падать...

Распыленная, стиснутая обычным страхом, обывательская толпа ничего не могла противопоставить этой мелкоте...

Ах, как было много вопиюще ненужного, обидного, бесцельного, душу переворачивающего торжествующим хамством...

Какие-то молодые люди разъезжали на офицерских лошадях. Всадники сидели в седле, «как собака на заборе», — видно было, что не езживали никогда раньше, а теперь добрались и рады покататься всласть, — вид у всех победоносно-гордый, воинственный, великолепный. Но лошади... По

измученному, голодному, грустному выражению их глаз чувствовалось, что они понимают все: что не хозяин, заботливый, жалеющий и строгий, сидит в седле, не настоящий дельный воин, каждый едва заметный намек которого понятен и точно целесообразен, — а так — озорник...

Было жаль даже автомобилей, на которых без нужды много и слишком весело катались по городу солдаты и рабочие с красными флажками и винтовками. Битком набивались внутрь, лежали на крыльях, стояли на подножках. Сколько изгадили, испортили и бросили среди улиц машин в эти дни... А сражаться уже не с кем было: остатки полицейских повывлезли с чердаков и сдались. Войска неудержимой лавиной перекатывались на сторону восстания, и покушение вернуть военной силой власть в старые руки было похоже на попытку сплести кнут из песка. Все рассыпалось... С грохотом катился обвал — глубже и шире...

Стало совершившимся фактом отречение. Неделей раньше с радостью, со вздохом облегчения была бы принята весть о министерстве доверия. Теперь пришла неожиданная победа, о которой и не мечталось, и в первый момент трудно было с уверенностью сказать самому себе: явь это или сон?..

Но почему же нет радости? И все растет в душе тревога, и боль, и недоумение? Тревога за судьбу родины, за ее целость, за юный, нежный, едва проклюнувшийся росток неожиданной свободы... Куда ни пойдешь — тоска, недоумение и этот страх... Даже у людей, которые боролись за эту свободу, терпели, были гонимы, сидели в тюрьмах и ждали страстно, безнадежно заветного часа ее торжества...

— Нет радости...

— Нас все обыскивают! При старом режиме это было реже...

— В соседней квартире все серебро унесли... Какие-то с повязками...

— Надо же равнять...

— Вот опять собираются, сейчас начнут обстреливать. К нашему несчастью, в этом доме жил помощник пристава. Его уже арестовали. Но почему-то предполагают, что на чердаках прячутся городовые. Ну, обыщи чердаки, если так? Нет. Подойдут и стреляют. А ведь вот детишки... Что переживаешь с ними...

— Звонок. Неужели опять с обыском?

Да, обыск. Два низкорослых, безусых солдатика с винтовками, с розами на папах. В зубах — папиросы.

— Позвольте осмотреть!

— Смотрите.

Один пошел по комнатам, другой остался в прихожей.

— Что нового? — спросил я.

— Вообще, военные все переходят на сторону народа. Ну только в Думе хотят Родзянку поставить, то мы этого не желаем: это опять по-старому пойдет...

Я не утерпел, заговорил по-стариковски, строго и настойчиво:

— Вам надо больше о фронте думать, а не о Родзянке. Покорей к своему делу надо возвращаться.

Он не обиделся. Докурил папиросу, заплевал, окурок бросил на пол.

— Да на позицию мы не прочь. Я даже и был назначен на румынский фронт, а сейчас нашу маршеву роту остановили. Вот и штаны дали легкие, — он отвернул полу шинели.

— Ну вот — самое лучшее. Слушайте офицеров, блюдите порядок, дисциплину, вежливы будьте...

— Да ведь откозырять нам не тяжело, только вольные не велят нам...

Не было радости и вне стен, на улице.

Человеческая пыль пылью и осталась. Она высыпала наружу, скучливо, бесцельно, бездельно слонялась, собиралась в кучки около спорящих, с пугливым недоумением смотрела, как жгли полицейские участки, чего-то ждала и не знала, куда приткнуться, кого слушать, к кому бежать за ограждением и защитой.

Растрепанный, измученный хозяин торговли сырами плакал:

— Господа граждане! Да что же это такое! Так нельзя! Граждане-то вы хоть граждане, а порядок надо соблюдать!

Очевидно, новый чин, пожалованный обывателю, тяжким седлом седлал шею брошенного на произвол свободы торговца...

Удручало оголенное озорство, культ мальчишеского своевольства и безответственности, самочинная диктатура анонимов. Новый строй — свободный — с первых же минут своего бытия ознакомился с практикой произвола, порой ненужного, и жесткого, и горько обидного...

Но страшнее всего было стихийное безделье, культ праздности и дармоедства, забвение долга перед родиной, над головой которой занесен страшный удар врага...

И рядом — удвоенные, удесятеренные претензии...

Не чувствовала веселья моя обывательская душа. Одни терзания. Но к ним тянуло неотразимо, не было сил усидеть дома, заткнуть уши, закрыть глаза, не слышать, не видеть...

Усталый, изломанный, разбитый, скитался я по улицам,



затопленным праздными толпами. Прислушивался к спорам, разговорам. По большей части, это было пустое, импровизированное сотрясение воздуха — не очень всерьез, но оно волновало и раздражало.

— Ефлетор? Ефлетор — он лучше генерала сделает! Пуцай генерал на мое место станет, а я — на его, посмотрим, кто лучше сделает. Скомандовать-то это всяк сумеет: вперед, мол, ребята, наступайте. А вот ты сделай!..

— У нас нынче лестницу барыня в шляпке мела...

— И самое лучшее! Пуцай!..

— Попили они из нас крови... довольно уж... Пуцай теперь солдатские жены щиколату поедят...

Я знаю: все в свое время войдет в берега, придет порядок, при котором будет возможно меньше обиженных, исчезнут безответственные анонимы, выявив до конца подлинное свое естество. Знаю... Но болит душа, болит, трепетом объятая за родину, в стружьях и язвах лежащую, задыхающуюся от величайшего напряжения...

В день, когда по всему городу пошли и поехали с красными флагами, я шел, после обычных скитаний, домой, усталый и придавленный горькими впечатлениями. Звонили к вечерне. Потянуло в церковь, в тихий сумрак, к робким, ласковым огонькам. Вошел, стал в уголку. Прислушался к монотонному чтению — не разобрать слов, но все равно — молитва. Одними звуками она всколыхнула переполненную чашу моей скорби и вылила ее в слезах, внезапно хлынувших. Поврежденный в вере человек, я без слов молился Ему, Неведомому Промыслителю, указывал на стружья и язвы родной земли... на страшные стружья и язвы...



## КРАЙ РОДНОЙ

*Миниатюры*

(Отрывок)

Родимый край... Как ласка матери, как нежный зов ее над колыбелью, теплом и радостью трепещет в сердце волшебный звук знакомых слов... Чуть тает тихий свет зари, звенит сверчок под лавкой в уголку, из серебра узор чеканит в окошко месяц молодой... Укропом пахнет с огорода... Родимый край...

Кресты родных моих могил, и под левадой дым кизячный, и пятна белых куреней в зеленой раме роц вербовых, гумно с буреющей соломой и журавец, застывший в думе, — волнуют сердце мое сильнее всех дивных стран за дальними морями, где красота природы и искусство создали мир очарованья...

Тебя люблю, родимый край... И тихих вод твоих осоку, и серебро песочных кос, плач чибиса в куге зеленой, песнь хороводов на горе, и в праздник шум станичного майдана, и старый, милый Дон — не променяю ни на что... Родимый край...

Напев протяжный песен старины, тоска и удаль, красота разгула и грусть безбрежная — щемят мне сердце сладкой болью печали, невыразимо близкой и родной... Молчанье мудрое седых курганов, и в небе клекот сизого орла, в жемчужном мареве виденья зипунных рыцарей былых, поливших кровью молодецкой, усеявших казацкими костями простор зеленый и родной... — Не ты ли это, родимый край? <...>







## РЕЧЬ НА ЗАСЕДАНИИ ПЕРВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Господа народные представители. Тысячи казачьих семей и десятки тысяч детей казачьих ждут от Государственной Думы решения вопроса об их отцах и кормильцах, не считаясь с тем, что компетенция нашего юного парламента в военных вопросах поставлена в самые тесные рамки. Уже два года как казаки второй и третьей очереди оторваны от родного угла, от родных семей и, под видом исполнения воинского долга, несут ярмо такой службы, которая покрыла позором все казачество. История не раз являла нам глубоко трагические зрелища. Не раз полуголодные, темные, беспросветные толпы, предводимые толпой фарисеев и первосвященников, кричали: «Распни Его!»... — и верили, что делают дело истинно патриотическое; не раз толпы народа, несчастного, задавленного нищетою, любовались яркими кострами, на которых пылали мученики за его блага, и, в святой простоте, подкладывали вязанки дров под эти костры или, предводимые правительственными агентами, на наших глазах обливали керосином и поджигали общественные здания, в которых находились люди, неугодные правительству. Скорбь и ужас охватывают сердце при виде таких трагических зрелищ, невольно вспоминается грозный символ Евангелия: «Жернов на шею совратителя этой темноты». Но еще более трагическое зрелище, на мой взгляд, представляется, когда те люди, которые, хорошо сознавая, что дело, вмененное им в обязанность, если страшное, позорное дело, все-таки должны делать его, должны потому, что существует целый кодекс, вменяющий им в святую обязанность повиновение без рассуждения. Прежде всего подчинение, слепое подчинение, которое признается исполнением служебного долга, верностью данной присяге. В таком положении находятся люди военной профессии, в таком положении находятся и казаки. Главные основы того строя, на которых покоится власть нынешнего командующего класса над массами, заключаются в этой системе безусловного повиновения, безусловного подчинения, безусловного нерассуждения, нерассуждения, освященного к

тому же религиозными актами. Молодые люди, оторванные от родных мест, от родных семей, прежде всего обязываются присягой, религиозной клятвой, главное содержание которой, по-видимому, заключается в том, чтобы защищать отечество до последней капли крови и служить Государю, как выразителю идеи высшей справедливости и могущества этого отечества. Но затем идет особый гипнотический процесс, который подменяет это содержание другим — слепым, механически-рефлекторным подчинением приставленным начальникам. Особая казарменная атмосфера с ее беспощадной муштровкой, убивающей живую душу, с ее жестокими наказаниями, с ее изолированностью, с ее обычным развращением, замаскированным подкупом, водкой и особыми песнями, залихватски-хвастливыми или циничными, — все это приспособлено к тому, чтобы постепенно, пожалуй, незаметно, людей простых, открытых, людей труда обратить в живые машины, часто бессмысленно жестокие, искусственно озверенные машины. И, в силу своей бессознательности, эти живые машины, как показал недавно опыт, представляют не вполне надежную защиту против серьезного внешнего врага, но страшное орудие порабощения и угнетения народа в руках нынешней командующей кучки. Теперь представьте себе, что этот гипнотический процесс обращения человека в машину, в бессознательное орудие порабощения или истребления совершается не в тот сравнительно короткий срок, который требуется на пребывание в казармах, на отбытие воинской повинности, но десятки лет или даже всю жизнь! Какой может получиться результат? Результат такой, какой мы видим в лице современного казачества: казак, и находясь в казармах, и находясь дома, должен прежде всего помнить, что он не человек, в общепринятом высоком смысле слова, а нижний чин, только нижний чин, так называемая «святая серая скотина». С семнадцати лет он попадает в этот разряд, начиная отбывать повинность при станичном правлении, и уже первый его начальник — десятник из служилых казаков, — посылая его за водкой, напоминает ему о царской службе и о его, нижнего чина, обязанностях — в данном случае, исполнить поручение быстро и аккуратно. 19 лет казак присягает и уже становится форменным нижним чином, поступая в так называемый приготовительный разряд, где его муштруют особые инструктора из гг. офицеров и урядников. Воздух вокруг него насыщается пряными словами начальственного происхождения: его приучают смотреть бодро, «есть глазами начальника», приучают иметь вид бравый и воинственный, его «поправляют» руками, так что он здесь впервые

практически ознакомляется с принципом прикосновенности личности. Затем следует служба: в первоочередных полках — четыре года, во второочередных полках четыре года, в третьеочередных полках — четыре года, и наконец — состояние в запасе, всего приблизительно около четверти столетия. Даже в домашней жизни, в мирной обстановке, казак не должен забывать, что он прежде всего нижний чин, подлежащий воздействию военного начальства, и всякий начальник может распечь его за цивильный костюм, за чирики, за шаровары без лампас. Казак не имеет права войти в общественное помещение, где хотя бы случайно был офицер; старик казак не может сесть в присутствии офицера, хотя бы очень юного; казак не имеет права продать свою лошадь, не спросив начальства, хотя бы эта лошадь пришла в совершенную негодность; но зато казак имеет право быть посаженным на несколько дней в кутузку за невычищенные сапоги или запыленное седло. Здесь не раз упоминалось о гнете земских начальников. Что такое земский начальник по сравнению с нашим военным администратором, с военным администратором, для которого закон не писан ни в буквальном, ни в переносном смысле, с военным администратором, при посещении которого воздух станицы насыщается трехэтажными словами, обращенными как к казаку, еще не отбывшему своих военных обязанностей, так и к старику, его отцу. Я как сейчас вижу перед собой эти знакомые фигуры, вижу и молодого казака в чекмене, в шароварах с лампасами, в неуклюжих сапогах, голенища которых похожи на широкие лопухи, и старика, его отца, униженно упрощающего «его высокоблагородие» принять представленную на смотр лошадку. А «его высокоблагородие», сытый, полупьяный, подчищенный офицер, не принимает лошади, находя ее или недостаточно подкормленной, или обнаруживая в ней скрытые пороки, известные только ему одному. А нижнему чину-казaku и старому отцу его предстоят новые затраты, истощающие хозяйство, новые заботы о сокрушении об исправности снаряжения. Ведь казак на алтарь отечества несет не только свою силу, свою молодость и жизнь, он должен предстать на сей алтарь во всеоружии нижнего чина, в полном обмундировании, на свой счет сделанном, с значительной частью вооружения и даже с частью продовольственного запаса. И он берет у своей семьи, у своих детей на снаряжение сотни рублей, и сколько крепких казачьих хозяйств, в которых не было недостатка в сильных молодых работниках, разорялись на долгие годы, именно в силу того, что эти молодые, сильные работники должны были унести на царскую службу почти все сбе-

режения, скопленные целым рядом поколений. И, разоряя казака, начальство постоянно внушает ему, что это делается во имя его долга перед отечеством, во имя военного звания, во имя его присяги; внушает, дабы в забитой и темной голове казака ничего, кроме благоговения к своим разорителям, не было, дабы ни тени сомнения, тем паче ропота, в законности этого не возникало. Никакая казарма, никакая солдатская муштровка не может идти в сравнение с этим своеобразным воспитательным режимом, сковавшим все существование казака. Чтобы сохранить человеческий облик в этих условиях, нужна масса усилий. Эта беспощадная муштровка тяготеет над каждым казаком около четверти столетия, тяготела над его отцом и дедом — начало ее идет с николаевских времен. Она постоянно истощает хозяйство его, а главным образом — опустошает душу. Ею окрашено существование казака в молодые годы и в старости, потому что едва успеет казак отбыть свою службу, как подходит служебный возраст брата, а там детей, внуков. И все это сопровождается значительными затратами, разоряющими хозяйство, унижительными понуканиями, напоминаниями начальства. Такие понукания проникают решительно все циркуляры, или — на военном языке — приказы по военному ведомству, приказы, в которых разные титулованные и нетитулованные казнокрады напоминали казакам об их долге, забывая о своем собственном. Вне этих приказов казак немислим. Всякое пребывание вне станицы, вне атмосферы этой начальственной опеки, всякая частная служба, посторонние заработки для него закрыты, потому что он имеет право лишь кратковременной отлучки из станицы, потому что он постоянно должен быть в готовности разить врага. Ему закрыт также доступ к образованию, ибо невежество было признано лучшим средством сохранить воинский казачий дух. Как было уже сказано, в 80-х годах несколько гимназий на Дону — все гимназии, кроме одной, — были заменены низшими военно-ремесленными школами, из которых выпускают нестроевых младшего разряда. Даже ремесло, и то допускалось особое — военное: седельное, слесарно-ружейное, портняжное, и то в пределах изготовления военных шинелей и чекменей, но отнюдь не штатского платья. Кроме того, нужно прибавить, что не только вся администрация состоит из офицеров, но в большинстве случаев интеллигентный или, лучше сказать, культурный слой приходится тоже на долю казачьих офицеров. Казачьи офицеры... они, может быть, не хуже и не лучше офицеров остальной русской армии; они прошли те же юнкерские школы с их культом безграмотности, невежества, безделия



и разврата, с особым военно-воспитательным режимом, исключаящим всякую мысль о гражданском правосознании. Когда-то в старину казачьи офицеры, правда, стояли довольно близко к подчиненной им в строю массе. Узы единой родины, одинаковые условия труда, почти одинаковое образование — все это сближало их тесно с казаками. Но современный военный режим все это уничтожил и интересы офицера резко отделил от интересов казака, даже противопоставил их, и недоверие к офицеру теперь резко сквозит во всех общественных отношениях казака. Освободительное движение захватило нескольких идеалистов в казачьих офицерских мундирах, глубокой скорбью болевших за свой родной край, за темных сограждан-станичников. Но где они? Ныне они, эти офицеры, сидят по тюрьмам. Что же сказать об остальной офицерской массе? Лучше ничего не говорить. Военно-административная среда, правда, выдвинула несколько блестящих имен, но исключительно на поприще хищения и казнокрадства.

Итак, вот условия, в которых живет и формируется современный казак. С возраста, самого восприимчивого к навыку, он поставлен в атмосферу жестокой муштровки. Перефразируя известную поговорку о католике, превзошедшем ревнительностью самого папу, можно сказать, что казак искусственно созданными в нем качествами превосходит солдата. Более солдат, чем сам солдат. Это, так сказать, обер-солдат. Эта беспощадная муштровка успела развить в нем обер-солдатский образ мыслей, чисто обер-солдатские чувства и служительские слова — «слушаю», «рад стараться» и т. д. Темнота, почти полная невозможность протеста или чрезвычайно тяжкие последствия его, бессилие едва пробуждающейся мысли, полная беспомощность опустошенной души — вот главные черты нынешнего казачьего звания. Но все-таки казак дорожит этим казачьим званием, и на то у него есть чрезвычайно веские причины. Он дорожит им, может быть, инстинктивно, соединяя с ним те отдаленные, но не угасшие традиции, которые вошли в его сознание вместе с молоком матери, с дедовскими преданиями, со словами и грустным напевом старинной казачьей песни. Ведь отдаленный предок казака бежал когда-то по сиротской дороге на Дон, бежал от панской неволи, от жестоких воевод и неправедных судей, которые кнутом писали расправу на его спине. Он бежал бесправный от бесправной жизни. Он борьбой отстоял самое дорогое, самое высокое, самое светлое — человеческую личность, ее достоинство, ее человеческие права и завещал своим потомкам свой боевой дух, нена-

висть к угнетателям и завет отстаивать борьбой права не только свои, но и всех угнетенных. Силой вещей это положение изменилось ныне до неузнаваемости, но воспоминание о славных временах казачества еще живет и заставляет дорожить казачьим званием. Правительство, как говорил предшествующий оратор, сделало все для того, чтобы стереть память о тех отдаленных временах своеобразной рыцарской отваги, гордой независимости, но слабый отзвук утраченной свободы прозвучит иногда для казака в его старинной песне, и задрожит казачье сердце от горькой тоски по дедовской воле. Там, в прошлом, для казака было много бесконечно дорогого, там была полная, свободная жизнь широкой удали, была та совокупность прав личности, которых добывается теперь русский народ. Этим ли не дорожить?

Ныне казачество из защитника угнетаемых повернуто в стражи угнетателей; специальностью его определено — расписывать обывательские спины нагайками. Пробовали ли казаки протестовать против этого? Да, пробовали, но безуспешно. Я напомию историю Урупского полка, историю третьего сводного Донского полка и многочисленные протесты в разных других казачьих частях, протесты в хуторах и станицах, породившие массу политических арестов. Напомню об этом потому, что процент арестованных казачьих офицеров и казаков не меньше, чем в войсках других родов оружия. И он не угаснет, этот протест, он не может угаснуть, он растет в казачьих станицах, в хуторах, в казачьих частях, как мы это знаем доподлинно, он растет, оставаясь пока в скрытом состоянии. Но чем объяснить те зверские поступки, о которых оповещено всему миру, о которых чуть не ежедневно сообщает печать? Ведь если не все, а только одна десятая часть из того, что оглашено, правда, то это ужасно! Невыразимая боль стыда охватывает сердце каждого казака, дорожащего лучшими заветами казачества. Для меня это было бы просто невероятно, если бы я самолично не убедился в некоторых фактах. Я знаю казака в обыденной жизни: он такой же простой, открытый и сердечный человек, как и всякий русский крестьянин. Для того, чтобы обратить его в зверя, господам русской земли удалось избрести особую систему, беспредельно подлую систему натравливания, подкупа, спаивания, преступного попустительства, безответственности, которая разнуздывает и развращает не одних только министров, систему возведения зверства в геройство, систему поучительных начальнических примеров. Вспомните Луженовского. Вспомните героев читинских, голутвинских, Прибалтийского края, Сибирской дороги и Забалканского

проспекта; в лучах их немеркнущей славы даже современная казачья известность меркнет. У них, у этих героев, и секрет превращения человека в зверя.

Но я твердо убежден, что, усмирив так называемых бунтовщиков, казак часто совершенно не знает, кого и за что он усмиряет. Поговорите с любым казаком, и вы убедитесь в этом. Припоминаю разговор с одним казаком, небольшим, невзрачным человеком, с винтовкой в руках, наблюдавшим за проезжими пассажирами в козловском вокзале. Пожаловавшись на постылую жизнь вдали от родины, сообщив, что они «локотки пролежали» от безделья, он рассказал мне, что забастовщики здесь смирные: «Скажешь им, не бунтуйте, а идите с докладом, просите. Ну, иной раз скажут: казаки-дураки, а другой раз мирно расходятся с вежливыми песнями». И тон, которым это говорилось, был тон эпически-спокойный, рассудительный тон простого, смиренного человека. Но за минуту перед тем этот же невзрачный воин тем же эпически-спокойным тоном сообщал, как они, их сотня, в Москве из манежа расстреливали толпу манифестантов и как генерал, руководивший ими, несколько раз напоминал им, что они, эти манифестанты, «собираются вас ножами порезать. Ну, мы и старались».

Так вот — «идите с докладом»... очень хороший совет, которым неоднократно пользовалось и само казачество и, конечно, без всякого успеха. И вот теперь, когда степи тихого Дона выжжены солнцем, когда казачьи поля имеют самый унылый вид, когда многие казачьи курени совершенно открыты, потому что солома понадобилась скоту, когда цена селу дошла до 60 коп. за пуд, мы «идем с докладом», побуждаемые многочисленными письменными и телеграфными просьбами, побуждаемые голосом своей совести. Мы вносим настоящий запрос с тою главным образом целью, чтобы «тихо и благородно» спросить у подлежащего начальства: когда же полки 2-й и 3-й очереди будут демобилизованы и когда казачьим семьям возвратят их кормильцев?

Я знаю, господа народные представители, что нет такой нужды, которая не была бы превзойдена другой, еще большей нуждой. Когда я говорю о нужде казаков, я отлично помню, что на Руси есть многочисленнейшие классы населения, гораздо более богатые горем и бедствиями, чем казаки. Но если бы я мог перенести ваше воображение в мой родной край, то вы увидели бы теперь сухие, бурые степи с достаточным количеством солончаков, песков, оврагов и голых шпильей. Вы увидели бы пустые гумна с повалившимися плетнями. Вы увидели бы убогие хаты, крытые полусгнившей

соломой. Вы увидели бы тощую скотину так называемой «*тасканской*» породы; вы увидели бы полураздетых, беспризорных детей, беспомощных, голодных стариков и старух. Вы узнали бы тупое, беспомощное горе и озлобление жителей моего родного края, озлобление нужды и невежества, которое долго культивировалось и вкоренялось искусственно, так как невежество предполагалось лучшим средством сохранить так называемый воинский казачий дух и, главным образом, девственную преданность начальству. И рассказал бы вам мой согражданин-станичник, как падает и разрушается год от года его хозяйство, как отказывается кормить его скудный клочок родной земли, выпаханной, истощенной и развеянной сухими ветрами. И прибавил бы, что впереди нет никакого просвета, что все источники его когда-то цветущего благосостояния теперь оскудели или исчезли совсем, что задолженность его растет все в больших и больших размерах и жизнестроительство его преисполнено одними безнадежными терзаниями и изнуряющими заботами. А попечительное правительство облагодетельствовало семьи мобилизованных казаков значительным месячным пособием — именно в один рубль, чтобы казаки старались на усмирении народа!

Сообщалось недавно, что правительство желает облагодетельствовать казаков отобранием войсковых запасных земель, в которых казаки сами до зарезу нуждаются и которые являются запасными только по воле начальства. Конечно, собственность священна только помещичья, ибо донские казаки по опыту знают, что казачья собственность и не священна, и весьма прикосновенна. В продолжение прошлого, XIX столетия правительство два раза ограбило донских казаков на 3 000 000 десятин, обратив лучшие казачьи земли в достояние господ дворян и чиновников. Теперь, чтобы спасти помещичье землевладение от взволновавшегося крестьянского моря, правительство заставляет казаков караулить помещичьи усадьбы. Но в самую критическую минуту нет ничего невозможного, что правительство преподнесет казакам такой сюрприз, который довершит совершенное их разорение. А пока пусть они занимаются усмирением и оберегают помещичьи усадьбы, купеческие фабрики, заводы, пусть стараются! Пусть озлобляют против себя русский народ, плоть от плоти и кость от кости которого они сами есть. Пусть разоряются их хозяйства там, далеко, на родине. Разве это важно для правительства? Для него гораздо важнее, чтобы казаки не поняли каким-либо образом, что их кровные интересы неразлучны с интересами этого народа, который борется за землю и волю и за свои человеческие права. И вот, чтобы

показать нежную заботу о казаке, о целостности его имущества, правительство в марте месяце рассылает по станицам секретный циркуляр, в котором сообщает, что тысячи революционеров из внутренних губерний, смежных главным образом, поклялись сжечь все станицы и хутора казачьи, и рекомендует иметь в виду их, для чего и роздало огнестрельное оружие. Провокация действует, что мы видим из получаемых писем и телеграмм как казаков, так и крестьян; в недалеком будущем возможны кровавые столкновения между ними.

Нам небызвестно, что компетенция нашего молодого парламента в военном вопросе поставлена в самые тесные границы. И, внося наш запрос, мы не имеем твердых упований на удовлетворительный ответ со стороны военного ведомства. Самым прямым путем был бы путь прямого обращения к Державному Вождю русской армии. Но недавний опыт показал, что в такого рода ходатайствах нам закрыт доступ к Монарху. Если же избрать обычный путь по многочисленным инстанциям, то существует весьма основательное опасение, как бы голос нужды, горя, голос народных слез, будучи отражен многократным бюрократическим эхом, в конечный момент не преобразился бы в голос беспредельной преданности, готовой вцепиться в глотку ближнего при первом мановении начальственного перста. Здесь не так давно говорилось нам, что право и справедливость в русской армии покоятся на незыблемых основаниях. Вот мы и хотели убедиться, насколько эти основания незыблемы, во-первых, в области права: применялся ли подлинно закон при мобилизации полков казачьих 2-й и 3-й очереди? Во-вторых, в области справедливости: справедливо ли на одно казачество, разоренное казачество, возлагать тяжелое — и материально, и морально — бремя, тяжелое ярмо полицейско-экзекуционной службы, тогда как вся гвардия и большая часть войск других родов оружия свободна от этой службы? Мы избираем единственный, доступный для нас путь для того, чтобы исполнить долг нашей совести; мы несем нужды нашего края вам, представители русского народа (продолжительные аплодисменты).



## ДВА МИРА

Прошла зыбь, взволновала поверхность житейского моря...

Думалось до этого, что оно прочно успокоилось, улеглось, застыло, закутанное густой и тяжелой пеленой туманов. А вот дунула великая смерть — и ожила застывшая гладь, кругами пошли валы, и идут дальше и дальше, до самых крайних пределов земли.

И вот видишь эту взволнованную поверхность житейского океана, когда слышишь гул и ропот в его верхнем слое, страстно хочется заглянуть туда, вглубь, где «вековая тишина», темь, загадочное безмолвие: доходит ли туда шум сверху? ощущается ли и там отражение волнующего нас события?

И всякий раз, когда хоть маленький отзвук доходит оттуда, хоть крошечный уголок плотной завесы приподнимается перед жадно ожидающим взором, охватывает особенное волнение: два мира голоса подают друг другу, два мира, разделенные глубокой исторической трещиной, — повинная работе и темноте масса и «город на горе», люди мысли... Осыпается разделяющая стена, которую, может быть, больше всех нас чувствовал гениальной совестью своей Лев Толстой...

— Что за человек Толстов? Слышал чтение: болен он, вся Россия о нем соболезнует, — праведной жизни человек, и вижу, что отлучен от церкви... Монахов понагнали к нему...

— Вы грамотны?

— Плохо. За меру картошки учен, какая грамота наша...

— Никогда не приходилось читать того, что Толстой писал?

— Нет, господин. Я — вокруг лошади. А лошадь — что ребенок малый: смотри да смотри за ней, чтобы вовремя напоить, корму положить, одеть, подстилку переменить, — где нам читать... А слышать — слышал, что для цели той человек живет, чтобы жизнь вечную себе заслужить... никого не страшиться... говорит нации тех людей, что работать не работают, а в карманы гребут, — чтобы работали... Попов укорял, что веры у них нет... Это — я считаю — справед-

ливый человек... Умер,— говорите? Ну, царство ему небесное, вечный упокой...

Разговор происходил на финляндской территории. Ехал я на финских санках по пустынной дороге, среди молчаливых стен елового леса, а извозчик,— с виду типичный «вейка»: на голове — треух с овчинным махром, коротко острижена седая щетина на бороде и усах, — оборачивается и вдруг спрашивает: «Что за человек Толстов?»

— Вы — финн? — спрашиваю с удивлением: очень уж чисто говорит по-русски мой «вейка».

— Никак нет. Коренной орловец.

Оказывается, более полутора ста лет назад орловский помещик продал 12 семей крепостных, и из центра России их перевели на фабрику в Выборгскую губернию, тут они и акклиматизировались. Мой возница около 40 лет был рабочим на заводе, на заводской работе потерял глаза и стал извозчиком: по будням возил лес на фабрику, в праздники — пассажиров со станции.

Книжки читал, но изредка. Любил читать газетку, когда попадет. Толстого никогда не читал, но о Толстом читал и слышал, и все такое необыкновенное слышал, хорошее, волнующее мысли, что вот не может успокоиться, хочет знать о нем подробнее и обстоятельнее.

— Умер?.. Вечная ему, любушке, память... Что же, и панамиды не прикажут служить? А спросить бы их, в какую они веру веруют, близко ли они сами-то к Богу?..

Я слушал старика, и мне казалось: идут волны от дуновения великой смерти, идут и вширь и вглубь, идут до пределов земли...

Мыслью я перенесся в родной свой угол — далекий, глухой угол русской земли. Четыре года назад это было. Пошел я посмотреть станичную ярмарку. Пестрый гомон, шум, песни, расстроенный орган на карусели — немножко дико, но оживленно и с виду весело и беззаботно. Представитель власти подошел ко мне, — станичный атаман, — обменялись мнениями о погоде. Потом присоединился к нам почтенный старик, солидный хозяин, местный житель. С некоторой таинственностью он вынул из кармана небольшую книжку и, хлопнув ладонью по ней, сказал, обращаясь к атаману:

— Вот, ваше благородие, книжка! Вот какие книжки читайте...

Старик был видимо тронут и отравлен книжкой — время такое тогда было.

Атаман лениво, снисходительно, двумя пальцами взял книжку и посмотрел заглавие.

— Почитаем, — сказал он томным, изнеженным голосом человека, утомленного делами большого масштаба. — Посмотрим, посмотрим... Толстой?.. Что же, можно...

А на другой день при рапорте отправил книжку по начальству. Начальство в нашем крае — военное, на дело взглянуло без послаблений, и старика-пропагандиста долго таскали по разным инстанциям, допрашивали, стращали. А он с героическим упорством повторял:

— В книжке все — законное... Самая истинность.

И искренне недоумевал, как этого не видят люди, угрожающие ему всяческими ранами и скорпионами... Поплатился, конечно.

Года через два после этого мне пришлось быть на проводах в полк молодого казака, моего соседа и приятеля. Среди подвыпившей, отнюдь не грустной, немножко шумной, поющей и болтающей компании был особенно великолепен молодой «приказный» (ефрейтор) Сафронов, иначе — Гришка Шило, как его звали «до службы». Всем присутствующим он импонировал не только своими новенькими галунами на рукавах теплой, ватной поддевки, которой не снимал несмотря на чудовищную духоту в натопленной и набитой людьми хате, но и необыкновенным, уверенным, подавляюще рассудительным красноречием, которое он расточал в виде наставлений прошедшего служебный стаж воина молодому служилому, только что вступающему на оный путь, наивно и растерянно глядевшему прямо в рот оратору.

— Перфил, помни: присяга есть клятва... Строго наблюдай по уставу чиновочитания... Служи порядком... Вот я, к примеру: раньше меня более никак не звали — Гришка Шило, а теперь — приказный и кавалер... Имею за храбрость...

Он вынул из кармана медаль и приложил к груди. Медаль, кажется, произвела впечатление.

— Вот и ты, Перфил... Дай Бог и тебе заслужить. Лишь старайся, а то заслужишь. На часы поставят — гляди.

— Не раздави... — послышался иронический голос.

И через минуту закипел горячий спор между приказным кавалером и тоже служилым, но тронутым иными веяниями и впечатлениями казаком.

— А ты бы про шестую заповедь помянул — вот о чем не надо забывать, — горячо говорил новый оратор. — Ты бы из божественного писания слова два сказал. На что-нибудь там сказано: не убий!..

— Кого?

— Да всякого человека.



— И литовца, к примеру? Ведь христианина — это так, а латыш, например, — первый бунтарь... Злые такие, черти: лишь зазевайся, сейчас чем-нибудь огреет. Первые враги внутренние!..

— Обратись к Евангелию — увидишь, как надо жить и знать, кто враги...

Спор скоро сделался общим, и, к моему удивлению, в этой потомственно военной, всю жизнь под бдительным оком всевозможных военных начальников воспитываемой среде сторонник Евангелия не оказался одиноким. У их противников, немало горячившихся, не оказалось даже в запасе никакого прочного теоретического обоснования службистости, кроме вопроса о самосохранении.

— Ты бы пошел да подставил лоб лысый под пулю, тогда и говорил бы, рябая харя...

— Я ходил... Я, брат, ходил!.. Потому и говорю: не обижай сам — и тебя никто не тронет. В божественном писании сказано: имей любовь к ближнему, а ближний — всякий человек, созданный по образу Божию...

Конца этого спора я не дождался, ушел — очень уж жарко и шумно было. Но, встретившись как-то после с тем казаком, который выражал взгляды «от божественного писания», я не утерпел: спросил, откуда он почерпнул столь невоенные мысли.

— А вы почитайте Толстого книжку. Золотая книжка! — сказал он. — Только народ-то у нас... горе! Скотина и то имеет обоняние, оглядается. А наш народ — ничего... прямо ни-чего не смыслит!..

Думаю, что он не совсем был прав в своем пессимистическом взгляде на народ, преувеличил, «перегустил» мрачные краски. Имею основания думать так, держа сейчас в руках простое письмо из того глухого уголка... «Угас свет правды — такой громогласный, правдивый человек, а теперь уж не подаст голоса оттуда. Далек я был от этих двух человек, новопреставленных, и ум мой даже малую их часть не осваивает, а потерял как все равно самых близких и дорогих по плоти: то, что есть ихнего во мне, донесу до могилы...»

...Кругами идут валы встревоженного моря житейского, идут вширь и вглубь и дойдут до пределов земли...



## ПЕРЕВЕЛИСЬ ЛИ БОГАТЫРИ?

Литературный вечер в память М. Е. Салтыкова-Щедрина...

Как ни совестно, а приходится сознаться: хорошо, что есть великие покойники. Хоть около них, вокруг их имени можно собраться, на миг сомкнуть ряды, оглянуться и... помолчать в компании. Пусть тусклы, лишены огня эти всячески урезанные и сжатые прессом чествования памяти, пусть останется от них чувство неудовлетворенности и даже удручения, усугубляется сознание собственной малости и бессилия перед хрустальными курганами почивших богатырей, — но есть в них какая-то неуловимо трогательная черта, какое-то особое настроение, точно в немые зимние сумерки пришел к родным могилам, постоял в безмолвии у дорогих крестов, оглянулся на всю жизнь — свою и чужую — и в новом свете увидел скованную молчанием, саваном покрытую равнину за кладбищем. Безбрежная грусть, но и робкие надежды на грядущее пробуждение...

Вечер в память М. Е. Салтыкова, как и первое заседание (в консерватории), посвященное Л. Н. Толстому, прошел без блеска — нечто фатальное как будто висит ныне над такими собраниями. Было несколько серьезных и даже с некоторым излишком добросовестных докладов о Щедрина. В одном — воспоминания, в двух других — обзоры литературной деятельности великого сатирика, как она слагалась, развивалась и протекала по десятилетиям... При всем почтении к докладчикам и их рефератам все-таки должен сказать: такие поминки слишком тяжеловесны для среднего человека, который, по слабости комплекции, склонен и в траурном чествовании предпочесть что-нибудь менее обременительное и более бодрящее, живое и занимательное...

Для одного вечера за глаза довольно было бы одного доклада, а два других можно было бы приберечь для следующих юбилейных вечеров, посвященных писателю, — будет ведь и 25 лет, и 30 лет после его смерти.

Впрочем, Щедрин выручил. Сам он, волшебный мастер

слова, облитого горечью и сжигающим смехом, чудными сказками своими осветил нам самую животрепещущую, самую современную нашу действительность и, мертвый, оказался неисчерпаемо богат, — богаче всех нас, — жизнью, изумительной проникновенностью взгляда и верою в конечное торжество правды «забытых слов».

Смех вспыхивал, дружный и неудержимый. Даже официальное лицо, сидевшее в левом ряду, слушая историю «О том, как мужик двух генералов прокормил», захлебывалось от смеха, и был это такой младенческий и милый смех...

Вспыхивал смех и потухал. И ложилась на лица тень раздумья. Невеселая тень. И еще что-то чувствовалось в настроении, — может быть, тень стыда, робкое оправдание перед совестью, вздох бессильной горечи: наша современность далеко превзошла размерами то уродливое, позорное и ужасное, что желчным смехом своим бичевал великий сатирик...

Один из докладчиков, между прочим, взял да ни за что ни про что обидел ее, современную русскую действительность. Усерднейшим образом старался внушить он нам ту мысль, что 60-е и 70-е годы — время кипучей жизни, устройства, перестроения и расстроения, — дали Щедрина материал для художественного изображения крупных осетров, богатых паскудства, хищничества, административного озорничества и прочих отечественных добродетелей, — время было героическое. Затем реакция 80-х годов дала отстой; на сцену вышел «средний человек», пестрый, серый, — буржуа, — богатых утопил или заслонил, наполнил собой чуть не всю вселенную. Этот средний человек и стал исключительно сюжетом сатирического изображения. Увековечивая его в своих произведениях, Щедрин будто бы переменял свой беспощадно едкий смех на тихую, жалостливую улыбку, кончил тем, чем начал Чехов. С тех пор, дескать, средний человек и утвердился в литературе, так, как он утвердился в жизни. Выходило, по мнению критика, так, что с 70-ми годами перевелись и богатыри на Святой Руси — богатыри, достойные бичующего смеха великого сатирика...

Не знаю, как другим, а мне показалось обидно за современную нашу действительность...

У нас не осталось богатырей? У нас нет великих артистов жестоковийности, паскудства, бесстыдства — нет героев?.. Да если бы великий сатирик дожил до наших дней, я не знаю, нашел ли бы он, — могучий несравненный мастер жгучего, разящего слова, — достаточно сильные слова обличения и сарказма, чтобы увековечить достойным клеймом это время?

Не пришлось ли бы ему вместо художественных образов писать простую копию этой фантастической действительности?

При жизни ему не раз приходилось оправдываться против обвинений в преувеличении и склонности к карикатуре. Приходилось доказывать, что литературному исследованию подлежат не одни только те поступки, которые человек беспрепятственно совершает, но и те, которые он совершил бы при отсутствии стеснений, налагаемых лицемерием и другими жизненными условиями.

«Сегодня он воздерживается, но завтра обстоятельства поспособствуют ему, и он непременно совершит все, что когда-нибудь лелеяла тайная его мысль. И совершит с тем большею беспощадностью, чем больший гнет сдавливал это думанное и лелеянное...»

Это завтра стало нашим сегодня.

Стоит лишь посмотреть да сравнить героев щедринской сатиры и героев нашей современности. Возьмем хоть Иудушку. Что такое щедринский Иудушка? «Не столько лицемер, сколько пакостник, лгун и пустослов». Современный Иудушка по умственному распутству, по полету фантазии, по размаху и бесстыдству — положительный богатырь по сравнению с ним. А позиция, занимаемая им в жизни, несравненно влиятельнее, чем позиция Порфирия Головлева, и несравненно шире процесс увечья и умертвия, причиняемого им. У старого Иудушки было временами пробуждение одичалой совести. Нынешний Иудушка совершенно свободен от этой слабости...

А дворянские каддыки? А союзы «антиреформенных бунтарей»? Нынешний эпический масштаб, конечно, поразил бы самое пылкое воображение современников старого героизма.

Полководец Полкан Редедя с Забалканского проспекта, печатавший когда-то в газетах объявления о том, что он делает рекогносцировки, устраивает засады, преследует неприятеля по пятам, а в случае надобности отступает, — в особенности же полезен во время междоусобий, — что такое этот Редедя по сравнению с современными полководцами — усмирителями? Мальчишка и щенок!

Нет, есть еще порох в пороховницах, не перевелись еще витязи на Святой Руси. И кажется, без достаточных оснований почтенный докладчик вычеркнул их из списков современности, за смертью...



## ПАМЯТИ П. Ф. ЯКУБОВИЧА

Мне и сейчас представляется это, когда раздается звонок телефона: вот возьму я трубку и непременно услышу хорошо знакомый, ласковый больной голос:

— Что вас не видно, казак? Куда вы запропали?

Я, конечно, никуда не запропал и всегда, как редкому празднику, рад был возможности повидаться с ним, с милым, любимым Петром Филипповичем, но стесняло вполне понятное опасение, приятны ли, обременительны ли больному человеку мои посещения.

— Приезжайте, поговорим... Ведь момент-то... — Долгий затяжной кашель — слышу я в телефон — обрывает речь П. Ф. — Момент-то... интересный... — с трудом, прерывающимся от задыхания голосом заканчивает мой дорогой собеседник.

И было это грустно, до слез трогательно — этот прерывающийся, больной голос и неугасимое кипение «моментом», если он интересен; мучительное страдание им, если он удручал беспросветностью и торжеством «обагряющих руки в крови»... И не скоро мысль моя свыкнется с тем, что нет его, этого диковинного, особенного человека, который не жил, а горел безрассчетным пламенем.

Дня не запомню я, короткого мгновенья,  
Когда б в душе не тлел огонь вражды и мщенья,  
Когда бы я не ждал, что Божьей правды гнев  
Проснется, наконец, как разъяренный лев...

Не скоро отвыкну я ждать эти милые праздники, когда можно было заглянуть в его тихую квартиру, повздыхать с ним, помечтать вслух, поспорить. Любил он это — помечтать, вздыхая и сокрушаясь:

Таит меня тревога ожидания:  
Что юность даст? Что завтра принесет?

Когда, бывало, вернешься из поездки в родной угол — никто с такой нетерпеливой привязчивостью не расспраши-

вал о том, что делается там, «во глубине России», каково настроение, о чем толкуют, о чем думает народ! Трепетное чаяние, неутолимая жажда хоть единой капли освежающей и ободряющей чувствовалась в этих торопливых, наивно ждущих расспросах, и забывалось, что это человек, в которого нестерпимый недуг впилился всеми когтями, человек, страдающий целой энциклопедией самых жгучих болей.

— И что вы это там с проблесками, с признаками, сдвигами и ожиданиями!.. Знаю, что это все будет, все придет, да когда? Вы вот сейчас-то мне что-нибудь хорошенькое подайте! А-а! То-то и есть-то!.. Вот и не можете хорошенького ничего рассказать...

И сердито вздыхал... И ужасно жаль бывало, если нет ничего для него любопытного, если нечем было вызвать его хорошую, светлую улыбку и радостное, несколько сомневающееся восклицание:

— Да-а... это интересно...

Всегда мне в этих случаях вспоминался старый глазуновский казак Лука Потапов, полчанин моего отца. Умирал он в дни свободы, кавказский воин, и спокойно говорил о приближающемся конце жизненного пути. Шутил:

— Гнет в дугу государева слугу.

Но и вздыхал тут же:

— Умирать-то не миновать когда-нибудь день терять, а погодил бы немного. Вот война была, боялся: умру, не узнаю, чем война кончится. А теперь вот Дума зачинается. Хоть бы одним глазом взглянуть, чья возьмет: господа или чернородье?..

Один тоскующий мотив, одна мечта: «Мысль одну мы держим — про святую месть».

Мне душу истерзала

До ран кровавых жизнь, — живого места нет...

Но все я жизнь люблю, все верю, как бывало:

Он близок, он идет, спасительный рассвет!

.....

Я не дождусь зари...

Взглянуть — и умереть!..

...Я жду, упорно жду...

Я много раз жалел, что это безрасчетное горение о будущем родимого края, болезненно острое ощущение боли настоящего, — ведь не только ужасы нашего «интересного» момента, но даже обычное паскудство современных триумфаторов приводили всякий раз в безграничное отчаяние Петра Филипповича, — я жалел, что это закрывало от меня его богатое, героическое прошлое. Для меня он был образцом

недосягаемого героизма, и не раз неудержимое желание испытывал я расспросить его о битвах минувших. Но я робел, я не решался, ибо не был настолько близок к нему, чтобы иметь смелость прикоснуться к старым ранам отважного бойца. Правда, для меня, человека глубоко провинциального, нового в Петербурге и всегда неволью теряющегося, чувствующего себя чужим в журнальных и общественных кругах столицы, П. Ф. был, может быть, более всех близок, менее всех страшен, но это уж был секрет его личного обаяния, его теплой ласки и трогательной заботливости. Своим попечением и участием о моей судьбе он с первого же раза взял меня в плен — из состава редакции «Русского богатства» с ним первым мне пришлось познакомиться.

По заботливости о писателях, да еще о начинающих, П. Ф. был, вероятно, единственный в своем роде человек. Письма его к авторам присылаемых на его просмотр произведений были чем-то вроде диссертаций: по четыре, по пяти страниц мелкого убористого почерка. И всегда он пуще огня боялся обидеть кого-нибудь недостаточным вниманием и, пожалуй, не менее самого автора огорчился, если приходилось возвращать рукопись. Вздыхал не раз все-таки:

— Сердитый нынче пошел молодой писатель! Пришлет пару стихков... И стихки-то не бог весть какие важные. Возвратить бы... Нет, ты ему не просто возврати, а еще и объясни, — да объясни обстоятельно, — почему, да как, да на каком основании того-то печатаете, а меня нет?.. Объясняешь-объясняешь, а в конце концов он все-таки возьмет да и обругает тебя... Да еще стихами, злодей, обругает!.. Вот ведь начальство!.. А в наше-то время! Попробовали бы мы с Салтыковым, например, так поговорить...

В последнее мое посещение П. Ф., между прочим, и рассказал о своем первом знакомстве с Салтыковым, о первых шагах своих в литературу.

Приехал я в Питер, в первый раз. Записался в университет и на другой же день засел стихи свои переписывать, самые лучшие, конечно, выбрал. Переписал с тщательностью необыкновенной и понес... Салтыкову, самому Салтыкову, не в редакцию, а на квартиру. Помню, на лестнице даму встретил, очень изящную, и решил, что это, должно быть, жена его. Ну, а минуты через две, стоя в передней, услышал шарканье туфель: Салтыков. В халате. «Это что? Стихи, конечно?» — «Стихи...» — «Через две недели зайдите за ответом. В редакцию. В одиннадцать...» Ну, конечно, я уже с 8 часов был возле редакции. Хожу взад и вперед, жду. Серенький

день, помню, был, характерный петербургский. Помню, два молодых человека прошли мимо, поглядели на меня. Один был замечательно красив: брюнет, тонкие черты такие. Я решил, что непременно это должен быть террорист,— я тогда уже мечтал о террористах...

Ровно, минута в минуту, в одиннадцать вошел я в редакцию «Отечественных записок». Сел. Жду. Никого еще не было. Потом стали появляться посетители. Один, помню, с длинными такими волосами. «Это, думаю, непременно какой-нибудь писатель известный... настоящий писатель...» Потом басистый голос еще с лестницы услышал и вижу, все как-то зашевелились. Вот и он, Салтыков. Я думал, что он не узнает меня, а он как глянул: «А-а, стихи!— говорит.— Сейчас...» Пошел из приемной в следующую комнату, через минуту возвращается, подает мою изящную тетрадочку: «На-те!..» И повернул назад. Но со мной тоже не так-то легко можно было разделаться. «Позвольте,— говорю,— Михаил Евграфович, что же, мне продолжать дальше или нет?» А он этак через плечо, вполуборот: «Продолжай-те»,— говорит. И ушел...

— Вот какое крещение в наше время давали! — благодушно закончил П. Ф.— Вы, нынешние, ну-т-ка!..

Не знаю, как других «нынешних», а меня сам П. Ф. избавлял своей безграничной заботливостью. И по собственным писаниям знаю и свидетельствую, какую массу труда приходилось ему иногда затрачивать над принятыми рукописями, чтобы привести их в возможно безупречный вид или со стороны цензурной, или, чаще, со стороны литературной стройности, сжатости и выразительности.

— А я у вас тут, голубчик, двух героинь уничтожил...

— Это много, П. Ф. Вы кровожадны.

— Да вы погодите ругаться, вы посмотрите: без них лучше.

Посмотришь: точно, лучше...

Что бы там ни думали самолюбивые авторы, а я с особенной благодарностью вспоминаю эту сторону редакторской работы П. Ф.: он учил писать, и учил не плохо. Писатель он был старой веры и до конца дней своих остался ей неизменно верен. И мотивы поэзии его для массового современного читателя казались устарелыми: «устал» ведь он, этот современный читатель, и в поисках отдохновения в какие только закоулки не заходил, какие только «дерзания» не познавал... П. Ф. Якубович ко всем этим отечественным искривлениям на новейшие фасоны относился отрицательно. Иной раз я пускался с ним в спор, становился против него в защиту поэзии модернизма и... довольно легко был уличаем в невежес-



тве. Новую поэзию П. Ф. очень не плохо знал и, как переводчик Бодлера, первый познакомил русскую публику с символистами.

— Ну, вы скажите мне какие-нибудь стихи... великолепные, на ваш взгляд...

Я хотя и храбро вступал в бой с приверженцем старины, а оборудован был весьма легковесно, особенно со стороны образцовых новейших стихов.

— Стихи? Что ж, извольте. Чем, например, это не шедевр:

Ты зачем далеко?  
Темный воздух пуст.  
Губы одиноко  
Ищут милых уст.  
Почему на ложе  
Нет тебя со мной?..

П. Ф. махал руками, стонал, бранился. И у того же поэта, которого цитировал я, указывал стихи действительно хорошие. Но находил их немного. Все отмеченное искрою Божией он знал и признавал в новейшей поэзии, но от восхищения ею был весьма далек.

К числу невинных слабостей П. Ф. и отчасти всего «Русского богатства» в читающей публике — мне приходилось это слышать — относили (и относят) особое тяготение к литературным изображениям тюрьмы, ссылки, каторги. Над П. Ф. даже в тесном товарищеском кругу немножко подсмеивались за это пристрастие к каталажке. Незадолго до его болезни как раз об этом зашел у нас разговор с ним. Он смешно оправдывался, я смешно нападал. Даже вспомнил один фельетон из какого-то «Понедельника» и передал его содержание П. Ф. В фельетоне этом рассказывалось, как один предприимчивый молодой автор переписал рассказ Толстого «Хозяин и работник», поставил под ним свою фамилию и понес по редакциям наших ежемесячников. Сначала — в «Вестник Европы». Стасюлевич посмотрел и вернул: «Недостаточно грамотно, молодой человек, поучитесь...» Тогда автор направился в «Русское богатство», где встретил его Якубович ласковой улыбкой и вопросом: «Вы в какой каторге отбывали наказание? В карийской?..» Автор, нигде не отбывавший никакого наказания, был смущен и молчал. «Неужели в Акутуе?» И далее целый ряд вопросов: «Ну, по крайней мере, в ссылке были? Или в Крестах сидели?» Когда же автор сознался, что он даже в участке ни разу не заночевал, Якубович тотчас же вернул ему рукопись, прибавив укоризненным тоном: «Поучитесь, молодой человек! Жигана от брата

отличить не умеет, а берется еще о женской любви рассуждать...»

П. Ф. добродушно смеялся.

— Наступит время, когда в русской жизни тюрьма и каторга будут меньше места занимать, тогда и в «Русском богатстве» поменьше будем писать о них, — говорил он, — а пока... пока еще слишком мало отдаем мы им внимания...

Он прав, конечно. Больше, может быть, чем кто-либо другой, он чувствовал ту боль, то опустошение, которое сеют эти отечественные учреждения в родной земле, — он, музой которого был сумрак каземата, «цепь с веревкой были лиры струны». И о пустынях дальних, о цепях ледяных гор, «где лучшие друзья в чужих снегах зарыты», неизбывной скорбью болела его душа.

Страна полных вьюг, моей весны могила, —  
Угрюмых сыновей вельсковая мать, —  
Язык клянет тебя, а сердце полюбило...

И до последнего дня он считал самыми современными, самыми животрепещущими мотивы «страданий, скорби, уз»...

Ах! в жизни сумрачной я не припомню дня,  
Когда б на Божий мир взглянул я вольно, ясно,  
Когда бы злая мысль поквинула меня,  
Что родина-раба, что родина несчастна...

. . . . .

И вот нет его, скорбного мечтателя, славного знаменосца святого мятежа.

С трепетным вниманием следили мы, его товарищи, за борьбой его надломленного организма с смертью — не верилось в то, во что не хотелось верить — в возможность непременно рокового исхода.

Помню: была полночь. В узенькой, безлюдной Ижорской улице, сжатой каменными домами, стояла тишина морозной мартовской ночи, и вверху родились звезды. И сыпался кругом, широко и далеко, смутный шелест и шум глухой ночью города.

Я стоял перед знакомым домом и смотрел на освещенные окна в третьем этаже. Тихий свет, опущены шторы. Сколько раз, бывало, проходишь или идешь между спящих каменных громад, темных и неприветливых, — и вот блеснет оконце тихим светом: кто-то сидит, работает, и у него тепло, уютно... может быть, веселые, счастливые собрались люди. Завидно станет... А тут смотрел я на свет в знакомых окнах и знал, что там, в этих стенах, идет сейчас мучительная борьба уга-

сающей жизни с бесстрашной смертью, там — горе и отчаяние близких...

Я знал, что сердце, усталое, изнуренное болями и муками, израненное сердце, отбивает последние свои удары. Но не верилось, не в силах был я верить, что вот — последний вздох, и навеки угаснет трепет этого бунтующего и любящего сердца, которое кипело, горело ярко и неутомимо и непримиримо, изумляя и заражая пламенной верой и неугасимой тоской своей,— весь он был всегда, с своею мыслью и мечтой, с томительным ожиданием своим,— все впереди,

...на миг не выпуская  
Хоругви мятежа из напряженных рук...

Глухим, ночным шумом шелестел город, сумрачный, любимый им город...

Как колодник оковы свои,  
Я люблю этот город великий,  
В неповинной омытый крови...

Вспомнились стихи, и точно голос услышал любимого поэта. И как хотелось мне подняться туда, к нему, в третий этаж, позвонить в знакомый звонок и еще в передней, издали, услышать его ласковый, хворый голос:

— Это кто? Казак? По голосу узнал...

И сесть возле, и слушать знакомые, нетерпеливые вопросы, вздыхать на них:

— Ну, что новенького на свете? Что слышно? Хорошенького чего нет ли?..

Слушаешь его, бывало, говоришь с ним — светлая грусть и тихая радость в одно время нисходят в душу: вот сердце мятежное, непримиримое, сердце бесстрашное бойца, а сколько в нем удивительной мягкости, а какая детская нежность и ясность и чувствительная привязчивость в нем, в этом сердце, сколько трогательной сентиментальности уживается рядом с стальной непоколебимостью веры и верности своему «святая святых»...

— Валенки мои хочет Роза Федоровна в сарай выкинуть, а мне жалко: ведь я в них всю Сибирь прошел, сколько этапов они помнят...

— Да ведь грязи-то на них сколько...

— Да, грязи они видели немало — сибирской грязи... А глянешь на них, и сколько воспоминаний всплывает...

Милый, светлый Петр Филиппович... Это сочетание нежной привязанности детской и стойкости беззаветной так характерно для него, так чудесно выражено им в стихотворе-

нии, которое ныне в самых глухих углах его родного края знают наизусть, ибо особенно близок стал его мотив, его глубокий драматический смысл сердцу многих, многих матерей и сестер русских:

Мне снилось сегодня, в безвестном краю:  
В слезах я родимую видел свою.  
«Скажи, мой желанный, скажи, дорогой,  
Дождусь ли тебя я, соколик, домой?»  
. . . . .

...И вот уж нет его, певца в венце терновом, певца святого мятежа...

Жизнь мелькнула волшебным, сверкающим сном...  
Ни о чем не жалею, друзья, ни о чем!..

Крест над могилой его — крест, символ страдания за братьев, самый близкий ему символ, ибо подлинно крестный путь прошел он. Всю жизнь боролся за волю родного народа, за счастье родимого края, всю жизнь ждал рассвета и солнца родимой земле... «Взглянуть — и умереть»... Дождаться, когда «дрогнет, наконец, испуганная тьма», — и сказать: «Ныне отпускаеши раба Твоего, Владыко...» И звал, и ждал соратников, бойцов могучих, чуда ждал...

Я жду, кого-то жду со страхом и любовью,  
Кого-то, чья рука чудесное свершит...

Не дождался. Ушел... Родная страна, которой он оставил цветы лазоревые — свои песни, так и не озарила конца его жизненного пути улыбкой счастья своего, — страна родная, которой пел он:

...Каждое дыханье,  
Мой каждый помысел, все силы бытия —  
Тебе посвящены, тебе до воздыханья!  
Любовь моя и жизнь — твои, о мать моя!..



## В СУГРОБАХ

*(Отрывки из статей о положении в стране накануне  
Февральской революции)*

<...> Но что-то произошло, — и именно теперь вот на наших глазах, в наши дни, в переживаемый сейчас момент, — пропала где-то совесть, свинные и волчьи инстинкты затопили все углы жизни, жадность, хватание кредиток, очерствение приняли характер эпидемии, и даже в патриархальных уголках, где имели еще действительную силу, например, узы родства, денежный поток прорвал и снес даже эти вековые связи.

<...> Если правду говорить, местный делец и рвач младенчески мелок и невинен по сравнению с настоящими шакалами, которые гнездятся выше, ближе к сердцу и голове любезного отечества. И характернее, может быть, для слободы в переживаемый момент не он, старый знакомый гнойник на истерзанном теле матушки Руси, а те тихие, скромные, всегда умеренные, законопослушные слободские уголки, которые стоят в стороне от потока мародерства и денежной лавины. В них живет сейчас подлинная боль тревоги, горечь обиды, стыда и негодования за отечество. И питаются эти чувства не только тем, что ежедневно приносит газетный лист и весть, идущая заячьими тропами великих слухов, но тем ежедневным зрелищем путаницы, бессмыслицы, преступно расточительных экспериментов, которые происходят на их глазах в степном углу, отражая в малом осколке разбитого стекла безобразие, насыщающее всю атмосферу взбудораженной страны.

Душа болит, болит нестерпимо у простых, заскорузлых людей, с трудом нащупывающих связь своего угла со всем огромным целым, называемым отечеством, и у людей, которым обобщения и выводы даются сравнительно легко. Большинство из них вчера еще были настроены доверчиво и благонамеренно, никакой склонности к критике, к обличениям не обнаруживали. Ныне же они стоят на той ступени оторопелости и удручения, которая граничит с немой отчаяния:

— Завязал бы глаза да скрылся куда-нибудь... Но куда? Весь корень тут, в родной земле.

— Что это такое, скажите ради Бога? Прوماхи? Ошибки? В башке не хватает? Или нарочно? Да и нарочно не сразу так выдумаешь — «шиворот-навыворот».

Торопливо разворачивается передо мной, проезжим человеком, мимолетным и случайным посетителем, моток жизненных нитей степного уголка с бесконечной цепью узлов, петель, лабиринтов, в запутанной сети которых оторопелый обыватель потерял все концы, всякое понимание, хлопает горестно себя по бедрам и отдается с упоением бессильным, бесплодным, терзающим излиянием. Всегда премудро умеренный, осторожный, смиренно обходившийся без «свобод», без гарантий, теперь, в водовороте переживаемых событий, непосредственными личными потерями, болями и обидами он приведен к горестному сознанию, как он обидно бессилен, забит, затаскан и лишен возможности поднять голос <...>.

— Живешь сейчас, как на торчке на каком сидишь. Все ждешь: вот, мол, проснусь, и нет этого паваждения, не может же без конца оно тянуться <...>.

Он смолкает. Ждет ли ответа или мысленным взором переносится на далекие сферы, которым послал свой вопрос? Вьюга свистит, пылит, шипит. В ее захлебывающихся, издевательских голосах ритмически звенит как будто:

Посмотри: вон-вон играет,  
Дует, плюет на меня...



## НОВОЕ

Было трудненько ездить по железным дорогам и при старом строе, особенно в последнюю осень и зиму. Но революция внесла в эту сторону расстроенной русской жизни свежую струю, оживившую смутные представления о нашествии гуннов, — на рельсовые пути высыпал несметной саранчой новый привилегированный пассажир — дезертир по преимуществу.

Он опрокинул и смел, во имя свободы и равенства, все обычные понятия о праве на оплаченные места. Ввел в путевую практику захват, самый оголтелый и беспардонный, и вторжения свои начинал непременно с первого класса. И люди, искушенные новым опытом и не искушенные, ныне знают, что билет в кармане еще ничего не гарантирует, пока обладатель его не проникнет в вагон — правдами и неправдами. И большим человеком в жизни путешествующего российского гражданина является ныне носильщик — приходится очень лебезить и заискивать перед ним...

Мне попался, к счастью, парень молодой, белобрысый — из белобрысых бывают ребята ласковые, мягкие; брюнеты — те посуровее и изрядно-таки высокомерны: захрипит ни с того ни с сего, как в доброе старое время какая-нибудь особа пятого класса или швейцар солидного особняка. А этот по человечеству вник, вошел в положение.

— Нельзя ли как-нибудь там... верхнюю полочку?

Помолчал, подумал. Долго-таки, — очевидно, дело серьезное, — меня даже охватило чувство томительной тоски: придется, мол, хлебнуть горя... Кашлянул сиплым тенорком и сказал:

— Верхнюю? Почему нельзя — можно: поезд сейчас в депе... Дойти — вполне можно сесть. Даже вполне будете покойны, как летом в санях...

— А можно пройти?

— Почему нет? Пойдемте.

Он опоясал холстинным кушаком мой чемодан, взвалил на спину — пошли. Оказалось, дорога не близкая. Я ося-

зательно почувствовал тут, что только люди опыта и специальных знаний могут не запутаться в этом лабиринте путей и вагонов. И сказал себе, что за знание придется заплатить особо.

Остановились у одной цепи вагонов. Она ничем не отличалась от рядом стоявших. Но когда из какого-то окна или двери высунулась голова в помятом железнодорожном картузе, прислушалась и повернула в нашу сторону треугольное лицо с татарскими усами, цветом смахивавшее на старую солдатскую голенищу, — носильщик уверенно сказал:

— Воджский.

Один глаз из темной щелки приятельски подмигнул ему.

— Вася, отопри-ка там...

Влезли. Как хорошо — даже не поверилось сразу: чисто, свободно и — главное — не я первый. Из первого купе выглянул господин в черной феске, в рубашке, подпоясанной шелковым шнуром, бородатый, большой, мягкий, с солидным животом. За ним — студент в путевой тужурке. В соседнем отделении сидел батюшка с окладистой бородой льяного цвета, с Георгиевским наперстным крестом. В коридоре у окна стоял небольшой, сухой, с орлиным носом артиллерийский полковник. Где-то дальше слышались женские голоса. Совесть моя, глухо меня упрёкавшая за то, что на заре нового строя я, как закоренелый буржуй, обывательски лукаво обхожу великие принципы равенства и братства и стараюсь захватить себе, в ущерб остальному человечеству, уголок получше, поудобнее, — смолкла и успокоилась: не я первый, не я последний...

— Вот вам верхняя полочка...

Я вынул две рублевых бумажки и, высоко размахнув ими, жестом широко тароватого человека отблагодарил своего благодетеля. Он потер бумажки пальцами, поглядел на них вдумчивым взглядом, шмурыгнул носом и лениво, почти нехотя сказал:

— Прибавить надо бы, господин.

— Сколько же? — не без страха спросил я.

Он чуть-чуть подумал:

— Ну... копеек тридцать, что ль...

Сумма была неожиданная, но вполне понятная, но вполне божеская, — о чем тут разговаривать?

— Трудная жизнь стала, — сказал я так — себе, на ветер, извлекая две марки с портретом Николая I.

— Д-да, хлопотно, — отвечал носильщик, пряча монеты в



кошелек. — Пассажир, как червь, кипит... Однако, как говорится: «Что потопашь, то и полопашь»... Легкие деньги, они легко и проходят. А есть нынче легкая денюга, кому пофортунит: у нас один ушел из артели — дрова грузит, — не сам, конечно, а сбил человек пяток, они работают, а он заведует. «За неделю, — говорит, — четыреста рублей отложил...» За неделю...

— Это не плохо...

— Имеет свою приятность!..

Даже не верится, что мы когда-то — и не очень давно — только и знали, что ныли да жаловались на пресную обывательскую жизнь. А теперь? Ах, хоть бы денек теперь пожить в сладкой, тихой, спокойной полудремоте той далекой уже, невозвратной, милой, понятной, неспешной жизни!.. Жизнь и теперь, пожалуй, — как сон. Но какой беспокойный, полный тревог, загадок, невероятия, пугающий сон... И как хотелось бы очнуться от его неожиданностей, волшебных превращений и фантастики! Протереть глаза от пыли и сажи, которая заполнила весь свет, как будто какой-то нелепый, сердитый с похмелья печник пришел в старинный обжитой деревенский дом с низкими потолками, скрипучими половицами, дряхлым балконом, пришел, разворочал все печки, набил мусору, поднял облако пыли, высморкался, сделал сигарку и, подпершись засученной, жилистой рукой в бок, равнодушно смотрит на плоды своей работы, ни мало не беспокоясь о том, что потревоженным жильцам некуда приткнуться — все замусорено, завалено, сдвинуто с места...

Вот я — почему я сейчас здесь, в уголке вагона, где-то на запасных путях стоящего? Почему я бросил свою комнату, письменный столик, приличную работу и устремляюсь сейчас на некий съезд, оттуда — на другой? И вот уже два месяца езжу из края в край по России — как будто и дело делаю, может быть, и нужное, а может быть, ненужное — не знаю... А в конце концов — ощущение беспокойного, фантастического сна и бессильное желание протереть глаза и оглянуться. Все существенно, все реально, а понять не могу: что за голоса за стенами, рядом, почему такие пестрые звучат в них ныне отголоски русской жизни, — что-то старое, мило-привычное и тут же новое, унылое и смешное, тревожное и досадное?..

— А продолговато нас держат тут, батюшка...

По-видимому, голос полковника, приятный баритон с хрипотой и веселыми нотками.

— Это ничего, — отвечает медлительный, мягкий голос. — Я вот кипяточку разжился, — раб Божий Василий помог, —

сейчас мы чайку. Жаль вот хлеба нет белого... ситничка, иными словами...

— Есть, батюшка, — отзывается из коридора новый голос, несомненно, принадлежащий проводнику с татарскими усами, рабу Божию Василию.

— Ой ли?

— Шикарный даже хлеб — белый калач... Черствый немножко. Саратовский...

— Давай сюда, милый! — радостно восклицает батюшка. — Вся благодать из Саратова...

— Мерси, товарищ! — весело говорит баритон. — Саратовский? Превосходно!

— Вся благодать из Саратова, — повторяет батюшка и прибавляет: — Прежде у одних министров были товарищи, а теперь сами министры стали товарищами...

Как бы подтверждая и скорбно сочувствуя, проводник говорит на это:

— По правде сказать, неаккуратно делает масса. Я сам — солдат. Но видать, что мало образованы. Неприятно смотреть. Деспотизм сбросили с шеи — это хорошо, но предпочтительнее все-таки отдавай... А он непременно норовит сунуть да толкнуть человека в чистой одежде...

— Заповедь у них первая: «Дай проходящему лорду в морду», — говорит баритон.

— Так точно, — смеется проводник.

Вздыхает громко кто-то, может быть, батюшка. И звонким-звонким альтом врывается неожиданно, у самой двери моего купе, — детский голос:

— Га-зет, журналов!..

— Веселый журнал есть какой-нибудь? — спрашивает баритон.

— «Огонек» есть... «Вечерняя биржа»...

— Это что за веселье!

Голос батюшки деловито спрашивает:

— А почему «Огонек»?

— Двадцать копеек.

— Мм... у-гу!..

— Не желаете?

— Горяч больно.

— Из книг не желаете ли? «Дама с темпераментом»...

— С темпераментом? — переспрашивает баритон, делая ударение так же, как и малец, у которого звучит это довольно забавно.

— Бебутовой — «Дама с темпераментом», — звенит бойкий альт, — очень хорошо ее книги идут. Вот Фонвизина —

«Свободная женщина»... Данилевский есть. Тут вот есть слово *Мясников*, то вы читайте это *Мясоедов*...

— Гм... Откуда тебе это известно?

— Уж это верно! А вот книга про Сухомлинова. Есть про банкира Рубинштейна — не знаю, жив он, нет ли... «Народная революция»... «Акафист Распутину»...

Мелким, звонким бисером сыпал детский голос слова такие забавные в детских устах, и в бойком потоке этих слов вставало смутное отражение жизни с пыльной паутиной у потолка и мусором на первом плане. «Дама с темпераментом», Мясоедов, революция, стихи о Распутине — в пухлом клубке герои и толпа, вкус, спрос и предложение, наследие старого и новое творчество, наспех пекущее нечто пакостное и ничтожное... Было что-то до боли обидное в этом обилии мусора и отсутствии чего-нибудь серьезного, ценного, достойного внимания...

— Ну, значит, берем «Даму с темпераментом» — сколько за нее?

— Два рублика.

— Од-на-ко... Обдираешь ты, брат...

— Да много ль мне и нажить-то придется? Всего двадцать копеек. По гривеннику с рубля.

— А много ль ты меня убеждал-то? Две минуты каких-нибудь? Кабы мне за две минуты по двугривенному платили, я бы и службу бросил...

Нас двинули наконец. В шуме колес утонули голоса, и «Дама с темпераментом», и Сухомлинов. Я заблаговременно взобрался на верхнюю полку и приготовился к защите своей позиции от сограждан.

Штурм был бешеный до слепоты, все спшибающий и сокрушительный, с криком, визгом, увещаниями и руганью, скорбно-гражданскими воплями и знакомыми словечками из старого русского лексикона. Опрятный, чистенький вагон мгновенно налился взмокшими от пота человеческими телами, загромоздился чемоданами, корзинами, солдатскими сундучками и сумками. И когда все входы и выходы были закупорены, густой запах, — тот особый запах, в котором аромат солдатских сапог, шаровар и шинелей оригинально сочетается с запахом одеколона, колбасы с чесноком и светильного газа, — ласково затуманил сознание и окунул душу в мутный, фантастический полусон-полубред...

«Не упускайте из виду, — говорит, — укрепляйте свободу здесь...»

Я чувствую, что этот тусклый голос жует где-то внизу, в кучке сидящих на полу серых фигур, но почему он толчется

у меня над самой душой вместе с едким запахом мерзкой папиросы?

«Ваше, — говорит, — дело быть здесь, а там и без вас много. Укреплять свободу... защищать свободу»...

Свобода... свобода... свобода...

Перекидывают диковинное это слово сейчас пестрые голоса, густые и тонкие, хриплые, гнусавые и детски-ясные, ленивые и нервные, — вокруг теснота, смрад, бестолковый гам пререканий, споров, пустословия, — и все же чудесно звучит оно, значительное, широкое, как мир...

Не малою удивления достойно, что «страна великого молчания» ныне без удержу говорит, говорит и говорит.

Можно сказать, утопает в безбрежности разговоров. Миллионы голосов сотрясают воздух — порой увлекательно, язвительно, умно, дельно, но больше — бестолково, пустозвонно, нудно или с тупым и темным озлоблением. Пустословием, как шелухой семечек, засыпано все, начиная с церковных папертей и кончая платформами глухих полустанков.

И, правду сказать, что-то потеряла родная страна, вступив на путь безвозбранного многоглаголения. Чувствовалось в великом безмолвии ее глубокое и значительное; сосредоточенность замкнутой мысли, затаенная боль трагической судьбы, неразгаданная загадка сфинкса. А вот заговорила — и угасло очарование загадочности: слова известные, потертые от времени и частого употребления, взятые напрокат. И громче других — не те, в которых звучит боль и забота о родной стране, а те, в которых преобладают мотивы собственной шкуры и собственного корыта...

Несколько раз проехал я по России за последние месяцы. Пришлось путешествовать в очень разнообразных условиях и порой в оригинальной обстановке. Не ехал лишь на крыше вагона, но на буферах и в кочегарках пришлось ездить, в теплушках — тоже. Приобрел навык проникать в вагон через окно, когда двери забаррикадированы солдатскими мешками и телами. Сутками сидел на станциях, лежал на платформах вместе с мужиками и бабами, разыскивавшими, где купить хлеба. Приходилось ночевать и в реквизированных казенных учреждениях, спал на тюках бумаг, являвших собой делопроизводство не каких-нибудь там старых канцелярий, а самого Совета рабочих депутатов... Словом, вкусил меду от свободного передвижения по «свободнейшей в мире республике»...

И всюду я имел неизменное удовольствие слушать и слышать свободные речи свободного российского гражданина, уста которого недавно еще казались прочно запечатанными. Каких только схваток и столкновений я не видел, каких споров и суждений не слышал! Были ослепительно блестящие планы перестройки всего мира; были робкие вздохи о том, чтобы сохранить то, что есть, не ломать старенькое, а осторожно, с рассмотрением, бережно починить его; были буйные, озорно гогочущие призывы «взять» и были степенные, но и твердые разводы в тех смыслах, что взять — не штука, а вот как распределить без обиды, без греха?

— Как бы промежду себя ножами не перерезаться...

Когда я, усталый и измученный, укладывался спать на делопроизводстве Совета рабочих депутатов, передо мной стоял вольноопределяющийся в лакированных гетрах, с бритым пухлым лицом и утиным носом, и обстоятельно излагал мне свой план освобождения всех арестантов из тюрем.

— Свобода должна быть светом всему человечеству, исключений быть не должно...

Через три дня я прочитал в местной газете, что мой собеседник (фамилию и полк его я хорошо запомнил) изобличен в провокаторстве...

И почти все, что я слышал, казалось мне чем-то не настоящим, не своим, не очень серьезным. В речах, по внешности горячих, с слезой и скрежетом, в ругани, в ожесточении споров было больше спортивного азарта и напускного задора, чем подлинного огня, больше театральности, чем нутра, больше фразы, только что где-то ухваченной и немедленно пущенной в оборот, чем продуманной и выношенной в себе мысли.

И ни у кого не чувствовалось настоящей, сектантской веры в свои собственные призывы, планы и положения. И было очевидно, что для слушающей серой массы грядущее рисовалось смутно и загадочно. Хорошо-то оно хорошо, но как еще выйдет в конечном итоге? А пока — лучше всего, по-видимому, цыганский метод приложить. Цыган говорил: «Кабы я был царь, украд бы сто рублей и улег бы...» Не дурно бы сорвать что-нибудь в таком роде и — к сторонке...

Горизонт революционных мечтаний в народных низах за излишним простором не гнался.

— Земля? Да будет у меня земля — стану я тут, около паровоза мазаться? Да сделайте ваше одолжение, ни одна собака на нашей работе не останется!..

— От земли и в шахту, например, вряд ли охотники полезть найдутся!..

— Ну как же тогда? Всем дай земли, а в шахту некому?

— В шахте машина должна работать... Машиной!

— А чего ты там машиной наколупаешь?

— Чудак, машины такие есть... она тебе успешней человека наколупает.

— А почему тогда уголек обойдется?..

— Не помню где, на платформе какой станции, происходил этот диспут, — может быть, в Льгове, может быть, в Радакове, на курской ли или на харьковской территории, — не помню: все слилось в одну картину. Кучи лежащих и сидящих солдат, мужиков, баб. Шелуха подсолнушков. Груды людей — здоровых, рабочих, изнывающих от безделья и жаркой истомы, от скуки и безнадежного ожидания чего-то никому неизвестного. И похоже, что никто не может понять, дать себе отчет, зачем и почему он лежит в вынужденной праздности здесь, в чужом, незнакомом месте, без дела, без смысла, без радости, неумытый, полуголодный, одуревший от сна?.. Кругом — поля, простор зеленый, сизая бархатная зыбь по ржи, белые церковки на горизонте. И сердце тянется воспоминаниями и мечтой к родному углу. Давеча какой-то жидкий паренек в длинной, мудреной речи, с дрожанием в голосе, глухом, замогильном, доказывал преступность аннексий и контрибуций. Его слушали молча, с тупой сосредоточенностью, глядя под ноги и в поле. Бог весть, какие мысли бродили в головах под мужицкими картузами и солдатскими фуражками, — никто не возразил, и никто и не поддакнул...

А сейчас говорят все разом, попросту, без ученых слов: закоптелый смазчик, лакей с серебряными усами, хромой паренек с тростью, мужик в сермяжном пиджаке и полосатых портах, солдаты, старик слесарь из ремонта. Не очень толково, не очень последовательно, с подковырками и наскоками, но оживленно и рьяно.

— Ну хорошо — земля. А что ты будешь с землей делать? — спрашивает мужик в сермяжном пиджаке, и в пегих, выгоревших от солнца, усах его змеится тонкая улыбка.

— С землей? С землей что буду делать? А ты не знаешь, что с землей делают? То самое и буду делать, что ты делаешь...

— Да ведь к земле приложение надо иметь. Ты думаешь, голыми руками ее возьмешь, кормилицу? Голыми руками, милый, с ней делать нечего. Лошадку надо иметь, да телегу надо, да плужок, да борону... Всякое приложение. Все это надо заготовить, милок!

— Лошадь казна должна выдать трудящему, — возражает смазчик.

— То есть отколы именно она ее возьмет, казна? Из какого источника? Это если мы все позволим по лошадке с казны, то и казна лопнет. Очень свободно. Опять телега, колесо, сбруя... Ты говоришь: нипочем эту работу не стану работать, раз у меня земля будет? А колесник станет на тебя работать, как думаешь? А шорник?..

Мужичок говорил неторопливо, тонким ласково-язвительным голосом.

— Опять лошадь, позвольте вам заметить. Вы как об лошади понимаете? Запрет да поехал?

Он ласково оглянулся вокруг и подождал ответа. Никто не отозвался.

— Нет, она тоже, лошадь, требует, чтобы вокруг нее походатайствовали: сенца, овсеца... Ты встань ночью раз-другой да подложи ей кормку-то. Да клади-то не разом, не заваливай, а аккуратно, а то она половину съест, а половина под ногами у ней будет. В полночь встань положи да зимой перед рассветом встань... А часиков в восемь сам-то чай погоди пить, а ее попой, скотинку, и опять кормку добавь... Вот когда ты ж... у-то себе промнешь этак раз-другой, так ты, милоч, о паровозе вспомнишь: эх, мол, любезное дело — часы свои отбыл и лежи на боку... Округ земли не полежишь, милый...

— А тут, думаешь, лежим? Весь день ходишь, как черт вымазанный... А зимой мороз, снег... Намерзнут сосульки, по полпуда — ты отбей да вытри. Ходишь мокрый весь на холоду, на ветру... Ты не кушал? Покушай, попробуй...

— Я кушал... Я-а, милоч, кушал всего и скажу тебе и-менно, кто к чему приставлен сызмальства, ту линию и веди, да веди как ни моги лучше, аккуратноей — вот и выдет толк и для себя самого и для дела... Земля? Очень прекрасно. А ты имеешь понятие, как ее разработать, как сдвоить да строить, куда какое зерно бросить? Нет? Ну, и не берись! Отбывай свои восемь часов, бери тростку в руки да на прохлад выходи — проминаж делай... А там, брат, груба работа... За день намахаешься, а к ночи гляди в небо: пошлет ли Господь дождичка?..

Вырастает толпа. В спор вступают новые голоса — одни как бы с разбегу: только что подошел, не успел вслушаться и уже — вцепился колючим орешком; другие — степенно, рассудительно. Защищающие позицию смазчика бойки на слово, но легковесны. Те, что примыкают к критике мужичка, говорят меньше, но с весом. Третьи стоят, слушают молча — внимательные и суровые, веселые и праздно любопытствующие. Изредка кто-нибудь вставит слово, ни к кому не обра-

щаяся. А то вдруг заговорят двое одновременно, незаметно перескочат на другой предмет и сразу поссорятся друг с другом — из-за того, что решетовцы захватили графское имение и ни десятинки не дали ольшанцам.

— Вам, значит, графская земелька под палец, а нам не к рукам?

— Вам земля подлежит за Песковаткой, а это — нашего барина земля была извечная...

— А с Песковатки нас ивановские в дубье берут... Такие же ленинцы, с... дети, как и вы...

— Не имеют права в дубье — на то дадены комитеты...

— Поди-ка ты с комитетом... Они учителя нашего — Семена Ивановича обезличили... Он к ним благородно, с комитетом, они ему личность набок свернули: ходит теперь с завязанной шеей... Сказано: ленинцы...

— Вот оно, равнение-то...

— Равнение, а молодняк у Ольшанки весь скотом вытравили. Свобода и — никаких гвоздей... За такие подобные дела прописать бы хорошему кондрабуцию на задней части, был бы толк... А то свобода...

Слышатся вздохи — тяжкие, подавленные. В самом деле, мудрена жизнь стала. Как будто и свобода, и посулы большие, а утехи мало в том, что делается кругом, и жизнь по-прежнему трудна и невылазна.

Большой рыжий мужик с длинной бородой, сидя на мешке с каким-то зерном, тягучим басистым голосом уныло рассказывает о своих мытарствах в поисках за хлебом. Он — из Жиздринского уезда, калужанин. Хлеб у них давно приели, подвоз сократился, муки нет ни у комитетов, ни в лавках. Вот и денег много, и заработки — слава Богу — не плохи, а есть нечего. Ребятишки с голоду орут день и ночь. На них глядя, голосят бабы — хоть завяжи глаза да беги!.. Приходится вносить корректив в расстройство транспорта, — и вот вместе с объявлением свободы жиздринские мужики взяли мешки и отправились на поиски за хлебом. Ездили в товарных и классных вагонах, в теплушках и на крышах, на досках и на вязках сена, по возможности стараясь обходиться без билетов, используя широкое покровительство солдат. Ездили в Курскую и дальше забирали слушок и наугад высаживались на какой-нибудь станции и пускались в странствие по ближайшим селам и деревням.

— Я вот с пятницы вторую неделю тут валандаюсь, — говорил рыжий мужик, тяжело ворочая языком, с запинками. — Вот всего два пуда пошена разжился... Мне вот оно почти четырнадцать рублей стало, пшенцо-то, с билетом, да



и то было милиционер отобрал: нельзя, дескать, из губернии в губерню возить... Все, говорит, старый режим наделал...

— Да чего старый режим?— сердито отозвался корявый картуз.— А новый? Кто запрещает?

— Да комиссары!

— Ну! А кто комиссара выбирал?

— Да такие же, как мы с тобой. Кучка соберется: такого-то! А кто он есть, копни-ка его, чем он воняет,— в это не входят. А через что, собственно, вот у нас сейчас — ни зерна хлеба, ни гарнца муки! У нас кто губернский комиссар? Господин Че-ли-щев! Потомственный дворянин! А в Жиздринском уезде комиссаром и вовсе — живой не-мец!..

Мужик торжествующим взглядом окидывает слушателей. Они стоят, каменно-равнодушные, полусонные, погруженные в свои мысли.

— Да будь у нас хлеб-от, я бы вековечно не поехал сюда! Какая надобность! Пущай он будет десять рублей на месте — стал бы я ездить? Отдал сто рублей — вот мне десять пудов на десять недель... А ведь тут как в аду по мукам ходишь — из деревни в деревню, из села в село. Нет ли, мол, хлебца? Кто продает, а кто боится: комитеты, мол, иди к комиссару. Ну идешь к комиссару,— по прежнему староста,— снимешь еще на улице картуз-от: не будет ли ваша милость — хлебца? Да пока выпросишь пуда два, накланяешься вдосталь...

— И куда хлеб подевался, скажи на милость?— вздыхает голос за кучей мешков.

— Хлеб в народе есть,— отвечает благообразный, белокурый, румяный мужик в сером пиджаке и добротных сапогах.

— Есть, а поди выпроси,— мрачно говорит рыжий мужик.

— Вот та сторона,— белокурый мужик показывает вправо от дороги,— у ней хлеба на всю Россию хватит. Крепко живут. Там у какого мужика если до новины остается меньше двухсот — то у него уже живот болит... Верно?— обращается он к бородатому невзрачному соседу в армяке.

— Верно,— ухмыляется армяк.

— Мы там по пяти пудов крупы достали,— говорит баба с лицом гончей собаки.— Привезли сюда — милицейский присучился: нельзя да нельзя — в одну душу... Да вы, мол, что? У нас младенцы голодные! Спасибо — солдаты. С солдатами и едим нынче...

— Вам, бабам, хорошо: солдат и нагрузит и выгрузит...

— Чего ж поделаешь — детишки с голоду сидят...

Одолевает дремота. Ванут голоса, слышны зевки, тяжелое швыркание шагов, солдатские комплименты босоногим

девицам, ласковые и сердитые словца, задушевное гоготанье.

— Эх, вот полнокровная-то! Видать, с нашего уезда...

— Уйди ты, черт мордатый!

— Вы не верьте ему, барышня, он — с Ельца...

Я стараюсь вообразить, в каких чертах выльется предполагаемый социалистический строй на этих ржаных полях, каким языком будут тогда говорить между собой граждане и гражданки, — но мысль бессильна проникнуть за густую завесу, отделяющую день грядущий, а солдатское красноречие отвлекает ее в сторону этих нынешних господ положения, вершителей порядка, славных героев дня.

— Что такое служба? — говорит черный унтер в башмаках и в шинели, накинутой на плечи, невзирая на жару. Говорит размеренно, с толком, с приемами привычного оратора: — Служба есть хватк... Кто ума не имеет — уму научит, а кто умен — последний потеряет...

От скуки ли, от безделья или по другим побуждениям «товарищи» в защитной форме, — как путешествующие в тылу, так и прочно в нем обосновавшиеся, — принимают, как известно, наиболее деятельное участие в установлении нового порядка в отечестве и в разрушении старых его форм. Действуют, большей частью, без определенного плана, по наитию, по вдохновению. В одном месте помогут бабам и мужикам провезти мешки с хлебом в классных вагонах, в другом — устным порядком издадут обязательное распоряжение о таксе на яйца, в третьем — задержат поезд или прикажут отцепить часть вагонов, причем помнут слегка дежурного по станции...

Во время своих поездок я наблюдал именно такие, сравнительно невинные, проявления солдатского творчества по водворению свободы. Даже в знаменитой Царицынской республике не оказалось ничего особенно страшного. Солдатский контроль с перевязями на рукавах прошел по вагонам, проверил билеты у пассажиров в дивильном платье и у офицеров. К прочим же войнам, наполнявшим коридор и некоторые купе нашего вагона, отнесся с тем деликатным безмолвием, с каким в дореволюционное время кондукторская бригада относилась к какому-нибудь жандармскому ротмистру или путейскому начальству. В нашем купе товарищ контролер с величавой медлительностью предложил взять доплату грузной даме еврейского типа и господину в фуражке судебного ведомства — у них были билеты второго класса. Дама попробовала было возражать. «Товарищ» с перевязкой на руке спокойно, ледяным тоном сказал:

— Сударыня, в таком случае я передам вас милиции...

Деньги были немедленно вручены товарищу, он передал их следующему за ним. Солдаты в коридоре одобрительно гыгыкнули. В интересах истины должен засвидетельствовать, что никаких доплатных билетов мои спутники потом не получили. Правда, и никакой контроль к нам после не заглядывал — мудро было пробраться.

Вчерашний обыватель, нынешний гражданин российский принял эту революционную власть без видимого ропота. Молча несет новое иго, безмолвно смотрит, как новые самодержавцы торгуют выданными им казенными сапогами и штанами, щелкают подсолнушки, услаждаются ханжой, испражняются с крыш вагонов... Почтительно безмолвствует...

Мне жаль невыразимо старого солдатского облика — того, с которым мне пришлось познакомиться на фронте, — в нем была своя красота, трогательная, нехитрая, без блеску, душевная красота и детская круглость. Я вовсе не хочу украшивать дореволюционную «святую серую скотинку», — и тогда солдатская масса в своих низах имела толстый слой «лодырей», симулянтов, бездельников, уклоняющихся, — около питательных пунктов, в ближайшем резерве, всегда была непротолченная труба этой публики. Но эти отбросы армии тогда не обладали еще знанием революционной терминологии и лозунгами для теоретического обоснования своего шкурного нерасположения к окопам, держались стыдливо, робко, неуверенно, и не они определяли основной тон русской воинской силы.

Был средний солдат, пестрый, как средний мужик, но объединенный общим колоритом немножко смутного, но твердого, почти религиозного сознания долга, носивший тоску в сердце по родному углу, мечтавший о мире, жадно прислушивавшийся к малейшему газетному намеку на мир, но покорно шедший в бой. Он поражал выносливостью и терпением. Он не был храбр показною храбростью, но был способен рассердиться на противника и в этом особом сердитом состоянии совершал чудеса доблести. Жила в его душе особая — русская — мягкость и добродушие, сердечность под корой солдатской грубоватости.

Его уже теперь не видать, этого солдата. Прошло новое по необозримым рядам армии, и новый солдатский облик вырисовывается уже иными чертами, в которых углы резче, штрихи грубее, благодушный комизм утонул в мрачных тонах пугающего и отталкивающего трагизма, чужие мысли, чужие слова родят в сердце и досаду, и боль, и горькое жаление старого, утраченного... Может быть, пройдет все это, но пока

так резко изменился солдат, что даже близкого, хорошо знакомого, тесного своего приятеля — рядового 83-го Самурского полка — Семена Ивановича я с трудом мог узнать, угадать сквозь эту шелуху чужих слов и чужих мыслей...

Это был чудесный парень, мужичок не из бойких, тихий, скромный, деревенский швец по профессии и в то же время превосходный косарь и пахарь, певчий на клиросе, любитель чтения, еще больший любитель рыбной ловли, а то и просто созерцательного пребывания на лоне природы, где-нибудь на берегу речки Медведицы. Ничего яркого в нем не было, но весь он был такой душевный, славный, религиозно воспитанный, трудолюбивый и в то же время бескорыстно интересующийся вопросами, далекими от повседневных злоб его жизни, — звездами, травами, зверями, жизнью чужих народов и судьбами родной общественности.

Было ему лет тридцать пять, когда его, как ратника, позвали защищать отечество. Оставил он жену и трех детей. Пошел в слезах, но это не были слезы ропота. Писал трогательные письма с войны, писал о своей тоске, о боях, о противнике, о том, что видел, о слухах насчет мира... И видно было из этих писем, что все мысли его дома, у своего угла и ни капли воинственного задора в нем нет, нет и злобы к врагу, — но воин он хороший, надежный, твердый и дело защиты родины исполняет так же добросовестно и усердно, как всякую работу, какую работал в родном углу.

Месяца через четыре он был ранен на разведке, через несколько месяцев лечения где-то в Вятской губернии вылезился и снова вернулся в строй, одним лишь огорченный, что так и не пришлось ему взглянуть на детишек: домой не пустили, признали годным для новых боев...

«Не могу я вам своей скуки описать, очень тоска давит мою душу, — где хожу я, и все тоска меня мучит», — писал он своей семье.

И почти в каждом письме неизменно, где-нибудь в уголку листка, значилась коротенькая утешающая прибавочка: «Когда я с вами увижусь — не знаю. Пока на войне наши бьют и слышно что-то скоро мир, а хорошо не знаем»...

«Дожидаем мир, так что думаем к последним числам сентября быть дома. Догадываются, что скоро мир. Австрийца начисто разбили, а германца еще плохо разбили...»

Но в письмах к своим приятелям — и ко мне в том числе — он отметал этот невинный оптимизм и с горечью говорил о «проклятой забаве» — войне. Ни капельки воинственного задора не чувствовалось в его строках, и в то же время твердо

верилось, что долг свой перед родиной Семен Иваныч выполнит до конца.

«Когда мы дождемся покою? Что это за адская за штука да еще злобная и всемирная почти? Бог зло не любит и не потерпит неправедным и обижающим нас, если мы не обижаем. Вряд ли толк будет из этого. Не знаю, что цыгане (румыны) помогут, нет ли. Сейчас толкуются на одном месте. Я расспрашивал много, но разно говорят. Один мадьяр — тот указывает, что «немец нас в руки взял и в каждую пропасть нас пхает». Вижу, недовольны немцем венгры. Хотя и горд Вильгельм, но наскочил на Николая II — исподтишка да исподволоки вместо трех месяцев вот третий год!»...

На войне Семен Иваныч остался тем же славным мужиком, каким был и дома. То хорошее, душевное, ясное, что привлекало к нему мое сердце, не изменило ему и в самой тягостной обстановке походной жизни, где редкий человек не издергивается нервно, не озлобляется и не грубеет.

«Кротость моя изменилась, — писал мне как-то он. — Я стал груб на слова, хотя только для лодырей, которые ленятся принести себе готового супу и каши. Смотришь: молодой, а ждет, когда ему старик принесет под нос. Выговорю, но выговорю без сердца: нужно Русь обуздать, очень сера. А вообще я имею тут много друзей, каждый с рвением ко мне примыкает. Я не выбираю, что земляк или кто, — только благомерную совесть. У меня приятели всюду хорошие были. Я с какой бы квартиры у поляков ни уходил, хозяева добрым словом провожали: «То с добже, пан, мне с вами, чего мы ни бросим на тебя, как на своего тату», — то есть, отца, — «Лучше было бы нам, кабы вы у нас были»... Да, дисциплину я узнал хорошо, и прошел много свету, и видел разные секты и религии, народы и города, видел свет, но лучше нашего Дона не нашел. Был в Киеве, во Львове, в Миколаеве и многих других, но ничего меня не интересует, ничего не хочу, как речку нашу Медведицу да Крутенский барак и Ближний Березов, — но да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли»...

На третьем году войны Семену Иванычу неожиданно подвезло: сопровождал он раненого офицера в Москву, а офицер схлопотал ему место в одном из московских госпиталей. Как ни громадно было впечатление от Москвы, всего пространнее писал Семен Иваныч в своих московских письмах о зоологическом саде, куда «первым долгом» отправился он, чтобы поглядеть на тех самых зверей, о которых много читал и любил беседовать. Но своей новой служебной обстановкой он тяготился — природная его добросовестность не изменила ему и тут.

«Санитарные команды ханжу пьют почем зря и то говорят: плохая служба и плохой харч. А что они делают! Меняют, покупают у солдата разные вещи. Отдавай солдат — все равно отберут. Тот за 50 копеек, за рубль отдает вещь, за которую четыре-пять рублей на Сухаревой возьмут. И говорят: плохая служба. На позиции хуже харч бывает, ну, наш русский солдат не обижался никогда, плохой, хорош ли харч,— кушает себе преспокойно. Не знаю, что за выносливость у солдата! Будет ли, нет ли ему почет за нее; вряд ли будет»...

И вот неожиданно пришло новое, пришла свобода и с ней особый почет солдату. Семен Иваныч немедленно известил меня письмом о необычайных событиях, вскоре перестроивших весь его душевный уклад.

«Было торжество в Москве, шли со знаменами, пели разные марсельезы, знамена с надписями: «Да здравствует социал-демократическая республика и 8-часовой рабочий день!» Шли даже бухары или сарды, тоже несли знамя и пели по-своему. Много я видел разных происшествий за войну, но такого торжества не видал. Остаюсь ваш кум и гражданин Семен Иванов».

После того я получил от своего кума и гражданина еще одно письмо, в котором категорически решался вопрос о Дарданеллах (что проливы нам не нужны) и вообще о целях войны: пора, дескать, перестать валять дурака, лить кровь ради того лишь, чтобы богачи Англии и Франции набивали себе карманы. Усеяно было это письмо новыми словечками, дотоле чуждыми лексикону моего кума, и, может быть, этот новый стиль был причиной того, что в письме кума не чувствовалось уже обычного аромата простоты и душевности. Читал я знакомые кривые строки и думал, что этот наскок и напускное рычание в сторону «исплутаторов» — временный налет в душевном настроении моего приятеля, и что здоровый инстинкт выведет его, в конце концов, на правильный путь.

Но вот весной мы встретились в родном углу, и — признаться — я несколько поколебался в своей уверенности: что-то новое прочно уселось в душе моего друга и дымной завесой спрятало ее прежнюю ясность и мягкость. Кто-то подменил как будто Семена Иваныча: стал он говорить важным басом, втягивать подбородок, употреблять мудреные словечки и — главное — ни к селу ни к городу тоном плохого актера произносить обличительные речи против каких-то буржуев — с напускным пафосом и «дрожаментом», как отметил общий наш приятель, казак Андрей Семеныч, оставшийся на старой точке.

Обрадовались они оба друг другу при встрече, но тут же сцепились на злободневном вопросе.

— Ну как у вас там, в городах?— спрашивал Андрей.— Что в счет военных действий говорят?

— Более часть говорят о рабочей жизни,— отвечал, важно втягивая подбородок, Семен Иванович,— говорят также об идее человека, к чему его призывает природа... Нужна ли она ему война или нет?

— Так-так-так...

— И конечно, более часть все ждем, чтобы эта проклятая, крокодильная война поскорей кончилась...

— Да вы бы не ждали, а взяли бы да кончили... А то кабы нам, казакам, одним не пришлось ее кончать. Что-то мы глупым своим рассудком не пойдем вас, пехоту: или вы заробели, кишка тонка, или умны дюже стали — не признаете настоящих вещей, стали называть их обратной стороной?..

Семен Иванович помолчал и не спеша возразил:

— Хороши законы были даны самим Богом — убивать человека запрещалось, — а сейчас все просвещены и образованные, а не делают так. Ты говоришь: кишка тонка, заробели... Нет, наши в поле не робели...

— И на печке не сгорят,— иронически вставил Андрей Семеныч.

— Ладно, ладно. А мы постанов вопроса вот какой делаем: что война, кому она нужна? и для чего? Генералам и офицерам украшать груди заслугами военной славы? или буржуазии — набивать карманы? Душить народы аннексиями и контрибуциями?

— Научился ты ученым словам, Семен, и смысл свой затемнил. Какая там буржуазия, когда на нас лезут, нас бьют, а мы будем то ту, то другую щеку подставлять? Да терпеть я этого не могу, чтобы сдачи не дать! Стыда головушке! Мы, что ль, зачали? Вы зачем наши природные земли-то не отстояли! Аннек-сии! Эх ты, крупа! А если он сюда придет, Вильгельм-то, мы тоже должны ждать: милости просим, мол?

— Нет, ты мне скажи, сколько за эту войну побитых и за что легли? Какая им награда?

— Убитые получают нетленные венцы...

— Пушай получают их все советующие войну, предлагающие и обсуждающие,— такие, как Ллойд Джорж и другие. А я вот был эти годы как на страшном суде... А спроси: из какого интересу? Из того интересу, что один властитель вздумал: «Давай себе земли завоюем!» — «Чем и как?» — «Да побьем своих и задушим врага». Другой — тоже. И связали в кошмар войны весь мир и радуются!

— Брось ты эти слова, Семен!

— Я по семи суток разутый и раздетый ходил — имею право говорить и дать советы...

— А я самовидец, как наша братия продавала казенные вещи... подметки у сапогов отрезали и продавали...

— А я тоже самовидец, как человека изранят, искалечат, а потом что же? Начинают лечить. А как лечат? Да так: нога сведена у солдата от поражения, приходит врач — ка-ак даст ногой по ноге... топнет, а то по-простому наступит. В солдату три или четыре пуда, а в докторе — по крайней мере, пудов семь...

— Ну это ты, Сема, никак уж пули льешь...

— И этот лекарь сперва переломит пополам ногу, а потом уж лечит. Да и залечит до смерти человека. «Притворяется...» Нет, посадил бы его самого в окопы, да на солдатский обычай, да на старую свинскую дисциплину...

— А что ж по-вашему, и дисциплины не нужно? Дисциплина, брат, нужна, без дисциплины мы все полезем в начальники, никто не захочет подчиняться...

Спор моих приятелей, постепенно захватывая новые и новые стороны современности, дошел до проливов, до Милюкова, до аннексий и контрибуций, до буржуев и трудящегося люда. К буржуям Семен отчислил всех прапорщиков. Верх был за ним, потому что он подавлял Андрея мудренными словами. И хотя чувствовалось, что эти слова — нечто наносное, чужое, но было смешно и досадно, когда славный мой кум и гражданин, тыкая себя большим пальцем в грудь, учительным, не своим тоном изрекал:

— Кружили голову темному человеку, запутывали его, как муху в паутину. И бедному человеку некуда было выйти из этой паутины...

— Да брось ты это, Семен... душу измотал...

— Но да воссияет заря, — не слушая и не внимая, ораторствовал кум, — и лучи солнца да истребят всех пауков...

— Тогда от мух не продохнешь...

Мы, конечно, расстались приятелями, но было отчего-то грустно, чувствовалась потеря единого понимания жизни и общего языка, чувствовалась назойливая власть чужих слов над простым и славным человеком, и ничего не выиграл он от этих слов, может быть, в своем месте и резонных, но в его устах смешных и легковесных. Чужих, странных, необыкновенных слов много вторглось ныне в простую русскую жизнь, и ничего кроме недоумения — порой веселого, а больше грустного — они пока не внесли.

— Вон с Точилкиных казак Тужилин на съезде побы-



вал, — рассказывал Андрей, — приехал — прямо заел жену учеными, вежливыми словами. Бык его рогом толкнет, он ему сейчас: «Из-ви-няюсь!» С жены первым долгом по приезде отчет потребовал: «Сколько десятин у нас в земельном фонде? Как у тебя аграрный вопрос насчет посева проса? Почему не управилась в мое отсутствие? Вопрос исчерпан, я тебе покажу сейчас самоуправление по форме, научись у меня ходить, как по сырым яйцам...» Прямо — заел, чистый Каин...

Может быть, и нет нового в этом вторжении в жизнь новых слов и новых понятий, пока смутных и сумбурных, — было не раз пережито нечто подобное, — но нынешний масштаб безвозбранного эксперимента под их флагом на руинах старого уклада вселяет невольную тревогу. Когда «товарищи» уровня (в лучшем случае) моего кума и гражданина Семена Иванова не только выдвигают, в интересах своей шкуры, спорные лозунги, но и претендуют на безапелляционное вершение общественного порядка и без колебаний вторгаются во все стороны безответной русской жизни — ничего кроме жути я, вчерашний обыватель, ныне безмолвствующий гражданин российский, не испытываю...



## В СФЕРЕ КОЛДОВСТВА И МУТИ

В часы раздумья над мутью, горькой и трагической, наполнившей мир, над кровавым безумием, окутавшим человечество, я часто мысленно переносюсь в прошлое тихих, идиллических уголков, ныне втянутых маховым колесом истории в общий водоворот. В них я ищу зерно нынешних апокалиптических распрей, чтобы выяснить себе корни современного перерождения народа, — и ничего не нахожу, кроме игрушечной первобытной ясности и простоты взаимоотношений, проникнутых человечностью даже в темных явлениях междоусобий и национального антагонизма. Те же как будто люди, но душа, тронутая процессом «расширения и углубления революции», была другая, подлинно человеческая душа...

По связи с святками вспоминаю один судебный процесс, следы которого и сейчас можно найти в архиве В-ского станичного суда. Шел он в условиях самой широкой, никем и ничем не стесняемой гласности, — даже публика порой принимала живейшее участие в разборе дела, вставляла более или менее веские замечания, вступала в словопрения с тяжущимися сторонами, давала судьям советы, — в станичных судах это водится и доныне.

Процесс вместил в себе в одинаковой степени как элементы национальной распри, так и самую обыденную вражду на деловой почве. Крестьянин Лялин снял в аренду у станицы участок земли. На тот же участок имел виды казак Федор Дементьев. Но на торгах земля осталась за Лялиным, чем Дементьев и его сторонники были чрезвычайно возмущены: земля казачья, а пользуется ею пришлый люд, «наброд»... Чтобы донять чем-нибудь конкурента, казак Дементьев подал в станичный суд жалобу на жену своего соперника, крестьянку Дарью Лялину.

Сущность этой жалобы в реестре суда изображена так:

«Дело по обвинению казаком Федором Дементьевым крестьянки Дарьи Лялиной в угрозах причинить ему, его семейству и его скоту вред колдовством — насажать килы на теле».

Председательствовал Стахий Фролов, рыжий, борода клином, человек умственный, начитанный в церковном Писании и не дурак выпить, вмещавший в себя, несмотря на тощую комплекцию, огромное количество горячительных напитков без видимых последствий. Зато второй судья — Тимофей Толмачов — любитель мудреных слов, — ослабевал быстро и во время судоговорения громко икал. Но смотрел строго. Кудрявый, серебристый Федул Корнеевич, третий судья, человек добродушный и благожелательный, любил склоняться к миру, но тут все-таки угрожающе держался по отношению к русским.

Жалоба Дементьева была длинная, обстоятельная и изобиловала кудрявыми, непонятными выражениями. Письмоводитель Ульян Дьяков, заросший бородой от самых глаз, с трудом преодолел бумагу, спотыкаясь, делая частые и томительно длинные паузы. Прочитал и с значительным видом перевернул несколько страниц толстой книги с желтыми, захватанными листами, которая носила общее название «Законов», а в действительности была лишь десятым томом.

Председатель — Стахий Фролов — каплянул, поправил судейский знак на груди и обратился к истцу:

— Говори словесно, Федор Семеныч, в чем состоит иск и как было дело.

Судья Толмачов икнул и добавил:

— Выясни косвенные этому делу факты...

Обвинитель Дементьев, плотный, чернобородый человек в сером военном пальто с погонами ефрейтора или «приказного», с медалью на груди, вытер желтым платком потную шею и вежливо откашлялся в руку.

— Лялина Дарья об Рождестве, при всей публике, угрожала мне, моему семейству и скоту своим волшебством... — заговорил он дребезжащим, почтительным тенорком и показал большим пальцем назад, через плечо. Этот магический жест выдернул из пестрой толпы, не нашедшей места на двух скамьях у стен и стоявшей в положенном расстоянии от решетки, отделяющей судей от тяжущихся, пожилую женщину тощего, но боевого вида, одетую почти на городской манер, с шалью на плечах и в красных туфлях. Она подвинулась к решетке и стала рядом с обвинителем, который продолжал:

— Совершить, разумеется, что-нибудь вредное для здоровья... «Помни, — говорит, — обед и полдни!»

— Крупная сурьезность! — сказал судья Толмачов и pokrutil головой.

— И действительно, так и вышло: после этих угроз случилось — у одной коровы и у одного быка из кожи вышли шишки...

Дементьев опрокинутой горстью обозначил внушительный размер шишек. Помолчал и добавил:

— Под названием килы... Потом у моей жены Марфы в то же время случилось... в заднем мочевом канале... запор...

— Подходит под итог законных статей! — одобрительно сказал судья Толмачов.

— А свидетели тому делу кто? — спросил председатель.

— За лекарем ходили, за Егор Ивановичем Мордвинкиным, — он подтвердил. Человек опытный. Помог. Говорил, одним словом: все эти болезни от насмешек злых людей...

— А на кого сомнение имеешь?

— Именно на Дарью Лялину...

— Эх, Федор Семеныч, и не грех тебе? Глянь на иконы! — вступает рядом стоящая Дарья Лялина.

— Окромья некому, потому что эти народы русские тем и дышат — чародейством и мошенничеством!.. Они нас, казаков, скоренили!

— А вы не скоренаете? — обвинительным тоном вопрошает обвиняемая.

— Молчи!.. Наброд!.. — сурово кидает в ее сторону обвинитель.

«Наброд» — выражение оскорбительное, и Дарья Лялина сдержанно, но строго замечает:

— А вы поаккуратней! Вы не у себя в квартире!

Суд относится к завязавшимся прениям с эпическим спокойствием. Председатель равнодушно говорит:

— Лялина! Ты не кипи, как самовар, а говори словесно...

— Господа судьи! — восклицает обвиняемая. — Как хотите судите, не увлекайтесь ни дружбой, ни родством, а в волшебстве я себя виноватой не сознаю!.. Все это по злобе на нас, чтобы с участка согнать, — вот и придумывает...

— Я по крайней мере — казак, служил и медаль имею, двух сынов на службу справил, — с достоинством возражает на это Дементьев, пальцем указывая на ту сторону груди, где у него висит медаль. — А вы — наброд! Ты какое имела право обзывать казаков — «рассейскими лаптями»?..

— Я не обзывала!

— Свидетели есть! «Я об казаках нисколько даже не понимаю», — это чьи слова? А кто поднимал ногу да пальцем стучал по подошве: «Вы все, казаки, одной моей подметки не стоите»?..

— Когда-а! То-то!..

— Подходит под итог законных статей! — зловещим тоном бормочет Толмачов.

— Вы уж Богу помолитесь да помиритесь, — говорит

судья Федул Корнеевич. — Повинись, Дарья, а то остобнем! Ей-Богу, остобнем!..

Председатель вспоминает, что надо выслушать сперва свидетелей, и останавливает разгоревшиеся прения сторон.

Свидетельница Татьяна Тройкина показывает:

— По этому делу ничего не знаю. Слыхала только, говорила она, Дарья Лялина: «Накроется, мол, белым полотном».

— К чему же эти слова? — задает вопрос председатель.

— Не могу знать — к чему, я только собственной губой брехала, это хоть из-под присяги покажу...

Свидетель Анучкин подтвердил:

— Именно это самое было — угрожала Лялина Дементьевым по колдовству наслать болезнь, и Марфа Дементьева страдала потом от шишек, которые лекарь Егор Иваныч при всех признавал: килы...

Третий свидетель — Яков Тройкин, у которого спина пиджака была выпачкана белой глиной, что служило явным указанием на предварительное приятное времяпровождение где-нибудь за полубутылкой у выбеленной стены, показал решительнее всех:

— Лялина знает, как присадить килу. В молодых людях у нас нередко от нее болезни... от ее угроз... И также на скоте...

— А папирос «Зефир» кто тебе покупал? — обличительно говорит Дарья Лялина.

— Это — не ваше дело! — спокойно отвечает свидетель, уступая место у решетки эксперту, Егору Ивановичу Мордвинкину.

Это почтенный человек с медной лысиной и длинной, узкой бородой, русой с проседью. Он держится с чрезвычайным достоинством, нетороплив в словах и движениях.

— Действительно, Марфу Дементьеву я лечил от кил, — говорит не спеша Егор Иваныч. — На глазах у ней килы были. А у свата Дементьевых лечил быка, коров и лошадей. Лечу я молитвами святых и стихами. Шишки, которые в просторечии называются килами, — дело пустое, надо знать лишь человека, кем посажены. Вот змея укусит — это голос! И также, когда делается человек.

После этого показания прения сторон вспыхнули еще жарче. Принимал в них участие и муж Лялиной, и некоторые добровольцы из публики, и свидетель Тройкин с белой спиной, напомилавшей стучание пальцев по подметке и оскорбительное выражение «российские лапти».

Потом суд не удалился на совещание, а удалил из судейской комнаты всю публику, свидетелей и самих тя-

жущихся, чтобы без помехи обсудить резолюцию. Последним выходил из залы заседания обвинитель Дементьев, уж в дверях восклицая голосом отчаяния:

— Житья нет, господа судьи! Сажает килы!..

— Наклеветал чистой брехней, господа судьи! — донесся на это из-за дверей крикливый и боевой голос Лялиной.

Суд после недолгого совещания признал доказанным факт колдовства и постановил крестьянку Лялину двухнедельному аресту при станичной тюрьме.

Решение, конечно, не превосходящее премудрость царя Соломона, но и свободное от упрека в излишнем членовредительстве. Если сравнить его с тучей кровавых приговоров современности, вынесенных на наших глазах тучей революционных трибуналов в процессах еще более упрощенных и фантастических, чем дело о сажании кил, — то сердце без колебания устремляется к старому порядку, к старому мироощущению и старой душе человеческой, не усугубленной «революционным сознанием»...

Лучше она была. Право, лучше...

## ПРИМЕЧАНИЯ

При жизни Ф. Крюкова вышли два сборника его произведений: «Казацкие мотивы. Очерки и рассказы» (Изд. редакции «Русское богатство». — Спб., 1907) и «Рассказы» (Т. 1. — Книгоиздательство писателей в Москве, 1914).

Печатался в журналах «Русское богатство», «Северный вестник», «Русские записки» и в газетах «Русские ведомости», «Петербургская газета», «Донская волна», «Донские ведомости», «Свобода России».

В советское время только рассказ «Шаг на месте» был перепечатан из «Русского богатства» (1907. — № 5) в книге «1905 год в русской художественной литературе. Сборник произведений» (М., 1926).

Все остальное лежит пока нетронутым пластом в дореволюционных журналах и газетах и указанных выше двух сборниках, давно ставших библиографической редкостью.

В настоящее издание вошла небольшая часть наследия писателя, но и она может служить подтверждением высоких оценок его таланта, приведенных во вступительной статье. Надо надеяться, что в недалеком будущем творчество писателя предстанет перед читателем в наиболее объемном виде, включая и неопубликованное, хранящееся в архивах Москвы, Ленинграда, Ростова-на-Дону.

В начале своего творческого пути Ф. Д. Крюков, как и многие русские писатели, проявил интерес к истории, в частности к истории казачества. В 1892 году он печатает под именем А. Березинцева «Очерк из быта стародавнего казачества» — «Гулебщики» (Исторический вестник. — 1892. — № 2).

...Время Петра Первого. Три казака из Пятиизбянской станицы поехали в татарские аулы добывать ясырь. Обычно это значило — пригонять пленных, стада, привозить богатую утварь. Таков был древний промысел, который становился как бы естественным предпринятием смелых, сильных, находчивых степняков, умеющих нападать и поспешно скрываться.

На этот раз Никита Белоус — вожак группы, Ефим Багор и самый молодой — Филипп забрели в далекий аул, угнали коней, благо что кро-

ме стариков и баб там никого не было — татары, в свою очередь, ушли на грабеж в горы или к морю.

Казаки пригнали добычу в Астрахань, продали, на деньги набрали покупки. Бедовые люди. Широкие натуры в драке и гульбе. Такими были казаки в давние времена.

Но отчаянная смелость не всегда спасала. Когда возвращались, на них напали калмыки. Конь Филиппа зацепился копытом за пень. Настигла погоня — убили казака. «Прябежал степной волк, понюхал лежавшее тело и, сев на задние лапы, а передние подняв кверху, протяжно и тоскливо завыл... И далеко по степи понеслась печальная, голодная и страшная песня...»

Крюкова привлекает и история освободительной борьбы казачества против самодержавной политики Петра. Он публикует в 1894 году рассказ «Шульгинская расправа (этиюд из истории Булавинского возмущения)».

На Дон, как в обетованную землю, стекались обиженные, голодные и босые люди из Руси, притесняемые лиходеями — дьяками и воеводами. Искали край, где простор и воля, «живут — не тужат и никому не служат». Таким я было Дикое поле.

Но вот царь распорядился бежавших «людишек и холопей» вернуть назад. Беглецы не знают, что делать. Тогда на помощь голытьбе приходят «выросшие на воле, не знавшие ни воевод, ни неправедных судей, привыкшие жить «при войсковой булаве да при своей голове» — казаки. Их повел против царского воеводы Юрия Долгорукова, беспощадного карателя, Кондратий Булавин. «Безмолвная, зверская резня закипела в станице. Ни пощады, ни жалости тут не было, была одна страшная месть озлобленных и оскорбленных людей своим притеснителям. В какой-нибудь час все было покончено. Тысяча солдат, десять офицеров и полковник князь Юрий Владимирович Долгорукий — все были перебиты и перерезаны. Пощажены были лишь старшины». Так заканчивается этот рассказ, прославляющий народного героя Булавина и его сиодвижников.

Но очень скоро писатель находит свою тему, в литературе до него еще никем не тронутую, — описание быта и народных характеров донского казачества — тему, богатую материалом, народным колоритом, красками. И тема нашла своего яркого художника, занявшего достойное место в русской литературе, по характеру близкое его предшественнику Глебу Успенскому.

Примером зарисовки бытовых сцен в духе Глеба Успенского может служить рассказ «Пособие» (1894).

...Станичный сход. Обсуждается заявление Андрея Ретивого: «Имею самую крайнюю нужду в прокормлении хлебного довольствия как себя, так и своего семейства. А также нет у меня никаких источников, из чего бы можно было приобрести себе пропитание по такому бедственному и неурожайному году; поэтому вынужден прибегнуть к вашему благородию под покровительство и всепокорнейше просить доложить избранным от общества, не благоволят ли выдать мне из станичного хлебного магазина ссудного хлеба на пропитание жизненных припасов по вашему усмотрению».

Так кудряво любили выражаться гоголевские грамотеи. Отличный слух,



улавливающий оттенки разговорной речи, был уже в эту раннюю пору литературного труда у Крюкова. Через интонацию низкопоклонной просьбы, многословной и неотвязчивой, передает он и прискорбную, и комическую сценку, когда Андрей склоняет голову перед сходом. Или вот:

«Не имея средств по бедности моей, чтобы обеспечить себе покупку для предстоящей зимы дров для отопления Дома и варения пищи; примох приклонных летах, и одержимый хронической реumatизмоу всего корпуса, безвсякого со стороны поддержания; опасаясь, чтобы не застыть и не покончить дряхлую жизнь с холоду и без приготовления пищи», — это из рассказа «Старость» (1892), прошение пономаря.

Сход постановил дать пособие. Но возвращаясь домой, Андрей зашел в кабаk, где пели трогательные народные песни. «Он был художник в душе, сам пел превосходно, любил слушать хорошее пение»... Особенно нравились:

Болит, болит мое сердечушко,  
Болит оно тяжело.

«Песня эта рвала сердце Андрея тоской, к горлу и к глазам у него подступали слезы», потому что пропал его сын Митрофан, мобилизованный в армию, не вернулся: умер от холеры.

Плачет Андрей под эту песню, вспоминает дорогого сына, напивается допьяна, а на улице встречается с атаманом. Рассерженный атаман ударил бедняка, отказал в пособии. Но через две недели сжалился. Андрей пообещал атаману за его доброту мешок картофеля. И снова — частые суетливые слова:

«Я вам послужу, ей-Богу, послужу, ей-Богу, послужу... Я вас не забуду, вашбродь... Поверьте моей совести, я вас не забуду...»

Все выше поднимавшийся в своем мастерстве прозаик находил словесные средства, чтоб отразить и резкие социальные контрасты, и живую душу униженного человека.

Красивое, животворное, игривое и радостное предоставляло ему бытие простого народа с его открытостью, творческим умом, юмором.

Вот словесные обороты, которые он подслушал у народа: «Дело было под Полтавой, баба свистнула октавой» («Спутники»), «Деревня теперь уже ни в чох, ни в мох, ни в птичий грай не верит» («Без огня»), «Сколько раз я сам, собственной губой, говорил тебе: «Не бей, мол, Никитушка, она (жена) годится в дождь куда послать» («Счастье»), «М-молчать! Я из тебя эту пыль выбью!» («Счастье»), «Я и на гвозде усижу», «С тоски печали шея вровень с плечами», «Дай ему по зимним рамам (по глазам)», «Ты мне попадешь еще под палец» («На речке лазоревой»), «Денег у него — как грязи», «А зачем нам молиться? Нас и так Бог боится», «Вы не глядите, что я плохо одет, так у меня и дома ничего нет» («Отрада»), «Гнет в дугу государева слугу», «Говори! Действуй!.. Мури, брат!.. Дроби на самые мелкие дроби!..» («Шквал»), «Говорят: гроб — не коляска, ехать не тряско» («В камере № 380»), «Сердита — давно не бита». «Соломенными

костылями подпираться», «За мое ребро не поддели — мне и не больно» («Таня»).

В народном слове Крюков ощущал поэзию и силу.

У Крюкова обычный тон в его повествованиях о народе — любовь, сочувствие, понимание души. Он снисходителен к человеческим слабостям и порокам, пишет о них с улыбкой, если они вызваны тяжелыми условиями существования.

Взять хотя бы очерк «Угловые жильцы». Как до этого Л. Толстой ходил по переписи и описал городские трущобы, знаменитые работные дома — Ржанов дом, Ляпинскую вочлежку, Хитров рынок, так и Крюков, повторяя его стремление помочь бедствующим, пошел как переписчик населения в петербургский пятиэтажный дом, известный под двумя названиями — «Пропартур» и «Васина деревня». Первое связано с поражением в русско-японской войне 1904 года, второе — по имени владельца, хищника Егора Васильева. Народ нахлынул в этот грязноватый дом из деревни, спасаясь от безземелья. Но все мечты у них — вернуться домой. Жильцы спрашивают:

«— Для чего это, господин, переписывают? Может, нам к празднику рубликов по сту дать хотят? Не худо бы...

— Да нашему брату когда давали? У нас взять — это так...

— А что брать-то? Горсть волос... и тех не наберешь...»

Переписчик удручен видом нищеты, тесноты, сырости в квартирах, где нечем было дышать.

Во дворе — мелкая голодная детвора. Как воробьи, они высматривают, где бы уловить добычу, разбивают в себе приемы нападения и защиты.

Очерк, напечатанный в 1911 году, содержал обличительный материал особой силы. Крюков как бы подводил итог периоду, который считается столыпинским. Процесс раскрестьянивания, превращения земледельца в горожанина, обитателя «Васиных деревень» — вот что принесли стране те годы (Русское богатство. — 1911. — № 1).

Крюков бывает саркастичен, когда видит алчность, лицемерие, маскировку подлых дел. Таков его памфлет «Воины-черноризцы» — о разврате, чревоугодии некоторых духовных пастырей народа. При этом Крюков опирался, как всегда, на фактический материал. Вот что рассказывает возница о монахах:

«Ах, приятно живут, в рот им оглоблю! Харч вольный, рыбы — сколько хошь, мадамки — любую выбирай! Пойдут этта на реку купаться — вот и они из лесу. Загогочут, братец мой, как меренья, — сало-то в их играет... У-ух!..» (Русское богатство. — 1907. — № 5. — С. 59).

В дальнейшем творчестве Крюкова происходит нарастание критичности в отражении бурных драматичных событий эпохи, а в дальнейшем и некоторой растерянности перед ними.

Но самое главное в таланте Крюкова, что определило все его творчество, — это был писатель от земли, первородной народной основы. Отсюда — радость и печаль настроения. С этим пришел он в «Русское богатство».

КАЗАЧКА (Из станичного быта). Впервые — Русское богатство.— 1896.— № 10. Вошел в сборник «Казацкие мотивы».

ИЗ ДНЕВНИКА УЧИТЕЛЯ ВАСЮХИНА — Русское богатство.— 1903.— № 7, 9. Вошел в «Казацкие мотивы».

К ИСТОЧНИКУ ИСЦЕЛЕНИЙ — Русское богатство.— 1904.— № 11, 12. Вошел в «Казацкие мотивы».

ВСТРЕЧА — Русское богатство.— 1906.— № 11. Вошел в «Казацкие мотивы». Написано под впечатлением расправы царизма над перводумцами.

ОТРАДА — Русское богатство.— 1909.— № 9.

ПОЛЧАСА — Русское богатство.— 1910.— № 4.

В КАМЕРЕ № 380 — Русское богатство.— 1910.— № 6. Вслед за рассказом журнала поместил стихотворение пролетарского поэта Е. Придворова (Демьяна Бедного) на ту же тему страдания русского революционера за правое дело.

#### ТРИ ПЕСНИ

Чудных три песни нашел я в книге родного поэта.  
 Над колыбелью мою первая песенка пета.  
 Над колыбелью мою пела ее мне родная,  
 Частые слезы роняя, долю свою проклиная.  
 Слышали песню вторую тюремные своды.  
 Пел эту песню не раз я в мои безотрадные годы,  
 Пел и цепями гремел я, и плакал в тоске безысходной,  
 Жаркой щекой припадая к железу решетки холодной.  
 Гордое сердце вещует: скоро конец лихолетью!  
 Дрогнет суровый палач мой, песню усывавши третью.  
 Ветер споет ее буйный в порыве могучем и смелом  
 Над коченеющим в петле моим опозоренным телом.  
 Песни я той не услышу, зарытый во рву до рассвета...  
 Каждый найти ее может в пламенной книге поэта.

МАТЬ — Русское богатство.— 1910.— № 12. Вошел в сборник «Рассказы».

ЧЕЛОВЕК — Русские ведомости.— 1910.— 8 дек.

СЧАСТЬЕ — Русское богатство.— 1911.— № 9.

БЕЗ ОГНЯ — Русское богатство.— 1912.— № 12.

В статье «Что делается в народничестве и что делается в деревне?» В. И. Ленин писал в феврале 1913 года, что «крестьянская демократия... жи и ва», и в подтверждение своей мысли сослался на рассказ Крюкова «Без огня». Под свежим впечатлением от прочитанного Ленин привел из рассказа слова сельского священника о 1905 году: «... никогда не было такого *ужасающе спокойного* (подчеркнуто Лениным), молчаливого отпадения от церкви, как ныне. Точно дух жизни угас в церкви. Повторяю: не одна интеллигенция ушла,— народ ушел... надо в этом соизнаться,— я ведь два года был сельским священником».

Вторую, более обширную выписку из рассказа Ленин привел как

доказательство мятежного настроения крестьян. Священник рассказывает о своих проповедях: «Эти самые свободы объяснял и все прочее. И как слушали! Я-то думал, что уж шире того, что я открывал, и открыть нельзя, а нет... проникали в деревню и другие речи. И новые-то разъяснители заварили кашку много погуще: насчет земельки, равенния и господ. Конечно, мужички поняли и усвоили это моментально» (последняя фраза подчеркнута Лениным.— Т. 22.— С. 366—367).

СЕТЬ МИРСКАЯ — Русское богатство.— 1912.— № 1. Вошел в книгу «Рассказы».

МЕЧТЫ — «Рассказы».

ЗЫБЬ — «Рассказы».

Еще в раннем очерке «Казачьи станичные суды» (Северный вестник.— 1892.— № 4) Крюков проводил важнейшую для него мысль о значении народного самоуправления, о судах, которые должны быть независимыми от администрации, основываться на народном представлении о чести и гражданском долге.

Право суда в прежнее время — напоминал он — принадлежало всему станичному сходу (или Кругу), который избирал из своей среды нескольких представителей — «депутатов». Особенно важно, что существовали неофициальные суды поселкового атамана и стариков. Они действовали непосредственно в казачьих хуторах, стояли ближе к быту населения, охватывали более широкий круг местных спорных дел, были демократичнее станичных судов, стесненных рамками Уложения о наказаниях. Такие народные суды, по мнению Крюкова, и надо было восстановить во всех правах.

ЧЕТВЕРО — Русские записки.— 1915.— № 5.

ДУША ОДНА — Русские записки.— 1915.— № 12. Рассказ из цикла «Силуэты».

ОБВАЛ — Русские записки.— 1917.— № 2.

КРАЙ РОДНОЙ — Донская волна.— 1918.— № 12.— 26 авг. Отрывок из эссе.

## Публицистика

РЕЧЬ НА ЗАСЕДАНИИ ПЕРВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ — Государственная Дума: Стенографические отчеты.— 1906.— Т. II.— С. 1311—1316.

Во время обсуждения речи Крюкова его поддержали ораторы-первоступцы — священник Афанасьев, Араканцев (Область Войска Донского), Бородин (Уральское казачье войско), Грабовецкий (Киевская губерния), Седельников, Свешников (Оренбургская губерния), Родичев (Тверская губерния), Галецкий (Архангельская губерния), Кочевский (Кубанская область). Они осуждали расправы над бастовавшим народом.

...правительство, как говорил предшествующий оратор... — этим оратором был депутат от Войска Донского Араканцев.

ДВА МИРА — Русские ведомости.—1910.—20 нояб. Статья посвящена памяти Л. Н. Толстого, скончавшегося на станции Астасово 7 (20) ноября 1910 года.

Л. Н. Толстой был для Ф. Крюкова примером отважного борца, непримиримого к насилию, лжи, ханжеству, социальному эгоизму, попранию нравственных общечеловеческих норм. Особенно возмущала Крюкова политика тех, кто предавал апафеме имя писателя.

«Далек я был от этих двух человек...» — в письме из «глухого угла» имеется в виду, кроме Л. Толстого, Сергей Андреевич Муромцев (1850—5 октября 1910). «Русские ведомости» отмечали его заслуги ученого, профессора Московского университета, публициста, редактора «Юридического вестника», адвоката, общественного деятеля, председателя первой Государственной Думы. «И если мы теперь стоим перед новой безвременной могилой,— говорилось в некрологе, помещенном в газете,— то ни для кого не должно быть тайной, какая жертва здесь была принесена в борьбе за освобождение родины. Кто знал Муромцева, являвшего в своем лице редкий пример здорового духа в здоровом теле, кто знал его до первой Думы и видел после ее роспуска и после тюрьмы, для того нет неожиданности в этой слишком скорой победе смерти...» (1910.— № 228.— 5 окт.).

ПЕРЕВЕЛИСЬ ЛИ БОГАТЫРИ? — Русские ведомости.— 1910.— 1 дек. В 1909 году исполнилось двадцать лет со дня смерти М. Е. Салтыкова-Щедрина.

ПАМЯТИ П. Ф. ЯКУБОВИЧА — Русское богатство.— 1911.— № 6. Петр Филиппович Якубович (1860—17(30) марта 1911) — поэт, народо-волец, профессиональный революционер. В 1887 году был приговорен к смертной казни, замененной каторгой. Тесно связан был с «Русским богатством», где публиковал под псевдонимом Л. Мельшин повесть «В мире отверженных. Записки бывшего каторжника». Входил в редакцию журнала.

В апрельском и майском номерах журнала за 1911 год помещены статьи о нем А. Редько, В. Семевского, В. Богучарского, В. Муйжеля, многочисленные телеграммы в редакцию по случаю смерти Якубовича.

В СУГРОБАХ — Русские ведомости.—1917.—№ 26.—1 февр.; № 43.— 22 февр.

НОВОЕ — Русское богатство.—1917.—№ 6—7. Один из очерков цикла, печатавшегося под этим названием в «Русском богатстве» с 4 по 7-й номер за 1917 год. Газетный вариант этого цикла — под заголовком «Новым строем» — в «Русских ведомостях» (1917.—26, 28 мая; 30 июня).

Очерки имели фактическую основу.

На родине писателя, в Михайловке, местные деятели, по словам Крюкова, утверждали «принцип готтентотского права и морали», торопились, забегали наперед, анархически, бесплано подходили к сложному вопросу о новом землепользовании.

Он воспроизводил характерный для того времени диалог в точной записи с реальных лиц.

После Октябрьской революции этот «разлом» в народе, по убеждению Крюкова, стал в его родных местах еще заметнее. Он пишет очерк «В углу». Рассказывает о том, как в Михайловке жулики, воры, шибай, торгоши, скупщики, извозчики, спекулянты, всякий преступный сброд набросились на винный склад как буржуазное имущество, взяли его штурмом. Было организовано разграбление и истребление буржуев, офицерской «касты». Не падали и тех, кто вышел из самой демократической среды — семей малоимущих, мозолистых.

Анархисты уняли расправу над социал-демократом Лапным.

«— Я — давний революционер, сидел в крепости...— начал было он говорить толпе.

— Брешет! Кадет!..— раздался голос из толпы...

Какой-то подросток с винтовкой в руках прицелился, выстрелил в упор. Председатель Совета «солдатских, казачьих, крестьянских и рабочих депутатов» опрокинулся навзничь, раскинув руки. Толпа раздела его до белья, ушла дальше продолжать веселую артельную работу.

Под высшую меру попадали гимназисты и студенты» (Свободная Россия.— 1918.— № 33.— 24(11) мая.

Несомненно, Крюков односторонне воспринимал события революционного времени.

**В СФЕРЕ КОЛДОВСТВА И МУТИ.**— Донская волна.— 1918.— № 28.— 25 дек.

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

Бытописатель народной жизни. *Ф. Бирюков* . . . . . 3

### Рассказы

Казачка ( <i>Из станичного быта</i> ) . . . . .	27
Из дневника учителя Васюхина ( <i>Картинки станичной жизни</i> ) . . . . .	66
К источнику исцелений ( <i>Рассказ</i> ) . . . . .	101
Встреча . . . . .	154
Отрада . . . . .	165
Полчаса . . . . .	191
В камере № 380 . . . . .	205
Мать . . . . .	230
Человек . . . . .	274
Счастье . . . . .	279
Без огня . . . . .	302
Сеть мирская . . . . .	328
Мечты . . . . .	357
Зыбь . . . . .	380
Четверо . . . . .	449
Душа одна . . . . .	470
Обвал . . . . .	488
Край родной. <i>Миниатюры (Отрывок)</i> . . . . .	512

### Публицистика

Речь на заседании первой Государственной Думы . . . . .	515
Два мира . . . . .	524
Перевелись ли богатыри? . . . . .	528
Памяти П. Ф. Якубовича . . . . .	531
В сугробах . . . . .	539
Новое . . . . .	541
В сфере колдовства и мути . . . . .	560
Примечания . . . . .	565

**Крюков Ф. Д.**  
К85      **Рассказы. Публицистика / Вступ. ст. и примеч.  
Ф. Г. Бирюкова; Худож. А. К. Мешков.— М.: Сов.  
Россия, 1990.—576 с., 1 л. портр.**

Федор Дмитриевич Крюков (1870—1920) — писатель и общественный деятель начала века, известен сегодня советскому читателю только в связи со спорами вокруг романа М. Шолохова «Тихий Дон».

Творчество Ф. Крюкова и М. Шолохова сближает единый источник — культура вольного донского казачества, давшая общие краски их мастерству и стилистике. Крюков стал честным летописцем своего нелегкого времени. Его проза помогает увидеть прошлое нашей страны во всей конкретности, сложности, противоречиях, борьбе общественных сил.

В 1920 году В. Короленко писал в связи со смертью Ф. Крюкова: «Отличный был человек и даровитый писатель».

К 4702010101—209 инф. 90  
М-105(03)90

Р1

ISBN 5—268—01132—4



**Федор Дмитриевич Крюков**

**РАССКАЗЫ. ПУБЛИЦИСТИКА**

Редактор *Э. С. Смирнова*  
Художественный редактор *Л. Е. Безрученко*  
Технический редактор *И. И. Павлова*  
Корректор *М. Е. Козлова*

ИБ № 5870

Сдано в набор 29.12.89. Подп. в печать 16.11.90. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага книжно-журнальная финская. (на прикл. офс. мел.) Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. п. л. 30,35 (в т. ч. вкл.—0,11). Усл. кр.-отт. 30,35. Уч.-изд. л. 35,52 (в т. ч. вкл.—0,03). Тираж 100 000 экз. Заказ № 443. Цена 3 р. 10 к. Изд. инд ЛХ—335.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Министерства печати и массовой информации РСФСР. 103012, Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Министерства печати и массовой информации РСФСР. 144003, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.